СЛАВ ХР. КАРАСЛАВОВ

СЛАВ ХР. КАРАСЛАВОВ

Солунските братя

София, 1978

СЛАВ ХР. КАРАСЛАВОВ

Солунские братья

РОМАН

Перевод с болгарского

МОСКВА
«ПРОГРЕСС»
1982

Перевод А. А. Косорукова

Караславов С. Хр. Солунские братья: Трилогия. Пер с болг.— М.: Прогресс, 1982 — 623 с.

Роман известного поэта и прозаика Слава Христова Караславова (род. в 1932 г.) «Солунские братья» повествует о жизни, деятельности и творчестве Кирилла и Мефодия, великих просветителей IX века, создателей славянской азбуки, ныне известной под названием кириллицы. Современные ученые по-разному видят этот сложный и увлекательнейший период в истории славянства. Свое — художественное — слово произносит о нем и болгарский писатель Слав Хр. Караславов. Перед нами исторический роман, где в живом образном повествовании нашли отображение первые шаги славянской письменности и культуры, судьбы крупнейших ее представителей, наиболее важные события в Европе того времени.

© Перевод на русский язык и комментарии издательство «Прогресс», 1982

К $\frac{70304\text{-}258}{006(01)\text{-}82}$ 88-81 4703000000

Книга первая · Мир надежды

Светът на надеждата

Редактор И. Марченко

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В городе Солунь жил муж, благородный и богатый, по имени Лев, который занимал должность друнгария * и подчинялся стратигу *. Он был благоверен и праведен, строго соблюдал все божьи заповеди, как некогда Иов. Он жил со своею супругою, и родилось у них семеро детей; седьмой, самый младший, и был Константин Философ, наставник наш и учитель.

Из «Пространного жития Константина Философа», IX век

Родиной нашего преподобного отца Кирилла был город Солунь. По национальности он был болгарин. Его родители были благоверными и благочестивыми людьми, отца звали Лев, мать — Мария. Они были богатыми и в городе самыми знатными.

Из «Успения Кириллова»

Наверное, вы хотите знать, кто эти отцы? Это Мефодий, который прославил Паннонскую епархию, став архиепископом Моравии, и Кирилл, который был знатоком древней философии, паче всего христианской, и понимал природу вещей, истинно существующих.

Из «Жития Климента Охридского»

1

Константин похудел в дороге, борода выгорела и побелела от неистового солнца. В руках, потемневших и беспокойных, он держал золоченый Коран. Присев на мраморную скамью с грифонами, он устремил взгляд к противоположному берегу Золотого Рога. Стоило закрыть глаза — и перед его мысленным взором тянулись пыльные дороги, шагали верблюды с мерно качающимися горбами, передвигалась линия горизонта, изгибались ленивые тела рек, всплывали, как миражи, города, пронзавшие небо остриями мечетей, и надо всем этим — усталость, расплавленным свинцом заполняющая жилы. Он как бы со стороны видел самого себя в пыли с головы до ног, обожженного знойным сарацинским солнцем, его губы слипались, как листья смоковниц, поймавшие скудную влагу страшного лета, а душа искала покоя небесных селений. Во имя всевышнего он пошел вое-

* Примечания см. в конце книги.— *Прим. ред.*

вать за очищение душ человеческих... Но только ли во имя бога?

Философ отправился в путь по поручению императрицы Феодоры и ее несовершеннолетнего сына Михаила, чтобы смутить поклонников Магомета истинным словом, проникнуть в поганое, враждебное логово багдадского халифа Джафара аль-Мутаваккиля. Предшественники халифа, Мутасим Билла и Гарун аль-Васик, угнетали и мучали христиан, грабили пограничные города, издевались над беззащитным крестом господним и с фанатичной злобой утверждали гордыню душ своих, истребляя последователей Христа. Сколько битв, сколько пролитой крови помнит пограничная полоса! Сколько походов во имя империи! Сколько слез — пролитых от боли и бессилия! И все еще не устали две веры воевать за превосходство, два народа делить землю на свою и чужую. Во времена Мутасима Биллы его войска напали на Аморий и Фригию, и кровь христианская потоком лилась всюду, где они проходили. Под его саблями пали члены императорской семьи, интересы которой представлял теперь молодой философ. Один лишь бог ведает, сколько пленников нашли свою смерть в холодных темницах халифов! И когда в их владения послали философа, то послали его для того, чтобы испытать оружие слова, силу убеждения, благословенное божье учение. Но небесный судия не отвратил взора от земной вражды. В одном и том же году он остановил дыхание обоих врагов — императора Феофила и Мутасима Биллы,— но вместо того, чтобы извлечь из этого урок, их наследники вновь взялись за оружие. Гарун аль-Васик вывел из темниц сорок два пленных византийских военачальника и мартовским днем принес их в жертву своей неукротимой злобе. Видно, это возмутило небо, объединяющее землю и людей, и оно обрушило кару на недостойную голову. Коварство, угнездившееся в сарацинских душах, разрослось, как буйный сорняк, и еще один халиф, отравленный, нежданно расстался с жизнью. В восемьсот сорок седьмом году на багдадский трон сел Джафар аль-Мутаваккиль. Четыре года логофет * Феоктист и кесарь * Варда, ближайшие доверенные императрицы Феодоры и несовершеннолетнего наследника Михаила, пытались разгадать намерения нового халифа, но тщетно. Эта неизвестность пугала больше, чем если б он поднял окровавленный меч своих предшественников. При нем, однако, внезапные налеты на византийские земли чередовались с мирными днями, сулившими надежду на успокоение. Потому-то сон правителей Константинополя тревожил страх: а вдруг новый халиф тайно готовится к большому походу? И решили они послать к нему молодого философа Константина, непобедимого в диспутах,— испытать красноречие и гибким своим умом проникнуть в намерения халифа. В свите Константина был один из довереннейших людей императрицы, Георгий, муж ее племянницы. Константин был моложе Георгия и происходил из менее знатного рода,

но миссию доверили ему, ибо он должен был представлять ученый мир империи. Георгий же был глаза и уши тех, кто остался в Царьграде. Константин понял это, но поначалу не обеспокоился. Он жаждал диспутов, горел желанием помериться умом и силой духа, доказать превосходство учения, которое защищал и которое преподавал в Магнаврской школе. Георгий был ему нужен. Он взял на себя хлопоты и заботы о питании путешественников. Константин мог поэтому полностью погрузиться в свои дела и мысли. Во время отдыха у больших рек или ручейков он смотрел на воду и берега и думал, как в результате их непрестанного противоборства образуется множество излучин, и крепла в нем мысль, что прямых путей нет: даже самая мощная река делает повороты, что же тогда говорить о человеке. Эта мысль должна определять его поведение у сарацин, лечь в основу диспутов и споров. Во имя своей правды он будет искать пути к победе, даже если они окажутся извилистыми, как стебли плюща. Благодаря гибкости молодой философ всегда выходил победителем. В глубине сознания ярко вспыхнули отдельные мгновения диспутов, лица, перекошенные гневом и бессилием, глаза, полные ненависти, вызванной его торжеством. Он припомнил встречу в Самарии. Толпы мусульман-фанатиков, базары, заваленные фруктами и кишащие мухами, невероятное убожество и поразительная пышность, и среди кричащих контрастов — безмятежные сады халифа с фонтанами и золотыми птицами, покои, полные драгоценнейших камней и изделий из металлов — той роскоши Востока, которая образовалась в результате грабежей и суетной привычки копить на бренную жизнь. Острые, хитрые глаза сарацин, спрятанные под низко опущенными веками, глаза врагов, подсматривающих из-за белых колонн дворцовых портиков. Бороды до пояса — знак поседевшей в невзгодах мудрости; губы, растянутые в снисходительной улыбке; толстые пальцы, перебирающие солнценосные янтарные зерна четок — кажется, будто крупные капли срываются с безобразной губы уставшего верблюда. И первый вопрос:

— Можешь ли, философ, объяснить этот знак?..

Знак не был для Константина новым. Он произвел на него впечатление уже в пограничных сарацинских городах: глумливые изображения красовались кое-где на воротах — показывали языки бесовские образины, рогатые черти славили победу под жарким солнцем, прогуливались по дну ада... Люди за воротами робко смотрели сквозь щели. Иные, завидев посланников, украдкой крестились. Константин еще тогда понял: за этими дверьми живут христиане, и именно их жизнь давно стала истинным искуплением грехов рода человеческого, и именно они подвергаются унижениям и неслыханному произволу «правоверных». Много дел предстояло еще господу богу, ибо устройство мира не было совершенным — это Константин видел

собственными глазами. Но он прибыл не для того, чтобы открывать несовершенство творения всевышнего. Он прибыл, чтобы защитить веру, способную сделать людей братьями, ибо земля одна и небо одно, и пусть бог тоже будет один. Любая рознь ведет к кровопролитию, к утрате человеческого в человеке. Молодой философ уподоблял себя Давиду, но он пошел побеждать Голиафа, неся в праще не пять, а лишь три камня: отца, сына и святого духа. Демоны и глумливые изображения на воротах возмущали его, молодая кровь вскипала гневом, и лишь ощущение собственного превосходства и вера в свою миссию сдерживали его. И все-таки вопрос, который ему задали, обрушился внезапно, и он не смог промолчать.

— Вижу образы демонов и думаю, что внутри, за этими дверьми, живут христиане, ибо демоны не могут жить вместе с ними. Но там, где нет изображения демонов на дверях, они живут внутри, вместе с людьми...

Ответ не понравился сарацинским мудрецам. Скептически сжались губы, торопливо защелкали четки, бороды задвигались быстрее, чем позволяло глубокомудрое достоинство почтенных старцев: этот молодой мужчина отвечал разумно, но непочтительно, будто находился на родине и вовсе не боялся за свою голову...

Константин раскрыл Коран на нужной странице, но буквы не хотели вставать в свой обычный порядок, установленный умелой рукой переписчика: солнечные блики оживили их, буквы перескакивали с места на место, словно затеяли игру в прятки. Он нервно захлопнул книгу. Не буквы были виноваты — бессонная ночь, прошедшая в думах о большом решении, которое созревало в нем. Оно родилось еще там, в столице сарацин, во время диспутов. Наблюдая, как упрямо отстаивали длиннобородые свою веру и право на господство, Константин невольно спрашивал себя: кому служит он, за чьи интересы борется? Не является ли всего лишь орудием в руках других? А иначе зачем бы подсунули ему этого Георгия, стремившегося везде выдавать себя за главу миссии? Не была ли причиной недоверия при дворе молва о его славянской крови? Эта молва была не новой: когда-то она заставила Константина уйти в монастырь, и люди логофета Феоктиста разыскивали его целых шесть месяцев. Впервые тогда молодая душа возмутилась несправедливостью, впервые ему напомнили, какая кровь течет в его жилах. Он, лучше всех закончивший Магнаврскую школу, удививший остротой ума, широтою познаний и преподавателей и гостей, почувствовал пренебрежение людей, которые должны были воплощать справедливость. Оставив преподавателями в школе бесталанных выпускников, они послали его библиотекарем к патриарху в храм святой Софии. И когда заговорило его честолюбие, поддерживаемое надеждой на справедливость, он вдруг споткнулся о свое славянское происхождение. Причина-де

в его родителях. В женщине, которую он чтил, как святую, которая пела ему в детстве прекрасные песни на родном языке, которая научила его любить людей и ценить их не по рангам и званиям, а по душе — единственному мерилу на земле. Только теперь понял он многое о своей семье. Жизнь вторглась в его мир, полный запаха пыльного пергамента, красок, превратившихся в слова и мысли, в жития святых, рассказывающих о стародавних премудростях. Но за ровным каноническим ладом житий крылись настоящие законы этой жизни — будто для того, чтобы он понял их слишком поздно и чтобы пережил горькое разочарование. Он решил было не возвращаться в столицу, и только вмешательство логофета Феоктиста, которому он все еще верил, побудило его пойти на уступки. Константин вернулся, но уже преподавателем школы. Однако прошлое не забывалось, тяготило. Любое, даже незначительное недоверие двора разжигало тлеющий глубоко в душе уголек и причиняло острую боль. Поначалу он принял присутствие Георгия как нечто должное — ему дали помощника, только и всего. Но когда помощник стал присваивать права главы миссии, Константин понял, что ему не доверяют... И все же он вел диспуты так, что сарацинские ученые не могли скрыть удивления его познаниями. Мысль Константина летела, как орел, и была мудрой, как змий. И пока одни искренне удивлялись его знаниям, другие со свойственным им коварством решали, как отравить его. Тот, кто протянул философу бокал, был столь любезен, что Константин заподозрил неладное. Он поставил бокал и, когда халиф провозгласил здравицу, попросил у правителя большой земли сарацин разрешения поступить по обычаю своих предков... И умышленно медлил с объяснением обычая. После согласного кивка Джафара аль-Мутаваккиля он быстро добавил: обменяться бокалами с тем, кто был любезнее всех... Разумеется, молодой философ не посмел предложить это самому халифу, боясь, что его обвинят в отравлении, а поставил яд перед своим соседом слева, давшим ему бокал. Душа сановника ушла в пятки, но, тут же взяв себя в руки, он поднял оправленный серебром бокал и, нахмурившись, сказал сиплым голосом, в котором не было и тени прежней любезности:

— В диспуте стояли мы на разных берегах, и, если разрешит великий халиф, любимец нашего солнцеликого аллаха и его пророка Магомета, я хотел бы остаться на своем берегу и не соблюдать обычая гостя, ибо есмь на земле предков своих и чту их законы и обычаи...

Халиф кивнул второй раз — в знак согласия с желанием своего сановника...

Так и стоял бокал с ядом между Константином и его соседом, привлекая украдкой бросаемые взгляды сотрапезников. Бокал этот умножил славу Константина. Кто-то из сопровождающих пустил

слух, что молодой философ опорожнил его залпом, но остался в живых благодаря вмешательству господа бога...

На этот раз Константин понял, что защищал скорее себя, нежели тех — властелинов Византии. Для них он был и будет славянином... Одного лишь не мог он объяснить себе — заботы Феоктиста. Конечно, Феоктист дружил с отцом Константина, но многого ли стоит дружба без выгоды? А пока философ не видел, чтобы он приносил какую-нибудь выгоду своему благодетелю. И может, именно это склоняло его к уступчивости логофету... Феоктист любил беседовать с ним, задавать странные вопросы и терпеливо ожидать ответов молодого человека... Однажды он даже предложил ему в жены свою племянницу и крестную дочь. Ирина была красива, избалована вниманием окружающих, но весьма ограниченна в своих представлениях о мире. Несмотря на это, ее присутствие будоражило его молодую кровь. С тех пор как Константин узнал о намерениях логофета, он старался избегать Ирины, но какая-то внутренняя сила заставляла искать ее общества. Его взгляд бессознательно скользил по изгибам ее руки, останавливался на явственно выступающей груди, которая жила своей тайной жизнью под тонким покровом ткани; встретившись с ее большими черными глазами, Константин вздрагивал, словно пойманный вор, и его тонкое волевое лицо темнело от смущения. Но неловкость улетучивалась, когда Ирина садилась рядом и начинала расспрашивать, совсем как своего дядю, о чем попало. Константин вдруг становился разговорчивым, подробно объяснял ей и то, о чем она даже не спрашивала, а оставшись наедине с собой, корил себя за такое поведение. Выслушав первый раз предложение Феоктиста о женитьбе на Ирине, Константин замялся: мол, слишком это неожиданно, он пока и не помышлял о подобном шаге. Его сознание было заполнено книгами, откуда он черпал мудрость и знания. Однако ее образ никогда не покидал его мыслей, хотя и не становился их центром. Ирина возникала в его мечтах, словно легкокрылая бабочка, которая может вдруг сесть на плечо и тут же вспорхнуть, но в то мгновение, когда ее крылышки вздрогнут и всколыхнут воздух у самого лица, рука Константина вряд ли поднимется, чтобы поймать ее. Не потому, что она была недостижимой, нет, просто она казалась ему слишком земной. Она искала легкого счастья и более трезво смотрела на жизнь — это стало ясно ему однажды, когда Константин нечаянно оказался незримым свидетелем ее разговора с логофетом. В глазах Ирины он умен... умнее всех в Константинополе, и красив... Смущает только его славянское происхождение... Вышла бы она за него охотно, но... подождем немножко. Есть у нее кое-что на уме...

— Что именно? — спросил Феоктист.

— Позволь мне сказать через некоторое время,— уклонилась Ирина,— я хочу окончательно убедиться, а тогда...

Этот невольно подслушанный разговор долго занимал Константина. Вечерами, в пути, когда он ехал в страну сарацин, мысли о нем отгоняли сон, и он бодрствовал, неотрывно глядя в мутное небо. Мысли вгрызались в услышанное, искали смысл... Что же она хотела сказать?.. Засыпал он лишь на рассвете, под вой шакалов. Этот вой, сопровождавший их на протяжении всего пути, сначала раздражал, не давая сосредоточиться, но потом Константин привык к нему. Утра становились холодными, иссохшие травы перешептывались, как беззубые старцы, холодок полз по коже, верблюды постанывали, предчувствуя жаркий день и усталость от долгой дороги. Константин ритмично покачивался в седле, и ему слышались далекие отголоски шепота трав... Славянская... славянская кровь... Только теперь стало ему ясно, почему отец был не стратигом Солунской фемы *, а всего лишь друнгарием... Ему не доверяли... А ведь многие, объединяя гражданскую и военную власть, правили фемой намного больше Солунской. В Солуни уважали отца, он всегда защищал честь своей должности и своего имени, ни разу не отказался подавить внезапно вспыхнувший бунт. Сколько раз он дрался со своими... Разве его смерти от ран им мало, чтобы перечеркнуть все подозрения и все недоверие к его сыновьям? Быть может, именно это недоверие заставило брата Михаила покинуть мирской пост и постричься в монахи, приняв имя Мефодий... Пора найти его, подумать вместе с ним о своей судьбе и своих дорогах...

Константин медленно поднялся со скамьи, украшенной грифонами, и пошел в гущу сада, машинально похлопывая книгой по левой ладони...

2

— Логофет Феоктист не приходил?

— Нет, светлейшая.

— Пусть позовут его!

Императрица Феодора чувствовала, что власть ускользает из ее рук. Михаил начинал свыкаться с мыслью о совершеннолетии, хотя ему исполнилось всего четырнадцать. В нем повторялся неуравновешенный характер его дяди — Варды. Это открытие тем больше страшило ее, чем больше она наблюдала за сыном. Феодора прекрасно знала своего брата и упрекала себя, что сама предложила его в опекуны сыну. Ей казалось, совет регентов без него будет неполным. Императрица опасалась и одного из регентов, Эммануила: он мог претендовать на престол. И кто же тогда поможет ей, как не Варда? Она надеялась, что брат, став членом регентского совета, будет бо-

лее сдержанным, более внимательным, прекратит пьяные оргии и скандалы, но со временем обнаружилось, что она непоправимо ошиблась. Власть ослепила Варду. Его растущее влияние на юного Михаила грозило загубить все ее надежды. Юноша рос своевольным, как дядя. Когда Варда злился, его глаза свирепо сверкали, а рука часто тянулась к мечу. Феодора ломала голову — как быть, как помешать их нежелательной связи? Варда всюду брал Михаила с собой — на охоту, на рыбалку, обучал стрелять из лука, владеть мечом, угощал при матери вином. Ее протесты оба встречали холодно, с суровым пренебрежением. Варда наглел с каждым днем. Он даже перестал утруждать себя притворством, будто соглашается с ее желаниями и распоряжениями. Теперь он слушал ее, туманно улыбаясь, что приводило императрицу в бешенство, но, будучи сдержанной, она старалась не ухудшать и без того плохие отношения с этим нахалом. Когда она смотрела на его опухшее лицо, на мешки под глазами, усталыми от бессонницы, ею овладевал настоящий страх. От Варды можно было ожидать всего. Когда-то он выкинул на улицу собственного ребенка, потому что тот нарушал его спокойствие своим плачем. Малыш стал горбатым, и этот уродливый горб на всю жизнь разделил отца и сына. Все жалели бедного мальчика, только отец проходил мимо, будто не замечая его. Но годы летели, Иоанн жил, рос на его глазах. Под тонкими дугами бровей светились умные глаза, взгляд которых радовал людей, и они забывали о его уродстве и о том, что он сын кесаря. Феодора иногда звала его к себе, беседовала с ним о делах церкви, восхищалась его острым умом. Ровесники Иоанна уже справляли свадьбы, и он не забывал почтить их своим присутствием. И только вечером, оставшись наедине с собой, давал он волю своему горю. Он знал правду о своем злосчастье, и взгляд его часто ненароком останавливался на тяжелой отцовской руке. Эта рука вынула его из колыбели и, как ничтожного зверька, швырнула на лестницу только потому, что сын мешал ему спать... Сердце начинало учащенно колотиться, и тайная злоба — острая, как угол мраморной ступени, о который он ударился,— душила Иоанна. В такие минуты императрица Феодора видела в его глазах странный огонь, который мог вспыхнуть с силой, способной поджечь все вокруг. В последнее время она стала приглашать Иоанна в дворцовую часовню на вечернюю молитву, питая тайную надежду направить его ненависть против его же отца, Варды.

Иоанн засиживался у императрицы допоздна, разговаривал с ее дочерьми. Ему явно не хотелось возвращаться в дом, где он проклял час своего рождения, где сон покидал его; ночами он содрогался от плача. Слезы медленно скатывались по бледным щекам на подушку. Он сравнивал себя с одиноким листком, гонимым ветром, растаптываемым сандалиями знати и босыми ногами бродяг, никому не нуж-

пым в своих скитаниях, давно забывшим и родную ветвь, с которой его сорвали, и зеленый цвет живой надежды. Однако нелегко было забыть о своем происхождении. Это отец оторвал его от себя и пустил по ветру, как бесполезный мусор. Разве это можно забыть? Слушая молитвы и речи Феодоры, Иоанн догадывался об ее тайных намерениях, но так и не решился заговорить с ней открыто, как, впрочем, и она с ним. Оба жили ненавистью к одному и тому же человеку. Оба знали об этом, оба не смели назвать его имени вслух. Раз только в просторной приемной, вдали от свечей, императрица, будто сквозь сон, спросила:

— Пьет?

— Пьет...

— Для всех нас плохо.

— Плохо...

Оба знали, о ком идет речь. Императрица не спешила назвать его, ибо надеялась на Феоктиста. Логофет славился своей решительностью, однако теперь ему тоже следовало быть осторожным. Его власть распространялась только на международные дела и на просвещение. Варда не допускал его к войску и императорской гвардии. Там распоряжался он. Кесарь подозревал, что Феоктист имеет влияние на некоторых стратигов в провинции, но их силы не представляли угрозы для его власти. И все-таки в сознании кесаря, замутненном пьянством и развратом, поселились непрестанная тревога и боязнь молчаливого присутствия Феоктиста. Варду пугала его близость к Феодоре.

Логофет пересек двор, равнодушно покосился на длинные копья стражей и толкнул дверь. На мгновение мраморная лестница отразила солнечный свет и тут же померкла, как лицо неприветливой прислуги. Не раз логофет поднимался по двенадцати ступеням в приемную императрицы. Он шагнул на первую ступень, и его слух уловил слабый скрип двери. Он доносился из покоев Феодоры. Регенты имели право посещать ее в любое время дня, если вопросы, требующие решения, заслуживали ее внимания. Да и она сама, будучи матерью несовершеннолетнего императора, хотела знать обо всем в империи. Но это желание оставалось лишь желанием: давно уже Эммануил и Варда не приходили к ней и ни о чем не спрашивали. Варда демонстрировал свое неуважение, а Эммануил был запуган и думал только о том, как бы не прогневить Варду! Кесарь давно имел на него зуб: Эммануил единственный из регентов был против включения Варды в руководящий совет. Он изобличал кесаря во всех недостойных делах, только бы убедить остальных, но напрасно. Феодора решительно вступилась за брата. В гневе он бросил ей упрек, что придет время, когда она раскается в своем неразумном упорстве. Всего можно ожидать от пьяницы и развратника, который выбросил пер-

вородного сына на лестницу, не пожалев его жизни, а мы, дескать, доверяем такому человеку несовершеннолетнего императора и будущее империи! Эти слова дошли до ушей Варды. Их разгласила сама Феодора, чтобы привязать его к себе, внушить ему, что своим возвышением он обязан лишь ей... Теперь она действительно жалеет об этом. Она была готова сто раз извиниться перед Эммануилом, но он боялся встреч с ней, избегал ее. Только патриарх и Феоктист искали ее помощи и совета. На первый взгляд логофет казался равнодушным ко всему, что происходило вокруг императора, и занимался только своими делами. Его слово имело вес в совете, его слушали очень внимательно, особенно если речь шла о миссиях или разрешении мелких пограничных споров, но, если он позволял себе ступить на запретную территорию — в обсуждение переустройства войска,— брови Варды сдвигались и, привстав со скамьи, он говорил:

— Каждому свое место!

— Варда прав,— добавлял Михаил.

Патриарх и Эммануил либо молчали, либо нехотя соглашались с Вардой и малолетним властелином. Одна Феодора пыталась поддержать Феоктиста, но ее слова повисали в воздухе — словно она не мать законного наследника престола, а посторонний человек. В гневе она то и дело вопросительно посматривала на Эммануила, чтобы расшевелить его, вывести из упрямого молчания, но в конце концов махнула рукой и внешне смирилась. В свое время она ненавидела Эммануила, даже натравила на него мужа. Сделала она это из страха: Эммануил видел ее однажды в тайном обществе почитателей икон и рассказал мужу. Феофил разгневался, долго ее допрашивал и чуть не отправил в монастырь. С тех пор она стала еще более сдержанной и осмотрительной. До смерти мужа. После победы почитателей икон и ссылки патриарха-иконоборца Иоанна Грамматика * императрица открыто отреклась от Эммануила. В сущности, она навсегда потеряла в нем сторонника. Единственной ее надеждой и опорой в это смутное время оставался Феоктист. И она боялась за него. Если на неделе они ни разу не виделись, императрица приказывала его позвать. Логофет был вхож к ней в любое время. Прислуга так привыкла к его присутствию, что не всегда сообщала о нем. Он садился на одно и то же место в приемной — около красивого тропического растения, широкие листья и ярко-красные цветы которого касались потолка,— и склонялся над столом, искусно вырезанным афинским резчиком-кустарем для покойного императора. Феоктист вошел в приемную, но не сел на обычное место. Несколько раз он пересек широкое помещение; шаги были мелкими, торопливыми, Феодора про себя отметила это. Отбросив тяжелый занавес, она дружески поздоровалась с ним. Она хотела было опуститься в кресло напротив, но, заметив его нервозность, раздумала.

— Что тебя тревожит, друг мой?..— спросила она, приподняв тонкие брови, отчего через лоб пролегли еле заметные морщинки.

Феодора принадлежала к числу женщин, возраст которых определить трудно. Можно было остановиться и около тридцати пяти, не укоряя себя в несправедливости или ошибке, но если смотреть трезво, если проследить жизненные пути пяти ее дочерей и сына, то возраст легко можно было увеличить. Глаза Феоктиста многое видели, и он не умалял достоинств императрицы. В своих думах он не раз всходил на императорский престол — не без ее помощи. Из ее рук он надеялся без труда получить корону — ведь он нравился Феодоре. И все же он не решался на такой шаг без поддержки войска. Пока лишь один из трех протостраторов * был склонен принять его сторону; однако протостратор императорской гвардии и протостратор сухопутных войск были далеки от его намерений, и он не хотел рисковать. Сегодняшнее его волнение было вызвано другим: Ирина вышла замуж, не посоветовавшись с ним. Он, Феоктист, который вырастил ее и считал, что значит для нее больше, чем отец, услышал об этом от посторонних. Она стала снохой Варды, женой горбуна Иоанна... Феоктист много раз беседовал с ним здесь, в этой же приемной, и сочувствовал бедняге. В его обезображенном теле он обнаружил душу, жаждущую тепла, доброго слова, но созрела ли для этого Ирина? Неужели любовь потянула ее к нему? Логофет сомневался. Он ведь знал ее характер — характер ласки, хитро выбирающей свою тропу, безразличной ко всему остальному. Феоктист чувствовал себя обманутым ничтожной женщиной и не мог усмирить гнев. Варда протянул руку за лучшим цветком в его саду — что там протянул, прямо сорвал его. С этим цветком он связывал большие надежды. Он хотел видеть Ирину женой Константина, решив сочетать ум с красотой и выиграть, однако красота принадлежала уже его врагу, и бог ведает, как ум отнесется к своему благодетелю, другу отца, когда все это станет известно. Он мог озлобиться и уйти в монастырь, как уже было однажды. Странными оказались сыновья друнгария Солунской фемы. Один продолжает переживать болезненное открытие о своем славянском происхождении, другой давно решил этот вопрос, но не в пользу империи. Мефодий, отрекшись от мирской жизни, доставил ему немало забот. Ох, как он его огорчил...

Феоктист перестал шагать по приемной и, взяв за руку Феодору, медленно повел ее к креслу. В раздумье придержал длинные пальцы императрицы, унизанные драгоценными перстнями, глухо сказал:

— Плохие известия, светлейшая... плохие... Обманщики вошли и в мой дом, и в сердце, только тебе одной верю, больше никому...

— Ты прочитал мои мысли, друг мой.— Феодора вздохнула, и этот вздох был искренним.

3

Плиска тонула в послеобеденной дремоте.

Хан Пресиян грелся на солнце. Где-то в долине галопом мчались кони, слышалось отдаленное ржание, и горечь вливалась в ханскую душу: ослабела его крепкая десница, и нет больше буйной силы в крови. С каждым днем холодеет и тяжелеет тело, и мир с его тревогами и живительными земными заботами все дальше уходит в синюю даль, которая станет скоро его последним прибежищем. Через погребение в землю шел путь к Тангре — богу неба. Там у Пресияна столько знакомых и друзей, что нечего бояться; он не согрешил, не предал веры предков, хотя искушение много раз манило его, словно крик одинокой кукушки. И все-таки он, хан-ювиги * Пресиян, не поддался, не уступил, не свернул с прежнего пути, чтобы искать новый для себя и своего народа. Не ошибся ли он? Вскоре придет час оставить государство — мощное и обширное, полное славян, находящихся в неравноправном положении. А там, где нет равноправия, грядущее не сулит ничего хорошего... Какое же грядущее завещает он своему сыну Борису?.. Пресиян плотнее закутался в кожаную одежду, зябко поежился. Даже солнце не согревало его. Извела рана, превратила его в сломанную ветку огромного сильного дуба. Ни кумыс не помог, ни ворожба знахарей, ни волчий жир, наложенный на рану. Наконечник стрелы застрял глубоко внутри, и кровь сочилась не переставая. В опасное место вонзилась стрела — близко к сердцу, не то он давно лег бы под нож первого хорошего целителя, который решился бы сделать операцию... Вот уже год, как притаившийся византиец выпустил стрелу ему в спину, когда все спускались вниз, к морю, и с тех пор хан хворает.

Боль была глухой, упорной, но не это пугало его. Хуже всего, что сохнут руки, кожа сморщилась, безобразно проступили вены и силы тают с каждым днем. Неужели наконечник был пропитан неведомым ядом? Но тогда Пресиян давно бы умер. И все-таки что-то там было: глаза стали хуже видеть, в ушах все чаще слышится стук конских копыт. Сейчас хан видел далекий табун на равнине, а ему все казалось, будто это всего лишь воображение, живущее в глубине его сознания. И если бы он не слышал, как ржут кони, пожалуй, не поверил бы собственным глазам. Издали табун был похож на неясную тень облака, что плывет над зеленой равниной в сторону гор. Сверху, с галереи, Пресиян пытался разглядеть контуры горных хребтов, однако за неясной тенью табуна видел лишь бесформенную стену, не имеющую ни цвета, ни очертаний.

И только солнечное тепло хан ощущал, как прежде. Его тело жадно тянулось к солнцу, стремясь одолеть холод, который шел изнутри. Пресиян с трудом встал, опершись на деревянные перила. Они опоя-

сывали верхнюю часть дворца. По сравнению с суровым камнем стен потемневшее дерево хранило больше тепла. Когда строили Плиску, кавхан * Ишбул в помощь строителям собрал все население. Хорошо поработали и пленные — византийцы и славяне. Многие этой работой купили себе свободу, но многие и погибли, пытаясь обратить в свою веру легковерные души. Тогда знатный византиец Киннам впервые вызвал гнев Омуртага. Их вера была словно тяжелая болезнь: стоило ей завладеть кем-либо, и его уже нельзя было вылечить. Ей поддавались все: боил *, багаин *, наследник хана. Из-за этой новой напасти покинул свет брат его отца, старший сын хана Омуртага, красавец Энравота. Вихрь отступничества увлек его, не пожелавшего идти вечным путем предков, в бесконечную и темную пропасть. Хан Омуртаг лишил права наследования и Энравоту, и второго сына — Звиницу. Он хотел было простить его, и смилостивилось бы отцовское сердце, если бы не упали, как топор на плаху, слова старого кавхана Ишбула, блюстителя унаследованной веры в Тангру: «Самому близкому простишь — далекого потеряешь!.. Подумай, властелин, о моих словах, прежде чем решать...»

И тогда заперся хан-ювиги Омуртаг, три дня носили ему пищу и кумыс, три дня он советовался с Тангрой, пока не принял решение. Спустившись к ожидающим его боилам и багаинам, молча указал пальцем на самого младшего сына — Маламира, снял с себя тяжелый меч и вложил ему в руки — объявил наследником. Зашумели собравшиеся во дворе люди, верховые поскакали оповестить народ. Был ли прав Омуртаг, столь строго осуждая первородного сына? В то время Пресиян думал, как все — прав, но, когда власть стала давить на его плечи, когда он взял в свои руки бразды правления, появились сомнения. И все же не это было самым страшным. Самое страшное пришло после смерти Омуртага. Энравота попросил Маламира выпустить на свободу Киннама, который сидел в темнице из-за своей веры в Иисуса. Маламир выполнил просьбу брата, не спросив старого кавхана Ишбула. И поднялись тогда старые роды против молодого хана и потребовали смерти для Энравоты. Испугался Маламир, сам вложил меч в руки кавхана. Почему? Почему мечом надо было судить, а не словом? Разве меч не слепое оружие, готовое служить сильному, когда он не может побеждать словом? Выходит, и впрямь чего-то не хватало вере предков, потому люди и искали нового света?.. Испокон веков все они клялись Тангрой, переворачивали седло, чтобы зло упало с него, приносили в жертву собак, чтобы склонить бога к добрым намерениям. Мир, полный духов и ведьм, шел по следам болгар... Болгарский род встал во главе такого огромного государства, что похож теперь на одинокий лист посреди моря. Правда, болгарская вера еще держалась, но вряд ли она выстоит долго, если будет бороться мечом против новой веры, если будет преследовать хри-

стиан. Непреклонный кавхан Ишбул следил за чистотой рода. После его кончины, во время последнего похода против империи, Пресиян вздохнул с облегчением. Честно говоря, «вздохнул» не то слово. Пресиян просто отменил смертную казнь тем, кто исповедует другую веру, и это принесло благо. Все славянские князья повернулись к нему лицом и обратились за поддержкой и покровительством. В результате государство разрослось до самой Главиницы. В его свите впервые появилась славянская знать. Пресиян первым сделал попытку поставить князей рядом со старыми болгарскими родами, но болгары возроптали, не захотев понять его. Да и сейчас не хотят, но мирятся с ним. Он знает об этом. Самому себе он может признаться, что не раз испытывал страх перед молчаливой стеной отчуждения. Однажды до него дошел план заговора; желая предотвратить его, хан собрал заговорщиков во дворце и долго беседовал с ними, пытаясь оправдать свои действия. Поклявшись еще раз хранить веру предков, он отпустил их. С тех пор отношения со славянами он поручил сыну Борису. Пресиян сознавал, что общение с новой верой чревато опасностями, но он упрямо шел им навстречу. Он чувствовал себя униженным, оттого что пришлось оправдываться перед своими единоверцами, и тайно надеялся, что Борис вернет достоинство их могучему роду, который заслужил и уважение христианского мира.

Неясная тень табуна уже не маячила вдали. Почувствовав усталость, неуверенными шагами вошел Пресиян в просторную комнату и прилег на кровать. Здесь ли он лежал или находился на улице, теперь не имело значения. Ослабевшее зрение было не в состоянии принести ему какую-либо новость. Зато Пресиян нес в себе целый мир ратных подвигов и радостей созидания: колонны с надписями вставали в его воображении как наяву. Он вспомнил ликование, когда пошла чистая вода из водопровода, сделанного кавханом Ишбулом, вспомнил, как ходили смотреть на двух медных львов на Тиче. Тогда Пресиян чуть не упал с моста, и мать заплакала, огорченная его непослушанием. В то время он был резвым мальчиком, который не слезал с коня, а теперь... Пресиян поднял к глазам пожелтевшую руку и долго рассматривал ее... За стеной слышался топот, визгливая перебранка жен, но все это уже не производило на него никакого впечатления — впрочем, спорить с женщинами всегда было ниже его достоинства. Для него они были лишь продолжательницами рода, хранительницами семейного очага. В молодости ему очень хотелось иметь среди жен и славянку, но страх перед болгарскими родами остановил его. Его дети рождались смуглыми и темноволосыми. Однако не все соблюдали неписаный закон. После смерти Омуртага кое-кто рискнул жениться на славянках. Это вряд ли можно было назвать женитьбой, их просто брали во время походов и приводили в дом — так незаметно в роду появлялась примесь другой крови.

Взойдя на престол, Пресиян отменил и это ограничение, однако большинство старых родов продолжало беречь свою чистоту. Они боялись искушения и коварства новой веры, считали, что вслед за славянками на них обрушатся чужие нравы и верования, несовместимые с законами и верой предков... Хан улегся так, чтобы не давить на рану, поудобнее положил подушку и прикрыл глаза. Чем меньше оставалось сил, тем больше не хотел он, чтоб это видели старые слуги. Их сочувствие унижало его. Он предпочитал делать все сам, пока хватало сил. Вот и сейчас не хлопнул в ладони, никого не позвал помочь ему поудобнее устроиться в постели, натянул одеяло из толстой шерсти и попробовал уснуть. Солнце и думы утомили его. Когда он был здоров, он каждый вечер принимал гонцов, теперь делал это реже. Один Борис мог входить к нему в любое время, но дня два назад он уехал в Преслав, где хотел построить новую крепость. Наверное, опять вносит изменения в первоначальный проект. После того как Омуртаг построил мост на Тиче и установил двух медных львов и четыре колонны, лагерь стал разрастаться и превращаться в новый город. Борис задумал сделать его еще краше. Пресиян смотрел на старания сына и радовался заботам наследника о государстве и народе. Радовался и в то же время жалел, что ему самому остаются считанные дни, что с каждым днем силы его иссякают, как родник в засуху. Он чувствовал себя лишь отголоском прежнего зычного крика, лишь брошенным на волю ветра волоском из конской гривы... Сон сморил его... Когда он проснулся, комнату наполняли вечерние тени... Легкое покашливание заставило его приподняться. На краю постели сидел Борис.

— Ты давно тут? — спросил хан.

— С захода солнца, отец.

— Как там дела?

Борис знал, о каких делах спрашивает Пресиян, и потому поспешил ответить:

— Мирно закончился и этот день, отец... Вести хорошие: византийцы продолжают жалеть о смоленах, которые попросились под твою добрую защиту...

— А франки?

— Воюют... И между собой, и со славянами...

— А с кем мы будем?

— Со славянами, отец, ибо они ближе к нам, чем франки.

— Не забывай, однако, что славяне не раз отрекались от нас.

— Каждому хочется, отец, чтоб его почитали.

— Понимаю.— Хан опустил желтую руку.— Понимаю тебя.— И, проследив за какой-то своей мыслью, добавил: — Авось тебе, сын, удастся сделать то, чего я не успел...

— Не говори так, отец.

— Говорю, ибо чую конец... Хорошо еще, если протяну с год. Нет... не верится мне...

Стемнело, комната казалась пустой, только голос Пресияна остался и как бы повис в тишине.

4

Во внутреннем дворе Магнаврской школы оживленно разговаривала группа учеников. Константин не хотел мешать им, поэтому остановился на минуту в тени пыльной смоковницы и невольно прислушался. Они говорили о нем. Это заставило философа свернуть с дороги и присесть на камень, весь в старых письменах. Ему было интересно узнать, что думают те, кого он учил разуму и постоянству, хотя и сам был молод. Рыжего с холеной бородой звали Горазд. Он был сыном богатого князя Моравии, человеком, суровым в своих оценках и сильно ненавидевшим византийцев. Его раздражали их притворство и неприязнь к славянам. Константину не раз приходилось быть арбитром в его спорах с остальными учениками. Горазд пришел сюда из Вечного города, после того как поднял руку на какого-то духовника, утверждавшего, будто Моравия — имперская земля. Нетерпимость и нервозность часто осложняли его жизнь в Магнавре. Круглое лицо Горазда, рыжие волосы и борода, розовые щеки резко отличали его от остальных. Горазд медленно осваивал греческий язык, но когда сердился — безошибочно находил нужные слова. Он сам удивлялся этому и нередко говорил: злите меня, хочу знать, каковы мои познания. Теперь, взяв под руку Ангелария, он широко и добродушно улыбался, и лицо его сияло. Горазд рассказывал, сколько цветов было брошено к ногам философа, когда он вышел на тот берег, как он смотрел и радовался за своего учителя, ибо мудрость есть дар божий, а бог дает ее не только грекам. Константин впервые открывал способность Горазда восторгаться. Его речь была напористой, тон приподнятым:

— Халиф пожелал навсегда оставить философа у себя, дабы он своей мудростью украшал его государство, но тот ответил: если бы звезды зависели от воли человеческой, они светились бы только в небе сильнейшего, но ведь это не так... У меня свое небо и свой путь.

Константин даже привстал от изумления. Да, именно так говорил он тогда. Но откуда рыжий ученик мог узнать об этом? Наверное, проболтался кто-то из миссии. Константин поднялся с намерением идти дальше, но хриплый голос, исполненный злобы, побудил его остановиться. Это был голос Аргириса, одного из самых плохих учеников, родственника Варды, благодаря которому он и был принят

в школу. У Аргириса были мышиные глазки, в которых, когда он спорил, вспыхивали злобные огоньки. Философ, представив себе его, с большим трудом сдержался, чтобы не уйти: Аргирис даже не пытался завуалировать свою злость к человеку, успешно защищавшему престиж империи. Он назвал Константина «слишком молодым» для того, чтобы быть мудрецом, и заявил, что легенды о его мудрости создаются такими вот, как Горазд, коварные мысли которого скрыты за его голубыми глазами.

— Был бы таким уж светилом этот ваш философ, не поменяла бы его Ирина на горбуна Иоанна...

Последние слова Аргириса обрушились, как лавина. Константин еще ничего не знал о свадьбе Ирины и сына всесильного Варды. Новость приковала его к камню. Горазд взорвался:

— Если Ирина может казаться византийцам мерой мудрости, они недостойны быть пылью на сандалиях философа. Сменить неземную любовь и славу мудреца на почести и богатство несчастного сына властелина — беспримерная глупость, восхищаться которой может лишь тот, кто еще глупее.

— Счастлива страна, у которой есть такой мудрец, как наш философ,— вмешался в разговор Ангеларий.

Константин не стал больше слушать. Он свернул в соседнюю аллею и пошел вверх, к лестнице, ведущей в школу. Ступив на мраморную площадку, обернулся и увидел, как Аргирис, получив от Горазда сильный толчок, упал и чуть не сбил с ног слугу Деяна, который нес шкатулку с драгоценностями, подарок халифа. Новость, сообщенная Аргирисом, потрясла философа. Он медленно поднялся на второй этаж, прикрыл дверь в свою комнату, сел и облокотился о подоконник. Внизу продолжался спор, но Константина он теперь не занимал. Его взгляд блуждал над садом, хотя на самом деле он был погружен в себя. Поступок Ирины причинил ему боль. Но на что же он надеялся? Ведь он знал ее неустановившийся характер, точнее, именно с детства установившийся: Ирина всегда искала легкой жизни, видела свое будущее не иначе как в блеске золота, аксамита и шелков, в окружении дворцовой знати. Разве смог бы он дать ей все, в чем нуждалась ее душа? Нет! Тогда в чем же дело? И все-таки, сказав, что он, Константин, умнее и красивее всех, почему же она предпочла ему сына Варды?.. Ничего против бедного юноши философ не имел — бог с ним, он ни в чем не был повинен, но горечь пренебрежения, обманутых тайных надежд несла в себе особое, глубокое оскорбление навсегда... Он снова поглядел вниз, сосредоточив внимание на продолжающемся споре. Вмешался Савва. Слова почти не доходили до Константина, и он напрасно пытался уловить их, связать в предложения. Аргирис распекал старого Деяна. Старик отошел в сторону и боязливо косился на его сжатые кулаки. Только

Савва выглядел внешне спокойным. Его спокойствие впервые привлекло внимание Константина на встрече в столице халифа — Самарии: прихотям халифа не было конца. В свое время Мутасим построил Самарию и перенес туда столицу. И не потому, что Багдад не нравился. Нет. Мутасим был тюрком по матери и сразу после воцарения заменил всю стражу воинами из страны матери. Три тысячи всадников с утра до вечера гарцевали на узких улочках Багдада, опрокидывали нагруженные лотки, стегали людей кнутами; это настраивало горожан против халифа. Когда на улице нашли убитыми несколько наемников и не оказалось ни одного свидетеля, халиф не на шутку испугался. Он решил построить новый город и сделать его столицей. Халиф выбрал левый берег Тигра, место, где издавна высился красивый и богатый христианский монастырь, названный сарацинами «Сурраманраа» — «Да радуется увидевший это». Тут и вырос дворец. Константин видел его собственными глазами. Тройные портики, утопающие в цветах, внутренние дворы, фонтаны и бассейны, ковры и занавески, деревья из золота, и среди золотой листвы — птицы с глазами из жемчуга, с перьями из разноцветных металлов и неведомых шелков, лестницы, ведущие к искусственным озерам и подземным залам. Сады для приемов в жаркие дни, сады для невиданного веселья, потайные дверцы в гаремы и прибрежные сады с роскошными деревьями из неведомых земель. С высокой скалы, где возвышался дворец халифа, город выглядел как фантастическое видение, которое могло пригрезиться путнику разве что во сне. Мутасим не забыл и о страже: построил огромные казармы в двух местах и каждому стражнику подарил рабыню, чтоб усладить его дни. Сын халифа Мутаваккиль ни в чем не хотел уступать отцу и принялся расширять город к северу, ибо вбил себе в голову, что почувствует себя настоящим халифом лишь тогда, когда построит свой собственный город и заживет в нем, как отец. Константин никогда не забудет рабов, трудившихся на стройках,— печальное зрелище отчаянных лиц и изнуренных тел. Там, среди них, нашел он Савву и выпросил его у халифа. Савва прошел страшный путь унижений среди этих прикованных друг к другу людей, но даже там сохранил свое достоинство. Его мудрая уравновешенность, далекая от всепрощения, произвела впечатление на философа, и он заметил его... Константин уже не следил за ссорой во дворе. Нестройное пение нарушило его раздумья. Пели Горазд, Савва и Ангеларий. Песня была очень популярной в Константинополе — скорее всего, сочинение какого-то безбожника и выпивохи. Она не соответствовала такому, как это, месту — храму святой мудрости. Но голоса звучали приглушенно, таинственно и не вызывали раздражения:

И послал бог винца —
пусть веселит сердца!

И рад был его сын.
Аминь!
Аминь!
Аминь!

Случись это в другое время, Константин проучил бы школяров за своеволие, однако теперь ему было не до того. Он отошел от окна, но песенка вступила за ним в сумеречную комнату:

Поем под небесами,
Живем все, как один,
с веселыми сердцами!
Аминь!
Аминь!
Аминь!

Голоса затихли где-то у выхода, а вместе с ними и шаги певцов. Молодость продолжала забавляться, бороться, искать свои никогда не существовавшие права. Те, кто пели непристойную песенку, были лишь немного моложе его, и все же их страдания были преходящими в отличие от его переживаний. Он — глава миссии, принесшей ему и славу, и много неприятных сюрпризов. Неужели он не в состоянии махнуть на все рукой, как они, и запеть песню беспечной молодости? Но одна только мысль об этом вызвала у него волну презрения к себе. Нет, он пришел в этот мир, чтобы оставить что-то после себя, но не для тех, которые всегда надеются на других, а для тех, которые своими руками строят города и которые сумеют оценить его по достоинству, когда получат для этого хотя бы некоторые возможности. Так, наедине с собой, Константин вдруг осознал, насколько он одинок в этом шумном большом городе, понял, что, если бы в его жизни не было книг, его пребывание на земле было бы бессмысленным.

Столько лет живет он в Константинополе и ни разу не заглянул в темные кварталы со столь же темными и подозрительными улочками, где за решетчатыми дверьми немало харчевен, пользующихся дурной славой. Там жужжат мухи, а после каждой перебранки деревянные чаши громыхают по каменной мостовой. Там кипит своя жизнь, там свой мир рыбаков, разорившихся купцов, мошенников и сильных людей, которым плевать на удобства, богатство, на все фальшивые чины и звания, сковавшие дурацкими нормами жизнь знатного общества, развращенного ложью и ханжеством. Разве Ирина не дочь этого лицемерия, разве она не доказала, что ее красота всего лишь западня для таких наивных, как он, книжников? Константин прошелся по комнате, остановился у стола и взял исписанный пергамент — это было письмо Мефодия. Брат писал, что искал его, и просил при первой возможности приехать к нему в Полихрон. Коротенькое письмо развеяло ощущение одиночества. Нет, Константин не был одинок. В Полихроне ждал Мефодий, в Солуни — мать, ее доб-

рые святые руки, способные исцелить его боль. Там осталось детство, хранимое ею. Не раз припоминала она сыну его давний детский сон,— сон, предугадавший реальность. Его заставили выбирать себе невесту. Девушки стояли перед ним в ряд, сияя красотой, и он выбрал самую прекрасную — Софию, богиню мудрости. Действительно ли видел он тот сон или это было лишь чудесной выдумкой матери, Константин до сих пор не знал, но каждый раз, когда он возвращался в мир детства, она не забывала напомнить о сне. Зачем ему Ирина, если судьба давным-давно решила, что он будет женихом мудрости?

Тихий стук в дверь прервал раздумья Константина. Он подошел к двери и открыл ее:

— Войди.

Деян неловко шагнул через порог, держа обеими руками шкатулку. Поздоровавшись, направился к ореховому столу, глазами найдя для нее место. Константин смотрел на поседевшую бороду, усталое старческое лицо, потемневшие от работы узловатые пальцы, и огромная жалость теснила ему грудь. Сколько раз этот человек проходил мимо него, сколько раз тихий стук в дверь вырывал его из книжного забытья, но он никогда не спрашивал себя о духовном мире слуги — ему было достаточно того, что старик есть, что он крестится, носит в себе спокойствие, рожденное верой во всевышнего. Деян поставил красивую шкатулку и направился к двери, но Константин остановил его.

— Откуда ты родом? — спросил он.

— Из-за Хема *,— промолвил старик.

— Как же ты очутился здесь?

— Кесарь подарил меня...

— Выходит, ты пленный...

Старик молчал, стоя посреди комнаты, чуть сгорбившись; рубаха перепоясана тонкой конопляной веревкой, за которую засунута короткая деревянная свирель с костяными кольцами.

— Дети были?

— Были... И нива была, лен...

Воспоминание о ниве словно раскрыло стариковские глаза — чистая синь полилась из них и вдруг померкла. Константин вздрогнул от этой странной перемены. Он увидел, как в одно мгновение человек прожил свою жизнь и достиг черты безнадежности. Философ протянул руку к шкатулке, взял ее со стола и вложил в трясущиеся ладони.

— Возьми и иди, выкупи себя...

Не поняв его, старик остолбенел, затем медленно опустился на колени, и рыдания сотрясли его плечи.

— Учитель... учитель...

— Встань, Деян,— тихо сказал Константин и бережно поднял его.

Старик выпрямился, ошеломленно огляделся и направился к выходу. Когда дубовая дверь захлопнулась за ним, Константин снова сел и облокотился на подоконник. Ирина никогда не увидит драгоценной шкатулки с подарками халифа.

5

Опять обман! Как лег Иоанн, так и встретил утро — не смыкая глаз, тупо уставившись в потолок. Сначала он долго ждал шагов Ирины, ждал, что откроется дверь, шевельнется занавес опочивальни, потом устал ждать, но где-то в глубине души еще тлела искорка надежды. Все казалось, что он вдохнет аромат розы, что белые плечи сверкнут в приглушенном свете и он почувствует около себя ее теплое тело. Она поздно пришла в первый же вечер после свадебного торжества. Сразу после ухода гостей Иоанн в нетерпении пошел к себе, но Ирина словно сквозь землю провалилась. Он долго ждал ее. И не утерпел, встал, обошел комнаты со свечой в руке. Не посмел только заглянуть в покои брата и матери, боялся потревожить. Мать жила в этом доме, как испуганная лань: застенчивая, безмолвная и покорная, вечно занятая вышивкой. Иной раз игла недвижно застывала на пяльцах, рука падала, как подбитая птица, и слезы тихо катились по лицу. Она жила в этом дворце живой тенью, низвергнутая и ненужная даже своему увечному сыну. Однажды ужасно несправедливо обидел ее и Иоанн, неосторожно спросив — зачем она родила его?.. Этот вопрос хлестнул ее, как плетью, она пошатнулась и неуверенными шагами ушла в свою спальню. Иоанн долго стоял у дверей и слушал ее рыдания, рыдания брошенного, никому не нужного человека. Разве она не хотела, чтоб ее первенец был как все?.. Она?! И он не посмел войти к ней. Позже Иоанн подстерег ее у двери — она куда-то собралась идти,— упал к ее ногам и долго умолял простить ту недобрую мысль, и она простила, ибо горе их было общим, однако с тех пор в их отношениях исчезла прежняя теплота.

Дрожащее пламя свечи долго блуждало по темным палатам дворца, долго бродил сын кесаря, и его бесформенная тень металась, словно летучая мышь, по стенам и высоким потолкам. Иоанн не посмел остановиться только у дверей отцовской половины. Там всегда стояла стража, которая стерегла сон Варды. Он вернулся к себе и, отодвинув занавеску, увидел в постели Ирину, свернувшуюся калачиком. Она не дала ему приблизиться. Иоанн несколько раз прикоснулся к ее белым плечам, сначала она притворялась, что не чувствует этой неумелой ласки, но потом решительно укрылась с головой

и оставила его наедине с собственными мыслями. На следующую ночь она вообще не пришла. И все... Иоанн понял обман. Отец снова опозорил его, и он закипел злобой. Давний гнев комом встал поперек горла и душил его. Этот человек, его отец, будто одержим демонической страстью травить его словом и делом. До боли ясным предстало перед Иоанном унижение... Они позвали его несколько дней назад, позвали и сказали ему, что отец решил женить его. Это было как снег на голову, Иоанн начал было противиться, но, когда понял, на ком собрались женить, его сердце затрепетало от радости, и не хватило сил отказаться. Ирина давно вошла в его мысли и сны, как утешение — невозможное, неосуществимое, но все-таки утешение для таких, как он.

— А хочет ли она меня?..

Он чуть слышно прошептал это и вдруг почувствовал себя страшно неловко под взглядами окружающих. В этих взглядах были сожаление и насмешка. Их смысл дошел до Иоанна лишь сейчас: они либо знали, либо догадывались о подоплеке этой свадьбы. Иоанн медленно встал с постели и начал одеваться. Как человек, который обдумал все, который уходит с совершенно случайного места, где совершенно случайно остановился переночевать. Накинув верхнюю одежду, он взял потрепанный молитвенник, повесил на пояс чернильницу с утиным пером и отдернул занавеску. Занималась заря. В эту пору городские ворота были заперты. Стражники не пропускали никого, кроме гонцов и доносчиков, приехавших издалека. И впервые сын Варды пожалел, что не имеет знака высокородных. Мог бы сослужить службу и никудышный перстень; теперь же приходилось ждать рассвета. Он сел одетым в тяжелое деревянное кресло и уснул. Проснулся Иоанн прежде, чем прислуга пришла пригласить его к завтраку, спустился по большой лестнице и, никем не замеченный, потонул в утреннем шуме улиц. Он спешил в монастырь святого Маманта. В его прохладе он надеялся найти покой для измученной души. После того как болгарский хан Крум разрушил обитель, братья монахи взялись восстанавливать ее. Монастырь все еще строился, и это было как раз на руку сыну кесаря: трудно было догадаться, что он пойдет именно туда. Святые отцы жили в развалинах, в наспех построенных кельях, и случайный помощник был бы им полезен. Так думал Иоанн, да не все думы сбываются. Стражники, посланные отцом, настигли его уже в середине пути и вернули под холодные своды дворца. Иоанн вполне понимал их озабоченность. Боятся, как бы тайное не стало явным, как бы не пошли разговорчики о прелюбодеянии отца со снохой!.. И все-таки, даже если кое-кто и заткнет уши и закроет глаза, найдутся люди, которые попрекнут кесаря. Один из них — благочестивый патриарх Игнатий, который не раз осуждал своеволие Варды. Сначала Иоанн тяжело переносил одиночество, непрерывно молился,

так что молитвенник истерся от его усердия, но мало-помалу он смирился. Бессилие диктовало это смирение, но настоящим смирением оно не было, отнюдь. Иоанн и сам чувствовал это. В душе осела тайная ненависть к отцу и горечь, постепенно превращавшаяся в грозное желание мести. Жажда отмщения становилась осязаемой по вечерам, когда он входил в опочивальню. Полулежа в широкой кровати, Иоанн бессознательно ждал Ирину. Иной раз она снилась ему — стройная, волосы как душистый клевер, руки белые, женственные, плечи узкие и округлые, как у тех статуэток, которые привозили из какой-то далекой страны. Спросонья протягивал он руку туда, где она должна была лежать, и долго-долго не открывал глаз, стыдясь самообмана... И тогда приходила ненависть — злая, немилосердная, жестокая. Иоанн вскакивал, ноги ударялись об пол... Но куда он мог пойти? Кто пустит его за пределы дворца? Кто поможет? Где оружие, которое могло бы его защитить?.. Нет, он должен смириться, чтобы жила надежда отомстить, ибо, если он потеряет ее, ему ничего не останется, как броситься с лестницы. Он решил, что должен жить... Однажды Феодора послала за ним, но стражники вернули посла, сказав, что кесаревич занят и зайдет к ней при первой возможности. Ответ был столь дерзким, что находившийся поблизости Иоанн чуть не плакал от бессилия и ярости. И все-таки их успокоило его внешнее смирение — сперва его стали пускать в дворцовые сады, потом и в церковь с женой. Ирина шла рядом без тени стыда, высоко подняв красивую голову святой. Иоанн заговорил с ней только раз. Спросил, как живет, как чувствует себя в качестве его супруги? Ирина уловила издевку, но и бровью не повела.

— К чему дурацкие вопросы? — сказала она.— Ты муж своей жены и должен знать, как она живет!

Тогда Иоанн окончательно понял, что мечтания его напрасны. Все было заранее обдумано, и он был единственной жертвой. Он поклялся выбросить Ирину из своих мыслей, но, как ни старался, она оставалась в его снах. Оставалась и владела ими... Эту страшную истину Иоанн постиг после болезни. Заболел он от горьких дум — перестал есть, потерял интерес к книгам, похудел, горб его, казалось, вырос еще больше. Часами мог Иоанн рассматривать пятно на полу, и взгляд его был ленивым, пустым. Единственное, что привлекало его, был сон, а во сне она — Ирина. Там, вне границ реальности, она была влюбленной, ласковой женой, пришедшей к нему только по взаимности. Иоанн держал ее маленькую руку с прекрасными перламутровыми ногтями и не хотел просыпаться. Разговаривали они о мелочах, но об очень милых: о пении птиц в саду, о цветке, который он преподносит ей, об улыбке, которая для него сияет в ее глазах... Он ни разу не был близок с ней как с женщиной, волнения плоти миновали его, поэтому во сне он видел Ирину чистой и непороч-

ной, милой и бесконечно доброй. Утром он просыпался ошеломленным, беспредельно одиноким и ослабевшим. Слуги, опасаясь за него, стали насильно выводить его в сад — пусть солнце вернет его к жизни, пусть ветер обласкает его. И он остался бы навсегда в плену безразличия, не узнай он, что еще один человек любил ее когда-то — Константин... Константин, который всегда удивлял Иоанна. Он узнал это от Аргириса, ученика Магнаврской школы. Новость отчасти успокоила его, помогла разделить боль с тем, кто был вполне достоин любви, но любимым тоже не стал. Значит, правдой была не Ирина из сновидений, а эта заурядная женщина, променявшая душевные богатства на житейские лжеценности вроде сомнительной славы его отца. Это открытие помогло Иоанну взять себя в руки, проявить волю, воспротивиться больному воображению; теперь ему надо было жить для достижения единственной, неблагородной цели — отмщения...

Пока он жив, она будет придавать ему силы...

6

Если Борис выехал из Брегалы, пора ему уже быть здесь... Гонец поскакал вовремя и не мог не доехать. Но тогда где же он?..

Хан приподнялся на локте и снова опустился на подушки. Оставалось жить считанные дни, и мир виделся ему теперь иным, полным смысла, насыщенным вещами, которых он раньше не замечал. Он открывал их с опозданием. Часто ли ступал он по сочной траве? И сколько раз его взгляд безразлично скользил по веселым весенним цветам, а слух лениво ловил веселую перекличку птиц в придорожных кустах! Все это существовало как бы само по себе, не волнуя его, не очаровывая. И вот должен прийти день, когда человек прощается со всем земным, чтобы он смог осознать подлинные, но, увы, упущенные радости. Кровь и войны, интриги, подхалимство и бессмысленные подозрения сопровождали его всю жизнь. Он будто получил эти тревоги в наследство, и теперь они неохотно уступали место настоящим, простым радостям, для которых у хана не осталось уже ни нормального зрения, ни слуха. Меч порушил все, злоба выжгла глаза. На своем веку встречал он людей с разными характерами и различным образом мыслей, всю жизнь занимался тем, что разгадывал их скрытые намерения, предотвращал неожиданные удары. Отец, Звиница, учил его быть недоверчивым: прежде чем принять слово за чистую монету, сперва хорошенько осмотри его со всех сторон. Старик часто приводил в назидание свой пример отвергнутого и ложно обвиненного сына. Почему именно Маламир стал ханом? Почему? Разве он, Звиница, был в чем-нибудь виноват? Эти вопросы звучали в детской душе Пресияна криком обиженного до боли често-

любца, который мог довериться только ему. С какой яростью накинулся на Маламира старый Звиница после смерти Энравоты! Он обзывал младшего брата тяжелыми, грубыми словами, а Маламир, вместо того чтоб рассердиться, приходил к брату домой оправдываться, словно был не ханом, а перепуганным мальчиком, совершившим во имя Тангры непоправимую ошибку. Хан Маламир сидел в углу, беспомощный и сгорбленный, раздавленный собственной тенью, и устало ронял слова, наполненные еле сдерживаемыми слезами и рвущейся изнутри болью. Хан болгар сетовал на свой удел — быть под грубым надзором старого кавхана и наставника Ишбула. Эта картина навсегда запечатлелась в сознании Пресияна: юноша хан и его брат, отец самого Пресияна, отвергнутый Звиница, в сумерках комнаты и отблесках очага. Один обвиняет, чтобы освободить душу от накопившейся злобы и зависти, второй оправдывается, надеясь вызвать сочувствие, чтобы ощутить себя человеком после того, как позволил совершить бесчеловечный поступок. А высоко над ними, в недостижимом тумане непогрешимости, парил кавхан — с лицом, будто высеченным временем, с глазами, в которых дремлет ленивое коварство азиатского барса. И постиг Пресиян, что робкой душе покоя нет, никто не пожалеет: у каждого хватает своей боли, и потому никто не в состоянии поверить и от сердца посочувствовать другому. Маламир оказался из слабых — от него не было пользы ни ему самому, ни близким. Душа его была мягкой и податливой, словно глина. Сильная и коварная рука могла лепить из нее что угодно. А рука кавхана была не из слабых. Имя его было высечено на камне рядом с именем Маламира, и к ним обоим относились пожелания долгой жизни. Такого уравнивания не могло быть во времена Омуртага. Под тяжким грузом испытаний надломилась душа молодого хана, стал он целыми днями беседовать с мертвым Энравотой, пока однажды не бросился с башни у больших ворот. Чтобы хан добровольно отказался от земной жизни — это было неслыханно. Тогда хитрый Ишбул пустил слух, будто Тангра позвал Маламира к себе и посадил его рядом, с правой стороны, ибо он защитил веру и достойно покарал Энравоту. Пресиян знал настоящую причину гибели Маламира: не вынесла жизни слабая душа и не нашла ни у кого сочувствия. Оставшись одна со своей тревогой, снедаемая сомнениями и укорами совести, она приняла поспешное решение, чтобы прекратить свои страдания, искупить свою вину... Взгляды всех обратились к Пресияну. Звиница был жив, но боилы и багаины во главе с кавханом отдали предпочтение сыну, надеясь, что и он будет глиной в их руках. Однако они обманулись. Пресиян понял, куда торопятся их мысли, и решил пойти вместе с ними, а затем постепенно найти свой собственный путь и повернуть на него боилов и багаинов. Так и произошло. Когда они поняли, что за внешним согласием он таит свои намерения, они ста-

ли держать ухо востро. Сто родов стояло на страже всего болгарского, у этих ста родов были родственники, у родственников — свои родственники, и на самом верху он, хан Пресиян. За все время своего владычества ни разу он не остался наедине с собой, вечно кто-то вертелся под ногами, вечно кто-то копался в его душе, пытаясь обнаружить в ее тайниках то, что хотел найти. Именно тогда Пресиян впервые понял, как трудно было Маламиру, постигшему бессмысленность своего правления, ощутившему себя лишь пешкой в чужой игре. Потому и решил он столь вызывающим образом покончить с собой, со всем этим. Но Пресиян хотел жить, и, если бог-небо дарует ему еще одну жизнь, он знает, как ею распорядиться. Помимо государства, он будет думать и о себе, о своей душе. А теперь что? Одни войны! С сербами, с византийцами, с переселенцами за Дунаем, война за веру, за землю, за славу. Но слава — глупое эхо, и лишь тот, о ком оно бессмысленно твердит одно и то же, не понимает, что становится посмешищем в глазах окружающих. Вот тогда являются льстецы, хитрецы, подхалимы — и вроде бы знаешь, кто они такие, и пустословие их ясно тебе, а все хочется им верить, ибо хвала их слагается для тебя, ибо хвала — как гусиное перо, которое приятно щекочет ухо, и сердце твое переполняется медом самодовольства. Все испробовал Пресиян в своей жизни, одно лишь упустил — подлинные земные радости, тут он до конца дней был незрячим и открыл их, к великому своему удивлению, теперь, когда поистине стал плохо видеть. Только теперь понял хан, что не среди людей существует истинный божий порядок, а у муравьев, у пчел, в согласном пении птиц и шелесте леса, когда листья дружески перешептываются на своем непонятном языке. Там, там обнаружил Пресиян истинную свободу, которую иногда бессознательно искал, встречал вместо нее недоверчивые взгляды боилов и багаинов, в которых затаился вопрос: чего же тебе еще надо?.. И он возвращался в свои хоромы-затворы — так черепаха прячется в оббитый панцирь. Свобода была для него лишь мечтой, но на мечту не оставалось времени. Он искал свободу не в принятии решений, а в себе самом, хотелось ощутить ее как свою сущность, а не как что-то соответствующее желаниям других, желанию кавхана Ишбула, который был слеплен из законов рода и которому все в этом мире было ясно. В этих рамках прошла жизнь кавхана, и он был доволен ею. И вряд ли в его тяжелой, широкой голове возникали мысли о свободе, подобной свободе христианских отшельников, ютившихся в пещерах Хема. Они чтили лишь одного бога, но он был слишком высоко, чтобы вмешиваться в их жизнь. И свободными они могли быть только в том случае, если обладали внутренней свободой — как мечтал Пресиян.

Теперь, когда его последние дни тускнели перед полуслепым взглядом, Пресиян чувствовал, что никогда не знал истинной свобо-

ды. Чтобы ощутить ее как следует, надо готовиться к ней с рождения. Смог ли он сделать это хотя бы для своих сыновей?.. Старший, Борис, давно окунулся в земные дела и в дела государства. Быть может, ему будет труднее дойти до непреходящих истин, заботы о других людях не оставляют ему времени всмотреться в себя. И все-таки, сравнивая свое время с временем, которое предстоит одолеть его первенцу, хан испытывал страх. Свое время Пресиян осилил с грехом пополам. Верно, он раздвинул границы государства, но не дерзнул осуществить главное — поднять его на один уровень с остальными царствами по вере, по внутренней духовной значительности; пока же его государство выглядело как разноцветное лоскутное одеяло, в нем не было целостности, единства, которое могло бы сделать его действительно мощным и непоколебимым. Не было объединяющей веры! Вера предков для этого слишком устарела. Если Борису удастся совершить это, он, именно он будет великим человеком, большим плодоносящим деревом, а Пресиян — отец — останется лишь корнем этого большого священного дерева... Докс — тот другой и лицом, и душой: легко восторгается, любит мудрствовать над приметами, высмеивать глупость, стремится избегать лишних государственных забот. Его путь кажется Пресияну вернее. Сознание, что он следует после Бориса и ему не быть ханом, вызвало у Докса не зависть, а душевное облегчение — первый признак внутренней свободы. Он любит вдохнуть жизнь в камень, высечь на нем слова в честь кого-то другого, сделать надпись на чешме, чтобы мысль, дошедшая до нас из глубины веков, оживила камень, взволновала нас и напутствовала тех, кто будет жить после нас. Греческий он знал, как византиец — выучился ему у пленных в ауле,— свободно толковал указы императора; подобно птицам, радовался он жизни, нисколько не заботясь, нравится это другим или нет. В таком же духе воспитывал он и своих детей. Тудор шел по пути отца, так же легко и солнечно улыбаясь, и это нравилось Пресияну — мир ведь создан для радости, не надо выть на него, как волк на луну с заснеженных хребтов государства, не надо смотреть исподлобья.

И это поздно понял Пресиян — жизнь уже на исходе, силы покидают его, единственным его зеленым лугом стала комната с птицами на коврах и с настенными изображениями охотничьих сцен. Он не испытывал больше никаких желаний, хотел лишь еще раз повидаться с Борисом и благословить его. А он опять уехал, на этот раз не на стройку в Преслав, а в свою Брегалу, вместе с женой и маленьким Расате, отдохнуть от дворцовой жизни с ее сплетнями и интригами. Пресиян понимал Бориса и оправдывал, но все равно жалел, что как раз сейчас его нет. Все же он надеялся, что увидит сына, прежде чем простится с этим миром...

Регенты и Михаил приняли наконец членов миссии. Несмотря на то что похвалы сыпались со всех сторон, Константин не был счастлив. Его ответы были мудрыми, но бесстрастными, взгляд — уставшим и углубленным в себя, голова — царственно спокойной. Императрица Феодора с трудом скрывала свое восхищение. Она смотрела на эту гордую молодость, одаренную красотой и чувством собственного достоинства, и как женщина женщину осуждала Ирину. Нельзя было остаться равнодушной к этому открытому лицу, светлому взгляду, мудрым словам. Феодора гневно косилась на Варду — человека, от которого исходили все беды и неправды. Она все еще не верила слухам о несчастном Иоанне. Можно было бы оправдать Ирину, если она решилась принести себя в жертву из-за сострадания к несчастному юноше, но если это был расчетливый шаг к его отцу, если она хладнокровно нанесла новую глубокую обиду израненной душе Иоанна, императрица не дрогнула бы наложить на нее самую тяжкую кару, хватило бы только власти. Темная сила таилась в глазах Варды, и Феодора робела в его присутствии. Он стоял мрачный и насупленный, с горящими глазами, не выпуская рукояти меча. В совете только он позволял себе носить оружие. Он смог убедить Михаила, что поступает так ради его безопасности.

— Мудрые мужи — лучшая драгоценность в моей короне.— Михаил поднял неокрепшую руку.— Философ, ты достойно защитил престиж моей империи, давшей миру самый лучший закон... Прими нашу похвалу, которую ты сам завоевал на чужой земле.

— Государь,— отвечал Константин, отвесив легкий поклон,— мир изменчив, и мудрость умножается. Быть может, я всего лишь зернышко будущего плода, и хвалы, чем более лестны для уха, тем больше смущают сердце, ибо человек не всегда чувствует себя достойным их...

Его слова повисли в тронном зале, их заглушили шаги уходящих. Совет закончился, философ направился к выходу. Когда он спускался по широкой лестнице, украшенной позолоченными львами, кто-то положил руку на его плечо. Константин замедлил шаги. Логофет Феоктист старался быть непринужденным и веселым, но за его внешней беспечностью угадывалась тревога.

— Побывав у Магомета, ты забыл о горе! — сказал он.— Кажется, тебе надоел дом старика...

Желая пошутить, Феоктист сказал правду. Его дом действительно опротивел философу, так как там он в последний раз видел Ирину и слышал ее многозначительный разговор с логофетом; этот разговор с недомолвками теперь лишился для Константина своей таинственности, и он почувствовал себя лишним. Что еще может сказать

ему логофет? Будет оправдываться, выгораживать Ирину? Зачем? Человек сам выбирает свою дорогу, и в конце концов ему все-таки кажется, что выбрал он самую плохую — в сущности, эта мысль должна бы быть привилегией одной лишь старости. Константин же молод, и слава богу, пусть тревожится логофет. Феоктист, по-видимому, понял свою ошибку, так как не сказал ни слова, а только прибавил шагу. Стражи у внешних ворот развели скрещенные копья, чтобы открыть им дорогу. Люди на улице с любопытством поглядывали на них, некоторые перешептывались и провожали их долгими взглядами.

— Ты стал известен, философ, многие узнают тебя...

— Слава — это камень, о который спотыкается зависть,— несколько туманно ответил Константин.

— И все-таки лучше иметь ее.

— Голодный живет мечтой о насыщении, а сытый уже не знает, во имя чего ему стоит жить,— все так же ровно и бесстрастно сказал философ.

В его словах было что-то обдуманное и нерадостное. Логофета обидело это равнодушие, и он поспешил заметить:

— Слушаю тебя, философ, но не узнаю... Я спрашиваю себя: возгордился ли ты или до того расстроился бестолковым поступком Ирины, что все тебе опротивело? Не верится, чтоб возгордился. Ирина? Глупо печалиться о ней. Не чета она тебе, ох нет! Существо, душевно опустошенное и злобное. Правда, я тебе намекнул однажды... знаешь... и все, не повторял, ибо понял: пропасть между вами. Ты огонь — она лед, ты сокол — она бескрылая курица, ты муза — она голос лягушек, что наполняют болота своим кваканьем. Одно лишь манило меня — сочетание твоей мудрости с ее красотой. Вот эти две вещи были мне нужны. Они могли бы обогатить мой род, придать ему блеск... И все же я не потерял своих надежд. Ты должен высоко нести голову. Тебя ждут дела...

— Дела? — встрепенулся Константин.— Кому они нужны?

— Как это кому? Всем нам! — сказал Феоктист, понизив голос.

— Но кто же вы?

— Мы? — переспросил логофет и добавил, оглянувшись вокруг — не подслушивает ли кто: — Скажу, только поклянись, что сохранишь тайну.

Разговор принимал особый оборот, и Константин понял, что дело нуждается в обдуманном решении. Он не спешил клясться, но любопытство уже прогнало равнодушие. Молчание его, однако, озадачило Феоктиста, и он спросил, нахмурившись:

— Послушай, философ, ты знаешь мою давнюю привязанность к тебе и твоей семье. Я всегда верил в твою искренность и прямоту,

в твои незаурядные качества ученого. Ты сам убедился, что мой ум и мое сердце не закрыты для тебя. Ты всегда был для меня дороже собственного сына. Когда твой отец испустил последний вздох, его слова и глаза были обращены ко мне, чему свидетельницей была твоя мать. Впрочем, сам знаешь... И теперь я доверяю тебе тайну — не только мою, но и Феодоры. Поклянись!

Эта настойчивость еще больше разожгла любопытство Константина. Тайна, в которой он тоже должен принять участие... Нет, он решительно не понимал, чем может быть полезен Феоктисту. Пройдя несколько переулков, они оказались во дворе логофета. Солнце бросало на землю косые лучи, красный закат охватил и небо и город. Призрачный, нереальный его свет пробивался сквозь зелень южных деревьев, как сквозь витражи храма. Словно сговорившись, оба направились к красивой беседке, где Константин услышал когда-то разговор между Ириной и Феоктистом. Это воспоминание вызвало у него приступ досады и озлобления.

— Пусть будет так,— сказал он.— Клянусь единым богом, что сохраню тайну...

Теперь Феоктист не торопился. Он сидел задумавшись, расслабившись, и только глаза его горели непонятной решимостью. Никогда он не был столь откровенным с Константином.

— Мы решили покончить с Вардой,— начал он.— Кто он такой? Простой наставник в совете, как и я, а всю власть заграбастал... Оторвал Михаила от матери, настроил его против нас... Споил его... Влез в мой дом и в душу — украл Ирину, и вовсе не для увечного сына, а для себя. Да, для себя!.. Это говорю тебе я, и ты не должен сомневаться... Дозволь и мне иметь кое-где своих людей... И когда я обращаюсь к тебе, я делаю это от имени матери, Феодоры,— императрицы, действительной владетельницы престола.

— Я вижу подлость... Но, дорогой логофет...

Однако Феоктист прервал его:

— Разумеется, мы не хотим, чтоб ты вступал с ним в борьбу, нет! Важно, чтобы ты знал о коварстве этого человека. И если для твоей боли нет скорейшего исцеления, мы можем отправить тебя стратигом. Деньги... женщины... все... Понимаешь? И власть. Войско, которое будет в твоих крепких руках. Ты знаешь, как мне жаль Мефодия, как нужна мне его мужская десница. Увы, с ним уже нельзя разговаривать... Там сатана. Я видел Мефодия недавно, по правде сказать — стало боязно за тебя и за него: совсем озлобился. Держись от него подальше. И не забывай о подлости Варды. Если мы уложим его мечом, с Михаилом будет справиться проще простого...

Закатные лучи били логофету в глаза. Константин почувствовал холодок озноба.

— Ты жесток, логофет.

— Ты ошибаешься, философ. Я никогда не был жестоким, однако жизнь подсказывает нам единственный путь к власти... Власть — как широкая степь: чем дальше идешь, тем сильнее опьяняет она запахами, дурманит ароматами трав, манит бесконечностью земли и неба, и рождается чувство, что все это — твое... И если какая-нибудь тварь, пусть даже ничтожная, появится на твоем пути, она должна умереть, чтобы не осквернять твои владения. Раз уж пошел по этой степи, нет возврата... Я давно бреду по ней и не могу вернуться, тем более сейчас, когда бо́льшая часть жизни позади. Но я не позволю, чтоб какой-то пьяница и развратник путался у меня под ногами. Он должен пасть от моего меча, как баран, иначе я никогда не обрету покоя.

— А Феодора? — невольно спросил Константин, увлеченный рассуждениями Феоктиста.

— Мать Феодора? Это похоже на то, будто ты несешь в руках цветок, самый красивый цветок, сорванный в этой степи... И власть не сладка без таких цветов. Я буду троном, она — цветком, украшающим его. Вот тогда, если тебя манит величие духа, престол патриарха будет тебе как раз... Общение с богом — самое подходящее дело для мудреца.

— Но это святотатство!

— Что именно? — не понял Феоктист.

— Обещание патриаршего престола.

— На всякого мудреца довольно простоты! — криво усмехнулся логофет.— Прости, философ, но ты действительно живешь в облаках и смотришь на людей оттуда. Сверху они видятся либо лысыми, либо с буйной шевелюрой. А человек-то — штука сложная! Что святотатство?.. А разве не святотатство отнять сына у матери? Не святотатство бросать людей в темницы из-за того, что они поклонялись иконам? Не святотатство с патриаршего престола натравливать людей друг на друга?.. Не святотатство свергнуть недавнего патриарха, как было с Анисом Грамматиком, и сослать его? Это сильное слово — святотатство, философ. Пусть люди постарше судят о том, что святотатство и что нет. Но попомни мои слова: если мы добьемся успеха, то сделаем все, чтобы воссияла чистая и непорочная правда!

Константин молчал — ему не хотелось спорить. Он сравнивал себя с деревом, на которое обрушился внезапный вихрь, стремящийся унести его за собой, но дерево не поддается и стоит на своем месте. Слова о Мефодии раздражали его. Они были подобны камням, брошенным в заветный уголок его души, и тот, кто их бросал, не был уверен, попадают ли они в цель. Одно было ясно философу: логофет провел такой же разговор с его братом, но без успеха. По-видимому, молчание Константина понравилось Феоктисту.

— Хорошо, что ты обдумываешь это,— сказал он.— Но не

раздумывай долго, надо действовать. Если решишься, я устрою тебе встречу с матерью Феодорой, получай ее благословение и пост в Фессалии...

Слова эти вновь остались без ответа. Черная птица, маша крыльями, пересекла далекий красный закат и заметалась на огненном его фоне, будто кусок угля, перекатывающийся с места на место. Она то становилась еле заметной, то опять вырастала. Наверное, этот неестественный пожар напугал птицу, и ей все не удавалось преодолеть его, вырваться, найти укрытие в сумерках. В смятении птицы Константину почудилось некое знамение. Он встал, плотнее запахнул плащ и слегка поклонился.

— Спокойной ночи, логофет!

— Спокойной ночи, философ!..

8

Павлины в саду распустили многоцветные хвосты. Феерия красок вдруг вспыхнула перед глазами Ирины. Рука ее потянулась к золотому песку и неловко бросила горсть мелких зерен. Павлины, тихо зашипев, скрылись за олеандровым кустом.

На лестнице появился долговязый слуга и, поклонившись, тонким голосом возвестил:

— Государь ждет тебя...

Ирину всегда раздражало это «государь» на первом плане. Неужели трудно привыкнуть обращаться к ней, как надо?

— Кого ждет? — иронически спросила она.

— Тебя, светлейшая...

— Запомни на будущее: «Светлейшая, государь хочет видеть тебя». Ясно?

— Светлейшая, ясно...

— Не «светлейшая, ясно», дурак, а «ясно, светлейшая!» — угрожающе глянула она на него.

— Увидеть тебя, светлейшая, ясно! — совсем запутался слуга.

— Болван! — гневно прошипела Ирина и, пройдя мимо нахохлившихся павлинов, скрылась в прохладных коридорах.

Варда ждал. С тех пор как он взял ее в свой дом, он перестал таскаться по тайным сомнительным заведениям, приходил домой рано, сторонился веселых компаний. Нанял в охрану бывалого парня — косая сажень в плечах, лицо мертвенно-бледное, неподвижное. Ирина попросила Варду удалить его: пусть он будет где угодно, лишь бы не во дворце. Варда отнесся к ее просьбе как к шутке, однако парня больше в дом не пускал. Василий, так его звали, догадался, что чем-то не угодил снохе Варды, но ему было достаточно того, что

Варда ценит его. Он честно исполнял свою службу, время от времени даже участвовал в гульбищах кесаря, конечно, с его разрешения. Он прошел длинный путь, прежде чем получил пост во дворце василевса *. В свое время болгарский хан Крум выселил десять тысяч пленных из-под Адрианополя в Македонской феме. Он отослал их за Истру, но они мечтали вернуться обратно и, чтобы это осуществить, послали Кордилу, одного из тайных вождей, в Константинополь для ведения с императором переговоров о помощи. Помощь обещали, союз заключили, но восстание переселенцев вспыхнуло до того, как приплыли обещанные корабли. Болгарские войска, не ожидавшие удара, отступили, и даже с помощью мадьяр не удалось подавить бунт. Переселенцы дождались кораблей и вернулись на старые места. В то время Василию было три года. Его детство началось в битвах, и он рано взял меч, чтобы зарабатывать им на хлеб. Недавно парня с лицом мертвеца порекомендовали Варде. Василий понравился кесарю своим умением не напиваться и не болтать о том, что видят глаза. Суровое лицо пепельного цвета внушало почтение, оно излучало в темноте особый тусклый свет, который пугал людей. Будучи любителем всяких странностей и всего необычного, Варда приблизил его и сделал доверенным человеком. Василий не принадлежал к знати. Его отец, один из тех вернувшихся пленников, слыл хорошим хозяином в окрестностях Адрианополя. Варда видел, что мертвенно-бледное лицо Василия страшило окружающих, и не расставался с ним. Даже когда сестра попросила удалить его, Варда притворился, что не расслышал ее просьбы. Только Ирине он не хотел отказывать и определил парня сторожем у внешних ворот сада. Прошло уже немало времени, как Ирина перестала ходить в город — то ли стеснялась, то ли молва пугала ее. Целыми днями она гуляла в саду, примеряла наряды в специально обставленной для нее опочивальне, радуясь этому, как дитя. Варда не спрашивал, счастлива ли она: он считал, что под его покровительством каждый должен быть счастлив. Иногда он улавливал в ее глазах легкий туман, подобный мареву у берегов Узкого моря *, но не задумывался об этом, ибо не привык вникать в чужую жизнь. Он отдавал себе отчет, что с некоторых пор стал домоседом, и понимал, что причиной этому — Ирина. Он был горд тем, что она принадлежит ему, что он вырвал ее из рук своего врага Феоктиста. Кесарь впервые увидел Ирину на ипподроме два года назад, во время больших праздников. Она была в светлой одежде, в венке из васильков. Это скромное украшение одухотворяло ее тонкие черты, и мраморное чело, казалось, излучало загадочный свет, свет невинности, девичьей чистоты. Варда послал слугу сказать, что хочет видеть ее.

— Кто хочет? — спросила она.

— Варда, кесарь! — с нажимом ответил посланец.

— Не знаю его,— ответила Ирина.

Сконфуженный слуга передал ответ, но Варда, вместо того чтоб разгневаться, засмеялся. Он быстро понял, что Ирина не так наивна, какой хотела бы казаться. Она знала, что любое посягательство на нее вызовет не только пересуды, но и скандал, и потому держалась с таким достоинством. Второй раз Варда встретил ее на улице, остановил коня и заговорил с ней. Он умел расположить к себе женщину без особых усилий. Слишком много их прошло через его руки, и ему не надо было искать слова.

— А где венок из васильков? — спросил он.

— Умные люди не носят на голове украшений, которые интереснее их,— последовал ответ.

— А почему?

— Потому что украшения мешают заметить их самих...

— Ишь ты!.. А если венок — последнее из всего, что я заметил?

— Тогда зачем о нем спрашивать?

— Затем, что венок я и сам могу сделать, но снова увидеть твою красоту не могу — это от тебя только зависит.

— Я не ребенок, чтобы верить твоим сказкам,— ответила Ирина и свернула в переулок.

Варда хотел было последовать за ней, но появилась новая смена башенной стражи. Воины встали по обеим сторонам дороги, расставив ноги и сжав рукояти мечей. Варда в гневе пришпорил коня. Помешали догнать ее!.. Потом в дело включились его доверенные тетушки. Они были как щупальца его желаний, но девушка знала себе цену. И лишь тогда, когда придумали вариант с Иоанном, она согласилась, согласилась стать снохой Варды... Две двери и два длинных коридора отделяли свадебное застолье от опочивальни кесаря. Надо было пройти их. Труднее всего было в первый вечер. Но она была легкомысленной, и угрызения совести не долго мучали ее. Она знала, что от них остаются морщины на лбу, а потому беспечно бросилась навстречу своим желаниям. А они были отнюдь не духовными...

Уже с порога Ирина увидела седеющую бороду Варды и прибавила шагу. Усвоив притворство высокородных византиек, она не подбежала к нему, не стала бурно выражать свою радость по поводу его присутствия. Сев напротив Варды в инкрустированное перламутром кресло из самшитового дерева, она опустила длинные ресницы. Варда встал, подошел к ней, и она почувствовала, как его руки коснулись ее груди, а потом поползли вверх и соединились сзади на слегка склоненной шее. Сквозь ресницы проник блеск великолепного золотого ожерелья с драгоценными камнями, искусной работы восточного мастера... Ладони Ирины легли поверх самоцветов, она прижала

их к заколотившемуся сердцу. Глаза расширились, округлились. Она вскочила и прильнула к широкой груди Варды.

— Откуда?

— Выкупился один раб...

— А у него оно откуда?

— Не спрашивал.— Кесарь пожал плечами.— Не ворованное же!

Ликование Ирины обрадовало его, но ее вопросы огорчили. Какая разница откуда? Главное, что красивое!.. Однако в глубине души он ее оправдывал. Увидев ожерелье, он и сам спросил, откуда у его старого раба, подаренного Магнаврской школе, такая драгоценность. Велел выпороть, но узнать правду. Пороть не понадобилось, старик сказал — от Константина, тот дал ему, чтобы выкупился. Подозрительный и недоверчивый Варда усомнился, но люди, проверившие это, подтвердили: Константин привез его из земли халифа. Это известие не обрадовало кесаря. Он слышал кое-что об отношениях философа и Ирины. И вот подарок, предназначенный для нее, волею судьбы должен попасть к ней через него, Варду! Это странное путешествие ожерелья вызвало у него раздражение. Сперва он решил не отдавать его Ирине, но красота работы, великолепие самоцветов и радость, которую ему предстояло увидеть в ее глазах, взяли верх. Он отдаст, но утаит от нее, какой путь через границы, по различным городам и деревушкам проделало ожерелье, наполнявшее шкатулку философа прекрасными грезами... Ирина продолжала любоваться подарком. Спроси она еще раз, кесарь рассердился бы, но она не спросила. Казалось, однако, что Ирина больше рада ожерелью, чем Варде. Да и почему она должна быть рада ему? Он непрерывно занимал ее рассказами о своих врагах, предчувствиями заговоров, разговорами о разных делах, не предназначенных для женских ушей. Умом она не блистала, зато имела врожденную хитрость. Каждый день подтверждал это, и чутье подсказывало кесарю, что хорошего ждать не приходится. Но ведь если плохое рано или поздно придет, зачем же торопить мысли о нем? Надо жить! Когда человек силен и властен, даже мгновение имеет высокую цену. А Варда считал себя и сильным, и властным.

9

Константину не хотелось идти в дом Феоктиста. К тому же после ухода людей кесаря, посетивших его, ему все опротивело. Несмотря на их учтивость, философа не покидало чувство, что его допрашивают. Ожерелье в руках Деяна привело их в полное недоумение. В их умишках никак не умещалась мысль, что столь дорогостоящую вещь можно подарить слуге.

Константин улавливал в их вопросах мрачное недоверие. Наверное, им мерещилась какая-то тайна — например, заговор против кесаря, в котором Деян выступает как похититель. Но Деян не мог быть похитителем: он был, во-первых, стар, а во-вторых, кто пустит такого оборванца пред солнечный лик кесаря? Да и о выгоде нечего говорить: какая Константину может быть от этого голодранца выгода, которая стоила бы такой щедрости? Нет, нет, тут есть что-то, пока непонятное, но придет время, и все откроется.

Недоумение сквозило в их взглядах. Философ прекрасно знал слуг кесаря: они привыкли себя продавать, их вселенная находилась между золотых стен купленного благополучия, и думать иначе они просто не могли. Его имя и известность заставляли их быть вежливыми, не то они не остановились бы ни перед какими средствами, лишь бы раскрыть эту тайну. В их глазах Константин был либо большим хитрецом, либо большим дураком. Однако хитрец вряд ли расстанется с бесценным ожерельем...

Философ не проводил их. Просто подождал, пока они захлопнут за собой дверь, и улыбнулся. В улыбке были боль и сожаление. Вот кому он должен служить, бороться за их лицемерный мир, за их благополучие, над которым светит только одно солнце — золотой плевок номисмы *.

Константин прошелся по комнате, прислушался. Магнавра стихла. Во всей школе горела только его свеча. Он подошел к своим книгам и задумался. Надо уехать, надо бежать отсюда...

Мрак навалился на окна — густой, тяжелый. Константин стирал пыль с переплетов старинных томов и клал их кипой на стол. Он окончательно решил покинуть мир знати, где его душили притворство и фальшь. Пока он перебирал книги, глубоко в душе родились слова стихотворения:

Я так спешил вернуться! Но что нашел я тут?
Надежд моих разбитых лишь отзвуки живут,
Они мне грудь терзают уж много-много дней,
Твой голос даже ночью звенит в душе моей...
Любовь мертва навеки, тому виною ты.
В науках преуспел я, но растерял мечты.
Как рвался я на диспут, как в спорах пламенел!
В искуснейших софизмах я рано преуспел.
Но видел я, сколь дорог им древний их Багдад
И как любовью к дому глаза у них горят,
Им родина — опора, непобедимый стяг...
А что же я такое?.. И кто мне друг и враг?
Я разве византиец? Иль кесарь, может быть?
И как могу я кровь свою славянскую забыть?..
К чему мне эта слава? И разве смысл в том есть,
Чтоб мне теперь сражаться за славу их и честь?
О, как они жестоки! Как их закон суров!
Он веру иссушил мне и осквернил любовь!

Зачем мне ждать напрасно, что логофет решит?
Оставить все и бросить, и бог меня простит. [1]

Константин поднял последнюю книгу с деревянной этажерки, и мысль его оборвалась. Быстрые шаги приближались к двери. Через секунду в комнату ворвались Савва, Горазд и Ангеларий. Они вытолкнули вперед смущенного и ошеломленного Деяна.

— Целуй руку!

— Он пьян от радости!

Деян опустился на колени, взял руку Константина, поцеловал и прижался к ней лбом.

— Учитель, я как во сне, мне и верится, и не верится!..

— Мы застали его в слезах,— сказал Савва.

— Все о какой-то ниве льна рассказывал,— вмешался Горазд.

Философ медленно отнял руку и оперся о стену.

— Второй раз он благодарит меня, но за что? — сказал он.— Человек пришел в этот мир сеять добро, а мое добро — лишь капля в море человеческих страданий. Каждому на этой божьей земле нужны ласка и окошко к свету. Но свет вряд ли проникнет сквозь это окошко, если нет свободы. Деян дождался ее, и не надо было мешать его слезам, ибо, пока жив человек, он омывает ими и радость, и боль...

Горазд подошел к Деяну и дружески положил ему руку на плечо.

Старик все еще стоял посреди комнаты и шептал: «И верю, и не верю».

— Все правда, отец, все. Даже люди кесаря приходили узнать, откуда у тебя столь драгоценное ожерелье... Тот, кто другим не верит, себе тоже не доверяет.— Константин провел ладонью по лицу.— Жаль, что я не могу вернуть тебе твою молодость, не могу дать крылья, на которых ты устремился бы в сторону таинственного Хема — туда, где светит лазурь твоей нивушки, где прошла твоя молодость. Доброе у тебя сердце, отец, доброе. Я могу только завидовать, что есть где-то уголок, о котором ты мечтаешь и в котором живут твои светлые грезы... Ты, Деян, самый богатый из нас, ибо у тебя хоть что-то есть, а у нас?

Константин глубоко вздохнул и торопливо добавил:

— Да, чуть не забыл. Приходил мой брат, искал меня. Поехать, что ли?..

— Куда, учитель? — поднял голову Савва.

— К нему, в монастырь...

— А нам нельзя туда? — спросил Ангеларий.

— Савва пойдет со мной.

[1] Перевод А. Гугнина.

— А я? — спросил Горазд, поглаживая рыжую бороду.

— Нельзя, Горазд, тебе и Ангеларию пошлю известие, когда наступит время... А ты, отец, чего пригорюнился?

— Скажи старику, учитель: разве пускается в путь-дорогу замученная птица, если где-то там, на родине, ждет ее у старого гнезда хищный сокол?

— Я понимаю тебя, отец,— улыбнулся Константин.— Здесь ты уже свободен, но там, на родине — вряд ли. Там ты будешь снова париком * в имении государя, ведь твоя нива сейчас в чужих руках. Тогда ты станешь совсем бедным, ибо твоя долголетняя мечта, укреплявшая твою душу, сгорит в огне жестокой правды.

— Почему ты не берешь меня с собой?

Ученики радостно зашумели. Предложение старика было очень ко времени.

— Возьми его, учитель! — настаивал Савва.— Возьми его, он никогда и никуда не сможет уйти от недоли. Враг у таких, как он, везде: и в землях халифа, и в Болгарии, и здесь. Возьми его, учитель!

Константин подошел к столу с книгами и сказал, улыбаясь:

— Если поможете собрать книги, возьму...

10

Брегала привлекала князя Бориса своей особой красотой, отшельническими скитами, тишиной и покоем. В стороне, у крутого поворота реки, высилась каменная крепость бывшего византийского стратига Михаила, о котором хорошо отзывались здешние земледельцы и рабы. Борис унаследовал его дом, полки, уставленные древними книгами о святых и послушниках. Пергамент источал запах ладана и воска, на нем были изображения, написанные кармином и золотом,— вероятно, книги принадлежали когда-то монастырям, укрывавшимся неподалеку среди скал и лесов ущелья. Когда войска отца заняли эту землю, Борис выпросил ее у него. Он впервые просил отца, и его просьба была удовлетворена. Пресиян переуступил землю, выдав специальный хрисовул * о вечном владении — пока высятся горы и существует небо. Молодой князь полюбил эту землю. Целые дни проводил он в густых лесах, охотился, размышлял. Странная успокоительная сила исходила от камней, речных полуостровов, сельских белилен, где светловолосые славянки расстилали длинные ленты полотна. И небо, и лес, и окруженная холмами равнина излучали тепло, от которого виноград становился слаще меда. В стороне

от крепости, на расстоянии одного пробега на коне, белели монастыри времен византийского стратига. Он был ктитором, и его изображение красовалось на стене в дальней часовне с маленькой церквушкой; около него собралась семья — властная жена, вся в жемчугах, и целый выводок детей. Первое посещение монастыря Борисом перепугало его обитателей. Князя встретили незнакомыми песнопениями; голоса звучали неумело, без надлежащей торжественности. Никто не знал намерений нового хозяина Брегалы, и потому все были робкими и как бы оцепеневшими. Только глухонемой оборванный монастырский служка кланялся безбоязненно, что-то мычал и все протягивал руку за милостыней. Борис бросил ему золотую монету, тот долго рассматривал ее на солнце, не забыл попробовать и на зуб. В благодарность служка побежал к груше, росшей посреди двора, собрал несколько плодов и преподнес их гостю. Лицо игумена потемнело, встречающие испуганно попятились — не обидится ли новый хозяин Брегалы, но его улыбка просветлила и их лица. Видно, неплохой человек, хоть и язычник. Улыбка выражала благой нрав... И они стали показывать ему, язычнику, белый монастырь, повели его вдоль стен, где на фресках был изображен путь веры Христовой, он услышал запах сальных свечей, ладана и особый запах, испускаемый пергаментами и толстыми книгами бывшего стратига.

Борис шел под высокими сводами, разрисованными образами святых, каких-то кривоногих существ с железными трезубцами в руках, и ни о чем не спрашивал. Спросил лишь о ктиторе с церковью на ладони. Игумен запнулся, но, собравшись с духом, стал долго и туманно объяснять судьбу семьи.

— Он жив? — спросил князь.

Переводчик торопливо перевел:

— Он остался в живых. Был ранен, однако выжил... Но дети...

— Что они?

— Упокой их душу, господи...

— Что? — не понял гость.

— Они умерли от оспы,— пояснил переводчик.

Лицо молодого князя потемнело, он оглянулся и, увидев приближенных, направился к выходу, не сказав больше ни слова. А на следующий день прислал со своим человеком хрисовул, в котором закреплялось право монастыря на его владения. Он сделал это втайне от всех и от отца: не хотел дразнить их, давать повод для сплетен о своей щедрости к иноверцам.

Но это было вначале, в дни, когда князь еще входил в дела. Теперь он знал гораздо больше о бывшем стратиге и о его боевом ранении, о том, что его отец был друнгарием Солуни и умер от ран. В глубине души Борис сочувствовал ему — лишь потому, что у него умерли все дети. Наверное, он был добрым человеком, если его по-

жалел и спас от плена па́рик, собственный парик, вместо того, чтобы, повинуясь ненависти к господам, добить его. Вечерами при свете большой свечи, стоявшей у постели в золоченом подсвечнике, Борис долго рассматривал толстые книги. Он хорошо читал по-гречески — лучше, чем говорил. Чудотворные подвиги святых пронизывала общая мысль — возвышение к добру. Все складывалось так, чтобы человек стремился к добру, любил себе подобных, ибо создатель мира видит всякую неправду... На первых страницах обычно рассказывалось, когда написано житие, при каком императоре, писец не забывал подчеркнуть божественное начало императорской власти. В сущности, так же обстояло дело и с ханской властью. И хан Омуртаг, и Маламир, и Пресиян, отец Бориса, не упускали случая отметить это божественное предопределение в каменных надписях, однако камни с надписями стоят на одном месте, их мало кто читает, тогда как такое вот житие переходит из рук в руки и сотни глаз могут впитать мысль о божественном происхождении императорской власти. Разумеется, это возможно лишь тогда, когда народ грамотен, но, если у болгар нет своей письменности и приходится пользоваться греческой, где ни сделай надписи, разве прочтут их простые парики, отроки и даже боилы и багаины? Многие ли из них умеют читать и писать? Вряд ли наберется и десяток. Эти мысли всерьез занимали ум молодого князя, глубоко проникали в его сознание и часто были причиной его ночных бодрствований.

В последнее время Борис приезжал сюда не только охотиться, но и для встреч с князьями славян, живших на этих землях до самого Пелопоннеса. Об этих встречах он говорил мало, так как болгарские роды были против любого сближения со славянами. В надписях на каменных столбах, прославляющих выдающиеся события и победы, славяне до недавнего времени упоминались в числе врагов. Хорошо, что отец тихо изъял эти упоминания. Славяне могли быть только друзьями болгарского государства. Их было столько, сколько песку в реках. Зачем настраивать их против себя? Из бесед с князьями Борис понял, что они — люди слова и дела. Не все они были христианами, однако из-за веры не воевали между собой. Многие пожелали с ним встретиться после посещения белого монастыря. В их глазах его возвысила молва о том, что он не разделял людей по вере и даже подтвердил владения монастыря.

Борис был с ними искренен и прям, не пытался ставить им условия, которые могли бы унизить их достоинство, никогда не пожелал того, что принадлежало им, и никогда не руководствовался правом сильного. Он знал, что у каждого народа свои мерила добра и зла, и позволял им самим устраивать свои дела. Когда вспыхнуло большое пелопоннесское восстание, он обещал помочь, но предупредил, что прежде всего они должны надеяться на себя. Славяне храбро воева-

ли с войском Феоктиста Врисенния, но сил не хватило. И когда караваны беженцев отправились искать спасения в далекой земле болгар, никто не посетовал, что наследник хана их обманул.

Борис хорошо позаботился о размещении беженцев, и это умножило его славу хорошего правителя. Вечерами владетель Брегалы садился на коня и под покровом сумерек скакал в монастырь. Там, во дворе, под тяжелыми гроздьями винограда, он допоздна разговаривал со старым игуменом. Беседа об урожае, о доходах монастыря незаметно переходила к учению Иисуса. Игумен был книжником, он провел долгие годы в Полихрониевом монастыре в Малой Азии. Пережил распри между иконоборцами и иконопочитателями, лично знал славных аскетов и отшельников, лежал в подземелье и занимался самоистязанием, чтобы очистить себя для великого переселения души, а теперь ревностно заботился о делах монастыря и душах своих монахов. Это был тихий старец с совершенно седой бородой до пояса, с бронзовым крестом на груди, добрый той добротой, которая присуща людям, готовым в любой момент предстать пред очи небесного судии — их хорошего друга, который, когда бы ни видел их с высоты, всегда кивал им в знак своего расположения. Игумен знал произведения Дионисия Ареопагита * и его словами толковал церковные догмы, разъясняя учение Христа. Слушая старца, Борис старался постичь суть. Он не спорил, не стремился доказывать преимущества веры своих предков — он слушал и мысленно сопоставлял ее с новым учением, трезво взвешивая ее хорошие и плохие стороны. Если так много народов поверило в силу нового учения, стало быть, в нем есть какая-то великая истина — и эту истину искал наследник болгарского хана.

Когда из Плиски прискакал гонец позвать его на последнее свидание с отцом, Борис не сразу двинулся в путь, а долго бродил по широким коридорам крепости, и думы его были тусклые и неясные, как солнце в пасмурный день — не видишь его, а только знаешь, что оно где-то есть. В сумятице мыслей Борис ощущал, как зреет в нем решение о новом пути для его народа. Что скажет умирающий хан о его тайных намерениях? А вдруг испугается, стоя на пороге входа к небесному судье Тангре, и проклянет его? Вдруг в последний момент лишит его престола, чтобы не соучаствовать в коварных замыслах по отношению к вере предков? Или Борис нарушит его вечный покой... Но ведь есть еще время все обдумать. Дорога достаточно длинна, и можно сто раз решить и сто раз отказаться от решения. Лучше ехать, чем терять время в бесплодных колебаниях. Борис вышел на каменную лестницу, под которой его ждал оседланный конь. Свита блистала кольчугами, разноцветными одеждами, и только остроконечные кожаные шапки были нахлобучены на лоб в знак скорби.

Жена с маленьким Расате тоже вышла проводить мужа. Глаза

малыша сияли — темные, не по-детски серьезные — под шапочкой с золотой монетой.

Жена Бориса была смуглая, невысокая, ему пришлось склониться, чтобы дотронуться до ее плеча. Престолонаследник надеялся, что самое худшее еще не случилось и что не надо очень спешить. Отец был двужильным человеком, и не так-то легко болезни справиться с ним. Испугался, наверное, что же еще... Он поднял плеть, стегнул коня, и свита последовала за ним.

11

Неожиданно налетел ветер. Глухой гром прогремел где-то над вершинами Олимпа, покатился в овраги и стих. И в наступившей тишине вдруг послышались робкие шаги дождя — сначала редкие, потом все более частые и уверенные; дождь забарабанил по монастырской крыше, по крупным листьям орешника у окна кельи.

Мефодий бросил перо.

— Не получается, Климент! — сказал он.— Рука устала ждать, когда явится мудрость, а ее все нет и нет... Лист пуст, как бесплодная нива.— Он озабоченно посмотрел на молодого послушника, и вдруг его лицо просветлело.— А почему бы не попытаться тебе? Попытайся! Может, первым создашь славяно-болгарскую письменность...

— Пытался, учитель, не получается,— грустно обронил послушник.— Молод я, и мудрости не хватает... Такого святого дела достоин только один человек, ты знаешь.

— Знаю! — вздохнул Мефодий.

— Тогда почему же не дождался его?

— Не в добрый час я туда попал, Климент...

— И все же стоило попросить.

— Нет, брат, слава — дьявольский соблазн, молодости не под силу ее одолеть. Не будем больше говорить о Константине... Он вырос среди знатных, вот что плохо. Он вкусил отраву себялюбия, потому я и побоялся с ним встретиться. Ты ведь знаешь, я ходил туда. Ждал его, не дождался. Почувствовал себя, как бедный родственник на богатой свадьбе... Вся столица вышла на улицы — встречать его: глаза горели нетерпением посмотреть на него, руки — прикоснуться к запыленной одежде, знати хотелось присвоить его. Дорогу ему устлали цветами... Он победил! Затмил мудрейших сарацин и принес империи то, чего она до сих пор не имела,— ореол мудрости...

Мефодий смолк, вслушался в шум дождя и встал. Прихрамывая, быстро пересек келью и подошел к Клименту.

— И понял я, что пришел не в добрый час... То была минута, когда слава лишила его слуха и осыпала золотом надежд начало его пути. В такие мгновения человек воображает, что он велик, думает, что ему все дозволено, что одним прыжком он может перемахнуть море. Молодость любит грезить, а ведь он в душе — поэт... А я что? Я открывал ему дверь в неведомое — тогда как жизнь распахивала перед ним широкие ворота благоденствия. Я подумал и не стал его ждать. Только оставил письмецо. Если оно подскажет дорогу к истине — может, он прислушается к голосу крови предков и разыщет нас...

Мефодий снова умолк. Остановился у грубого деревянного стола, задумался. Теперь ему казалось, что дождь льет на него, охлаждает ему душу, оплакивает напрасно загубленное прошлое. Там зияла какая-то трещина... Казалось, ветер проникал сквозь нее, а не через приоткрытую дверь, и колеблющееся пламя свечи то пригасало, то разгоралось, заставляя пританцовывать черную тень Мефодия. Она взбиралась по стене, занимала половину низкого потолка и потом быстро возвращалась на свое место, за его спину. И звук деревянного колокола все так же терялся в темноте, будто падали капли из водосточной трубы — одна за другой. Мефодий слушал звуки, и их неравномерный, таинственный голос чудесным образом повел его по дорогам молодости. Она прошла в Брегале. В то время он был не хромым монахом, который ломает голову над какими-то несуществующими знаками, а стратигом со своей фемой, стражами и со своими заботами. Его заботой было наполнять казну императора, не грабя людей. А люди нищенствовали. Нищета ходила следом за слепыми, за попрошайками, голод стучался в ворота... Засуха владела долинами и, как огненный змий, вылакала последнюю влагу корявым языком безнадежности. Вот в эти тяжкие для людей дни он постиг смысл своей жизни, понял, где его место на длинной лестнице рангов и званий. На горбатом мосту жизни стояла и манила призрачная статуя благополучия; пока молод, человек стремится к ней, жаждет прикоснуться к ее многообещающим ладоням, прильнуть к золотым губам. В этой вечной погоне годы скатывались в пыль, как капли пота со лба труженика, а сетка морщин на лбу как бы воплощала сеть его бесконечных невзгод. И вот приходит миг, и ты внезапно постигаешь, что там, за горбатым мостом, живут такие же несчастные люди, но не осознающие несчастья, ибо ослепли от вечной погони за властью. Жестокие к себе и другим, они привыкли только требовать. И Мефодий, оказывается, лишь рука, их хищная рука, безжалостная по отношению к себе подобным. Она держит меч, стегает бичом, ставит виселицы, карает смертью. Ради кого? Ради тех, кто на той стороне моста... Как хорошо, что Мефодий вовремя понял себя и нашел силы разорвать цепи власти. Власти невидимой, как воздух, притаившейся

в словах и делах, в тайных уголках души — до тех пор, пока она для некоторых не станет необходимой, как кора для дерева. Без нее, как без собственной кожи, они не могут жить... Мефодий не мог жить в ожидании этого смертельного мгновения. Он решил посвятить жизнь поиску свободы, даруемой человеку вместе с рождением... Было мучительно трудно вырваться из мира притворства и пустословия, но ему это удалось. Там, в далекой молодости, маячил силуэт старца с осанкой святого, который посеял семя сомнения в душе стратига. Многие черты старца он обнаруживает ныне в Клименте — мальчике, которого странник вел, держа его слабую руку. Человек тот, видно, был из знати: и речь, и одежда, и меч говорили об этом. Запыленные, потертые сандалии свидетельствовали о том, что пройденный путь был не из легких. Человек тот тайно убежал из болгарского города Плиски — в страхе за жизнь сына — и хранил в душе учение Христа... Отрекшийся от всего мирского, он попросил у Мефодия помощи и защиты... Он хотел немногого: покинутой пещеры в скале и права жить свободно в его, Мефодия, землях. Мефодий разрешил... Каждый раз, когда уставшая душа нуждалась в отдыхе, он отправлялся по тропинке туда, к старцу. Там, под самой вершиной, Мефодий оказывался в мире своей мечты — мечты земной, человеческой, полной смысла. Пришелец был не просто пустынником — он был тружеником: под его пером слово обретало истинную силу... Тогда Михаил-Мефодий впервые почувствовал, как тяжел его меч. Глаза мальчика очаровали Мефодия своей наивной чистотой, и он взял Климента к себе. С того дня стратиг все чаще думал о своем предназначении на земле. Меч он повесил на стену, мирская суета угнетала его. В его сознании зазвучал, как давняя забытая песня, наказ матери, который остался незамеченным среди тревог молодости, но, как зернышко, лежавшее где-то глубоко, теперь дождался времени прорастания: «Далеко отсюда бьет родник нашей крови, сынок... Не забудь, что мои глаза цвета высокого неба...» Стратиг все чаще припоминал слова матери, взвешивал их на весах души; с каждым днем он все больше чувствовал, как возрастает их ценность, пока не пришло мгновение и их вес не разорвал золотую паутину, опутавшую его, словно желтая повилика... Жена стратига была знатной гречанкой; благодаря этому и заступничеству логофета Феоктиста, друга отца, он получил свой высокий пост. Однако не с нею были связаны его терзания — ее всегда привлекал мир знати, и жена то и дело колола ему глаза своим высоким положением,— но дети... дети мешали махнуть на все рукой. Внезапно налетела болезнь — дети умирали один за другим. Знахарей звали, травников — никакого толку... В живых осталась только Мария, самая младшая, когда Мефодий решил вмешаться. Он настаивал отправить дочурку в горы, к отцу Климента: Климент, мол, уже в начале эпидемии ушел туда и тем спасся. Но

мать не разрешила, чтоб дитя дышало вонью кроличьих шкур. Когда Мария заснула вечным сном, в душе Мефодия что-то сломалось, и он озлобился на жену. Целыми днями пропадал он в соломенных деревнях, разговаривая с простыми парикамн, и понял, что именно их человечность нужна ему в большом горе. Они понимали его и по-своему сочувствовали. Здесь пригласят его присесть в тени, там поднесут холодной ключевой воды, еще где-то — яблоко с деревца перед хатой. Домой он возвращался только к ужину. Стоило сесть за стол, как пустые стулья вставали ненавистной стеной, он опускал на скатерть руки, тяжелые, как два камня, и долгим отрешенным взором вглядывался внутрь себя: там он видел озорные глазки своих детей, слышал их голоса, их смех. Он жил бессознательным ожиданием дня, когда решится покинуть мир сильных, чтобы стать более сильным, хотя и простым смертным. Этот день настал. Его возвестили гонцы. Они мчались по дорогам, и копыта коней выстукивали: «Война! Война!..» Болгарский хан Пресиян вторгся в его владения. На самом деле хана пригласили славянские старейшины, которые давно и с интересом наблюдали за всем, что происходило по ту сторону Хема. Многие славянские князья объединились под скипетром болгарского хана — говорят, их слово веско, как слово кавханов и боилов. Империя своими бесконечными войнами с сарацинами, своими непосильными налогами оттолкнула славян от себя, заставив их искать друзей и союзников. Михаил-Мефодий понимал славян, и все же к боли прибавилась горечь. Те, кто до недавнего времени были столь чутки к нему, внутренне не считали его своим. Он был вынужден начать войну, так и не выяснив для себя всего этого. Всадники Пресияна черной тучей возникли на холмах, копья колыхались, как густой лес, мечи ярко блестели на солнце. Они обрушились лавиной, Мефодию пришлось и обороняться, и нападать. В кровавом омуте погибло немало воинов с обеих сторон. Самого Мефодия ранило. Впервые покинул он поле брани побежденным, но и равнодушным к потерям. Пока заживала нога, он все подробно обдумал. Решение созрело и каплей упало на твердь души... Жена и Феоктист позаботились о другой феме для него. Во время болезни Мефодий наблюдал, как его супруга наряжается для встреч со знатными господами, и его решение окрепло, стало непоколебимым. Нельзя сказать, что оно не ошарашило их обоих. Жена побледнела и какими только словами не обозвала его... Еще мучительнее уход Михаила-Мефодия из мирской жизни переживал логофет. Он долго молчал у постели раненого и наконец подавленно обронил:

— Признаться, очень я на тебя надеялся, очень...

Что он хотел этим сказать, Мефодий так и не понял, да это и не интересовало его...

Монастырь святого Полихрона стал его истинным домом.

Он понял, что человек может проживать и в тесной келье, важно жить большими мыслями и намерениями. С тех пор прошло немало лет, утекло много воды, неоднократно улетали и возвращались птицы... Все эти годы он думал о своих непросвещенных славянских братьях, и в тишине кельи родилась надежда создать для них письменность. Посеять семена просвещения на их большом плодородном поле и сделать их навеки бессмертными... Эти прекрасные замыслы неудержимо манили до тех пор, пока Мефодий не склонился над пергаментом: рука, привыкшая держать меч, падала без сил от пера, капля чернил засыхала на пергаменте, не дав ожидаемых плодов. Тогда он впервые решился попросить помощи у Константина — мудреца империи, мудреца города царей,— и безуспешно... Мефодий потряс головой. Волосы упали на высокий морщинистый лоб, и он грустно улыбнулся:

— Долгий путь прошли мы с тобой, Климент. Долгий — а как подумаю, что ничего пока не сделали для нашего народа, дрожь берет...

— Сделаем, отец.

— Молодость самоуверенна...

— Сделаем, увидишь!

— Дай бог! — сказал Мефодий, прислушиваясь к шуму ветра и дождя.

Кто-то открыл монастырские ворота и долго возился с засовом... Стук копыт по каменной мостовой гулко отозвался в тишине. Приглушенные голоса бились о стены, как слепые нищие, словно нащупывая лестницу, потом келью... Кто-то открыл тяжелую дверь. Ветер рванулся вместе с вошедшим гостем и опрокинул свечу. Климент поднял свечу, и огонек, заслоненный его рукой, ожил, затрещал и осветил пришедшего. Мефодий шагнул к гостю, руки сами раскрылись для объятия, губы задрожали:

— Прости за недоверие, брат!

Ветер унес его слова в открытую дверь.

ГЛАВА ВТОРАЯ

...Прежде славяне не имели книг, но, будучи язычниками, резами и чертами писали и гадали.

Когда окрестились, вынуждены были писать славянскую речь римскими и греческими письменами без устроения...

Но человеколюбивый бог, который все устраивает и не оставляет рода человеческого без разума, а всех приводит к разуму и спасению, смилостивился над родом человеческим и послал ему святого Константина Философа, названного Кириллом, мужа праведного и истину любящего, и он составил тридцать восемь букв: одни из них по образцу греческому, другие по славянской речи.

Черноризец Храбр *

Славяне Пелопоннесской фемы в дни императора Феофила и сына его Михаила, отделившись, стали совсем независимыми и совершали опустошения, порабощения, ограбления, поджигательства, кражи...

Константин Багрянородный *

1

Близился монастырский праздник. Обычно в послеобеденные часы отдыха в монастыре святого Полихрона царила тишина, и лишь чешма среди самшитовых зарослей лениво напевала свой вечный мотив. Отдыхали даже деревянные колокола, висевшие перед кухней на высоком деревянном треножнике. И если кто-нибудь из заспанных послушников проходил в своей черной рясе через каменный двор, то это было истинным чудом. Но сейчас, в предпраздничные дни, монастырскую тишину нарушали прибывающие паломники. Они толпились на галереях, заглядывали в церковь, собирались у ворот большой трапезной в надежде, что им подбросят что-нибудь вкусное, заходили в монашеские кельи. Их любопытство было безграничным. Калеки и больные, слепые и горбатые бранились, дрались за право первым поцеловать ноги святого Полихрона, нарисованного на стене при входе, не замечая, что ног давно нет — их стерли бесконечными поцелуями губы тысяч горемык, пришедших, как они, искать исцеления.

Константин не любил праздничной суеты. С тех пор как он остановился у брата, его душа напиталась тишиной так, что каждое проявление внешнего мира казалось вмешательством в его покой. Он превратил ночь в день, день — в ночь труда и дум о грядущем. Из-под его пера один за другим возникали стройные ряды новой азбуки. Он уподоблял их то птицам в полете, то небольшому отряду воинов, которых должен повести к победе. Когда сказывалась усталость, молодой философ поднимался по тропинке к вершине за монастырем, где была поляна, привлекавшая его разноцветьем трав, располагавшая к отдыху и созерцанию. Он садился у камня святого Полихрона, и взгляд его тонул в манящей дали. По далеким, выгоревшим от солнца холмам карабкались козы, монастырские пастухи пасли стада, на узкой дороге у реки клубилась пыль — брели пешком и тащились на измученных мулах паломники. Вдалеке, там, где земля и небо смыкались, как створки огромной раковины, маячил город. Он напоминал философу прошлое с его амбициями и мелочными заботами, яростным стремлением проявить себя, суетным желанием казаться достойнее других или отравлять им жизнь злобной клеветой. Как все это смешно! Он вырвался из тенет болтливого великосветского сброда, чтобы сосредоточиться на великом деле, рожденном в тесной монастырской келье,— на азбуке для его славянских братьев... До сих пор его жизнь была бесконечным восхождением к вершине. Добровольно покинул он долину, где росли горькие корни его знаний. В сущности, не надо упрекать долину, где он приобрел знание жизни. Но не летает ли он слишком высоко? Ведь он пришел сюда, чтобы познать себя и создать большое творение, которое вернет его снова к людям... Константин был далек от самовосхваления, ведь дело еще не завершено. Азбука существует, но она может остаться рядом мертвых букв, если люди не потянутся к ней. И если там, в долине, восторжествует тщеславие — стоило ли ради этого портить глаза при свете свечи? Нет, нет, он вновь спустится в долину, но не для того, чтобы замкнуться в сумрачной келье, а чтобы прийти к людям. Но как они его встретят? Этот вопрос, как сокол над добычей, висел в воздухе и не давал ему покоя. Монастырь внизу с извилистыми стенами, сводчатыми галереями, темными коробками келий был похож сейчас на потревоженное гнездо... Паломники разогнали обычную его тишину. Обитель пользовалась давней славой, святой Полихрон — еще более давней. Оборванные, печальные паломники тянулись со всех концов империи, чтобы испытать целительную силу святых мощей. Чудотворная влага проступала сквозь стены часовенки — жирная, как масло, с запахом гнилых яблок...

Но истинное чудо потаенно рождалось наверху, в его келье. Сегодня утром перо вывело последнюю букву. Константин долго стоял, устало смотрел перед собой, и правая рука его отдыхала, за-

кончив наконец свой долгий труд. Не дождавшись брата, он пошел его искать. Мефодия не было и в келье. Он был занят монастырскими делами. К празднику монахи чистили иконы, прибирали место, где шла торговля свечами, подметали помещения, белили стены известью, а на заднем дворе — где конюшни и хлев для скота — послушники сгребали навоз и выносили его в корзинах за плетень, там начинались монастырские огороды. Чтобы в это время не сидеть сложа руки на глазах у монахов, философ поднялся тропинкой на вершину. Сегодня горы имели торжественный вид, соответствующий его радостному настрою. Налево, на Олимпе, чернели густые леса. Среди их вечнозеленых чащ прятался сказочный мир монастырей, келий, скитов: пламенели купола, свинцовые крыши были похожи на небо во время дождя, зарядившего надолго, круто вздымались стены из грубо тесанных камней, а над всем этим царил церковный крест. Монастыри Святого Символа, Авгаровский, Мидикийский и Писадимонский обрамляли гору святым ожерельем. Сигрианский и Полихрон, расположенные несколько в стороне, ни в чем не уступали им. Сигрианская гора была не хуже Олимпа. На ней шумели зеленые леса, ручьи неслись вниз, к бушующим водам Риндека. Люди искали тут легенды и мифы об аскетах, некогда живших в монастырях. Они передавались из уст в уста. Находились грамотные черноризцы, которые записывали их на пергаменте, для прославления святых и в назидание людям. Имена аскетов украшали монастыри: Платон, Никита, Феофан и Феодор Студит, Иоанникий Великий, Евстратий и Николай — божьи люди, посвятившие жизнь небесному судии. Многие из них уже почили, другие освящали своим присутствием кельи живых. Иоанникий Великий, аскет, воин императорского войска, давно стал примером божественной доблести и непреклонности. Лишь черная ряса, выгоревшая от солнца и времени, соединяла его с земным миром. Он был живой легендой, по пальцам можно перечесть людей, которые могли похвалиться, что беседовали с ним. Император Феофил не раз пытался привлечь его на свою сторону во время борьбы с иконопочитателями, но тщетно. Гонцу пришлось довольствоваться созерцанием ободранной рясы, висевшей на дверях кельи, и он толком не мог понять, с кем разговаривает — с одеждой или же с духом за дверью. В годы преследований иконопочитателей монастыри были настоящими хранилищами лучших творений прославленных изографов-бродяг, они без сожаления расставались с иконами ради куска хлеба и стакана вина, опрокинутого в тени вековой пинии, под веселое журчание монастырских чешм.

В этот день Константин дольше обычного задержался на вершине. Когда он тронулся в обратный путь, ноги не чувствовали земли, а душа была как перышко, готовое подняться ввысь от легкого дуновения ветра. В глазах его появился новый, веселый свет. За древним

кипарисом он свернул к ручью, бегущему вниз от подножия святого камня. Вода падала с небольшого уступа тремя чистыми прохладными струями. Константин подошел, нагнулся, ополоснул лицо, сделал несколько глотков и поспешно выпрямился, услышав позади стук копыт на дороге. Какие-то знатные особы направлялись в обитель. Константин не хотел ни с кем встречаться. Отряхнув мокрые руки, он поторопился войти во двор. Когда он поднимался по лестнице в келью, то услышал громкий голос, спрашивавший Деяна об игумене.

Обычно так себя вели господские слуги. Подражая хозяевам, они бесцеремонно обращались с монастырскими послушниками, напускали на себя важность.

Повелев расседлать коней, слуги высокопоставленных господ затопали по лестнице в келью игумена; Константин быстро пошел к себе. Любопытство давно покинуло его. Мелкие страсти мелких людишек не волновали. Он знал, что вслед за слугами появится знать, застучат коляски, замелькают наряды, зазвенят о каменную мостовую мечи и те же слуги, бог ведает кого изображающие из себя теперь, станут кнутом расчищать дорогу своим господам, немилосердно стегать по протянутым рукам нищих и калек, подошедших выпросить если не здоровья, то хотя бы одну-другую монетку. Константин отодвинул засов, дверь кельи скрипнула и гостеприимно раскрылась. Он подошел к маленькому иконостасу, где богоматерь все так же заботливо склонялась над младенцем-сыном, прикрутил фитиль лампадки, долил масла и перекрестился три раза. Таким же привычным жестом он протянул руку к маленькой нише в иконостасе, достал толстую свечу, зажег ее от лампадки. Ясный свет расшевелил сумерки, загнал их под грубый стол. Весь угол стола был в каплях воска, некоторые из них, крупные и твердые, отливали янтарным блеском.

Константин пододвинул свечу так, чтобы виднее стали буквы на пергаменте, и глубоко задумался. Вот тут изображены все характерные звуки славяно-болгарского говора, перед ним его надежда и вера, смысл его жизни. Усвоив азбуку, Мефодий и послушник Климент примутся за самое трудное — за переводы. Слово господне родится еще для одного народа, божественное учение пригодится людям, презираемым до сих пор, заклейменным жестоким словом «варвар». А в душе этого народа-варвара живут такие прекрасные песни, такие глубокие переживания, такие светлые человеческие чувства, что многие недруги могли бы позавидовать. Да, кое в чем эта душа уступала им: в притворстве, фальши, скрытой злобе, глупой подозрительности. Константин знал обе стороны и очень хорошо мог судить об этом... Философ встал из-за стола, поднял свиток крепкой молодой рукой и долго глядел прямо перед собой, куда-то сквозь стены кельи — за вершины гор, за моря и леса, туда, где предчувствовалась дорога к

чуткой славянской душе... Из забытья его вывели чьи-то шаги, под которыми глухо поскрипывал дощатый пол галереи. Обычно так шел Мефодий. Хотя он и прихрамывал после ранения, но и в черной рясе все еще сохранял солдатскую выправку.

2

Странны дела человека: подчас, думая о добре для народа, он подготавливает зло для своих ближних.

Крепость Мундрага еще спала. Только в капище горел огонь. Князь Борис сел на иноходца с белым пятном на груди и поехал в Плиску. Пресиян пожелал быть похороненным там, где витает дух прежних ханов, с соблюдением старых обычаев. Борис исполнил волю отца. С тех пор прошло несколько лет, и каждый раз в годовщину его смерти сын со свитой отправлялся поклониться ему, посидеть у могильного камня и обдумать свой путь на земле. Свита ехала по середине дороги. Лица большинства всадников причудливо соединяли славянские и болгарские черты. То на светлом лице вдруг неожиданно сверкнут узкие протоболгарские глаза цвета переспелой ежевики, то на смуглом — засветятся голубые глаза. Даже языки двух народов перемешались, и получилось нечто весьма интересное: Борис видел, как большой народ славян преобразует язык дедов, превращая его, так сказать, в мед с привкусом кумыса, и Борис чувствовал, что приближается время, когда старые кастовые порядки под напором нового должны будут уступить ему место. Он понимал, что старое не уйдет на покой добровольно. Потребуется могучая рука, чтобы устранить его. Кони пошли рысью, и князь натянул поводья. Тряска мешала думать. Он предпочитал ровный шаг или бег иноходью, когда он чувствовал себя вольным и окрыленным,— уши лошади вытягивались назад, голова будто удлинялась, и время со всеми его тревогами словно оставалось позади. Князь ехал и думал о том, что на глазах у всех возникает новый народ. Нельзя помешать естественному ходу вещей, сколько бы ни старались боилы, багаины и жрецы. Капища пустеют изо дня в день, ряды поклонников Тангры редеют, новое учение упорно пробивает и расширяет путь к душам людей. И если он хочет создать большое, сильное государство, он должен решиться на дерзкий шаг. Этот шаг либо будет стоить ему жизни, либо вознесет и сделает великим правителем. Отец давно постиг эту истину, но не нашел в себе сил осуществить задуманное. Борис хорошо помнит его слова на смертном одре:

— Вижу, что ты думаешь, не как остальные, и боюсь за тебя...

— Мир не стоит на одном месте, отец.

— Потому и боюсь я...

— Но если это к добру нашего народа?

— Все, что идет от жизни, хорошо, сын.
— Значит, ты думал об этом.
— Думал, но не хватило решимости...
— А мне хватит?
— Хватит, сын... Ты раньше перешел на тот берег.
— Но река все та же.
— Ты хочешь превратить ручей в большую реку.
— Трудно будет.
— Подумай о мосте: пока не убедишься, что крепок, не ступай на него.
— Хорошо, отец.
— Только об одном попрошу тебя.
— Слушаю, отец.
— Ты будешь первым славяно-болгарским князем, я хочу остаться последним протоболгарским ханом.
— Хорошо, отец.
— Последний хан будет твоим послом у Тангры и выпросит милость для тебя, не то его народ погибнет, если будет продолжать сопротивление... Я скажу ему, во имя чего ты все это делаешь, и он простит тебе переход на тот берег... Был бы у меня верный заступник там, на небе, я бы и сам сделал то, что ты собираешься, но мои предки, боровшиеся с новой верой, яростно ополчились бы против меня, и я оказался бы в опале у нашего отца...

Это были его последние слова. Когда хан умер, Борис, потрясенный, вышел, сел на коня и умчался в поле, чтобы остаться наедине со своими тревогами и мыслями. Бог ведает, как истолковали бы жрецы его бешеный бег, но с того дня Борис стал каждый год устраивать скачки — после обряда поклонения на могиле Пресияна: скачки ознаменовали начало того нового, о котором князь все еще боялся сказать во всеуслышание.

По старому обычаю, прежде чем войти в город, Борис отправился к священным камням. Там уже ждал боритаркан * Плиски, держа в обеих руках чашу с кумысом, которую он с достоинством преподнес владетелю. Борис принял ее, остановился среди камней и осторожно отпил кумыс три раза. От дневной жары камни были теплыми, и Борис охотно присел. Присели и гости, и встречающие, безмолвно склонив головы. Молчание длилось недолго. Первым его нарушил хан:

— Если небо почтит память хана-ювиги Пресияна хорошей погодой, я обещаю своему народу дать славно поесть и повеселиться.

Слова хана были выслушаны стоя. Люди чтили своего повелителя — и живого, и мертвого; но какими глазами посмотрят они на него, если он скажет им, что пройдет время, и на этих камнях люди будут только отдыхать, что забудется их святость и люди станут

удивляться: кому и зачем были нужны они, кто их так поставил, кто украсил разноцветной землей? Эту землю испокон веков бережно клали под камни: она символизировала цвета трех небес, где находились палаты бога Тангры. Ныне в свите князя были представители ста знатных родов — оплот всех ханов; у пятидесяти двух в жилах не текло ни капли славянской крови. Это были люди, находившиеся в почете и у хана Омуртага, и у Маламира, и у Пресияна. Смерть каждого члена этих родов отмечалась воздвижением каменного столба. Представители родов Куригира, Чакарара, Кувиара, Ерамидуара, Ермиара весьма подозрительно смотрели на княжеский титул Бориса, хотя вводил его не он. Уже хан-ювиги Маламир присоединил к болгарскому и славянский титул. Даже на столбе в честь кавхана Ишбула в благодарность за водопровод вырезали слово «князь». Те же роды в свое время настаивали на смертном приговоре Энравоте — из-за его новой веры. Если Борис не будет смотреть в оба, они и на него набросятся, как волки. Знает он их норов. Трудно будет погасить старые капища... Борис поднял голову и долго смотрел на солнце. Когда он перевел взгляд на свиту, перед глазами возникли алые круги. Красный свет испугал князя, в сознании всплыла мысль о человеческой крови... Как бы не пришлось пролить ее ради веры!

Слова князя уже облетели город. Глашатаи сообщали о веселии, словно уже договорились с Тангрой о погоде. Борис пересек двор внутренней крепости, вошел в капище. Дверь в южной стене вела к усыпальнице отца. Борис вошел туда, и его обдало сыростью. Мурашки поползли по коже. Он присел на край каменной плиты и мысленно заговорил с усопшим:

«Я пришел, отец».

Тишина как будто отозвалась:

«Я ждал тебя...»

«Пришел сказать тебе, что мост готов, но я все еще боюсь ступить на него».

«Неуверенный глаз впустую сеет стрелы...»

«А если дрогнет рука?»

«Тем хуже. Неуверенный глаз и робкая рука — вот где кроется погибель».

«Что ж ты мне посоветуешь?»

«Живые учатся у мертвых только терпению и молчанию, сын...»

Борис встал, провел ладонью по лицу. Совет был неплох. На каменном столбе с надписью плясали отсветы огня. Греческие буквы опоясывали столб: «Один Тангра велик! Один Тангра бессмертен! Все, получившее жизнь от него, должно однажды исчезнуть. Имя того, кто лежит под сим камнем, хан-ювиги Пресиян, сын Звиницы. Простри свою милость над его могилой, укрась его жилище в стране праведных. Он жил и умер твоим человеком...»

Когда он был похоронен, Борис знал и не стал читать дальше. Вновь провел он ладонью по лицу и пошел обратно. Его шаги гулко отозвались в тишине святилища. Один из жрецов перед входом вышел ему навстречу и быстро завязал узелок в бороде — чтобы зло не постигло князя, чтобы укротить злые силы, идущие за человеком. Странная религия, сложенная из преданий, обогащаемая невежеством, не видящая жизни и ненужная времени. И с этой религией он хочет встать рядом с большими властелинами... Невозможно!

Вне усыпальницы буйствовала жизнь, деревья тянулись к солнцу, ветер резвился, гулял в травах, срывая лепестки цветов. Стая воробьев вдруг слетела с крыши дворца, подняла столбик пыли у ног князя и дружно умчалась, унося с собой веселое щебетание. Стражи смотрели с высоких крепостных стен вдаль — следили за табунами. Конюхи гнали их длинными кнутами и размахивали арканами.

Они ловили коней для скачек.

В этот день князь разрешил нарушить древний закон — седлать коней только во время войны. Он сам нарушил его, обещав дать двадцать необъезженных лошадей из одного табуна. Между стеной и большим земляным валом повара проворно расстилали скатерти, готовясь к общему пиру. Из домов и шатров высыпал веселый народ, неся с собой подушки или треногие табуреты. На самом верху вала слепой годулар пел песню. Борис остановил свиту и прислушался.

Песня была старой, знакомой с детства. Мать проклинает землю, потому что та засыпала след ее сына, проклинает солнце, которое высушило траву, и из-за этого потерялся след ее сына, проклинает облако, так как оно обрушило ливень на землю и залило след ее сына. И может быть, поэтому сын не возвращается домой. Ибо нет его следа, который привел бы его назад к матери... Борис подошел, достал из кожаной мошны на широком поясе византийскую монету и бросил ее в короб годулара. Услышав непривычный звук, годулар вздрогнул, и мелодия сбилась.

Колобар, проводник по дорогам, стал теперь проводником к месту пира; он расталкивал людей и вел знатных к зеленому лугу, уставленному богатейшими яствами, вокруг которых пестрели цветные подушки. Место Бориса было обособлено и возвышалось над остальными. Он поднял первую чашу кумыса — пир начался.

3

Феодора вдруг постарела: все потеряно, она всего лишь тень, никому не нужная и никого не привлекающая. Все искали опоры у ее всемогущего брата Варды, подлинного властелина. Его мир стал миром ее сына — императора. И, увы, не было ложью то, о чем тайно

поговаривали: Варда увлек сына на скверный путь. Михаил потерял всякое человеческое достоинство. Слухи, доходившие до Феодоры, отзывались в материнском сердце глубокой болью. Она перестала тревожиться даже за престол. Мать была не в состоянии примириться с тем, что происходило во дворце. Слухи об оргиях в просторных императорских опочивальнях выходили за пределы стен. Молодой император был полностью развращен. Он начал наряжаться, как кокотки из харчевен, в присутствии Варды стоял, словно влюбленная девица, готовая на все, а в голосе его слышались слащавые нотки. Феодора решилась на встречу с Вардой. Два раза Феодора посылала слуг с приглашением посетить ее, два раза Варда отказывал без объяснений.

И Феодора, подавив гнев, пошла к нему сама. Сначала он не хотел ее принять, но, поняв, что она не уйдет, велел впустить. Феодора намеревалась припомнить ему кое-что и ясно показать пропасть между их положением в обществе, но его презрительно-холодное поведение вернуло ее на землю. Теперь она надеялась хотя бы устрашить его упреками, горькими слезами, однако и от этого пришлось отказаться. Варда принял ее, полулежа на пестром диване, в сарацинском халате, в шлепанцах на босу ногу. Когда Феодора вошла, он отложил сочинение Аристотеля и, не меняя положения тела, вопрошающе поднял брови. Она хорошо знала грубость, нахальство и бесцеремонность брата, но так обращались с ней впервые в жизни. Даже ее муж не разрешал себе таких вольностей в ее присутствии. Императрица чуть было не повернула назад, но горе, которое привело ее сюда, было сильнее. Она скользнула взглядом по его волосатым ногам, видневшимся из-под халата, и процедила сквозь зубы:

— Не ценишь достоинства императрицы — уважай хоть свою сестру!

Это вступление, казалось ей, должно было смутить его, но Варда отнесся к нему, как к жужжанию ничтожной мушки, летающей по комнате. Он приподнял ногу, похлопал по парчовому шлепанцу и ничего не ответил. Это движение было столь обидным, что императрица вспыхнула. Ее рука в тяжелых перстнях гневно сжалась, ногти впились в ладонь. Мгновение, и Феодора почти готова была с визгом броситься на этого варвара, позволяющего себе так унижать ее, но сказалась привычка владеть собой — императрица стиснула зубы и отвела взгляд от отвратительного парчового шлепанца. Только одна яростная слеза повисла на ее длинных ресницах, Феодора стряхнула ее и голосом, не предвещавшим ничего хорошего, сказала:

— Не боишься всевышнего?..

По-видимому, этот вопрос дошел до ленивого сознания Варды. Он сел и, вперив в нее тяжелый взгляд больших глаз, которые казались еще больше от теней под ними, спросил:

— Ты что, поучать пришла?

— Что со стеной, что с тобой говорить,— сказала Феодора, пренебрежительно поджав губы.— Другое интересует меня, и ты знаешь, что...

— Я не привык гадать.

— Знаю! Знаю!.. Гадать-то не умеешь, но блудить — такого второго поискать!

— И ты будешь меня судить за это? — спросил он, взглядом указав на свой пах.

Императрица, покраснев, попятилась к двери и оперлась рукой о стену.

— О сыне моем хоть подумай...

— Твой сын уже не маленький,— возразил Варда и снова улегся на диване.— Каждый сам себе выбирает удовольствия. Иди спроси, плохо ли ему.

Этот наглый ответ просто раздавил Феодору. Машинально нащупав дверь, она вышла. Пока спускалась по лестнице, ярость растаяла, и внутри осталась пустота, одна пустота. Значит, правдой были слухи о сыне, а она так надеялась, что они не подтвердятся! Чудовище, которым оказался родной брат, даже не трудилось прикрыть свое преступление какой-нибудь удобной ложью. Михаил, ее надежда, единственный сын, потерян безвозвратно, пал так низко, что спасти его невозможно. И в его руках находится судьба империи! Феодора не простит брату этого унижения и подлости. Покачиваясь в своей богатой коляске, она молчала всю обратную дорогу, стиснув зубы, нахмурив брови, с лицом, белым от ярости... Нет, никогда не простит! И если удастся дело, задуманное с Феоктистом, горе Варде! Она велит тогда вывести его на центральную площадь и резать на куски — пусть он тоже сын ее матери, пусть одна и та же грудь когда-то вскормила их! Жизнь уже бесповоротно разделила их, ничто более их не связывало. Он отнял у нее империю, отнял сына, лишил чувства собственного достоинства, унизил ее. Разве это брат?! Такого брата она рада бы повесить или завязать в мешок и — в воду Золотого Рога. И после того, как он захлебнется, надо петь гимны от радости, что не только себя, но и народ свой избавила она от этого исчадия ада.

Феодора поднялась по лестнице, пересекла приемную с красивым мозаичным полом и, отдернув занавеску своей молельни, опустилась на колени. Ее фигура в сумерках выглядела как статуя из черного мрамора; и как только не отнялись эти колени, как не устали поднятые руки, как не пересохли тонкие губы, шептавшие молитвы-проклятия, в которых пылало единственное желание — смерть брату и врагу, смерть!..

В конце моления Феодора была готова на самое страшное — бо-

роться, будь что будет. Она вышла в приемную, позвала одного из верных слуг и велела найти логофета. Феоктист должен ускорить дело, пока не поздно. По всему видно, что Варда не желает ей добра и если все еще не гонит из дворца, то делает это по какой-то странной снисходительности. Однако после сегодняшней встречи от него нельзя больше ждать снисхождения и милости. При первом же удобном случае он навсегда устранит ее со своей дороги. Поняв это, императрица ужаснулась. Сначала пришла мысль о дочерях. Старшая, Фекла, была женой Сергия — доброго безликого человека, занимавшего видное положение в византийской иерархии. На него императрица не рассчитывала и не надеялась, но он хорошо относился к Фекле, уважал ее, и мать могла о ней не тревожиться. Боялась она за младших: за Анну, Анастасию, Пульхерию, Марию. Если Варда поднимет на нее руку, они также окажутся в опасности; тогда можно было бы просить бога только об одном — чтобы брат не применил самую жестокую кару, столь любимую императорскими палачами,— выжигание глаз. Она успокаивала себя тем, что до сих пор женщин так не казнили. И все-таки гораздо лучше будет, если она поставит его на это место, чем он ее. Орудие казни уже раскалено в руках палача. Феодора в этом не сомневалась, теперь важно, кто кого опередит и первым доберется до каленого железа. Императрица вновь почувствовала себя решительной, неукротимой властительницей, которая ни перед чем не остановится ради власти, принадлежащей ей по праву. Приход Феоктиста прибавил ей сил. Он был из тех, кто предусматривает все до мелочей. Она рассказала ему, как она встревожена и возмущена, и приготовилась слушать.

Феоктист не стал успокаивать ее, но и не нападал на брата. Он понял, что дело идет к концу. Плохо было только то, что он не знал, каким будет этот конец, кто кого победит. Логофет прознал о давно подготавливаемой Вардой расправе с регентами и императрицей. Чутье подсказывало ему, что надо действовать быстро, не то можно встретить ближайший рассвет в темнице, по примеру патриарха Грамматика, отчаянного противника иконопочитателей. И если расправа с ним превратилась в забавное зрелище для толпы (его возили верхом на осле по переполненному ипподрому), с ними — императрицей и Феоктистом — шуток не будет. Варда без колебаний отправит их на небо. Вряд ли было необходимо рассказывать все это встревоженной Феодоре, поэтому Феоктист предложил как можно скорее поговорить с патриархом Игнатием: он первым может с амвона поднять голос против злодеяний Варды. Надо подготовить народ. Ведь люди уже явно глумятся над кесарем на базарах и площадях, прелюбодействующим со своей снохой. Что касается Ирины, логофет найдет способ рассказать ей о мерзопакостных развлечениях ее возлюбленного. Если привлечь Ирину на свою сторону, можно будет считать

себя победителями. Дальше дело увенчает кубок вина со щепоткой яда и доброе настроение Варды...

— Согласится ли она? — привстав, спросила императрица.

— Я ее прекрасно знаю! — Феоктист махнул рукой. Однако он не был вполне уверен в своей правоте и потому добавил: — Разумеется, не бесплатно. Вероятно, захочет вознаграждения.

— Обещай! Все обещай, только б согласилась!

— Хорошо, пресветлая, и не поскуплюсь, ибо ее согласие положит начало нашему избавлению...

4

Изо дня в день Ирина чувствовала, как Варда становится все холоднее к ее ласкам, все более замкнутым. Сначала она подумала, что появилась соперница, но расспросы своих и его слуг не дали никакого результата. А он все избегал ее. Сперва Ирина попробовала оправдать это усталостью, государственными заботами, но сомнения все равно томили и грызли ее. Ей казалось, что она уже неинтересна Варде, что он насытился ею, что клятвы его были пустой болтовней. Несмотря на легкомыслие, недремлющая практичность толкнула Ирину обратиться к дяде, Феоктисту. Давно она не давала ему знать о себе. Сначала боялась упреков, потом не нуждалась в нем, однако теперь положение становилось тревожным, и она решила восстановить старую дружбу, чтобы не пришлось делать это потом, будучи изгнанной из дворца кесаря.

Кроме того, Ирина надеялась разузнать у логофета о некоторых подробностях жизни Варды. Зная отношения между кесарем и дядей, она не сомневалась в успехе...

И все же такое решение было в известной мере рискованным: что подумает Варда, если узнает о ее визите к Феоктисту? Правда, они родственники, но родственные чувства давно затянула паутина. Коварный и вспыльчивый Варда это знал, поэтому Ирина не спешила идти к дяде.

Разумеется, можно было придумать сколько угодно оправданий, но Ирина не сомневалась в том, что любое оставит подозрение в душе Варды и, если она в самом деле надоела ему, у него будет прекрасный повод прекратить незаконную связь. Теряя Варду, Ирина теряла все. Ей теперь казалось, что напрасно она связала с Вардой свои надежды. Если он станет василевсом, то все равно не возвысит ее до себя. Не будь она женой его сына — иной разговор, но в этом положении... Даже императору такое кощунство не прощается... В свои одинокие дни Ирина все чаще вспоминала Константина. Его уход в

монастырь наполнил ее чувством вины. Она жила в убеждении, что он постригся в монахи из-за любви к ней. Ей казалось, он все еще любит ее и простит ей легкомысленный поступок. Стоило смежить веки, и ей виделись твердые, мужественные губы Константина, его неспокойные руки с длинными пальцами. Руки Варды были грубые, широкие и тяжелые — руки, способные только брать, только грабить. Подобное сравнение все чаще приходило Ирине на ум. Она стала бессознательно искать черты Константина в каждом мужчине. Синева его глаз, просто напоминавшая раньше о его славянском происхождении, теперь вдруг стала властно притягивать ее. Пять лет в доме кесаря не прошли даром, притворство нашло в ее душе благодатную почву. Дворцовые интриги сплетались так тесно, что иногда казалось, будто нечем дышать. К тому же укоризненный, насмешливый взгляд Иоанна делал ее ничтожнее последней божьей твари, но, верная себе, она всегда гордо несла красивую голову. Пусть каждый думает что хочет! Важно, чтоб ей было хорошо! А хорошо ли ей на самом деле?.. Трудно было найти ответ на этот вопрос. Двойная жизнь, которую вела Ирина, начинала страшить ее. Если и дальше пойдет все так, она может очутиться либо на улице, либо в постели законного супруга, которого терпеть не может. Да и примет ли он ее? В этом она не была уверена. Иоанн был довольно честолюбивым человеком, чтобы теперь допустить ее к себе и тем самым еще больше унизиться. В глазах людей они продолжали слыть мужем и женой, но до ее слуха уже дошла молва об ее отношениях со свекром. Об этом не говорилось открыто лишь потому, что все знали суровый, мстительный характер кесаря.

Пора, пора было искать опоры у дяди, пока не поздно. Даже зверь лесной, предчувствуя приближение зимы, спешит себя обезопасить. Разве может она позволить себе положиться на случай? Случай ведь не путь, а луч, по которому могут лететь только рожденные с крыльями. А ее крылатая сила кончается в опочивальне кесаря. Всеми своими тревогами Ирина делилась со старой кормилицей, переехавшей к ней после свадьбы. Фео была предана ей, Ирине не в чем было упрекнуть ее. Для нее слово Ирины было законом — законом избалованной жизнью богини. Поначалу ее тупая покорность раздражала Ирину, она попробовала заменить Фео какой-нибудь из старых служанок Варды, но отказалась от этой затеи, убедившись, что все смотрят на нее как на временную гостью. Стало быть, многолетний опыт научил их, что надо служить только хозяину, если хочешь уцелеть.

Открытие это разгневало Ирину, она потребовала от Варды удалить кое-кого из женщин, и прежде всего грудастую Пульхерию, которая вела себя, словно хозяйка. Варда согласился, но не сразу, однако вскоре Ирина узнала, что та осталась во дворце и ей вверены

заботы об опочивальне василевса. Это взбесило ее, и она набросилась на Варду, но ее ярость не смутила его:

— Ты что, хочешь, чтобы я выбросил ее на улицу?

— А куда же еще?

— Но не кажется ли тебе, что у женщин длинный язык, а она кое-что повидала в этом доме?

— Значит, ее надо на руках носить?

— На руках, конечно, нет... Но люди и без того шушукаются о наших отношениях. Только ее болтовни не хватало...

— Неужто ты этого боишься?

— Бояться не боюсь, но осторожность никому не мешает. Придет день, и Пульхерия исчезнет, никем не замеченная...

— Долго ли ждать?

— Вряд ли!

Этот ответ пригасил ее ярость, но не унял сомнений в утрате власти над Вардой. В его обдуманных, холодных ответах не было ни капли раскаяния. Ее вопросы не были для него неожиданностью. Ирина начинала понимать, что он относится к ней, как к своей собственности: протяни только руку в любое время дня и ночи, и бери ее. «Это так типично для государственных мужей и похотливых мужчин,— думала она.— Их всегда манит неизвестное, будь оно даже хуже того, что они уже присвоили». Если Варда — такой сластолюбец, ее жизнь станет адом, из которого нет пути — ни назад, ни вперед. И опять приходила к ней мысль о Феоктисте и Константине. Логофет виделся ей единственной опорой в будущем, Константин — единственным огоньком, который мог согреть ее в возможном одиночестве. Она решила довериться кормилице. Записка, которую Фео отнесла логофету, была без подписи, но он знал почерк племянницы — красивый, чуть наклонный. Феоктист не ответил, велел старушке прийти через два дня. Он хотел еще раз поговорить с императрицей, обдумать вместе с ней дальнейшие действия. Он считал, что патриарх Игнатий не должен спешить с анафемой Ирине и Варде, пока не прояснятся намерения его племянницы. И если окажется, что она захочет им помочь, незачем рисковать и незачем зря гневить Варду, который и без того не желает им добра. Лишь бы увидеть его навеки уснувшим, потом Ирина им не нужна, но пока надо предусмотреть все...

Как всегда, императрица одобрила его намерения, похвалила за ревностность, и Феоктист вышел окрыленный. Пока все складывалось хорошо: Ирина сама ищет его, в этом логофет видел перст божий, иначе не объяснить странного совпадения. Вернувшись домой, логофет заперся у себя и задумался. Сначала он хотел сжечь письмо племянницы, потом передумал. Письмо — козырь в его игре, оно связывает Ирину по рукам и ногам. Правда, в нем не было ничего пре-

досудительного: племянница просила прощения за долгое молчание и сообщала, что, убедившись в прочности старых родственных чувств, хочет повидать дядю и получить его совет в деле, касающемся и его самого; она ведь знает, что его советы мудры и полезны даже для таких легкомысленных «никудышниц», как она.

Феоктист сложил письмо и засунул в щель деревянного потолка, чтоб никто не мог найти его. Странным человеком была племянница. Он не знал, простить ее или нет. Особенно умилило его это «никудышница»: она, оказывается, не забыла. Когда он журил ее за мелкие проказы, то называл ее именно этим словом. Логофета охватило беспокойство. Он ругал себя за то, что назначил свидание через два дня. Бог ведает, какие мысли могут прийти за это время в ветреную голову племянницы: она может отказаться от первого решения, обидеться... Разве он не знал женщин? Для них слово — не слово, обещание — не обещание. Сама императрица и та не всегда бывает верна себе. Послушайся она его раньше и не допусти Варду в регентский совет, теперь жила бы себе припеваючи и правила бы империей, не дрожала бы от страха, как заяц. Хуже: заяц живет себе, чем бог послал, Феодора и так жить не может, ее жизнь проходит между богом и топором. Одно слово Варды — и прощай свет божий, и не только для нее, но и для логофета. Феоктист понимал, насколько крепко связал он себя с императрицей. Взялся за гуж — не говори, что не дюж. Вся надежда на Ирину. Константин и Мефодий не оправдали ожиданий. Связи в войсках все еще недостаточно прочны. В случае их победы многие захотят быть единомышленниками. Но теперь ответы бывали и неопределенными, и уклончивыми; логофет был благодарен и за это — хорошо хоть, что молчали: стоило одному проболтаться — и конец.

Феоктист не выходил из дому два дня. Ждал. На третий решил пойти в церковь. У двери ждала кормилица.

— Скажи ей, что скоро поеду на поклонение в монастырь святого Полихрона. Буду ждать ее там,— прошептал он и ушел, сопровождаемый нищими.

5

Небо было ясным и прозрачным. Замерли высокие монастырские кипарисы, уткнувшись верхушками в безмятежную лазурь. Вся природа затихла в ожидании. Мефодий вышел на галерею и облокотился на перила. Эти ранние утра удручали его своим однообразием. В них было что-то непрочное, несогласное с ладом в душе. В отличие от братьев он не любил покоя — считал его признаком тления. В первые отшельнические годы эти утра действовали на него успокаиваю-

ще. Они были противоположностью прошлой жизни, полной тревог и напряжения, поэтому Мефодий и предавался их созерцанию — плененный ими, оторванный от всего мирского, одинокий. Это было желанное одиночество, оно не тяготило его. Тяготило другое — бессмысленность монастырской жизни, повторение одних и тех же молитв и треб. Пугало ленивое скудоумие на лицах большинства братьев. Он боялся этой заразы. В отшельническом прозябании была и другая опасность: постепенно угасали чувства, жизнь обессмысливалась. Правда, день проходил в молитвах и славословиях небесному судии, но этого было недостаточно, чтобы приносить пользу людям. Подобную жажду жить видел он и в глазах Климента. Мефодий понимал, что Климент мечтает о дорогах и людях, поэтому просил игумена посылать его в близлежащие села и города для сбора долгов монастырю. Климент с радостью отправлялся в дорогу. Как любовно седлал он мула, поправлял сумы, колокольчик на шее — будто не в деревушку ехал, а в Царьград! Мефодий разделял его радость. На Клименте сосредоточилась вся нерастраченная любовь Мефодия к детям: он рос вместе с его детьми, с ними бегал по теплой земле Брегалы, ловил рыбу в прибрежных ямах, с ними купался в заводях. Он стал как бы новым сыном Мефодия. Если раньше боль и скорбь угнетали его и заставляли избегать людей, то теперь мысль о Клименте делала его деятельным и упорным. Мефодий не хотел лепиться, болтаться без дела, как глухонемой послушник. Игумен слишком отяжелел от возраста и от чревоугодия. Его редко волновало что-либо, кроме вина в глубоких подвалах да вяленых окороков, висевших на балках. Целыми днями сидел он у развесистого самшита, дремал под колыбельную песню журчащей воды и посматривал на глиняный кувшин с вином, который охлаждался в каменном корыте чешмы. И вино, и ракию он любил пить с холодка. Когда он уходил к себе в келью, монахи знали, чем он там будет заниматься. Он не читал, не молился, не стремился обогащать свои скудные знания. Стук засова за спиной пробуждал в нем лишь одну заботу: на месте ли его золото... Недоверчиво уставившись на дубовую дверь, окованную железом, игумен доставал сверток из-под подушки. Золото воскрешало его. Осматривая монеты, он поворачивал их и так и эдак, чтобы не просмотреть случайной царапины, дрожащей рукою клал их рядком, боясь, не зазвенят ли, не услышит ли кто со двора...

Как ни прятал он деньги, монахи знали о них и привыкли к его безделью. Мефодий взял на себя заботы о монастырском поле уже на второй год после своего прихода. С ним советовались все — и послушники, и пастухи, и дареные и завещанные святому Полихрону батраки. Вся хозяйственная деятельность и на дворе, и на конюшнях легла на его плечи. Сам игумен не интересовался монастырским добром и землями, по всем вопросам отсылал к Мефодию; только если

появлялся важный гость, святой отец наряжался, садился поболтать и глубокомудро вздремнуть у чешмы или в просторной трапезной. И тогда вереницей плыли к столу сосуды с разными винами, чтобы вызвать восхищение знатного гостя и дать ему пищу для рассказов о славе монастыря и его досточтимом и гостеприимном игумене. А если гость желал исповедаться, не было человека радостнее отца игумена. Навострив уши, он с особым удовольствием слушал о греховных делах посетителей, о житейских зигзагах, довольный тем, что еще кое-что узнал о грешном мире. Легкой рукой нерадивца прощал он самые тяжелые прегрешения, зато монет в свертке всякий раз прибавлялось. «Пока человек живет, его надо прощать,— говаривал игумен.— Не то грех за грехом пойдет...»

Никто не оспаривал этой философии святого отца, но никто и не соглашался с нею полностью. Однажды Мефодий попытался обсудить с ним некоторые канонические вопросы, связанные с церковными догмами, но не тут-то было: игумен кивнул раза два и задремал. Приход Константина в монастырь вдохнул в старшего брата и Климента новую жизнь. Мечта Мефодия придумать письменность для славян всецело завладела ими. И если Мефодий связывал свои просветительские планы с землями под Хемом, Константин смотрел на дело шире. Существовал большой славянский мир — плодородная земля их будущего. Этот мир выходил за пределы болгарского государства, но, если они сумеют посеять семена хотя бы в Плиске, дело не погибнет. Все сводилось к тому, кто разрешит им сеять именно там? Примут ли их болгары как мирных сеятелей добра? Или их ждет петля на первом же суку, которая и положит конец всем их добрым намерениям? Болгарские ханы были противниками учения Иисуса! Что же делать? Поход в их земли был возможен лишь под эгидой византийской церкви, но захочет ли она отправить их именно туда? Даже если болгары выразят желание принять христианство, империя не разрешит новой письменности. Константин прекрасно знал намерения кесаря Варды и императора. С возникновения болгарского государства византийские властелины мечтали лишь об одном — завладеть им: если не удастся достичь этого на поле брани, тогда верой и словом Христовым, но словом греческим, а не болгарским. Допустить в болгарские земли греческих священников, чтобы они утверждали новую веру,— это означало бы конец болгарского ханства: в том-то и была давняя хитрость тех, кто раньше и теперь держал в руках бразды правления византийской империи. Братьям было ясно, какие трудности их ждут — и ныне, и в будущем. Азбука лежала перед ними безмолвная и загадочная. В сущности, уже не загадочная. Недавно родились первые страницы переводов. Особенно восприимчивым оказался Климент. Он свободно обращался с азбукой. Его пальцы потемнели от чернил, выше, там, где перо соприкасалось

с суставом, было большое карминное пятно, до того въевшееся в кожу, что его невозможно было вывести. Заглавные буквы — красивые, витые — он рисовал разноцветными красками, пергамент оживал под его рукой, словно поле золотой пшеницы. Первые странички перевода неудержимо влекли их к себе, и они втроем просидели за ними допоздна. Священное писание впервые читалось на славянском языке! Вначале было слово! И слово наполнило келью сладчайшим звучанием. Ничего варварского не было в этом языке, он звучал так мягко и приятно, что Мефодий попросил Климента прочесть перевод дважды. Константин молчал, погруженный в себя; он думал о широком плодоносном поле, о трудном сборе урожая. Когда Мефодий со свойственной ему простотой внезапно ударил его по плечу, молодой философ чуть не подпрыгнул, но, увидев радость в глазах брата и Климента, покачал головой:

— Отселе начинается наша голгофа!

— Почему? — не понял Мефодий.

— Потому что нам надо будет вступить в борьбу с Вардой и патриархом, чтобы отвоевать священное право славян иметь свой язык. Догма встанет перед нами стеной, которую надо разрушить. Эту догму столетиями освящало невежество. Нас сразу обвинят в нарушении триязычия *. Того и гляди объявят еретиками...

Эти рассуждения несколько охладили радость, но напористый Мефодий не отступал:

— Если мы все хорошо подготовим, нас будет трудно остановить...

— Все равно нам придется нелегко.

— Будем бороться!

— Будем! — повторил Климент.

Их решительность обрадовала философа.

— Ты все еще воспринимаешь мир, как воин, брат! — сказал он и встал.

И все же Мефодий всю ночь не сомкнул глаз. Младший брат сказал правду. Кроткое утро еще больше испортило ему настроение. С галереи он увидел вдали запыленные коляски. Вооруженные всадники держались на предписанном расстоянии. Видно, прибывали знатные особы. Не зря игумен еще вчера, выйдя из состояния сонного оцепенения, все заглядывал на кухню, распоряжался о подготовке больших комнат в левом крыле монастыря. Мефодий знал, что старик не любит, когда вмешиваются в его отношения со знатью, а потому и не поинтересовался посетителями. Миряне приходили к ним со своими радостями, печалями — и их надо было встретить как положено, бросить пригоршню мнимых чудес в лицо верующим. Завтра предстояло вынести большую икону. Это всегда сопровождалось суетой, шумом, панегириками, кроплением святой водой. Были готовы и

все тайные плутовства. В часовне святого неделю назад зарыли бочонок вонючей воды, которая уже просачивалась сквозь каменную стену. Мефодий не поддерживал этого издевательства над надеждами больных, которые собирали капли в глиняные миски и потом мазали ими раны, чтобы исцелиться. По всей империи шла молва о чудотворной воде, поднявшей на ноги множество калек. Сначала здесь и вправду тек маленький источник, но с тех пор, как огромная пиния свалилась туда во время большой грозы, он иссяк. Тогда монахи придумали бочонок. Вот уже несколько дней, как хромые, горбатые, а также бесплодные женщины толпились у стены монастыря, пытаясь добраться до скудной вонючей жидкости. Летом бочонок обычно заполняли сгнившими яблоками, придававшими воде специфический запах. Поверх воды наливался слой масла. Сперва вытекало масло и мазало стену, по которой затем, как слезы, катились крупные и круглые капли. Несчастные дружно утверждали, что это святой Полихрон оплакивает их участь, потому слезы и обладали целебной силой. Мефодий обходил стену «Плач Полихрона», как назвали ее паломники. Он не мог простить себе, что стал невольным соучастником обмана. Успокаивала, правда, мысль, что он не раз говорил игумену о своем отношении к этому зрелищу, но старый плут и слышать не хотел, чтобы лишить монастырь его самой большой славы...

Коляски подъехали к воротам. Игумен спустился по лестнице и пошел встречать гостей, с достоинством неся отяжелевшее тело. По бокам шли монастырские схимники Амвросий и Парфений — седые бороды до земли, фигуры сухие и длинные как жерди, на лицах небесная отрешенность и скудоумие. Молитвы и посты высушили их, словно виноградный хворост. От постоянной сырости в подземелье, где они истязали себя, у них, как грецкие орехи, набухли узлы на руках. Их появление свидетельствовало о высоком ранге гостей. Мефодий не стал спускаться, спрятался за столб и подождал, пока остановится карета. Из нее вышла красивая женщина в парчовом платье, за ней выкатился горбун с тонким, одухотворенным лицом. Из второй коляски вышел крупный мужчина; обойдя толпу, он направился к игумену, и Мефодий узнал его — это был Феоктист, друг семьи и бывший наставник Константина. Логофет поцеловал жирную руку отца игумена, стал посреди двора, заложив руки за спину, и осмотрел галереи. Мефодий пошел в свою келью. Он не хотел встречаться со своим старым знакомым. Неспроста приехал он сюда — вероятно, ему нужен Константин...

Эта мысль подействовала на него удручающе.

6

Вечера были душными и тягостными. Поздний ветерок прилетал с моря, пробирался сквозь занавески на окнах и стихал где-то в темных углах спальни. Ирина ждала его, будто ветер — живое существо, пришедшее разделить ее одиночество. В последнее время она не могла спать. Тревожные думы приходили в голову, как незваные гости, и изматывали напряжением. Тревога усилилась после записки, посланной Феоктисту, и известия о встрече в монастыре святого Полихрона».

Она боялась начать разговор с Вардой, боялась его подозрительного нрава, внезапных вспышек гнева, боялась, как бы он не подумал, что она собиралась туда из-за Константина, и не помешал ей. А если он понял настоящие намерения?.. Если ее записка дяде какими-то тайными путями оказалась в его руках... Ирина смыкала веки, пыталась уснуть, но сон был боязливее ее. Один лишь ветерок обходил широкую опочивальню, принося немного покоя и прогоняя духоту...

В последнее время Варда возвращался поздно. Его шаги стали тяжелыми, да и взгляд тоже. Раньше эти шаги часто останавливались у порога ее опочивальни, но с некоторых пор Ирина постоянно слышала, как они обрываются протяжным скрипом двери в конце коридора. Затем дверь захлопывалась, и этот удар словно бил по сердцу. Он опять не хочет ее!.. Опять прошел мимо спальни! Значит, не любит ее... Если это правда, тогда разговор о ее поездке в монастырь, где находится Константин, будет лишь благовидным поводом устранить ее. Значит, придется хитрить! Впрочем, кто же не хитрит? Она не исключение, да и почему она должна быть не как все? Разве Варда не притворяется? С самого начала он был и остался загадкой... Ирина подошла к окну и стала смотреть в темный сад. Черный кипарис торчал, точно лезвие тревоги, вонзившееся в ее сердце.

Вдруг ее мысли прервала рука Варды, опустившаяся на плечо. Ирина ощутила силу и тепло этой руки, передавшееся всему ее телу, но не обернулась...

— Сердишься? — спросил Варда.

— А ты как думаешь? — ответила она вопросом, не отрывая взгляда от темного, неясного сада.

Он обнял ее обеими руками и повернул к себе.

— Ты думаешь, я из камня? Я тоже устаю,— пожаловался он.

— Если я стала утомлять тебя своим присутствием, тогда...

— Не о тебе речь... Чую, что врагов все больше и больше, и первый — моя сестра.

— Ты как будто сегодня это узнал!

— Не сегодня, ты права, но после посещения сестры я понял,

что в этом городе есть место только для одного из нас. Вот ты и должна догадаться, где я пропадаю по ночам...

— Нет, не могу! — прервала его с гневом Ирина.

— Тем лучше. Это не для твоей красивой головки...

— Ты что, насмехаешься?

— Нет, не насмехаюсь, — сказал Варда. И повторил: — Не насмехаюсь, правду говорю. Боюсь сделать шаг, который либо принесет мне все, либо лишит всего... Пока только это могу тебе доверить...

— Хочешь устранить меня?

— Ну вот, не понимаешь. Не о тебе ведь говорю, о сестре. Как на это посмотрит Михаил, вот в чем дело. Мать все же. Поэтому я с ним, целыми ночами... Не сердись, обрати внимание на Иоанна... В последнее время он смотрит волчонком... Вывези его куда-нибудь подальше от Константинополя. И ты развлечешься, и вас увидят вдвоем... Слишком уж много о нас говорят. Даже патриарх вроде что-то замышляет...

Это предложение свалилось как снег на голову, но Ирина продолжала дуться.

— Ты что, сплетен боишься? — спросила она.

— Ничуть не боюсь, но хочу некоторое время быть с василевсом, с Михаилом.

— Значит, я тебе мешаю? Так это понимать?

Варда пожал плечами, притянул ее к себе, но она отпрянула.

— В Полихрон мне отвезти твоего любимчика, что ли...

— Кого-кого? — не понял Варда.

— Как кого? Твоего сына, о котором ты так печешься... Впрочем, ты и так меня уже не любишь, ничего мне не остается, как надеяться на чудотворную силу святого, чтоб дал мне мужа как у людей...

— Жестокие у тебя шутки! — дернулся кесарь.

— Какие уж тут шутки!

Этот разговор не выходил у Ирины из головы. Неоконченным остался, неясным... Неясным для дальнейшего пути... Решившись, однако, не уступать, она должна была быть твердой до конца, будь что будет!.. Иоанн согласился ехать на праздник монастыря. Ирина взяла с собой вернейших людей. И все же тревога не покидала ее, казалось, села рядом с ней в коляску и все нашептывает, нашептывает... Ехали в карете, потому что море пугало Ирину глубиной и коварной болезнью, способной в считанные часы состарить и самую красивую женщину... Болезнь эта не обходила и опытных моряков, а Ирина ведь на суше росла...

Иоанн сидел в углу кареты безмолвно и безразлично. В первый раз Ирина пожалела его. Но то была короткая вспышка жалости, вызванная неясностью собственного положения. То была жалость, подобная одинокой капле дождя в раскаленной пустыне, жалость, не дающая облегчения. Иоанн покачивался на сиденье, точно тюк из парчи и бархата, и только глаза говорили о том, что он напряженно думает,— они смотрели в глубь души, на собственную жизнь и мелкие радости. Да и какие у него были радости? Время от времени загорался огонек вдохновения, и Иоанн брался за кисточку и чернильницу. Пергамент оживал, плакал голосом большого горя и бескрылой тоски, придавленных тяжелым небом к земле. Одинокая травинка раскачивалась в голом поле, одинокая песчинка затерялась на широкой ладони каменистых гор, одинокий вопль оставался безответным в мире ледяных великанов, не знающих горя и боли. Вот и теперь Иоанн слушал стук колес, а вместе с ним ехало его беспредельное одиночество, все в красном цвете боли. Временами он мысленно пробовал приблизиться к Ирине, но сознавал безнадежность своих мечтаний. Все ушло безвозвратно. Чужая женщина сидела рядом и тоже горевала. Лицо ее потускнело, гордая улыбка, всегда державшая его на расстоянии, поблекла, как увядший цветок на фоне белой стены. И в линиях этой столь желанной улыбки Иоанн впервые обнаружил горечь, болезненную и печальную горечь. Он ощутил непреодолимый порыв прикоснуться к ней, сказать ласковое слово — ведь он понимал, что в это мгновение она по-своему несчастна. Опасаясь, однако, что его жест будет понят превратно, он забился в глубь коляски. Вдруг ухабистая дорога подбросила его, коляска чуть не опрокинулась. Ирина выглянула из-под пестрого тента и без колебаний велела остановиться. Середину дороги заняла другая карета, завалившаяся на бок. Ось заднего колеса застряла в земле, а половина сломанного колеса лежала на выгоревшей траве. Три вспотевших кучера, тужась, пытались поднять карету, чтобы поставить новое колесо. Ирина оглянулась и увидела недалеко, под деревом, своего дядю. Феоктист вытирал пестрым платком свое широкое лицо. Она надеялась встретиться с ним лишь в монастыре, но случай спутал ее планы. Нельзя было не остановиться: бог ведает, что подумают,— а потому она, поправив одежду, приветственно помахала логофету белой рукой.

Феоктист подошел и слегка поклонился. Кучера починили карету, пришлось ехать вместе. Кнуты стегнули коней, внушительная кавалькада тронулась. Ирина понимала, что эта встреча может осложнить ей жизнь, но, решившись идти против течения, она не хотела останавливаться. В сущности, она всегда была такой, и нет причин излишне волноваться. Будь что будет! С этой мыслью Ирина ступила на каменные плиты монастырского двора.

7

Время постепенно шлифовало молодого властелина, стирало острые углы, заставляло пересмотреть честолюбивые замыслы. Мало-помалу Борис убеждался, что неосмотрительная молодость не может быть хорошим советчиком в государственных делах. Однако прежде, чем понять это, ему пришлось испытать немало злоключений, за которые он дорого платил и на поле брани. Поражения делали князя все более осторожным и осмотрительным. Соседи зло косились на его народ, но народ все еще не был единым и способным защищать свою державу не на жизнь, а на смерть. В дни воцарения Бориса Плиска распахнула ворота, провожая в путь послов к соседним властелинам — передать заверения в почтении к ним нового болгарского хана. В поручениях послам проглядывали и тщеславие, и самодовольная гордость, и уверенность в своих силах. По разным дорогам разъехались посланцы: возобновить договор с Германским королевством, понять замыслы правителей Моравского государства и венгерских королей. Молодой властелин жил ожиданием, но его мечты были слишком воздушными, оторванными от суровой реальности. Согласно старому закону предков, он мог стать женихом для дочери кого-нибудь из соседних правителей, несмотря на то что был женат. Борис, не раз мысленно осуждавший старые порядки, теперь оказался не в силах пойти против них. Истолковав молчание Бориса как согласие с этим законом предков, послы старались всюду прославлять его, завоевывать ему друзей, добиваться его признания. Людовик Немецкий, однако, под разными предлогами отказывался их принять, его придворные всякий раз убеждали послов, будто повелитель занят: государственными делами, церковными распрями, спорами между маркграфами... И лишь в самые горячие дни большого церковного собора в Майнце в шумной толпе епископов и аббатов Восточной Франции, Баварии и Саксонии Людовик изволил выслушать послов, но не дал им никакого иного ответа, кроме обязательных благих пожеланий здоровья и долгих лет жизни новому болгарскому хану. Массу золота истратили на посольство в Германию, но Борис разгневался — не из-за золота, его взбесило неуважение. На что надеется Людовик Немецкий? На внутренние раздоры в Плиске? На бунты? А может, он собирает войско для нападения? И тогда Борис сгоряча обратился к Ростиславу Моравскому, и сделал это не только из-за нанесенной ему обиды, но из-за давней внутренней симпатии к славянам. В то время Ростислав воевал с Людовиком, и болгарская помощь оказалась ко времени, как весенний дождь. Но весенний дождь короток, и такой же короткой была радость моравского князя: франки вторглись во владения болгар, смели передовые охранения, и болгарская земля за Дунаем застонала под жестокими мечами голубо-

глазых захватчиков. От союза с Ростиславом пришлось отказаться. Отказался... Хорошо хоть, что тут и война кончилась. Борис не чувствовал себя бессильным, слабым, нет, у него за спиной стояло хорошо вооруженное войско, он мог продолжать войну, однако понял, что в его большом государстве нет должной сплоченности комитатов *, что не каждый таркан * осознал до конца свою обязанность полностью подчиняться верховным распоряжениям, что войско его разбросано вдоль границ... Не лучше были и доклады остальных послов. И тогда Борис понял, что нельзя поддаваться порывам молодости. Сперва следует оглядеться, укрепить свою власть и лишь после этого надеяться на силу оружия. Пришлось проглотить застрявшие в горле сухие корки первых ошибок, острая боль пойдет на пользу, научит впредь быть осмотрительным. Он укорял себя: не надо было так легкомысленно рассылать миссии! Молчание весит больше, чем болтливость, а он оказался болтуном. Если бы он хранил молчание, соседи сами стали бы стучаться в его двери, чтобы заглянуть к нему, понять, что там ждет их — добро иль зло. А он вел себя как человек, который поступает не очень дальновидно. Несмотря на то, что он был верховным правителем, ему пришлось присматриваться к обычным, повседневным отношениям между людьми и отсюда черпать для себя знания. Когда человек слаб и уязвим? Когда его мучают заботы. Когда дома склоки и раздоры. Когда скот падает от мора. Когда небо не дарит хорошего урожая. Когда крина * пшеницы становится дороже горсти золота... Тогда человек готов отдать все, добровольно пойти в рабство. Разве не относится это и к государствам? У каждого человека и государства свои злые и добрые минуты, и, если хочешь иметь друзей, помоги соседу, когда у него беда на пороге, а хочешь победить, покорить — воспользуйся его бедой. Все это истины, рожденные жизнью, простые, как будни. И не так уж много от тебя требуется: спокойствие черепахи, орлиная зоркость, хитрость лисы и жестокость тигра. Борис должен постепенно овладевать всем этим, если хочет сделать сильным свое государство, хочет существовать. Надо забыть честолюбие, гордыня и сомнения — плохие советчики. Умный совет может дать и глупец: люди устроены неодинаково, и глаза их видят мир с разных сторон, а потому накапливай то, что другие увидели и осмыслили. Но не переусердствуй, соблюдай меру, ибо среди множества умов и глаз легко потерять себя. Бери ровно столько, сколько тебе нужно обозреть. Не жадничай. Но и не забывай, что другие могут быть алчны, а потому смотри в оба!.. Эти истины не были для него новыми, так почему же он забыл о них? Одурманили славословия льстецов — люди, боящиеся за свои титулы, стали наперебой величать его самым мудрым властелином. А он оказался самым наивным. Борис никогда не простит себе опрометчивости первых шагов. Из всех тарканов и борптарканов, боилов и багаинов он выделял только

старого Онегавона и молчуна Тутру. Когда-то их оттеснили, теперь время возвратило каждого на свое место. Крепкая дружба связывала Бориса с обоими, особенно с Онегавоном, несмотря на разницу в возрасте. Старый род Онегавонов находился в тесном союзе со многими ханами, был одним из ста опорных столпов государства. Город Средец стал их родовым гнездом. Молодой государь не боялся делиться с Онегавоном и Тутрой самыми тайными мыслями и намерениями, даже теми, что шли вразрез с утвердившимися законами предков. Земли, которыми владели болгары, должны иметь единый знак, отличный от византийского. Славянам, фракийцам и болгарам предстояло слиться в единое целое, раз и навсегда преодолеть различия. Когда и как это произойдет, никто не мог сказать. Три языка, различные веры, различные надежды. Долгие зимние ночи до самого рассвета Борис и Онегавон часто коротали вместе, сидя у очага. Если при вступлении в ханское войско ритуал посвящения и присяги в мужестве и верности распространить на всех молодых воинов, по при этом в выплате налогов не приравнять славян к болгарам — значит ровно ничего не сделать; если же приравнять — неизвестно, как воспримут это сто родов. Онегавон сомневался, Бориса это пугало. Он считал, что в дальнейшем можно подумать и об общем языке для всех, но в таком случае придется ориентироваться на язык большинства, то есть славян. Сколько людей говорит на чистом болгарском языке? Горсточка! И только дома. И все же что скажут об этом сто родов? Но ведь и они не сохранили свой язык в чистом виде. Славянские слова разгуливают там, как в собственном имении. Говорили и о письменности. Все ханы до Бориса свои заветы на камнях и замечательные наставления на столбах писали по-гречески... Как быть?.. И уже совсем тихо беседовали они о старой вере предков. Говорить об этом было опасно. Несмотря на то что они были в комнате одни, оба чувствовали себя неловко... Согласно древним законам, Борис был также жрецом, толкователем знамений и заклинаний, поэтому ему было особенно трудно оспаривать старую веру. При жизни отца было как-то свободнее говорить о ее несостоятельности, но теперь?.. Хан прекрасно понимал значение того, что со времен государства Аспаруха и доныне эта вера не стала истинной верой ни для одного местного жителя! Она слишком примитивна и не может соперничать с новым учением, толкующим об общечеловеческой справедливости в добрых делах. За исключением немногих завзятых волокит, которых манило многоженство, никто не пришел омыть ноги в ее очищающем источнике, а руки — в крови обрядовой собаки...

Они боялись вслух говорить о новой вере — боялись не столько Тангры, сколько ушей ста родов. Разговор о христианском боге всегда вели с недомолвками, как бы между делом, обсуждая войны между империей и сарацинами, размышляя о тамошних пошлинах, об их

непрочном мире, который все не удается закрепить; осторожно переходили к церковным обрядам, постепенно объединяющим и армян, и греков, и большую часть славян, и другие народы, населяющие империю. Эта вера каким-то образом связывала в общий узел все пути, выравнивала всех и в земном царстве, и в небесном, стремилась возвысить человека во имя справедливости, понятной и приемлемой для всех. Глядя на отблески огня, слушая потрескивание сырых поленцев, они чувствовали, что вступают в странный заговор против своего народа — ради того, чтобы сохранить его в будущем. В такой зимний вечер Онегавон первым осмелился заговорить о главном:

— Мои годы вдвое против твоих, светлейший, в случае неудачи пусть грех падет на меня.

— Я надеюсь только на тебя.

— Позволь мне вернуться к себе в Средец и сеять новые семена в моем тарканстве, и, если роды восстанут против меня, виновным буду я.

Борис долго молчал, прежде чем ответить. Его взгляд был устремлен на раскаленные угли, а рука слегка постукивала длинной головней. Каждый удар рождал сноп искр, взлетавших вверх в необъяснимой радости. Прежде чем ответить, хан задвинул головню в огонь и повернул к Онегавону полуосвещенное лицо:

— Это всего лишь один из путей, Онегавон... Если я пошлю тебя этим путем, останусь один. С завтрашнего дня назначаю тебя кавханом, моим первым помощником. Начнешь проверку ста родов. Постепенно ты соберешь около столицы тех, кто женат на славянках, других оставишь подальше. И все тихо, не привлекая внимания... Лучше тихо, да надежно, чем быстро, но неудачно. Нам обоим должно быть совершенно ясно одно: и сверху, и снизу смотрят на нас с недоверием. Удастся — значит, мы на верном пути.

Онегавон не ответил. Он молча поднял правую руку, растопырил пальцы и с легким поклоном торжественно положил ее на грудь.

Они поняли друг друга. Утром гонцы поскакали в воеводства и тарканства, чтобы сообщить всем: собирается большой совет.

8

Деян робко постучал в дубовую дверь. Он не любил нарушать сон философа. В сущности, он еще ни разу не застал его в постели, видел только склоненным над пергаментом, с головой ушедшим в известный лишь ему мир, мир тяжелых и мудрых книг, украшенных искусными рисунками из жизни апостолов и святых. Деяна не учили читать, да и для парика ли такое занятие — погружаться в мысли да-

леких тебе людей о других знатных людях. Они умеют толковать книги, а он кто такой? Старик, который не в силах воспринять их премудрость. Был бы молод, Деян попробовал бы овладеть ею, но старость все подавила в нем, и он был не в состоянии одолеть бесплодность своего ума и старческую усталость. Если он и заглядывал в книги, то делал это только из почтения к философу — своему благодетелю, к святой руке, вернувшей ему свободу. Никому, кроме Константина, он в монастыре не подчинялся. Эта личная преданность раздражала монахов, и они часто отравляли дни старика мелочной ядовитой злобой. Деян не был ни послушником, ни батраком, и его особое положение злило остальных послушников и батраков. Они завидовали его свободе, его праву располагать собой. В последнее время Деян согласился исполнять обязанности ночного сторожа больших ворот. Ночное бодрствование его утомляло, зато днем он мог спокойно отдыхать у дверей кельи Константина, довольный тем, что недаром ест постные блюда монастырской кухни. Старик мало-помалу освоился с жизнью святой обители и открыл довольно много изъянов в поведении братии: хитрость, фальшивую набожность, леность и криводушие. Все это было и в большом городе, но там люди не претендовали на совершенство, не считали себя слугами господа бога, как здесь. Поэтому тут он глубже переживал лукавство и ложь. Новая служба в некоторой мере скрыла от него дневные грехи монахов, зато открыла ему другое — прелюбодеяние. У молодых монахов, да и не только у них, были свои ночные дорожки, ведущие в близлежащий женский монастырь святой Магдалины. Деян тщетно пытался закрывать на это глаза. Прошлым вечером отец Пахомий вернулся с перевязанной головой: его побил дьякон Онуфрий из-за хрупкой послушницы Анисии. Деян не собирал сплетен, они сами находили его, но вместо того, чтобы злорадствовать, его душа утопала в горечи и мраке, в вопросах без ответов, в глубоком разочаровании. Тут все только и делали, что обманывали ближнего, не говоря уж о небесном судии, который смотрит сверху и все-все видит. Впрочем, все ли? Кто-то рассказывал Деяну, что звезды — это глаза всевышнего, но ведь звезды не всегда светят, стало быть, в беззвездные ночи побеждает рогатый и развращает души! Много раз собирался Деян поведать свои тревоги философу, да все не решался. Его останавливали дрожащий огонек свечи, раскрытая книга, тени под глазами Константина. Постоянная занятость философа превращала его тревоги и сомнения в смутные сновидения, рожденные темной ночью и исчезающие поутру. Сегодня он все же осмелился постучать: монахи задумали вовлечь его в нечестивый обман, который мог сделать Деяна посмешищем.

Деян постучал еще раз и робко переступил стертый ногами порог кельи. Константин был не один. Крупная тень Мефодия закры-

вала окошко. Деян хотел было вернуться, но голос философа остановил его:

— Что так рано, отец?

— Прости, учитель, но с этим праздником такое творится, что я решился спросить тебя, неужели можно так делать...

— Слушаю тебя,— сказал Константин и повернулся к двери.

— Ну вот, монахи хотят, чтоб я притворился слепым и умылся слезами святого Полихрона, когда народ соберется у Стены Плача...

— И вдруг прозреть во славу святого, так, что ли? — прервал Мефодий не оборачиваясь.

— Да, так!

— Скажи им, пусть для такого издевательства поищут кого-нибудь другого!

— Ладно...

— И еще скажи тому, с продырявленной головой, чтобы прекратил эти дикие сборища.

— Но трое хромых уже пришли, есть и слепой, вот они и хотели второго. Одного-то вчера вечером привели из какой-то деревни, заплатили даже.

— Для полного чуда остается только привести послушницу, чтоб во дворе родила! — все так же резко сказал Мефодий.— Нет, брат, придется навести порядок в этой обители. Либо здесь святое место, либо поганое... Игумен все делает через пень-колоду, того и гляди возьмет и продаст нас вместе с книгами. Не хотелось морочить тебе голову этими безобразиями, думал, чтоб ты сначала завершил наше большое дело, но больше молчать о кощунстве над верой не буду... Таких, как Деян, много. Они видят богохульство и обман, да не их мы обманываем, а себя! И эта твоя... знатная... Неужели ты думаешь, она из-за Иоанна притащилась на праздник? К тебе она, к тебе... Знаю. И тебе следует так с ней обращаться, чтобы ей и в голову не пришло приезжать сюда еще раз.

По-видимому, разговор начался до появления Деяна, а потому он, не смея остаться, попятился и вышел, прикрыв тяжелую дубовую дверь. В сенях стояла его деревянная кровать, он влез под тонкое покрывало и закрыл глаза. В памяти всплыла прошедшая ночь... Он снова услышал скрип монастырских ворот, увидел, как расписная карета с гулом въехала во двор, из кареты вышла стройная женщина, а за ней выкатился молодой горбун с печальным лицом... Деян засыпал, и его старческий ум все пытался проникнуть в смысл последних слов Мефодия. Значит, это была она — Ирина, о которой знал немало, но до сих пор ни разу не видел. И он заснул, так как его день кончился, началась его ночь — и день для других людей.

Шествие пересекло двор и направилось к Стене Плача. Сзади тащились мнимые слепые и калеки, и Константин невольно подумал:

раздобыли ли монахи второго слепого, чтобы ошеломить толпу исцелением? Игумен был разодет. Рядом с ним — знатные гости. Ирина и Иоанн шли в первых рядах, за хоругвями и святой иконой Христа Чудотворца. По другую руку от игумена выступал Феоктист, важно опираясь на позолоченный посох из слоновой кости. Его поредевшие волосы стали еще белее, лоб, увеличившийся и круглый, лоснился, холодно блестел от пота. Все в нем было изысканным, безукоризненным, от холеной бороды до бархатной хламиды, отороченной канителью, от руки в перстнях до ног, обутых в сапоги одного цвета с хламидой. Ради праздника он надел тяжелый золотой крест на золотой цепи, с застежкой в форме змеиной головы. Вся его фигура излучала удовлетворение и плохо скрываемую радость. Константину трудно было определить, действительно он рад или только лицедействует. Для наблюдающих со стороны он был непроницаем: с годами долгой службы у императоров пришло умение ловко притворяться. За Феоктистом теснились слуги — при мечах, в плотно облегающей кожаной одежде, отороченной серебром и перехваченной поясами из железных позолоченных колец. Было очень модно щеголять фальшивым золотом, возбуждая любопытство толпы. Эта парадность и чванство пришлись по вкусу слугам господ, стремящимся провести границу между собой и остальными людьми, которых они считали пылью на своих сапогах. Константин еще раз бросил взгляд на пестрое шествие и, не обращая внимания на пение монахов, решил пойти к себе. Не хотелось участвовать в шарлатанстве игумена и отца Пахомия. Остановившись, он поискал монаха взглядом. Тот был в середине шествия. За ним ковыляли, кривляясь, трое «калек», на разбойничьих лицах которых читалась овечья тупость и наглая жестокость. Сзади, ведомые оборванными детьми, волочились слепые старики с бородами до земли; среди них были с пустыми глазницами, выжженными раскаленным железом палача по приказу какого-нибудь власть имущего, и с глазами белыми, как у вареной рыбы,— запыленная вереница горемык, пришедших напрасно искать исцеления, вымаливать здоровье, терять надежду. Среди них толкались также двое с запрокинутыми головами и белесыми глазами, они невпопад размахивали руками — стало быть, Пахомий нашел замену Деяну на роль второго «слепца». Константин поднялся по лестнице на второй этаж, где были кельи, и невольно остановился. Шествие уже покидало двор монастыря, когда из-за развесистого самшита показалась Ирина. Высокая и гибкая, с волосами, ниспадающими на плечи, она перешагнула прозрачный ручеек, бегущий от чешмы, и, посмотрев на философа странным, смущенным взглядом, мелкими шажками двинулась к нему. И Константин вдруг понял, что думают и живут они по-разному, что пути их давно разошлись, но остались связующие их тропинки молодости, не заросли травой. Учащенно за-

билось сердце, и стало ясно, что безразличие к Ирине было лишь внешним. Философ ощутил живую силу неудовлетворенного чувства. Что же это за чувство? Любовь или уязвленное честолюбие заговорило в нем в сочетании с гневом обманутого и униженного? Невозможно было остаться равнодушным к этой женщине, идущей ему навстречу. Немало потрудилась природа, чтобы сотворить ее столь совершенной. Волосы цвета воронова крыла оттеняли белизну лица; бархатные черные брови, искусно изогнутые, будто выписанные на пергаменте рукой мастера; чуть выступающая верхняя губа, придающая Ирине невинный, непорочный вид; темные глаза, как бы напоенные зноем южных ночей. Как эти черты ее облика противоречили друг другу и в то же время не могли быть друг без друга! Одни держали на расстоянии, другие кричали, взывали, молили о близости. Ирина сделала еще шаг и остановилась. Руки в перстнях и браслетах машинально придерживали подол, так, словно она еще не перешагнула ручеек. Золотые туфельки любопытно выглядывали из-под тяжелого бархата, удивленные присутствием незнакомого мужчины в черной одежде и с глазами цвета летнего неба. Голубизна в его глазах постепенно сгущалась, пока не заблестела ледяной синевой: Ирина пришла первой и первой должна была заговорить. Голос ее неуверенно дрогнул:

— Ты уже забыл меня?..

Константин не ожидал столь прямого вопроса. Он оперся на перила и, опуская взгляд, чтобы смотреть ей прямо в лицо, медленно заговорил:

— Однажды орел парил в небе и решил спуститься к сердцу земли, но там, в долине, где пел ручей прозрачнейшей и сладчайшей воды, он увидел змею, греющуюся на солнце. Ощутив тень от его крыльев, змея приподняла голову и по какому-то странному совпадению встретила его теми же словами, что и ты: ты уже забыл меня?.. Что мог ответить орел, как не напомнить ей, что слева, на его груди, еще не зарубцевались следы ее зубов? В сущности, это притча, но, как ты и сама видишь, иногда притчи повторяются в жизни, поэтому слова орла, думается мне,— лучший ответ на твой вопрос.

Ответ огорчил Ирину. Она отпустила платье — любопытные золотые туфельки скрылись, как вспугнутые. По всему было видно, что разговор будет не из приятных, но раз уж она приехала сюда, то должна понять, что думает о ней Константин и не живет ли за его обидой прекрасная надежда — она остается любимой, хоть и чужой. А так как она, будучи красивой женщиной, была не в состоянии поверить, что кто-либо может отвергнуть ее, то, выдержав холодный взгляд его голубых глаз, сказала:

— И все же у орлов свой далекий мир и далекое небо, недоступное для людей. Я не орлов спрашиваю, а тебя, так как наш дом —

земля, а любовь — наше утешение. Я приехала найти это утешение и чувство нашей давней радости...

— Умер глупец. Собрались все глупцы у могилы — решать, умер он в действительности иль нет. И сказал один из них...

— Хватит притч! — прервала его Ирина.— Я понимаю, ты все еще не можешь простить меня и горишь желанием отомстить.

— Отомстить? — Константин поднял брови.— Ты ошибаешься, Ирина. Меня давно покинули и любовь, и жажда мести. Я многое понял и оставил мир с мелочными человеческими страстями. Порой лишь вижу образ одной чистой девушки, но он ничего общего с тобой не имеет. И сны мои спокойны и светлы...

— А я, я не могу уснуть! — горестно обронила она и, словно стыдясь признания, опустила голову.

Константин уловил в ее словах горечь покинутой и отвергнутой женщины. Что-то теплое поползло к его глазам и растопило льдинки. Осталась синь летнего неба. Чтоб прогнать минутную слабость, он, ударив рукой о перила, продолжал:

— Однажды торговец пожаловался Соломону: «Повелитель, почему я не могу спать?» А мудрец ему ответил так: «Потому что совесть твоя нечиста!»

Это были тяжелые слова, Константин сам испугался их и решил уйти, но где-то в душе зазвучал голос справедливости: «Спроси ее, почему она молчит?» И он спросил. Впервые он видел Ирину такой — робкой, чем-то напуганной. Она не оправдывалась, не наступала, она проходила свой путь падения. И ответ ее звучал смиренно:

— Молчу, ибо целую твой голос. Теперь я понимаю, что́ потеряла и чем заменила потерянное, и совесть моя рыдает, а сердце разрывается при мысли о моих черных обманах, осквернивших дорогу к тебе. И если я здесь, то лишь потому, что хочу, чтобы ты забыл про мою вину. Камень грешных своих дней я буду нести всю жизнь одна. Прости меня, Константин, верни хоть надежду, что любишь меня...

— У тебя же есть Варда!

— Варда — это дурман для всех глупых и наивных, таких, как я. Много ли надо девушке, чтобы поддаться увлечению знатностью, особенно если эта знатность сама встает на ее пути и предлагает соблазны глупой суеты? Поверь, Константин, если бы ты был в Царьграде, этого не случилось бы...

— Ирина, ты хочешь свалить всю вину с себя и предстать передо мной единственным обманутым зрителем?

— Я зритель лишь сейчас, Константин... Участница игры, я поняла, что жажда славы, почестей и роскоши, страстное стремление обладать золотой диадемой были всего лишь химерическим сном, который рассеялся с наступлением дня. А днем я поняла свое одино-

чество и свое падение. Но я не буду тебе лгать, что поняла это уже в первое же утро — так было бы подло с моей стороны. Все это я осознала в последние дни моего прозрения — и ты остался моим единственным светом... Теперь я вырываюсь из страшного вихря,— вихря, который должен был возвысить меня так, чтобы все завидовали мне...

— Но вихрь забросил тебя в постель сына Варды...

— Таков был путь в мир моей мечты, я стала снохой сильнейшего человека империи...

— Снохой ли?

— Я понимаю, ты хочешь растоптать, унизить меня. Ты видишь во мне лишь опозоренную, ненавидимую тобой женщину, но одного я хочу: чтобы ты не забывал, что я пушинка, которой довольно и ладони, если ладонь желанная и любимая, но я могу быть гневной тучей, низвергающей молнии на своего врага. В дни падения у меня было достаточно времени, чтобы понять все их хитрости и козни, я могу быть и любезной, и злой, если надо, но, разумеется, только за их спиной. Единственно с тобой могу я быть прямой, ибо ты знаешь меня бесчестной, а я ведь приехала исповедоваться и найти путь к тебе. Прости меня, и ты будешь иметь все, что имею я.

— Да что же ты имеешь?

— Страшную власть!

— И кесарева сына в постели...

— Что он для меня? Грубо отесанная ступень на пути вверх, пустое облако без грома и дождя, которое не может даже бросить тень на спаленные травы, искусное орудие в чужих руках, ножны для меча, пылинка на моей золотой туфельке, о которой он может лишь втайне грезить, шоры для простонародья. Вот что он для меня. И я не хочу, чтобы ты связывал меня с ним даже в мыслях, ибо он не дотронулся до меня ни разу со дня благословления патриарха. Это ты должен знать во избежание лишней ненависти. Обвиняй меня, но за отца! Им я владею, и он мной гордится!

Все это Ирина выпалила одним духом, сквозь зубы, с какой-то отчаянной решимостью. Лишь сейчас Константин понял, насколько низко пала эта одновременно близкая и чужая женщина, отделенная от него стеной подлости, женщина с двойной душой. Он смотрел на овальное лицо Ирины, на тонкие брови и длинные опущенные ресницы, на чуть приподнятую, как у невинных детей, верхнюю губу и с болью обнаруживал за этим лицом мелкий мир, зараженный всеми грехами и соблазнами дьявола. И он испугался... Испугался за себя и за окружающих. Она опустилась на дно, а там уже ничто не остановит человека. Когда он намекнул ей о муже, то сделал это не из ревности или ненависти к бедному Иоанну, он хотел только понять, как далеко она зашла и истина ли молва о связи ее со свекром. Не

подтверди она эту молву, он ее простил бы, ибо сострадание к несчастному сыну кесаря, этот человеческий, некорыстолюбивый поступок, могло бы увенчать Ирину ореолом святости. Но она столь бесстыдно обнажила свое нутро!.. Константин поднялся ступенькой выше и сказал ей через плечо:

— Вернись обратно, Ирина!.. Уходи!..

Но она не тронулась с места, не поняла, что пришел миг расставания. Трудно было поверить, что все кончено.

— Ты ведь называл меня звездой!

Да, он назвал ее так в одном своем стихотворении. Они сидели тогда в саду Феоктиста. Константин мял в руке пергамент, вобравший дрожь молодой души, и не находил сил преподнести его ей. А теперь?

— Погасшая звезда — не звезда для меня больше!..

Слова ударили прямо в сердце Ирины, но все-таки мысль о том, что ее отвергли, еще не овладела ее сознанием.

— Я пришла к тебе просить,— сказала она.— Я протянула руку, а ты опускаешь в нее холодный камень...

— В твоей груди давно холодный камень вместо сердца. Уйди...

— Ты прогоняешь меня?

Ее удивление было столь велико, что Константину стало жаль ее, но только на мгновение. Для него уже не существовала кающаяся Ирина. Внизу, у лестницы, стояла гордая и властная женщина с душой цвета воронова крыла. Снежинка на крыле растаяла бесповоротно. В глазах женщины было глубокое презрение. Это презрение может убить любого. Константин начал подниматься, но вдруг замер. Его остановил сдавленный крик. Иоанн!.. Он стоял в тени старых самшитов и с каким-то безграничным злорадством смотрел на жену. Его сгорбленная фигура была похожа на подушку, криво перетянутую шнуром из дорогой парчи. В тени лицо было неразличимо, виднелись только глаза и зубы. По-видимому, он слышал разговор: тело его тряслось, он кричал, и слова его обдавали Ирину ядом злости. Иоанн торжествовал. Он видел жену униженной, презренной, низвергнутой, нагой и растоптанной в пыли монастырского двора. Прорвалась злоба, перемешанная с жалостью к самому себе и с болью: назревший нарыв лопнул под острой иглой — презрением в словах Ирины о «ступени на пути вверх». Недостойные сравнения, порожденные желанием вернуть любовь другого человека, привели Иоанна в бешенство. Его дрожащая рука была поднята, слова катились по мостовой, как камни, которые бросают в беспредельной ненависти. Ирина уже исчезла в тени галереи, там, где были комнаты для знатных гостей, но Иоанн продолжал кричать, ослепленный собственным унижением и болью. Крики могли привлечь внимание людей, поэтому Константин поспешно отвел его в свою келью.

9

Климент старательно осваивал новую азбуку. Красивые знаки ложились на пергамент, по-своему воссоздавая мир. Слово божье пока еще ничего не говорило. Этот узор знаков, способный передать все оттенки родного языка, наполнял молодого послушника благоговением к их создателю. Когда он еще жил с отцом в пещере над Брегалой, он удивлялся работоспособности и упорному труду отца. Сидя среди выбеленных кроличьих шкур, деревянных обложек новых евангелий и тропарей, маленький Климент усвоил приемы собирания страниц в книги, исписанные отцовской рукой любовно и тщательно, сам клал лист в деревянные тиски, сам резал, чтоб потом сшить и привести в порядок — как слова в них. В нем появилась страсть к книге. Рождение книги было для него праздником. Он подолгу носил ее с собой, рассматривал, старательно поправлял концы страниц, прибивал к окладам золотые, серебряные или бронзовые застежки, чтобы книга не коробилась, вечером клал у изголовья, чтоб была рядом и благоухала запахом кожи и красителей. Мастерская в монастыре стала благодатным полем для реализации его способностей и желаний. Молодые иноки с бо́льшей охотой бродили около женского монастыря, расположенного неподалеку, чем занимались выделкой заячьих шкурок и изготовлением красителей. Тиски сломаны, ножи тупые, длинное и узкое помещение забросано хламом...

Климент засучил рукава — и через несколько дней все сверкало. Потолок был красиво расписан, стены тоже. Те, кто создавали книги раньше, до его прихода, работали старательно и со вкусом: в одном углу Климент обнаружил резак, весь в паутине, на высокой полке — массу горшков с высохшими красителями и затвердевшим клеем. Хорошо, что помещение находилось под самой крышей, было сухим и светлым. Создатели книг умудрились отодвинуть одну из каменных потолочных плит — чтоб небо и солнце входили в мастерскую. Вероятно, мастер был человеком изобретательным: плита сдвигалась без особых усилий — система блоков и колес приводила в движение два рычага, те поднимали здоровенную дубовую раму, на которой лежала плита, и крыша точно рот разевала. Оттуда входило солнце и заполняло помещение светом до самого заката. Летом в мастерской было довольно душно, особенно после обеда, когда каменная крыша накалялась, но это не пугало молодого послушника — достаточно было сбросить рясу и остаться в белой льняной рубахе. На чердаке он обнаружил множество икон, и среди них прекрасные, совершенные; некоторые были не закончены. Наверное, готовые прятали и начатые бросали во время преследований иконопочитателей. Климент выбрал самые красивые и подарил философу. Скромная келья Константина вдруг стала богатейшей кладовой красоты и свя-

тых ликов. Часто, беседуя в окружении этих бесценных творений рук человеческих, они чувствовали себя близкими великим мастерам, оставившим свой труд на земле. От отца Климент унаследовал и дар художника. Там, в пещере над Брегалой, он был всего лишь помощником и даже не пытался создавать свои произведения на гладких липовых досках. Он готовил полимент, краски из корней и трав, разводил их на яичном желтке с квасом. Одежда его впитала запах льняного масла, но кисть не слушалась настолько, чтобы вселить в него уверенность, необходимую для создания собственной иконы. Только в монастыре, глядя на неоконченные сцены из Священного писания, он загорелся желанием рисовать. К своему удивлению, послушник обнаружил, что увиденное и услышанное от отца не пропало бесследно, а живет в нем. Когда он окончил свою первую икону и она оказалась ничем не хуже иконы старого, неизвестного мастера, его радости не было конца. Первым зрителем был Савва. Он не стал убеждать Климента в красоте произведения, а, пристально рассмотрев икону, повернул ее к стене.

— Устал я беседовать с твоим святым Димитрием..

— О чем же вы говорили?

— Он сказал, что так и остался бы слепым во мраке этого чердака... У тебя, Климент, рука, которая глаза дарить может, а это не каждому под силу. Это хорошо!

С этого дня Климент выпросил у игумена Савву, работавшего в огороде, для мастерской Священного писания, как, подтрунивая, называла ее монастырская братия. Сначала игумен протестовал, но, когда речь зашла о том, что мастерская может приносить доход, сразу согласился. Савва взялся за изготовление окладов. Деревянные обложки увлекли его: он оглаживал их куском стекла, рисовал кармином, позднее стал переплетать в кожу, а когда мастерская разбогатела и прославилась в близких городах и других монастырях, стал делать оклад из серебра. Савва, прошедший через жестокие мытарства, работал у многих господ и знал много ремесел: ткаческое, столярное, зодческое... Он был прекрасным кузнецом, в его руках железо становилось мягким как воск, и из него можно было выделывать изящные вещи.

Слава мастерской Священного писания разносилась все дальше, порождая все новые и новые разговоры. Однажды Климента, спускающегося в трапезную ужинать, задержал один из самых молчаливых, незаметных послушников. Климент остановился и не поверил своим глазам: у парня в руках был деревянный крест с множеством искусно вырезанных миниатюр на сюжеты из Священного писания. Климент взял крест и, подняв удивленно брови, спросил:

— Сколько? — думая, что послушник хочет продать произведение.

— Не продаю,— ответил тот.
— В чем же дело?
— Возьмите меня в мастерскую...
— Если тебя отпустят из...
— Из кухни.
— Хорошо, я попытаюсь.

Оказалось, парень готовит превкусный кебаб, и игумен не разрешил освободить его. Чревоугодие одолело искусство. Послушника звали Марин, он был сыном одного из славянских князей Пелопоннеса, погибшего в восстании 847 года, того страшного года, когда полки Феоктиста Вриенния опустошили земли на юге старой Эллады. Вот тогда маленький Марин покинул родные края в поисках защиты у монахов. Сначала он был в монастыре батраком, но быстро попал в поле зрения игумена из-за своего поварского умения, и тот сразу перевел его в первые помощники отца Онуфрия. Молодой послушник целыми днями жарился, как нехристь, у большого котла, заготавливал дрова, мыл котел, что было настоящим мучением. Сначала надо подождать, пока котел остынет, потом влезть в него со щеткой из колючей свиной щетины и тереть до блеска. И так каждый вечер. Еле живой от усталости, послушник валился в постель. После заступничества Климента и Мефодия игумен велел освободить Марина от мытья котла. Это давало Марину немалые преимущества. Парень смог заглядывать в мастерскую, и там, в мире красок, звона меди, запахов льняного масла и липовых досок, он чувствовал себя, точно на седьмом небе. Любознательные глаза впитывали все. Постепенно Марин становился верным помощником Климента и Саввы. Иногда в разгаре работы они вдруг поднимали головы и прислушивались к скрипу лестницы. Приход Мефодия поторапливал их, они знали, как он любит порядок, и быстро убирали стружки, обрубки дерева, куски кожи, железа, части застежек. Мефодий, согнувшись, входил; свет из окошка падал на поседевшую бороду, серебряные волоски ее причудливо сверкали, широкие плечи загромождали узкую дверь. Он обводил взглядом мастерскую и лишь тогда здоровался с хозяевами.

— Я хотел бы посмотреть новое,— говорил он и смотрел на каждого.

Климент начинал с икон, хотя прекрасно знал, что книги больше всего обрадуют его учителя и наставника. Мефодий с любопытством рассматривал каждую новую вещь и не спешил давать оценки. Он давно постиг хитрость троих учеников. Самое интересное они всегда оставляли на конец. В этот раз Мефодий слышал, что Климент обещал показать Константину что-то особенное, поэтому его любопытство возросло. Ученики встретили его как всегда — застыв в полупоклоне у стены. Они никак не могли привыкнуть к его дружескому отношению: они знали его прошлое, его строгость и не перехо-

дили незримую границу почтительности. Он спустился с высот искать земное, они поднимались с земли в высоту. Но теперь, при всей разнице в возрасте, путь к высоте у них был общий. Они преклонялись перед его решительным отказом от высокого положения и желанием остаться человеком. И они понимали, что в его глазах под нахмуренными бровями таится свет большой любви, которая всегда согревает их.

— Ну, что вы там придумали интересного?

Стало ясно, что не надо занимать его пустяками, поэтому Климент открыл резной шкаф. В руках сверкнула книга в красивом окладе. Он подошел к Мефодию и, слегка поклонившись, положил ее на его протянутую ладонь. Мефодий взял книгу, осмотрел. Совершенная работа вызвала его удивление. Весь оклад был из серебра, в центре — сцена из Священого писания, вырезанная на куске самшитового дерева и изображающая двух христиан, которые преподносят книгу человеку в длинной христианской рубахе, стоящему на коленях. Мефодий повернул книгу к свету и, к своему великому удивлению, узнал в христианах себя и Константина. Это его смутило и обрадовало; не желая показывать смущение, он отстегнул застежки, и книга сама полуоткрылась — она еще не отлежалась. Раскрыв книгу, он пробежал глазами по строкам, и изумление его возросло: Псалтирь была переведена на славянский язык и написана новой азбукой. Мефодий развел руки, словно хотел обнять послушников, и в глазах его заблестели еле заметные слезы.

— Молодцы вы мои... Как вы меня обрадовали! Дай бог вам доброго здоровья!..

Он подошел к ним, собрал их, словно сноп, в крепком объятии и долго не отпускал, стыдясь собственных слез...

10

Иоанн сидел на табуретке в келье Константина и все не мог прийти в себя. Тайная боль, накопившаяся за годы его одинокого существования, наконец прорвалась, переполнив истерзанное сердце и вызвав слезы горести и жалости к себе. Он услышал от жены, как плохо она о нем думает, и ему было очень трудно успокоиться. Иоанн давно вычеркнул ее из своей жизни, давно уже думал о ней как о чужой, не питая никакой надежды на счастье. Однако ее издевательство потрясло его, заставило обдумать свою жизнь, прошедшую под одной крышей с ненавистным отцом и презренной женой. Иоанн жил бы и дальше так же безропотно, если бы не встреча Ирины с Константином. Впервые он возненавидел жену всей душой, впервые увидел ее униженной, и это придало ему горестные силы оплевать

ее, как последнюю блудницу. Но тогда все это было только началом его боли, теперь она жгла его изнутри, как уголь жжет живое мясо. Он стоял перед человеком, от которого ему нечего было скрывать, недостойная жена так разрисовала его, что даже философа возмутила ее ругань. Разве можно было простить ее после такого цинизма? Константин отверг Ирину, Иоанн чувствовал себя обязанным и благодарным философу, доброта которого стала его защитой. Содрогаясь от рыданий, он, как беспомощный ребенок, все спрашивал и спрашивал, он задавал вопросы тому, сидящему где-то в облаках и безучастно наблюдающему терзания людей. Согнувшись на табуретке, Иоанн давился этими вопросами:

— И ты спокойно смотришь со своей высоты? И тебя не трогают мои терзания? Ты, кто дал образ и подобие последней твари на земле, чтобы она была как остальные, ты только меня создал отвратительным и никому не нужным! Если я и тебе не нужен, зачем караешь меня самой жестокой карой — насмешкой людей? Зачем ты дал мне только обиду? В чем мой грех?.. Разве я ударил ножом сына господня или обливал грязью твоих святых? Растопчи меня и возьми к себе, господи...

Иоанн уронил голову на руки, худые плечи его сотрясались от сдавленных рыданий. Отчаяние переполняло его уродливое тело, и в келье стало душно и тесно от исповеди человека, жизнь которого была сплошной мукой. Константин подошел к нему, положил руку на острые плечи.

— Иоанн, друг, подними голову, и ты поймешь, что каждый человек — источник мук и сомнений и путь его устлан горестями. Нигде нет брода для муки человеческой и вечной печали. Мы таскаем их с собой, как черепаха панцирь. Никогда мы от них не избавимся, тщетны наши усилия. Не думай, что виноват лишь всевышний — сегодня каждый несет свою долю вины за боль в чужом сердце. Счастье — птица невидимая, ростки добра с трудом пробиваются к свету, нет для них благодатной почвы, так как не ценим мы друг друга. Жестоких людей много, словно песчинок в реке жизни, и они не скоро пройдут, а поток слез столь велик, что, если он пересохнет и не будет уносить песок, земля станет пустыней, задыхающейся под песком, мертвой от соли слез человеческих. Не плачь, друг, не плачь...

Вслушиваясь в слова философа, Иоанн проникался их искренностью. До сих пор он делился своими тревогами и своей болью лишь с пустой постелью да холодными стенами своей богатой опочивальни. Константин помогал ему воспрянуть духом, не успокаивая его, не объясняя причины страданий,— он говорил ему о человеческой неправде, которая никого не щадит. Глубоко вздохнув, Иоанн попытался взять себя в руки.

— О, как все меня давит и угнетает. Я живу, как тень, нелю-

бимый, ненужный... Обманутый, презираемый... Скажи, философ, скажи мне правду: как прогнать ненависть? Она сидит в душе и не дает покоя. Ложусь ли, встаю ли — она со мною, теснит мне грудь, вот-вот разорвет ее!

— Несчастье, друг, сделало твое тело убежищем хулы и злости. Повседневная горечь твоей жизни превратила их в неугасающую боль, боль — в злобу, а злобу — в щит против человеческой неправды. Но этот щит непрочен, источен желчью непрестанных человеческих насмешек. Ты чувствуешь себя бессильным, как воин со связанными руками, и тогда приходит испепеляющая ненависть...

— Назови мне лекарство, учитель!

— Лекарство, друг мой, создано одновременно с сотворением мира: закрой глаза и уши для зла и живи большими мыслями, твори на благо рода человеческого. Если же не хватает сил подняться на такую высоту, поищи узкую дорожку света, который сам приходит к нам в густом лесу. Он разгоняет глубокие холодные тени, чтобы согреть притаившийся цветок надежды. У тебя же есть пергамент — вынеси его на этот свет и увидишь, как из твоих бессонных ночей пробьется чувство... а если выразишь его в песне, она сможет утешить и других людей...

— Но я же увечен и болен! — поднял голову Иоанн, доверчиво глядя на Константина.

— Пустые это слова, не хочу их слушать, ибо в жизни нет больных людей, есть только больной дух, который препятствует созиданию. И боль твоя, и взгляд, и слова говорят мне о твоем уме и о том, что ты не обманешь моих надежд. Ищи в книгах цель своей жизни, пойми время, не спорь с мелкими душами, подружись с Платоном и божествами, с вечно живым и непорочным, чтобы забыть о грязи мира господ и о своей боли... Если последуешь моим советам, то уже сегодня станешь здоровым...

Последние слова Константина, прозвучав, как бы остались в келье и наполнили ее торжественной тишиной. Иоанн встал и, взяв обеими руками правую руку философа, долго стоял, прильнув к ней лбом. Константин ощущал исходивший от него жар, а поэтому не спешил высвободить свою руку. Человеческое сердце просило защиты, сердце философа хотело ему помочь и одновременно сжималось от боли и понимания, что невозможно сделать это уродливое тело красивым, гибким, стройным и высоким... Подними Иоанн в это мгновение глаза, он увидел бы смущенное и печальное лицо, лицо человека, тоже нуждающегося в совете.

В таком положении застал их Мефодий. Он вихрем влетел в келью, заметив Иоанна лишь после того, как обошел дубовый стол. Выходить было поздно. Сев за стол, он бережно положил какую-то книгу поверх разостланных пергаментов.

— У нас знатный гость, это чудесно! — сказал старший брат, погладив книгу ладонью.— Радость любит друзей... А радоваться есть чему, брат...— Ясные эти слова, приподнятое настроение вдруг разорвали сумерки кельи. Иоанн выпустил руку Константина и несколько неловко поклонился Мефодию. В этом поклоне были и уважение, и почтительность, и легкое смущение. Он не знал, что делать.

Его выручил Константин:

— Останься, Иоанн... Человек сам создает свои радости, зачем от них бежать? Сегодня...

— Сегодня,— прервал Мефодий,— наш долголетний труд увенчался успехом, бессонные ночи моего брата Константина принесли плоды! Посмотри, брат! — подал он книгу философу.

Константин взял книгу и стал медленно листать ее. Присутствие Иоанна все-таки стесняло его, мешая выразить свое удивление. Руки держат первую книгу на славянском языке, первую птицу его надежды, первую спутницу, которая пойдет вместе с ним по нелегкой жизни...

— Мы с моим другом Иоанном только что разговаривали о крыльях человека, которые должны быть у каждого,— сказал философ,— и мы обязаны не давать им опускаться. А разве есть крылья сильнее и крепче мысли? Нет... Ее можно сохранить в книгах, чтоб осталась с людьми, любящими ее... Иоанн, это — труд безрассудных людей, решивших одолеть тьму. Ты хочешь знать, кто они? Вот, ты видишь их перед собой. Я и мой брат решили открыть славянам глаза на божий свет. Мы создали буквы на их языке, чтобы они лучше воспринимали небесную благодать. Как видишь, мы тоже ищем смысл жизни и свое место в ней... Сейчас наша единственная мечта — отправиться...

— Куда? — поднял взгляд Иоанн.

— К тем, кому мы нужны.

— Возьмите меня с собой...

— Ты — птица в клетке, а ключ от нее не у нас,— сказал Мефодий.

— В сущности, все мы в одной большой клетке, Иоанн, и общими усилиями надо будет освободиться из нее,— добавил философ.

— Почему? — не понял Иоанн.— Вы же свободны!

— Свобода иногда условна, друг. То, что мы создали, заранее обрекает нас на гонения... Мы ведь выходим на борьбу с триязычием.

Высоко подняв книгу, Константин раскрыл ее, и она стала похожа на прекрасную птицу.

— Полетит ли она? Небо есть — небо единого бога, а народов много, и все они чтят разные божества... Почему?

Вопрос повис в воздухе и, казалось, пролетел сквозь время. Никто на него не ответил.

Иоанн стоял между двумя братьями в тесной келье монастыря и не хотел уходить, чувствуя свою близость к этим людям высоких мыслей, устремившихся в далекий путь. Если когда-либо ему удастся пойти вместе с ними хотя бы простым поводырем их мулов, он будет беспредельно счастлив от сознания того, что и он борется с догмой и ограничениями. А догмы создаются людьми — такими, как те, к которым принадлежал и он. Там, в сумерках широких приемных, тайных ходов, глубоких подземелий, забитых узниками... там, где шелестят шелка и бархат, где из серебристых мехов показывают языки зверьки с драгоценными камнями вместо глаз, слышатся коварные шаги хитрецов и развратников, создающих законы и запреты для защиты своих интересов. А с кем он? Что общего имеет он с ними, кроме сумасшедшего случая, вследствие которого появился на свете один знатный плебей? Нет! Отныне Иоанн знает свое место! Он так долго искал его и теперь не потеряет!

Надо быть с братьями, навсегда!

11

В последнее время Климент почевал в мастерской. Под каменной крышей монастыря, среди запаха льняного масла и растворителей он чувствовал себя как когда-то в отцовской пещере. В самом дальнем углу он поставил маленький иконостас с первой своей иконой. Тусклый огонек лампадки дрожал, и казалось, будто глаза святого подмаргивали, глядя на молодого послушника. В создании иконостаса участвовали все мастера. Марин вырезал его из самшита, украсил двенадцатью сценами — от рождения Христа до его великого воскресения. Резец оживил лица, и тени, спугнутые огоньком лампадки, прятались за крохотными фигурками, создавая непрерывный танец светотеней, который приковывал к себе внимание. Оклады и лампадка были делом рук Саввы. Каждый вкладывал в труд всего себя и старался показать свое умение.

После утомительного дня Климент ложился в жесткую постель, и мысли постепенно и незаметно уводили его в детство. Могила отца осталась там, у пещеры, в скалах над Брегалой. Большой камень с выдолбленным крестом указывает место его последнего жилища. Отец умер внезапно, еще до войны с Пресияном. Случилось это весной, среди птичьей разноголосицы и веселой болтовни ручьев. Из долины к вершинам двигалась волна зелени, чтобы одеть в цветы все горы. Старик выходил из пещеры, слушал весенний шум, и глаза его наполнялись светлой влагой. О чем думал он, о чем грустил? Наверное, чуял свой конец. Вскоре он ослабел, перестал работать и однажды сказал:

— Сынок, выброси пепел от дуба... Запах мучает...

До сих пор Климент не знал, что дубовый пепел пахнет. Он взял кадушку, в которой дубили заячьи шкурки, и вынес, а вернувшись, долго нюхал пепел, но никакого запаха не почувствовал... Тогда Климент понял, что отец бредит. Старик бормотал что-то о священном дубе.., выкрикивал заклинания, клятвы; утром притих и, не дождавшись полудня, испустил последний вздох, сжимая в руках простой деревянный крест, всегда висевший у него на груди. Старика похоронили. Клименту не хотелось спускаться в крепость, к Мефодию. Он решил остаться наверху, узнать, хотя и с опозданием, тайну отца. В дощатом сундуке нашел он золотой перстень с надписью на греческом языке — перстень ичиргубиля * Эсхача.

На дне сундука лежала еще новая льняная рубаха, а под ней меч с позолоченной рукоятью. Рядом — книга рода. Когда только отец успевал писать ее? Наверное, пока Климент находился внизу, в крепости. Ичиргубиль Эсхач описал свою родословную: у рода Куригиров были два очага — в Старом и в Новом Онголе. Все люди были у хана в почете, их имена высекались на каменных колоннах во славу какого-нибудь подвига или ханской войны с окружающими племенами и народами...

Климент читал, и воображение уносило его в раздольные поля за Хемом, где паслись табуны коней, а сам он мчался на резвом скакуне. В ушах свистел ветер, он чувствовал под собой живую спину коня, а под седлом была запасная походная бастурма *. В нем просыпалась кровь наследника вольного ичиргубиля из рода Куригиров.. «И простиралось поле ровное, а травы щекотали брюхо, легкий ветрок развевал чуб, и я думал, что Тангра создал этот мир для того, чтобы я по нему скакал, а ароматные травы дурманили меня запахом и изумляли цветами... В это мгновение появилась дочь Борислава. Она шла в своей белой одежде сквозь высокие травы, точно заблудившийся мотылек, волосы у нее были золотые, как солнце, а руки белые, как молоко кобылы-первотелки. Я натянул поводья, трижды сплюнул за пазуху, чтобы отогнать зло, если оно приняло образ красавицы... С того дня потерял я всякую радость и волю. Я стал угрюмым и молчаливым, из-за чего хан усомнился в моей верности... А я горе свое прекрасно знал: не мог жить без дочери Борислава... И чем больше думал, тем становился менее общительным, так как законы государства и рода запрещали смешение крови. Она была славянкой, я — отпрыском одного из ста вернейших родов государства. Бросил тогда я все — и род, и пост,— так как хотел быть только с нею. Горы приняли нас, довольных и радостных людей. В те дни понял я и другое: у нее — свой бог. Он стал также моим богом. Кровь моя воспылала такой ненавистью к тем, кто прогнал меня, что, когда родился Климент, я спустился глухой ночью на рав-

нину, чтоб своими руками спалить священный дуб нашего рода и развеять пепел во имя торжества моего нового бога. И о дерзости той я не жалею...»

Эти слова многое объяснили Клименту: и предсмертный бред о дубовом пепле, и одинокую жизнь в горах, и молчаливую замкнутость, и слезы перед лицом великого чуда природы — давать траве силу и величие, украшать мир цветами, одевать горы в зеленые веселые, радостные одежды. Многое таила эта книга в простом жестяном окладе. Она была хорошо написана, полна раздумий одинокого человека, который предпочел почестям и самодовольству знати любовь и веру в чужого бога. Размышляя о жизни отца, Климент невольно сравнивал ее с жизнью своего учителя и наставника Мефодия. Разве не так же отрекся он от титулов, когда захотел найти высокую истину? Разумеется, отец действовал, побуждаемый внутренним порывом сильного чувства, данного природой, в то время как Мефодий отправился в новый путь уверенными шагами человека, знающего, куда и зачем он идет. Чем больше вникал Климент в книгу, тем яснее понимал он и самые мелкие подробности. Книга была написана греческими буквами, но болгарскими словами. Часто для родных звуков не хватало буквы, получалось что-то смешное. Неужели нельзя найти знаки, которые заполнили бы эти пробелы? Тогда даже чужая азбука, как эта, сможет служить его народу... От этой мысли Климент с испугом отпрянул: она могла бы обидеть Константина. Будто его азбука несовершенна и требует улучшений. Упаси бог! Припоминая красивые узоры букв Константина, Климент ощущал влагу на глазах. Вообще он обнаружил в себе странную склонность к умилению и сочувствию. Он часто думал, откуда она взялась в нем, если отец был столь суровым человеком... И это объяснила книга рода: «...Она (речь шла о матери) была кроткой божьей душой, готовой расплакаться при виде любого чужого страдания. Однажды был большой голод, и я убил серну. Когда я притащил ее в нашу уединенную хижину, то обнаружил, что за мной пришел ее малыш. Тогда она взяла зверька и долго рыдала так, что сердце разрывалось...»

Климент помнил мать, хотя и смутно. Она любила подниматься с ним на вершину горы и сидеть там на голом камне и долго смотреть в синюю даль. О чем она тогда думала? Наверное, о веселых вечеринках, о хохочущих подружках, о мире, незнакомом ее сыну. Вспоминается еще и старик у огня в темные, глухие вечера. Он приходил откуда-то с сумой, полной всяких сладостей. В такие ночи мать и отец не ложились и толковали с ним до утра. Его провожали по извилистой тропинке раньше, чем начинала блестеть роса на верхушках деревьев. Книга рода подсказала ключ и к этой тайне: то был Борислав, отец матери и его дед...

«...Тогда пришло самое страшное. Сырой и морозной была зима, камень — сердитым и мрачным... Сперва появился кашель, затем она ослабела, ее лицо осунулось, и она скончалась... Душа ее отправилась прямо на небо, ибо была праведной и чистой. Остались мы одни с Климентом — скорбеть о ней, о ее доброте. Вот в ту пору решился я поискать лучшее будущее для моего мальчика. И пошел... Многое слышал я о Брегале и ее стратиге, все хорошие слова,— и не ошибся. Правильный путь указал мне бог...»

Не много людей прошло такой путь, как отец. Такой путь был под стать поэту или суровому мужчине, который не думает о других, а только о своем чувстве. Отец не был ни поэтом, ни суровым человеком. Или, может быть, был и тем и другим. Его душа была привязана к природе, глаза были способны удивляться весенним цветением, руки жаждали бороться с невзгодами жизни, руки сурового ичиргубиля Старого и Нового Онгола. Согласно законам предков, он мог иметь много жен — но отказался от этого права ради одной; в государстве он занимал высокий пост, рабы и парики должны были кланяться ему — но он пренебрег всем этим и уединился в горах. Согласно родовым порядкам, жены были безликим племенем, задачей каждой было поддерживать огонь в очаге и продолжать род, не отягощая мужскую совесть,— он отрекся и от этих порядков, чтобы уединиться с одной женой. И все-таки в отце осталось что-то от старого — нигде в книге рода не упомянул он ее имени, называя ее только «дочерью Борислава»... Что же это был за человек — отец? Всю жизнь будет задавать себе Климент этот вопрос, но не найдет ответа. Эсхач покинул людей, но не расстался с мудростью, не сделал из своего сына горного волчонка. Всю жизнь переписывал он божьи книги, научив этому и сына, и тем самым вернул его в большой мир — мир любви и доброты, о котором рассказывается в житиях святых и отшельников. Он научил его любить краски и немножко пользоваться ими. Что же это был за человек, его отец?

Вечером, перед сном, Климент брал книгу рода и при этом словно ощущал теплую ладонь отца, прибавляющую ему силы идти вперед. От него, от отца, было упорство — не останавливаться, побеждать соблазны и искушения. Разве не может он, как остальные послушники, волочиться за монашенками? Но зачем? Конечно, он молод и даже красив, многие это говорят, среди них и женщины,— но Климент из того теста, что и отец, он настроен на сильное чувство, которое, наверное, когда-нибудь придет к нему. Он не плюнет тогда три раза за пазуху, чтобы понять, что идет навстречу в образе красавицы — добро или зло. Он узнает ее с первого взгляда, так как верит, что она есть. Климент видит ее, достаточно ему зажмурить глаза. Вчера он ее встретил во время шествия с иконой, и в сердце будто что-то оборвалось. Она шла, распустив волосы, лицо ее было невин-

но, руки словно два белых голубя, и походка как у царского павлина. Он не знал ее и боялся спросить, боялся насмешек, но все равно не выдержал, спросил.

— Это ты о ком, о той в золотых туфлях?

— О той, Савва.

— Ирина, сноха Варды, что отреклась от учителя. Однако он молодцом... Спроси Марина, пусть расскажет тебе, что слышали люди из кухни. Вчера она пошла к Константину, и он прогнал ее,— болтал Савва, возясь у маленькой наковальни с какой-то оправой.— Потом ее муж такое ей устроил!.. Забудь о ней.

От этих слов у Климента потемнело в глазах, перо сломалось, оставив на белой коже пергамента длинную черную каплю, капля стала расти, заполнила мастерскую, закрыв черной пеленой все, что было перед его глазами. Он ожидал чего угодно, только не этого. Клименту было известно, что она из знати, что он может быть с ней только в мечтах, но теперь даже мечте суждено было погибнуть... Значит, он полюбил зло. Ирину, ту, о которой ему рассказывал Мефодий после возвращения из Константинополя. Тогда послушник запомнил только, что Константин вернулся победителем из страны халифов и что молва связывала его имя с именем какой-то знатной красавицы. И вот теперь она разбила его сердце, женщина с красивым лицом, изогнутыми бровями и слегка приподнятой, словно у наивного ребенка, верхней губой. Разве такая женщина может быть плохой?.. Слишком рано мастерская на чердаке опустила свое веко и отрезала ясный солнечный свет, чтобы оставить молодого послушника наедине с собой, в конце пути предков из Старого и Нового Онгола. Он потерял надежду и приобрел боль, которая вряд ли когда-нибудь покинет его...

12

Монастырский праздник закончился длинными молитвами и пением у Стены Плача. Хоругвь в руках оборванного монастырского служки покачивалась перед Феоктистом, как победное знамя. От блеска праздника ничего не осталось, болтливая толпа лениво брела через двор. Кто прозрел, кто стал ходить, кто утвердился в своей надежде. На следующий год святой небось и о других подумает. Феоктист верил и не верил в исцеления, но, поскольку был ревностным христианином, не посмел спросить о них упитанного краснощекого игумена. Телохранители Иоанна и Ирины тоже тащились в толпе, но ни Ирины, ни Иоанна логофет не видел нигде, сколько ни старался. Он потерял их из виду на середине дороги, где-то около старого кипариса. Не заметил он также ни Константина, ни его брата, которого он ненавидел. Отношения с Мефодием явно вышли за рамки прили-

чия, и если они все еще здоровались, то делали это, снисходительно улыбаясь. Почему? Феоктист не мог этого объяснить. Он считал, что всегда был ласковым к сыновьям Льва — друга молодости — и помогал им. Пришла пора им отвечать добром на его старания, не то они останутся в долгу.

Феоктист толкнул камешек концом посоха из слоновой кости и тяжелой поступью вошел под сводчатые ворота монастыря. Толпа заполнила каменное брюхо двора. Калеки и нищие толкались около большого котла, протягивая оббитые глиняные миски и сосуды из тыквы. Гомон этого голодного стада остановил логофета, ему захотелось посмотреть на пестрое разнообразие лиц и одежд. Слепых можно было узнать по поводырям — детям, либо оставшимся без родителей, либо предоставленным самим себе. Слепые, в отличие от хромых и других калек, молчали. Неуклюжие костыли загородили узкий проход к котлу. Один калека сторожил проход, высоко подняв дубинку из суковатого бука, в любую минуту готовый обрушить ее на головы собратьев. Феоктист посмотрел в заросшее волосами лицо калеки, и холодные голубые глаза потушили любопытство логофета. Эти глаза явно не сулили ему ничего хорошего. Феоктист инстинктивно оглянулся на свою стражу, а потом медленно пошел к игумену. Все знатные были приглашены в гости к его святейшеству. Любопытно, чем он их угостит? По своей привычке Феоктист не спешил — не хотел приходить первым — и, чтобы потянуть время, остановился у кухни. Можно было подняться в комнату и вымыть руки. Эта мысль показалась логофету правильной, и он поднялся на второй этаж. Проходя мимо комнаты Ирины, замедлил шаг, но за закрытой дверью ничего не было слышно. Вчера вечером, выясняя положение, они просидели довольно долго; теперь отдыхает, наверное, подумал логофет. Начав с воспоминаний о ее ребяческих проказах, с разговоров о родственниках и знакомых, они незаметно перешли к нынешним тревогам, и логофет заговорил слишком уж откровенно. Не упоминая о заговоре, он все же намекнул, что возвращение Ирины в круг семьи должно увенчаться добрым для всей страны делом — убийством Варды. Феоктист вряд ли решился бы на такой шаг, если бы она сама не стала жаловаться на грубость и ревность кесаря. Ревность была ее выдумкой, она хотела скрыть правду о равнодушии к ней Варды, раздражающем ее все больше и больше.

Разговор был задушевным, как между близкими людьми, случайно расставшимися на некоторое время. Феоктист мог бы сказать, что остался доволен беседой, если бы не глухая тревога из-за какой-то невольной ошибки. Логофет не мог назвать ее, но чутье старой лисы подсказывало, что она есть. Ополоснув лицо холодной водой из глиняного кувшина, Феоктист почувствовал себя молодым, готовым к веселию и глубокомудрым разговорам. За столом он будет вести себя

так, чтоб все плохие мысли вылетели из красивой головки племянницы. Уж он-то ее знает, знает ее слабое местечко — надо ее хвалить за красоту и за ум, которого у нее нет.

В просторной келье игумена был накрыт богатый стол. Гости сидели на перстых подушечках, ожидая опаздывающую Ирину. Феоктист устроился слева от игумена. Хорошее настроение вдруг сменилось сомнениями и тревогой. Что такое с Ириной? Почему не приходит? А если вдруг вообще не появится? Взгляды всех были обращены к двери, когда вошедший слуга попросил извинить госпожу Ирину за внезапное недомогание, помешавшее ей прийти. Этого следовало ожидать... Игумен первым протянул руку к жареному мясу. Все весело загалдели, один Феоктист сидел мрачным. Уж слишком заметным было ее отсутствие и в шествии, и здесь. Либо в самом деле занемогла, либо встретилась и разговаривала с Константином, а разговор оказался нерадостным. А может, и радостным?.. Логофет обвел глазами стол и возликовал, заметив отсутствие философа. Может, они все-таки договорились?.. В его распутном воображении сразу, как в летнем вихре, закружилась комната Ирины с широким ложем и жесткой софой, и даже будто послышался шепот из-под балдахина... Феоктист вдруг поднял свой бокал с красным вином:

— За здоровье отсутствующей, опечалившей нас своим нежеланием украсить этот богатый стол!

Выпили.

Когда отведали все яства и вина монастыря, а шум разговоров усилился — никто не слушал друг друга, каждый хотел только говорить,— Феоктист встал, встряхнул пестрый платок, бережно сложил его и оставил на столе.

— Все было хорошо — и еда, и вина, и гостеприимство. Дай бог здоровья отцу игумену, долгих дней ему и нам, чтобы собраться в следующем году!..

— Аминь! — воскликнул кто-то.

— Аминь! — поддержали развеселившиеся гости.

— На этом разрешите мне оставить вас! — Феоктист выпрямился и чуть прикоснулся засаленными губами к мягкой руке игумена.

Когда он вышел на галерею, солнце еще стояло над крутой вершиной напротив. Яркие лучи били в здание монастыря, окрашивая его в медный цвет. Остановив какого-то послушника, логофет осведомился, где келья Константина, и степенно направился туда. Увидев в сенях кое-как сделанную кровать, он брезгливо поджал губы и постучал набалдашником посоха. Открыл Константин, совсем не удивившись его приходу. Это было Феоктисту на руку: отпадали традиционные, но лишние слова. Он стоял посреди кельи, ощупывая взглядом знатока прекрасные иконы. Настоящее богатство!

— Твои? — спросил, забыв поздороваться.

— Мои, монастырские.
— Прелесть! Тесновато только...
— Мне хорошо.
— Тебе-то хорошо, а иконам?
— Пожалуй, ты прав...
— Хоть раз признал, что я тоже могу быть правым,— попробовал пошутить логофет, но шутка прозвучала как сердитое замечание.
— У каждого свой взгляд на справедливость,— улыбнулся Константин.
— Вижу... Вижу я, что даже монастырь не помешал твоей жажде спорить,— мирно заметил Феоктист и, подняв брови, торжественно продолжал: — Тебя приветствует императрица, мать Феодора! Спрашивала, как здоровье, как мудрость процветает... С тех пор как ты вернулся из земли сарацинов, каждый день интересуется... Ты очаровал ее своим поведением в Великом синклите... Поздравляю! Вот, письмо тебе.— Вынув свиток из-под плаща, он почтительно преподнес его философу.

Константин спокойно взял письмо и медленно развернул его. В скудном свете взгляд прошелся по напыщенным строкам, после чего пальцы все так же спокойно стали свертывать пергамент.

— Ну, мой мудрец? — привстал логофет, выражая самодовольным топом удовлетворенность тем, что именно он выхлопотал письмо и вручил его Константину в этой неуютной келье.

Философ, поняв его суетность, но не желая обижать его, ответил:
— Она советует слушаться тебя...
— Неужели? — деланно удивился Феоктист, будто сам не принимал участия в составлении письма.— Вот как... Подобное доверие может смутить и такого старика, как я...— Затем он тряхнул головой, прогоняя шутовские нотки в голосе, и продолжал: — Поэтому я и приехал, мой мудрец, поговорить с тобой. Годы летят, старость уже стучится в мое сердце, но я думаю о благоденствии людей, посему не отхожу еще от дел империи. Хочу довести до конца то важное дело, о котором знаешь и ты. Буду с тобой откровенен... Ты небось сам догадался, что я приехал сюда не для того, чтоб принимать участие в исцелениях и увеличивать число зевак. У меня забот хватает. Пришло время мстить и расплачиваться, а опоздавший внести свою лепту будет горько каяться...
— Стало быть, мне тоже пора думать? — прервал Константин.
— Пора.
— Но чем же я могу быть полезен? — Философ пожал плечами.
— Как чем? Многим...
— А именно?
— Да самым простым — договориться с Ириной.

— С Ириной? Это еще зачем?

— Я бы тебе не советовал, если бы не было надобно...

— И что потом?

— Что потом? Ты достаточно умен, чтоб догадаться. Красивая ночь... Красивый вечер, вино и щепотка яда... Конец Варде... Конец...

— И что дальше?

— Дальше — власть наша!.. Народ будет блаженствовать. Императрица займет свое место рядом с сыном...

— Да, да, это понятно, я о себе спрашиваю. Что меня ждет?

— Ты будешь уважаемым человеком! — поднял руки Феоктист.

— Я буду человеком без чести...

— Напрасно волнуешься, философ. Неужели все еще живут безумцы, ищущие и защищающие какую-то честь? Неужели ты не понял, честь — никому не нужная одежда? Щит, проеденный временем и ржавчиной, выброшенный на свалку жизни. Даже мудрец, вооруженный таким щитом, просто смешон! Не будь таким! Ныне решается судьба государства, а ты о своей чести печешься да еще и спрашиваешь меня, что с тобой будет. Если только честь мешает тебе, я возьму на себя твои грехи. Подумай! Та, которая может решить дело одной своей лаской и щепоткой яда, готова на все ради тебя... Но если ты обманешь наши надежды, берегись! — Феоктист шагнул к двери, и в глазах его заметались жестокие огоньки.— Помоги! Помоги!.. Все дело зависит от одного твоего слова, от улыбки! Протяни руку, и Ирина будет твоей... Если чувство у тебя погасло, сделай это из мести за прошлое унижение... отомсти им...

— Глупцом я был, логофет, думая о мести,— неохотно ответил Константин на эти пламенные слова.— Время стерло волнения в в моей душе, сегодня я не люблю Ирину, но и не ненавижу ее. Такой бесчувственный человек, как я, не способен на расправу. Не хочется быть милым супругом распутницы, раздающей легкую смерть.

— Супругом? Каким еще супругом, мой мудрец! — натянуто улыбнулся логофет.— У нее супруг есть, никто этого от тебя требовать не будет. Но тебе не помешает, мне думается, иметь уютный уголок, в котором каждый мужчина не прочь отдохнуть. Я вот смотрю на тебя — ты такой молодой, крепкий, и ты ведь наверняка с удовольствием будешь заходить к Ирине...

— А потом каким-нибудь веселым вечером, за роскошным ужином, одной щепотки яда будет достаточно, чтобы пришел и мой конец...

— Нелепо ты шутишь, мой друг.— Феоктист криво усмехнулся.

— К сожалению, не шучу. Вы захотите отделаться от помощника, чтоб не смущал вас своим присутствием в счастливый день. Ведь всегда лучше, когда меньше людей знает как можно меньше о том, о чем не надо знать... Я постиг уже ваш мир, логофет, мне знакомы ваши

делишки. Мы идем разными дорогами. Ты — к власти, я — к полю, веками не паханному и не сеянному. Я собираюсь на войну, в которой не услышишь ни лязга мечей, ни крика раненых, только мудрость слова. Это слово должно вырасти в сердцах людей, живущих до сих пор во мраке...

— Что же ты задумал? Что намереваешься делать?

— Хочешь ли ты остаться для меня тем добрым и ласковым человеком, который так бережно заботился обо мне в юношеские годы, учил меня справедливости и честности... образ которого я храню таким, каким он был, в своей душе? Сделай так, чтоб нас послали к болгарскому хану, мы хотим быть полезными истине и правде Христа. В монастырской глуши я создал письменность для народа, населяющего Болгарию, и перевел на его язык священные книги. Если моя азбука и слово божье повернут людей к Иисусу, это будет для меня самой высшей земной наградой... Помоги мне добиться истинной славы, дорогой логофет!

Слова Константина были как голуби над головой змеи. Две крайности встали друг против друга в тесной келье — день и ночь,— и логофету не понадобилось много времени, чтобы осознать смысл услышанного. Его лицо омрачилось.

— Ты желаешь невозможного, друг мой,— сказал он, опершись спиной о дверь, словно хотел преградить Константину путь.— Своей письменностью ты хочешь растоптать вековечную мечту нашего народа отвоевать свои исконные земли, захваченные болгарами. Хочешь дать болгарам память, а мы желаем заставить их забыть все, ибо только так мы сможем вновь покорить их. Ты хочешь от меня содействия в деле, которое равносильно греху по отношению к нашему государству! Нет, нет, не мани меня красивыми словами, я советую тебе сжечь скверные твои письмена, ибо они накличут на тебя опасность великую и беду. Варду ты взбесишь своим желанием ополчиться против его мечты о великой империи, которой будет принадлежать и болгарское ханство. Но то Варда!.. А я могу лишь обещать тебе, что ничего не слыхал о твоих знаках. Это все, что я могу сделать. Пойми меня...

— Я понял, дорогой логофет,— печально улыбнулся Константин.— Ты знаешь мою тайну, хотя и не давал клятвы хранить ее, я знаю твою, и я клянусь не разглашать ее. Так наши дороги и разойдутся. Мне ясно, что теперь я должен надеяться только на себя, если хочу быть полезен славяно-болгарскому народу.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Если спросить у греческих книжников: кто вам письмена сотворил, или книги перевел, или когда это произошло,— мало кто знает.

Если спросить, однако, у славян-грамотеев: кто вам азбуку сотворил или кто книги перевел,— все знают и ответят: святой Константин Философ, названный Кириллом, он нам азбуку создал и книги перевел, он и Мефодий, брат его, и живы еще те, кто их видел и знал. И если спросить, когда это было, знают и это и скажут: во времена греческого царя Михаила, и болгарского князя Бориса, и моравского князя Растицы, и блатенского князя Коцела, в 6563 году после сотворения мира.

Черноризец Храбр

Оставшись один, Варда стал распоряжаться всем. Он непрерывно меняя свои почетные звания, которые получал от императора, и поднялся до славы и почестей кесаря, а Михаила ничто из государственных дел, кроме зрелищ и ристалищ, не интересовало. Хуже всего было то, что он не только сидел среди зрителей, но всем на смех и сам правил колесницей. Он вот какими делами занимался, а в это время Варда правил государством и стремился к власти императорской, готовый захватить ее при удобном случае.

Скилица *

1

Феоктист вышел на галерею и посмотрел вниз, где гуляли монастырские гости и слуги. Гул голосов наполнял каменный двор. Разговор с Константином ни к чему не привел. Он вошел к нему с надеждой — вышел без нее. Отведя тяжелый взгляд от толпы, Феоктист машинально ощупал глазами большие, окованные железом ворота, всмотрелся в ухабистую дорогу, и сердце его вдруг тревожно забилось: вдали мелькнула расписная карета. Сверкнув на солнце мечами и шлемами, телохранители скрылись за лесистым холмом.

Ударив ладонью о деревянные перила, Феоктист стал спускаться. Торопила одна-единственная мысль — лишь бы племянница не

уехала... Карета и сопровождающие уж больно были похожи на ее выезд. Спотыкаясь о полусгнившие, неровные ступени, он наконец оказался на каменных плитах двора и поспешил в монастырские конюшни. Хотел увидеть собственными глазами, а не услышать от слуг. Протиснувшись в узкую дверь, соединяющую конюшни с центральным двором монастыря, он остолбенел: под навесом не было кареты Ирины. Через двор в широкие боковые ворота вели свежие следы колес. Уехала! Эта мысль привела его в бешенство. Зря он сюда тащился. Правда, они сказали друг другу все, что было надо, но ведь напрасно. Ничего не получилось не столько из-за Ирины, сколько из-за этого безумца, которому взбрело в голову стать апостолом своих голодранцев-славян... Феоктист никогда не простит ему этого унижения. И он, и императрица просили о том, что любой сделал бы — хотя бы из чувства мужской гордости. А этот о чести печется, о чести, которая нужна только наивному и глупому человеку. Наивен ли он, однако, или просто не верит в их победу? И поэтому не хочет связывать себя? Эта мысль привела логофета в ярость. Он был не из тех, кто легко сдается, но эта догадка доконала его. Уныло повернувшись, Феоктист неуверенным шагом пошел в свою келью — то ли вино мутило голову, то ли сказывалась усталость. Выходя из кельи Константина, он думал, что навестит его перед отъездом, однако теперь понял, насколько это бесполезно. Их дороги разошлись навсегда, и хватит зря проявлять милосердие. В свое время они с его отцом были так дружны, что все их считали просто неразлучными. За эту дружбу их уважали воины когорты. Воюя с арабами, они не раз попадали в опасные ситуации, но всегда их выручала дружба. В больших битвах под Аморием и Тефрикой * цвет императорского войска был взят в плен, но они спаслись, ибо знали силу своих десниц и верили друг другу. В бою конь Феоктиста сломал ногу, Лев соскочил со своего, чтобы высвободить друга из стремени и взять к себе. Его два раза ранило, в руку и бедро, но товарища он не бросил. Тогда-то Феоктист поклялся считать его родным братом. Он сдержал слово — сделал все, чтобы Лев стал друнгарием Солуни, несмотря на сопротивление приближенных императора. И много еще добра сделал другу Феоктист, сознавая, что платит ему за свое спасение. Не будь отца Константина и Мефодия, он давно окончил бы свой путь у стен Амория. Но это было платой отцу — разве сыновьям он тоже чем-то обязан?! Вовсе нет! Он и после смерти друга считал их своими детьми, но что они дали ему взамен? Ничего, кроме неблагодарности... Одного сделал стратигом Брегалы, другого возвысил, открыв ему ворота к славе, в императорские дворцы. Они же, вместо того чтобы кланяться ему в ноги, отреклись от всего, что им было даровано. Нет, даже волоска с головы больше не пожертвует для них логофет. Вообразили о себе, будто весь мир им обязан! Что, разве он их слуга

безропотный? Не на улице нашел он свою гордость и не отдаст ее на потеху неблагодарным людям. А ведь все зло исходит от первенца, от Мефодия. Тоже мне поборник справедливости и христианства! Мало того, что не смог сберечь вверенную ему фему, пост и семью бросил, он еще и гордится этим. Поборник! Такие, как он, поборники всю жизнь только и делают, что болтают и время зря растрачивают. Не будь его, Константин не колебался бы так, знает он его, хороший человек Константин, послушный, умный, но вот слушается дерзкого брата, нелепо и глупо ведет себя со своим наставником и истинным благодетелем. Из семерых детей Льва лишь Константин достоин вложенного в него труда, но ведь и одного безумца достаточно, чтобы уничтожить дело ста мудрецов! И этот безумец — Мефодий. Он морочит философу голову, мутит ему душу сумасбродными идеями о каких-то письменах и прочей ереси, которая может довести его до анафемы. О, если только удачей увенчается большое дело, логофет расплатится за все унижения. Он не пустит их на порог своего дома, хватит цацкаться, он закроет для их милости ворота на девяносто девять замков. Как они себе представляют жизнь? Они хотят только получать — и не давать ничего взамен? Нехорошо-де мечтать об убийстве тирана? Кощунство — обещать престол патриарха? Как будто кто-то пошел бы вслед за богом, если бы он не сулил вечного блаженства! Не лыком шит Феоктист, прекрасно он знает, за чем охотятся люди, что любят и ради чего пресмыкаются. А эти — словно вчера родились, хотят остаться чистенькими. Чистоплюи!.. Феоктист вошел в комнату, запер дверь и опустился на кровать. Ох уж эта Ирина... Такое натворит — иди потом, выкручивайся. Верно говорят, жди беды, если женщина начинает совать нос не в свои дела. Даже в священных книгах сказано: женщины пусть молчат в церквах, их дело не говорить, а подчиняться... Попробуй подчини ее, если она отвернулась от родственников и семьи, возомнив о себе бог весть что, и все же такую можно простить. Одной ее улыбки достаточно, чтоб увидеть насквозь всю ее пустоту, да и на кой черт нужен ей ум, когда существует немало другого, что может услаждать ее жизнь... Плохо, что Ирина перешла в руки его врага. Но разве можно что-либо требовать от пустой девицы, если такой умный мужчина, как Константин, считает твои деяния преступными! Никого не интересует, что ты хочешь избавить государство от тирана, что борешься за законность и желаешь добра народу. Они — ангелы справедливости, они воображают, что их полет далек от бренной жизни и от кровавого меча власти. Тоже мне кладези премудрости!.. Логофет устроился поудобнее на жесткой тахте, придвинул пеструю подушку и уставился в потолок. Постарался искусный резчик: в центре солнечного диска изображен был бог, а вокруг облака и сонмы веселых ангелов, готовых отозваться на мановение его перста. Эта покорность крылатых

ангелов вызвала новый приступ гнева: императрица покорялась, и логофет, и все наставники Михаила покорялись — что же получилось из этого? Непокорный Варда по их плечам поднялся на вершину власти! Зато теперь они совсем уж покорно кряхтят под его тяжелой пятой, не зная, как им быть дальше. Пока они все чтят божью заповедь не осквернять помыслами царскую власть, нашелся человек, который не только скверным помыслом, но и скверной рукой посягнул на эту власть, и остановить его некому. И неужели им остается только смотреть? Хватит! Плохо, что им и этого уже не позволяют, не позволяют быть покорными и исполнительными. Перед отъездом логофета в монастырь Варда перебросил верные ему когорты от Тарса и Смирны в Царьград и отослал подальше от столицы всех, кто был верен императрице. Мало того, с легкой руки Михаила он назначил начальником маглавитов * Фотия — своего любимца, ученого асикрита,— верный признак, что пути к отступлению отрезаны. Отступать теперь можно лишь ногами вперед, в могилу, откуда никто не вернулся или, в лучшем случае, надеется вернуться лишь в день второго пришествия. Но тогда не будет Варды, не будет надежды победить, не будет тайной мечты стать первым... Так и заснул Феоктист, измученный худыми мыслями, и спал он плохо и странно. Всю ночь кроткие ангелы из свиты господней возносили его в небеса — и бросали на землю, слетали на легких крылах, пока он стремительно падал вниз,— и опять возносили ввысь, чтобы вновь отпустить... Разбудил логофета утренний холодок. Голова трещала от вчерашнего вина, тело разламывалось от сна на жесткой тахте. Вспомнив, что было вчера, он встал, потянулся так, что хрустнули кости, ополоснулся водой из кувшина, чтобы прогнать сон, и отворил дверь. Телохранители, спавшие в сенях, вскочили.

— Поехали!

Топот тяжелых ног потряс лестницу.

Ступив ногой на подножку кареты, логофет увидел среди провожающих Константина — Феоктисту показалось, что он виновато улыбается. Пожав ему руку, логофет похлопал его по плечу. Внутренне он чувствовал, что был не прав вчера, когда в сильном подпитии обрушил на Константина град обвинений. Константин был хорошим человеком, не то что Мефодий... Не выпуская руки молодого философа и глядя куда-то в середину деревянного креста на его груди, он сказал:

— Ты подумай еще, подумай!

— Все дело в том, что я уже думал, дорогой логофет.

— Ничего, ничего... Да и с той надо еще разок переговорить. Ты ведь знаешь, бабы — что мотыльки: тут же обиду забывают, особенно когда любят.

— Наша песня уже спета...

— Слова, пустые слова! Знаем мы вас, молодых! Мне показалось, она уехала не такой уж сердитой.

— Я не знаю! — передернул плечами Константин.

Разговор становился неприятным. Да и любопытство игумена раздражало. Он вертелся под ногами в надежде хоть что-нибудь расслышать. Логофет понял, что ему неловко, и сказал громко, для всех:

— Так что же мне передать святой матери Феодоре?

— Мое глубочайшее почтение, логофет...

Феоктист вошел в карету и исчез в ее утробе. Кони натянули поводья, щелкнул кнут, телохранители пришпорили иноходцев, в воздухе остро запахло конским потом.

Константин подождал у ворот, пока кавалькада скрылась за первым поворотом. Что-то давило слева в груди, и смутное чувство словно нашептывало ему: это последняя твоя встреча с логофетом. Удручали старые долги — философ боялся, что так и не расплатится за все сделанное логофетом во время учения... Всю неделю не проходила тяжесть в сердце и тревога в душе. Лишь когда последние паломники покинули святую обитель, он с головой ушел в переводы и почувствовал себя лучше.

2

Ирина вернулась в Царьград, опустошенная неудачей и утомительной поездкой. Странное безразличие поселилось в ее душе. Вернее, это было не безразличие. Впервые ее красота не ошеломила, впервые отвергли ее протянутую руку. Она часами стояла перед зеркалом. Неужели подурнела? Может, потускнела перламутровая кожа? Пропало очарование улыбки? Исчез горячий, игривый блеск глаз? Всмотревшись в себя, она так и не обнаружила ничего, что могло бы оттолкнуть мужчину, все равно, пожилого или молодого. Чем дольше смотрела, тем все более красивой и прельстительной казалась она себе: руки были похожи на совершенное творение великого мастера, волосы ниспадали на плечи длинной и темной как ночь волной, тело изгибалось, будто молодая весенняя лоза, напоенная сладким соком безумного цветения. Чем же она не нравилась ему, почему он наговорил ей столько беспощадных слов? Неужели она обидела его, испугала своим приездом? Наверное, он не ожидал ее признания и заранее готов был уязвить ее?.. Ощущение, что она потеряла надежду, которую лелеяла в глубине души, не проходило; Ирина стала равнодушной ко всему вокруг. Ее возвращение вряд ли кого обрадовало во дворце Варды. Лишь на второй день она увидела кесаря вместе с новым начальником маглавитов. Они шли по широкому двору, Фотий — на шаг позади, слегка придерживая тяжелый меч. Рядом с Вардой он

казался хрупким, неспособным носить оружие, какая-то отрешенность сквозила во всей его фигуре, в остром продолговатом лице. Поредевшие каштановые волосы делали это лицо маловыразительным. Варда шел крупным шагом, он был подпоясан поясом из золотых пластин. Зеленая одежда, отороченная узором из канители, придавала ему внушительность, даже красоту. Жесты были властными, повелительными. Такой мужчина мог бы удовлетворить самую капризную женщину. Чего же она от него хочет? Не станет же он любоваться ею целыми днями: это под стать какому-нибудь олуху, а не ему. Он должен бороться, раскрывать заговоры, беречь себя и государство. Разве она пошла бы без оглядки за ним, если бы он был иным? Однако кесарь стал о ней забывать, уж слишком много времени проводит с молодым императором. Был бы Михаил женщиной — было бы понятно, да и Царьград кишит прекраснейшими женщинами, одна другой краше. Не станет же Варда терять время с этим... Ирину трудно обмануть. Феоктисту следовало бы придумать что-нибудь более правдоподобное. Нахмурив брови, Ирина тряхнула головой. Два дня уже ждала Ирина встречи с Вардой, и в ее ожидании были боязнь и любопытство. Она боялась первого вопроса кесаря и хотела понять: каким он будет, этот вопрос? Встречалась ли она с Константином? И если она скажет ему о состоявшейся встрече, как он на это посмотрит? На самом деле в ее душе глубоко притаились усталость, тревога, тупой страх перед неизвестностью, но равнодушия не было. Страх облачился в одежды Иоанна. Того и гляди, разговорится перед отцом, тот поверит ему, и тогда ей конец. Тогда и поручение дяди она не сможет выполнить... Ирина проследила взглядом за Вардой и Фотием, которые пересекли двор и вошли в конюшню. Через минуту стук копыт заглох в переулке. Она с ужасом вернулась к поручению Феоктиста. Многое наговорил он ей, но чего, в сущности, он хотел? Смерти Варды. Цена ее возвращения в круг родных велика, но что она получит за эту цену? Золото у нее есть, почести тоже, хотя и пополам с презрительными взглядами, а любовь?.. Она думала, ее любит Константин — увы, это был самообман. Нет, ее любит могущественнейший человек империи, разве этого мало? Пока любит... Значит, все у нее есть. И если она не хочет потерять то, что имеет, надо действовать, пока не поздно... Ирина положила зеркальце на подоконник и выглянула в коридор. Старая Фео, сидя на разрисованном сундуке, дремала в послеобеденной тишине.

— Передай Варде, что жду его вечером.

Старуха встала.

— Иду, доченька...

— Дрыхни, дрыхни! — буркнула Ирина и закрыла дверь.

Она пыталась уснуть, но сон не приходил. Встала, прошлась по комнатам, посмотрела горшки с цветами (поливают ли вовремя?),

проверила ожерелья и браслеты (никто не трогал?), наконец села за пяльцы, сделала несколько стежков и задумалась. Близилась ночь, и страх ее усиливался: ночью предстояло рассказать Варде все о Феоктисте... Нет, не все: ни слова о том письме! Скажет, что случайно догнала его в дороге и он воспользовался этой встречей, чтобы сделать ей разные предложения... Если Варда спросит, что за предложения, скажет и о яде... Чересчур много болтать не будет, сообщит все постепенно, пусть ему будет ясно, что она не приняла болтовню логофета всерьез, но быть начеку не мешает... Люди, которые осмеливаются делать такие предложения самой близкой кесарю женщине, наверняка способны и на другое, более страшное, готовящееся кем-нибудь, кто его ненавидит. Солнце как-то сразу скрылось за горизонтом, и летние сумерки затушевали все вокруг. Черный кипарис у окна качался, словно черная метла, будто пытался вымести из окна сумерки.

Ирина велела приготовить ванну. Окунаясь в небольшой удобный бассейн, долго мылась, будто собиралась в первый раз лечь с Вардой. Казалось, что этот вечер будет роковым и надолго определит ее отношения с кесарем. Она уже выбрала путь, нельзя было возвращаться. Надо забыть неудачную попытку сблизиться с Константином. Глупо все вышло. Ирина чувствовала, что, вспоминая о нем, будет вспоминать свое унижение, а унижение рождает ненависть. Унизил он ее, глубоко унизил своим пренебрежением. Не простит она ему этого никогда...

Сказано было все, что надо. Сердце Ирины тревожно колотилось. Варда лежал навзничь, раскинув руки, и молчал. Рожок месяца смотрел в окно, будто стараясь увидеть ложе. Его любопытный свет падал на перламутровое женское колено. Молчание Варды пугало Ирину. Нащупав его сильную руку, она положила на нее голову, ощущая нервную дрожь мышц.

— И это все? — ровно спросил он, разжигая еще сильнее ее страх.

— Все... Я предпочла уехать, не хотелось еще раз встречаться с ним,— ответила она, прильнув щекой к его руке.— Даже на обед не пошла...

— Какой обед?

— По поводу монастырского праздника. Игумен давал...

Голос был мягким, прельстительным. Она знала, что Варда уже прикидывает варианты и его мысли, как охотничьи соколы, нацеливаются на жертвы.

— А может, он еще что-нибудь сказал?

— Что же?

— О Феодоре, моей сестре.

— Вскользь... Что если удастся это... ну, отравление — она будет более всех рада...

— Рада, значит?

— Так он сказал.

— Посмотрим, кто будет радоваться первым,— буркнул Варда, резко высвобождая руку.

Прежде чем одеться, он долго сидел на краю постели, безмолвный и мрачный. Слабый луч месяца рассекал его спину, как мечом. Одевшись, он притянул Ирину к себе, слегка поглаживая ее по лицу.

— Молодец, что сказала. Я давно подозревал, но все думал, может, ошибаюсь. Спасибо!

— Ты не останешься? — спросила она.

— Еще хочешь? — спросил Варда с грубой откровенностью.

— Я не об этом... Страшно без тебя.

— Подожди еще немного, и я все время буду с тобой.

Он нащупал меч около ложа.

— Завтра надо чуть свет встать. Решил переставить всех — от протоспафария * до сотника. Пока освоятся на новых местах, пройдет немало времени. Доверия воина трудно добиться. Лучше тебе один раз не поспать со мной, чем потерять меня на всю жизнь... Одно только утешает — что и тебя не будет в этом мире. Монастырь по крайней мере тебе обеспечен. Но ты молодая, красивая — соблазнишь старца какого-нибудь, тогда оставят тебя в покое, и снова будешь блистать...

Ирина понимала, что он шутит, но шутка была весьма зловещей... Она приподнялась и сказала:

— Меня удивляет твоя храбрость, но перестань шутить со смертью. Не видишь разве, который час — пора ведьм и злых духов!

— Ну-ну...

— Не увиливай. Я же говорю: боюсь. И если любишь, останешься... Ты так долго избегал меня. Почему?

— Останусь, если не будешь спрашивать,— все так же шутливо ответил Варда.

— Не буду...

И меч вновь очутился на полу, и вновь сильная рука привлекла, притиснула ее к себе. Она вздрогнула — белый лебедь на широком ложе,— ненасытная, полная жизни; но уже не было страсти первого порыва — мысли Варды занимало то, что он недавно услышал, и это вытеснило мужские желания. Кесарем владела тревога о завтрашнем дне.

3

Великий совет окончился. Слуги уходили из зала, гасили факелы и свечи. Разноцветные подушки для сиденья, разложенные боилами как кому удобнее, опять заняли места вдоль стены. Огромное кова-

ное блюдо в центре почти опустело — на нем оставалась лишь горсть грецких орехов да сладкого изюма, отдававшего горечью. Около блюда красовался золотой кувшин со стройной шейкой, на которой еще белела струйка кумыса, наполнявшего зал приятным ароматом. Впрочем, слуги не знали, был ли это запах кумыса или трав, которые всегда сжигали перед началом совета. Шестеро боилов, представителей Нового Онгола, и шестеро представителей Старого (Задунайской Болгарии *) составляли ядро Великого совета, первый полукруг около хана и кавхана. Сегодня место кавхана пустовало: сын Ишбула, Эсхач, его первенец, погиб в битве с германцами,— и лишь в конце совета туда сел Онегавон. Разговоры прошли спокойно; почтили память умерших, опрокидывая вверх дном золотые чаши. На медных подносах белели круги пролитого кумыса в честь тех, кто сел рядом с Тангрой и сверху смотрел на дела государства. Никто не осудил Бориса за поражение. Виноват был Эсхач. Он ринулся в бой слишком безрассудно, не дождавшись войск Старого Онгола. Мертвеца тоже не следовало обвинять, он уже получил свое наказание: Тангра будет судить его, потому и взял к себе. Подушек в других рядах было так много, что они лежали почти одна на другой. Там сидели кандидаты в члены совета — тарканы и боритарканы, боилы, багаины, представители ста родов. Великий совет решил все вопросы единодушно, если не считать злобных намеков со стороны первенца Эсхача — чернявого, нервного Ишбула. Он чувствовал себя обиженным решением Великого совета, который выбрал Онегавона на место его отца. Все понимали обиду, но сам Ишбул был слишком молод, чтобы доверить ему столь важную государственную должность.

Совет решил: передним постам на пограничной полосе с империей начать восстановление разрушенных крепостей и прочно осесть в них, а набеги на некоторое время прекратить. Уши и глаза государства тайными путями сообщали: Византия слишком поглощена войной с арабами, и поэтому самое время отправить послов и попробовать заключить мир, который позволит Великому совету выиграть время для усиления войска. Борис, до сих пор не думавший о новом посольстве, попытался возразить, но великие боилы, словно сговорившись, настаивали на своем, и он не без колебания отступил. Предводителем миссии в Константинополь определили багатура Сондоке, брата ханской жены, пользующегося полным его доверием. Сондоке переложил заботы по хозяйству на старшего сына, а сам занялся тем, что вмешивался в государственные дела — он умел вовремя сказать нужное слово, ибо был сообразительным, хитрым как лиса и не терялся в неожиданных ситуациях. С ним должен был ехать боил Тук, славившийся своей силой. Толмачом назначили Домету, Домета был князем славян из Борисовой Брегалы. Его предложил кавхан Онегавон — это был первый шаг в развитии тайной договоренности с ха-

ном. Воцарившееся молчание насторожило Бориса. Первым запротестовал молодой Ишбул: с какой стати славянина включать в такую важную миссию? Но резкий голос Онегавона угомонил его:

— Великие боилы и багаины, я сам предложил бы молодого багатура Ишбула в миссию, но путь его познаний доходит лишь до языка наших предков, да и обидно будет для члена Великого совета быть простым толмачом...

Последние слова сняли напряжение и заслужили доверие великих боилов. Лица успокоились, щели глаз расширились, исчезла недоверчивость хищников.

— Разумно говорит кавхан Онегавон,— первым отозвался ичиргубиль Стасис.

— Не для сыновей Тангры толмачество,— поддержал его брат хана Докс.

На этом Великий совет закончил работу. Пока слуги собирали подушки и гасили факелы, Борис и новый кавхан сидели в комнате наверху, обсуждая дальнейшие дела. Чтобы добиться успеха, миссия должна была отправиться как можно скорее, лошадей следовало подобрать получше и посильнее, седла покрасивее, надо было обеспечить миссию бастурмой, изысканными подарками для императрицы, Михаила и свиты. В конце концов решили приготовить девять шкур чернобурых лисиц, вставив им вместо глаз жемчуг и алмазы разной величины, девять кусков драгоценнейших восточных шелков, девять золотых чаш и столько же серебряных.

Для первого раза подарков было достаточно: не много и не мало. Посланцы отправлялись лишь разведать настроения, а не просить чего-то. Но вместе с тем миссии не подобало идти с пустыми руками.

Гонец поскакал разыскивать Домету, чтобы предупредить его о миссии. Однако ему не сказали, что он будет всего лишь толмачом. Славянин должен был подъехать в Дубилно и там ждать остальных. Ему сообщили также, что предводителем будет багатур Сондоке... Сам багатур ждал, когда хан и кавхан позовут его для последних распоряжений. Когда раздался удар по медному щиту, его повели между двумя шеренгами рослых слуг, которые кивком головы и прикосновением руки к сердцу показывали направление — этот ритуал остался от предков, но теперь лестница затрудняла его применение. Раньше к шатру хана шли между двумя шеренгами воинов, которые легким поклоном встречали и провожали того, кто был приглашен. Поклон был внешним выражением их подчиненного положения, что повышало самочувствие посла, теперь же они возвышались над головой Сондоке, и создавалось впечатление, что они следят за ним. Воинов сменили ханские слуги, но это чувство все равно мучило знатных людей. Сондоке вошел в покои хана, поднял руку на уровень глаз, растопырив при этом пальцы, потом, поклонившись, торжест-

венно приложил ее к сердцу. Поклон был степенен и низок, исполнен достоинства и уважения. Его пригласили сесть на заранее отведенное место — напротив обоих.

— Багатур Сондоке,— начал хан,— ты будешь представлять меня и государство в Византии. Ты должен запомнить следующее. Во-первых: мы желаем мира, но не просим его. Дай им понять, что волнения и беспорядки нам на руку, и если мы хотим установить прочные узы добрососедства, то делаем это из добрых побуждений. Спокойствие, которое будет обеспечено с нашей стороны, поможет им в борьбе с арабами... Во-вторых: не спеши принимать условия, даже если они нас устраивают. Выслушай все, Домета запишет, а ты пошлешь гонцов и будешь ждать решения Великого совета. Бери трех лучших скороходов. В-третьих: велено Домете ознакомить тебя с порядками царьградского двора. Храни мое достоинство, покажи, что мои люди образованны и умны. В-четвертых: поинтересуйся судьбой моей сестры Кремены, которая была взята в плен во время совместного набега со смоленами. Если что-нибудь разузнаешь, спроси, на кого из знатных пленников они обменяли бы ее...

Так сказал хан, и слова его были главными; остальное скажет Онегавон перед отъездом. Тогда составят перечень подарков, сделают запасы бастурмы, насыплют золотых монет, повторят в сотый раз сказанное, распределят подарки для свиты, наконец, погадают на собачьих внутренностях. Если Тангра не предскажет хороший конец, то нельзя трогаться в путь...

— Багатур Сондоке, ты, может быть, хочешь спросить о чем-нибудь? — поинтересовался хан.

— Моя голова с трудом воспринимает большое доверие, пресветлый хан, и я все еще неспособен спрашивать... Заснет радость от доверия — вот тогда проснутся вопросы.

— Желаю хороших известий от Тангры, легких коней и мирной дороги, багатур Сондоке!

Багатур встал, поднял правую руку на уровень глаз и, приложив ее к сердцу, поклонился... День был на исходе. Бойкий петух гнался за дородной курицей, и Сондоке подумал, что он долгое время не увидит своих жен. Последняя была славянкой. Сначала он привез ее в качестве пленницы, но, когда порядки предков стали трещать по швам, объявил законной супругой. Первая давно умерла, остальные мало интересовали его... И вот самый младший сын высветлил род русой своей головкой. Другие дети Сондоке плохо относились к малышу, зато Сондоке души в нем не чаял... Наверное, годы и обновление рода сказывались... И если что мешало ему отправиться немедленно, так это прощание с младшим сыном. Но негоже было багатуру расслабляться. Строгие законы не разрешали мужчинам нежностей. Узнает кто его мысли — засмеют.

Сондоке сердито шикнул на петуха, вскочил в седло, и облако пыли поднялось под копытами откормленного коня. Впереди и сзади, на расстоянии полутора метров, поскакали слуги. Первый высоко нес копье с серебряным конским хвостом — знак ханского доверия к предводителю. У себя дома багатур велел позвать Феодора Куфару. Знатного византийца взяли в плен в одном из монастырей на реке Марице. Он стал игуменом после того, как его выгнали из Константинополя в период иконоборческой ереси. Феодор Куфара ополчился против императора Феофила, и его сняли со всех государственных постов. Сондоке взял его в плен и оставил у себя — советником по византийским вопросам. Багатур часто беседовал с Феодором, который расстался с рясой и обстоятельно пополнял познания хозяина о мире. Он научил его кое-как говорить по-гречески. Любознательный болгарин не освоил только письма: знаки путали его, и он часами гадал, где же в них прячутся звуки... Легче шло обучение латыни. Феодор Куфара стал нужнее правой руки, был на правах сына.

Феодор поклонился, встал у двери.

— Садись! — Сондоке ударил рукой о подушку возле себя.

Потом торжественно посмотрел на удобно расположившегося византийца и сказал:

— Я еду в Константинополь. Расскажи-ка мне о дворцовых тонкостях.

4

Прошло жаркое константинопольское лето, началась осень — сухая, многокрасочная, с холодноватыми ночами. Феодора часто выходила в сад, садилась у старого каштана, такого же печального, как и она сама. Его листья постепенно перегорали, скручивались трубочкой и падали с легким шелестом. Для них не существовало новых летних дней, они не радовались своей смене, они покидали этот мир. Легкий их шелест был то ли последней попыткой задержаться на дереве, то ли последним словом. Где-то в глубине души Феодора была уверена, что, несмотря на усилия Феоктиста, борьба будет проиграна, потому и осень была в такой гармонии с ее душой. С тех пор как верные императору Феофилу войска были выведены из Константинополя якобы для войны с сарацинами, а их место заняли друнги * и турмы * дальних гарнизонов, надежда ее поникла, как осенний лист. Императрица все надеялась на чудо, но чудеса случаются редко: прошли времена апостолов Христа. Немало дней отсчитала она после монастырского праздника в Полихроне, а переговоры логофета с племянницей пока не дали ничего. Впрочем, могут дать и не в их пользу. После той встречи Варда продолжал упрямо избегать ее; не будь

послов из Плиски, приехавших вести переговоры о мире, он вряд ли поинтересовался бы, что с ней. Опять собрался Великий синклит, она сидела па своем месте возле сына, но за внешним согласием скрывалась тайная злоба, которая тихо вгрызалась в душу, словно жук-древоточец.

Тогда Феодора в первый раз поняла, что почва уходит у нее из-под ног, что золотая чаша, бархат и шелка болгарских послов будут последними подарками, преподнесенными императрице. Она настаивала на удовлетворении желания болгар (такова же была и позиция регентов) при одном условии: не спешить с подписанием договора. Империя надеялась на победу в войне с сарацинами, а тогда она могла бы сказать веское слово — с армией за спиной. Тогда условия продиктует византийское государство. Но сейчас положение было весьма шатким.

После длинной беседы с багатуром Сондоке Феодора не могла скрыть своего удивления: болгары тоже не спешили подписывать договор. Почему? На что они надеются? Если приехали всего лишь ради ханской сестры — жаль потерянного времени. О ней можно было договориться путем переписки. Кремена стала ревностной христианкой. Императрица взяла ее к себе, разрешила дружить со своими дочерьми, считала ее близким человеком, стала крестной матерью девушки, дав ей свое имя. Желание хана застало ее врасплох. Подумав несколько дней, императрица решила вернуть Кремену-Феодору ее брату, обменяв ее на Феодора Куфару. Это пошло бы на пользу обеим сторонам. Феодора рассчитывала, что в Плиске эта ярая христианка станет уничтожать языческие плевелы. Девица, прожившая столько времени в золотом обществе, не станет только безмолвной фигурой в доме брата, а это пойдет на пользу империи. Так почему же отказываться от искушения нарушить спокойствие в Плиске?

Ее изумила быстрота, с какой болгары решили вопрос об обмене. Уже на следующий день императрице доложили, что условия приняты и Куфара вернется в Константинополь. Удивительными полномочиями обладал Сондоке — решать вопросы без согласования с ханом. Разумеется, она пе знала, что это касается только Куфары, личного пленного Сондоке. Все остальное решали хан и кавхан. Два гонца уже поскакали в Плиску с известиями. Императрица не знала этого: никто не утруждал себя, чтобы осведомить ее. Варда решал, кому перейти границы империи, посылал когорты на войну с сарацинами, занимался делами государства... Императрице осталась лишь осень да осенние думы... Были бы внучата — она бы занималась ими, а так... У старшей дочери все еще не было детей, и они обе болезненно переживали это. Чем больше она думала, тем яснее осознавала, что оказалась в положении отвергнутой и поднадзорной. Пока несчастья не обрушились на ее голову, Феодора решила заняться семей-

ными делами. Земли, унаследованные от отца и мужа, нельзя было оставлять в руках ничтожества-сына, он не заслужил этого.

Феодора велела позвать патриарха — надо было посоветоваться. Его святейшество не заставил себя ждать. Войдя в широкую приемную, он словно заполнил своим присутствием все уголки большого дворца. Слуги забегали туда-сюда, двери заскрипели, и дом гулко отозвался на это — будто расшевелилась духота. Смиренная, отдавшая себя на волю провидения, Феодора поцеловала святую руку. Лишь отослав слуг, она осмелилась начать разговор о землях и имениях, но видно было, что исповедуется не императрица, а перепуганная женщина. Впервые Игнатий видел ее отчаявшейся, внутренне сломленной, и его ненависть к Варде удвоилась. Мирское вдруг пробилось в нем наружу, и он сказал невольно:

— Успокойся, светлейшая, не все потеряно!.. У тебя ведь есть вооруженные люди.

— Есть, владыка. Но они за себя боятся.

— Если речь идет о божественной истине, страх — плохой советчик...

— Но кто же напомнит им об этой полузабытой истине?

— Я! — поднял голову патриарх.— На что же церковь, как не на то, чтобы укреплять порядки, утвержденные всевышним?

Этот разговор несколько успокоил Феодору, но она не отказалась от мысли об устройстве наследственных дел. Почти все записала на дочерей, категорически упомянув, что сыну оставляет только отцовскую корону. Это было явным издевательством: корона уже не была в ее распоряжении — она давала вещь, которая ей не принадлежала. Устроив все как полагалось, императрица сделала Феоктиста доверенным лицом и долго раздумывала о втором доверенном. Наконец выбрала Иоанна, сына Варды. Это было последнее, что она сделала до того, как заболела от дум и переживаний. В сущности, это была не болезнь, а потеря воли. Ей казалось, что она никому не нужна, что она замурована в четырех стенах, а весь мир с любопытством ожидает ее смерти, наблюдая за нею сквозь какую-то щель в потолке... Иногда она задыхалась, ей не хватало воздуха, страшный внутренний огонь опустошал ее. Это случалось редко, но сильно ее изматывало. А вообще она целыми днями сидела, сосредоточив внимание на чем-то несуществующем. Не появись служанка позвать ее к обеду, она так и не догадалась бы пойти в трапезную. Она часто ловила себя на том, что куда-то идет, а не знает, куда и зачем. Испугались дочери, их шепот преследовал ее за каждой дверью. Появился императорский целитель, благоухающий всякими травами. Он долго выслушивал ее, пытаясь вызвать на разговор, но она упорно молчала. В конце концов он посоветовал пить отвар из лекарственных трав для поддержания душевных сил и откланялся, получив за тру-

ды две шершавые номисмы [1]. Травы помогли, и через десять дней императрица вновь распоряжалась в большом дворце. Она велела позвать Феоктиста, и, когда он пришел, она встретила его, как некогда, улыбающаяся и готовая бороться с врагами.

— Все ли потеряно, логофет? — спросила, подняв тонкие брови.

— Нет, не все, светлейшая... Южное войско, протостраторы Солуни и Адрианополя все еще с тобой. А перемещения, сделанные Вардой, озлобили сотников и тысячников. Кто может быть доволен тем, что из столицы его посылают в глухомань, на верную смерть к сарацинам, особенно после хорошей жизни под твоим светлым крылом и мудрой опекой?

— В таком случае поезжай в Солунь,— сказала она, посмотрев ему в глаза.

— Я тоже давно об этом думал. Но как оправдать мое отсутствие? Ведь меня могут настичь в пути и вернуть...

Эта подробность заставила их отложить поездку, чтобы придумать убедительную причину отсутствия логофета.

— Ирина все молчит, Феоктист?

— Молчит. Не хочет меня видеть...

— Придет время, мы припомним ей это,— ровно и будто бесстрастно пригрозила императрица.— Бог видит...

Феоктист ждал вопроса о Константине и Мефодии, но на сей раз Феодора забыла о них. Впрочем, их роль кончилась одновременно с самоустранением Ирины. Были и другие причины, о которых Феоктист не знал. С тех пор как императрица увидела Константина в Великом синклите после его возвращения из сарацинских земель, она решила сохранить его для себя и вовсе не желала связывать его с Ириной. Если у логофета было бы на этот счет малейшее подозрение, он мог бы лучше понять императрицу во время своего рассказа о недостойном поведении Константина по отношению к Ирине: его обвинения вызвали не огорчение Феодоры, а нескрываемое злорадство. С особым напряжением слушала она рассказ Феоктиста, и на ее белой шее с еле заметными морщинками проступили большие красные пятна. Логофет вдруг подумал, что лишь шея выдает возраст женщины, но подумал мимолетно, вскользь. Его изумило ее восклицание:

— Вот это мужчина!

Это было сказано несколько приподнятым, но ровным тоном, и Феоктист не понял, обвиняет ли она философа или хвалит его... Подумав, логофет решил, что восклицание относится к нему самому, так как в рассказе он умело упомянул о собственном поведении. Это

[1] Шершавые номисмы имели меньшее содержание золота.— *Прим. автора.*

открытие смутило его, и он еще более усердно стал описывать, как «та» поехала восвояси, не заглянув к нему, и как он понял, что ее отношения с Константином не сдвинулись с мертвой точки...

— У нее три достоинства,— сказала императрица.— Молодость, красота, глупость. Молодость проходит, красота тоже, и лишь глупость остается до конца жизни... Правильно сделал философ, не связав себя с ней. Пусть теперь сама за ним побегает.

Феоктист понял, на чьей стороне императрица, и поспешил присоединиться к ней, так как в последнее время и сам мучался подозрениями: Ирина не хотела видеться с ним, вела себя, будто чужая, завидев его в церкви, тут же выходила — верный признак, что настроена против него. Если она откроется Варде — ему конец... Успокаивало только то, что ее письмо все еще лежит в потолочной щели его дома.

5

Она уехала, но он все не мог забыть ее...

Провожал ее лишь он, Климент. Увидев, как она спешит к воротам, он, ошеломленный, спустился вниз и тоже пошел туда. Ноги не слушались, и потому он сел у чешмы, не спуская с Ирины глаз, пока она его не заметила. Она стояла в стороне от кареты, ожидая слуг, которые запрягали коней. Они суетились, она явно скучала. У стены, в тени, сидел на большом камне ее муж, отчужденно уставившись на свои ноги, далекий от окружающего мира. Ирина заметила робкие взгляды Климента, обернулась и, насупив брови, строго посмотрела на него. Молодой послушник смутился, покраснел, как мальчик, которого отчитали за проказу. Она и это заметила и улыбнулась. Парень был симпатичным, молодым и стройным, с мягкой каштановой бородой и удивительно белым лицом. По-видимому, он хотел поговорить с ней; Ирина махнула ему рукой. Хотелось подразнить Иоанна, но тот был как бы вне этого мира. Климент не понял жеста — он думал, она не позовет, а скорее прогонит его,— и не тронулся с места. Увидев, что Ирина махнула еще раз, он робко подошел, приветствуя ее, опустил кудрявую голову, смущенно уставясь в землю.

— Как тебя зовут? — спросила Ирина.

— Климент.

— Философ, что ли, послал?

— Нет, сам пришел.

Ответ разочаровал ее. Потеряв всякий интерес к послушнику, она отошла к карете.

— Зачем пришел? — спросила Ирина, чтобы что-нибудь сказать.

— Ты мне нравишься.
— Неужели? — улыбнулась она, пораженная.— И ты решился сказать мне об этом?
— Нет, я рисую икону, и твое лицо как раз подходит...
— Стало быть, я похожа на святую? — спросила она так громко, чтобы услышал Иоанн, но тот продолжал сидеть на камне с отсутствующим видом.
— Для меня — да,— сказал Климент.
— Почему только для тебя?
— Потому что я не знаю тебя!
Ответ был весьма двусмысленным, и Ирина не могла сразу решить, рассердиться ли ей или ответить вопросом. Подумав, она выбрала второе.
— А если бы знал, признал бы ты меня святой?
— Это зависит...
— От чего?
— От многого...
Разговор начинал раздражать Ирину, казался ей глупым и подозрительным. Какой-то послушник разговаривает с ней, словно судья! Ничего не стоило приказать телохранителям прогнать его, но он был так робок и взволнован...
— Смогу я когда-нибудь увидеть эту икону с моим изображением?
— Всегда, когда захочешь...
Ирина окинула послушника взглядом снизу вверх, кокетливо улыбнулась и сказала:
— Вряд ли подвернется случай скоро приехать...
— Ничего, ты все равно здесь...
— Где? — не поняла она.
Климент коснулся лба и обвел рукой вокруг.
Этот разговор с Ириной, ее голос и образ не покидали его келью. Он похудел, бросил переводы и списки и только кистью ненасытно открывал и открывал ее черты. Вечерами, в жесткой постели, думал о ней, и в мыслях она была такой, какой и на иконах. Эти иконы принесли ему большую известность, но Ирины на них никто еще не узнал. Стало быть, либо он нарисовал образ красивее натуры, либо не уловил самого характерного в ее лице — наивно приподнятой верхней губы. Обычно Климент изображал Ирину с младенцем на руках — заботливую, нежную мать,— и, видимо, поэтому никому и в голову не приходило думать о снохе Варды. Для того чтобы проверить свое наблюдение, он решил написать ее среди блудниц, в той сцене Библии, где с ними разговаривает Христос. Икона еще не была окончена, как Савва хлопнул себя по лбу:
— Ну и придумал! Здорово ты ее изобразил!..

— Кого?

— Как кого? Ну, эту... сноху Варды. Попал в точку, с первого взгляда все узнают, даже слепые — помнишь, что на празднике прозрели...

— Ты обознался.

— Ладно, не трусь... Изобразил, ну и что? Не заслужила, думаешь? Здесь ей и место. Уловил ты ее... изнутри. Только смотри, учитель не должен видеть эту образину, может обидеться. Сердечные дела... никто их толком не поймет. Ненавидишь, ругаешь, а все льнешь к ней... Сам пережил, знаю. Сквозь медные трубы провела меня жизнь, и не раз. Бывало, по женщине плакал, а женщина по мне... Трудно Савву удивить на этом свете.

Пока Савва говорил, Климент думал: что делать? Уничтожить ее одним мазком кисти или закончить, закончить для себя, чтобы постепенно изъять ее из своего сердца? Слова Саввы о ней казались ему несправедливыми, но вечерами, наедине с собой, он припоминал все связанное с ней и Константином и не мог заснуть до рассвета. Вина Ирины становилась все тяжелее, ясно было, что, прогоняя ее с иконы богородицы на икону с блудницами, он сам осуждал ее... Это открытие расстроило его так, что целую неделю все валилось у него из рук. Манила только книга рода. Отец оставил в ней немало пустых страниц и обращение к сыну: «Твоя дорога чиста, как эти страницы. Твои шаги по жизни оставят свой след на ней. Если сеял ты доброе в душах людей, я буду доволен. Я слушаю мир твоими ушами и смотрю на солнце твоими глазами. Если ты плохо проживешь день или скажешь плохое слово, знай — это обида всему роду и я никогда не прощу ее тебе». Завет был ясен и прост. Климент должен был осуществить его, как подобает хорошему сыну... И он сделает так! Хорошо, что есть примеры отца и Мефодия. О Константине он не смел судить: слишком велик он для сравнения. Можно быть лишь его тенью на общем пути. Ну вот, Климент готов идти всю жизнь с философом, а она пренебрегла им, позарилась на золото, почести, легкую, хотя и не очень достойную жизнь. И если когда-нибудь он узнает, что любовь ее действительно отдана свекру, а не мужу, как о ней судачат, он перечеркнет ее в своем сердце самым черным углем... Пока, однако, она все еще жива в нем и в пространстве вокруг...

В час размышлений отворилась однажды дверь, и в проеме возник человек, почти не заглядывающий в мастерскую,— Константин. С постели Климент не видел его и позвал к себе взмахом руки, думая, что вошел Савва.

— Принес поесть?

— Когда плоть голодна, это хорошо, но ежели дух не голоден — плохо...

Голос Константина мигом поднял послушника на ноги. Книга рода, лежавшая у него на груди, упала на пол, к ногам философа. Он нагнулся, взял ее и стал листать.

— Ты смотри! — удивился он.— Кто же это придумал?

Пока Климент объяснял содержание и происхождение книги, Константин достал кисточку из горшка с красками, липовую доску и стал писать. Климент подошел, заглянул. Философ обозначал звуки, которых не было в греческом алфавите.

— Когда я писал знаки для славянских народов, то думал взять без изменений несколько греческих букв, а придумывать только те, что должны отражать характерные славяно-болгарские звуки. Так и сделал, но потом сказал себе, что не надо византийцам давать возможность обвинять нас в заимствовании. А сейчас гляжу я на эту книгу, и кажется мне, что, если придется ехать в Болгарию и пролагать дорогу для учения Иисуса, хорошо бы воспользоваться именно этими письменами...

И он высоко поднял липовую доску. Двенадцать новых знаков дополняли главные буквы греческой азбуки.

— Народ уже знает греческую азбуку, а потому легче примет эти знаки, чем совсем неизвестные ему...

Константин сел на треногий табурет, положив доску на колени.

— Конечно, если болгары совсем откажутся от своего языка и воспримут язык славян. Строго говоря, язык славян тоже не очень чист, он довольно заметно перемешался с болгарским, но, насколько я знаю, на чистом болгарском языке говорят только в домах нескольких знатных родов, а сам князь пользуется славяно-болгарским больше, чем языком предков...

Он опять взял книгу рода и углубился в нее. Написанные греческими буквами, болгарские фонемы [1] казались бедными и изувеченными.

— Помоги! — сказал философ, прочитав завет отца.— Давай придумаем знаки для старого болгарского говора, чтоб ты мог более полно и точно выражать свои мысли, когда будешь писать продолжение книги своего рода...

Склонив головы, при тусклом свете лампадки и дрожащей свечи оба долго занимались работой. Когда закончили, свеча уже догорела, лампадка тихо потрескивала.

— Я изучил письменности многих народов, прежде чем составить свою азбуку: армян, сарацин, израильтян, латинян, разных забытых и ныне живущих народов... Особенно понравились мне знаки авасгов * — уж очень красивы на вид...

Константин встал, пожелал Клименту спокойной ночи и пошел

[1] Разумеется, протоболгарские.— *Прим. автора.*

к себе. Молодой послушник проводил его до самой кельи, он любил беседовать с философом.

Вернувшись на чердак, Климент разыскал огарок свечи и долго стоял над липовой доской. С особенным, трепетным волнением переписал он те знаки, что дополнят и болгарский, и славяно-болгарский говор... Стало быть, немало думал Константин, прежде чем создать свою азбуку, если так легко написал буквы для типично болгарских и славянских звуков. Сам Климент, для которого оба языка были родными, чувствовал, сколь трудно проникнуть в их звучание, а вот Константин это сделал легко. Нет, это немыслимо без бессонных ночей... Немыслимо...

С этого дня Климент считал себя богатейшим человеком: он мог одевать два языка в одежды трех азбук! Если он сможет перевести какую-нибудь книгу на болгарский язык, философ, наверное, обрадуется...

6

Сосредоточенное, бледное лицо Василия начало раздражать Варду. Недолго думая, он отдал слугу своему сыну Антигону и перестал интересоваться его судьбой. А с тех пор, как занялся переброской войска, совсем о нем позабыл. Устраняя Василия, кесарь выполнял и просьбу Ирины, по крайней мере ограждал себя от ее упреков. Теперь личной гвардией императора командовал Фотий, а своих телохранителей Варда подбирал сам. Это были люди сильные и проверенные, орудовали мечом так же, как асикрит пером и кисточкой, и были готовы отдать за Варду жизнь. Он платил им больше, чем император своим маглавитам.

Какова же была судьба Василия? Кесарь забыл этим поинтересоваться. Его сын был патрикием *, доместиком схол *, имел право на личных телохранителей. Он был высокого роста, стройный, буйный и злой пуще отца. Люди в его охране редко задерживались. Или сами уходили, или он их устранял, считая, что тот, кто его узнал, уже стал ярым его врагом. Сначала Василий нравился Антигону своим молчанием, но потом он заметил, что глаза у Василия слишком умные и осуждающие, и в конце концов заменил его другим телохранителем. Таким образом Василий стал спускаться вниз по лесенке доверия без всякой вины, только из-за своей замкнутости и сосредоточенности, которые кое-кому не нравились. Василий болезненно переживал эти шутки судьбы. Особенно обозлился он, когда Антигон отдал его патрикию Феофилу, родственнику Варды, у которого он был не телохранителем, а старшим конюхом. Василий любил коней, но предпочитал скакать на них, а не орудовать скребницей или задавать им корм. Все это было унизительно, да и новое общество не

нравилось ему: простые люди, живущие единственной заботой — льстить вышестоящим, чтобы сохранить свое место. Вот где Василий понял, что означает сила собственных кулаков. Он часто до полусмерти избивал измученных слуг, и они терпели его тиранство. Только один, считая себя сильнейшим в доме Феофила, попытался сопротивляться, но Василий схватил его и с такой силой закинул на крышу, что тот умер. Люди впервые видели такое. Конюхи перепугались, сам Василий удивился собственной силе, долго рассматривал свои жилистые руки и все не мог понять, как это произошло. За убитого в лучшем случае ожидала темница, однако патрикий, осмотрев мощную фигуру Василия и пнув ногой мертвого, которого сняли с крыши, подошел и ощупал мышцы старшего конюха.

— Это ты швырнул его наверх?!

Василий в недоумении развел руками.

— Сам не знаю, как получилось, господин...

— Ну, если ты такой уж сильный, попробуй подвинь вон тот камень! — И указал на огромную мраморную плиту, лежащую внизу у лестницы.

Василий вяло подошел, нагнулся, схватил плиту и натужился, плита отделилась от земли, еще усилие — и вот он уже держит ее на животе, шея побагровела, стала похожа на красную черепицу.

Патрикий Феофил всплеснул руками.

— Чудо! — сказал он.— Ей-богу, чудо! Помню, приволокли эту плиту на двух упряжках, масса народу возилась, пока положили как следует!

Он вновь подошел к Василию, бросившему плиту на землю, и, прикинувшись сердитым, сказал:

— Старший конюх Василий, почему ты не смотришь за вверенными тебе конюхами? Вчера один из них полез на крышу и упал, сломав себе шею. Похороны будут за твой счет, вот тебе наказание! Ступай, ты свободен! — окончил Феофил, еле сдерживая смех.

Василий стоял как вкопанный. Услышав «ты свободен», он упал на колени и поцеловал руку своему хозяину. С этого дня его слава железного человека обошла весь дом патрикия, а конюхи дрожали уже от одного его голоса и держались подальше от грозной десницы. Вскоре патрикий имел возможность вторично убедиться в силе старшего конюха. По пути на праздник ближнего монастыря святого Маманта, у мостика над речкой, его карета попала в яму, и лошади сломали дышла. Карета была тяжеленная, с дубовыми ступицами, окованная железом, в ней сидела жена Феофила с детьми. Пока все охали да ахали, Василий подлез под карету и шаг за шагом вывез ее на берег. Свита застыла от удивления. Когда Василий спустился к речке умываться, толпа зевак разрослась; желая отогнать их, он зачерпнул воды и обрызгал всех. Они с визгом разбежались. Среди них

были и знатные слуги, но никто не посмел воспротивиться Василию.

Он не понимал, откуда взялась эта силища. Не помнил, чтоб в его роду были силачи. Да и с виду он богатырем не выглядел — высокий, стройный. Ну, косая сажень в плечах, но ведь силачей привыкли представлять грозными, коренастыми, широкозадыми... Правда, по сравнению со своим хозяином он был просто исполином. Будучи низкорослым и хилым, Феофил любил сильных и крупных мужчин. С тех пор он негласно подчинил ему своих телохранителей. Теперь Василий стал первым в доме после патрикия. Это удовлетворяло его честолюбие; только поздней ночью начинал он думать и скрежетать зубами. Не мог простить Варде, что тот лишил его права быть телохранителем первого человека империи! До него дошло, что этого потребовала Ирина, и все же что это за мужчина, если бабы слушается! Виноват один Варда, прощения не будет... Что же касается его сына, Антигона, нечего даже вспоминать о нем — подонок, живущий за счет отца! Захочет бог скрестить их дороги — достаточно будет лишь стиснуть двумя пальцами ненавистную шею... В доме Варды достойным сожаления был один Иоанн. Его вид вызывал сочувствие, незавидная роль в семейной жизни — истинную жалость. Несмотря на твердый характер, Василий не мог смотреть на него без чувства неловкости и странной вины, рождающейся всегда при сравнении собственного здорового тела с бесформенным телом урода, очутившегося в этом осином гнезде знатных. Антигон — совершенно другой, хитрый и бессовестный, его Василий с удовольствием стряхнул бы, как сопли, в канаву... Много думать о нем было ниже достоинства Василия, хотя он и был простым конюхом. Мнение Феофила об Антигоне не отличалось от мнения его старшего конюха, но времена были неспокойные, надо было молчать, и патрикий молчал и старался сохранить с Антигоном хорошие отношения. Как доместик схол сын Варды чувствовал себя на седьмом небе, то и дело придумывал поводы расхищать казенные деньги на свои развлечения, словно деятельность схол в этом и состояла... Вот и теперь Феофил получил приглашение на ужин в честь болгарской миссии. Увеселение устраивалось вблизи Золотого зала, в покоях императора. Варду же провозгласили хозяином пира. Были приглашены все патрикии и регенты, за исключением императрицы. Как положено, Михаилу отвели за столом почетное место. Пир начался бурно, не было конца здравицам в честь молодого императора, пожеланиям долгой жизни и здоровья, похвалам мудрости и прозорливости будущего мессии христианского мира. Каждый старался блеснуть красноречием, не отставал и Феофил, зная, что император обожает слушать напыщенные слова о своей мудрости, дальновидности, мессианстве. Он вырастал в собственных глазах, отвечая — следил за тем, чтобы каждое его слово выслушивалось со вниманием. Феофил глубокомыс-

ленно кивал головой на каждую императорскую глупость, улыбка не сходила с его лица. Болгарам отвели почетные места — гости ведь, виновники торжества. Их предводитель, багатур Сондоке, то и дело поднимал чашу и все смотрел в сторону Феофила. Остальные сидели тише, вели себя сдержанно. Сильное впечатление производил грузный послапец, сидевший слева от Сондоке, со странным односложным именем, которого Феофил так и не запомнил. Эта огромная масса в кожах и бархате занимала целых три места за столом. Острые мышиные глазки поблескивали в узких щелях под нависшими бровями. В Константинополе уже распространился слух о его непобедимости на поединках. Он выходил бороться с первыми византийскими силачами и всегда одерживал верх. Теперь он сидел, словно лев на привязи, и лениво жевал, откусывая от огромного оленьего окорока. Справа от Сондоке сидел Домета — худощавый, кожа да кости, удивительно светловолосый, только борода потемнее, с зоркими глазами, следящими за всем в зале и за столом. Он часто наклонялся к уху багатура и что-то шептал — по-видимому, переводил здравицы. Плохо, что он славянин, думал Феофил, причем из тех славян, которые на стороне болгар. Имя Домета было красноречивым свидетельством его происхождения. Выслушав шепот, Сондоке кивал и поднимал чашу. Виночерпий все доливал ему вина, удивленный способностью гостя так много пить. Когда ему предоставили слово и все ожидали, что он станет нести околесицу, болгарин встал, поднял руку с растопыренными пальцами и медленно положил ее на грудь — там, где сердце. И сделал это так изысканно, что приближенные императора и Варды удивленно переглянулись. Слова Сондоке совсем ошарашили их. Он сравнил Михаила, императора Византии, с солнцем, а его приближенных — со звездами на небе. Пожелал, чтоб никогда никакое облако не затемняло светлого и мудрого чела этого человека, достойного владеть всем миром в союзе с премудрым ювиги-ханом Борисом, сыном Пресияна из рода Тангры. «Как ножны делают добро для ножа, не давая ему затупиться, как рука старается делать добро для тела, которому она принадлежит, и как непреложна смерть для каждого человека, пусть так же непреложна будет дружба между болгарским и византийским народами. Пусть эта дружба живет до тех пор, пока высится Хем и плещется голубое море около города Константинова». Домета перевел все точно, речь Сондоке встретили общими криками и поднятием чаш. Один Феофил оставался нахмуренным и озабоченным. Его раздражало спокойствие гостей, их бодрое самочувствие. Силач лениво пережевывал пищу, а когда один из патрикиев, подвыпив, похвалил его успехи в Константинополе, непринужденно кивнул в знак благодарности и продолжал чавкать.

Этот снисходительный кивок взбесил Феофила, и он поднял свою чашу:

— О солнцеликий повелитель, разреши сказать несколько слов!
— Говори! — кивнул полупьяный Михаил.
— Слава нашего василевса несколько померкнет, если мы позволим без поражения вернуться болгарскому посланцу... Муку,— запнувшись, сказал он.
— Туку,— поправил Домета.
— Кто же осмелится? — воскликнул патрикий.
— У меня есть человек... Разреши мне, повелитель, позвать его.
— Зови,— впервые за вечер улыбнулся император.

Поединок решили устроить в саду. Там было несколько свежо, но это не мешало силачам. Мокрая после недавнего дождя земля пугала ревностного патрикия, который велел принести опилок, чтобы посыпать круг. Когда и это было сделано, последовал второй сюрприз. Человеком Феофила оказался Василий. Почти все знали бывшего телохранителя Варды и теперешнего конюха Феофила, но никто не видел его обнаженным до пояса. Намазанное оливковым маслом тело блестело, как литое. Мышцы сплетались, как корни крепкого дуба. Бледное лицо сделалось еще более бледным и суровым, но это было только вначале — уже в первые минуты борьбы оно стало наливаться кровью. Грузный Тук больше выжидал, тогда как Василий нападал — ловко и неожиданно. Тук понял, что перед ним серьезный противник. Успокаивало лишь то, что он одолел немало таких силачей, но это чувство — результат прошлых побед и выпитого вина — оказалось плохим советчиком. В первые минуты силы были почти равными, зато следующие принесли болгарам некоторое беспокойство. Обнаружив слабое место Тука, Василий стремился напасть на него со спины. Болгарину приходилось поворачиваться, чтобы оберегать спину, и это утомляло его. Тук злился, что не сообразил задержать противника в первый момент, когда они только взялись за руки. В конце концов старания Василия увенчались успехом. Он крепко охватил со спины огромное туловище противника. Оставалось самое трудное: собраться с силами, поднять Тука и бросить его за пределы круга. Все замерли в напряжении и ожидании конца. Забыв об императорском достоинстве, Михаил грыз ногти. Взгляды впились в спину Василия, ноги с босыми ступнями, как бы врытые в землю, в шею цвета черепицы. Спина стала выпрямляться, возгласы удивления рванулись ввысь... В следующее мгновение тело Тука полетело в кусты. Василий победил. Сондоке и Домета стояли мрачные, византийцы ликовали. Встав в центр круга, Василий несколько неуклюже поклонился, но никто не заметил его неловкости. Мужественное стройное тело лоснилось от пота и масла.

— Он мой! — вскочив, торжественно произнес в воцарившейся тишине Михаил.

Патрикии зашумели в восторге от этих слов, выражающих выс-

шее восхищение императора силой и умением Василия, но правильно понял эти слова один лишь Варда. Отныне Василий становился другом василевса, а это не могло радовать кесаря.

Василия ввели в зал, пир продолжался. Варда пил, думая о том, что́ предстояло сделать сегодня вечером, ибо, если упустить случай, все пропало. И заговорщически посматривал на Фотия. Когда Михаил стал валиться с ног, кесарь подхватил его и бережно увел в покои. Император глупо хихикал, пытаясь облобызать Варду, который знал, что сейчас польются слезы. Солнцеликий расплакался раньше, чем ожидал кесарь. Сам он не мог объяснить, почему хнычет, это у него обычно предшествовало сну. Варда прекрасно знал его и потому крикнул Фотию, чтобы тот принес императорский приказ. Приказ обязывал кесаря отвезти императрицу Феодору с незамужними дочерьми в монастырь, а логофета Феоктиста казнить. Большую печаль-де испытывает император от своего решения, но делает это только во имя благоденствия своего народа и безопасности государства, ибо в последнее время деятельность императрицы, логофета и некоторых других людей направлена против особы светлейшего императора Византии Михаила Третьего.

Пьяный император подписал приказ и поставил личную печать. Довольный сделанным, он приподнялся на цыпочки, обнял Варду за сильную шею и, шатаясь, пролепетал:

— А где мой Василий?

Кесарь пытался уложить его в постель, но пьяный не унимался:

— Где мой Василий?..

7

Миссия покинула Царьград. Свита увеличилась: кроме Сондоке, Тука и Дометы, в отдельной карете ехала сестра хана, кира * Кремена-Феодора. Императрица простилась с ней, надавав уйму материнских советов, будто расставалась с самой милой из дочерей. Кира Кремена-Феодора сидела в глубине кареты, испытывая смешанное чувство радости и тоски. Уезжая к своим, она прощалась с миром, у которого научилась и плохому, и хорошему. Хорошо было быть защищенной могуществом нового бога, которого она полюбила всем своим одиноким сердцем. Вечерние молитвы она столь ревностно читала из-за внутренней необходимости разговаривать с всевышним о своем спасении и при этом не раз вспоминала, как ее взяли в плен. Войско ушло вперед, а они с матерью и обозом отстали. Внезапно обрушились византийцы. Вместо того чтоб остаться в телеге и уповать на мать и охрану, перепуганная Кремена помчалась в ближайшую рощу, где наткнулась на группу византийских воинов, которые отвели ее к пленным, и радости их не было конца, когда стало из-

вестно, что она — дочь болгарского хана Пресияна. В столице ее подарили императрице. Сначала Кремена трудно привыкала к новым порядкам, но для полонянки выбора не было. Ела что давали, одевалась как велели, делала что приказывали. Далеко остались родители, у которых можно было и покапризничать, а во дворце хозяйкой была не она, а Феодора. Тогда ей впервые захотелось иметь подружку, близкого человека. Ею стала Тамара — знатная полонянка из Грузии. Черноглазая, робкая, она жила только мыслями о боге и постепенно увлекла Кремену новой верой. Девушки жили в одной комнате, Тамара допоздна рассказывала истории из житий святых и отшельников. Сначала Кремена слушала с недоверием, потом с любопытством и наконец увлеклась настолько, что стала более ревностной христианкой, чем Тамара. Теперь она возвращалась под небо Тангры, к неучам-жрецам, сжигающим травы и убивающим обрядовых собак,— словно в пещерный мир с запахом плохо выдубленных шкур и тяжелым, затхлым воздухом. Как встретят ее родные? Прежде всего брат, болгарский хан, остальные должны будут считаться с ним, если он ее примет хорошо. Борис всегда был для сестры чем-то загадочным, закрытым ларчиком, в который она с детства пыталась заглянуть, но это ей не удавалось. Совсем другим был Докс: его улыбка раскрывала душу и сердце. Кремена доверяла ему, он — ей. Естественно, это было давно; теперь, когда он взрослый человек с семьей, а она ревностная христианка, неизвестно — останется ли дверь открытой с обеих сторон? Прекрасно, что мать жива. Она не даст дочь в обиду. Добрая мамина рука всегда приласкает...

Передвигались медленно — из-за плохих осенних дорог и из-за ее кареты. Кони быстро уставали, их приходилось часто менять. Пока перепрягали коней, Кремена выходила размяться и поговорить со спутниками. К своему великому удивлению, она обнаружила, что многие слова родного языка вспоминает с трудом. Она заикалась, будто впервые начинала говорить.

На третий день остановились в какой-то пограничной крепости, где обменялись пленными. Феодор Куфара перешел в руки византийских стражников, Кремена — в руки болгар.

С этой минуты она была вполне свободной, но неуверенность и робость не проходили. На границе свита увеличилась: ханские стражи приехали сопровождать сестру властелина, и с ними Докс. Кремена долго всматривалась в него, прежде чем броситься к нему в объятия,— это был он и не он. Докс тоже не спешил, хотел убедиться, узнает ли она его. Прошло ведь немало лет, византийцы могли подсунуть другую полонянку, похожую на сестру. Но она узнала его, причем никто ей не говорил, что Докс будет среди встречающих, и сердце его раскрылось для радости. Он предложил Кремене одного из своих коней, но она отказалась: разучилась ездить верхом. Брат

устроил ее в жесткой, но прочной телеге и больше с ней не расставался. Все расспрашивал — о жизни в Константинополе, о книгах и нравах, вообще не давал ни минуты покоя, и так до самой Плиски. При виде стен родного города она расплакалась. Выпрямившись в телеге, она долго и жадно всматривалась туда, где на большой башне у центральных крепостных ворот развевался серебристый конский хвост.

За этими стенами она когда-то резвилась в пыли улиц, слушала укоры матери, там пожелала впервые сесть верхом. До сих пор помнит она это большое событие: ее посадили верхом и стегнули лошадь, наказав крепко держаться за длинную гриву. Тогда она чуть не умерла от страха, но позднее наловчилась так стремительно скакать, что соревновалась с лучшими джигитами. А теперь возвращалась — одетая и причесанная по-византийски, мысли спрятаны тоже по-византийски, вместе с крестиком на груди под одеждой, отполированным до блеска от долгого ношения,— немым свидетелем ее новой веры... И что же в итоге? Болгарским осталось только детство. Достаточно ли его, чтобы начать жить по-болгарски? Вряд ли... Умелую прививку сделали дикой яблоньке.

Народу здесь явно прибавилось. У дороги сгрудились конные и пешие из крепости, прибывшие на встречу ханской сестры. Некоторые бежали по обеим сторонам телеги, что-то крича, но из-за стука колес Кремена не слышала или не понимала их. У крепостного рва людей было еще больше, они махали руками, бросали цветы, но в узких щелях глаз таились боязнь и недоверие. Кремена понимала их: они встречали болгарку, потерянную для Болгарии, византийскую полонянку, которая, наверное, всю жизнь останется пленницей Константинополя. Вдруг у больших ворот внутренней крепости она увидела седую женщину, и сердце заколотилось. Мать. Не дожидаясь, пока остановится телега, девушка спрыгнула на землю, ослепив на мгновение мать длинным платьем, сверкнувшим в лучах заходящего солнца. Молодая и пожилая бросились друг к другу, дав волю слезам. Два желания встретились, две тоски обнялись, две радости целовались на глазах у всех.

Взявшись за руки, они направились ко дворцу, где на внутреннем дворе их ждала ханская семья и свита. Первыми выступили вперед послы. Сондоке вытянул руку и красивым движением приложил ладонь к сердцу. Он поднял голову, и слова потекли, словно мед: он передал приветы хану, его семье и кавхану Онегавону от императора Михаила, а также приветы двенадцати боилам Старого и Нового Онголов. Выпалив все это одним духом, багатур повторил любимый жест и шагнул в сторону. Тогда глаза хана увидели сестру. Кремена подошла, упала у его ног на колени и поцеловала руку. Хан нагнулся, бе-

режно поднял ее и, держа за пальцы, торжественно повел в свои покои.

Два дня заседал Великий совет. Спорили, как быть: подписать договор с Византией или подождать. Одни настаивали на заключении, другие советовали на некоторое время отложить подписание. Первые ссылались на войну Византии с арабами, надеясь добиться уступок, вторые предлагали еще до заключения присоединить славянские племена, живущие вниз от Солуни: при подписанном договоре это будет считаться нарушением, а набегов все равно не остановить. Хан и кавхан колебались. Они обязаны были принять такое решение, которое было бы безусловно полезно для государства, а потому они не торопились с последним словом. Что будут споры, оба знали заранее, ведь не зря они поручили Сондоке только записывать предложения. В Константинополе было холодно принято болгарское предложение о заключении мира. Они не отрицали, что надо разрешить пограничные споры, но из их слов выходило, что они видят границу совсем на другом месте — где-то далеко за Хемом. Это высказал патрикий Феофил, и Сондоке пришлось обиняками сказать ему, что он, наверное, давно не бывал в этих местах, а потому и говорит несуразицу. Явно, они ждут, пока не освободится войско, ведущее бои с сарацинами, чтобы потом провести с болгарами более откровенные переговоры. Вот тогда они, вероятно, будут настаивать на границе под Хемом. Хан и кавхан все еще не приняли ни той, ни другой стороны. Почему надо спешить, если все равно придется ждать послов Византии с последними предложениями? Ведь Константинополь еще не сказал своего слова, а гадать не имеет смысла, миссия в Болгарию наверняка уже готовится. Лучше подождать.

И все-таки спор был полезен: Борис и Онегавон лучше могли разобраться в настроениях боилов и багаинов. К радости хана и кавхана, в совет впервые допустили славянина. Для большинства присутствующих Домета был всего лишь простым толмачом, но тем не менее пришлось несколько раз обратиться к нему, чтобы он объяснил некоторые ответы византийцев, и славянин так умело развязывал словесные узлы, что члены совета слушали его с уважением. Сондоке попытался прервать Домету, но его заставили помолчать: достаточно, мол, слушали тебя. Домета говорил спокойно и прямо, не крутил, как багатур. Сидя среди этих смуглых людей с узкими глазами, он был точно белая ворона. Хан и кавхан часто переглядывались, глубоко пряча свою радость: рано было ее показывать.

На совете шел разговор и о ханской сестре. Спрашивали: не лучше ли подвергнуть ее очищению под надзором жрецов? Ведь она так долго жила среди врагов Тангры, может, стала сторонницей чужой веры?.. Это предложение сделал, разумеется, молодой Ишбул, всегда норовящий досадить хану и обидеть его семью. В его словах

была правда, и Великий совет принял бы их, но только если бы их высказал кто-нибудь другой: все знали настоящие побуждения Ишбула и потому молчали. Он был похож на бычка, кидающегося на каждого, у кого хоть одна пуговица красная... А у хана были красные сапоги и красная одежда... Угомонить парня взялся Онегавон, и это было понятно: один злился из-за места кавхана, другой оборонял его.

— Искушения могут всегда существовать в людских душах,— сказал Онегавон,— и для этого не обязательно побывать в Константинополе. Если идти этим путем, придется испытать каждого, к примеру Сондоке и Тука...

Имя Тука вызвало обидные шуточки. Все знали о его поражении и не собирались прощать. По наивности он объяснил поражение тем, что слишком много съел и выпил. Этот ответ возмутил боилов, багаинов. Миссию ведь послали дело делать, а не бражничать за столом! Тук должен был класть византийцев на обе лопатки, показывая им силу болгар, а он — о Тангра! — пить и есть уселся, будто в Плиске не видал ни окороков, ни вяленого мяса! Искусная реплика кавхана вытеснила вопрос о Кремене. И когда пришло время голосовать, поднял руку один Ишбул, остальные, разъяренные позором Тука, вообще не расслышали, о чем идет речь. Этим разговорам не видно было конца, поэтому хан распустил совет, отложив решение до приезда византийских послов. Разумное предложение получило поддержку. Совет не принес большой пользы: важное решение принято не было,— но и лишним он все-таки не был...

Когда ушли боилы и багаины, разгоряченные и возмущенные Туком, Борис оперся ладонью о колено и задумался. Он думал о сестре: совсем чужой показалась она ему в первый момент, чужим отдавало все, что она говорила и делала... Он не посмел спросить ее о вере, но не удивился бы, если бы она оказалась христианкой.

Хан собирался на днях в Мадару и решил взять сестру с собой, чтобы поговорить там с глазу на глаз, откровенно...

8

Запои Михаила были затяжными. Ранее в них участвовал Варда, теперь — Василий. Это и радовало, и тревожило кесаря. Он был рад, что больше не надо губить с ним время, но вместе с тем возникла тревога — росло влияние Василия. И все же самое трудное было позади, приказ подписан, печать поставлена, осталось лишь привести приговор в исполнение. Варда намеревался сперва устранить сестру, а потом разделаться с логофетом, чтоб не дразнить ее и его сторонников. Более опасной представлялась императрица, поэтому он

приказал Фотию организовать за ней слежку. Он хотел знать, кто к ней ходит, чтоб и их наказать в дальнейшем. Пока не было сладу лишь с патриархом. На службе в соборном храме Игнатий резко порицал его за сквернословие, за пренебрежение церковными канонами, прелюбодеяние с родственниками и за нечистые помыслы по отношению к власти, данной богом императрице Феодоре и ее сыну, солнцеликому Михаилу. Патриарх наступил на больную мозоль, и кесарь осатанел. Он хотел в тот же день снять его с патриаршего престола; хорошо, что вмешался Фотий и успокоил Варду. Его гнев мог привести к поспешным действиям, а, как известно, от них добра не жди.

Патриарх выступил против Варды в конце октября. Об этом еще шли пересуды, когда однажды поздним вечером во дворец Феодоры ворвались императорские стражники и, заставив ее взять только самое необходимое, куда-то увели. Утром город разбудила молва о ссылке императрицы. Вместе с дочерьми ее упрятали в какой-то неизвестный монастырь. Люди собирались на базарах, шумели, все видели в этом грязном деле руку Варды. Кесарь втянул в него и младшего брата, Петрону. Михаил был тенью Варды, полным ничтожеством в глазах народа, о нем говорили пренебрежительно, особенно после того, как расползлись слухи о новом друге императора — конюхе Василии. Слухи эти вызывали язвительные ухмылочки.

Варда знал о сплетнях, но разве заткнешь рот всему городу? Его собственные грехи выглядели мелкими на фоне процветания Василия. Имя Варды везде упоминалось рядом с именем Ирины, и он чувствовал, что возмущаются одни женщины, мужчины же ему тайно завидуют. Стоило Ирине пойти в церковь, как любопытные мужчины стекались поглазеть на нее... Слова патриарха против Варды пали с амвона в присутствии Ирины, и женщины были готовы разорвать ее на куски. Сам Игнатий все время упорно смотрел на нее. Она чувствовала, как этот сверлящий взгляд приковывает ее к стене церкви, но ничем не выдала страха и смущения. Наоборот, она первой пошла к выходу, гордо подняв голову, замечая, как женщины отстраняются, и ощущая их желание по первому сигналу уничтожить ее.

Колени задрожали дома, в покоях. Присев на кровать, Ирина безудержно разрыдалась. В этом плаче была и жалость к себе, и гнев на людей, и боль от обидных слов. Вдруг вместе с упреками Игнатия ей послышалось и другое: «Вернись обратно, Ирина! Уйди!» И она ясно увидела перед собой Константина на монастырской лестнице, красивого и недосягаемого, сурового и гордого, услышала его голос, который теперь до смерти будет как нож в ее сердце. Прости он ее тогда, она не чувствовала бы себя теперь отвергнутой и презренной. Всегда считая себя любимой, Ирина поняла сейчас, что жила самообманом. Один бог ведает, любит ли ее еще и Варда... Ее

обрадовала его неуемная злоба. Ссылка Феодоры в монастырь произвела впечатление удара кнутом, удара оглушительной силы. Ирина надеялась, что теперь их враги испугаются, но речь патриарха, насыщенная гораздо большей злобой, враждебно настроила смущенный город. Игнатий утверждал, будто слова подсказал ему всевышний, поэтому никто не должен остаться равнодушным к злодеяниям кесаря — похитителя Феодоры и ее дочерей.

Патриарх пламенно призывал Михаила не забывать о матери, которая девять месяцев носила его во чреве своем, а потом кормила грудью. Он спрашивал с амвона: почему император разрешает какому-то тирану распоряжаться властью, данной василевсам богом? Кто позволил ему своевольничать и разлучать мать с сыном?.. Видит бог и терпит, но будет конец и божьему терпению! Бог ждет, пока люди сами не встанут на защиту матери, но если они ничего не сделают — горе им, горе роду человеческому!..

Проповедь патриарха дошла до дворца, взбудоражила улицы, смутила торжища, и лишь Варда сделал вид, что она его не касается. Он пока слушал, собираясь с силами для решительного удара, который покажет и знати, и парикам, что с Вардой шутки плохи... В таком напряжении прошел год.

Кесарь боялся сделать следующий шаг — разделаться с логофетом. Он искал способ устранить его. Свои люди донесли, что войско, которым когда-то командовал Феоктист, не забыло о нем. Веским было его слово среди воинов, и не мудрено, если после речи патриарха он позовет их на помощь императрице и ее сыну. Враги кесаря хитро вели борьбу. Выступая против него, они объявляли жертвой не только Феодору, но и самого Михаила, несмотря на то что с императорской головы не упало ни волоска и на первый взгляд ему ничего не грозило. Люди угадывали тайные желания кесаря и раздували свою ненависть к нему. Варда ухватился, как утопающий за соломинку, за первую пришедшую ему в голову мысль — послать логофета предводителем миссии к болгарам. Как всегда, Михаил согласился с предложением; Феоктиста позвали во дворец, чтобы поручить ему миссию. С огромной боязнью и колебаниями поднялся логофет по мраморной лестнице, будучи глубоко уверенным, что это ловушка. Однако нельзя было не пойти, следовало собраться с духом. К великому удивлению, Михаил принял его и долго с ним беседовал, предлагая поставить болгарам явно неприемлемые условия — искусство ведения государственных дел было, несомненно, ему неведомо. Феоктист считал, что переговоры с болгарами все-таки не будут напрасными, мир они вряд ли заключат, зато можно будет договориться об обмене пленными, которых было немало у обеих сторон. Слушая бесстрастный голос императора, логофет думал о своих делах. В голове созревал роковой план: по пути в Болгарию остановиться в

Адрианополе и, если тамошный стратиг сдержит свою клятву, с божьей помощью пойти на Царьград. Момент подходящий, народ пуще прежнего ненавидит Варду.

— Я буду очень доволен, если мой дорогой логофет сочтет необходимым через пять дней отправиться в страну болгар,— сказал Михаил, подняв палец.

— Я готов, солнцеликий,— как-то торопливо ответил Феоктист. Впрочем, он отвечал собственным думам.

— Так тому и быть! — Михаил встал и протянул нежную руку.

Поцеловав ее, логофет попятился к выходу. Через пять дней крепостные ворота пропустили миссию к болгарскому хану. За это время Феоктист успел обойти посвященных в заговор людей, знакомя их с новым планом. Заговорщики, разумеется, не восторгались этим страшным делом, но и не отказывались участвовать. Многие из них в душе колебались, но слово патриарха наполнило их силой и решимостью. Логофет вышел живым-здоровым из мощных стен города и потому решил, что никто его не предал. Обычно Феоктист ездил в карете, но теперь он нарочно взял двух коней — один из них был гнедой, с белой звездой на лбу и перезванивающим стуком копыт: слушаешь и думаешь, будто знатная дама ступает по каменным плитам соборного храма.

На этом коне он сражался в одной из битв со славянами Солунской фемы. С тех пор как славяне со смертью Льва потеряли в городском правлении близкого человека, они стали слишком часто бунтовать. Феоктист помнит, как он намучился, пока в свое время не убедил императора Феофила назначить друнгарием Солунской фемы именно Льва, его друга. Да, с Феофилом, пусть земля ему будет пухом, можно было разумно разговаривать, доказывать и защищать каждую мысль в пользу империи. Тогда они, помнится, провели три длинные беседы. Впрочем, говорил только логофет, император слушал. Расселившись до Древней Эллады, славяне неплохо устроились на полях и в горах Солунской фемы. Нет такого солунянина, который не говорил бы по-славянски. Надо было уважать этих людей, чтобы сделать их своими, достойными жителями империи, а для этого следовало поставить во главе фемы человека их крови, но в то же время преданного императору. Ничего страшного нет, стратиг — грек, а друнгарием будет славянин... Иначе не покончить с бунтами этих неплохих, но чересчур гордых людей, отвечающих на добро добром, на зло злом... Феоктист говорил азартно, императору приходилось сдерживать его, успокаивать. Император все молчал, и это молчание смущало Феоктиста. Он умолкал, но Феофил кивал — продолжай. И так три раза подряд. Лишь после третьей встречи он велел асикриту составить указ о назначении Льва друнгарием. И написать, что это делается по рекомендации логофета Феоктиста. Феок-

тист прекрасно понимал, что означает «по рекомендации»: каждая ошибка нового друнгария падет на его голову. Ничего, это не очень смущало его, важнее было, что император внял его просьбе. И в самом деле, как только Лев стал друнгарием, смуты прекратились, фема успокоилась. Но после его смерти споры вновь стали решаться оружием, и опять пришлось водворять порядок. Сил оказалось маловато, чтобы заставить славян подчиниться. Вот тогда-то уязвленная гордость и подтолкнула их на союз с болгарами. И если в пустых головах Михаила и Варды есть хоть капелька разума, они должны снова назначить в Солунскую фему славянина, а не византийца! Но разве есть кому об этом сказать, с кем поговорить? Все равно что глухому в ухо кричать, а слепому пальцем показывать... Одни запои и козни, для государственных дел времени нет. Вот и сейчас — посылать-то они посылают, но зачем? Неужели не понимают, что империя не может приказывать соседям, не может диктовать им свою волю? Впрочем, какой смысл трепать себе нервы? Он все равно передаст болгарам императорское поручение, когда рак на горе свистнет...

Миссия добралась до Адрианополя без злоключений. Тени деревьев касались крепостных стен, когда внушительная группа византийских посланцев и слуг вошла под своды ворот. Феоктист велел остановиться в лучшем постоялом дворе; оставил там лишнюю поклажу и отправился в дом стратига. Ему не пришлось долго ждать: хотя хозяина дома не было, гостеприимная жена не ударила в грязь лицом, предложила богатый стол и терпкое красное вино. Стратиг, который поехал с сокольничими и егерями на охоту, вернулся к вечеру — уставший, но радостный: в телеге, среди дюжины зайцев, была и серна. Разгоряченный дорогой, хозяин с шумом ворвался в дом и, завидев гостя, ужаснулся. Логофет заметил перемену, но виду не подал. Поздравив стратига с удачной охотой, он сказал, куда держит путь и по чьему приказу,— чтобы успокоить хозяина. Напрасно: стратиг лениво и задумчиво грыз усы и был начеку, готовясь в любую минуту услышать грозное предложение. Феоктист пожалел его, но лишь на мгновение. Потом им овладел гнев. Клялся трус, давал присягу — мол, верно служить буду, если стратигом сделаете, а теперь что? Онемел от страха! К сожалению, у логофета не было другого выхода: весь план держался на начальном толчке, а толчок должен был произвести адрианопольский стратиг.

Когда домашние покинули трапезную, Феоктист сказал, нахмурив брови:

— Я приехал сообщить тебе, что пора...

От этих слов хозяин пожелтел, как айва, и, уронив кость, которую с аппетитом глодал, пробормотал:

— Я знал, я так и знал...

— Знал, не знал — неважно! — заключил логофет.— Присягу

давал? Давал. Теперь выполняй. Чтоб через два дня войско было готово!

— Б-будет,— промямлил стратиг.

Через два дня войско шагало в Константинополь. Воинам объяснили, что они идут по приказу Михаила — спасать его и императрицу от Варды. Они поверили, решив, что все обойдется без боя, что кесарь, завидев их, тут же освободит Феодору и ее дочерей... Во главе, верхом на длинногривых лошадях, ехали логофет и стратиг, который немножко пришел в себя. Вечером, в крепости Цурул *, он напился и стал так пространно извиняться за первоначальный страх, что надоел. Поздней ночью Феоктист все же сумел избавиться от неуемного болтуна и пошел к себе. Ему хотелось вздремнуть для бодрости перед предстоящими испытаниями, но, когда полез в карман за любимой коробочкой из слоновой кости с зубочистками, понял, что забыл ее в трапезной. Слуги уже разошлись, не видно было и новых телохранителей. Раздосадованный, что придется опять идти к пьяному стратигу, логофет пересек широкий коридор и вошел в зал. Коробочка лежала на неубранном столе, но, к великому удивлению Феоктиста, трапезная была пуста. Исчезновение пьяных было весьма подозрительным: ведь они так гуляли, что казалось — не разойдутся и до восхода солнца! Логофет прислушался — стояла гробовая тишина...

На обратном пути он то и дело останавливался, все чудились какие-то шаги. Наверное, их рождала странная тишина и его воспаленное воображение. Выходя давеча из комнаты, Феоктист оставил дверь открытой, а свечу зажженной, но сейчас там было темно. Он шагнул вперед, ища свечу, чтобы зажечь ее от факелов, стоявших по углам коридоров, но тут две крепкие руки схватили его, две другие больно заломили кисти назад и быстро связали их толстой веревкой.

«Предательство!» — мелькнула мысль. Дело было сделано так быстро и ловко, что логофету осталось только простонать от обиды и боли. И все.

Через два дня его передали Варде, а еще через неделю казнили на крепостной стене, и голова логофета скатилась в волны моря — в назидание всем заговорщикам. Предводителем миссии к болгарам послали протоспафария Феоктиста Вриенния, ибо болгары уже знали, что эту миссию возглавляет некий Феоктист.

9

Первым узнав о смерти Феоктиста, Мефодий долго колебался, говорить ли об этом Константину. Известие его опечалило. Он обвинял не логофета, а среду, загубившую его. Эта среда создала целую иерархию фальшивых ценностей, реальное значение которых зависит только от воли сильнейшего. Если бы в схватке победил Феоктист, с кре-

постной стены скатилась бы голова Варды, и логофет был бы уверен в своей правоте, ибо бог помог ему разделаться с тираном. Но они оба не правы. Оба шли общей дорогой — дорогой власти, где есть место только для одного. Второму суждено было погибнуть — их благодетелю, Феоктисту. Мефодий спустился в огород, где трудились батраки и послушники, осмотрел грядки с чесноком и луком и поднялся на холм. Отсюда была видна часть монастырских угодий, и дальше — две деревушки, принадлежащие святой обители. Погожий весенний день вывел все живое в поле. Вдали белели волы. Природа дышала покоем и так располагала к мирному труду, что ему казалось кощунственным, что в таком прекрасном мире убивают людей.

К обеду Мефодий спустился в монастырь, заглянул в кухню и поднялся по лестнице в свою келью. К Константину идти не хотелось — пришлось бы сказать о Феоктисте, а это надолго расстроило бы его, помешало бы работе: он упорно переводил священные книги на славяно-болгарский язык. Мефодий усвоил азбуку, но у него дело шло медленнее. Мысль Константина была более гибкой, он применял гораздо больше слов, его обширные познания делали работу приятной и интересной. Целыми неделями не выходил бы он из кельи, если б не службы. С болью в сердце отрывался Константин от книг, считая, что его работа гораздо полезнее, чем участие вместе с братией в хвалебных молитвах. В последнее время игумен ревниво следил за братьями, подозревая Мефодия (да и люди нашептывали), что он будто бы собирается сесть на его место, а Константин-де потому не высовывает носа из кельи, что пишет патриарху донос, обличая чревоугодие игумена, его жадность и пропасть иных грехов. Игумен ужасно боялся всего этого, а потому и верил подстрекателям; особенно страшило его покровительство Феоктиста и императрицы. После ссылки Феодоры он ожил и решил посетить Константина. Разумеется, этого не следовало делать без предупреждения, но ведь цель святого отца была застать Константина врасплох и лично убедиться, чем же он, в сущности, занимается.

Когда они с братом Пахомием и двумя послушниками вошли в келью, философ заканчивал перевод Четвероевангелия. Гости без приглашения уселись, игумен благословил работу Константина и пожелал узнать, что же создает брат в длинные божьи ночи, так как его восковая свеча горит непрерывно и разжигает любопытство.

Встав, Константин поцеловал руку игумена, собрал исписанные листы и дал каждому по одному. Долго всматривались монахи в красивые буквы, но ничего не смогли постичь. Философу надоело ждать, он сел за стол и устало сказал:

— Преподобный отче, я и мой брат весьма благодарны тебе: под твоей мудрой крышею мы нашли нужное спокойствие и понимание нашего труда.

Сначала Константин хотел искренне рассказать, чем именно они занимаются, но внезапность посещения и подозрительные взгляды, уставленные в листки, навели его на мысль скрыть правду.

— Глубокочтимый логофет Феоктист, исполняя поручение патриарха святой христовой церкви, пожелал перевести для него на язык авасгов Четвероевангелие и другие книги, что я с божьей помощью и делаю.

Этот ответ несколько успокоил игумена. Положив на стол лист, он обернулся к Пахомию. Тот, чтобы скрыть свое полное невежество в иностранных языках, авторитетно поддакнул:

— Да, да, правильно говорит брат Константин. И хорошо сделано толмачество на... на...

Константин подсказал:

— На авасгский.

— Угу... на авасгский...

— Ну, если это такое важное дело, его надо обмыть! — повеселев, заметил игумен.

— Я не пью, но кое-что у меня здесь есть,—улыбнулся философ, открывая шкаф и доставая оттуда кувшинчик с вином, подарок работников с нижнего монастырского виноградника.

— Попробовать, что ли...— первым протянул руку игумен.

Так их и застал Мефодий. Марин сказал ему, что у брата гости, и он поспешил прийти, чтобы уберечь его от лишнего беспокойства. Войдя в келью, он поклонился и поцеловал опухшую руку игумена.

— Как идут весенние работы? — спросил старец, желая подчеркнуть доверие, которое было ему оказано.

Мефодий не стал долго объяснять, ибо знал, что никто не интересуется работой в поле, всех волнует только урожай. Тем более не хотел он распространяться, что с опасением думал о подлинной цели этого визита.

Почувствовав его тревогу, Константин поспешил сказать:

— Преподобный отец игумен, да славится его воля, хотел узнать, как продвигается наше толмачество с греческого на авасгский...

— Похвально трудиться во имя бога и добра ближних,— добавил игумен.

— Да, да...— вставил и брат Пахомий.— Это... авасгское письмо... оно вельми интересно.

Он взял кувшин и основательно приложился к нему.

Мефодий, успокоившись, отобрал сосуд у Пахомия и тоже глотнул вина — он был непьющий, но весеннее безумие, голубое небо, ходьба разгорячили его, и глоток этот пришелся по душе. Впрочем, бог отнюдь не запрещает вина, лишь бы не злоупотреблять им.

Было уже за полдень, игумен почувствовал голод.

Бросив последний взгляд на рассыпанные листы, он перекрестил

братьев и покинул келью. За ним потащился Пахомий с послушниками.

Когда шаги затихли, Мефодий улыбнулся:

— Ну и успокоил...

— Когда глаза незрячие, глупость всегда важничает... Смотрел я на отца Пахомия и думал о невежестве... Как глубокомысленно изрекал он «да, да...». Мне показалось, что они притащились с недобрыми намерениями, вот и решил пошутить.

— Нечистая сила принесла... После ссылки Феодоры и ее дочерей некоторые торопятся оградить себя от всяких подозрений. Сижу вот и думаю, как долго еще патриарх протянет, предав анафеме Варду... Идут слухи, что император велел Игнатию постричь Феодору и дочерей в монахини, но тот отказался... Один, а противостоит обоим.

— Почему один? Феоктист поддерживает его!

— Феоктист...— Мефодий опустил голову.— Феоктиста уже нет, Константин... Вывели на южную стену...

Фраза была известной — на южную стену вели людей, только чтобы казнить,— и все же в первое мгновение Константин не понял ее значения. Он осознал ее лишь потом, сел за стол, облокотился и обхватил руками голову. Он долго сидел так, вслушиваясь в оглушающий стук сердца, постепенно преодолевая боль и все отчетливее размышляя о человеке, которого знал еще до того, как он вошел в круговерть власти и почестей. Покойный был из тех людей, которые легкой, щедрой рукой вознаграждали открытую ими незаурядную личность. Вот и для Константина не жалел он ни золота, ни похвал, протянул ему крепкую десницу, чтобы возвысить, и философ был ему бесконечно благодарен. Но почему, почему он погнался за какой-то недостойной мечтой, зачем очернил все светлое в себе? Да, разошлись их пути в конце его жизни... Мир ведь что колесо: один появляется, другой исчезает... И все ж не по каждому так болит сердце...

— Может, еще что-нибудь слышал? — спросил философ.

Голос его дрожал.

— Ничего.

— А это точно?

— Если говорят, стало быть, правда.

Они умолкли, каждый ушел в свои думы. Константин припомнил последнюю встречу с логофетом, его растерянность, и торопливый отъезд, и нервные увещевания помириться с Ириной... Ирина! Страшное подозрение потрясло философа. Ирина непременно участвует в этом злодеянии, она — капля, переполнившая чашу злобы. Это ее губы произнесли предательские слова — иначе быть не может, Константин был в этом уверен, в противном случае логофет не стал бы так умолять его о примирении. Наверное, это была его последняя надежда победить, а Константин растоптал ее своим упрямством,

Приложил, выходит, руку к его смерти? Навечно замарал душу? Как можно было быть таким жестокосердым?

— Брат, грешен я...

— Что ты? — спросил Мефодий.

— Горе мне, я должен был согласиться с ним!

— Думаешь, он победил бы? Не кори себя, Константин, за мнимые грехи. Логофет погиб, ибо так было суждено: он не мог победить, так как был добрым. Мы напрасно думаем, что добро сильнее зла. Зло всегда было бесстыжим, но, если мы откажемся поддерживать добро и воевать за него, нет смысла жить... Допустим, ты взял бы меч и выступил бы за логофета. Твои дни оборвались бы на той же стене — и конец надежде славянских народов. Разве можно сравнивать одно с другим?.. Нет! Поэтому не надо печалиться. Богу — богово, кесарю — кесарево. Нам предстоят свои испытания, не стоит терять силы в бесплодных терзаниях... Послушайся меня! Ты умнее, но я прошел сквозь огонь и воду... Возьми себя в руки! Нас ждет работа.

10

Фотий чувствовал, что постепенно становится послушным орудием в руках Варды. Он мучительно хотел вырваться из-под его опеки, но не мог и жил теперь, словно муха, попавшая в паутину. Он вынужден был оставить кабинетную жизнь, свои перья и кисточки, свое общение с древними и новыми учеными. Из мира строгих и последовательных раздумий о возвышении человечества он вдруг погрузился в омут пошлости и мелочности, претендующих творить историю. Фотий боялся оказаться в положении пресловутого пшеничного зерна, попавшего между двумя жерновами, а потому решил ловчить, но ловчить можно, находясь вне ссоры, а Фотий был внутри, в самой гуще. Кроме того, надвигалась третья сила, пока еще неуверенно, но асикрит чуял, что она станет самой опасной. Это был Василий, бывший конюх и нынешний дружок василевса. Варда то ли недооценивал его, то ли просто у него не было времени подумать о нем, так как самому не хватало воздуха и он сам ждал беды в любую минуту. Был еще Жебан — нахальный латинянин-ростовщик, отказавшийся дать взаймы василевсу нужную сумму, так как прекрасно знал, что власть имущие денег не возвращают. Уже в царствование отца Михаила Жебан владел всеми судоверфями города и искусно грабил казну. Он умудрился продавать корабли даже врагам империи! Это кощунство привело императора в бешенство. Он изгнал бы Жебана из Византии, но прежние василевсы не упорядочили сделок с ним, и Михаил чувствовал себя бессильным. Он хотел решить

этот вопрос изданием соответствующего указа, но встретил жестокое сопротивление торговых объединений. Больше всех протестовали венецианцы и рагузцы *, так как хотели и впредь продавать корабли арабам. Сам Жебан ловко пользовался их покровительством в своей антигосударственной торговле. После отказа патриарха постричь Феодору и ее дочерей в монахини Варда пришел в день крещения в пречистый храм со всей свитой и потребовал причаститься. Патриарх Игнатий, известный всему народу святой жизнью аскета, пожелал исповедать кесаря, чтобы оценить его прегрешения. Варда отказался, и Игнатий проклял его, повелев покинуть дом господень. Удар был неожиданным... Варда не предполагал, что патриарх позволит себе такую дерзость. Рассвирепев, он хотел было выхватить меч, но святое место остановило его. Вышел он столь же демонстративно, сколь и позорно. Этот поступок Игнатия стал сигналом борьбы не на жизнь, а на смерть.

Люди Варды лихорадочно засуетились: надо было найти улики против патриарха. Одной из самых серьезных оказалась его связь с Жебаном — связь почти несуществующая, но... Купец снабжал церковь ладаном из Смирны и свечами, а приморские монастыри покупали у него и лодки. Патриарх всего лишь раз встречался с латинянином, чтобы упорядочить расчеты, однако этого оказалось достаточно для обвинения его в заговоре против Михаила.

Варда прожужжал василевсу уши, пока не убедил его, что нет более яростного врага государства, чем патриарх. В этой мерзкой игре большая роль отводилась Фотию: он был подставным лицом, которое должно было подтвердить ложные обвинения — и все ради обещанного патриаршего престола. По церковным канонам, Фотия невозможно было сделать патриархом; невозможного, однако, в Византии не существует, особенно если за спиной у тебя всесильный Варда. Все же, будучи ученым человеком, знающим церковные догмы, Фотий не питал иллюзий, что когда-нибудь сядет на этот престол, и выступал против патриарха только из боязни прогневить кесаря.

Фотий был начальником императорской канцелярии, хранил тайные бумаги и, кроме того, был командиром маглавитов, но в действительности маглавитами распоряжался сам Варда — с ним советовались обо всем, прежде чем пойти к Фотию. В последнее время особенным уважением и доверием кесаря пользовался стратиг Адрианополя; предав логофета, он предал еще четырех друнгариев, которые также погибли на южной стене, и никто не услышал их последнего крика.

Дорогая услуга требовала дорогой платы. Кесарь долго думал, чем заплатить стратигу — доверием или смертью. Вмешательство Фотия склонило чашу весов к доверию. Довод асикрита был прост: если люди узнают, что стратига убили, конец доносам — все отпрянут

в ужасе. Внушая Варде уважение к сочувствующим, Фотий тем самым оберегал и себя — бог ведает, что придет кесарю в голову завтра? Того и гляди, принесет в жертву его, Фотия, и глазом не моргнет. Жестокость Варды страшила его. Фотий ни с кем не делился этими опасениями. Лишь вечерами, за высокими стенами дома, он осмеливался вести мысленный диалог со своими страхами. Они таились среди книг и шелестели голосом сухого пергамента:

«Тебе не кажется, что ты слишком далеко зашел?»

Фотий оглядывался и спешил ответить, но его ответ был весьма неясен:

«Разве может человек сам определить это?»

«Не хитри! — шелестели опасения.— Ты достаточно умен, чтобы соблюсти меру...»

«У каждого времени своя мера»,— пытался увильнуть асикрит.

«Время и мера зависят от людей».

«Ну в чем моя вина, если я попал в доверие к людям, которыми владеет одна только страсть — быть над всеми?»

«Разве ты не можешь уйти от них?»

«Поздно. Меня сразу объявят врагом...»

«Пожалуй, ты прав...» — И голос сомнения растерянно умолкал, запутавшись в собственных вопросах. Заколдованный круг замыкался, третьего пути не было. Или с Вардой, или с патриархом. Но по всему было видно, что Игнатий проиграл, именно Фотию предстояло возложить терновый венец на его седую голову... Варда поручил ему поближе познакомиться с церковными иерархами, тайно побеседовать с врагами Игнатия, щедро обещая всяческие блага. Низшие хотели возвыситься, епископы хотели подумать, прежде чем решить. Сначала выведывали, кто согласился, потом умолкали, потом опять начинали рассматривать положение со всех сторон, не переставая спрашивать:

— А как свергнете?

— А папа знает?

— А собор будет?

Все волнения сводились к одному — кто будет патриархом. Каждый ведь считал себя самым достойным! Фотий не давал окончательного ответа на последний вопрос и так хитро запутывал очередного епископа, что тому казалось: не столько хотят понять, будет ли он голосовать против Игнатия, сколько получить его согласие на восшествие.

Ловкая игра Фотия в конце концов стала тревожить его самого... Никто из них не догадывался о тайных намерениях Фотия: церковный канон был строгим, а Фотий не был духовным лицом. Долго надо было бы ждать ему престола, если соблюдать догмы. И даже, допустим, станет он патриархом — что скажет на это папа римский?

Фотий хорошо понимал желание папы Николая играть главенствующую роль в делах церкви, это было записано в документах Вселенского церковного собора в Средеце.

Как назло, папа поддерживал прекрасные отношения с патриархом. Придется сменить патриарха без ведома римского первосвященника, значит, надо будет подготовиться к острой борьбе. Фотий чувствовал себя достаточно сведущим в богословии, чтобы выиграть, но не хотел обманывать себя, будто его слово весит в среде духовенства больше, чем слово Николая. Эта затея грозила бесконечными распрями и серьезными последствиями для обеих церквей. Римская церковь считала себя матерью всех остальных. Первый настоятель римской епископской кафедры, святой Петр, открыл католическому духовенству путь к первенству. Католики сплошь и рядом цитировали слова Христа, обращенные к апостолу Петру: «Ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою... и дам тебе ключи от царствия небесного...», полагая, что именно они и есть единственные обладатели ключей от врат небесных. Изворотливый ум Фотия был в состоянии доказать неправомерность этого утверждения, но вряд ли его слова произведут достаточно сильное впечатление на духовенство и на мирян. Борьбы не избежать, дорога к престолу патриарха чревата такими осложнениями, что лучше пока не думать обо всем этом.

Прочитав последние доносы, которые дополняли досье с ложными обвинениями патриарха в измене империи, главный асикрит императорской канцелярии взял перо:

«Моему светлейшему солнцеликому василевсу — по божьей воле властелину над многими народами и государствами — Михаилу, сыну Феофила.

Мой государь, в заботе о дальнейшем благе империи, которой Ты владеешь по праву и закону, считаю себя обязанным донести Твоей царственной особе о происках патриарха Игнатия, по Твоей воле первосвященника в Твоих землях, и иноземного купца Жебана, которые уговаривали людей поднять руку на Твою бесценную жизнь и вступать в недозволенные сношения с врагами Твоей империи.

Усерднейше молю господа бога о ниспослании долгих лет Твоей премудрой жизни, я, первый асикрит Твоего императорского величества, коленопреклоненный раб Твой — Фотий...»

И поставил свою подпись.

Он облокотился на стол и глубоко задумался...

11

Трава вдоль дороги выгорела, и священные конские табуны поднимали облака пыли. Проворные конюхи на низких лошадях отгоняли табуны в горы. У подножия гор паслись овечьи отары, еще дальше,

в тени старых дубов, белели стада коров. Этот мирный день, уставшее солнце и пропыленные травы делали мысль ленивой и вялой. Борис ехал во главе небольшой свиты и внимательно смотрел вперед в надежде поскорее доехать до каменных стен Мадары, где их ждали прохлада и отдых. Он представил себе, как полощется в воде — будто они уже доехали до места,— и от одной этой мысли зной ослабел и стал приятно ласкать тело. Несколько в стороне ехала Кремена. Всю зиму и целое лето собирались они в Мадару и Преслав, пока наконец высвободилось время для этой поездки. Кремена редко видела брата. Он всегда был поглощен делами государства, набегами на нижние земли, внезапными поездками в задунайские селения и Старый Онгол и потому не скоро смог выкроить время для серьезного разговора с нею. Кремена жила среди женщин в большом дворце и, несмотря на все старания, не смогла укрыться от их глаз, когда вечерами молилась новому богу. Сначала они шарахались от нее, словно от прокаженной, потом их одолело извечное женское любопытство. Каждая по отдельности стала советовать ей остерегаться других, потому что могут донести жрецу. Позже они робко начали расспрашивать о новом боге. Она охотно рассказывала, замечая поразительное влияние сказок и легенд. Особенно удивляло их воскресение. Иконка, которую Кремена привезла с собой, также сыграла большую роль. Они смотрели на красивого мужчину с кротким, всепрощающим взглядом и со всей женской страстностью медленно и прочно привязывались к нему. Рассказы о Гефсиманском саде, о тайной вечере и поцелуе Иуды, о чудесах, совершенных добрым Иисусом, утоляли их жажду знаний, потребность робких душ в общении с кем-нибудь вне узкого семейного круга, в нарушении монотонного прозябания. Постепенно во дворце воцарился странный дух строгого аскетизма и церковной тишины, который осмеливались нарушать лишь резвящиеся дети. Будто в воду канули вечные дрязги между женами, ссоры и мелочные склоки. Новое учение, только начинающее входить в их темные души, поражало прежде всего тем, что призывало быть добрым к ближнему, потому что на небе есть добрый и строгий бог, видящий оттуда все, и есть всеобщий страшный суд — и там будут наказаны люди с грешной душой. Мысль о бессмертии душ не была для них новой. Тангра ведь тоже призывал людей к себе, но никто до сих пор ничего не слыхал ни о рае, ни о чистилище, ни о мучениях, которые ожидают в аду злодеев, обманщиков, воров, прелюбодеев. Судьба прелюбодеев страшно смутила женщин. Ведь многоженство испокон веков принято в их обществе! Никто никогда не осмеливался осуждать этот обычай, а теперь, оказывается, есть сын божий, который повелевает каждому мужчине иметь только одну жену!.. Что ж, для женщин это неплохо! Мужчина будет знать, кто о нем заботится, всегда будет искать только ее, зная, что лишь она может помочь

ему, посоветовать, и не будет обижать ее, отдавая предпочтение другой...

Женщин из большого дворца это открытие поразило. Они слышали, что византийцы именно так и живут, у славян было так же заведено, но не знали, что так повелевает добрый мужчина, кротко глядящий на них с иконки. Не было вечера, чтобы какая-нибудь из женщин не появлялась бесшумно у двери Кремены и не спрашивала:

— Ты тоже хочешь быть единственной женой своего мужа?

— Так велит моя вера.

— А если ни один мужчина не согласится?

— Тогда я целиком посвящу себя богу.

Они не уходили, стеснительно переминаясь с ноги на ногу. Слова «целиком посвящу себя богу» были им непонятны, но они не осмеливались уточнять, и лишь одна рискнула спросить:

— Как это — богу?

— Так! Не выйду замуж!

— А если заставят?

— Никто не может меня заставить. Телом моим могут овладеть насильно, но душой — нет... Душа подвластна одному только богу.

Решительность Кремены страшила. Жены привыкли подчиняться, жить тенями своих мужей. Их били — ни стона. Слово мужа было законом, как тут сказать: «Этого не хочу... того не сделаю»?! Ведь он прогонит, откажется... Известна судьба таких изгнанниц — они помирают от голода, презираемые всеми вокруг. Скажет муж три раза: «Уйди — не хочу тебя» — и все, дверь захлопнется навсегда. Остается либо вернуться к отцу, либо — в могилу... А вообще-то хорошо любить мужа и быть единственной его любимой...

Эта волнующая мысль открывала их сердца тому новому, что пришло во дворец вместе с Кременой. Лишь ее мать, которая уже прожила свою жизнь, боялась за дочь. Ой, не к добру такие мысли в голове молодой девушки. Мать была всю жизнь тенью отца, но была и первой женой, он не пренебрегал ею. Не пренебрегал? Если уж говорить правду, она много плакала, когда муж привел в дом молодую. Та была неуемной, однако он, насытившись, опять вернулся к первой... И так после каждой новой жены... А если бы не она была первой, если бы не она командовала остальными, а та, ненасытная? Та не пустила бы ее на порог, не то что лечь с мужем... А первая старалась быть справедливой, сочувствовала той, молодухе, почаще пускала к нему. И все же жене следует знать свое место! Так учили ее, таковы были законы. Поэтому она чувствовала, что Кремене здесь будет очень трудно. Порой думала даже: уж лучше бы не возвращалась дочь в родное гнездо... Она с трудом узнавала свою девочку в этой молодой женщине, которая пугала ее строгим характером, чуж-

дыми словами, таинственной верой. Редко улыбалась, с замкнутым лицом читала свои непонятные молитвы, которые мать зря пыталась подслушивать за дверью. И что это за мужчина с кротким взглядом и светлой бородой, что всегда с ней? А крест с распятым человеком?.. «Сбили дитя с толку»,— вздыхала мать, проклиная далеких византийцев. Порой она тайком подолгу смотрела на дочь, такую красивую в длинном платье, и робко, как ребенок, дотрагивалась до материи. В молодости мать тоже красиво одевалась, но по обычаям предков, а византийское платье только ноги скрывает, грудь же настолько открыта, разве можно так появляться на глаза мужчинам... Ничего, ее дочь появлялась... Мать боялась предстоящего разговора Кремены с Борисом. Какими глазами посмотрит хан на все происходящее во дворце? Он был весь в государственных делах, но не может быть, чтоб не шепнули ему кое о чем... Нет, он не оставил дом без присмотра своих людей. Душа Кремены тоже была полна сомнений. Она ехала чуть позади брата и видела лишь его согнутую спину и длинные волосы, не как у других, бритых и с длинными чубами. Закон предков обязывал и хана оставлять чуб, но он нарушил его, отпустив волосы на византийский манер. Может, и голова полна мыслей, отличающихся от традиционных? Немало изменилось в жизни Плиски, пока Кремена была в Константинополе, и это радовало ее. В множестве родов были славянки — вечное стремление болгар к белолицым женщинам одолело запреты. Она заметила также большую свободу мыслей, чем во времена старого кавхана Ишбула. Когда она спросила об этом Докса, он усмехнулся:

— Вода, сестрица, течет, берега размывает.

— Укрепить разве некому?

— Это все равно, что пытаться ухватить время за хвост и удержать его на месте.

— Неясны твои слова...

— Неужели? Ты ведь тоже изменилась... И вера у тебя другая.

— Я жила среди других людей.

— Нельзя обнять угольщика, не загрязнившись. Пока черного мало, но дело пошло...

— Неужели все новое ты называешь черным?

— Это так, к слову. Я бы назвал его золотым — важно, что оно есть. Вот ты тоже заметила, хотя недавно вернулась. Ты ведь знаешь, меня интересует все, и я люблю перемены. Это означает, что мы думаем, мы идем вперед. Надо идти вперед, если мы не хотим, чтобы наше государство исчезло.

— Исчезло?

— Да, да, исчезло... Мы слишком отстали от соседей, чтоб позволить себе отставать еще больше. Того и гляди, останемся од ш, как на необитаемом острове...

Эти мысли Докса помогли Кремене посмотреть на брата иными глазами, поверить ему. Поэтому она, не без страха, спросила:

— А что ты думаешь о вере?

— Веру люди пусть выбирают себе сами.

— Вот как ты думаешь! А таких, как ты, сколько?

— Немало, но я-то могу заявить об этом, и никто меня не обвинит, что, мол, от Тангры отказываюсь, а другие не могут...

— Как это понять?

— А так, что старое еще владеет людскими душами. Точнее, власть в руках старого, утвержденного временем...

— А ты во что веришь?

— Я? В птиц, в небо, в добро... И в Тангру, разумеется, я же ханский брат,— закончил он, и она не могла понять, пошутил он или сказал всерьез.

Больше такого разговора не было, несмотря на то что Кремена послала сказать ему, чтобы он пришел к ней. Первый раз Докс ответил, что едет в Преслав, второй — что собирается на охоту, третий — что неважно себя чувствует. По-видимому, не хотел встречаться с ней прежде, чем состоится ее разговор с Борисом. А хан пугал сестру молчанием, ему все не хватало времени на этот разговор... Кремена-Феодора прекрасно понимала, что забот у него по горло, но не могла освободиться от сомнений, что он умышленно тянет со встречей, желая узнать от своих людей во дворце, какой она вернулась. Ему хочется увидеть ее глазами других, услышать собственными ушами и лишь тогда решить, как вести себя. Но все это были ее догадки... Длинноногая лошадь хана мирно трусила перед ней. Его смоляные волосы привлекали взгляд, согнутая спина в красном — цвет императоров — не давала покоя тревогам... И тревоги эти росли по мере приближения к скалам Мадары.

12

Климент привязал мула в монастырской конюшне и перекинул суму через плечо. С некоторых пор он подружился с купцом, который покупал у него иконы и вдвое дороже перепродавал их. Лавку старик удачно поставил внизу, на перекрестке, где дорога ответвлялась к монастырю. Разные люди проходили и проезжали по дороге: богатые, бедные, паломники, путешественники, побирушки, монахи... Каждый останавливался, заходил подкрепиться красным вином, купить чего-нибудь в путь-дорогу. К тому же лавка привлекала своим названием — «В тени лозы». Живой виноградной лозе было больше ста лет, и ствол ее походил на жилистую, узловатую шею библейского отшельника. Климент не засиживался в лавке — не пил, да и

времени не было. Продав иконы и получив деньги, он садился на белого мула и возвращался в обитель. Сегодня он задержался чуть дольше обычного, зато вернулся с новостями. Купец рассказал, что в Константинополе что-то готовится. Повсюду рыскают люди асикрита, нашептывают монахам о каких-то грехах патриарха... Один из них, человек Фотия, был в лавке, расспрашивал об игумене, упомянул также о Константине и Мефодии, выпытывал сведения о монастырских доходах и прочих подозрительных вещах. Старик решил подпоить его, чтобы узнать истину, да только зря: истины он так и не разведал, потому что тот человек дармовое вино выпил, вышел якобы подышать свежим воздухом и не вернулся, не взяв даже своей сумы с требником. Старик показал этот требник, на второй странице которого Климент прочитал имя и фамилию хозяина — Аргирис Мегавулус. Климент вспомнил эту фамилию, ее обладатель учился в Магнавре вместе с Гораздом и Ангеларием, о чем послушник узнал от них самих, когда они недавно посетили в монастыре своего учителя. Они пробыли у Константина целую неделю и в своих разговорах не раз упоминали этого Аргириса с гневом и презрением. Климент уже знал о нем столько подробностей, что сам стал недолюбливать его. Потому приезд Мегавулуса, да еще с таким заданием, не обрадовал послушника. Заговор против Игнатия показался ему весьма возможным. Слухи о борьбе патриарха с Вардой дошли до самых заброшенных скитов и божьих пещер, и отшельники, презревшие мирские соблазны, однако, жадно ловили всякую новость о распре. Климент не знал причин, но Аргирис, оказывается, и об этом болтал: мол, Игнатий слишком многое позволил себе, укоряя Варду за греховную связь со снохой... Такого обвинения кесарь и на том свете не простит... Слово «сноха» как ножом ударило в сердце Климента, и он впервые позволил себе присесть «в тени лозы» и опрокинуть немало стаканчиков. На обратном пути мул казался ему чересчур высоким, а дорога слишком узкой. Два раза он охлаждал голову в придорожных источниках, но сердце все мучилось мыслью об Ирине. Если уж патриарх заявил об этом публично, стало быть, все правда. Однако какое ему дело до ее безобразий? Кто она ему? Никто. Лучше уж присматривать за мулом как следует и глядеть в оба, ибо старый плут вроде опять обманул при расчете... Да нет, просто удержал за выпитое вино... Ничего, надо будет в следующий раз отнести больше икон, чтобы отчитаться перед игуменом как подобает... Полузабытая Ирина вновь ожила в душе красивым ядовитым цветком. Столько людей прошло мимо нее, и только он один влюбился по уши, как юнец... Наверное, все из-за склонности к одиночеству... Сызмала как забьется в угол и давай мечтать... Птицу счастья ищет, вместо того чтобы прямо смотреть жизни в глаза. А что такое счастье? Создать прекрасную икону, написать интересную книгу, обрадовать людей чем-нибудь новым...

честно пройти свой земной путь... Климент еще молод, чтобы сказать: да, я совершил все, что задумал,— но пример отца и Константина поможет ему... Климент перекинул суму через плечо и направился в мастерскую. Там ожидали его горшки с красками, пахучие растворители, густое льняное масло. Войдя, он сразу пошел в темный угол, где спрятал икону с блудницами, и долго всматривался в красивое лицо Ирины. В тот день она спросила его, может ли увидеть себя на иконах, вот, он готов подарить ей эту, появись она в монастыре. Ее место навсегда здесь, где наивность и наглость объединились в образе одной женщины. Климент повернул икону к стене, лег и вытянулся на жестком ложе. Голова разламывалась от вина, от мыслей и тревог о тех, кто любил и уважал патриарха. Он достал из-под подушки книгу рода, попытался читать, но ему было сейчас не до того. Когда вошел Савва, Климент притворился спящим. Но не тут-то было. Стиснув ему нос пальцами-клещами, Савва подождал, пока послушник моргнет, после чего милостиво отпустил.

— Ну, как прибыль? — спросил Савва, подсаживаясь к другу.

— Как всегда,— неохотно ответил Климент.

— А блудниц так и не продаешь... Не в силах расстаться с той, знатной?

— Отныне одних блудниц буду рисовать!— огрызнулся Климент.

— Нужны они людям как собаке пятая нога! Тебе надо бы поярче сделать одежду богоматери, тогда купцы валом повалят. Истинная святость в ее лице и материнская ласка... Она у тебя лучше всех получается.

Климента подмывало сказать Савве, что лицо богородицы и блудницы одно и то же, но он сдержался — не хотел осквернять ту, которая взрастила спасителя... Повернувшись спиной к стене, он стал слушать друга. О чем бы ни говорил Савва, он всегда заканчивал своими переживаниями в далеких землях сарацинов. Вот и теперь, постукивая голой пяткой о дощатый пол, он сказал:

— Я говорил тебе как-то, что плакал по женщине и женщина плакала по мне... Послушай. Это было, когда меня разлучили с любимой девушкой. Мы пришли тогда с нею на берег большой реки... Моя далекая страна бескрайня, и реки ее большие, бесконечные... Оставь челн на воде, поднимется ветер — и река может унести тебя до самого Константинополя... Ну, пришли мы с ней, значит, к реке. Она — воды набрать, я — коня напоить, как вдруг из зарослей вербы выскочили человек десять незнакомых мужчин и набросились на нас. Помню, одного я пырнул ножом, он тут же отправился на тот свет. Но много их было, и они связали меня, как барашка. Очнулся, вижу себя на дне лодки, около меня — она, в разорванной одежде, окро-

вавленная: там, в лодке, один из них изнасиловал ее. Как мне хотелось порвать веревки, аж руки посинели, но не удалось; от обиды и бессилия слезы потекли по щекам. С тех пор не видел я ее, да и как мог увидеть? Сделали они свое подлое дело, потом взял ее один и выбросил в реку. Женщина им больше была не нужна. Много раз видел я ее во сне, вчера ночью — тоже. Все приходит и просит прощения за какую-то вину. Ни в чем она не была виновата. Она была хрупкой и нежной, как тростинка, почти ребенок... Очень похожа была на твою богородицу — ну точно как она...

Савва умолк, продолжая равномерно ударять пяткой об пол. Слушая его грустный рассказ, Климент думал о страданиях людей. Есть они у каждого на земле. Но глаза людей по-разному видят мир, и каждый находит именно то, что ему хочется увидеть. В лице богоматери Савва узрел нежные черты той, которую столь трагически потерял. Климент же видел в ней добрую и чистую Ирину, Ирину с белой как снег душой. Вторая Ирина, черная, была среди блудниц, лицом к стене, и там каждый узнал бы ее...

— А по мне сохла дочь моего похитителя,— продолжал Савва.— Хотя эта девушка ни в чем не была виновата, злоба моя была велика, я весь горел жаждой мести. Заметил я, как она на меня смотрит. Принесет всем еды, лучший кусок — мне. Так продолжалось, пока не осталась она как-то дома одна — отец куда-то грабить подался. И пригласила. Утром она была уже женщиной. Но скрыть свои посещения мне не удалось. Однажды меня схватили, когда я как раз вылезал в окно. Шуму было до небес, весь поселок понял, в чем дело. Тогда ее отец пришел ко мне и пожелал, чтобы я женился на ней, заявив, что возвращает мне свободу. Этого-то я и ждал. Он думал, я благодарить его буду, а я отказался. Все были ошарашены моим решением, она — тоже. Отец велел забить меня кнутом на ее глазах. Били. Били, пока она не упала на колени перед ним и не вымолила меня. Она меня вымолила, а я не остался. Смотреть на него, на гиену, не мог, не то что жить с ним под одной крышей... Он продал меня другому, и я собрался уходить из их дома, смотрю — она плачет... Через весь двор шла за мной и плакала... Слезы капали в белый пепел — день был слепяще-жарким, земля обжигала ступни, как в аду... Я даже не обернулся, не помахал рукой. Столько злобы было в душе к ее отцу, к этому пыльному двору с забором в два раза выше меня. Слезы мужчины, брат, как расплавленный свинец, их забыть трудно. Это у женщин глаза на мокром месте...

На сей раз Савва перестал стучать пяткой и не произнес больше ни слова. Климент слушал друга в сумрачной мастерской и думал о дорогах жизни. Ты плачешь по одному, другой — по тебе, и каждый думает, что именно он — обиженный. Где же истина? Разве люди

не могут не плакать? За что всевышний столь жестоко карает их? Почему рука человека мучает другого человека? Почему?..

Климент приподнялся, сел рядом с Саввой, похлопал его по широким плечам и достал кремень, огниво, трут. Долго высекал искры, и они, сверкая, уносились в темноту, точно светлячки на крыльях внезапного ветра, прежде чем в помещении приятно запахло горящим трутом. В небольшой очаг, где они обычно раскаляли легкоплавкие металлы, Климент положил измельченный сухой конский навоз и сунул в него горящий трут. Затем долго раздувал жар, прежде чем огонек лизнул его пальцы, озарив вытянутые губы. Скоро и в лампадке весело задрожало пламя.

Все предметы будто ожили и обрели таинственные тени. Савва все еще задумчиво молчал. Климент подсел к нему и, положив ему на плечо руку, сказал:

— Никуда не может человек спрятаться от себя. Не было бы воспоминаний, было бы легко. Выскочишь из одного дня — и в другой, осталось ли что позади — не помнишь. Не-ет. Идет за тобой твоя дорога, всю ее видишь, плохое и хорошее, и если плохого больше, как на твоей,— прощай покой, не сможешь ты жить как люди — ровно и без волнений.

— Ни у кого нет покоя, Климент,— печально произнес Савва.— Если живешь близко к земле, горе тебе. Если наверху — там такая теснота, такая толчея, что только и дрожат, как бы не сорваться. Нет, покоя и тут нет.

— Ты прав,— ответил Климент.— Я думал, что хоть патриархам-то хорошо живется, близко к небу, но им тоже не позавидуешь. Я слышал в придорожной лавке, что Варда уже в Игнатия метит... Сказать, что ли, Константину. Если свергнут патриарха, того и гляди наши святоши набросятся на братьев!

— Скажи,— посоветовал Савва.— Пусть знают. Третьего дня я слыхал, Пахомий говорил, что патриарх поручил Константину книгу какую-то на абасгский переписывать... Если разделаются с Игнатием, могут напакостить братьям, чтобы угодить новому владыке. Пусть они знают, как лучше. Только правда ли все это?

— Правда,— сказал послушник.— Аргирис Мегавулус выболтал старому купцу.

— Ну, если Аргирис, значит, правда. Ему только гадости подавай. Обязательно предупреди!

Климент промолчал, твердо решив, что чуть свет пойдет к братьям.

Борис велел затопить баню, нагреть воды и в ожидании, пока все будет готово, прилег отдохнуть на расписное деревянное ложе. Жара, пыль, тряска на коне пропитали его огромной усталостью, и он мечтал о бане. В дороге и сейчас, прежде чем разошлись по покоям, чувствовал Борис, что сестра неотступно наблюдает за ним, с трепетом ждет разговора. Он хотел выяснить ее намерения как сторонницы новой веры, она хотела понять, что он думает о ней. Борис уже знал, что женщины часто беседуют с Кременой, что она по утрам и вечерам молится своему богу, что она дала зарок не выходить замуж по законам предков. Кроме того, его смутила ее просьба оставить при ней пленного византийца Мефодия — чтоб было с кем беседовать. Так она сказала матери, и так мать передала сыну. Хан выполнил желание сестры. Этот византиец оказался чудесным живописцем, и Борис послал его в Преслав украсить охотничьими сценами один из залов дворца. Времени, конечно, не было заглянуть туда и посмотреть на его работу, думал заехать теперь, а заодно и сестре показать новый город. Столько времени прошло с тех пор, как она вернулась, а ему все было недосуг; стоило, стоило показать ей, что в государстве предков тоже строится кое-что, не уступающее Константинополю. Борис гордился новым городом, медленно вырастающим на берегу Тичи. Вместо птичьих голосов там днем и ночью слышен стук каменщиков, перекличка надзирателей, скрип тяжелых телег, груженных балками и камнями. У хана были две любимые дороги: в Брегалу и в Преслав. Они всегда услаждали его душу. Мысли веселели, лицо светлело, улыбка не сходила с его уст. Прекрасными, манящими были поездки в эти места, и он сгорал от нетерпения поскорее попасть в Брегалу с ее белыми монастырями, тихим небом, голубым, как глаза славян, и в Преслав — город весь из камня, дорогой его сердцу, как собственное дитя... Когда ему было не по себе, когда устало опускались плечи под грузом дел, то стоило подумать о поездке в Брегалу или Преслав, и изнурение улетучивалось. Тревожили его и отношения с империей: мирные переговоры давно завершились, а все еще что-то не было доведено до конца. В Царьграде шла непрерывная борьба. Переговоры начала императрица Феодора, после ее устранения их вели Михаил и кесарь Варда. Договорились об обмене пленными, но так и не уточнили границы, остались спорные земли и крепости, существующие в обоих договорах,— настоящее яблоко раздора. Это яблоко стало зреть с тех пор, как хан Аспарух, основоположник Старого и Нового Онголов, решил потягаться с самим василевсом; ныне оно вполне созрело и стало камнем преткновения — ни тот ни другой властелин ничего не уступали, боясь показаться слабыми, а потому договор подписали, не обозначив

пограничной линии. Борис не обманывал себя, что неопределенность продлится вечно. Византия хотела выиграть время, чтобы уладить отношения с сарацинами. Византийские правители этого не скрывали, болгары не делали вид, будто этого не знают. Если уж так надо — пусть так и будет!

Лишь бы кавхан Онегавон не забывал о войске: надо подготовить его как можно лучше и не спускать глаз с оружейных мастеров. Нужно хорошее оружие, камнеметы для крепостей, осадные башни.

Не все в порядке было и с другими странами. С тех пор как по настоянию франков болгары нарушили договор с Моравией, там тоже было неспокойно. Жители Моравии подружились с сербами и Константинополем, вступили в союз с хорватами, думали об урегулировании отношений и с более отдаленными государствами, чтобы накопить силы и быть в состоянии противостоять своим соседям — франкам. Весь мир бурлил... Насколько Борис знал, отношения между римской и константинопольской церквами были далеко не безоблачными. Папа и патриарх боролись за влияние, разделив земли на диоцезы и пытаясь подчинить себе их население. Выходит, веры тоже люто воюют, и не препятствие им, что глаза на одного бога смотрят. Разумеется, это не касалось его народа... Но и с Тангрой было достаточно хлопот. Не чтили язычников в нынешние времена. Они сохраняли свою власть лишь благодаря государственной поддержке. Послышался скрип дверей и приглушенные голоса — Борис понял, что баня готова. Положив в предбаннике меч и повесив одежду, хан вошел в парилку. Он любил купаться один, без слуг — те только приносили чистую одежду и оставляли ее в предбаннике. В большом котле был кипяток, в малом — холодная вода, в обоих плавали медные черпаки с короткими деревянными ручками. Сделав воду терпимой для тела, Борис сел на деревянную лавку и начал обливаться — медленно, вяло, без азарта: мысли не давали покоя. Давно уже повторяясь, собирались они к нему разными путями, повторялась и мысль о сестре. Кремена, как яркая птица, выделялась из окружающей среды. Стоило ей выйти из дворца, люди начинали с любопытством наблюдать за ней. Шепотом передавались о ней фантастические слухи. Мужчины сначала колебались определить свое отношение, но сейчас Борису казалось, что многие из самых знатных людей в государстве не прочь попросить Кремену либо для себя, либо для сыновей. Она манила их загадочностью, странной высокой прической, смуглым лицом, источающим тонкое благоухание. Только блестящие узкие глаза напоминали о шустрой веселой девочке, проказничавшей когда-то наравне с мальчиками. Теперь ребяческое своеволие перешло в странное упорство — отстаивать новую веру. На самые шумные торжества, на разудалые веселые сборища Кремена всегда приходила

в платье с глубоким вырезом, и жадные глаза мужчин неотступно следовали за нею. Это не было новостью в Болгарии, славянки так ходили и раньше, но для болгарок это было верхом смелости. По многим соображениям откладывал Борис разговор с сестрой. Одно из них — выждать. Он хотел посмотреть, как приближенные отнесутся к своеволию Кремены, станут ли роптать. Начнут выражать недовольство — он скажет им честно, что все еще не разговаривал с нею, вот встретится, поговорит серьезно. Сначала приближенные при встрече с ней отводили глаза, потом им, пожалуй, начала нравиться эта гордая девушка, которая всегда вежливо здоровалась,— и неприязнь в их глазах исчезла. Многие жены во дворце перестали носить платки. Высокие прически удлинили нежные шеи, сделали женщин привлекательнее, стройнее. Всегда погруженный в дела, хан так и не заметил бы всего этого, если бы не собственная жена. Однажды она вошла к нему совсем другая: не было волос до пояса или обычных косичек с золотыми монетками, она пришла хоть и невысокая и чуть полноватая, но стройная, как ива весной. Она встала на пороге, робко улыбаясь, готовая заплакать или засмеяться от радости. Удивление хана было столь велико, что он не знал, как себя вести. Осмотрев ее, он медленно сказал:

— Повернись...

Она покорно повернулась, и он впервые увидел ее изящную шею, удлиненную собранными в пучок волосами. Встав, Борис положил руку на эту тонкую шею и повернул жену к себе, лаская взглядом ее доверчивые глаза:

— Хорошо! Очень хорошо... Ты... чудесна так.— Чуть было не сказал «чужая», но понял, что это может обидеть ее.— Чудесная, красивая...

Это было прежде, чем отправиться в Мадару. Разумеется, хан разрешил жене такую вольность во дворце, но вряд ли пустит он ее в таком виде на праздники и торжества в честь Тангры. И все-таки чужое прокладывало себе дорогу к душам людей, меняло вкусы, манило неизвестностью. Его народ был восприимчивым, быстро перенимал чужое. Это было и хорошо и плохо. Его это пугало. Если это свойство не подчинить себе, оно может принести государству немало бед. Братья Аспаруха погубили свои народы в процессе общения с более развитыми племенами и государствами, позволили своим народам раствориться в других. Вот, к примеру, сестра. Пожила в Константинополе, теперь поди узнай ее — сущая византийка!

Все так же вяло вытерся Борис мохнатым полотенцем из мягкой шерсти и вышел в предбанник, где уже висела чистая одежда. Он оделся, нацепил меч, долго расчесывал мокрые волосы гребнем из оленьего рога и, когда они подсохли, вышел, подумав о себе: вот, сам хожу как греческий священник — только славяне носят такие воло-

сы... Ничего, пусть болгары привыкают. Сначала внешние перемены, потом придется приступить и к внутренним, духовным...

Сели обедать, когда солнце перевалило за полдень. За столом — жена, сестра, трое детей; Борис ел отдельно, сидя спиной к ним, на возвышении. Так было заведено испокон веков — мужьям есть отдельно, тем более хану, он должен зримо быть выше всех. Слушая замечания, которые жена делала детям, Борис размышлял и об этом. Надо же такое придумать! Нельзя сесть вместе с детьми за общий стол, посмотреть, как они все уписывают, и порадоваться! Он видит их лишь за столом, но законы и это запрещают. Причина такого порядка, наверное, во многоженстве — чтоб жены не дрались между собой за внимание мужа. А может, и другие причины есть? Многое не объяснишь логически, и все же оно существует. Закончив обед, Борис удалился в комнату, где были собраны мечи, и велел позвать к себе сестру. Она вошла, поздоровалась и, поцеловав руку, села на пол, на пеструю подушку. Длинное платье сверкнуло золотистым отблеском в тусклом свете, льющемся из узких окошек, и легло вокруг нее, безмолвное и холодное, чужое, к которому трудно привыкнуть. Кремена низко опустила голову — Борис понял, что разговор будет не из легких. Оперевшись спиной о стену, он задал первый вопрос:

— Правда, что твое христианское имя — Феодора?..

Кремена-Феодора вздрогнула. Никто этого не знал, кроме ее византийских друзей. Значит, у хана были свои уши и глаза в Царьграде. Хорошо, она не будет скрывать.

И девушка подняла голову:

— Мой хан и брат должен знать истину — да, это правда...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В это время пришли к царю греков послы хазар...

Тогда царь велел позвать Философа и, когда тот пришел, рассказал ему о просьбе хазар и дал напутствие: «Отправляйся, Философ, к этим людям, обратись к ним и с божьей помощью объясни, что такое святая троица, ибо никто другой не сможет это сделать как надо». Константин сказал: «Ежели велишь мне, государь, с радостью пойду делать это дело — пеш и бос, без всего, что бог запретил носить ученикам». Но царь возразил: «Если ты хочешь действовать от своего имени, тогда это хорошо сказано; если же будешь представлять царское достоинство и власть, отправляйся лучше с царской помощью и соответствующими почестями».

Из «Пространного жития Константина Философа»

1

По дорогам, ведущим в Царьград, молча двигались люди разного духовного сана и звания. Выражение озабоченности не сходило с их лиц. Возможно, причиной тому была сырая погода. Серый дождь висел над землей, моросил монотонно, упорно, надоедливо. Одежда намокала, обувь мирян и божьих служителей пропитывалась влагой. Святая церковь осталась без главы: патриарха Игнатия, свергнутого по приказу императора Михаила, сослали на остров Теревинт. Остров не так уж далеко находился от престольного города, но факт ссылки поднял на ноги всех христиан. Те, кто посмелее, пошли в Константинополь, и поэтому Фотий распорядился, чтобы его сторонники также пришли в столицу. Смутная молва, подобно глухим подземным сотрясениям, распространялась по византийской земле, пугая и Варду, и Фотия. Лишь Михаила ничто не волновало: он знал, что с ним крепкая рука кесаря и хитрый, ловкий асикрит. Ум и дерзость смогут все решить в его пользу, пока он развлекается со своим Василием. Василевс даже не подозревал, какая опасность нависнет над

страной, если не принять срочных мер: вспыхнут споры, возвысятся голоса в защиту свергнутого патриарха, взбунтуются рабы и холопы... Не исключено, что кое-кто из знатных вельмож тоже поддержит Феодору и Игнатия. Церковь может расколоться, начнется борьба за место патриарха. Тогда пойдет такое брожение, что один бог ведает, на чью сторону склонится чаша весов. Надо принимать срочные решения. И Варда немедля приказал не пускать в город священников саном ниже архиерея. В результате многие сторонники Игнатия остались за крепостными стенами и черными злобными стаями растекались по близлежащим монастырям. Фотий взялся за организацию церковного собора, который должен был состояться всего месяц спустя после свержения Игнатия. Кроме асикрита и кесаря, ни одна душа не знала, кто будет новой главой церкви. Архиереи слушали и подслушивали где только можно, лишь бы узнать имя кандидата. Кое-кто упрямо распускал слухи о самих себе, но, едва народившись, они тут же умирали. Василевс молчал. Он еще не сказал своего слова. За неделю до собора разнеслась новая весть и как гром оглушила божьих избранников: Фотий принял духовный сан, правда, слишком низкий, чтобы надеяться на патриарший престол. Священнослужители разделились на две группы, которые все свое время проводили в непрестанных спорах. Одни утверждали, что приходит час императорского асикрита и что принятие духовного сана не случайно: за первым шагом должен последовать второй. Если бы это было не так, то лишь глупец покинул бы общество венценосного, чтобы увеличить собой безликую толпу низшего духовенства. Другие, копаясь в анналах прошлых соборов, упорно стремились доказать обратное, так как в истории церкви со времен самого Иисуса не было ничего подобного, и, если, мол, такое восшествие свершится, оно будет истинным богохульством и презрением к традициям, освященным временем и всевышним. Но с приближением собора все меньше становилось тех, кто не верил в звезду Фотия: он, как в сказке, восходил по ступеням церковной иерархии, нарушая все каноны и догмы. Это было сущим издевательством над традициями религии. Онемев от неслыханного чуда, архиереи безропотно голосовали за Фотия; против высказались лишь четверо. На следующий день после возведения Фотия на престол трое из них были вынуждены покинуть суетный мир и уединиться в разных обителях. Херсонский архиепископ высказался весьма остроумно, и Фотий часто вспоминал его едкие слова: «Разве не видите вы, святые отцы, кого избираете посланником небес? Язычника, который вместо молитв будет с амвона бормотать стихи древних поэтов...» Истинными были эти слова, но истина теперь не пользовалась уважением, поэтому Фотий сердито пригрозил ему сразу же после первого своего богослужения в соборном храме... Вернувшись домой, он долго рассматривал свою новую одежду. Выходит, он, вы-

ступавший против косных церковных догм, оказался первым их блюстителем? Странно пошутило время над бывшим императорским асикритом и преподавателем Магнаврской школы. Но возврата уже нет. Все, кто молится богу и живет надеждой на лучшую жизнь, будут обращаться к Фотию, ибо отныне он представляет небо на земле. Беспокоила его только позиция римского папы... Гадать не было смысла, единственной надеждой оставался архиепископ Сиракуз Григорий Асбест. Не будь его, и выборы вряд ли прошли бы так легко... Впрочем, Фотий вполне понимал Григория, который пекся главным образом о себе, а не о новом кандидате на святой престол. Пришло время отомстить Игнатию за тревоги и преследования, которым подвергал сиракузца упрямый аскет. Распря между ними была давней, начало ее знали только они сами. Почти все забыли ее настоящую причину, да это мало кого и волновало. Фотий, державшийся в стороне от церковных междоусобиц, тоже поздно понял причину. Важнее было, что они воевали друг с другом, а он этим воспользовался. Множество обвинений против Игнатия исходило от Григория. Он первым произнес имя бывшего патриарха на соборе... Пришло время не Григория лишать звания архиепископа и отлучать, а свергать самого Игнатия. Раньше, в яростном споре с патриархом, сиракузец обратился за поддержкой к папе и отчасти получил ее. Тогда он сослался на старые решения Средецкого собора о приоритете римского первосвященника... Были у сиракузца свои люди и в Константинополе, и в Риме. Так что Фотий после восшествия не рискнул расстаться с ним, оставил его при себе, чтобы обсудить дальнейшие действия против Игнатия. Несмотря на ссылку, бывший патриарх пользовался сочувствием и уважением людей. Со своего острова он то и дело провозглашал свержение незаконным, надеясь на возвращение в Константинополь с помощью римского наместника бога. Удастся ли ему это? Время покажет. Пока Фотий должен подавить всякое сопротивление. Где нельзя силой, надо действовать умом, лестью, богатыми дарами... Вот об этих дарах и разговаривали теперь новый патриарх и Григорий Сиракузский, и в беседу вмешивалось только потрескивание свечей, освещавших их сосредоточенные лица. Фотий выглядел довольно изысканно. Высокий лоб, борода каштанового цвета, длинное бледное лицо выдавали ученого. Зато Григорий напоминал довольного разбойника, сумевшего одолеть врага. И в речи его отсутствовало божественное начало. Он был человеком бесцеремонным, низкой культуры, но советы давал умные, ибо поднаторел в церковных делах и распрях.

— Бог прощает победителя! — отрезал он, когда Фотий несколько испугался людей Игнатия. А после выборов ударил Фотия тяжелой ладонью по плечу и совсем уж по-разбойничьи произнес: — Теперь ты, владыка, с богом на «ты». Простой народ знает, что отныне

ты будешь беседовать с ним за богатым столом... Мы победили! Надо праздновать!

И в тот же вечер, не успев как следует рассмотреть новое одеяние, Фотий принимал сиракузца, ворвавшегося в дом с оравой слуг и изрядным количеством яств и вина. Чего только не говорилось той памятной ночью, кого только не поминали лихом или добром! Когда речь зашла о папе, Григорий сказал, значительно подняв руку:

— Предоставь его мне!

Уверенность Григория слегка успокоила Фотия. Слегка — ибо папа Николай слыл неподкупным ключником бога, следящим за тем, чтобы под небесами все делалось только с его ведома и благословения. А у Фотия на это не было времени — да разве хватит на все про все шести дней?!

Опять уселись оба, чтобы на свежую голову обмозговать хорошенько, что делать дальше.

— Николая предоставь мне,— повторил сиракузец.— Надо обезвредить Игнатия.

— Варда велел никого не пускать к нему.

— Хорошо, но нелишне будет отправить в Рим императорскую миссию и сообщить папе так, между прочим...

— Василевс согласится... Но я все-таки опасаюсь защитников Игнатия.— Фотий нахмурился.— Ты же знаешь, сколько знатных на его стороне. Хотя и незаконный, он все же сын старого императора Михаила Рангаве, и у него хорошие связи. Да и Рим не чужд ни ему, ни его людям...

— Спокойно! — поднял руку Григорий.— Папа ведь тоже человек... Пусть наши посланцы хорошо обдумают вопрос о дарах. Далеко не все равно, с чем поедешь, а Игнатий не сможет тягаться с императорской миссией, хотя он и сын бывшего василевса.

Совет был неплохим, и Фотий рассказал о нем Варде. После долгого молчания кесарь как-то вяло ответил:

— Можно, конечно, послать миссию в Рим, но нам все равно, что с папой, что без него. Самое главное сделано: Игнатий свергнут, ты патриарх... Хотя, честно говоря, не для тебя это место. Плакали твои кутежи и вольная воля... Над тобою бог, и в любую минуту он может призвать тебя на умную и трезвую беседу.— Варда шутил, но в шутке было немало правды: многого должен был лишиться асикрит и преподаватель Магнаврской школы.

Он-то понимал, но поймет ли она? Фотий не осмеливался произносить ее имя даже наедине с собой. В свое время весьма легкомысленно он обещал ей и женитьбу, и что угодно, лишь бы соблазнить. Из-за нее заступился у Варды и за адрианопольского стратига. Она была дочерью стратига — как тут быть безразличным к судьбе отца. Ведь если бы кесарь послал тогда стратига на южную стену,

Фотию пришлось бы порвать с его дочерью, а он был страшно ею увлечен; казалось, что в ией он иашел наконец то, что искал всю жизнь.

Ей было шестнадцать лет, и он считал ее невинной девушкой, соблазненной им, старым развратником, верным соучастником кесаря в его знаменитых ночных оргиях. Но все это было в прошлом. Он не встречался с ней с тех пор, как облачился в одеяния патриарха. И не спешил. Хотелось освоиться с величием нового сана, чтобы быть увереннее при встрече. А встреча не виделась легкой. Слишком много было обещаний и разговоров о женитьбе и честных намерениях. Фотий знал, что прольются слезы и даже обрушатся проклятия, но все будет тщетно. Сан освобождал его от всего земного и суетного. Ну, а если она, как заверяла, будет любить его, то он не прекратит видеться с нею, хотя в последнее время ее ребяческие капризы стали слегка раздражать его.

Да, и соответствуют ли капризы ее возрасту? Просить у любимого золотое ожерелье, разве это ребячество? Нет, Фотий подумает, стоит ли еще встречаться с ней. Ведь теперь от него ждут дел, которые должны оправдать головокружительное восшествие на святой престол. Он должен мобилизовать все свои знания, если не хочет остаться еще одним безликим патриархом...

По пути в патриарший дворец Фотий мысленно перебирал людей, которые могут пригодиться в борьбе против Игнатия и папы. И первым был Константин. Он будет незаменимым защитником, если привлечь его на свою сторону. Когда-то в диспуте с патриархом — иконоборцем Иоанном — Константин, несмотря на свою молодость, сделал из него посмешище. Вероятно, в монастыре у него было достаточно времени, чтобы еще более отточить ум и обогатить знания. Прекрасно знает Фотий, что может и умеет его ученик и коллега Константин... Привлечь его будет, наверное, трудно: вряд ли забыл он своего наставника Феоктиста. Убийство логофета было делом Варды, но ведь братья достаточно умны и знают, кто стоит за его спиной. Однако он ничего не потеряет, если попытается привлечь их на свою сторону.

2

Поездка в Преслав и разговор с Кременой-Феодорой давно минозали, но Борис не нашел правильного пути ни для себя, ни для своего народа. Тот разговор убедил его в одном: новая вера может заставить человека отречься от земного во имя небесного. И кроме того, такая вера утвердится, несмотря на преследования и запреты. Об этом можно было судить по поведению сестры. Он решил проверить ее до кон-

ца, без каких-либо плохих намерений, только чтобы понять глубину ее убежденности.

— Путь болгарского государства — это и твой путь! — резко сказал он.— Ты должна отречься от иноземного бога. Не то...

— Что? — Кремена подняла голову.

— Не то — смерть! — отрубил хан.

Тогда она встала, широко, торжественно перекрестилась маленькой рукой, достала наперсный крест и, поцеловав его, сказала:

— Я готова умереть.

Ее решительность была искренней.

Борис долго смотрел на сестру невидящим взором, который как бы проникал сквозь нее и терялся где-то вдали... Он видел свою страну, полную таких вот фанатиков. Надо ли, однако, набрасывать узду на их веру? Он и сам склоняется к решительному шагу — зачем тогда осуждать собственную сестру? Ведь в ее лице он может найти одного из самых ревностных союзников...

— Садись, садись,— сказал он, но она осталась стоять.— Садись и давай поговорим, как люди одной крови... Не думай, что я настолько слеп и не вижу нового... А про смерть я сказал, чтобы испытать твою твердость. Садись!

Кремена опустилась на подушку, но крест не спрятала, и взгляд Бориса остановился на нем. Христос с поникшей головой смотрел на него с креста, и хан решил, что с него и начнет разговор:

— Если он сын божий, то почему позволил распять себя на кресте?

Кремена, видимо, не ожидала такого вопроса и потому как-то поспешно ответила:

— Чтобы воскресением подтвердить свою божественность...

В этом была доля истины, и Борис подумал, что нет необходимости спорить о чем-то, чего он не знал. Его интересовало другое: кто сильнее в империи — патриарх или василевс?..

На этот вопрос Кремена не дала ясного ответа. Папа, глава римской церкви, утверждал, что духовная власть выше светской, ибо папа — посредник между богом и людьми, к которым относится и император. В Константинополе было иначе: патриарх только благословляет василевса, но затем василевс становится всесильным. Он даже определяет, кого сделать главой церкви...

— А Болгария может иметь своего патриарха?

— Сегодня это невозможно,— не поняла Кремена.

— Речь идет не о сегодня, но когда она примет веру...

— Наверное, может...

Ответ не удовлетворил Бориса, и он спокойно велел сестре:

— Узнай и скажи мне... А этого разговора между нами все равно что не было.

На сей раз удивилась ханская сестра.

Та поездка запомнилась еще и благодаря работам изографа Мефодия, которому Борис поручил расписать стены охотничьего зала преславского дворца. Хан пожелал увидеть работу Мефодия и послал гонца, чтобы предупредить мастера. Гонец вернулся с просьбой: пусть придут, если возможно, только хан и его сестра, ибо дело еще не готово для всеобщего осмотра... Эта просьба, высказанная вежливо и уважительно, была удовлетворена. Посещение дворца было намечено на послеобеденное время, когда солнечные лучи проникали через окна в зал, делая его светлым и уютным. Борис, сопровождаемый сестрой, первым переступил порог. Изограф встретил их у дверей в одежде, испещренной яркими пятнами красок. Он слегка поклонился и был явно смущен — Борис нашел смущение естественным и не обратил на это особого внимания. Разумеется, все побаивались властелина, и более других, конечно, изограф, работу которого будет оценивать сам хан. Роспись захватила Бориса с самого начала. На стенах мчались знатные охотники с сокольничими и егерями, олени в изящном прыжке преодолевали горные ручьи, трубили охотничьи рога, скакали боилы и багаины, унося на седлах добытую дичь. Красочный, веселый мир наполнял зал радостью пригожего дня и торжеством удачной охоты. Все было прекрасно, Борис был доволен, но, сколько ни смотрел, все еще не видел главного: по желанию хана изограф должен был написать такую картину, которая потрясала бы в первую же минуту. Хан готов был уже спросить об этом, когда они, дойдя до конца зала, оказались перед смутно белеющим полотном. Изограф подошел и сдернул покрывало. Перед Борисом открылась невиданная картина: искаженные лица, адские муки людей, а над всем этим — врата к добру, где светился улыбками и счастьем совсем иной мир. Борис хотел было спросить о смысле росписи, но упавшая на колени Кремена всем своим видом подсказала, что это сцена из ее веры! Он присмотрелся и вздрогнул. На картине все в мире было размещено по своим местам, и знатные получали по заслугам от неземного судии! Фантазия изографа извлекла из земной жизни и представила на обозрение всевозможные ужасы... Борис приказал закрыть картину и, не промолвив ни слова, быстро вышел. С тех пор он не раз бывал в Преславе, но охотничий зал больше не посещал. Стоило зажмурить глаза, и день Страшного суда вставал перед ним как въяве, и раздумья о будущем народа заставляли хана уединяться. Очень уж долго колеблется он и сам упрекает себя за медлительность. Когда был жив отец, Борис был более решительным и категоричным, а теперь боится, боится, потому что понял: будет очень трудно.

Эти мысли не давали ему покоя, занимая его ум наряду с повседневными государственными делами и заботами. Его волновали и

раздоры в Константинополе. Порой хотелось собрать войска Старого и Нового Онголов и пойти на Царьград. Казалось, пришло время — пока они там ссылают, свергают и убивают друг друга. Свержение патриарха убедило Бориса, что император в самом деле сильнее божьего наместника. Стало быть, такая вера не будет угрожать ханской власти. И однако, все византийское пугало хана: ему казалось, что оно направлено против государства и против него лично. Иначе ведь не могло быть! Они же непрерывно воюют между собой! И не переставая следят друг за другом! Если уж перенимать что-либо у них, то необходимо соблюсти полную безопасность для народа... Тут Борис поймал себя на удивительной мысли: думая о *народе,* он при этом имел в виду не только своих болгар, но и славян и фракийцев, живущих на его землях. Благодаря умелой деятельности Онегавона утверждалось все большее единство между племенами. Посвящение молодежи в совершеннолетие и присяга в воинской верности уже не были, как прежде, событием. Во время ранних весенних игрищ дед в присутствии тарканов передавал свой меч в руки внука, нисколько не заботясь о том, какая кровь течет в его жилах. Все присягали одному вождю — хану, называя его по-своему: князем, первым комитом *. Борис и себя называл этими титулами, чтобы люди свыкались с более широким пониманием единой общности. Когда думы одолевали его, он любил уединяться в Мадаре. Там, у подножия высеченного на скале всадника, он размышлял о земных путях человека и коня. Узкой лестницей он поднимался на крепостную стену и окидывал взглядом родное гнездо первых ханов. Сама Плиска и другие крепости, расположенные вокруг на близких и дальних холмах, и мягкие сумерки долины — все это будто окрыляло его душу, и Борис чувствовал себя легким и бесплотным, словно дух из старых дедовских преданий. Особенно любил хан наблюдать за облаками. Они возникали из-за гор и робко, как бы с оглядкой и опаской, пускались в путь. Поэтической душе Бориса эти странники представлялись воинами, заблудившимися незваными гостями, птицами, ищущими свои гнезда, людьми, пришедшими снова посмотреть на землю, где они бегали когда-то босиком под палящим солнцем... Иногда облака собирались в кучу, столь плотную, что закрывали солнце; тогда луч, пробившийся сквозь них, падал вниз, подобно свету яркой свечи, и золотисто-желтые пятна — капли прозрачного меда — стекали по темени гор и холмов, наполняя его душу неземным просветлением. В такие мгновения он возвышался над тревогами и заботами повседневной жизни. Бесплотный дух подхватывал его — летний переспевший одуванчик — и носил вслед за золотым лучом. В эти мгновения Борис был не в силах решать какие-либо вопросы, стремился уйти от людей и не любил, когда к нему обращались с беспокойными делами. Хотелось остаться наедине с собой, посмотреть на себя с высоты птичьего по-

лета, с высоты облаков — как сами облака смотрят на свою тень, навсегда обреченную пробиваться, двигаясь по земле, сквозь тернистые заросли и крутые обрывы. Тогда хан открывал в себе то общее, что роднит его с братом Доксом: мечтательность и радость от спокойствия души. Но для Докса это состояние было ежедневной потребностью, тогда как для Бориса — всего лишь полным, но недолгим отдыхом. Докс жил в мире беспечности, стараясь переложить на окружающих все, что могло бы отягощать его жизнь. Он одинаково легко женился, хоронил друзей, плодил детей и гадал о погоде по каким-то приметам, известным только ему. Так же легко он изучал языки и письменность других народов. Его дом благоухал травами. Докс делал из них краски и лекарства, обладавшие чудесной силой. После посещения брата Борис всегда чувствовал легкую зависть и сожаление, что родился первым, унаследовав престол и государственные заботы. Докс был деревом, в тени которого хан всегда мог укрыться, не опасаясь, что с ним может произойти что-либо плохое. Вообще-то хан замечал в глазах многих приближенных притаившееся зло и недобрые мысли — особенно у тех, которые группировались вокруг молодого Ишбула.

Да и не только у них. Запрет преследовать людей за их религиозные убеждения разделил знать на группы, развязал кое у кого змеиные языки. Этот указ хан объявил великим боилам, богаинам, тарканам и боритарканам после разговора с Кременой, узаконив тем самым ее веру и присутствие в ханском дворце, иначе пришлось бы вести двойственную политику: преследовать одних и охранять других за те же самые прегрешения.

Когда Онегавон объявил о ханском распоряжении, только один из двенадцати великих боилов рискнул заявить, что, насколько он может судить, хан сделал первый шаг по пути к неправедному закону. Борис притворился, будто не расслышал этих слов. Онегавон — тоже. Надо было голосовать за это предложение. Девять великих боилов открыто проголосовали «за», трое опустили головы, свесив чубы на глаза,— в знак несогласия. Хан запомнил их, но ничего против них не предпринял. Каждый имел право думать как хочет, чтоб не ворчали потом: мол, меня заставили. Если бы понадобилось отвечать, Борис напомнил бы несогласным, что уже Пресиян перестал преследовать сторонников других религий, теперь это лишь узаконивается. Не голосовал «за» также старый жрец, сидевший слева от хана,— но иначе и быть не могло.

3

Лошадь была белой, с красно-рыжим пятном на лбу, покрытая пурпурной бархатной попоной с золотой бахромой и вышитыми золотыми крестами по углам. Новый папа Николай сидел в седле пря-

мо, тиара на нем сияла жемчугами в лучах весеннего солнца, он торжествующе смотрел на толпы людей, заполнивших мощенные камнем римские улицы. Впереди в белом, в венках из вербы шли девушки, они пели гимны во славу небес. Народ толпился, лез на ограды, чтобы посмотреть на процессию. Вслед за папой, низко опустив головы, шли епископы в строгих одеяниях, в епитрахилях и наперсных крестах. В руках у них поблескивали позолотой евангелия. Сжав тонкие губы, папа осенял божье стадо крестным знамением — с ритмичностью, соответствующей шагу коня. Но самым интересным в процессии было присутствие императора Людовика II. Он шел пешком и в знак почтения к папе вел под уздцы его лошадь. Такого до сих пор не бывало, и люди не верили своим глазам. Новый папа смотрел на пеструю толпу холодными прищуренными глазами, думая о чести, которую оказывал ему император. Если Людовик II не вернулся бы в Рим, вряд ли его избрали бы папой. Только вмешательство Людовика принудило собор утвердить его папой — после смерти Бенедикта III. Сам Николай считал, что он достоин этого сана, ибо с детства всецело посвятил себя богу и божьим делам. Вначале заметил его папа Сергий II, взял в Латеранский дворец и сделал поддьяконом. Это было первым шагом по ступенькам... Его ретивое служение не ускользнуло от взгляда следующего папы, Льва IV, который дал ему дьяконский сан. Затем духовным отцом и наставником Николая стал Бенедикт III. Новый папа никогда не забудет его и, как бы ни старался, не сможет отблагодарить за все добро, сделанное им для Николая. Он любил Николая больше, чем своих родных, познакомил его со всей внутренней деятельностью церкви, открыл дорогу к папскому престолу. И Николай воссел на этот престол, когда среди людей пополз слух о конце мира. Старое, мощное государство франков после смерти Людовика Благочестивого распалось. Его сыновья вцепились друг другу в глотки, а человеческая жизнь до того обесценилась, что не стоила и ломаного гроша. Они собрались в Вердене, чтобы узаконить раздел, но этот раздел окончательно разрушил империю. Людьми овладела жажда жить не по законам, дороги стали опасными, леса и замки кишели разбойниками — из простонародья и из знати. Братья продолжали воевать между собой, и новый папа увидел в этом перст божий. Он прекратит их ссору своей святой рукой, усмирит и подчинит своей воле, ибо только он, божий помазанник, может короновать, а тот, кто действует по божьему велению, сильнее всех. Служа у трех пап, Николай прекрасно изучил все догмы церкви. Днем и ночью рылся он в богатейшей библиотеке Ватикана, отыскивая в высказываниях святых те нужные слова, которые обеспечили бы римской церкви первое место в христианском мире. Ее приоритет узаконил Средецкий собор в 347 году, объявив, что свершение и восшествие любого епископа возможно только с ведома

римского папы. Следующий собор в Константинополе подтвердил решения Средецкого, уточнив: «Царьградский епископ пользуется почетным старшинством после римского, ибо Царьград есть новый Рим». Халкидонский собор в 451 году также указывал на приоритет папы, но все эти решения не радовали Николая, так как не принимались в Константинополе всерьез. Его интересовала святость папской власти, ибо церковь «есть царствие не от мира сего». Ему по душе была другая, хотя и легендарная, но более убедительная версия: первосвященство принадлежит римской церкви — потому, что ее основали апостолы Петр и Павел. Об этом писал уже святой Ириний. Святой Киприян хотя и не упоминал о приоритете римской церкви, но сказал: «Престол Петра есть главная церковь: отсюда начало святого единства». Больше всего, однако, понравились Николаю слова Христа о Петре, что именно он — краеугольный камень церкви и ключ от небес... Эти слова были основанием, на котором держалось многое. Изучив жизнь предшественников, новый папа пришел к мнению, что их борьба не была успешной, ибо опирались они только на созданное до них, не прибавляя ничего от себя... Он должен был прибавить нечто новое, даже если ему придется пойти против истины. Но что есть истина? Не умение ли положить в основы священного учения и святой церкви очередной крепкий камень? Тогда к чему колебания? Он, папа, пришел на эту землю во имя всевышнего. Он — посланец небесного судии. Только ему дано связывать и развязывать узлы человеческих и народных судеб. Стало быть, надо отождествить себя с церковью: церковь — это я, я — это церковь! И почему бы не создать новые, прочные устои церкви, которой принадлежит первенство? И он, папа Николай, сделает это, только б согласился брат Себастьян. Впрочем, зачем утруждать его, если под рукой Анастасий. Лучшего знатока вряд ли найти. Надо завтра же позвать его...

Отшумели торжества по случаю восшествия на престол. Папа Николай должен теперь отвоевать место единственного земного наместника бога. Эта мысль настолько овладела им, что жест Людовика II — вести его лошадь на процессии — показался знамением свыше. Сам господь вмешался, повелев императору сделать это и тем самым поставить себя ниже его представителя на земле — папы. Главной задачей будет подчинить духовенство. Епископы должны решать все вопросы только через Рим. Чтобы подкрепить слово делом, Николай решил расправиться с архиепископом Равенны Иоанном. Прежде чем начать борьбу, папа долго советовался со своим старым другом — знатоком и хранителем книг Анастасием. Они просмотрели все бумаги, касающиеся прав равеннских архиепископов. В сущности, ничто не давало равеннцам права считать себя выше других, кроме, пожалуй, факта, что в Равенне была резиденция императора. Но поли-

тический догмат не имеет никакого значения, если церковь «есть царствие не от мира сего». Ни у одного святого или апостола не было упоминания о каком-либо особом положении духовного владыки Равенны — архиепископ Иоанн просто захотел поделить первенство с папой, создав тем самым немало осложнений уже Бенедикту III. Иоанн не только сам решал все церковные вопросы, но и прибрал к рукам папские привилегии, дарованные Каролингами, не испросив на это согласия в Риме. Не разбираясь как следует в церковных канонах, Иоанн часто нарушал их под влиянием мирских страстей, возмущавших его епископов. Они не раз посылали папе жалобы, но хитрый и бессовестный архиепископ или ловко увиливал от обвинений, или не повиновался папским решениям. На столе у папы Николая лежала жалоба из области Эмилия, входившей в архиепископство Иоанна. Епископы обвиняли его в присвоении доходов и даже церковного имущества, в нарушении канонического права и свободы епископов решать вопросы, относящиеся к их компетенции. Самое главное, что взбесило папу, было распоряжение Иоанна, запрещавшее поддерживать контакты с Римом и посылать жалобы в папскую столицу. Такой наглости пора положить конец! Неужели он, Николай, позволит какому-то архиепископу подрывать авторитет верховного главы церкви? В папских архивах были найдены дарственные грамоты на земли, относящиеся к архиепископству Иоанна: доходы от дарений вот уже несколько лет не поступали в казну Ватикана. Расследование показало, что Иоанн либо уничтожил оригиналы дарственных грамот, либо велел переписать их на имя святого Аполлинария. Нет, нельзя терпеть дольше такой произвол. Папа положил ладони на подлокотники трона. Этот случай неповиновения следует рассмотреть уже на первом Синоде. Асикрит быстро подготовил письмо Иоанну, папа подписал его и поставил печать. Он хотел восстановить правду, однако собирался ли равеннец раскаяться и подчиниться? Горе ему, если не захочет... Прошло достаточно времени, но Иоанн не ответил на письмо папы. Он опять предпочел промолчать. Тогда Николай велел ему прибыть на Синод. Напрасно ждали и напрасно спрашивали друг друга святые отцы: «Его еще нет?..» Новый папа в глазах одних видел искорки смеха, других — гнев, третьих — полное равнодушие. Иоанн Равеннский явно объявлял ему войну. Папа не прекратит ее, пока не раздавит противника! И все же Николай не спешил. Сидя в папском дворце, он внимательно следил за распрей в Константинополе. Вечером у камина, укутав ноги в мягкие медвежьи шкуры — подарок реймского архиепископа Гинкмара,— папа смотрел, как играет, танцует пламя, но не видел его. Мысль Николая была устремлена сквозь время и пространство: много дел накопилось, много. В Константинополе свергли Игнатия, вобще не спросив папу или — на худой конец — не уведомив его. Там уже распоряжался новый патриарх, некий Фо-

тий. Николая не волновал вопрос, лучше ли он прежнего. Снедало честолюбие: почему это было сделано без его ведома? Те молчали, он прикидывался, что ничего не знает. Все равно папа им понадобится, его нельзя обойти. Сторонники Игнатия поднялись, готовили новый собор — отлучать Фотия. Эти раздоры радовали папу, так как подрывали престиж Восточной церкви. Он вмешается, когда наступит время. Пока рано решать, кого ему надо поддержать. Семейные неприятности королей тоже беспокоили папу. Спор вокруг женитьбы лотарингского короля Лотара II до того затянулся, что вмешательство Николая становилось более чем необходимым. Но больше всего тревожило папу нападение Людовика Немецкого и Людовика II на земли франкского государства. Посланцы франкского короля Карла Лысого вот уже два дня ждут аудиенции у папы. Он еще не решил, как поступить, потому и не спешил принять их. В затруднительных положениях папа привык думать вслух в присутствии библиотекаря, отлученного пресвитера Анастасия.

Николай взял позолоченный медный колокольчик, и нежный его звон рассыпался под огромными каменными сводами. Скрипнула дверь, появилась черная фигура поставеника. Папа не взглянул на него: его костлявая острая морда раздражала. Николай решил, что поставит на его место своего приближенного.

— Позови Анастасия...

Пока шаги прислужника затихали в коридорах, папа расшевелил уголья длинной кочергой и потеплее укутал ноги в шкуры. Посланцы будут просить, чтобы он вмешался в эту войну. И он должен сделать так, чтоб выиграла та сторона, за которую он заступится. Первое вмешательство в светские дела должно быть результативным, иначе потом придется основательно потрудиться, чтобы снова завоевать доверие королей и императоров. В данном случае сильнее были союзники, да и император Людовик II — его друг. Поможешь королю — потеряешь дружбу с императором и Людовиком Немецким. Но Карл был потерпевшим. Справедливость требовала защитить именно его, невзирая на дружеские чувства... Из забытья его вывел поцелуй в руку и поклон Анастасия. Николай перекрестил его три раза и кивнул на место около камина. Опустившись на колено, тот тоже взял кочергу и ткнул в поленья.

— Если тебя связывает дружба с человеком, который внезапно и несправедливо нападает на известное лицо, на чью сторону ты встанешь?

— На сторону обиженного,— ответил Анастасий не задумываясь.

— А если он слабее?

— Какое это имеет значение, святой владыка?

— Скажи, чтоб позвали ко мне послов Карла...

Анастасий встал, передал распоряжение поставенику, тот пошел

исполнять, а Анастасий вернулся на свое место. Откинув теплые шкуры, папа Николай негромко сказал:

— Давно хочу с тобой поговорить о божьем деле, любезный отче, да все времени нет из-за этих ссор и всяких иных дел. Пора нам с тобой прибавить кое-что к славе святой церкви... Много лет назад, в начале праведного пути, я наткнулся на работы Исидора Севильского *. В них шла речь о приоритете римской церкви и ее главы. С тех пор все ищу и ищу их, но тщетно. Помню только заглавие — «Исидоровы декреталии». Займись этим, поищи, а если не найдешь, бог вдохновит тебя сотворить их. Я верю в силу твоего пера. И сотвори их, Анастасий, так, чтоб люди поверили в правду твоих слов.

— Насколько я помню, он родился в лето пятьсот сорок седьмое? — поднял голову Анастасий.

— Что-то вроде этого... Постарайся войти в то время. А теперь посмотри, что там происходит...

Обычно послов приглашали в зал ожидания, прежде чем ввести в приемную. Папа подождал, пока вернется Анастасий, встал, слегка покряхтывая, и направился к двери. Анастасий сопровождал его. В торжественном облачении Николай вошел в приемную и сел на трон. Епископы стояли шеренгой по обе стороны трона. При входе папы они подтянулись, поклонились и остались стоять. Так будут стоять они до окончания аудиенции.

Протяжный голос пригласил послов войти. Они вошли и, смущенные величественным зрелищем, упали к ногам папы. Смирение послов понравилось папе. Протянув правую руку, Николай почувствовал жаркий поцелуй предводителя миссии.

4

Игумена и монахов монастыря святого Полихрона весьма озадачило посещение императорского и патриаршего посланца. Его духовный сан был достаточно высок, чтоб предотвратить любые расспросы. Все сгорали от любопытства — зачем понадобился новому патриарху Константин? Молва разделилась надвое, как язычок змеи. Одни утверждали, что Фотий сошлет его, мстя за знакомство с Игнатием, другие — наоборот: Константин и так добровольный ссыльный в глухой обители. Нет, наверняка он призывает его, чтоб возвысить... Два мнения переплетались, затрудняя жизнь игумена и иеромонахов, которые не знали, как вести себя с Константином, — боялись ошибиться. Приезд посланца удивил Философа, подумавшего, что гость прибыл в связи с заговором Феоктиста. Но ведь он тогда поклялся,

что сохранит тайну,— и сохранил. Может, кто-нибудь предал его? Вряд ли, с тех пор прошло немало времени, люди василевса давно взяли бы его... Константин знал свои грехи. Впрочем, он был грешен только в одном: не сумел отговорить логофета от нечистого дела. Судя по поведению посланца, по его вежливому вниманию, Фотий, скорее всего, желал встретиться и побеседовать со своим бывшим учеником. Так и оказалось: патриарх просит Константина не забывать его гостеприимный дом и прийти к нему в любое время. Если это осуществится вскоре, радость патриарха будет безграничной, ибо он мечтает посоветоваться, а так как некоторые вопросы затрудняют его, то нужна помощь именно Константина Философа. Посланец прибыл в карете и предложил Константину отвезти его — если, мол, он согласится ехать вместе с обыкновенным божьим служителем.

Философ не сразу согласился, сказал, что подумает и ответит завтра. Это был знак окончания встречи. Поклонившись хозяину, гость пожелал ему спокойной ночи и покинул келью. Шаги все еще были слышны на лестнице, когда ворвался Мефодий.

— Чего он хочет?

— Да вот Фотий вспомнил обо мне.

— Добром?

— Думаю, что не лихом... Единомышленников ищет. Или по крайней мере проверяет, не пошел ли и я к Игнатию. Монахи говорят, на острове готовится собор, собираются отлучить Фотия...

— Слышал. Много шуму, а толку мало.

— Но ведь папа все еще молчит!

— Даже если Николай выступит в защиту Игнатия, не видать ему престола, пока жив Варда.

— Горька твоя истина, брат,— промолвил Константин, шагая по тесной келье.

— Если Фотий захочет вовлечь тебя в свои дела, не соглашайся.

— Это надо хорошо обдумать...

— Почему?

— Потому что решительный отказ настроит его против нас, а это помешает задуманному нами делу.

— Да, ты прав. Выслушай его, а потом...

— Потом может быть поздно. Поэтому я намерен принять самое невинное из его предложений, а что касается советов — пожалуйста, могу дать, если они мне под силу.

Оба умолкли, погрузившись в свои мысли. Огонек в лампадке погас, и Мефодий спросил:

— Когда едешь?

— Наверное, с посланцем — завтра.

— Хорошо. Но если хочешь задержаться, я могу поехать с тобой.

— Тебе не надо, попроси игумена дать Савве одного из монастырских коней.

— Будь спокоен,— улыбнулся старший брат,— он даст, и не одного: ведь тебя зовет новый патриарх! Игумен — стреляный воробей...

Константин захотел встретиться с Фотием уже на следующий день после прибытия в Царьград. До встречи он прослушал его торжественную проповедь в храме святой Софии. Фотий обладал даром речи и красивым голосом. Иногда он останавливался: еще не все им было хорошо изучено. Константину казалось, что в церкви кто-то все время наблюдает за ним. Опустившись на колени вместе со всеми, он встал чуть раньше других и обернулся. И тут заметил Ирину. Философ склонил голову и не шевельнулся до конца службы. Второй раз увидел ее уже на выходе, в окружении слуг и телохранителей Варды, которые ждали, когда она сядет в карету, а она почему-то медлила. На ее руках сверкали тяжелые золотые браслеты, на красивой груди лежало прекрасное ожерелье из жемчугов в золотой оправе. Константин сразу узнал его — то самое, которое он привез от сарацинов. Он мечтал подарить его ей, и оно действительно, хотя и иным путем, оказалось у нее.

Философ улыбнулся своему воспоминанию. Подумав, что улыбка предназначена ей, Ирина слегка кивнула ему и поставила ногу на высокую ступеньку кареты. Подол платья приподнялся, обнажив изящный изгиб ступни. Константин прибавил шагу, чтоб нагнать Савву, но тут дорогу загородил бросившийся к нему Иоанн. Он долго жал руку Константина. Это заставило телохранителей задержать карету. Иоанн махнул им, чтобы трогались, а сам пошел вместе с философом, радостный и словоохотливый — Константин впервые видел его таким. Только когда разговор коснулся судьбы бывшей императрицы Феодоры и ее дочерей, оба грустно смолкли.

Долго бродили они по знакомым улицам. Обошли двор и сады Магнаврской школы, посидели на мраморной скамье с грифонами... Немало интересного узнал философ. Иоанн обещал ему дать свои произведения, рассказал, что знал о свержении Игнатия, позволив себе несколько ядовитых слов в адрес отца и назвав Фотия «церковной лисой империи», и лишь потом догадался спросить, почему философ приехал в Царьград. Узнав причину, он помолчал и грустно вздохнул.

— Он знает, к кому обратиться... Но ты смотри в оба. Теперь он нуждается в способных людях, может и пост предложить, и попросить о чем-нибудь. Но если хочешь отделаться от него, устрой так, чтоб он послал тебя к хазарам... Им нужны ученые люди. Разумеется, Фотий будет настаивать и на другом... Херсонский епископ Георгий — сторонник Игнатия. Дальше — сам поймешь...

Они расстались поздно. Небо будто треснуло у горизонта, и сквозь эту трещину медленно прокладывал себе дорогу новый день, озаряя ее берега серебристыми отблесками.

Новая смена стражников на крепостной стене уже вторично ударила по щитам. Константин остался поспать в приемной Магнавры, а Савва исчез в харчевнях на берегу. Он давно не был в этих местах, где для ладана и песнопений дверь была заперта и где мир принимал другой образ. Они договорились встретиться завтра в обеденное время на постоялом дворе «Золотые сны», а до этого каждый мог заниматься своим делом. Константин хотел пойти к Фотию, а Савва — разыскать Горазда и Ангелария, работающих в библиотеке школы.

Философ не сомкнул глаз почти всю ночь... Прилетела к нему его молодость и спросила, помнит ли, с каким волнением подал он Ирине пергамент со стихами, а затем снова спустилась с ним по лестнице дворца после синклита, на котором василевс лично благодарил его за удачные диспуты с мудрецами халифа. Дольше всего воспоминание задержалось на последних экзаменах в школе. Всплыло удивленное лицо Фотия, его слова: «Столько лет преподаю, но впервые встречаю такой ум... Была бы отметка в сто раз выше, поставил бы ее тебе. Молодец! Будущее — за тобой!..»

Да, будущее... Верно, ему оставалось одно будущее, только на него и можно надеяться. Что же он до сих пор сделал для своих братьев — славян? Ничего!.. Авось будущее окажется более милостивым к нему и Мефодию, чтоб не покидать мир сей с одними лишь добрыми намерениями и благими помыслами... Тут он заснул. Когда открыл глаза, солнце вовсю освещало комнату... Философ ополоснул лицо, скептически посмотрел на свою выцветшую одежду и отправился во дворец патриарха. Фотий ждал его в широком зале. Философ поцеловал руку патриарха в золотых перстнях — не столько из уважения к главе церкви, сколько к своему учителю.

Пригласив сесть, Фотий поинтересовался, как он доехал, как здоровье брата, после чего дружески сказал:

— Человек не в состоянии предвидеть свой собственный путь, философ. Какими были мои помыслы и куда послал меня всевышний?.. Видно, чему быть, того не миновать. Не миновал и я своей судьбы. Теперь я на устах всего духовенства — обо мне говорят и хорошее, и плохое... Одним словом, мне нужна твоя помощь. Я верю, ты не откажешь мне, потому что я всегда ценил твои знания и способности, а сердце у тебя доброе.

Константин хотел было ответить, но Фотий поднял руку:

— Знаю, тебя смущают похвалы, но я тебе не раз говорил их, так что тебе ясно: мне нет нужды кривить душой... Однако к делу. Я позвал тебя, чтобы предложить пост епископа.

Всего ожидал философ, только не этого. Натянуто улыбаясь, он медленно сказал:

— Я недостоин столь высокого внимаиия... И не имею права на это.

— Будто у меня было право иа престол патриарха! — искренне вздохнул Фотий.— Но если бог желает, что делать?

— Я готов быть твоим помощником, да ие хочу браться за дело, которое мне не по силам,— решительно подчеркнул Коистантии.

— Хорошо, ты убедил меия. Я согласеп с твоим предложением. Будь всегда со мной, я хочу иметь твою поддержку в этой суровой и непреклонной борьбе. И еще просьба... Не поедешь ли в качестве моего помощника, да и как человек, любящий путешествовать, в Херсонес, а оттуда — к хазарам, которые давио просят мудреца — объяснить им учение Иисусово... По дороге остановишься в Херсонесе, чтобы устроить кое-какие церковиые дела.

— Поговорить с архиепископом Георгием?

— Да, с ним.— Фотий удивлеино посмотрел на него.

— И вразумить его?

— Вот имеино.

— Я согласеи, но при одном условии. Хочу взять с собою брата, Мефодия.

— И не только его. Миссия будет трудной. Дорога в страну хазар нелегка. Тебе пригодится отряд сильных и верных людей.

Согласие философа тропуло патриарха. Встав, он по старой привычке преподавателя начал ходить взад и вперед, забыв, что теперь он — духовное лицо и следует вести себя чинно.

— Как ты меня обрадовал! Впрочем, ты обрадовал и императора, ибо это его поручеиие. Скрывать нечего: много хлопот доставляет нам Георгий — угрожал приинять участие в соборе Игнатия... Даже если он и ие будет участвовать, нехорошо уже то, что слишком далеко находится он от столицы и может бог знает что натворить в тамошней церкви. Твое присутствие обрадует и утихомирит его. Я ведь знаю, ты умеешь ставить все на свои места. Спасибо! — И вдруг обнял философа, хлопиув по плечу.— Подумай, что взять в дорогу, и приходи, поговорим по душам. Так миого вокруг подлости, жажду общения с такой душой, как твоя...

На этом оии расстались. Коистантии вышел из дворца и прищурился от яркого солнца. В переулке его ждали Савва, Горазд и Ангеларий. Завидев философа, они радостно бросились к нему:

— Ну что?

— В дорогу, в дорогу!

— Куда?

— К хазарам...

— А нас возьмешь?
— Если будете слушаться.
Они заулыбались.

5

С тех пор как Константин уехал в Царьград, Мефодий не выходил из мастерской, где заканчивали переписку еще четырех книг на славянский язык. Все казалось, что брат спешит с радостным известием о дальней поездке, а они отстают. Какой-то внутренний голос подсказывал ему: пришло время тронуться в путь. Нельзя оставаться в стороне от борьбы, но и не стоит мозолить людям глаза, надо тихо делать свое дело... И все-таки на доброе ли дело позвал брата Фотий? Эта мысль тревогой сжимала сердце и останавливала торопливое перо. Успокаивала живая и радостная деятельность Климента и Марина... Юноши работали молча и сосредоточенно. Время от времени Климент распрямлялся — в его узких глазах светилась какая-то тайная мечта,— поднимал онемевшую руку, делал ею несколько махов, будто ветряная мельница крылом, и снова склонял голову над пергаментом.

Третьего дня он удивил Мефодия новой книгой, написанной теми буквами, которые Константин создал в самом начале. Они были очень близки к греческому письму, дополненному новыми знаками, отвечающими славяно-болгарской речи.

По мнению Мефодия, эта азбука могла бы сделать полезное дело, если бы их послали в Болгарию. Так же думал и Константин, однако он приостановил работу над нею: она была слишком похожа на греческую и потому могла не понравиться болгарам, породить сомнения в честных намерениях братьев. Вторая азбука, созданная Константином, была красивее и оригинальнее, но труднее для изучения и письма. Этой азбукой уже было написано несколько переведенных книг, однако любовь к первой не умирала. Сейчас, глядя на книгу, переписанную Климентом, Мефодий вспомнил свой тогдашний разговор с братом.

Константин вздохнул:

— И все же первая лучше!

— Чем? — спросил Мефодий.

— Видишь ли, за Хемом пишут по-гречески, а потому азбука, основанная на греческом письме и дополненная некоторыми близкими к нему знаками, позволила бы легче воспринимать и запоминать ханские указы, чем наша новая...

— Тогда давай откажемся.

— Поздно. Да и я стал терять надежду, что нас направят в Болгарию: кое-кому из знати это невыгодно...

Теперь Мефодий снова решил при первом удобном случае поговорить об этом с братом.

Константин вернулся в приподнятом настроении. Пока ехал сюда, многое обдумал. Сначала хотел взять с собой Климента и Марина, но потом отказался от этого: пришлось бы приостановить переводы и переписывание книг, а хазарам новая азбука вряд ли будет необходима. Ведь они трудились для своих единокровных братьев, а, насколько он знал, в Хазарии боролись за приоритет иудейская, христианская и магометанская религии. Сразу после своего возвращения он разыскал в монастырской библиотеке среди древних книг Пятикнижие Моисея, чтобы восстановить в памяти знание древнееврейского языка, полученное еще в Солуни. Философ слышал когда-то, что самаритянский список сильно отличается от списка Пятикнижия, который он держал сейчас в руках. Сам язык самаритян отличался от языков других иудейских племен — самаритяне избегали контактов с ними. Когда Константин ездил к сарацинам, он брал с собой Ветхий завет в списке иудейского ученого Акилы. Акила принял учение Христа, но потом отрекся от него. Чтобы помочь иудеям в спорах с христианами при толковании Ветхого завета, Акила перевел его буква в букву, но именно поэтому некоторые места остались неясными. Во всех диспутах иудеи пользовались переводом Акилы. В длинные ночи отшельничества Константин не раз внимательно читал этот перевод. В нем было немало ошибок, которые могли бы оказаться ему полезными. Будто кто-то умышленно водил рукой Акилы! Например, фразу в греческом тексте «И пусть мой бог поселится среди нас» Акила перевел: «И пусть мой бог вселится в наши утробы», хотя греческий текст был весьма далек от идеи перевоплощения Христа. Это можно использовать в споре. Философ по опыту знал, что диспуты обычно ведутся вокруг святой Троицы и появления помазанника на свет божий из чрева девицы. Иудеи отрицали приход мессии, говоря, что Иисус еще не появился и что, следовательно, вера в него обманчива и неистинна. Константин не раз доказывал истинность учения Христа и надеялся, что и теперь не ударит в грязь лицом. Во время диспута он преображался, чувствуя, как его охватывает сильное внутреннее волнение, как некий голос свыше подсказывает ему цитаты и сильные стороны текста, помогая одолеть противника. Он считал это проявлением божьей справедливости, вдохновляющей его на победу. В остальном, в жизни, философ чувствовал и вел себя, как все люди с их заботами и тревогами... Подготовка к отъезду шла в лихорадочном темпе, но братья все еще не решили, как быть с Климентом и Марином. Опасения Константина, что, если они также поедут

к хазарам, здесь погаснет очаг познания, зажженный с таким трудом, взяли верх. Они решили их оставить, дав им обширный перечень книг для переводов и переписывания. Перед дорогой Константин взял с юношей клятву: если что-нибудь случится с братьями в далеких землях, они продолжат дело, пока не посеют семена просвещения в душах славян. На том и простились. Утром братья должны были выехать в Константинополь. В последнюю минуту в дверь постучал какой-то бродяга. Философ открыл неохотно: в келье было не убрано. Тот вошел, поклонился и сунул ему в руку тоненький свиток, очевидно хранившийся внутри посоха. Философ удивленно посмотрел на запыленного странника, но тот кивнул ему: читай! Иоанн умолял братьев плыть морем: «Во имя всевышнего заклинаю — послушайся меня! Я желаю только добра тебе и Мефодию. Твой Иоанн».

— И это все? — спросил философ.

— Все.

— Ты читал?

— Не умею...

Константин достал мошну и положил золотую монету в ладонь незнакомца.

— Ты еще увидишь его?

— Нет.

— Тогда ступай.

Человек неуклюже поклонился и вышел, радуясь монете, будто с неба упавшей к нему в карман — ведь сын кесаря и без того хорошо заплатил ему.

Константин присел и снова перечел письмо. По-видимому, что-то очень важное побудило Иоанна настаивать на изменении маршрута.

Вошел Мефодий.

— В чем дело? — спросил он, увидев задумавшегося брата.

— Вот, читай!

Мефодий прочитал письмо, пнул ногой какой-то горшочек из-под краски и твердо сказал:

— Надо учесть.

Игумена удивило новое решение братьев. Впрочем, тут же прикинул он, так будет легче для коней. Лишь бы нашелся корабль, чтобы перебросить их на тот берег. Проводить их пришла вся монастырская братия. За всю историю монастыря ему не оказывалось такой чести, он был удостоен самого высокого доверия государства и церкви. Обитель отправляла *своих* иноков в далекую землю хазар. Это следовало записать в монастырской книге. Благодаря братьям

пришла известность и к игумену. Он двукратно обнял Константина, а с Мефодием подробно советовался о хозяйственных делах, веля брату Пахомию внимательно слушать, так как все эти заботы возлагались теперь на него. Игумен обещал поддержку Клименту и Марину, освободив Марина от работы на кухне. Все было, как положено при проводах в долгий путь,— сердечно и душевно.

Братья и Савва без злоключений добрались до Константинополя. Кто-то украл одну из икон, но это не опечалило их — пусть крадут во имя укрепления веры. С корабля все трое отправились в монастырь святых Сергия и Вакха. В свое время эта обитель была оплотом иконоборческой ереси. Игуменом был пресловутый Иоанн по прозвищу Анис. Так прозвали его недруги, потому что он умел лечить травами; из-за этого он слыл чуть ли не колдуном. Когда Иоанна выбрали патриархом, многие священники не хотели признавать его. После свержения Иоанна Константин провел с ним диспут в этом монастыре и победил его, посрамив белобородого старца.

В монастыре их сегодня не ждали. Константин наказал Савве позаботиться об их жилье, а сам с братом пошел в город — разыскать Горазда и Ангелария и попросить аудиенции у Фотия. Философ хранил за поясом длинный список необходимых людей и вещей. Он все хорошо обдумал. Не хватало еще повара, казначея, погонщиков мулов, нескольких слуг. Императорская канцелярия должна была назначить своего асикрита. Жалко было оставлять Климента и Марина, но их задерживали в монастыре важные дела. Братья с Гораздом и Ангеларием обошли базары, купили кое-что в дорогу, вечером расстались. Константин хотел встретиться с Иоанном и поговорить о его записке, но к нему было трудно пройти. Вечером в келье братья долго обсуждали предстоящую поездку. Еще в монастыре святого Полихрона Константину не давала покоя мысль о мощах папы Климента Римского *, о котором говорили, будто он был сослан именно в Херсонес. Вот был бы успех, если бы удалось найти его могилу! Возвращение в Царьград с этими мощами само по себе принесло бы братьям большую славу. Еще более важное значение имело бы это праведное дело для христианского мира. Но философ опасался, что Мефодий не одобрит его намерений и охладит его пыл. И потому Константин колебался. Однако ему нечего было скрывать от брата. Разве это не их общее благо?..

Неожиданно для Константина Мефодий тоже загорелся этой идеей. Если они сумеют найти мощи святого, перед ними откроются дороги во все концы христианского мира. О чудотворной силе мощей широко известно, о них говорится в житиях и писаниях святых. Новая надежда прибавила сил. Утром Фотий, к удивлению братьев, сообщил им, что император и Варда хотят их видеть. После обеда они поднялись в императорский дворец, где в одном из залов их принял

кесарь. Он хмуро смотрел из-под насупленных густых бровей, его вопросы и ответы звучали как приказы. Вручив дары для кагана * — золотую и серебряную чаши и отрез алого бархата,— он наказал отстаивать веру Христову и просить кагана вернуть на родину всех пленных византийцев. Пожелав счастливого пути, Варда, все такой же мрачный, отвел братьев в приемную василевса. Константин все это время думал об угрюмом кесаре, его глухой голос звучал у него в ушах. От человека с таким голосом можно было ожидать только всего самого страшного. Если бы Феоктист был среди живых, проводы стали бы настоящим праздником. Логофет знал все церемонии — не зря ведь занимался внешними делами империи. Михаил принял только Константина и Фотия, и то лишь на пять минут. Мефодий подождал обоих. Асикрита уже дали — человека Варды, Феодора. Вручив ему список необходимых вещей, братья вернулись в монастырь и углубились в изучение книг. Они уточнили также поручения для Климента и Марина. Накануне отъезда появился Иоанн. Открыв без стука дверь, он сказал:

— Возьмите и меня!

— С большим удовольствием, но получи согласие кесаря! — ответил философ.

Услышав это, Иоанн сник и больше не просил, зная, что Варда не разрешит, ибо все еще нуждался в нем как в ширме — пусть дырявой и ненадежной, но все же прикрывающей от людских глаз его связь с Ириной.

— Если спрашивать, значит, не бывать этому,— сокрушенно сказал Иоанн.

Константин достал предостережение, нáписанное Иоанном, и молча протянул горбуну. Тот взял его, подошел к свече и медленно сжег, растерев пепел.

— Ну?

— Хорошо, что вы послушались меня.

— Почему?

— Есть люди, которые не желают вам добра. До меня кое-что дошло...

Братья переглянулись, понимающе кивнув. Так и закончилась встреча.

На следующее утро поплыли в Херсонес... Все духовенство во главе с патриархом и многочисленные миряне пришли проводить миссию. Долго звучали в ушах Константина песнопения, долго махал он рукой, повернувшись к берегу, где стояли также Климент и Марин, приехавшие получить последние распоряжения.

6

Послы Карла Лысого были довольны аудиенцией у папы. Папа обещал прекратить враждебные действия обоих Людовиков и сдержал слово. В лагере объединенных войск вскоре появились папские легаты и передали просьбу Николая уйти из земель Карла. Это непредусмотренное вмешательство заставило созвать совет. В конце концов они решили не подчиняться, но новые послы Ватикана удивили их непреклонностью папского решения. Николай писал, что не позволит нарушать дружеские отношения между вверенными ему народами и что предаст анафеме каждого, кто осмелится завладеть хотя бы пядью чужой земли. Письма были одинаковы. После долгих раздумий оба короля согласились покинуть франкские земли. Это было первое отступление перед твердым характером нового духовного пастыря. Николай не скрывал своего удовлетворения, когда посланцы обоих Людовиков во главе с аббатом Тиотто из Фульды приехали объяснить причины распри и просить извинения от имени своих государей. Причины не интересовали папу, он упивался своей первой победой над мирскими правителями, двое из которых уже признали его право повелевать ими. Папская канцелярия не замедлила разгласить этот факт. Теперь пришла очередь Иоанна Равеннского. Пригласив его в третий раз на Синод в Рим и не дождавшись ответа, папа лишил его архиепископства и отлучил от церкви; сообщение об этом было послано в Равенну. Впервые Иоанн почувствовал себя не очень уверенно и решил просить помощи у своего друга, императора Людовика II. Император принял его, выслушал и обещал поддержку. В этот же день он послал своих людей в Рим. Папа велел им подождать несколько дней, пока не пройдет его священный гнев. И все-таки его гнев обрушился на посланцев: Николай не разрешил поцеловать себе руку недостойным людям, которые поддерживают связь со священником, отлученным Синодом, с гневным возмущением отверг все попытки объяснения и посредничества. Светские власти вмешиваются в дела церкви? Кощунство!..

— Встаньте и ступайте прочь! — гремел папа.— Я хочу, чтоб вы забыли то мгновение, когда защищали отвергнутого апостолическим престолом архиепископа, не выполняющего свой долг перед богом и его наместником на земле! Передайте моему другу императору, что я не могу удовлетворить его просьбу, ибо пришлось бы пренебречь решением Святого Синода и божьим повелением...

После этого Николай ожидал каких-либо поступков от императора Людовика II, но тот замолчал... Анафема и свержение плохо подействовали на Иоанна Равеннского. Вместо того чтобы вести себя разумно, он окончательно отказался подчиняться папе и продолжал жить по своим неписаным законам. Папа велел послать ему очеред-

ное приглашение явиться в Рим, но Иоанн вновь отклонил его. Тогда сам глава церкви собрался в Равенну — лично покарать бунтовщика. Эта решительность испугала бывшего архиепископа, который не стал дожидаться прибытия Николая. В тот момент, когда папа въезжал в Равенну, Иоанн стучался в ворота императорского дворца в Павии — но ворота не открылись. Людовик II приказал не нарушать решения его святейшества и не общаться с отлученным. Не отпирая ворот, Иоанну передали волю императора: подчиниться папе и покаяться. Почувствовав себя всеми покинутым, несчастный бунтовщик пал на колени перед дворцом и стоял так целых два дня. В конце концов Людовик смилостивился над ним и пообещал заступничество. На сей раз папа разговаривал с его посланцами вежливо, но настаивал на том, чтобы Иоанн явился в Синод. Отказать было неприлично.

Синод заседал три дня. Папа умышленно растянул это зрелище. Иоанна поставили на колени, и он слушал, как его обвиняли в великом множестве грехов. Унижение было полным, пути для отступления не предвиделось. На третий день Иоанн прочел письменную клятву верности и преподнес ее папе. После клятвы папский асикрит четким голосом зачитал все обязанности Иоанна:

— «Раз в год приезжать в Ватикан, чтобы согласовывать выборы епископов в своих владениях. Разрешать епископам поддерживать непосредственные контакты с Римом. Возвратить все владения святого Петра и заплатить убытки. Не требовать налогов, противоречащих каноническому праву».

За многие другие обвинения также пришлось заплатить позорным унижением.

Победа в распре с равеннским архиепископом возвысила папу. Он чувствовал, как дорога перед ним расчищается сама собой... Все это делалось в его землях, в диоцезе святого Петра. Но мир не кончался на нем. Послапцы василевса Михаила посетили его еще до того, как он расквитался с Иоанном. Николай ожидал их и принял, но только после подробного ознакомления с состоянием дел в константинопольской патриархии. Там все шло к полному расколу. Сторонники Игнатия созвали свой собор, на котором свергли Фотия и отлучили его от церкви. Конечно, это решение осталось на бумаге. Однако стали говорить, что в Константинополе существует два патриарха.

Послы вели себя учтиво. Дары были достойны как императора, отправившего их, так и будущего их обладателя. Несмотря на это, папа не спросил о главном: почему члены миссии не затронули самого жгучего вопроса — о раздорах в церкви. Они не сочли нужным уведомить его о смене Игнатия Фотием, ни слова не сказали о том, что это не было согласовано с папой. Они попытались заморочить ему голову рассказом о подготовке какого-то нового собора, на котором будет рассматриваться вопрос об иконопочитании и прочих церковных

делах. Хорошо зная византийское лукавство, папа предпочел слушать, а не советовать. И только некоторые митрополиты пожелали выяснить «для себя» положение дел в новом Риме. Один из вопросов касался, конечно, свержения Игнатия и быстрого восшествия Фотия. Хотя он был подброшен как бы между прочим, посланцам пришлось отвечать... В заключение Николай, поблагодарив за подарки, обещал направить своих людей в Константинополь для непосредственного ознакомления с делами патриархии и вручения папского послания любезному василевсу Византии.

Осень 860 года выдалась сырой и дождливой, свинцовые воды Тибра, казалось, усиливали холод. Святые старцы, члены Синода, во время заседаний зябко поеживались, шумно чихали или приглушенно кашляли в ладони, а папа сидел на престоле и невозмутимо выслушивал предложения выступающих. Асикриты тут же записывали все, что заслуживало внимания. Синод обсуждал ответное послание константинопольскому правителю. Папа слушал, но его мысли были обращены в далекое прошлое. Где-то там терялось начало извечных ссор между двумя церквами. Еще василевс Лев Исавряннн посягнул на права римской церкви, полностью изъяв из-под ее власти Солунь. В Сиракузах и Калабрии сместили людей, верных папе. Игра теперешнего архиепископа Сиракуз не нравилась папе. Давно пора утверждать главу сиракузской церкви не в Константинополе, а в Риме, как это было заведено еще со времен апостолов Петра и Павла. Разве молниеносное восшествие Фотия не было нарушением всех правил? А свержение Игнатия каким-то собором без ведома папы? Нет, Николай пока не будет занимать твердой позиции, лишь отметит эти факты в свете церковных догм и справедливости. Он скажет свое веское слово лишь после подробного доклада посланцев папы в Константинополь. Что касается иконопочитания, папа ревностно чтит святые образы и будет настаивать на соблюдении церковных традиций. Все это было высказано членами Синода и включено в послание. В начале надо еще подчеркнуть мысль о первенстве римской церкви, отметить это как очевидный факт, закрепленный временем, но почему-то забытый константинопольским духовенством... Папа Николай смотрел на бег асикритских перьев по пергаменту, и чувство значимости собственных решений наполняло его гордостью и божественным достоинством. Анастасий систематизирует и отшлифует эти мысли, папа поставит свою подпись и печать, пусть потом василевс поломает себе голову, если не созрел еще для уразумения божьих повелений. Николай поднял руку, все умолкли.

— Я предлагаю епископу Порто Радоальду и епископу Анани Захарию поехать в Константинополь послами апостолического престола святой римской церкви.

Ответом было полное молчание, если не считать усилившегося

кашля, который в глубине холодного зала кто-то напрасно пытался подавить.

— Все согласны?

— Согласны! — хором ответили продрогшие члены Синода.

Каждый был доволен, что выбор пал не на него. Пугала не только плохая погода, но и ответственность миссии и предстоящие трудности в Константинополе. Византийцы вряд ли уступят без борьбы, в этом не было никакого сомнения, и борьба может дойти до применения силы. Ведь не всякий мечтает отправиться в небесные селения, хотя там и обещают истинное блаженство... Этот Синод был последним, на который не удосужился явиться Иоанн Равеннский. Послание василевсу и направление миссии развязали папе руки для окончательной расправы с непокорным архиепископом. И он победил Иоанна раз и навсегда.

Папа Николай торжествовал.

7

Корабль качает тебя, и ты чувствуешь, что существуют только небо и вода,— это и есть истинное блаженство... Между двумя беспредельностями мысль как бы обретает крылья и, подобно чайке, парит в синеве, не давая забыть, где ты и куда держишь путь. Константин и Мефодий часто выходили на палубу. Море было спокойным, вода, кое-где зеленоватого оттенка, удивляла безмолвной своей загадочностью. Братья молчали, погрузившись в думы. Вот уже третий день корабль качается на спине моря, будто на одном и том же месте, но на самом деле невидимый ветер и гребцы делают свое дело. Мир сей все еще устроен несправедливо, и виноваты в этом сами люди. Страшное обвинение против них — гребцы, намертво прикованные к бортам кандалами там, внизу... Разных национальностей, в разное время попавшие в плен, но все здоровые и сильные, гребцы работали тяжелыми веслами, а над ними стоял с бичом в руке надзиратель. Это косматое кривоногое существо мало было похоже на человека. Наверное, и душа его соответствовала внешнему облику. Завидев его гуляющим вразвалочку по палубе, Константин спешил уйти в свою каюту, погрузиться в чтение. У тех людей внизу, наверное, остались где-то дом, жены и дети, маленькие радости, счастливые улыбки, а теперь их мир — резкий окрик надзирателя, щелканье бича и звон кандалов, впившихся железными пальцами в щиколотку, и так будет до самой их смерти. Кто достойнее рая: это человекоподобное животное, которое спешило получить благословение, как только видело Константина, или те, кто никому не молились, ибо судьба отучила их верить в божью справедливость?.. Чтоб прервать эти отнюдь не бого-

угодные размышления, Константин брал книгу с образами двух священников, похожих на него и Мефодия, и надолго, увлеченный, уходил, словно в красивую рощу, в россыпи своих букв, которые перешептывались на родном славянском языке. На этом языке ему когда-то пела мать, и он вспомнил вдруг одну ее песню — грустную, протяжную: о лесе, оплакивающем свои листья, как певец — прошедшую молодость. Певец утешал лес, что весною листья снова появятся, и печалился о своей молодости, которая никогда не вернется... Вспоминая песню, Константин думал о своей жизни — ведь и его молодость уходит, и время метит годы, как листья, на которых уже видны ржавые шрамы осени. Он чувствовал, что в душе рождается пугающее, странное равновесие: не начало ли это старости, притупления интересов и желания бороться с несправедливостью? А плоды? Где плоды, о которых он столько мечтал?.. Конечно, все эти годы он не сидел сложа руки: много истин постиг, много знаний получил. Священную книгу иудеев, Талмуд, он легко читает на их языке, Коран — тоже. Он изучил произведения епископа Дионисия Ареопагита, в его келье всегда были труды древних эллинских философов... Он ориентируется в античной и христианской литературе, как в знакомом лесу. Он не терял времени в праздных развлечениях... Вспомнилась и вторая песня, которую пела ему мать, но которую он знал не очень хорошо. В ней говорилось о холодном прозрачном роднике, о встреченной певцом маленькой девушке — «ничего, что маленькая, если очень красивая». Певец обращается к ней с вопросом, а она в ответ молчит, но однажды все высказал ее взгляд — ясный, словно капля-росинка: от такого взгляда сердце расцветает, чтоб потом утратить жар свой...

Разве первые волнения при встречах с Ириной не напоминали песню? Только родника не было. В песне не говорится, что было потом, и Константин тоже не мог ничего сказать о будущем. Все окончилось взглядом, от которого расцвело, а потом подернулось ледком сердце, да так и осталось холодным на всю жизнь. Может, это и лучше. Все реже и реже мысль отклоняется в сторону в поисках жар-птицы земного счастья — у него другое призвание. Еще в Магнаврской школе, преподавая христианскую догматику и критику основных догм других религий, Константин ощутил свою силу и понял свое предназначение. Уже тогда он так увлекался, что ученики слушали его не шелохнувшись. Из уважения к нему или завороженные его словом? Трудно сказать. Он забывал, что перед ним ученики; он представлял себе лукавые лица противников, и мысль работала, как острый меч, готовый рассечь надвое и самый тоненький волосок их доводов. Поездка к сарацинам дала ему право почувствовать уверенность в себе. Нет, это не было самодовольством или самообольщением — Константин знал, что они ведут к глупой суетности. Он всег-

да мыслил трезво, искал пробелы в своем образовании, чтоб заполнить их знаниями, необходимыми в диспутах. И если он что-нибудь ценил в себе, то это способность трудиться, не терять времени из-за лености и мелочных склок. В теперешней поездке хозяйственные дела философ поручил асикриту Феодору. Это был энергичный молодой человек с недоверчивым, как у его родственника Варды, взглядом. Но Константин ведь не покупал его и не собирался смотреть ему в зубы. Важно, что он делает дело, не стремится распоряжаться и играть первую скрипку, уважает братьев и их учеников. Не лезет грязными сапогами в душу. Константин не интересовался его обязанностями, ему хватало на столе хлеба, воды и маслин. Мефодий порой заглядывал в кадушки с маслинами и брынзой, обмениваясь с Феодором соображениями о запасах. Сам асикрит ни с кем не общался, целыми днями сидел на палубе. Однажды Константин случайно поймал его взгляд, и пустота этого взгляда поразила философа. С тех пор он стал избегать Феодора.

Путешествие начинало надоедать. Стоило братьям выйти на палубу, тут же появлялись Горазд, Савва и Ангеларий, стараясь расшевелить их шутками и вопросами. Чаще всего беседовали о сотворении естества. Говорил Константин, Мефодий лишь изредка вставлял слово-другое. Его рассуждения были более земными, он не всегда и не всюду искал вмешательства всевышнего. Он говорил о горных пчелах, о труде муравьев в больших муравейниках Брегалы, о том, что человек должен внимательно вглядываться в окружающее, если хочет познать мир. Мефодий воспринимал человека как разумное существо, но склонялся к тому, что в этом мире не только человек наделен разумом. Конечно, до дискуссий дело не доходило, он отступал всякий раз, как только сталкивался с возражениями Константина. Но по всему было видно: ухо Мефодия больше слушает суровые голоса матушки-земли, чем шепот пергаментных листов.

Ученики обожали и побаивались философа, зато Мефодий был близок им своим размахом, неугомонной энергией, побуждавшей его носиться по всему кораблю и всюду заглядывать, обнаруживая то, чего не заметил бы никто другой. Только он разговаривал по-человечески с рабами в трюме корабля, причем не о боге и Страшном суде, а о пище, о судьбе, обрекшей их на проклятую жизнь галерников. Впервые вмешался он в дела асикрита, попросив его получше кормить гребцов за счет запасов миссии. Капитан не возражал — ведь так рабы могли прожить чуть дольше,— но остался недоволен вмешательством в его дела. Константин и Мефодий были императорскими послами, значит, капитану приходилось помалкивать. Его успокаивало, что они скоро прибудут в Херсонес. Капитан не раз пересекал это море и наполнял утробу корабля товарами из богатых земель Таврии. В роли гостеприимного хозяина он дважды приглашал знат-

ных путешественников на ужин, чувствуя себя особенно польщенным вниманием Мефодия, любознательность которого приводила капитана в восторженное состояние. Он без устали рылся в своей памяти, как в морском песке, извлекая оттуда раковины, наполненные шумом приключений, и, рассказывая о них, так все расцвечивал, оснащал такими красочными подробностями, что слушатели частенько сомневались в их истинности, но из учтивости не возражали. Он осознавал это лишь тогда, когда сочинял какую-нибудь несуразицу, изумлявшую его самого. А вообще капитан был человеком молчаливым, но, по-видимому, к старости стал утрачивать это свойство. Достаточно было ему опрокинуть две-три чаши красненького из трюма, и он становился невыносимо болтливым. Слава богу, при этом он не задирался, не буянил, лишь поглаживал подстриженную бороду, а язык его непрерывно молол и молол... Когда он начинал сильно перебарщивать, первым, поблагодарив за милую беседу, покидал застолье Константин, затем выходил Мефодий, по-свойски хлопнув капитана по плечу и пожелав морскому волку спокойной ночи.

На следующий день капитан чувствовал себя неловко, избегал братьев, но это продолжалось недолго. Не любил он встречаться только с Саввой, который говорил с ним весьма резко. Савва участвовал лишь в одном разговоре и с тех пор не хотел слушать капитана. На своем веку повидал он самых разных людей, наслушался самых разнообразных историй, знавал таких искусных лжецов, что капитан казался ему их бездарным учеником.

— Ты почему не ходишь на наши застолья? — спросил капитан, заметив отсутствие Саввы.

— Много треплешься! — ответил Савва.

— Неужели? — растерялся старик.

— И нечему у тебя поучиться.

— Ладно, ладно, ты мудрее братьев, что ли?..

— Не мудрее, просто они вежливее.

Это был единственный разговор между ними по пути в Херсонес. Пока выбирали место, где бросить якоря, послали к берегу лодку сообщить об императорском посольстве. Вскоре все духовенство, архиепископ Георгий и стратиг Никифор собрались на берегу встречать братьев. После рукопожатий и взаимных благословений шествие направилось в собор святого Созоита в центре города, где отслужили торжественный молебен во славу василевса и патриарха Константинополя. Митрополит Георгий не упомянул ни Фотия, ни Игнатия, и Константин понял, что между здешней церковью и царьградской существуют весьма напряженные отношения. Константин не хотел ввязываться в споры, предварительно не выяснив позиции мирян и духовных лиц. Здесь, как и повсюду, были раздоры между людьми. И здесь также были люди, возглавлявшие обе ссорящиеся группы.

Философу предстояло узнать, кто вожаки, встретиться и выслушать их, чтобы получше подготовиться к разговору, который, наверное, предстоит ему с Георгием.

Ужинали в доме стратига Никифора, который был и судьей, и верховным военачальником. Никифор раздобрел, ибо любил плотно поесть, но крупные, крепкие руки и все еще сильные, хотя и тяжеловатые ноги свидетельствовали, что он был хорошим воином, уверенно поднимавшимся по лестнице жизни — впрочем, здесь пригодилось, конечно, и родство с Вардой и императором. Обильный ужин после длительного морского путешествия развязал языки, головы помутнели. Первым встал Константин, за ним Мефодий, ученики, архиепископ Георгий. Остался только императорский асикрит, родственник стратига.

8

— Все предусмотрели?

— Все, владыка...

Фотий, прощаясь, помахал рукой митрополиту Сиракуз и остался наедине со своими тревогами. Сторонники Игнатия отлучили его, предали анафеме. Ответ папы был туманным. Впрочем, там, где речь шла об избрании Фотия, он был достаточно ясным: Николай считал, что вряд ли можно за шесть дней пройти духовные саны от низшего до высшего. Папские посланцы приехали проверить это странное восшествие, но и патриарх не дремал: устроив легатов на лучшем постоялом дворе, куда вхожи были только «свои», он изолировал их от сторонников Игнатия. За сомнительными людьми установили наблюдение. Изоляция была осуществлена достаточно откровенно и грубо, чтобы папские легаты поняли: пусть не ждут ничего хорошего, если захотят добиваться встреч с Игнатием. Митрополит Сиракуз Григорий был душою собора, на котором предстояло вторично свергнуть Игнатия или в его присутствии подтвердить решение прошлого собора. Прежний глава церкви ожидал приглашения, находясь в одном из монастырей недалеко от столицы. «Что он делает вот в эту минуту?» — думал Фотий, стоя у окна. Патриарх смотрел на противоположный берег и каменные зубцы стен под серым небом, на воду Босфора, утратившую свой блеск и как бы отражавшую его собственные тревоги и опасения. Ссутулившийся лодочник сел за весла и, словно одинокая утка, поплыл куда-то, растворившись в неясной дали. Приползли вечерние тени и залегли в складках черной рясы патриарха. Дикая герань в глиняной чашке на столе привлекла внимание Фотия. Протянув руку, он оторвал свежий листок и долго растирал его между пальцами. Приятный терпкий запах разнесся по кабинету. Он напомнил о монастыре святого Маманта. Каждое утро игумен монасты-

ря присылал Фотию свежий букетик этого дикого, но приятного цветка и подробные сведения о сторонниках Игнатия. Их оказалось немало. По приказу кесаря удвоили число дозорных у городских ворот, включив туда и представителей церкви, которые должны были следить, кто приходит и уходит из города. Самых ярых единомышленников Игнатия, братьев Иоанна и Киприана из районов, граничащих с сарацинскими землями, задержали по пути в Константинополь. Люди из старой Эллады тоже куда-то пропали, и о них ничего не было известно. Не слышно было и об архиепископе Херсонеса, Георгии. Фотий надеялся, что его либо вразумило слово Константина, либо навеки успокоила десница асикрита. Все делалось для того, чтобы на соборе не было сторонников Игнатия, но, если кто-нибудь и смог бы проникнуть туда, голос его остался бы голосом вопиющего в пустыне... Основательно подготовил дело сиракузец. Заранее известно было, кто когда выступит и что скажет. Расправу собирались учинить ошеломляющую, окончательную. Представителям папы не оставалось ничего иного, кроме как сообщить Николаю о полном единстве константинопольского духовенства, возглавляемого Фотием. Долго прикидывали заговорщики, когда предоставить слово папским легатам. Если дать вначале — содержание послания Николая может испугать духовных лиц. Возвышенное, назидательное, с множеством пожеланий и напутствий, оно могло отрицательно повлиять на ход дела. Решили пойти на переговоры с легатами. Григорий Сиракузский предложил попробовать подкупить их. Он уже ходил по этой дорожке, когда ему самому надо было искать защиту в Риме. Тогда Игнатий выдвинул против него обвинения. Григорию помог Захарий, епископ из Анани, который теперь прибыл в Константинополь — за немалые деньги, разумеется. Рука, привыкшая брать, и на этот раз не устоит перед искушением, если оно будет, конечно, достаточно сильно.

Воспользовавшись временным отсутствием Радоальда, второго папского легата, Григорий посетил Захария. Он застал его, когда тот, полулежа на ворсистом ковре, пробовал какие-то напитки янтарного цвета. На медном подносе красовались соленый миндаль, сушеный инжир, сочные апельсины. Капля янтарного сока была и на бороде епископа. Увидев Григория, он только слегка приподнялся, поудобнее устраивая подушку за спиной. Сиракузец сел, не ожидая приглашения, поздоровался и принялся за миндаль.

Однако, прежде чем съесть первый орех, он поблагодарил Захария за прежнюю помощь, спросил, как здоровьице, все ли в порядке, а если что-то не так, то, мол, давайте помогать друг другу. Эти любезности, разумеется, были только вступлением, но Григорий не торопился: сопровождающему Радоальда было ясно сказано, сколько времени надо таскать его по базарам и церквам.

Захарий отвечал кратко и строго, будто хотел сказать: ты никак дурака пришел валять? Заперли нас здесь, прибегаете к угрозам, а как что нужно — то давайте помогать!.. Льстивость Григория раздражала его, и он не выдержал:

— Имей в виду, Фотий потерял чувство меры. Папа не простит такого отношения к своим послам.

— Но в чем дело? — удивился сиракузец.

— Ни в чем! Кто мы — легаты папы или пленные вашего Фотия?

— Не понимаю! — Григорий пожал плечами.

— Неужели? Едим, пьем, но о деле, ради которого мы прибыли — выслушать обе стороны,— прямо ничего не говорится, нас лишь успокаивают!

— Быть этого не может!

— Не прикидывайся дурачком! — повысил голос Захарий.— По крайней мере не со мной, мы слишком хорошо знаем друг друга. Ты ведь боролся против Игнатия, борешься и теперь... Может, это твои люди мешают нам?

Последние слова разозлили сиракузца. Опершись руками на сильные колени, он посмотрел легату в глаза и сказал:

— Все верно, владыка, я тебе мешаю, и мои люди тоже. Ты правильно понял, мы не разрешим вам сделать и сотой доли работы, порученной Николаем. Давай поговорим как мужчины, которые знают друг друга. За ту помощь — тогда ты получил две мошны * шершавых номисм... Я себя защищал, во столько себя и оценил... Теперь защищаю патриарха и престиж константинопольской церкви. И оцениваю этот престиж в пятнадцать мошон. А ты во сколько?.. Говори, пока не вернулся Радоальд.

Предложение тут же успокоило обиженного Захария. Потерев лоснящийся от пота лоб, он лениво ответил:

— Что-то мне показалось, ты покупаешь только авторитет вашей церкви. А как же Фотий?

— Даю еще пять...

— Идет. Когда я получу все?

— Десять сейчас, остальные после собора.

Григорий Асбест поднял голову и хлопнул в ладоши. Через минуту в двери показался тощий священник.

— Пока десять!..

Тот развязал тяжелый мешок и достал необходимое количество мошон. После его ухода сиракузец наклонился к легату:

— А как быть с Радоальдом?

— Не больше десяти. И им рад будет, так деньгами сорит.

— Хорошо.

— И... ни слова об этом.

— Ты меня обижаешь! — сказал Григорий.

Спускаясь по лестнице, он уже ругал себя за расточительство... Впрочем, ничего страшного, всего десять мошон. Даст, может, еще пять, остальные — себе. Не будет же он надрываться ни за понюшку табаку! Фотий вряд ли догадается подбросить ему деньжат. Эта мысль успокоила сиракузца, он заспешил домой, путаясь в подоле рясы. На следующий день второй легат удовлетворился восемью мошнами. По-видимому, он реже брал взятки, поэтому долго охал и вздыхал, укладывая их в суме. От него требовалось только не настаивать на зачтении папского послания, что не должно было затруднить его, ведь предводителем миссии считался Захарий, хотя его никто не назначал, а он сам присвоил себе такое право, но теперь это оказалось на руку епископу из Порто.

С тех пор как оба получили денежки, у них пропало всякое желание выходить, встречаться с кем-либо — а вдруг кто-то позарится на их добро. Радоальду дали восемь мошон, и он просто не знал, что делать, от радости. Оправдание перед папой придумал тут же: они были изолированы, заперты в комнатах и жили, мол, под угрозой смерти... Но что скажет Захарий? Если он тоже будет молчать, дело ясное: сума тоже полна, и волей-неволей ему придется петь ту же песню. Вот и он никуда не выходит. Значит, и его подмазали, с тревогой подумал епископ из Порто, сколько же Захарий взял? Хитрая бестия, наверняка больше хапнул, как минимум мошон десять-пятнадцать. Лопнуть можно от злости!.. Ну что ж, он предводитель, ему все-таки полагается больше — и тут внутренний голос епископа замолк. Большие затруднения начались, когда открылся собор. Им не хотелось уходить из комнаты. Они преодолели страх, лишь догадавшись часть мошон заткнуть за пояс, под рясу. При выходе епископы заметили друг у друга утолщение в области поясницы. В зале они, как наседки, сидели на своем богатстве с серьезным и сосредоточенным видом и думали только об одном — скорее бы вернуться к себе в комнаты. В перерывах не вставали с мест и, как истинные посланцы папы, не разговаривали с представителями ни одной из сторон, озабоченные, холодные и отчужденные... Прения, не волнуясь, пропускали мимо ушей. Защитников Игнатия почти не было. Сам он сидел в первом ряду, постаревший и мрачный, бесконечно удивленный градом обвинений, обрушившихся на его голову. Казалось, что говорят о другом человеке. Он не совершил и сотой доли того, что ему приписывали, но защитить его было некому. Легаты молчали, друзья будто сквозь землю провалились. Игнатий не видел в зале ни митрополитов старой Эллады, ни Георгия из Херсонеса, ни Иоанна и Киприяна. Присутствовало двое или трое его сторонников, но их голоса терялись в общем шуме. Игнатий пожалел, что явился сюда. Когда ему разрешили говорить, он долго не мог вымолвить ни слова. Все-

таки старец взял себя в руки и слабым, дрожащим голосом произнес:

— Я честно служил богу и василевсу, и за эту честность — вот до чего я дожил! — меня оплевывает людская злоба. Но так всегда и бывает, когда беззаконие рядится в одежды святой невинности, а рука нехристя поднимает крест господень и прячется за ним! Я стар уже... Скоро, может, постучу во врата небесные, чтобы сообщить правду о страшной подлости, о пороках, множащихся на земле господней. Я патриарх добра, место моего престола — среди справедливых. А сквернословие и престол дьявола оставляю вам, владейте этим престолом, пока бог не обрушит на вас свой гнев и не изгонит вас, как его сын — торговцев из храма! Ваши продажные души давно позабыли путь к небесам. Вы созданы из грязи; никто из вас, хуливших меня здесь, не поднялся выше этой грязи, вы точно слепые кроты, для которых небо — тьма подземелья, а ваша духовная пища — пороки и ложь. Так ешьте ее до конца дней своих, а меня оставьте владеть добром. Я не имею ничего общего с вами, посему не ставлю свою подпись под вашим решением лишить меня места, которое занимал я в этом проклятом городе! Я верю только в одного судью — в бога! Он все видит!..

Подняв седовласую голову, Игнатий уверенным шагом пошел к выходу. Все расступились, освобождая ему дорогу. И мало кто смотрел старцу в глаза... Большинство уставилось в пол. Ибо истинны были его слова.

Триста восемнадцать митрополитов подписали решение собора свергнуть Игнатия и утвердить Фотия.

Победа была обеспечена, но она не обрадовала его... Душа Фотия погрузилась во мрак, и от этого он был тоскливо-печальным и озлобленным на всех и на себя...

9

Дни стали холоднее. По всей Таврии ощущалось приближение зимы. Пронизывающий влажный ветер, налетавший из дальних неизвестных степей, свистел в ветвях деревьев, на широких улицах, в крышах домов, покрытых римской черепицей. Иногда, как бы гонимые злым ветром, взмывали вороньи стаи, закрывали, будто огромной черной рясой, небо над городом и оглашали пространство резким тоскливым карканьем.

Константин собирался отправиться в страну хазар, но сборы затягивались. Церковная распря охватила город и его окрестности. К нему непрерывным потоком шли различные духовные лица с жалобами на митрополита Георгия. Жалобы были личные. И лишь

епископ Павел обвинял Георгия в несоблюдении церковного запрета обрезания. В городе и окрестностях жило множество иудеев. Они свято чтили Ветхий завет и законы Моисея. Георгий отступил перед их упорством и закрыл глаза на иудейские обряды. Вдали от главы церкви он чувствовал себя чуть ли не самостоятельным патриархом, менял догмы и решал вопросы, выходившие за пределы его полномочий. В свое время патриарх Игнатий предоставил ему широкие права, но теперь Георгий становился все более неуверенным. Он писал ссыльному патриарху, что будет поддерживать его. И в самом деле, архиепископ энергично боролся против Фотия, предавал его анафеме, не считался с его распоряжениями. Первый разговор Константина с Георгием состоялся в присутствии Мефодия и асикрита Феодора. Архиепископ даже слушать не хотел ни одного доброго слова о Фотии. Это упрямство рассердило Философа, и он произнес такую защитительную речь, что тот умолк. Мефодия удивил пыл брата, а асикрит Феодор был просто ошарашен этой речью. Наверное, в столице Феодору немало наговорили против братьев, и сейчас он не мог скрыть своего удивления Константином... Вряд ли самому Фотию приходилось слышать подобную речь в свою поддержку. Чтобы прикрыть поражение, архиепископ Херсонеса неуверенно сказал:

— Но ведь выбор Фотия незаконен! Порядок восшествия был нарушен...

— А разве святым апостолам нужен был церковный порядок, когда они брали божий крест?

Они расстались хотя и не врагами, но уже не друзьями... Второй разговор прошел более ровно, однако Георгий не сдавался. Константин понимал, что за спиной у него — сосланный Фотием архиепископ Митрофан.

— Подумай, хорошо подумай, пока мы будем путешествовать по земле кагана!

На этом они расстались. Константин не хотел продолжать разговор. Раз так думает, его дело. Трудно выпрямлять старое дерево. Павел оказался иным человеком, сговорчивым, и Философу захотелось взять его с собой в поездку.

Как ни стремился Константин к цели, он все не мог оторваться от этого города, населенного людьми разных верований. У его дверей постоянно кто-либо стоял в ожидании: чтобы получить благословение или чтобы поспорить, как, например, самаритяне из соседнего дома. Старый самаритянин и его сын вели большую торговлю золотыми вещами. При встрече с Константином они всякий раз старались блеснуть познаниями. Однажды принесли книги на своем языке. Перекрестившись, Философ, к их великому удивлению, стал читать. Лица старика и парня вытянулись, глаза округлились от изумления и испуга. Константин давно научился читать на их языке, еще до поездки

к сарацинам. Разумеется, торговцы не подозревали об этом и решили, что знание пришло к Константину мгновенно, благодаря силе креста.

И сын сразу же захотел принять христианскую веру. Вскоре после крещения он получил добрую весть: ему завещалось наследство от родственника матери. Конечно, это совпадение тоже приписали новой вере, и отец вслед за сыном принял христианство... Слух, что Философ может толковать любые письмена с помощью крестного знамения, прославил его на весь город. Затем ему показали несколько старинных предметов с интересными надписями. Он без труда прочитал их, ибо они были на древнееврейском языке. Сложнее было с диалектами. Потом в руки попала древнееврейская книга, автор которой впервые пытался упорядочить правила языка. Изучив ее, Философ систематизировал правила по восьми разделам. Это могло пригодиться ему при разговорах с хазарами — известно было, что они чтят иудейскую религию. Константин удивлял людей познаниями, но вскоре пришла и его очередь удивляться. Однажды Савва привел какого-то старика с длинной бородой и глазами цвета синего неба. Отвесив глубокий поклон, посетитель протянул Философу новенькое евангелие и псалтырь и заговорил на языке, который был во многом подобен языку его матери. Книги были написаны буквами, взятыми из нескольких знакомых азбук и дополненными переписчиком подобными им знаками. Этих знаков было немного, и они редко встречались в словах. Разобравшись в их звуковом значении, Константин стал читать псалтырь. По-видимому, составитель азбуки слабо владел греческим языком, перевод был плохим. Из беседы с гостем Константин узнал, что он русич, родился в стране больших рек, но давно поселился в Херсонесе и принял веру Христа. Чтобы легче понять учение Христа, русич придумал эти знаки и перевел евангелие и псалтырь на родной язык. Не это удивило Константина. Разве отец Климента не написал книгу рода на болгарском языке? Его поразило упорство русича. Целые ночи, напрягая старческие глаза, переписывал он книги азбукой, которая известна только ему и которую он унесет с собой в могилу. Зачем? Кому это нужно? Он ведь живет далеко от своего народа, да и его народ все еще чтит языческие божества и идолы! А этот старик обогнал своих в развитии, создал нечто, что имело бы бóльшую цену, если бы оно было предназначено многим людям. Но он одинок в чужом городе, и жить ему осталось немного...

Беседуя со стариком, Константин убеждался: язык его дедов и отцов полноводен и многозвучен, целый океан людей ждет просвещения и книг. Был бы русич помоложе, Философ взял бы его с собой: он любил людей, постоянно углубляющих свои познания. От него Константин узнал множество легенд. Особенно его заинтересовало предание о могиле святого Климента Римского, старик обещал пока-

зать место захоронения... Когда святого привезли сюда в ссылку, он не захотел сидеть сложа руки, а непрестанно собирал людей и поучал их. Узнав об этом, стражники повели его на берег, повесили на шею якорь и бросили в воду. Рыбаки, любившие мудреца, выловили его тело и, вырыв могилу, положили туда. Эту легенду старый русич записал в конце псалтыря, чтоб люди помнили о ней... Философ обратил внимание, что бородатый гость ни разу не сказал «Херсонес», а все называл его по-своему — «Корсунь». Легенда не выходила у Константина из головы, он мечтал найти мощи святого. Философ неустанно бродил по предполагаемым местам захоронения, отыскивая его по указаниям старых писаний. В ночь на воскресенье он заснул поздно и увидел странный сон: два блуждающих огонька манили его на ту сторону моря. Перекрестившись, он спросил их: «Далеко ли ведете меня?» И они ответили: «К Божьему потоку...»

Константин проснулся рано и сразу же послал за митрополитом Георгием.

Утром весь клир во главе с философом поплыл на корабле в направлении Божьего потока. Над морем понеслись торжественные песнопения, кадильный дым. Первым на берег сошел Константин. Остановившись на бугре, куда огни привели его во сне, он твердо сказал:

— Здесь!

— Здесь! — повторил архиепископ.

Люди стали копать. Над ними плыли темные облака, шел холодный дождь, время от времени выглядывала луна. Песнопения и удары кирок не стихали всю ночь. На рассвете Константин опустился в яму, чтоб посмотреть, взял кирку и... ударил о камень. Под ногами гулко отозвалась большая каменная плита. Когда ее отодвинули, со дна могилы пахнуло запахом перегоревших трав и поднялось облако пыли. На дне лежали останки человеческого скелета, у черепа — плоский глиняный светильник и якорь. Когда мощи святого уложили в специальный ларчик, всех охватила неописуемая радость. Никто не сомневался, что это мощи святого Климента Римского, сосланного императором Траяном в Херсонес.

Константин взял ларчик, поставил себе на голову и, поддерживая его руками, ступил на корабль. Скороход Дигица тут же помчался по суше, чтобы известить о чуде. И когда корабль приблизился к Херсонесу, городское население уже стояло на берегу во главе со стратигом Никифором: все вышли навстречу святым мощам. Месяц почти прошел свой путь по небу, и над городом занимался рассвет. Мощи положили в близлежащую церковь святого Созонта, где был отслужен благодарственный молебен, а после этого перенесли в большую церковь святого Леонтия.

Истинное торжество состоялось утром. Собралось множество

людей, чтобы участвовать в торжественной процессии перенесения святых мощей в кафедральный собор. Там Константин рассказал о жизни и смерти святого Климента Римского... Пошел снежок. Несколько веселых снежинок спустилось на землю, ветер тут же сдул их, и больше снег не падал. Лишь туман, тяжелый и влажный, пополз со стороны моря, заставляя людей поскорее уходить в теплые дома.

В эти дни философ не расставался с книгами. Язык самаритян оказался несколько иным, чем языки других иудейских племен, их письменность была более древней, чем иудейская. Константин решил полностью усвоить ее. Перелистывая книги самаритян, он прослеживал их путь. Это племя обитало между Иудеей и Галилеей, их столицей была Самария. Они гордились своим древним происхождением. Это отдалило их от других иудейских племен и пристрастило к изучению самой старой еврейской письменности. Ныне, в земле хазар, она стала общегосударственной. Поначалу язык хазар с трудом давался Константину. Савва, который в те годы, когда был рабом, не раз жил вместе с пленными хазарами, разговаривал по-хазарски гораздо свободнее. Он и помог своему учителю быстро усвоить язык. Из-за холода и переполнявшего его чувства радости по поводу открытия святых мощей Константин решил отложить поездку к хазарам на весну. Эта новость была восторженно принята Саввой, Гораздом и Ангеларием, которые без устали бродили по землям Таврии, посещали все новые и новые селения и, удовлетворяя свое любопытство, открывали забавные верования, обряды и смешные магические обычаи, все еще бытующие в этих землях, расположенных на перекрестке кочующих племен... Холод отступал. Зима была на исходе.

Но прежде, чем проснулась земля, вторглись хазары и осадили ближайший византийский город. Эту весть принесли ученики. Стратиг Никифор растерялся: раньше таких набегов было немало, но они прекратились с тех пор, как каган попросил прислать ученых из Константинополя. Выйти против них означало бы нарушить мир. Да и войско у стратига было слабовато. Для обороны сил хватало, для нападения — нет. Братья решили пойти в хазарский лагерь. Когда они прибыли туда, холодное солнце уже садилось. Сначала военачальник принял их неприязненно; узнав, однако, что они и есть посланцы далекой византийской столицы, стал любезнее. Константин попросил его снять осаду города и предупредить кагана об их приезде, попросил также дать своих сопровождающих по Меотийскому морю *, упомянул и о дарах василевса. Хазарский военачальник выполнил все просьбы.

Мефодий загорел, усталость изменила походку — хромота проявилась сильнее. Мысль о близящемся возвращении печалила его. Сначала поездка, особенно вдоль побережья Таврического полуострова, доставляла ему удовольствие. Красивые склоны и пышная южная растительность то и дело вызывали восторженные возгласы столпившихся на палубе путешественников. Зеленые берега, охваченные неудержимым порывом весны, блистали всеми красками пробуждения жизни. Природная стихия полностью овладела узкой прибрежной полосой, так что кое-где густые леса, опутанные лианами и повиликой, стояли по колено в воде. А надо всем этим — небо, синее и спокойное, как в колыбели, специально для него сотворенной. В Керчи корабль остановился на день, пополнил запасы питьевой воды и пересек Меотийское море в направлении хазарской крепости Саркел. Уже издали крепость радовала глаз своим величественным видом. Ее каменные стены были построены византийцами. В свое время каган попросил императора Феофила послать ему строителей, и он, не торгуясь, выполнил его просьбу. Зато византийцы прекрасно знали все слабые места крепости. Одновременно со строителями в Херсонес был послан брат Феодоры и Варды — Петропис, назначенный византийским стратигом Херсонской фемы и получивший задание поддерживать добрые отношения с хазарами. Когда кесарь возвысился, он отозвал брата из Херсонеса и поручил ему командование частью войск. Крепость встретила иноземцев большим шумом. Любопытный народ запрудил узкие грязные улочки, надеясь выклянчить или спереть что удастся у зазевавшихся путешественников. Савва, знающий нравы хазар, предупредил: надо быть начеку. Как все кочевые народы, хазары не считали кражу преступлением, привыкнув брать все, что попадалось на пути. Хотя хазары уже осели в городе, однако еще не изжили эти вековые привычки. Люди кагана в Саркеле уведомили миссию, что он ожидает их в летнем дворце у Каспийских ворот — там, где три хребта Кавказских гор спускаются к морю. Путь в столицу Итиль был сравнительно легким: по Дону и затем краткий переход до устья Волги. Но путь от Саркела до Дербента шел по суше. По безводным степям. Под палящим солнцем. Минуло уже более трех дней, как они прибыли в город, но они все еще чувствовали себя усталыми. Лишь Савва бродил по городу, принося то смешные, то тревожные известия. Со всей хазарской земли собирались мудрецы, представляющие обе враждующие религии — иудейскую и магометанскую. В свое время иудеев, изгнанных из родных мест, вытеснили в земли Таврии, и они неспокойной волной разлились по хазарским городам и аулам, все более и более успешно распространяя свою

веру. Магометане тоже не сидели сложа руки, но их влияние было незначительным, ибо между ними и хазарами шли непрестанные войны, а к врагам, как известно, всегда относятся с подозрением, даже когда они предлагают обмен ценностями. Кроме того, в спорах обычно побеждали иудеи, и потому магометанская вера ценностью не считалась. Сам каган колебался между двумя этими религиями. Веру предков он отверг: она уже не помогала ему вести дела, а в глазах знатоков была смешной и недостойной такого государства и такого властелина. Поэтому ему захотелось узнать и веру Христа, чтобы можно было выбрать одну из трех. Мудрецы приезжали с большим шумом — в основном из Итиля,— на запыленных мулах, с сумами, полными книг. Привязав мулов к ограде дворца, они не торопясь усаживались в тени деревьев, ожидая диспута. Порой разгорались такие ожесточенные споры, что голоса были слышны в комнате братьев. В спорах было что-то по-восточному яркое и необузданное, будто побеждал тот, у кого голос крепче. Стражники кагана невозмутимо стояли, точно глухие, вмешиваясь лишь тогда, когда, помимо языков, пускались в ход кулаки. Однажды Константин из своего окна наблюдал за подобным спором. Ошарашенный этим балаганом, он поднял на Савву улыбающиеся глаза.

— Тут спорят фанатики и необразованные, учитель,— сказал тот.— Настоящие мудрецы сидят у фонтана.

Савва оказался прав. Седобородые мудрецы сидели, опустив ноги в воду фонтана, вслушиваясь в себя, и их бороды двигались редко — значит, их уста редко отвечали на задаваемые вопросы.

— Эти самые опасные,— продолжал ученик.— Они могут одолеть любого, и не столько мудростью, сколько верблюжьим терпением.

Мефодий, который впервые очутился в таком месте, держался вблизи Константина. Вскоре после того, как миссия выехала из Саркела в Дербент, сопровождавший ее представитель кагана втянул Константина в спор. Первый вопрос был каверзным — он, видимо, хорошо обдумал его.

— Почему вы придерживаетесь плохого обычая, согласно которому царя из одного рода заменяете царем из другого рода? Мы всегда соблюдаем родовую преемственность.

Константин, не задумываясь, ответил:

— Бог ведь тоже на место Саула, не совершившего ни одного богоугодного дела, поставил Давида, который был верен богу и своему роду.

Доверенный человек кагана понял ответ, но отступать не хотел:

— А почему вы всегда спорите и защищаете свое мнение с Библией в руках? У нас вся мудрость исходит из головы, и мы не хвастаемся Писанием.

Улыбнувшись, философ сказал:

— Я отвечу тебе так: если ты встретишь нагого человека и он скажет: «У меня много одежд и золота», поверишь ли ты ему, видя его нагим?

— Нет!

— Вот я тоже не верю тебе. Если ты так полон мудрости, тогда скажи, сколько родов было от Адама до Моисея и сколько лет властвовал каждый из них?

Хазарин прибавил шагу, не сказав ни слова в ответ. Но он был просто человек кагана, даже не подозревавший, с кем имеет дело... Группа мудрецов в саду тревожила Мефодия. Успокаивал, правда, факт, что брат не раз участвовал в таких диспутах и всегда побеждал.

Обед, на который каган пригласил миссию, был тоже хитрым испытанием. Мефодий только диву давался спокойствию брата. Чашники и виночерпии стояли вдоль стены, а распорядители сновали туда-сюда, указывая гостю его место в зависимости от сана и звания. Когда вошли братья, главный распорядитель, поклонившись, выждал, пока Константин преподнес дары, передал кагану благопожелания от василевса и громко сказал, подчеркивая каждое слово:

— Согласно законам хазарского народа, мы всегда рады дорогим гостям. Но солнце одно, а звезд много, и каждая знает свое место — так и люди сидят вокруг нашего кагана каждый соответственно своему посту и сану. Какой у тебя сан, чтоб я знал, какое место тебе указать?

Константин должен был ответить при всех. Он сказал:

— Был у меня великий и прославленный дед, который сидел близко от царя. Но, отвергнув оказанную ему большую честь, он вынужден был покинуть город и уйти в чужую землю, где и родил меня в бедности. Я захотел достичь былой чести деда, но не сумел, ибо внук Адамов есмь...

Каган понял шутку и сказал, указывая философу место напротив себя:

— Уместно и правильно говоришь, дорогой гость.

Когда все уселись за богатые столы, властелин хазарской земли, звеня золотыми украшениями на руках, поднял чашу:

— Выпьем во имя единого бога, создателя всего живого...

Взяв бокал, Константин добавил:

— Пью во имя единого бога и его слова, ибо словом создал он всякую тварь и утвердил небеса, и во имя животворного духа.

Каган же, неопределенно улыбнувшись, отчего его угрюмое лицо слегка просветлело, пояснил:

— Вот мы обо всем одинаково говорим, но по-разному думаем. Вы славите троицу, а мы, соблюдая Писание, лишь единого бога...

Философ не хотел остаться в долгу перед хозяином, поэтому сказал, все еще с бокалом искристого вина в руке:

— Писание проповедует и слово, и дух. Ежели кто чтит тебя, но не чтит твое слово и дух твой, а другой чтит и тебя, и слово, и дух, кто из них больше уважает тебя?

— Тот, кто чтит все вместе,— улыбнулся каган.

— Поэтому мы поступаем лучше, доказывая это примерами и слушаясь пророков. Ибо сказано у Исайи: «Послушай Меня, Иаков и Израиль, призванный Мной; Я тот же, Я первый, и Я последний; И ныне послал Меня Господь Бог и Дух Его...»

Разговор, начавшийся со здравицы, превращался в диспут. Мефодий видел явное нетерпение некоторых приближенных кагана, которые хотели пойти на выручку своему властелину и принять удар на себя, чтоб спасти его от словесного поединка, ибо он проигрывал его на глазах у всех. Особенно волновался тот, кто сидел с левой стороны от хозяина,— один из старцев, отдыхавших у фонтана. Его острое птичье лицо с горбатым носом и редкой седоватой бородкой утратило спокойствие, и по нему пробегали тени нервного возбуждения. Наконец он зашевелился, чтобы привлечь внимание, и попросил слова:

— Мы собрались здесь, чтобы подкрепить свои силы яствами с гостеприимного стола во дворце кагана великой Хазарии, и вот уже тянемся к узлу, который всегда завязывается при встрече двух разных дорог из разных стран... И я хотел бы тоже взяться за этот узел: как это женщина может вместить в своей утробе бога, на которого не может даже взглянуть, а тем более родить?

Закончив вопрос, мудрец вытер ладонью тонкие губы и облокотился на подушку в ожидании ответа. Константин понял его хитрость — перевести разговор на себя, а потому, указав на кагана, решил снова прибегнуть к примеру:

— Если кто скажет, что первый советник не может пригласить кагана в гости, и тут же скажет, что последний его слуга может пригласить в гости кагана и оказать ему любые почести, как назовем мы такого человека: умным или безумцем?

— Безумцем, безумцем! — крикнуло несколько сотрапезников.

В этот момент Мефодий заметил в глазах брата огонь внутреннего торжества, а Константин быстро задал второй вопрос:

— Какое живое существо достойнее всех?

— Человек, ибо он создан по образу и подобию божьему! — ответили те же голоса, бессознательно поддавшись его порыву и внутренней убежденности.

— Как тогда не назвать безумцами тех, кто утверждает, будто бог не может уместиться в человеке? Разве он не уместился в купине, и в облаке, и в грозе, и в дыму, когда являлся Моисею и Иову?.. Разве можно лечить одного, когда болен другой? Если человеческий

род начинает погибать, то от кого получит он обновление, как не от своего создателя? Скажите мне: когда врач хочет поставить больному горчичники, неужели он поставит их на дереве или на камне? И вылечит ли он этим больного, сделает ли его здоровым? А почему Моисей, вдохновленный святым духом, изрек в своей молитве, простирая руки...— Тут философ остановился, чтобы припомнить место из Старого завета в переводе Акилы, которое, как он полагал, пригодилось бы ему сейчас, и при этом никто не усомнился бы в его истинности. Вспомнив цитату, он поднял указательный палец.— «Не являйся нам больше, милосердный господи, ни каменным громом, ни трубным гласом, но вселись в наши утробы и избавь нас от грехов наших...»

После его слов воцарилась полная тишина, и только каган сказал:

— Хороших гостей послал нам василевс, не будем оставлять их голодными...

Все согласно кивнули, и просторный зал заполнился звоном чаш и стуком посуды.

Довольный первыми шагами миссии, Мефодий тайком пожал руку брата. В конце обеда был определен и день большого диспута во дворце кагана.

11

Дети резвились на поляне, и Борис остановился полюбоваться ими. Он давно уже не задерживался около них, занятый своими мыслями и делами. Расате вымахал не по годам. Он рос своенравным, не очень-то задумывался над своими поступками и дружил с теми, кто был меньше его. В его голове с невысоким приплюснутым лбом медленно рождались мысли, остававшиеся для отца тайной. Борис понимал их лишь тогда, когда сын делал какую-либо пакость. Скрытный у него был характер, скрытный, и это пугало отца. Анна и Гавриил [1] были совсем иными: любили ласку, теплое слово, похвалу. Спешили посоветоваться или спросить, прежде чем сделать что-то, в правильности чего у них были сомнения. Расате часто бил их, командовал ими. Несмотря на то что он был старшим, он все еще вел себя как ребенок. А может, слишком рано понял, что он первый наследник и остальные должны ему подчиняться?.. Борис пытался постепенно оторвать его от ребячеств, наставить на истинный путь, чтобы, когда Расате встанет во главе государства, он не пасовал перед неожиданными трудностями. Но Расате воспринимал уроки отца как-то нехотя,

[1] Их протоболгарские имена неизвестны.— *Прим. автора.*

Единственное, что привлекало его,— это очертя голову скакать на полудиких конях, нисколько не заботясь о том, какие тревоги это вызывало дома. Когда он садился на лошадь, его лицо становилось злым; он не слезал с нее, пока не подчинял себе. Непревзойденный джигит! Но безрассудство его совсем не радовало отца. Наследник должен ко всему подходить разумно. Хочешь быть добрым и к себе и к народу — не увлекайся, умеряй страсти... Дети резвились на поляне. Зеленая трава будоражила, они вели себя как молодые барашки во время первой весенней пастьбы. В живости Расате и неловкости Анны Борис узнавал себя самого и с радостью думал, что человек не совсем уходит из этого мира. Все еще повторится — в улыбке, гримасе, легком шмыгании носом или в походке. Глядя на самого младшего, на Гавриила, он видел свою походку: плечи развернуты несколько назад, ступни ставятся пальцами внутрь, не сильно, а слегка. Брови и волосы были у Гавриила от матери. Но, как отец, он одинаково ловко действовал и правой и левой рукой. Расате внешне походил на деда Пресияна, но скрытность характера унаследовал от второго дедушки, отца Косары. «Впрочем, что это я прицепился к мальчику? Молодой еще, потому и буйный — из молодой пшеницы разве испечешь хлеб, разве приспособишь для работы жеребенка? С сегодняшнего дня надо отдать его дедушке Иртхитуину. Пусть он и Сондоке позаботятся о воспитании престолонаследника. Потом можно будет отдать его Ирдишу. Уж тот постарается научить племянника уму-разуму, обратит его на путь истинный. Ирдиш свое дело знает». При мысли о младшем брате Борис виновато улыбнулся. Он долго держал его в стороне от государственных дел, не доверяя ему. Все казалось, тот завидует, держит камень за пазухой. Эти сомнения развеялись самым неожиданным образом. Однажды они охотились в лесах Хема, хан погнался за серной, оторвался от своих людей и на обратном пути вывихнул ногу. Стемнело. Он был близок к отчаянию, когда вдруг наткнулся на Ирдиша. Борис внушил себе, будто брат только и ждет удобного случая, чтобы расправиться с ним, но Ирдиш, увидев его вспухшую ногу, чуть не расплакался. Он взвалил Бориса на спину и нес до тех пор, пока они не нашли людей. Этот вечер снял все подозрения. Хан возвысил Ирдиша, и канатаркан стал его надежной опорой в государственных делах. Он был умным советником. Борис жалел, что так долго не допускал его к управлению государством. Теперь Ирдиш управлял Старым Онголом, и жалоб на него от тарканов не поступало.

Хан позвал сына; Расате неохотно прервал игру, подошел к отцу, поклонился.

— Завтра утром зайдешь ко мне.

— Хорошо, отец.

Борис вскочил на коня и отправился в Плиску, оставив на поля-

не, за рвом, детей, за которыми присматривала мать Бориса и слуги. Вот уже десять дней, как миссия Людовика Немецкого была в Болгарии. Хан не забывал о навязанном ему мире и не спешил проявить к миссии уважение. Тем более что он знал, о чем они будут просить. Карл Людовик Немецкий нуждался в помощи для подавления бунта в Каринтии, который возглавил его родной сын, Карломан. Он поднял оружие против отца, чтобы отправить его в царствие небесное и самому сесть на трон. Как простить такое кощунство?! Но... Карломан ли самый опасный враг Людовика? Он вряд ли взбунтовался бы, не будь поддержки великоморавского князя Ростислава. Будучи правителем восточных земель в отцовской империи, Карломан сблизился с Ростиславом и отказался подчиняться отцу. Король Людовик знал, что оба его врага ищут союзников и уже договорились с хорватским князем, в столице которого побывало их посольство. Положение становилось тревожным, тем более что заговорщики собирались заручиться и поддержкой Византии. Поэтому король решил обратиться к болгарскому хану, надеясь богатыми дарами привлечь его на свою сторону. Спрыгнув с белого коня, хан бросил поводья слуге и упругим шагом направился в тронный зал. Великие бояре во главе с кавханом и братьями Доксом и Ирдишем ожидали его. Борис сел на золотой трон и оглядел присутствующих. В стороне сидел великий жрец — совсем уже старый. Его гноящиеся глаза были почти закрыты от старческой дремоты. Грязная одежда плотно укутывала толстые ноги, борода была закручена в косички, на которых виднелось множество узелков — против порчи. Брезгливо сморщив нос, хан перевел взгляд на остальных. Наряду с великими боилами Старого и Нового Онголов в зале присутствовали Онегавон, канабагатур Иртхитуин с сыном Сондоке, ичиргубиль Стасис — начальник внутренних крепостей, сампсисы Пресиян и Алексей Хонул. Был и таркан Белграда, сопровождающий послов Людовика Немецкого.

Первым говорил кавхан. Ознакомив с вопросами, которые предстояло обсудить, он попросил Алексея Хонула рассказать о положении в византийской столице. Алексей покинул Константинополь после ареста Феоктиста, ибо был одним из тех, кто замышлял заговор против Варды. Именно его воины должны были открыть крепостные ворота адрианопольскому стратигу. После провала Хонул успел спрятаться в городе и позже бежал на лодке в Одесос с четырьмя товарищами. После долгих мытарств трое добрались до болгарской границы и решили просить у хана защиты. Сначала их встретили недоверчиво. Лишь когда соглядатаи Иртхитуина подтвердили, что их рассказ правдив, Алексея приняли как положено в ханском дворе и дали ему титул сампсиса, то есть доверенного человека. Алексей — красивый стройный мужчина с холеной бородой — сегодня впервые пришел на Великий совет. Он подробно рассказал о заговоре, описывая нравы и

ссоры во дворце, но утаил имена тех, кого еще не раскрыли, а затем гневно обрушился на Варду, обвиняя его в жестокости и предвещая ему близкую смерть.

В конце Алексей обратился с призывом к хану и его советникам не терять зря времени, напасть на Царьград, пока там все увлечены церковными и политическими ссорами, ибо византийское войско находится на границе с сарацинами и столицу можно быстро и легко захватить.

Великие боилы встретили этот призыв молча. Немало правды было в словах Алексея, но, с другой стороны, вряд ли стоило доверять человеку, который спасся бегством и готов пойти против своей родины. Было во всем этом что-то нечистое и коварное. После Хонула говорил сампсис Пресиян — глаза и уши Старого (Задунайского) Огола. Он сообщил следующее: послы василевса прибыли в страну венгров и ведут переговоры о заключении с ними союза, который, по его словам, направлен исключительно против Болгарии; боилы донесли: по ночам с венгерской стороны слышится волчий вой — верный знак, что венгры готовятся к нападению. Сампсис был готов ознакомить Великий совет также с намерениями Карломана и Ростислава, но, подумав, уступил слово таркану Белграда. Тот говорил долго и обстоятельно, описывая возбуждение среди сербов, хорватов, великоморавян, а также в восточных землях Карломана. О переговорах с византийцами он не слышал, но извечный враг Болгарии, конечно, займет свое место среди ее противников... Эти слова рассеяли досаду от прежних выступлений. От имени задунайских тарканов он предложил подтвердить союз с Людовиком Немецким как необходимый стране и народу.

Когда обсуждение закончилось, стало ясно, что большинство советников — за болгаро-немецкий союз. Тогда ввели послов Людовика. Все четверо, не считая переводчика, были воины. Тяжелые сапоги, крупные тела, увенчанные массивными головами, казавшимися еще массивнее от обрамлявших их рыжих волос,— все это внесло в тронный зал нечто суровое и холодное. Эта холодность исходила также и от их серых глаз, и от их взглядов, которые они переводили с одного члена совета на другого. Сначала они поклонились Борису. По залу распространился запах дегтя от их сапожищ. Этот запах вытеснил аромат сожженных трав. Положив руку на грудь, предводитель подошел и протянул хану тонкий свиток, хан передал его Доксу. Выждав, пока германцы встали на место, Докс стал читать. В коротких неуклюжих предложениях Карл Людовик Немецкий приветствовал великого хана Болгарии, желал здоровья и успехов в мирной жизни и на поле брани, просил подтвердить заключенный ранее союз, посылая следующие дары — эти дары, от золотого подноса до лисьих шкур, перечислялись с немецкой аккуратностью.

Потом переводчик подал знак, внесли дары, свалив их в кучу посередине зала. Мехов было так много, что запах от них прогнал дегтярную вонь. Глядя на богатые дары, Борис испытывал удовлетворение, но виду не подавал.

Наконец германский король осознал свое положение. Столь щедрым может быть только благодарный или перепуганный человек. Золото пойдет в ханскую казну, а меха будут отданы этим людям в зале: пусть помнят, как германцы просили помощи.

12

Прошел и большой диспут. Он продолжался целых два дня. Сначала спорили о старшинстве законов, данных богом: надо ли следовать законам Моисея или Новому завету. Спор этот накалил страсти. Иудеи отказались считаться с явлением Иисуса и с Новым заветом, утверждая, что время помазанника божьего еще не пришло. Ссылаясь на пророков, Константин доказал, что чтить только свод законов Моисея — великое заблуждение, ибо задолго до Моисея бог дал закон Ною, наказав: «Вот, Я поставлю завет Мой с вами с потомством вашим после вас...» Иудеи на это ответили, что они, мол, считают заветом, но не законом божье повеление Ною. Спор затянулся, и философу пришлось обратиться к примерам из священных книг, чтобы убедить и опровергнуть их. Самый большой вес имели слова божьи к Иеремии: «Так говорит Господь Бог Израилев: Я заключил завет с отцами вашими, когда вывел их из земли египетской». Худощавый иудейский мудрец, помолчав немного, заметил:

— Можно согласиться с тем, что закон — это и завет, но те, кто соблюдал скрижали Моисея, были угодны богу. Мы тоже так поступаем и надеемся, что бог возлюбит нас. А вы, провозглашая новый закон, тем самым попираете божий!

Философ торжествующе посмотрел на него. Сделан первый прорыв в пользу Нового завета! Каган тоже заметил это. Друзья и ученики Константина радостно переглянулись: противники молчали, уставившись в пестрый ковер на полу.

— Нет, мы поступили хорошо! — возразил Константин и, сославшись на завет Ноя и на законы Моисея, тут же привел свидетельства их отмены. Он процитировал высказывание Иезекииля: «Заменю этот и дам вам другой!» Философ поднял руку: — Это сказал ему бог, а вот слова Иеремии: «Наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот

завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом...» И далее: «Остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: «Не пойдем». И поставил стражей над нами, сказав: «Слушайте звука трубы». Но они сказали: «Не будем слушать». Итак, слушайте, народы, и знай, собрание, что с ними будет. Слушай, земля: вот Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов Моих не слушали и закон Мой отвергли».

Философ осмотрел притихший зал.

— Разве надо еще говорить вам устами пророков, чтобы вы удостоверились в прекращении действия скрижалей Моисея? Зачем в таком случае вы убеждаете этот народ принять вашу веру, хотя она не является истинной?

Худощавый мудрец, однако, не сдавался. Он все листал старый список Талмуда и хотел было прочесть что-то еще, но сидящий слева от него человек положил руку на книгу и сказал:

— Каждый еврей знает, что так и будет. Но не пришло еще время помазанника...

— Зачем обманывать себя? — вскипел философ.— Разве не сбылись предсказания пророков и слова бога? И Иерусалим погиб, и жертвоприношений нет, и все сбылось. Малахия ясно говорит: «Нет Моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно Мне. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву». А Даниил, послушав ангела, сказал так: «...до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины»... А как вы думаете, что это за железное царствие, о котором говорит Даниил в сновидении?

— Римское! — хором ответили все.

— А камень, что сорвался с горы без прикосновения рук человеческих?

— Помазанник!.. Но если признать, основываясь на предсказаниях пророков и других доводах, что он уже пришел, то как ты тогда объяснишь, почему все еще удерживает власть римское царствие?

— Оно уже не властвует,— ответил философ,— оно отошло в прошлое, как всё из видения. Ибо не римское наше царствие, а Христово, как пророк и сказал...

Много энергии потребовалось Константину в первый день диспута. На следующий день спрашивал главным образом каган, желая уточнить некоторые вопросы религии. Философ отвечал ясно, приводил примеры, чтоб всем непосвященным было легче понять. В конце спора потребовала к себе внимания отвергнутая магометанская вера.

Сарацинский мудрец, хорошо знающий Константина со времени диспута в столице халифов, долго и чинно молчал, опасаясь его острой мысли. Но так как он рисковал потерять благоволение своих верующих в земле хазарской, которых и без того можно было перечесть по пальцам, то решил выступить. Погладив седую бороду и постучав по золоченой оправе Корана, старец попросил слова, но его опередил один из советников кагана:

— Скажи, философ, почему вы не чтите Магомета? Он ведь очень хвалил Христа в своих книгах, написав, что от девицы, Моисеевой сестры, родился великий пророк, который и мертвых воскрешал, и любые болезни вылечивал?

Константин встал и, повернувшись к кагану, ответил:

— Пусть властелин рассудит, а ты ответь мне: если Магомет — пророк, то как нам верить Даниилу, сказавшему, что после Христа кончатся все видения и пророчества? И может ли Магомет быть пророком, если он явился после Иисуса? Что же, нам отказаться от Даниила?

Тут вмешались иудеи:

— Даниил говорит по вдохновению божьему!

— Магомет — лжец и враг нашего избавления!

— Все, что он изрек,— зло и срамота!

Тогда советник обратился к сарацинскому мудрецу:

— С божьей помощью наш гость положил на лопатки гордых иудеев, а вашу веру и вовсе отбросил, как скверну...— И, обратившись к присутствующим, сказал: — Бог дал христианскому царю власть над всеми народами и истинную мудрость, дал и истинную веру, без которой никому не суждено жить вечной жизнью! Слава богу во веки веков!

Нестройный хор мужских голосов торжественно провозгласил:

— Аминь!

Это вызвало слезы на глазах Константина. Взволнованно, подняв руку, призвал он всех принять христианство.

На следующий день свыше двухсот знатных людей ступило на путь Христовой веры и мудрости. Когда братья выходили в город, люди, которых они встречали по пути, кланялись им до земли, а кое-кто целовал руку и просил благословения. Из тех, кто приняли христианство раньше, братья рукоположили нескольких священников, чтоб они не давали угаснуть пламени веры.

Почти месяц провели братья и их ученики в городе кагана, обучая новых последователей Христа. Но сердце уже тянулось к родным местам, к тишине Полихрона. В сущности, Константин тосковал не столько по покою, сколько по оставленной славянской письменности — истинному делу их жизни. Хазарское государство было как вихрь, кто ведает, куда пойдет оно завтра. Народ — разноплеменный,

и у каждого племени — свои законы. Так много верований, столько глупости и невежества — нет, не здесь светлая божья нива, о которой мечтают братья. Она ожидает их там, где живут люди одной с ними крови, и они торопились выполнить все поручения, чтобы поскорее двинуться обратно.

Кагану не хотелось расставаться с учеными людьми. Ему было приятно беседовать с ними и постепенно узнавать новую веру. Сам он не торопился с крещением. Он хотел властвовать над всеми верованиями. Принять христианство означало бы пренебречь теми, кто давно исповедовал иудейскую религию. Это могло бы усложнить его жизнь, а он хотел плыть по течению.

Братья прекрасно понимали его хитрые намерения и решили, несмотря на жаркое лето, отправиться в город Климента Римского. Каган послал им в подарок золото и драгоценные камни, но братья не приняли их. Они взяли только подарки для василевса и патриарха, а для себя попросили освободить византийских пленников.

В день отъезда за ними поплелись почти две сотни бывших пленников, оборванных, обессиленных от изнурительного труда и недоедания. Советник, приведший миссию в город кагана, проводил ее обратно в крепость Саркел. Каган простился с миссией у крепостных ворот и вручил свиток для василевса, в котором благодарил его за то, что он послал в Хазарию таких знатных и ученых мужей.

То ли от озлобления, то ли от незнания дороги, но проводник повел их безводными степями, под палящим солнцем. Изможденные пленные начали отставать, Константин велел ожидать их. Пока ждали, слуги и ученики искали в болотистой местности воду, но ее, горькую и соленую, нельзя было пить. Философ позвал брата, и они сели рядом. Недалеко от них блестел родник. Ленивые водяные жуки скользили по его поверхности, как по стеклу. Раскаленное небо отражалось в нем, губы трескались от жажды. И тогда философ сказал:

— Зачерпни этой воды. Тот, кто для израильтян превратил горькую воду в пресную, утешит и нас.

И они пили. И вода была холодной и пресной...

13

Они уже готовились к отъезду в Константинополь, и философ непрестанно выезжал в соседние города, проповедуя слово божье. В городе Фуллы он убедил людей срубить священный дуб, скрещенный с черешней и названный именем Александра, покорителя мира. Стратиг Никифор пригласил миссию на прощальный ужин. Пришел и

архиепископ Георгий. Философ все еще пытался убедить его не злословить, не выступать против Фотия, ибо люди — как трава: каждый уходит в землю, остается только добро. Но Георгий, находившийся под сильным влиянием сосланного Митрофана, упорствовал. Ужин близился к концу, чтобы уступить место веселию, и тут Константин увидел бокал вина, который Георгий только что выпил. Принесший его слуга как-то слишком торопливо и виновато удалялся. Тогда Константин жестом прервал шум и сказал:

— Благослови меня, отче, так, как сделал бы это мой отец...

А когда кое-кто втайне от архиепископа спросил его, почему он так сделал, философ ответил:

— Ибо утром покинет он нас, отправляясь к господу нашему...

Наутро колокола зазвонили по усопшему. Георгий скончался. Никто не понял силы пророчества, кроме слуги, заменившего бокал по приказу асикрита Феодора... Никогда не позволил бы Константин такой мерзости, да слишком поздно увидел — увы, он уже испил свою чашу. На следующий день Павел пожелал отправиться вместе с ними, чтоб участвовать в Константинопольском соборе, который второй раз должен был утвердить Фотия патриархом. Константин сказался больным, чтобы не ехать сейчас и прибыть в столицу после окончания собора. Приближалось рождество, которое застало их в пути. Царьград утопал в мерзком тумане. И все-таки население и духовенство торжественно встретили мощи святого Климента Римского, так как Павел, новый архиепископ Херсона, уже разгласил новость. Фотий торжествовал. Кроме папы, уже никто не мог оспаривать законность его избрания. Фотий изменился, куда-то испарились его сердечность и доброта. Он был властным и суровым, разговаривал глубокомысленно и важно. Братьев он встретил несколько сдержанно. Их слава начинала беспокоить его. Расспросив подробно о пребывании у хазар, патриарх, повеселев, сказал:

— Выбирайте что хотите в церковной иерархии!.. Ваше желание — повеление божье, и я исполню его.

Предложение смутило братьев, не привыкших к подобному распоряжению церковными делами. Раздражало умение Фотия покупать людей, назначая их на выгодные церковные посты. Константин опустил усталые глаза и сказал:

— Нам нужны отдых и покой, владыка... И одно у нас желание — отправиться в болгарскую землю. Там служба наша и нива господня.

— Хорошо,— ответил удивленный Фотий,— хорошо, обещаю, но сейчас они — наши враги, и люди Христа не растут свободно на сей ниве. И все же не хочу оставить вас так... Отныне Мефодий будет игуменом монастыря Полихрона, а ты — служителем при храме Святых апостолов!

— Я предпочитаю спокойствие и возможность самому распоряжаться своим временем! — возразил философ.

— Никто ничем не будет тебя обязывать, кроме меня,— покровительственным тоном заметил патриарх.— И у тебя будет время, будет... Насколько я понял, ты много писал в Херсоне и хазарских землях. А василевс интересовался тем, что было сделано... Он хочет, чтобы ты посетил его в эти дни. Зайди ко мне в среду.

Братья вышли из патриаршего дворца. Туман поднялся. Бледное солнце осветило стены и лица людей. Все куда-то торопились, одни побирушки сидели на перекрестках, ловя милостыню и робкое тепло. Море в гавани было мутным, свинцовым, достаточно надоевшим братьям за длинную поездку. Они свернули в переулочек, чтобы посетить мощи святого Климента. Предстояла вечерня, на которой Константин скажет слово-молитву о святом, и так будет потом в течение сорока дней, ибо Климента уже записали в число сорока мучеников.

У церкви их ждал приятный сюрприз: Климент и Марин пришли повидаться с ними. Они долго держали и целовали их руки, будто встретились с долгожданными небесными ангелами. На вечерне были все, кто ездил в землю хазар. Слушая философа, Климент чуть не прослезился. Святые братья снова здесь, вернулись их защитники, чтоб прекратить страдания его и Марина. Климент не хотел тревожить их с самого начала, но нельзя было и не сказать им... Многое изменилось в монастыре после отъезда братьев в Хазарию. Сначала игумен и братия вели себя хорошо. Потом приехал какой-то монах, который подолгу не выходил от игумена. По вечерам в его келье собиралась монастырская братия и о чем-то шепталась. Монах оказался посланцем свергнутого патриарха. Он заверил игумена и остальных, что Фотию приходит конец, что папа прислал легатов, которые будут настаивать на его свержении, а Игнатия позвали на собор, чтоб вернуть ему место патриарха. Поверив болтовне посланца, братия чего только не делала, лишь бы изгнать Климента и Марина как сторонников Фотия. Для травли достаточно было того, что Климент и Марин пользовались защитой Константина и Мефодия и делали тайную работу в мастерской. Не будь прибыли от икон, игумен давно выгнал бы их. После второго утверждения Фотия братия перепугалась. Монахи стали избегать обоих послушников, лишь Пахомий продолжал их ругать ни за что ни про что, надеясь прогнать их, пока Константин и Мефодий не вернулись. Но молодые люди упрямо не покидали свою крепость под крышей, довольствуясь хлебом и водой и не показываясь монахам на глаза. В последнее время многие стали искать их дружбы, пытаясь загладить свою вину. Игумен начал угождать им. Так Клименту и Марину стало ясно: их защитники либо вернулись, либо скоро вернутся. И ученики заторопились в Царьград.

Константин и Мефодий молча выслушали их рассказ.

— А как книги?

— Целы...

— Слава тебе господи,— вздохнул философ.

А Мефодий с мрачной решительностью сказал:

— С сегодняшнего дня я игумен Полихрона!

И Константин понял, что брат только сейчас решил согласиться на предложение Фотия. В его словах слышались боль, вызванная принятием одолжения, и гнев сурового человека, который всегда ненавидел несправедливость.

Оба послушника, просияв, поцеловали руку нового игумена. Они решили, что вернутся в монастырь после приема Константина василевсом.

Михаил принял Константина и Фотия в конце недели. С обеих сторон стояли его возлюбленные Варда и Василий. Годы наложили свою печать на внешность кесаря, Василий же был строен, как Аполлон, силен и уверен в себе. Приняв дары и свиток от кагана, василевс по привычке протянул свиток Василию. Бывший конюх не умел читать и фамильярно отклонил царственную руку к Фотию, но патриарх знал только греческий язык и с легким поклоном передал свиток Константину.

Михаил улыбнулся этому странному путешествию свитка и заметил:

— Круг замкнулся на тебе, философ... Ясно, что в моей стране нет более ученого человека. Читай!

Развернув пергамент, Константин прочел послание кагана, написанное на самаритянском языке. Титулы и обращения были выдержаны в духе восточных поэтов; в каждой строке встречались пышные слова и красочные сравнения. Дойдя до места, касающегося братьев, Константин понизил голос. Каган писал следующее: «Ты, государь, прислал такого человека, который объяснил нам святость христианской веры. Так как мы убедились, что это вера истинная, мы велели всем добровольно принять крещение и надеемся, что вскоре и сами сделаем то же самое. Все мы друзья твоего царства и готовы служить тебе, чем хочешь!»

Золотая печать кагана солнечной каплей искрилась на пурпурной ленте.

Михаил обвел взглядом своих приближенных: мол, каково? Подняв руку, он трижды перекрестил философа со словами:

— Бог одарил тебя мудростью, я дарю тебе свою дружбу!

Поцеловав руку василевса, Константин поблагодарил его за прекрасные, бесценные слова. Если эта дружба искренняя, она может открыть ему путь к болгарской земле... Но Константин знал жития ца-

рей и святых и не особенно верил в дружбу сильных мира сего. Она как зимнее солнце: сегодня есть, завтра нет...

От слов Михаила лицо Варды потемнело, а Василий оставался таким, каким был,— не веселым и не мрачным, от его лица исходило холодное спокойствие, присущее глубоко равнодушным людям.

Пока они сходили по ступенькам вниз, Фотий непрерывно говорил. Константин подумал, что патриарх хочет подчеркнуть свою личную заслугу в том, что василевс оказал ему столь большое благоволение.

Расстались у ворот патриаршего дворца. Фотий исчез в темноте за воротами, а философ вернулся на постоялый двор, где его ждал Мефодий. Они решили вместе провести ночь, а утром каждый должен был заняться своими делами.

Мефодий думал взять с собой в монастырь Савву, но тот хотел остаться с философом. Ведь Константин когда-то выпросил его у купца, так что он обязан посвятить ему свою жизнь. Искренние слова Саввы — грубоватого, подчас бесцеремонного — тронули братьев, и Мефодий, опередив Константина, сказал:

— Оставайся! — и похлопал Савву по плечу.— Люблю прямых людей.

14

Фотию была объявлена война. Папа открыто угрожал ему. Свергнутый Игнатий не перестал собирать единомышленников, хотя многие и поняли, что он тешит себя химерой. В письме папе Игнатий обвинял не только Фотия, но и легатов, которые-де получили взятки и не выполнили папских наказов. Очевидно, его люди пронюхали причину молчания Захария и Радоальда.

Папа не мог объяснить себе их поведение. Они не расследовали, как был свергнут Игнатий, не прочли папского послания и даже слова не попросили, чтоб выразить свое возмущение решением собора! Николай задумывался над всем этим, хотя сначала они убедили его, объяснив свою бездеятельность угрозами и изоляцией... После письма Игнатия папа стал смотреть на вещи иначе. Легаты не молчали бы, если б не взятки. Им угрожали смертью — возможно, но вряд ли они поверили, что византийцы рискнут обезглавить послов самого папы. Этого не бывает даже в самом варварском государстве. Выходит, здесь действительно попахивает подкупом. Гробовое молчание сковывает только уста, забитые золотом, оттого-то их и боятся раскрыть — как бы золотишко не высыпалось. Папа приказал проследить за послами: какими деньгами они располагают, как живут — на широкую ногу или скромно. Соглядатаи скоро донесли ему, что Захарий купил кра-

сивый дом недалеко от епископства и торгуется с каким-то гражданином Анани о продаже его земли у подножия горы. Мало того, они принесли Николаю несколько номисм, которыми Захарий расплачивался.

Против епископа Порто улик пока не было. Но папа послал его с миссией к франкскому королю Карлу Лысому и оттуда — к Людовику Немецкому. По-видимому, Радоальд был поскрытнее, а может, просто еще не развязал мошну? Может, не успевает из-за поездок заняться собственными делами? Его молчание тоже было подозрительным. Если Захарий отказался осудить решение собора, то это должен был сделать Радоальд. Никто не спрашивал у папы разрешения созвать собор, и папа не позволит взяточникам благоденствовать за счет божьего дела, папского слова и авторитета.

Если не в этом, то в следующем году он созовет свой собор и заклеймит постыдную фотиаду. Эта мысль несколько успокоила Николая, и он стал прикидывать, кого привлечь к ответственности. Если история со взятками окажется правдой и Захарий признается — его! Епископа Порто — также! Григория Асбеста... До чего коварен этот человек! Не так давно просил защиты у папы, а теперь полностью поддерживает Фотия. Что ж, Сиракузы недалеко. Константинопольский самозванец не имеет права утверждать епископа Сиракуз. Это дело папы, и он позовет Григория в Рим, а если тот не явится — предаст анафеме и отлучит. Наконец придет очередь и нового врага — Фотия. Хитрое письмо направил этот новоявленный пастырь, хоть и краткое. Ему захотелось быть рядом с папой. «Никакая церковь не имеет права вмешиваться в дела другой церкви». Нашелся умник! Вприпрыжку добрался до патриаршего престола и уже зубки показывает. Будто не знает, на каком камне стоит римская церковь и по какому праву является она первой в христианском мире... Перед римским папой короли снимают шляпы, водят его коня под уздцы, стоят в ожидании перед его воротами, а тут какой-то асикритишка из канцелярии византийского недоумка позволяет себе поучать его, с детства воспитанного на посланиях святых апостолов Петра и Павла... Нет, бог создал незыблемые законы мироздания: на небе нет двух солнц! Есть луна, но она светит заемным светом, она тень солнца. В этом мире он, Николай, и день, и солнце — так предопределено всевышним. И он, Николай, будет вмешиваться в дела всех церквей, ибо имеет на это священное право. Не зря Игнатий обращается к нему с просьбой о помощи. Не зря! И что же?.. За пренебрежительное отношение к правам папы не будет никому прощения! Одному простишь — других поощришь. Человек испокон веков привык подчиняться крепкой деснице, так ему и жить легче.

Николай позвонил в медный колокольчик. Нежный звон разнесся по коридору. В дверях появился слуга с суровым лицом. Папа

вспомнил, что хотел заменить его, но вдруг этот аскет с ледяным голосом, почти внушающим страх, понравился ему.

— Брата Себастьяна!

Брат Себастьян руководил внутренней охраной. Он крепко держал в своей руке все тайные нити. Папа познакомился с ним, еще когда поднимался по ступенькам к верховной власти. Проверив его преданность, он поручил ему теперь заняться охраной и секретными делами канцелярии. Этот брат был и книжником, и инквизитором, и умным собеседником — весьма редко встречающееся сочетание.

Себастьян бесшумно вошел и встал у двери. В черном одеянии, перепоясанный простой веревкой, он был похож на беспомощного слепого крота, очутившегося на поверхности земли. Николай приподнял руку, брат Себастьян быстро подошел и запечатлел на ней преданный поцелуй: эта рука освободила его от всех грехов и стала верной защитой.

— Что-нибудь новое о епископе из Анани?

— Купил тот земельный участок...

— Опять номисмами?

— Опять, святой владыка.

— А епископ из Порто?

— Прибыл ко двору Карла.

— Улики есть?

— Напился в гостинице «Потерянный конь» и платил номисмой, святой владыка.

— Как вернется, подвергнуть допросу.

— Только словесному?

— Если понадобится, будет и божий суд, но потом...

— Понял, святой владыка.

Николай не заметил, как брат Себастьян вышел. У них был условный знак. Когда папа закроет глаза, чтобы перейти к размышлениям, надо уходить. На сей раз брат чуточку поторопился. Николай хотел спросить его о Григории Сиракузском и о Льве, посланце василевса, привезшем протоколы собора и письма от Михаила и Фотия. Эти послания были любезнее, чем первое послание Фотия. Но папу не обманула их льстивая любезность. Из содержания протоколов стало ясно, что Радоальд и Захарий никогда не будут больше представлять папу на каком бы то ни было соборе.

Николай снова позвонил.

— Пусть придет Анастасий!

Анастасий, библиотекарь, как он сам себя называл, тут же явился. Он служил в одном монастыре, но в последнее время часто находился в Латеране. Теперь он принес ответ Фотию. Письмо было спокойное, но непоколебимое: возврата назад не будет. Папа не требовал наказания, но рассматривал положение вещей с высоты своего

первого места в мире, принимал во внимание только свою точку зрения, так как только он имел право объединять. Письмо василевсу было в том же духе. Оценив события в империи, папа подчеркивал, что его несогласие с выбором Фотия продиктовано не человеческой мелочностью, а только желанием сохранить чистоту и святость византийской церкви. Николай одобрил письма и велел Анастасию переписать их, как и полагалось в подобном случае. Завтра Николай созовет Святой Синод, чтобы высказать мысли, которые его волнуют, императорскому посланцу. Он должен понять, что папский престол не направлял и не будет направлять духовных лиц для одобрения действий Фотия. Папа не намерен поощрять насильственное устранение законного патриарха.

Николай принял эти решения после того, как многое услышал и понял от беженцев из Константинополя.

Его решение подкреплялось также тем, что говорил игумен Феогност, принесший послание Игнатия.

От слов папа переходил к делу.

Виновных необходимо наказать.

15

Константин неуютно чувствовал себя в церкви Святых апостолов. Обязанности иеромонаха угнетали, и он попросил у Фотия разрешения не заниматься проповеднической деятельностью до тех пор, пока не закончит свои записки о поездке к хазарам. Еще по дороге в Константинополь он сочинил молитву во славу святого Климента Римского и написал книгу под общим заглавием «Обретение». Разумеется, записки были лишь предлогом: философ спешил завершить перевод Евангелия Иоанна Богослова с греческого на славяно-болгарский язык. Избранное из Евангелия и Апостола он дал переписать Горазду и Ангеларию. Климент ждал их в монастыре святого Полихрона. Работая, Константин любил класть на стол книгу, которую преподнесли ему Климент и Марин,— первый перевод Псалтири. Молитву во славу Климента Римского уже пели в школах, радуя его слух... В последнее время часто наведывался в гости Иоанн. Он молча входил, приветливо кивал и садился в угол, боясь помешать работе. Лишь когда Константин поднимал голову, чтобы передохнуть, Иоанн легким покашливанием напоминал о своем присутствии. Работу оставляли и беседовали допоздна. Они забирались в дебри религиозных учений, пускались в головоломное путешествие по сочинениям древних философов, а уж если речь заходила о Гомере и поэтах древности, то ночь пролетала и вовсе незаметно. Когда Константин не был

занят, он, встречая горбуна, шутливо декламировал: «Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына...»

Этот стих вызывал добрую улыбку на губах Иоанна, который без долгих слов начинал развертывать свитки. Он непрерывно сочинял стихи. Вначале в них было немало подражательства; постепенно его крылья окрепли, и он все увереннее парил в небе поэзии. Сегодня вечером Иоанн пришел поздно, и Константин сразу почувствовал, что гость не в духе. Философ, как обычно, попытался развеселить его цитатой из Гомера, однако горбун махнул рукой:

— Оставь, не стоит...

— Почему? — удивился Константин.

— Тяжко мне... Похоже, придется с тобой опять расстаться.

— Вот как! В чем дело?

— Я услышал дома разговор... Скоро ждут миссию из Великой Моравии, умные люди понадобились великоморавскому князю. Ну теперь понятно?.. Речь шла о тебе и Мефодии. Вас, может, и обрадует это известие, но меня...— Голос его задрожал, и он умолк.

— Что тебя?

— Для меня это — смерть! Не с кем будет поговорить, поделиться мыслями... Пока вас не было, я попытался связаться с Феодорой и двоюродными сестрами, но меня вернули с середины пути. Я раб в золотых цепях, понимаешь? Пока я нужен только как ширма для прикрытия мерзостей... Но на сей раз я убегу. Поеду с вами, будь что будет. Я сделаю все хитро, ты только скажи, какой дорогой вы поедете.

— Какой дорогой? — сказал Константин.— Еще неизвестно, придут ли те послы, а если придут, то пошлют ли нас по их просьбе.

— Гонцы уже прибыли и сообщили кесарю. Миссия находится на нашей земле. А Фотий сразу же предложил вас. Мой любимый папочка поддержал, только та кривит нос...

— Кто-кто?

— Та! — сквозь зубы повторил Иоанн.

По злобе, послышавшейся в его голосе, Константин понял, что речь идет об Ирине. Ей-то какое дело? Чего она хочет? Лучше бы заботилась о своем поведении. В беседах они никогда не упоминали о ней, но в их мыслях она оставалась. Иоанн помрачнел, философ задумался... Если моравский князь всерьез приглашает ученых, книги пригодятся, и как раз написанные той азбукой, которая отличается от греческой... Того и гляди, Моравия станет яблоком раздора в напряженной борьбе между двумя церквами. Впрочем, пока не все известно, нечего и гадать. Лучше выждать. Надо собрать учеников и ускорить работу над переводами. Пусть Иоанн тоже поможет. Смышленый он, легко освоится с новой азбукой. Философ постучал пальцами по столешнице и спросил:

— Что-нибудь новенькое?
— Где? — не понял горбун.
— У музы.
— А... есть...

Иоанн развязал шелковый шнурок на пергаменте. Голос его задрожал: он боялся оценки и всегда смущался, когда читал свои стихи...

Травинка малая умирает,
А я все живу.
Луна, словно лира,
Звенит в облаках синеватых,
И летит над землею, как птица,
Беспокойная мысль моя:
«О боже, для чего я пришел
В этот мир?»

— Хорошо, хорошо! — тихо сказал Константин.
Иоанн услышал, и голос его зазвучал увереннее:

Окруженный мраком,
Я живу в ожидании,
В ожидании знака
Руки твоей праведной.
И в тени облаков летящих
Настигает меня мысль:
«О боже, для чего я пришел
В этот мир?»

Горбун умолк, но в его молчании таилась тревога: как оценит стихи философ? Стоит ли их писать вообще? Он часто задавал себе этот вопрос, но с каждым днем все яснее понимал, что сочинение стихов становится его страстью и что творчество ему необходимо, так как заменяет ему собеседника. В собственных словах он открывал несчастье кого-то другого, кто страдал так же, как и он, и это помогало ему легче переносить одиночество. От Константина он уходил окрыленный и возрожденный для жизни. Даже на улице не покидал его мир поэтических образов, и поэтому он не обращал внимания на ухмылочки и насмешливые взгляды. Разве недуг мешает душе быть богатой — богаче, чем у многих других? Только дураки могут издеваться над его бедой. Умные, добрые люди примут его как свою ровню. Иоанн не искал жалости, сожаление убило бы изболевшуюся душу. Вот почему он любил дружескую руку Константина, протянутую ему без слезливой, унизительной сентиментальности... И теперь, комкая свиток, бедный горбун жаждал услышать его слова. Подняв ласковый взгляд, философ проронил:

— Печальное... Хорошее, но печальное. Сколько в тебе боли... Но что же ты так ноешь?.. Ты же мужчина! А это на молитву похо-

же, на женский плач... От тебя, Иоанн, я хочу услышать стихи, в которых синеет небо свободных. Бога оставь в покое, он неустанно заботится обо всех нас, мы носим его в своих душах, и мы восхваляем его. Так было, есть и так будет, а ты пой о мире, который учит нас мудрости, о природе, которая побуждает нас бороться. Я не еретик, верю в судию небесного, но не намерен только и делать, что возвеличивать его. Ты видишь, эти церковные богослужения меня тяготят, я хочу сеять божье слово в душах людей, открывать бога в их делах — после того, как они признали его... В твоей душе есть гнев, который может стегать фарисеев, как это делал Христос... Вот этого я хочу от тебя, и это ты должен постичь. В этом твоя сила. Бей по тем, кто пытается приневолить добро, кто трясется над каждым грошом, над теплым местечком и выгодной должностью... В их тени таится сатана! И если ты хочешь испытать высокую радость, клейми зло, ибо оно очень сильно... Мысль Христа: если имеешь две рубашки, отдай одну ближнему — давно забыта теми, кто больше всех должен оберегать ее и претворять в жизнь. Я посвятил себя этой борьбе, и, если мне суждено отправиться в Моравию, я поеду туда с полной верой, что я там необходим, что славянские народы нуждаются во мне, ждут бескорыстной руки, сеющей добро и трудящейся во имя длительного торжества правды... С завтрашнего дня я превращаю храм Святых апостолов в школу апостолов... Если хочешь, приходи помогать...

— Приду! — сказал Иоанн.— Обязательно приду!

Впервые человек обращался к нему как к человеку, ища помощи, и он твердо решил помочь.

Наутро горбун чуть свет пришел к философу. Тот взял его за руку и повел в храм, где их уже ждали Горазд, Савва и Ангеларий. Чуть в стороне робко стояли семь безбородых юношей, украдкой посматривая на Константина. Философ представил Иоанна своим друзьям, а они представили юношей. Константина несколько смутила молодость этих семерых монастырских послушников, но Савва сказал:

— Учитель, возьми их под свое крыло! Они сироты... Они любят книгу и перед мудростью твоей благоговеют. Почитание тебя и молодость помогут им усвоить письмена.

Константин колебался: слишком уж юны были послушники, восемнадцати-девятнадцати лет. Но если сироты... Нет родителей — никто не задержит их в этом городе и не помешает им поехать.

— Попробуйте обучить их. Даю вам десять дней. Если кто-то не осилит новой азбуки, пусть считает себя свободным...

Савва широко улыбнулся:

— Первая ступенька уже за вами, друзья. Преодолеть вторую зависит только от вас... Начинаем! — И он указал им на песок, аккуратно и ровно насыпанный тут же, на дворе.

Новая азбука сначала затрудняла Иоанна, но он призвал на помощь все свое упорство и вскоре начал свободно писать новыми буквами. Так как славянского языка он не знал, то и переводить не мог, зато он весьма искусно переписывал... Похвала Константина так обрадовала его, что он, сам того не сознавая, вдруг тихо запел. Впервые с тех пор, как он помнил себя!

16

Моравское посольство прибыло в Царьград. Варда распорядился, чтобы его встретили с большими почестями и поселили во дворце на берегу. Членов посольства окружили вниманием. Их приезд был, без сомнения, на руку Фотию в его ссоре с папой. Пусть Николай покусает локти, пусть даже анафемой пригрозит — поздно. Моравский князь Ростислав обращается к Константинополю, желая противостоять папской политике! Варда не знал, что посольство было отправлено в Константинополь после отказа Николая удовлетворить просьбу князя: присоединить моравскую землю к римскому диоцезу, получить право на создание самостоятельной церкви и тем самым пресечь поползновения Людовика Немецкого и его священников. Папа понимал намерения Ростислава, но в большой борьбе, которую он начал с константинопольской церковью, он не мог позволить себе нажить еще одного врага в лице короля Людовика и немецкого духовенства во главе с архиепископом Адальвином. Папа нуждался в могущественных друзьях, а Ростислав таким не был. Одного Николай не ожидал: что князь решится на столь опасный шаг — обратиться к Византии с просьбой о направлении в его земли ученых людей! Этим Ростислав преследовал и другую цель, которую папа осознал тоже с запозданием: князю хотелось заключить с Византией также и военный союз против Людовика и болгарского хана. Таким образом моравский князь становился явным врагом папской политики. По словам доверенных людей, посольство необычайно обрадовало Фотия. Фотий торжествовал. Посольство посетило его и выразило желание получить ревностных, умелых сеятелей божьего слова, знающих церковные каноны, ибо кое-где в их землях все еще властвовали языческие идолы и людям нелегко было от них отказаться...

Папские соглядатаи сказали правду. Фотий тут же вспомнил о братьях. Наутро он пошел к Варде обсудить эту идею. Получилось так, что при разговоре присутствовала Ирина. Патриарх не любил, когда женщины совали нос в государственные или церковные дела, но ее все-таки пришлось выслушать. Она решительно возражала. Она обозвала их плутами! Плутами, которые пожинают успехи церкви и

империи и плетут венец собственной славы. Она напомнила и об их славянской крови, обвинила Варду и Фотия в сознательном создании им ореола мудрейших и нужнейших людей. Разумеется, возражения Ирины не смутили патриарха. Он прекрасно знал, на чем основана слава Константина. Ум философа — вот тот серп, который пожинает ему славу. Хорошо еще, что он соглашался скитаться по миру, чтобы прославлять церковь и империю. Кого еще послать — ведь не ее же! Однако ему не следует забывать, что его предшественник Игнатий был свергнут за выступление против Ирины. Фотий не видел подходящих людей, кроме братьев.

То же самое думал и Варда, но гнев Ирины смутил его. Это смущение не ускользнуло от взгляда патриарха. Фотий впервые видел кесаря неуверенным и объяснял это не столько вмешательством снохи, сколько настроением Варды.

— Поживем — увидим,— мрачно обронил Варда, провожая патриарха.

Этот неопределенный ответ не обрадовал Фотия. Если братья не поедут в Моравию, значит, в ближайшее время папа восторжествует в этой стране, а если поедут, Фотий навсегда собьет с него спесь... Только братья! Если будет необходимо, Фотий пойдет к василевсу, поговорит и с Василием, но братья должны поехать. На этот раз он добьется своего, даже рискуя навлечь на себя гнев Варды. Братья вывернут душу папы наизнанку, как пустой карман,— так, что он взбесится. Нет, Фотий не упустит такого случая отомстить Николаю за злобу и упрямство, отправит братьев, разрешит им даже взять с собой мощи святого Климента Римского — чтобы этими римскими камнями бить по римским головам.

Весьма своевременно нашлись эти мощи... Фотию не сиделось на месте от возбуждения. Выйдя из кареты, он прошел через сад аллеей в свой дворец. Сев за рабочий стол, попытался читать, но безуспешно... Мысль, что пришло время показать папе силу того, с кем ему предстоит бороться, держала Фотия в напряжении, не давала покоя. Хотелось тотчас же встретиться с Константином, но сдерживали слова Варды...

Была и другая причина настаивать на поездке в Моравию — желание братьев отправиться в Болгарию. Хотя он и обещал, но никогда не сделает этого, даже если болгарский хан захочет завтра принять христианство. Фотий узнал, что Константин и Мефодий создали славянские письмена. Эта азбука становилась все опаснее и опаснее. Во-первых, это значило бы нарушить священную догму триязычия. Во-вторых, это означало бы принятие христианства в Болгарии без греческого языка — такого Фотий не допустит никогда. Если болгары захотят принять святое учение, Фотий надеется добиться с помощью греческого языка и византийских священников того, чего ва-

силевсы не могли добиться силой оружия,— вернуть назад земли, захваченные пришлыми болгарами, и ассимилировать их самих. Нет уж, лучше братьям отправиться в Моравию, где они будут действовать для пользы византийской империи и церкви, чем оставаться здесь и ковать оружие против намерений Царьграда.

Резко захлопнув книгу, патриарх вышел из-за стола и начал крупным солдатским шагом ходить по комнате. Нелегким оказался пост церковного главы. Когда был асикритом, интересовался лишь настроением Варды и Михаила, теперь приходилось думать обо всем духовенстве — да и не только о своем. В Риме папа делал ему пакости, не желал признавать — будто Фотию трудно так же не признать папу. Ни папа, ни он ведь не присутствовали на выборах другого. Да и, кроме Петра и Павла, были и другие апостолы... Святой Петр основал также и антиохийскую церковь, причем задолго до римской, следовательно, какое право имеет папа претендовать на первенство?.. Нет, Фотий доведет дело до конца, поднимет, взбудоражит церкви, так что у папы земля поплывет из-под ног. Даже его собственные епископы начнут отрекаться от него. Самое важное сегодня — удержать Моравию и отстаивать ее до конца. Эта борьба будет нелегкой. Но Константина и Мефодия тоже нелегко одолеть! Константин будет мыслью, Мефодий — мечом. Во имя Византии, а может быть, и славянства, но они будут бороться неустанно, до самой смерти...

Варда подождал на лестнице, пока Фотий сядет в карету, и медленно вернулся в приемную. Ирина все еще была там. Кесарь пересек просторное помещение и опустился на диван.

— Ну?

— Что — ну? — переспросила Ирина.— Святых из братьев делаете, святых при жизни.

— Ты-то чего хочешь? — ровным голосом спросил он.

— Я? Ты прекрасно знаешь. Феодору вы сослали, дядю убили, а эти братья все живут.

— Тебе, может, жаль Феоктиста?

— Жаль!.. Нечего меня спрашивать, именно я ведь вовремя открыла тебе глаза! Жаль, что ты еще поддерживаешь этих «святых»... Более того, ты еще посылаешь их повсюду, помогая шириться их славе, а мне замазываешь глаза обещаниями.

— Не замазываю... Так случилось, они ведь тогда поплыли на корабле.

— А почему не спросишь, отчего не поехали по суше?

— Кого спрашивать-то?

— Спроси у своего сына...

— Почему?

— Потому что он предупредил их. Он постоянно с ними валандается.

— Ах так... Позови его!

— Потом! — Ирина подняла руки и поправила прическу. Ее пугало само присутствие Иоанна.— Будет время расспросить его.— И добавила, тряхнув головой: — Я чувствую, ты разлюбил меня!

Такой поворот разговора заставил Варду подняться с дивана и подойти к ней. Он пододвинул стул и сел рядом.

— Разлюбил, говоришь... А кто пренебрег людской молвой? Кто сверг Игнатия и почему? Не ради ли тебя?.. Разлюбил! — Кесарь сильной рукой притянул ее к себе и страстно поцеловал в губы.— Я заставил всех трепетать перед ней, а она говорит — я не любил ее...

Ирина склонила голову на его широкую грудь и просунула ладонь ему под халат.

— Но тебя все нет...

— Нет? Неужели не видишь: Василий ни на шаг не отходит от Михаила.

— И это тебя пугает?

— Пугает! Этот бывший конюх начинает хитрить... Иди, позови его!

— Кого? — не поняла Ирина.

— Иоанна.

— Иду... Успокойся только! — сказала она, поцеловав его, и встала.

Варда окинул взглядом ее стройную фигуру и стукнул кулаком о колено.

— Успокойся... Где его найти, это спокойствие, как оно выглядит? Все, кому не лень, рвутся к власти, а я должен быть спокоен...

Он встал и прошелся по приемной. У окна находилось большое кресло, в котором кесарь любил сидеть. Украшенное золотом, оно было подобно трону василевса. Варда встал рядом с креслом. Заслышав шаги сына, он повернулся к окну и не двигался, пока не услышал:

— Добрый день, отец.

Это приветствие будто током ударило его в спину, и он резко обернулся.

— Не знаю, добрый ли это день, сын, но я позвал тебя не ради доброго...

— Что я сделал плохого? — посмотрел на него Иоанн.

— Еще спрашиваешь... А ну-ка сядь на мой стул!

— Зачем?

— Сядь, сядь. Хочу посмотреть на тебя в гнезде орла! В гнезде, которое страшит и более смелых, чем ты!

— Почему ты меня так встречаешь? — спросил Иоанн, садясь на краешек широкого кресла.

— Садись удобнее, удобнее,— ядовито бросил Варда и, подойдя, грубо прижал сына к спинке кресла.— Вот, сам видишь, оно тебе не по росту. Ты исчез в нем, как желудь в ладони великана. Ты не подходишь для него... И запомни, не ты будешь моим наследником.

— Я и не думал ни о чем подобном, отец! — ответил Иоанн, наклоняясь вперед.— Я не ищу в этой жизни черной славы почестей и власти, ибо они исчезают, как дым, как волна над морской глубью, о движении которой песок на дне даже не подозревает. Не злобу и ненависть, а песню, светлый звук обязаны мы оставить на земле после смерти. Ведь ни я, ни ты от нее не откупимся, она всем судья, ибо сказал господь: не убивай — не убьют и тебя. Я иду путем истины, потому что человек лишь раз приходит в этот мир и лишь раз покидает его. Пока дышу, хочу жить как безымянная травинка, так как знаю, что людям нужны не боевые стрелы, а мирные сохи и перья — вославлять их мирный труд. Кому нужны черная обида и злое слово? Это — стрелы дьявола, и они причиняют страшную боль, когда отец мечет их в своего сына...

— И я тоже живу грешно?

— Да, отец! Разве в наше подлое и зловонное время человек не может сохранить свою честность и доброту, как желтую теплую пыльцу на цветке, который радует людей тем, что он есть?

— А что такое честность? — сквозь зубы процедил Варда.— И ты говоришь мне о честности, а сам бесчестно поступил по отношению ко мне.

— Моя бесчестность лишь капля в огромном море твоего бесчестья по отношению ко мне.

— Ты признался!

— Я не святой, чтоб путь к чести начинать с бесчестья! — усмехнулся Иоанн.— Это лишь твое право...

— А может, вспомнишь о письме, которое ты послал Константину? Чтоб спасти его, ты пренебрег волей отца. Не так ли, паршивец? Где же твоя честность и твоя правда?

— Ты мне не судья, ты намного грешнее меня... Если уж хочешь узнать правду, ты, утонувший в бесчестье, можешь увидеть ее в моих глазах и в моем сердце, хотя в сердце нелегко заглянуть... Но правда тебе никогда не была нужна, ибо она тебе невыгодна. Правда — на кончике моего прямодушного языка, если уж ты ею интересуешься: да, я послал письмо мудрецу!.. Услышал тогда нечаянно, как ты хвалишься перед одной...

— Перед кем?!

— Перед моей супругой... твоей женой.

— Ревнуешь?

— Ты ошибаешься! Я хотел спасти Константина — мудреца и человека... Вот сравниваю всех вас с ним и вижу, до чего вы ничтож-

ны. Вы не заметны на его ладони с пустым звоном ваших титулов и грязной рекой ваших черных помыслов! В сравнении с ним вы же безводные долины, потрескавшиеся от собственной злобы... Гиены и шакалы...

— Заткнись, ничтожная тварь!

— Не кричи, кесарь! Только всевышнего считаю я своим единственным судьей — того, кто сказал в храме правду в глаза торговцам верой. Я честен, но разве нужна тебе честность?! Та, которая давно распоряжается всеми и всем в твоем доме, давно заменила бы тебя на моего Константина, ненавидимого тобой, но он тверд, он горд, и он отверг ее любовь.

— Лжец, я убью тебя вот этими руками! — вскипел Варда.

Он подошел к креслу, готовый стиснуть железными пальцами тонкую шею сына, но вдруг отпрянул и потянулся за мечом, висевшим на стене.

Иоанн вынул из-под одежды нож — тонкий, однако достаточно длинный, чтоб защитить его. Он сидел в просторном кресле, белый как полотно, и лезвие поблескивало в тусклом свете, проникавшем сквозь окно. Пока ошеломленный кесарь пытался снять меч, дверь распахнулась, и Ирина повисла у него на руках:

— Не надо!.. Послушай меня, не надо!

Варда опустил руки, и она обняла его. Тяжело и прерывисто дыша, он как бы выплевывал гневные слова:

— Тебя бесчестит!.. С ножом на меня!.. Тварь... ничтожество!.. Учит меня честности...

— Пока ты любишь меня, я не боюсь хулы! — сказала Ирина и, посмотрев на Иоанна испепеляющим взглядом, легонько подтолкнула Варду в соседнюю комнату. Долго сидел обессилевший горбун в кресле, вслушиваясь в свои мысли, оправдывая себя: «Пчела тоже защищается, когда ей угрожают, никто не накликает на себя свою смерть... Не ты напал, на тебя напали». Иоанн медленно встал, еще раз взглянул на лезвие ножа и вышел. Этот дом больше для него не существовал. Да и он сам не был ему нужен.

Они долго стояли во мраке, молчаливые и отчужденные. Слышно было только тяжелое дыхание Варды. Когда луна заглянула в окно, он встал и опустил занавеску.

— Я буду настаивать на их отъезде,— процедил кесарь.

— Зачем?

— Потому что Рим — это не Хазария, не будет словами убаюкивать... Они не вернутся оттуда. Уже на ближайшем совете как бы невзначай скажу василевсу: государь, лишь святые братья будут твоими достойными посланцами. И он согласится со мной. Тогда конец

светилам! Крест в руке папы Николая больше похож на меч... Он считает: мудрость — змея, которой надо вовремя отрубить голову.

Снова опустившись в кресло, кесарь притих. Ирина прислушалась к тишине и вдруг почувствовала, как холодный озноб пронизал все ее тело. Ею овладел непонятный страх. Она встала и положила руки на его плечи. Варда продолжал молчать. Когда она была уже почти уверена, что он дремлет, Варда сказал:

— Да, я чую эту смерть! Пусть едут.

Книга вторая • Мир догмы

Светът на догмата

Редактор И. Марченко

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Моравский князь Ростислав созвал по велению божьему совет всех князей своих и мораван и послал людей к царю Михаилу, говоря: «Наш народ отказался от язычества и блюдет христианский закон, но не имеет такого учителя, который объяснил бы нам истинную христианскую веру на нашем языке, чтобы и другие страны, увидев это, поступили как мы. Посему, государь, пошли нам такого епископа и учителя, ибо от вас всегда исходит хороший закон для всех стран».

Из «Пространного жития Константина Философа»

Потом пошел [Константин] вдоль реки Брегальницы и там встретил несколько крещеных из рода славянского. А тех, кто еще не приняли крещения, окрестил, внушил им христианскую веру и составил для них славянские книги.

Из «Успения Кириллова»

Понеже славянский или болгарский народ не понимал Писания на греческом языке, святые мужи сочли сие превеликим несчастием и безутешно сокрушались, что не зажжен светильник письменности в темной стране болгар. Скорбели они, страдали и отказались от жизни.

Итак, что они сделали? Они обратились к утешителю, который наделяет даром языка и слова, и вымолили у него сие благо — сподобить их умением сотворить такую азбуку, которая соответствовала бы грубым звукам болгарского языка, и умением перевести божественные писания на язык народа.

Получив сей вожделенный дар, они сотворили славянскую азбуку, перевели богодухновенные писания с греческого на болгарский язык и постарались передать божественные знания самым одаренным из учеников своих. И многие пили из этого мудрого источника, и среди них первыми избранниками были Горазд, Климент, Наум, Ангеларий и Савва.

Из «Жития Климента Охридского».
Феофилакт, XI век

1

Открыв глаза, Константин долго смотрел на деревянный потолок, потемневший от времени и сохранивший знакомые с детских лет цветные рисунки. Вслушиваясь в звуки просыпающегося дома, он пытался припомнить подробности тех лет, когда далекие путешествия были всего лишь его мечтой. В этой комнате он бывал очень редко: отец не любил, когда дети затевали игры на широкой кровати с резными орлиными головами по углам спинок и благословляющей рукой над изголовьем. У детворы были свои комнаты, в левом крыле дома. Там были их владения. И семеро сыновей и дочерей друнгария Льва никогда не прекращали воевать друг с другом. Воевали они, конечно, по-детски: за доброе отцовское слово, за ласку, за лакомства или за то, кому сесть поближе к маме, прильнуть к ее теплой ладони и испытать радость от прикосновения. Беззаботная жизнь прошумела под родными потолками, в узких коридорах, в стране детства. В Солуни начался его путь; объехав немало государств, исколесив множество дорог, Константин заехал сюда ненадолго, весь во власти стремления дать память славянским народам. Он предчувствовал, что в конце концов его надежды сбудутся и он получит желанный простор для своего дела... Моравия звала его. Он прекрасно понимал, что Моравия не Болгария, но все же она была славянской землей, с родственным, близким языком. Люди ждали его слова, и Константин согласился помочь им в борьбе с франкским духовенством. И снова созвали синклит в столице, и опять звучали высокие слова и мудрые напутствия. И снова недоверчивые взгляды Варды, и снова тайные поручения... Константин отправлялся в Великую Моравию, испытывая удовлетворение от законного признания своего долголетнего труда — новой азбуки и письменности. Когда василевс поручил ему руководить миссией, Философ сказал:

— Хоть я устал и болен, но иду туда с радостью, лишь бы народ получил письменность на своем языке.

Тогда Михаил, не утруждая себя размышлениями, ударил рукой по подлокотнику золотого трона и спросил:

— И дед мой, и отец, и многие другие хотели сделать нечто подобное, но не смогли. Как же мне удалось это?

Императорский вопрос-ответ ничуть не смутил Константина. Шагнув вперед и слегка поклонившись, он с притворной усталостью сказал:

— Кто тогда может писать свои слова на воде и прослыть еретиком?

Учтивая дерзость, облеченная в вопрос и адресованная василевсу, нуждалась в ответе, и Михаил не заставил себя ждать:

— Если пожелаешь, это даст тебе бог, который дает всем, кто молится без сомнений, и открывает тем, кто стучится,— подчеркнул он, оглянувшись на Варду.

Кесарь одобрительно кивнул. Лишь Фотий возроптал: поклонился и поднял руку, будто желал предостеречь государя от поспешных решений. Однако, встретившись со взглядом Варды, остановился на полуслове:

— Только на трех языках...

Но Михаил махнул рукой, и Варда поспешил распустить великий синклит. Они вышли молчаливые, задумчивые; когда подошли к патриаршему дворцу, Фотий пригласил Философа к себе и стал оправдываться, объясняя, почему попытался возразить ему.

Он хотел, в сущности, спасти старую догму, освященную церковью: божье слово надлежит проповедовать только на трех языках — на латинском, греческом и еврейском... Константин понимал, что патриарх руководствуется не столько догмой, сколько желанием и убеждением сделать греческий язык языком славян. Фотий был далеко не столь набожным, каким старался прикинуться. Это было ясно Философу. В борьбе с папой новый константинопольский патриарх хотел добиться полной победы. Отказ Константина от догмы триязычия притуплял антиримское острие миссии в Великую Моравию. И тогда, и сейчас Философ не заблуждался, будто борьба будет легкой. Папа не намерен без боя уступить земли своего диоцеза константинопольской церкви. Если Философ попытается проповедовать слово божье на греческом языке и с помощью греческой азбуки, папские люди уничтожат и Константина, и Мефодия, и их учеников. Благо, что он вовремя создал две азбуки. От той, что была похожа на греческую, придется пока отказаться. Зато годится вторая, которой написаны переводы большинства священных книг. Она отличается и от греческой, и от латинской. И никто не сможет обвинить его, что он проповедует божье слово с пользой лишь для константинопольской церкви... Придя в себя, Философ раздвинул занавески на окне. В комнату полился ясный весенний свет. Запах моря и сырой земли изменил направление его мыслей. Стройная туя за окном слегка качнулась, будто хотела увидеть его, поздравить с приездом. Когда Константин покинул отчий дом, чтобы поступить в Магнаврскую школу, туя была маленьким деревцом. Помнится, мать оторвала душистую веточку и дала сыну в дорогу. Веточка долго странствовала из одной его книги в другую, пока совсем не облетела. Теперь дерево, как и он сам, выросло и вознеслось гордой вершиной в голубое небо ранней весны. Константин хотел встать, но послышались неторопливые шаги, и он остался лежать, глядя на дверь. Дверь открылась, и в проеме появилась мать. Она ходила все так же прямо, однако годы сказывались: заботы избороздили морщинами ее лоб, кожа на лице обмякла,

и около рта образовались две глубокие складки. Лишь в глазах, как в молодые годы, были еще ясность и синева. Она подошла, полуослепленная светом из окна, пододвинула стульчик, отделанный перламутром, и присела у постели. Не спеша нашла руку сына, и Константин ощутил прохладу ее пальцев: уже нет той молодой и теплой силы, излучавшейся когда-то ее рукой. И все же прикосновение было нежным и успокаивающим.

— Ну как, отдохнул? — спросила мать.

— И не говори,— улыбнулся Константин.

— А хорошо спал?

— Хорошо... И тебя видел во сне. Провожаешь меня в Константинополь и на прощание срываешь ветку туи...

— Тогда я хоть знала, куда ты едешь, а теперь не знаю. Далеко ведь моравская земля.

— Не так уж и далеко.

— Для тебя — нет, а для меня далеко. В мои-то годы... Береги себя.

— От кого?

— От дурных людей, дурного глаза, ночных ведуний...

— Но у меня есть заступник.

— Береженого и бог бережет.

Они замолчали. Константин смотрел на старческую руку в своей ладони и будто видел дороги целой жизни, прочерченные набухшими венами и морщинами увядающей кожи. Он прикрыл глаза: молодая стройная женщина идет через сад; упругий гибкий стан, в волосах букетик цветов, на груди, словно весенние солнца, крупные золотые монеты — ее ожерелье. Белой рукой она гладит копну мальчишеских волос, он льнет к ее телу, ощущая, что оно пахнет айвой... И вдруг ему почудилось: годы стремительно промчались на белых конях и скрылись за горизонтом, а с ними исчез и некий воин, перепоясанный острым мечом и замкнувший жизнь свою в железную плетеную рубаху,— его отец. Он умчался, а она осталась, как птица без крыла, которая постепенно, но неизбежно теряет силы. «Хорошо, что моя дорога не обошла родные места и я смог увидеть мать. А если бы я поплыл на корабле по большой реке, текущей по земле болгар, то, возможно, никогда бы уже не увидел ее. Совсем старой стала...» Константин высвободил руку и ласково погладил старческие пальцы. Столь многим был он обязан ей, и так мало получила от него она. Его жизнь больше не принадлежала ему, она прошла в чужих землях и над чужими книгами. Он боролся за истину, во имя ближнего, но забыл о человеке, самом близком его сердцу. Где же тогда справедливость? Сын оказался несправедливым к матери. Это он заставил ее бесконечно ждать себя и страдать от тревожных предчувствий. Поэтому она и советует ему остерегаться. И кого? Людей, ради блага

которых пустился он в долгий путь... Но только ли их? В глубине ее сознания все еще живет мир ее детства, в котором ночные духи предвещают зло и приносят несчастье. Славянское прошлое до сих пор крепко держит ее в мире предков. А он, кто же он? Он — ее продолжение. Таким и останется. В противном случае ничто не помешало бы ему жить жизнью знатного византийца, утопая в роскоши, замкнувшись в мире чинов и рангов, вкусной пищи и тайных козней, отказавшись от всего человеческого и выдавая себя за такого верноподданного, каким он не был,— именно так ведут себя многие славяне, завоевавшие доверие византийцев. Нет, Константин знает смысл своей жизни! Он посвятил свои дни, ночи и годы кровным братьям. Он хочет возвысить их, доказать, что они тоже могут быть великими, мудрыми, непобедимыми, когда осознают силу свою и свой ум.

— Мефодий проснулся? — спросил Константин.

— Давно. Пошел в нижний монастырь, к миссии.

— Мне тоже пора... что-то я разнежился...

Мать ничего не сказала. Встала и медленно закрыла за собой дверь.

Константин накинул верхнюю одежду и облокотился на подоконник. Из окна была видна пристань, корабли и отблески дня на синей воде.

2

Ранняя весна вползала на хребты близ Брегальницы. С противоположных вершин, по расщелинам, куда вихри намели слежавшийся снег, мчались по камням прозрачные ручейки. Заснеженные места встречались совсем редко, снег блестел на солнце. Внизу, у излучины реки, вербы наливались веселым соком, и верхушки их начинали розоветь. Кизиловые деревья на холмах одно за другим наряжались в желтые облачные одеяния, услаждая взор веселой весенней радостью. Иволга уже не сдерживала свою песню, но жаворонки все еще глядели в голубизну неба и не решались взмыть ввысь. Весна была в пути, и не пришло время воспевать ее с высот.

После приема германской миссии Борис поручил брату Ирдишу и кавхану Онегавону подготовку войска, а сам вместе с семьей отправился в Брегалу, ибо какая-то неведомая болезнь змеиным клубком залегла в груди матери и незримыми пальцами душила ее. Целыми ночами сидела она в постели, прикрыв глаза; когда спускались туманы, в груди начинало свистеть, как в дырявых кузнечных мехах. Только в Брегале мать чувствовала себя лучше: хорошо спала, спокойно и ровно дышала. Однако не только ее болезнь была причиной уединения. Борис любил эти места и, если из-за дел не удавалось ему приехать сюда хоть раз в полгода, впадал в тоску. В последнее вре-

мя, предчувствуя приближение больших событий, он понимал, что не скоро удастся снова посетить любимые места, а потому уже в начале осени поторопился уехать в Брегалу. Лиственный лес, в который пришла осень, окрасился в разнообразные цвета, и они постепенно наводили Бориса на мысли об отношениях между людьми.

Каждый человек подобен цвету — черному, белому, красному, желтому; но загадочнее всех люди, составленные из разных цветов. Они пугают и восхищают одновременно. Они хитры как лисицы, коварны и в то же время искренни, но всего на мгновение, по прошествии которого становятся снова таинственными и загадочными. С одноцветными просто, стоит лишь понять их: одних он покупал, других завоевывал доверием, некоторых просто считал чем-то неотделимым от себя. В Брегале хватало времени на раздумья, беседы, соколиную охоту, и при этом Борис не терял из виду больших государственных дел. Обо всем важном осведомляли люди Ирдиша и Онегавона; если хана не было в большой крепости па холме, они искали его в белых башенках монастырей. Там и находили — в обществе старого игумена, за бокалом монастырского вина, закусываемого миндальными орешками. О чем они беседовали, гонцам было неведомо, но, судя по веселой улыбке хана и его доброму настроению, беседы нравились ему. Лишь однажды Борис покинул обитель мрачным и озабоченным. Игумен Сисой сообщил, что в Константинополь приехали посланцы моравского князя Растицы, чтоб выпросить у василевса мудрецов, способных проповедовать учение Христа на понятном им языке. Известие не удивило хана. Он слышал о намерениях моравского властителя и усомнился лишь в просьбе о направлении ему мудрецов. Скорее всего, Растица спешил заключить союз с Византией против Болгарии и Людовика Немецкого. В этом Борис был уверен. Его удручало еще и то, что он не мог уяснить себе: неужели игумен умышленно сообщил ему эту весть? Вот он был из многоцветных людей: восхищайся им, но и берегись. Старец и в самом деле сообщил ему новость между прочим: несколько дней назад, дескать, узнал от брата во Христе, вернувшегося из Константинополя. Отец Сисой не раз говорил болгарскому хану о славных святых братьях Константине и Мефодии, не имеющих, по его словам, равных себе в толковании божьего учения. Именно они собирались, мол, в Моравию с благословения патриарха и василевса — сеять свет Христова учения среди тамошних славян.

С этого дня хан потерял спокойствие и стал чаще захаживать в монастырь. Велев игумену позвать монаха, вернувшегося из города царей, он побеседовал с ним и решил встретиться с братьями. Уже на следующий день инок отправился в Константинополь с поручением найти Константина и сообщить ему о желании болгарского правителя. Борис не сомневался, что монах заодно предупредит кое-кого из

людей василевса, но это не имело значения. Он достаточно много узнал о братьях от игумена и не испытывал страха. Наоборот, они были источником, из которого можно пить, не пугаясь нечистых примесей. Новое учение властно заставляло думать о себе в ожидании дня решения. А этот день будет зависеть от Бориса. Но к тому моменту ему все должно быть ясно. Он никогда не ходил вслепую и сейчас не пойдет. Однако и медлить нельзя... Вот Растица решился... Разумеется, его вынудили обстоятельства, а разве интересы большого болгарского государства не вынуждают Бориса сделать то же самое? Его враг обращается ко второму врагу, Византии, а он сам, наверное, обратится к врагам Византии и Растицы — к папе и Людовику. И все же неплохо было бы выслушать и ученейших мужей византийской империи. Дело не может быть загублено одной встречей с ними, наоборот, он обогатит свои познания и кое-что получше уяснит для себя.

Выпал небольшой снег, полежал с недельку и растаял. Однако зима на этом не кончилась. Снова пошел снег, сначала как бы шутя, нехотя, но вскоре так облепил деревья, что стали с треском ломаться ветви столетних орехов. Этот новый снег был липким и мокрым, снежинки — величиной с детскую ладошку. Он шел не переставая три дня, пока не превратил мир, горы, Брегалу в хрустальное королевство. Борис выходил на улицу, заслонял ладонью глаза от слепящей белизны и вглядывался в притихшие под снегом монастыри. Монах, посланный в Константинополь, все не возвращался. Снег лежал невероятно чистый, непорочный, чудесный — ни птичья лапка, ни черная ряса брата во Христе не прикасались к нему. Однако и он растаял в течение дня. Всю ночь грохотало в глубоких оврагах, белый ветер выл в трубах, вешние воды шумели, тревожа сон людей.

Утром солнце ворвалось в окна, маня стариков посидеть на припеке под теми же стрехами, что вчера казались навсегда заваленными большим снегом. Борис отчаялся ждать. Множество забот отодвинули на задний план мысль о двух ученых мужах, хотя она, по-видимому, продолжала жить в нем, если уж он каждую неделю ходил в монастырь. Инок вернулся лишь в начале весны с уклончивым ответом: Ростиславова миссия, мол, не хочет идти через болгарские земли, а василевс и патриарх не склонны дать согласие на такое посещение, поскольку Борис заключил союз с Людовиком Немецким. «А что братья?» Братья молчали. Перед тем как инок собрался в обратный путь, они обратились к нему с просьбой передать болгарскому властелину их уважение и чтобы он ждал их после того, как они пройдут Солунь. Этот разговор с посланником вела сестра князя. О том, что братья уже там, хан знал от своих верных людей, давно осевших в городе. Вообще там жило много славян, и глаза их с сим-

патией смотрели на Болгарию. Ничто интересующее друзей из большого болгарского государства не ускользало от их взгляда.

В Брегалу вела одна дорога. Это было известно каждому солунянину. Борис приказал своей пограничной страже не смыкать глаз в ожидании братьев.

Князь захотел лично встретиться с иноком. И он удивился, когда во дворе крепости появилось два черноризца. Один из них был горбат и выглядел совсем мальчиком, у него было нежное лицо и взгляд, в котором угадывались тайная боль и духовная чистота.

Борис хотел было отчитать слуг — ведь он велел привести одного,— но этот взгляд успокоил его, и гнев улетучился. Горбун первым подошел к нему — видать, знал дворцовые обычаи,— трижды поклонился и, почтительно поцеловав руку болгарского властелина, бесшумно уступил место иноку, прибывшему из Константинополя. Когда инок отошел, горбун снова шагнул вперед, поднял свой ясный невинный взгляд и сказал:

— Великий и пресветлый князь, мои учителя — Константин и Мефодий — послали меня, чтобы принести в твое государство свет их слов и молитв за твое здоровье и твою премудрость, с которыми они обращаются ко всевышнему. Твое желание — великая честь для них, и они исполнят его, когда уйдут достаточно далеко от всевидящих глаз василевса и его кесаря, ибо те запретили братьям встречаться со славным князем болгар. Позволь же мне, безликому и невзрачному, быть твоим рабом, пока они не придут...

Речь была произнесена на изящном греческом языке и свидетельствовала о ясном уме и изысканном воспитании говорившего.

— Кто ты, добрый человек? — спросил Борис.

— Я храню тайну беглеца, великий князь, но могу доверить ее тебе, если мой брат пожелает оставить нас вдвоем.

Когда беглец вышел из крепости, Борис долго еще пребывал в глубоком раздумье. Сам сын кесаря — этого жупела всех греков — просил у него защиты? Зачем? Наверное, что-то заставило его бежать от отца. Борис не стал спрашивать: в глазах горбуна прочитывалась душевная драма. И все-таки нелишним будет проверить эту историю: к сожалению, и чистейшие в мире глаза бывают неискренними. Борис не раз убеждался в этом. Надо подождать братьев и позвать сампсиса Хонула, который утверждает, что знаком со всеми знатными людьми в Константинополе. Странно! Теперь Борис сердился на себя: надо было приютить византийца здесь, не отпускать в монастырь. Но это можно еще сделать и после, когда подтвердится правдивость его рассказа.

3

Епископ Радоальд еще не вернулся из королевства Лотара II, но папа не мог больше ждать.

Обвинения против Захария и Радоальда, которых он посылал в Константинополь, накапливались с каждым днем, и ему следовало ускорить дело, если он не хотел создавать у епископов других церквей впечатление, будто согласен с восшествием Фотия. Папа торопился, ибо не хотел упустить инициативу в борьбе с этим самозванцем. По опыту Николай знал, что нападающий побеждает легче, чем защищающийся. Разумеется, признания двух заблудших папских овец не были даны добровольно, но, видит бог, все делается во имя святой истины и справедливости. Захарий не признавался до тех пор, пока к его ногам не приволокли котел кипящего масла и палач не схватил его правую руку, чтоб проверить показания силой божьего суда. Если бы с рукой ничего не случилось после того, как ее окунули в это масло, грешника могли признать невиновным. Захарий видел немало таких судов и знал, что кипящее масло не признает невиновности. Самый великий святой оказывался после такого испытания подлейшим обманщиком и мошенником. А епископ хорошо знал свои грехи и решил, что упрямство бесполезно: и без руки останешься, и уготованного папой наказания не избежишь. Так он признался. Однако это не удовлетворило папу, который хотел публично посрамить недостойного и посему пожелал созвать расширенный Синод, в котором приняло бы участие максимально возможное число епископов. Папа стремился придать своей борьбе гласность и не хотел ограничиваться полумерами. Захарию надо было перед всеми подробно повторить свои показания. И он сделал это, свалив всю вину на Григория Сиракузского, надеясь таким образом хоть немного смягчить свои прегрешения и направить гнев папы против главного помощника Фотия.

Николай сидел на своем обычном месте, молчаливый и сосредоточенный. Во второй раз слушал он признания Захария и все не мог избавиться от чувства отвращения. «Продаться врагам за несколько мошон золота! И он был моим слугой, защитником божьей истины. Вот современный Иуда, только купленный не за сребреники, а за золотники». Папа поднял голову, оглядел епископов. Сколько их завидуют сейчас Захарию? Например, вот этот сухопарый, что смотрит исподлобья, как уличный вор. Он продаст папу и за половину Захариева золота. Хорошо знает его папа: сухопарый в свое время обобрал монастырь Климента Римского в низовье Луары. Шум тогда поднялся до небес, но плуту удалось избежать божьего суда — деньги нашлись в его саду, подброшенные под старые вербы. Недалеко ушел от того вора и епископ Кёльна — Гунтар. За деньги он продал бы родную мать и отца, хорошо еще, что их вовремя призвал к себе

господь... На папу произвела впечатление высокая фигура трирского епископа Титгауда. Его овальная голова была похожа на большое куриное яйцо. Лицо казалось белым в сумерках зала и могло смертельно утомить, как утомляет скучное, голое и ровное поле, где взгляду не за что зацепиться. Папа долго глядел на него, будто видел впервые. Титгауд столь увлеченно слушал самобичевания Захария, что нижняя губа у него отвисла, и с нее опускалась тонкая, будто осенняя паутина, слюна. Рядом сидел архиепископ Реймса Гинкмар. Угрюмый, тяжелый взгляд, излучающий мысль и волю. С таким надо дружить, не дай бог поссориться — будет охотиться за тобой до гробовой доски. Папа и Гинкмар были когда-то недалеки от распри, но вовремя одумались. Теперь они стояли на одной платформе и у них были общие враги.

Реймский архиепископ выступил первым после Захария, и его слова обрушились, словно небесный гром, не знающий пощады.

Он настаивал на снятии Захария с епископского поста.

И его требование поддержали... Первым был папа.

Затем Синод приступил к рассмотрению и толкованию протоколов последнего собора в Константинополе. Там, где чтецу следовало оттенить написанное, папа поднимал палец, а Анастасий делал заметки об этих местах в какой-то книге. Собор охарактеризовали одним словом — незаконный. Фотий незаконно сел на престол главы церкви, незаконно, без папского разрешения, созвал собор, незаконную форму приняло участие папских легатов, задачей которых было не представлять папу, а делать нечто совсем другое.

По мнению участников Синода, Фотию надлежит немедленно покинуть патриарший престол, а если он не уступит свое место законному патриарху, Игнатию, его ожидает самое худшее —анафема. Никто не говорил о «свержении», ибо Фотий был избран не по канонам. Все сделанное им как патриархом Синод не пожелал признать, ибо он узурпировал власть. Особенно досталось Григорию Сиракузскому, соратнику Фотия, искусителю папских послов. У папы были с ним старые счеты. В глазах Николая он был духовным лицом его диоцеза, переметнувшимся на сторону константинопольской церкви. Вряд ли папа мог простить такого человека. Мелкие хитрецы особенно сильно раздражали его. Поэтому он не смог сдержать улыбки, когда услышал резкие слова Гинкмара:

— Лишить Григория епископства и предать анафеме... если не подчинится.

— Предать анафеме по божьей воле! — кивнул папа.

Теперь миру следовало узнать решения Синода. Скорописцы столь старательно переписывали их, что столы были испачканы чернилами, а свечники не успевали приносить новые свечи. Все церкви одновременно с решениями получили и наставления, как относиться

к лжепатриарху Фотию. Папа не мог простить бывшему императорскому секретарю незаконное восшествие и стремление разделить всемирную славу с ним, истинным представителем отца небесного. Не мог простить и направления братьев в Моравию. Константин и Мефодий уже выехали из Константинополя, но где они сейчас — папа не знал. Успокаивала мысль, что Людовик Немецкий легко подавит глупое упрямство моравского князя, а тем самым поставит крест и на надеждах Фотия. Послы Людовика заявили, что болгары не прочь принять крещение, а их хан, Борис, обещал императору обратиться за помощью к Риму. Если это случится, папа будет безгранично доволен. Такая страна, как Болгария, может стать под его духовной властью и контролем карающим мечом, занесенным над головой Византии. Тогда Фотию не останется ничего другого, как пойти на поклон. Николай почти зримо представил себе позор константинопольского патриарха. Сначала он заставит его, словно попрошайку, подождать у ворот Латерана, пока не соберутся все епископы. На Синоде он надолго поставит его на колени, пусть потеряет сознание от истощения, остальное — потом...

Наряду с ощущением торжества папу, однако, снедала тайная тревога, не дававшая ему покоя по ночам. История с женитьбой Лотара II уже грозила перерасти в общественный скандал; надо было вмешаться. Но стоит ли торопиться? Кто просил о помощи? Только Тойтберга, изгнанная законная жена Лотара! Когда папа принимал ее и выслушивал жалобы, он не думал становиться на чью-либо сторону. На Синоде и после него он побеседовал с епископами Трира и Метца и понял, что оба они — за Лотара. Тогда папа решил посоветоваться с Гинкмаром. Реймский владыка защищал невиновность Тойтберги, дочери графа Бозо. Картина постепенно прояснялась, созревало и решение папы — поддержать справедливость! А справедливость требовала защитить Тойтбергу, главным образом из-за того, что ее оклеветали. Лотар женился на ней за три года до восшествия Николая на престол; тогда Николай в качестве представителя папы был на свадьбе и все хорошо помнит до сих пор. Уже на свадьбе перешептывались, что король Лотар, брат императора Людовика, незаконно живет с какой-то женщиной. Начался пьяный спор о детях от нее. Папский представитель навострил уши, но, услышав имя женщины, не стал ввязываться в спор, считая, что это скверно по отношению к дочери одного из лучших мужей Лотарингии. Нет, Вальдрада вряд ли согласилась бы на такую безнравственную связь. Он видел ее несколько раз, и она произвела на него хорошее впечатление.

В то время спор потонул в шуме пышной свадьбы, угаре кутежей, растаял в блеске даров и похвал молодоженам, Тогда Николай впервые увидел жену Лотара, Тойтбергу. Ее нельзя было назвать

красавицей, но стройная мальчишеская фигура и белое лицо с неправильными чертами внушали симпатию. В сущности, молодость всегда прекрасна. Конечно, в сравнении с Вальдрадой Тойтберга проигрывала. На смуглых щеках Вальдрады играл свежий румянец, а когда ее сочные губы раскрывались в улыбке, то обнажались перламутровые зубы, светившиеся каким-то особенным блеском. Что-то властное, покоряющее было в ее походке и речи, в ее взгляде сквозь длинные ресницы. Услышав на свадебном торжестве ее имя, папский представитель Николай, невольно сравнивая обеих женщин, отдал предпочтение Вальдраде. И все же мужчине, если он влюблен, могла нравиться светловолосая, хоть и чересчур прилизанная головка дочери графа Бозо. Но все дело было в том, что Лотар влюбленным не был. Или был, но не в нее. Это выяснилось через год после свадьбы. То, что произошло, взбудоражило всю страну. Король посадил законную супругу с придворными в кареты и отправил ее обратно к отцу, обвинив в том, что еще до их брака она была в связи с другим мужчиной и, значит, недостойна родить ему наследника. Правда, скорее всего, была в другом: на сцене вновь появилась Вальдрада. Она родила Лотару двух дочерей и сына, и король хотел, женившись на Вальдраде, сделать их законными наследниками. Самым грустным в этой распре была любовь молоденькой Тойтберги. Она страстно любила мужа и вовсе не хотела с ним расставаться. Сам папа убедился в этом, когда она пришла к нему. Она умирала от любви на глазах у всех и боролась не столько против клеветы, сколько за любимого. Эта женщина готова была принести себя в жертву во имя своего счастья.

Да, надо было вмешаться...

4

Мефодий встал рано, лучи солнца еще не коснулись моря. Со стены большой внутренней крепости город казался ленивым и сонным. Но это было иллюзией. Уже давно открылись лавки, продавцы мяса развесили на крюках крупные розово-красные куски, только что пойманные рыбины серебряно сверкали в больших деревянных мисках. Мефодий подождал, пока откроют тяжелые ворота внутренней крепости, и пошел в гавань. Вчера вечером они поздно причалили, Солунь окутывали сумерки, и он не смог насладиться встречей с родным городом.

Спускаясь вниз по улочке, он открывал для себя немало нового. Город разросся. Базар был на другом месте — в действительности оказалось, что его всего лишь расширили. Прилавки гнулись от всякой всячины, начиная с толстых конопляных веревок и льна и кончая бронзовыми украшениями для конской сбруи. Поодаль находи-

лись гончарные мастерские. От многоцветного товара рябило в глазах, а внутри, среди груд готовой к употреблению глины, сидели мастера, ловкими ногами крутили гончарные круги и, как волшебники, вытачивали сосуды различной формы. Мефодий перешел на другую сторону. Продавцы усиленно зазывали покупателей, и он замедлил шаг у куч апельсинов и мандаринов, заглянул в горшки с крупными, как сливы, маслинами. Потом он посмотрел на небо — солнце уже поднималось, совершая свой ежедневный круг. Открылись ворота в большой город, и Мефодий решил пойти к миссии. Группа учеников производила внушительное впечатление. Большинство из них были еще молоды, но сообразительны и любознательны. Савва не ошибся в выборе. Ученики быстро усвоили обе азбуки, созданные Философом. Теперь в их дорожных сумках лежали книги, написанные новыми буквами. Те, которые написаны буквами первой азбуки, братья думали оставить болгарскому князю. Его приглашение посетить Болгарию застало Константина и Мефодия накануне отъезда, так что не оставалось времени на уговоры Варды и Фотия, но братья решили пойти к болгарам. Они поделились своим намерением с Иоанном, и он выразил желание поехать в Брегалу и передать Борису это радостное известие. Братья согласились с ним: оставаться в Константинополе он не хотел, а взять его с собой в поездку было невозможно — царские люди вернули бы Иоанна с середины пути. Зато вряд ли кто догадается искать его в направлении Брегалы. Пока братья обойдут монастыри, пока пересекут Золотой Рог, он уже прибудет на место назначения. На этот раз горбун взял с собой охранный знак людей из высших кругов.

Иоанн отправился в дорогу всего за день до отъезда братьев, и Мефодий больше ничего не знал о нем. Удалось ли ему встретиться с князем болгар? Горбун вез письмо к отцу Сисою, игумену брегальницкой обители... Мефодий пересек двор, мощенный крупными плитами, и хотел пойти к ученикам, как вдруг, словно из-под земли, появился Савва. Он был обнажен до пояса, в бороде блестели прозрачные капельки воды, а от покрасневшего тела шел едва заметный пар. Савва хотел спрятаться за высоким самшитом, но Мефодий приветливо поманил его к себе. Савва подошел и, все еще смущаясь, поздоровался.

— Что это у тебя на груди? — спросил Мефодий, вглядываясь в какое-то изображение.

— Выжженный крест, учитель.

— С каких пор?

— Когда был рабом у халифов...

Мефодий поморщился и больше ничего не сказал. Савва натянул рясу на мокрое тело и последовал за ним. Когда шли по лестнице, Мефодий обернулся к нему:

— Я хочу доверить тебе одно дело!

— Слушаю, учитель.

— Все ученики уважают тебя и верят тебе. Можно ли что-нибудь сделать, чтобы мы задержались здесь на две недели? И чтоб до людей кесаря не дошла настоящая причина нашего отсутствия...

Савва почесал мокрую бороду, задумался, но вдруг хитрая улыбка озарила его лицо.

— Проще простого...

— А как?

— Еще вчера кормили нас какой-то омерзительной бурдой... и...

— Ясно. На две недели!

У кельи Савва указал на дверь:

— Он здесь...

Мефодий постучал. Климент откликнулся и вскоре открыл дверь. Мефодий кивком попрощался с Саввой и вошел. В келье было сумрачно. Толстая восковая свеча излучала скудный свет, но и так были видны разложенные листы пергамента. По-видимому, Климент что-то переписывал. Мефодий подошел, взглянул — рукопись была написана буквами первой азбуки.

— Пожалуй, она тебе больше по вкусу? — И Мефодий вопросительно поднял брови.

— Проще она... Да и как раз для Болгарии.

— Так назовем ее болгарской...

— Рано еще. Савва именует ее Константиновой.

— Ты смотри! — Мефодий нагнулся и стал рассматривать список.— Похоже, твоя работа подходит к концу.

— Завтра подошью... Если и вправду состоится туда поездка, пошлю его учителю.

«Туда»... Мефодий задумался. Там, куда, возможно, они поедут, прошла бо́льшая часть его молодости, там он отринул тщеславие и спесь патрикия, там остались могилки его детей. Там, именно там улыбнулась ему в последний раз крошка Мария, держась ручонкой за два его пальца, и по этому живому мосту последний ее трепет перешел к нему, чтобы жечь потом нестерпимой болью. Воин, бывший стратиг, стойкий борец против несправедливости ощутил предательскую слабость, и слезы вдруг подступили к глазам. Мефодий, повернувшись к Клименту спиной, сделал вид, что рассматривает в углу старый иконостас.

Одолев минутную слабость, он присел на тахту и, медленно произнося слова, стал делиться своими тревогами с Климентом. Сказать по правде, Мефодий именно за этим и пришел, но нахлынувшие горькие воспоминания расстроили его. Он боялся повторения и не хотел, чтоб другие видели его в таком состоянии. Ведь именно с Кли-

ментом отправились они тогда в монастырскую обитель, немало было пережито с тех пор, и поэтому лишь Климент был в состоянии вполне понять его. Мефодий колебался, стоит ли лично ему идти на встречу с болгарским князем: и Брегала, и земли вокруг нее так болезненно живы в памяти, что могут подорвать уверенность, необходимую для убежденного служения божественной истине. Да и как сам князь воспримет присутствие Мефодия? Может, почувствует себя неловко, оттого что занимает его земли и дом, может, попытается уязвить Мефодия, чтобы защитить свое право, завоеванное силой меча? Если князь не узнает, кто он, вот тогда еще можно... Годы изменили облик Мефодия: морщин прибавилось, волосы поредели, борода поседела. И все-таки — вдруг кто-нибудь другой узнает? И тогда душа властелина усомнится в истинности намерений гостей... Нет, будет лучше, если к князю поедут Константин и Климент, а в извинение отсутствия Мефодия придумают какую-нибудь причину.

Эта мысль упрямо диктовала решение вопроса, однако Мефодий все еще колебался: хотелось услышать мнение Климента. Но Климент тоже не спешил сказать свое слово: истинны были опасения бывшего стратига, и вместе с тем Климент знал о тайном желании Мефодия прикоснуться к земле, в которой лежат его дети, а потому страшился высказать свое суждение. Ведь Брегала обратит также и мысли Климента к тому кресту на горе, под которым почивает мечтатель и книжник, сотворивший книгу рода. Там, в пещере, прошло его собственное детство, среди запахов дубленых заячьих шкур и зимней сырости. И если он когда-то мечтал посеять чистое семя в душе славяно-болгарского народа, то хотел начать с Брегалы, с белых монастырей у подножия пещеры. О них и песню сложили. Говорилось, что до того, как Брегала перешла во владения болгарского князя Бориса, Пресиян решил продать их. Песню продолжали петь до сих пор, хотя монастыри при Борисе благоденствовали. Она была печальной. Клименту запомнились две строки:

Продаются, мама, монастыри белые,
Ах, белые монастыри, мама, с черными монахами...

Эти монастыри вдруг ожили в его душе: они находились внизу, под самой пещерой, Климент часто подходил к самому краю утеса, нависающего над ущельем, и целыми днями наблюдал за иноками, которые двигались по двору, точно маленькие черные насекомые по белой ладони. И даже мулы с этой высоты казались сороконожками. Все это забавляло душу мальчика. Как они теперь? Наверное, живут там и поныне. Если отец Сисой посылает людей от имени князя, значит, все у них по-прежнему.

— Разговаривали ли вы с Константином? — спросил Климент.

— Я не видел его со вчерашнего дня..,

— Он лучше всех нас решит.

— Я тоже так думаю, но ты мне всех дороже, Климент. Ты носишь в себе улыбки и слезы моих детишек, поэтому я пришел к тебе, ты поймешь меня лучше всех.

— Я понимаю, учитель, я понимаю...

Оба умолкли. Потом Мефодий встал и, тяжело вздыхая, пошел к выходу. Климент проводил его до внешних ворот и, прислонившись к камню, долго смотрел на широкую, слегка сгорбленную спину и прихрамывающую походку Мефодия.

Повсюду мир подвергал их коварным испытаниям, которые приходилось преодолевать ценой собственных страданий и собственной боли.

5

Рано утром гонец принес тревожные вести. Сарацины снова собирались напасть на византийские земли. Это нападение должно многое решить. Если имперские войска разделаются с врагом, можно будет сосредоточить легионы на северной границе. Болгары заключили союз с Людовиком Немецким, значит, намерены сообща действовать против союзников империи — мораван, сербов и хорватов. Василевс сдержит свое слово и не оставит их в тяжелый момент. Но что может сделать Михаил? Слава богу, Варда еще присматривает за всем... Варда боялся коварства и потому стремился взять управление войсками в свои руки. Вероятно, фаворит Михаила, Василий, это заметил, так как император решил вдруг доверить ему командование маглавитами и охраной дворца. Варда понимал: такая мысль никогда не родилась бы в голове его племянника. Что же делать — воевать или примириться? Начнешь роптать — вызовешь подозрения у василевса, и они будут подогреваться непрестанным шушуканьем Василия. Лучше сделать вид, что ничего не заметил... Ведь раньше гвардией командовал Фотий, и после его восшествия на патриарший престол пост остался свободным. Но Варда не торопился с предложением о замене, а Михаилу это и в голову не приходило. И вот тебе раз, он передает командование маглавитами Василию.

Впервые кесарь ясно осознал, что существует еще одна опасная сила в этом мире знатных блюдолизов. Он чувствовал себя глубоко оскорбленным и едва сдерживал гнев. Не будь новой тревожной вести, он не замедлил бы осуществить давно задуманное посягательство на императорский трон. Вместо того чтоб устранять противников одного за другим, можно было бы одним ударом расчистить себе дорогу. Войска сына Антигона и брата Петрониса немедленно были бы выз-

ваны в Константинополь, а тем временем он с помощью внутренней охраны разделался бы с обоими и предохранил бы город от возможных бунтов. Варда посмотрел в окно. Конь гонца, весь в мыле, положил голову на коновязь, бока его вздымались. Кесарь велел впустить гонца; тот еле шел — видно, ноги были в ссадинах от езды,— тяжелая усталость отпечаталась на его лице. Если бы он приклонил голову на подушку, то немедленно заснул бы глубоким сном.

— Ну? — Кесарь поднял тяжелый взгляд и остановил его на бледном запыленном лице гонца. Тот слегка подтянулся, расправил плечи, чтобы выдержать этот взгляд.

— С просьбой еду, ваша светлость, люди нужны...

— Люди! А откуда их взять?

Парень молчал. Он выполнил поручение. И ждал. Варда подошел к нему.

— Отсюда — невозможно. Отдохни и завтра скачи в Смирну. Пусть идет тамошнее войско — хватит дармоедничать за счет василевса. Я велю дать тебе письмо с приказом стратигу. Ступай.

Кесарь подошел к двери, закрыл ее и сел в высокое, подобное трону, кресло. Мысли зашевелились, как змейки под перевернутым камнем. Прикидывал, что делать. Может, не спешить с передачей маглавитов под командование Василия, окружить сегодня вечером опочивальню Михаила и расправиться с обоими раз и навсегда? Но как быть потом?.. Голос Игнатия еще не смолк, не забыты грозные слова, произнесенные им с амвона. Стоит взбунтоваться жителям столицы, и конец кесарю. Этот дрянной народ ненавидел его. Следил за ним, ожидая, когда же наконец сбросят кесаря, когда поведут на южную стену. Многие маглавиты все еще были верны Михаилу. Пока он не заменит их своими людьми, невозможно совершить задуманное... В сущности, о замене уже поздно думать. Остаются лично преданные люди да войско Антигона и Петрониса. С божьей помощью они как-нибудь одолеют своих врагов. Надо поскорее устранить Василия — тогда Михаил пусть сидит себе на троне, его все равно что нет. Варда встал с кресла, снял парчовую одежду и накинул пестрый сарацинский халат. В таком виде он не принимал никого, если не хотел унизить — как в свое время Феодору. Он собирался прилечь в соседней комнате и поразмышлять. Очевидно, что его явно оттесняли в сторону, и надо было вернуть первенство. Он погрузился в борьбу за свержение одного и выдвижение другого патриарха, а Василий тем временем не дремал. Кесарю стоило вновь сблизиться с Михаилом, вновь завоевать его расположение. Правду сказать, годы уже не те, тяжеловато будет вернуться к прежней разгульной жизни, но другого пути нет. Последнее время Варда предпочитал быть с Ириной. С нею он чувствовал себя лучше всего. Она была любвеобильной и преданной, как никогда...

Варда запахнул халат и пошел в соседнюю комнату, но услышал скорые шаги в коридоре и остановился. Это шла она, легко и быстро. Переодеться не было времени, и кесарь только завязал пеструю тесемку халата на груди и поспешил навстречу Ирине.

Она была встревожена. Брови высоко подняты, глаза широко раскрыты, и в них — скрытый беспокойный вопрос.

— Что случилось? — спросил кесарь, подойдя к ней.

— Иоанна нет!

— Ну, не велика беда! — Варда не понимал ее тревоги.

— Несколько дней где-то пропадает...

— Ты боишься, что он куда-нибудь уехал?

— А что же может быть еще?

— Некуда ему ехать! — Он попытался успокоить ее, но тоже задумался.— Может, в Моравию?

— Не знаю! — Она пожала плечами.

— Если туда, далеко не убежит. Велю вернуть тотчас же. Хотя... К чему он нам тут? Все равно ведь люди будут сплетничать...

— Но если его нет, я тоже должна уйти из твоего дома!

— Скажем, утонул. Никто не имеет права принудить вдову покинуть дом погибшего супруга.

— Тебе легко...

— Совсем не легко! Я тоже устал играть в прятки. Я как страус: голова в песке, тело на виду.

В его голосе и впрямь слышались усталость и отчаяние. Чутьем наблюдательной женщины Ирина уловила перемену. Впервые она видела его таким равнодушным, апатичным.

— Что случилось?

— Что случилось? — переспросил он.— Да ничего. Пока я пекусь о государстве, конюх добивается своего за мой счет. С сегодняшнего дня я уже не командую маглавитами.

— Почему?

— Потому что не развлекаюсь с василевсом, как он, не улыбаюсь — надо, не надо, не восславляю его «мудрость»...

— Да, но что Иоанн?

— Сказал же — найду. Куда он денется! У меня земля под ногами горит, а ты с Иоанном. Не маленький — пусть катится, куда хочет...

Кесарь потуже завязал тесемки халата, разгладил складки и пошел в соседнюю комнату. Ирина следовала за ним. Она все еще не понимала, что же случилось: ведь и раньше Варда не командовал личной охраной императора! Откуда же теперь эта тревога?

— Ты же и до сих пор не командовал ими!

— Зато командовал Фотий.

— Ну?

— А теперь — любимчик Михаила Василий... Вот что плохо. Тебе понятно, чем это грозит? Когда-то я исполнил твое желание, устранил его от себя, мог и вообще убрать одним взмахом руки. Сейчас смотри, куда дело зашло: я стал его бояться.

— Ты шутишь, что ли?

— Ну, это так, к слову... Я не из пугливых.— Кесарь попытался смягчить свои слова.— Просто меня удивило решение василевса. Мог бы посоветоваться, узнать мое мнение. Нет! Бах, и Василий — верховный протостратор. Но ничего, поживем — увидим!..

Ирина не стала ждать продолжения. Прильнув к широкой груди Варды, она запустила руку под халат.

— Ну-ну, что ты...

— А что? Хорошо мне с тобой...

Кесарь нагнулся и обнял ее жилистыми руками. Всего два шага отделяли их от широкого дивана, и он сделал эти шаги... Варда надеялся, что смятение отступит, однако оно не уходило, он не мог преодолеть его. Прислушиваясь к ровному дыханию Ирины, кесарь упрекал себя в чрезмерной подозрительности, но все напрасно — успокоение не возвращалось.

6

Еще в пограничных землях Константин понял, что Борис его ждет: встречающих становилось все больше. Философ надеялся увидеть Иоанна, однако из монастыря приехал только посланец отца Сисоя. Среди встречающих было много вооруженных наездников, но ни одного с крестом. Все — царские люди, судя по одежде и коням. Лишь когда миссия вышла на мощенную камнем дорогу, ведущую в глубь страны, стали появляться крестьяне и рабы. Некоторые издалека крестились, другие подходили поцеловать его руку и попросить благословения, третьи пристраивались за царскими стражниками. Константин ехал на спокойном кауром коне, а рядом, то и дело спотыкаясь о камни, лениво шагала белая кобыла. На ней неестественно прямо сидел Климент: тороки с книгами, перекинутые через седло, мешали ему вложить ноги в железные стремена. Мефодия с ними не было. Выслушав опасения брата, Константин решил, что ему не следует появляться в Брегале. И кроме того, нельзя оставлять учеников одних. Кто-либо из знатных византийцев может пожелать найти их. Если они будут отсутствовать оба, это может показаться подозрительным. Хотя братья имели тайный знак византийского двора и, значит, могли ехать куда хотят, все же перед отъездом им ясно дали понять, что встреча с болгарским ханом нежелательна. Нет причин раздражать властителей открытым пренебрежением к их наказу.

Солнце припекало, и на их верхней одежде проступили пятна пота. Константин давно не бывал во владениях брата, поэтому с интересом рассматривал холмы, огороженные синеватыми хребтами, красивые панорамы деревень в долинах, поля, крестьян, неожиданно появляющихся на поворотах, старающихся поймать и поцеловать его руку. Люди князя не гоняли их кнутами, не мчались за ними вслед — Константину стало ясно, что здесь есть определенная религиозная свобода. Трудно, правда, понять, установлен ли этот порядок специально к его приезду или здешние правители давно отказались от преследования христиан. Взгляд Философа остановился на белых монастырских стенах. Из ворот толпой выходили иноки, возглавляемые сутулым старцем с длинной бородой, опирающимся на грубый посох. Рядом, высоко держа икону богоматери с младенцем, шагал долговязый послушник, а чуть в стороне шел Иоанн. Сначала Константин подумал, что процессия направляется к нему, но, проследив взглядом ее путь, понял, куда она идет. В глубине долины высились башни крепости Брегала, стоявшей на краю глубокой пропасти. У крепостных ворот толпились богато одетые люди, которые встретили шествие монахов и построили их по обеим сторонам дороги, выставив вперед долговязого с иконой.

Константин благословил встречающих с коня, а когда приблизился к старцу, спешился и поцеловал его руку. Это произвело на всех большое впечатление. Затем гостей провели во внутренний двор крепости.

Борис ждал в приемной. Толстые стены дышали холодом, и он велел разжечь камины с решетками из кованого железа. Пламя лизало закоптелые стены очагов, бросая отблески света в помещение и оживляя его. Неизвестный художник пытался украсить пол пестрой мозаикой, но, по-видимому, не хватило мастерства: камень по-прежнему был холоден и мертв. Только угол, где стояло красивое дубовое кресло, излучал уютное тепло. Весь угол был искусно отделан деревом, медью и золотом.

Подлокотники кресла были вырезаны в виде лежащих тигров, тигровая голова виднелась в верхнем углу ниши. Наверное, чей-то родовой герб. По бокам стояли два кресла поменьше. Константин и Климент подошли к высокому смуглолицему мужчине, сидевшему в дубовом кресле, и, согласно обычаю, поклонились.

Философ иначе представлял себе князя болгар: статным, широкоплечим, с недоверчивым взглядом,— но в кресле сидел стройный человек с удлиненным лицом, живыми, умными и приветливыми глазами, с лицом скорее ученого, чем воина. Слова Константина нарушили тишину приемной, колыхнули языки пламени:

— Да будет благословен миг, когда великий хан и князь болгар, преславный и солнценосный Борис, соизволил послать мне и моему

брату преблагостное поручение посетить его дом и насладиться его сердечным гостеприимством. И если небесный судия говорит моими устами, то пусть дарует ему еще сто лет жизни и прославит его в веках. Это я говорю и от имени моего брата Мефодия, который по личным причинам не смог воспользоваться твоим радушным гостеприимством, хан и князь благословенной болгарской земли...

Не успел Философ закончить свое приветствие, как быстрая ласточка влетела в высокое окно, описала круг под сводчатым потолком и выпорхнула наружу.

— Я счастлив встретить величайшего мудреца византийской империи, о славе которого, завоеванной в диспутах с сарацинами и хазарами, я немало наслышан. Мой дом — твой дом. Он всегда открыт для хороших людей. Птица, сделавшая круг над твоей головой, была хорошей приметой...

На этом закончилась официальная часть.

Поздно вечером, сидя за накрытым столом, они разговаривали просто, без высокопарных слов и взаимного прощупывания. Борис был прямодушен, и Константин решил быть откровенным. Он не скрыл своей мечты когда-нибудь прийти сюда, чтобы распространять учение Христа. Рассказал о бессонных ночах, когда была создана азбука для болгарского народа, о своем желании возвысить его до уровня самых просвещенных государств, гордящихся своей письменностью и литературой. И о том, что он теперь едет в Великую Моравию, чтобы там бросить первые семена просвещения в славянскую душу...

Не утаил Философ и своего славянского происхождения. Борис слушал в глубокой задумчивости и с большим вниманием. Когда Климент преподнес ему две книги, написанные азбукой, созданной Константином, он долго листал их, рассматривал, и гости почувствовали, что он испытывает подлинную радость. И не ошиблись. Борис не мог заснуть до глубокой ночи. Именно эти мудрые люди будут нужны ему — совсем, совсем скоро... Интересно, как они отнесутся к его приглашению остаться подольше? Нет, еще не время. Надвигалась война. Войска уже вышли в поход к границе с Ростиславом, с хорватами и сербами. Ему самому следовало поскорее отправиться туда. Его пугало дробление войск. Рискованная это затея — воевать одновременно с тремя государствами. На Сербию пойдет сын Расате с двенадцатью великими боилами, на Ростислава — Ирдиш и Онегавон, сам князь — на Хорватию и Карломана. Только б византийские войска не одолели к тому времени арабов, иначе они обрушатся на Болгарию, и будет очень тяжко.

Чем внимательнее рассматривал он подаренные книги, тем лучше осознавал: он не создан для брани. Не ратное поле с запахами смерти было ему по душе, а пергаменты с запахом жизни, богатой

жизни, сотворенной разумом и руками человеческими. Хан как-то неуверенно открыл первую книгу, но чем больше читал, тем больше росло его удивление. Греческие знаки говорили с ним на языке его народа — того народа, который постепенно переплавляет племена и их языки и превращает все в прекрасный народный сплав. Трудные буквы Борис легко находил в конце, где была написана вся азбука. Но вторая книга была написана непонятными знаками. Утром вместо приветствия хан спросил гостей, нет ли у них с собой еще книг, написанных знакомыми буквами. Нашлись еще четыре. Одна была совсем новая, перевязанная конопляной веревкой — чтоб «села».

После завтрака князь предложил гостям пройтись к монастырю. По дороге гости разговорились о пользе от новой письменности и новых книг. Борис слушал и размышлял. При переходе в христианскую веру наличие своей азбуки и своих книг поможет преодолеть многие препятствия. И если удастся создать самостоятельную церковь, тогда нечего будет бояться, что народ попадет в зависимость от Рима или Византии. Неважно, что знаки сильно похожи на греческие, важно, что язык — славяно-болгарский, язык его народа.

— А не может ли кто-нибудь из вас задержаться здесь? — както неуверенно спросил хан.

— Мы — нет. Но здесь сейчас мой друг Иоанн. Он хорошо владеет пером и кистью. Если пресветлый князь желает, то может оставить его.

— Он говорит на нашем языке?

— Слабо... Но умеет хорошо переписывать книги. Азбуку знает... и вполне способен обучить ей здешних молодых людей.

— А вдруг кесарь узнает, что его сын у меня? — нарочно спросил Борис, желая понять, как отреагирует на это Философ.

— Они не любят друг друга. Иоанн решил поехать с нами, но уже в Солуни его разыскивали. Для него будет лучше, если он останется здесь.

Климент почти не вслушивался в разговор князя с Константином. Он погрузился в воспоминания, и его взгляд искал следы детства. Та скала, с высоты которой смотрел он когда-то на монастырский двор, казалась ему теперь низкой и невзрачной. А мальчиком он думал, что она достигает облаков и что она самая высокая в мире. И река казалась не такой глубокой и полноводной, как раньше. Климент сознавал, что за прошедшие годы он повзрослел и вырос, а здесь все осталось, как в детстве.

И все-таки он жалел, что не может вместо Иоанна работать тут — в краю, где надо, чтобы пустила корни созданная Константином азбука, чтобы были распространены среди людей книги, переведенные им на славяно-болгарский язык, на язык тех, кто живет в Болгарии.

Приход гостей в монастырь стал настоящим торжеством. В их честь отслужили заутреню, Бориса посадили на трон владыки, несмотря на то что он был язычником, и Константин произнес слово о святом Клименте Римском.

Целых десять дней продолжались беседы. На одиннадцатый гости простились и отправились в Солунь. Иоанн долго шел рядом с Константином, слушая его поручения. Дело учителя переходило здесь в его руки, и он должен был оправдать надежды. Борис, украдкой наблюдая за Иоанном, заметил слезы в его больших, как у серны, глазах и без дальнейших расспросов понял причины его бегства.

И по дороге в дунайские земли хан все никак не мог забыть эти умные и печальные глаза.

7

Не гнев папы Николая удивил Фотия, но быстрота, с которой в Риме делалось дело. Он досадовал, что позволил папе опередить себя. Папские послания уже спешно везли по суше и по воде к самым отдаленным церквам и народам, и таким образом распространялась клевета о незаконном восшествии константинопольского патриарха. Получалось, что именно он, Фотий, должен теперь давать этим церквам объяснения, чтобы не лишиться их поддержки. Целыми ночами светились окна патриаршего дворца: синкелл и его помощники толковали и опровергали послание Николая, искали слабые места, чтобы легче доказать правоту Восточной церкви. Фотий понимал: решения римского Синода останутся на бумаге. Никто в Царьграде не намерен считаться с ними, а тем более их выполнять. Ни он сам не покинет добровольно престола, ни его епископы и архиепископы не откажутся от своих мест, потому что так, видите ли, повелел папа. Многие нынешние иерархи были рукоположены Фотием, а потому угрозы Николая относились и к ним. Тряхнув кудлатой головой, Григорий Сиракузский так отозвался о послании Николая:

— Он не христианский пастырь, а слуга дьявола. Того гляди отправит послание царю небесному с указанием, как вести себя с людьми, сотворенными им!

Не все, однако, были согласны с сиракузцем. Фотий чувствовал, что старые епископы и архиепископы смотрят на него уже как на низвергнутого и преданного анафеме. Чтобы спасти свой авторитет высшего духовного лица, он велел служить сорокадневную службу в церкви Святых апостолов. Непрестанные молитвы и песнопения должны были вернуть Восточной церкви святое покровительство и благоволение апостолов. Сам патриарх заперся в церкви святой Софии и четыре дня молился, питаясь лишь хлебом и водой.

Чудеса не замедлили явиться народу. В старом пересохшем водопроводе вновь потекла вода; икона Климента Римского в церкви Святых апостолов дрогнула во время службы, и кое-кто утверждал, что святой поднял руку, благословляя собравшихся. Чудеса истолковали в пользу Фотия и Восточной церкви. Вновь пошли разговоры о Константине и Мефодии: сам Климент Римский указал им дорогу в Моравию во имя спасения душ новокрещеных славян от служителей папы.

Фотий закончил бдение усталым, но непреклонным. Борьба начата, пути к отступлению отрезаны. Прежние его мысли о бесцельности земной суеты улетучились одновременно с недолгими колебаниями; он даже попытался забыть свой девиз, который любил повторять знакомым, чтоб показать приверженность античным мыслителям и поэтам. Ныне выражение «царствие мое не от мира сего» патриарх упоминал изредка и лишь в смысле служения отцу небесному. И все же невозможно было полностью оторваться от земных забот. Прошлое цеплялось за него, напоминая о себе. Та, чье имя он не смел даже произносить, по-прежнему ждала его, присылала записки, просила о встрече. Она не могла, видно, понять, что все отошло в прошлое и что его духовное звание уже разлучило их. Как можно позволить себе вернуться к запретному, когда тысячи бдительных глаз следят за ним в надежде уличить в грехопадении и обесславить по всему христианскому миру. Да и множество забот, свалившихся на его голову, не оставляет времени подумать о ней. Фотий в последнее время убедился в одной истине: женщина никогда не сможет понять мужчину. То она бросает его, когда больше всего нужна, то надоедает, когда в ней нет необходимости. Ведь так важно понять, когда ты нужна мужчине и когда — нет. И что ж? Она его ждет! И пусть ждет — вряд ли он придет. Возможно, это случится позже, но сейчас — нет! Если она уж так сильно его любит, пусть пострижется в монахини, спасая свою любовь и соблюдая ее до лучшей поры. Быть может, придет время, и он разыщет ее за стенами обители... Но как ей все это передать?! Время настолько тревожное и опасное, что он не решался послать ей письмецо. Разговор же, пусть самый краткий, не обойдется без привлечения посторонних: без слуг, кучеров, посланцев. Он не раз уже обжигался на этом... И все же он не выдержал. Они встретились на окраине города, в покинутом доме какого-то купца, который вот уже несколько лет пустовал. Преданный слуга отыскал и снял дом для отдыха своего господина. Даже имя патриарха слуга заменил другим. Пока Фотий, петляя улочками, приближался к дому, где она ждала, в нем ожили прежние, светские настроения. Какое-то прекрасное и романтичное чувство захватило его существо одновременно с напряженным ожиданием встречи, и он уже готов был махнуть рукой на все сплетни и страхи, на анафемы и славословия

ради чудного мгновения, прожитого по-молодому. Есть свои прелести и у земной суеты... Мысль о монастырской тишине, мысленно уготованной им для возлюбленной, постепенно померкла. А когда она выбежала ему навстречу, заплаканная и беспомощная, он и вовсе забыл о своем предложении и видел теперь только один выход: купить этот дом на ее имя. В этом мире клеветы он не хотел, чтобы в нем умер мужчина. Мужчине надо оставаться мужчиной, чтобы патриарху по силам была борьба и с близкими, и с далекими врагами.

Фотий пришел домой под утро и, выспавшись, понял, что внутреннее равновесие вернулось к нему. Он чувствовал себя молодым, окрыленным и готовым к борьбе. Мысли вдруг стали дерзкими, и к нему вернулась уверенность в себе. Крошка Анастаси была с ним. Она связывала его с истинной жизнью. Он преодолел колебания. Душевная борьба закончилась. Тайна вливала в его жилы свежую кровь. Фотий присел к столу и задумался, воображение повело его по пути миссии в Великую Моравию. Если братья сумеют покорить тамошние земли и присоединить их к Восточной церкви — его победа, но, если он проворонит болгар, небесный судия никогда не простит ему этого. Именно он, Фотий, патриарх-самозванец в глазах папы, должен любой ценой стать их крестителем, ввести их в лоно истинной веры. Вот это будет его самой большой заслугой перед вседержителем. И очень глупо поступит он, если кинется во что бы то ни стало защищать триязычие. Теперь эта догма больше нужна его противнику, чем ему. И как мог он сопротивляться этой мысли, и как это он, еще вчера противник вечной церковной догмы, вдруг стал большим догматиком, чем папа? Нет, Фотий не позволит увести себя от канонов к закостенелости. Бог создал народы, дал им различные языки, тогда почему бы не провозгласить: «Славьте бога на всех языках»...

Это будет угодно богу и поможет достижению великой цели, которую Фотий перед собой поставил,— распространить свое влияние на болгар, великомораван и на тот бескрайний, как океан, народ, который называют русичами. Вот тогда посмотрим, кто милее богу, Фотий или папа — исчадие ада, прикрывающееся небесными устремлениями. Патриарх упрекал себя за то, что не разрешил братьям встретиться с болгарским князем. Их слово могло бы сделать его уступчивее, расшатать союз с Людовиком Немецким... Мысль об этом союзе повергла патриарха в смятение. Того и гляди, болгары примут Христову веру от Рима, тогда ему не удержать свое положение духовного главы. Папские священники обоснуются у него под самым носом, непрестанно растравляя души его приближенных, всего Христова стада. Этого не должно случиться, если он хочет, чтобы наследники престола Восточной церкви поминали его добром... По всему видно, что папа — вдохновитель войны, которая недавно началась между Карломаном, Ростиславом, сербами и хорватами, с одной стороны, нем-

цами и болгарами — с другой. Стало быть, надо смотреть в оба, так как папа уже вмешивается в болгарские дела.

О путешествии Константина, Мефодия и их учеников все еще нет известий. Дороги стали опасными. По большой реке и птица не пролетит без разрешения болгар, тем более не пройдет вражеское судно. Мешали также и папские люди. Гонец мог бы пробраться через Сербию и Хорватию, но и этот путь ненадежен. Между ними и Византией стоят болгары. Единственная возможность — идти через Венецию.

Византийцы должны напасть на Болгарию сейчас, когда она воюет с тремя странами, в другой раз они не победят ее. Пора сдержать слово и помочь Великой Моравии в битве с Людовиком Немецким и болгарами. Фотий так вжился в ситуацию и разволновался, что ударил ладонью по лежавшему на столе свитку пергамента, встал и начал лихорадочно одеваться. Ему казалось, если византийские войска не вступят в дело, рухнут все его планы. И там — в Великой Моравии, и тут — в соседней болгарской стране. Прежде чем спуститься по скрипучей лестнице патриаршего дворца, Фотий троекратно перекрестился — сказывался новый навык. Внизу, где была официальная приемная с канцелярией, патриарха ожидал гонец от солунского архиепископа. Он сообщил, что миссия благополучно отправилась в Моравию, задержавшись в Солуни на две недели из-за обжорства учеников, которое привело к расстройству пищеварения. Фотий долго всматривался в послание, пока до него дошел смысл сказанного. Значит, все-таки поехали... Это было важно. Если отсчитать две недели со дня отправки из Константинополя и прибавить к ним дни, необходимые на поездку отсюда до Солуни,— можно предположить, что они уже в Моравии...

— Передай досточтимому архиепископу Солуни мою похвалу за ревностную службу богу и святым апостолам,— сказал Фотий и как-то очень поспешно сунул гонцу руку для поцелуя.

Гонец склонился, и патриарх ощутил на руке щекочущее прикосновение его волос и губ.

Во дворе ждала карета. Удобно усевшись, Фотий осмотрел собравшихся слуг, перекрестил подошедших мирян и вдруг постиг силу собственного «я». Людей не интересовали решения далекого, неизвестного папы. В Константинополе есть один патриарх, и имя его — Фотий. Кучер со свистом взмахнул кнутом, и протяжное «го-ни-и-и!» покатилось по улице...

Большая часть войска с обеих сторон Дуная направлялась к Белградской крепости. Борис ехал верхом, вооруженный мечом и перекинутым через плечо луком, инкрустированным слоновой костью и укрепленным снизу пластиной из какого-то гибкого и прочного металла. Никто из приближенных хана не мог тягаться с ним в дальнобойной стрельбе из лука, но в цель он попадал редко — то ли рука подводила, то ли глаз. Поэтому на охоту он не выходил без двух верных соколов, которые смирно сидели на его плечах, так как их глаза были прикрыты кожаными колпачками, надетыми на голову. Золотые цепочки-опутенки, пристегнутые к их когтистым лапам, свободно висели на кисти его руки. Прежде чем спустить соколов, он отстегивал цепочки и снимал колпачки.

Соколы и теперь покачивались на плечах хана, вцепившись в позолоченную кольчугу и порой издавая хриплый клекот. Эти звуки не привлекали внимания Бориса — его обуревали тревожные думы. Тяготило разделение войск. Не надо было соглашаться... Если сейчас начать перегруппировку войск, дело может осложниться еще больше. Онегавон и брат Ирдиш давно ушли к границе с Великой Моравией и, наверное, воюют теперь на стороне Людовика Немецкого. Борис позволил им решать на месте все вопросы, веря в их умение и способности. Однако он укорял себя за то, что велел сыну Расате командовать войском, идущим на сербов. Четырнадцать лет и много, и мало. Мечом Расате владел, но ведь он еще мальчишка, и его указания и команды могут быть только мальчишескими. Хан не пошел бы на это, если бы не настойчивые упрашивания великих боилов, под ответственность которых он разрешил сыну идти в поход. Чтобы сдерживать его безрассудство, он приказал отправиться вместе с ним двенадцати боилам Старого и Нового Онголов. Он допустил ошибку, не послав также тестя и Сондоке. Им была поручена оборона столицы от возможного византийского налета, хотя нападения вроде бы не предвиделось... Все, кто были годны для боя, ушли на далекие фронты. В распоряжении Иртхитуина и Сондоке остались престарелые воины да мальчуганы, управлять которыми было нелегко. Одни берегли силы для сражения и не торопились, другие носились как угорелые, расстраивая ряды. Это было странное войско, почти бессильное. Если ему придется вступить в бой с прекрасно обученными когортами Византии, худо будет. Чем ближе к Белграду подъезжал князь, тем многочисленнее становилась его свита. По дороге присоединялись боилы и багаины, мелкие владетели внутренних крепостей и хозяева небольших дареных деревень. Где-то под Нишем его ждал Докс во главе внушительного войска. Умение брата видеть светлую сторону вещей на какое-то время рассеяло мрачные мысли князя. В разговоре,

проходившем в походной палатке Бориса, участвовал также Домета. Он сообщил, что войско Расате все еще тащится нижней дорогой. Это «тащится» насторожило князя. Ясно, что у сына не все в порядке. Видимо, он ушел вперед, оставив друнги и обоз. Всю ночь Бориса одолевали сомнения, не догнать ли его и не взять ли на себя командование, но к утру он решил ничего не менять. Не стоило нарушать свои же приказы.

Боритаркан Белградской крепости встретил князя на полпути. Триста рогов возвестили его прибытие. Их гортанный звук долго звенел в ушах, мешая сосредоточиться. Боритаркан доложил о движении войск. Неделю назад проезжали Ирдиш и Онегавон. Над Пештом они должны были перейти Дунай и ударить Ростиславу в тыл. Первые гонцы уже привезли радостные вести. Людовик разбил войско Карломана. Это немножко успокоило Бориса. И тогда он позволил себе посмотреть на окружающий мир взглядом созерцателя. Природа спешила насладиться вновь пришедшей молодостью. Все зеленело, зеленело и цвело. Мир приглашал жить и жить. Довольные своим существованием, птицы состязались в песнях. Князь представил себе лесистый край Брегалы, прозрачные ручейки, стремительно несущиеся по склонам, и поляны с безымянными цветами, устилающими земли юга. Куда он идет, на кого?! Праздный вопрос! Все решено, все сказано... Возврата нет. Ему предстояло пойти во главе остальных частей на Срем и, продвигаясь между Савой и Дунаем, неожиданно напасть на хорватов. По пути, может, поджидают объединенные силы врагов: ведь сербы и хорваты — соседи Карломана. Хватит ли сил и умения одолеть их? Этот вопрос висел, как хищный паук на потолке заброшенного дома. Хан не раз спрашивал себя об этом, еще со времени своего первого необдуманного сражения с Людовиком Немецким. Тогда Борис был уверен, что победит, а теперь, совсем не уверенный в своих силах, должен был победить — в противном случае как появится он перед великими боилами? Тогда поражение отнесли за счет погибшего кавхана, командовавшего войском, но теперь хан сам возглавляет отобранные им войска. Потерпит поражение — нет возврата домой. Какими глазами посмотрит он на людей и как будет отдавать им распоряжения?

Утренний ветер дул по течению большой реки, обжигал резким холодом и заставлял воинов зябко кутаться. Весна здесь, казалось, сильно запоздала. Правда, вербы светло зеленели по берегам, вязы надели новые одеяния, буйно тянулись вверх травы, но от ледяной речной воды и от горных ущелий все еще несло холодом далеких снегов. Пешим было лучше: они согревались на ходу, перебрасываясь колкими шуточками, тогда как всадники, втиснутые в стремена, то и дело дули в замерзшие ладони, стараясь при этом не уронить копья. Дорога была слякотная, и войско передвигалось с трудом. Тележные

колеса натужно скрипели. Этот предательский звук разносился далеко, и князь велел остановиться и смазать оси дегтем. И не только из-за скрипа — деревянные оси могут загореться от непрерывного трения. Сейчас телеги особенно необходимы. Они укрепляли границы оборонительных лагерей, на них везли запасы стрел, хлеба и бастурмы для пеших и меченосцев. Грузов везли так много, что возы были похожи на большие облака. Сверху, чтобы оберегать продукты от дождей, лежали, словно панцири огромных черепах, щиты. Всадники, не вполне надеясь на запасы в телегах, хранили ленты бастурмы под седлами, отчего она стала подобной кожаным ремням.

Борис ехал между конницей и пешими воинами. Домета с дозорными ускакал вперед. Хан знал, что осторожность на войне никогда не помешает, даже если до граиицы ие близко. Враг ведь тоже надеется победить... Там, где Дрина и Сава сливаются, Домета остановился, чтобы подождать остальных. На дороге из Срема появились всадники с лошадиными хвостами на копьях. Новый боритаркан Боривой спешил встретить князя и ознакомить с обстановкой. Его дозоры уже несколько раз проникали в земли между Савой и Дунаем, но не встречали там противника. По мнению Боривоя, враги или не подозревают об их передвижении, или отступили, испугавшись болгар.

— Не кажется тебе, что они сосредоточились где-то на более удобном месте? — спросил князь.— Например, на том берегу Савы?

Борнвой посмотрел на противоположный берег так, будто видел его впервые.

— Твоя светлость прав, тот берег удобнее для обороны...

Переночевать решили за прочными стенами Срема, а утром войти на землю между двумя реками, ближе к берегу Савы. Борис лег спать рано: хотел встать бодрым, с ясным умом, готовым к любой неожнданности. Сняв холодную железную кольчугу и осмотрев меч, не заржавел ли от весенней сырости, он, не поужинав, забрался в постель и заснул. Конское ржание разбудило его среди ночи. Прибыл гонец. По оживленному разговору с Боривоем хан понял, что его послали Ирдиш и Онегавон. Борис встал, оделся и велел впустить гонца. Он прннес и хорошие, и плохне вести. Войско успешно перешло границы Великой Моравии, ежедневно вело короткие бои с отступающим врагом. Большое сражение откладывали, но, видно, его не миновать. Пока нх тревожили только кони: подковы свалились, н они стали хромать, а кузнецы задержались где-то в пути. Может, они все еще у хана? — спрашивали Ирднш и Онегавон. Были и другие вопросы: куда идти по земле врага — на Велеград или Нитру? По-видимому, большое сражение будет где-то под Нитрой: все силы противника отступают в ту сторону. Если кузнецы подоспеют н подкуют коней, можно будет настичь врага. Что ответить на все эти вопросы? Князь

не знал, но он знал одно: князю нельзя не знать,— и он велел наступать на Нитру... Отдал двух кузнецов из своего войска, чтоб немедля скакали туда. Гонец даже не дождался рассвета. Наскоро перекусив соленой бастурмой с хлебом, он поскакал обратно вместе с кузнецами. Стук копыт звучал в ушах Бориса до утреннего рога. Он так больше и не заснул.

Войско двинулось вдоль берега Савы, и дозорные веером рассыпались по направлению к Драве. На четвертый день остановились, чтобы осмотреть противоположный берег. Буйная растительность мешала обзору. Выше, где был брод, первыми бросились в весеннюю воду дозорные Дометы. При их появлении кусты раздвинулись, и с противоположного берега полетели стрелы. Дозорным тут же пришлось взяться за оружие. Борису было невмоготу смотреть, как гибнут его воины, и он приказал перейти Драву. Большие бараньи меха были надуты и спущены на воду. Кони вошли в реку. Держась за их хвосты, пошли пешие воины. Наблюдая это сумасшедшее движение к смерти, хан еле сдерживал коня. Хорваты все туже стягивали кольцо вокруг выходящих на берег. Болгары вылезали из воды мокрые, ослепленные блеском вражеских мечей и сразу же, нанося удары копьями, бросались на помощь дозорным. Они бились упорно и бесстрашно. От разгоряченных тел валил густой пар, как от камней в бане, на которые плеснули водой. Смелость воинов вдруг прибавила силы рукам Бориса, а сердце его охватил гнев. Вынув длинный баварский меч, подаренный Людовиком Немецким, он крикнул что-то неразборчивое и пришпорил коня. Конь рванулся, его передние ноги поскользнулись, и хан чуть было не упал. Остального он не помнил, знал только: вовремя подоспел, вовремя врезался в ряды врагов...

Первое сражение выиграли болгары. Успех вызвал улыбку на лице хана, но она погасла, когда он огляделся вокруг. Многие пешие пали: одних унесла буйная река, другие лежали на чужой земле ничком или навзничь, мертво уставившись в безумно-голубое небо. Особенно жалко было одного русого мальчика, всегда державшегося рядом с Дометой; люди говорили, что он был сыном его погибшего друга. Теперь мальчик лежал на траве с распростертыми руками, а над его головкой покачивался синий колокольчик. Усердная пчела раскачивала цветок, наполняя мир около мертвого мальчика непрестанным жужжанием.

Борис велел похоронить его и на могилу положить цветок. Тяжелораненые ползли к берегу, где их должны были взять на телеги. Первые обозные телеги уже пересекли реку. До захода солнца подошли и остальные и, когда отъехали подальше от места сражения, разбили лагерь для ночевки. Зеленые холмы напротив и отпугивали, и притягивали их, поэтому сон не приходил к людям.

К утру сильно похолодало. Ледяная роса висела на травах, вер-

бы потемнели, словно пряча неожиданные опасности враждебной земли. Обозные телеги, расположенные вокруг лагеря, напоминали стену.

Их высокие боковые стенки были отцеплены и свисали до земли, телеги были поставлены в два этажа и привязаны одна к другой за прочные дубовые чеки. Борис обошел безмолвный лагерь и всюду встречал бодрые и удивленные взгляды стражников. Кое-где горели костры. Князь хотел было отчитать воинов, но веселые языки пламени привлекли его, он присел на корточки и протянул ладони к огню. Стражники отодвинулись и почтительно встали в шаге от него. Грея руки и улыбаясь, Борис выпрямился и стал вглядываться в сторону реки. Все вокруг обволакивал белесый туман. Сообразительный враг легко может проникнуть в лагерь под покровом тумана, если у него есть челны.

— Охрану там поставили? — спросил князь, указывая на туман.

— Еще вчера вечером удвоили, твоя светлость,— ответил Домета.

— Правильно сделали.

Утреннее солнце почти затерялось в речном тумане, как бы растворилось в нем, но мало-помалу, набрав силу, победило серовато-белую мглу. Звуки первого рога взвились над лагерем, пробуждая воинов от сна. Начали откидываться бурки, из-под них появлялись усатые заспанные физиономии. Выстроили обоз, впрягли коней и двинулись дальше, меж холмами. В полдень пришлось остановиться и перестроиться к бою. Дозорные известили, что впереди показалось неприятельское войско. Борису пришла в голову мысль, которая вернула ему спокойствие: надо победить или умереть — третьего не дано. Перед ним тянулась продолговатая, как корыто, зеленая долина, достаточно просторная, чтобы вместить славу победителей или стать могилой для всех.

Хорваты неожиданно появились с двух сторон. Конница вылетела из неприметной ложбины, где, вероятно, было русло небольшой речки. Пешие воины показались перед самым носом болгар, в противоположном конце долины. Боеготовность противника несколько смутила болгар, но, недолго и неуклюже посуетившись, они приняли боевой порядок. Болгарская конница расположилась на флангах. Обе стороны были готовы к бою, но продолжали стоять на месте в ожидании, кто начнет первым. Ближе к вечеру легкая конница хорватов попыталась увлечь за собой левые и правые друнги болгар, но ей это не удалось, и всадники галопом вернулись на прежнее место.

С наступлением темноты Борис велел воинам из второго и четвертого рядов отойти к телегам и отдохнуть до первого рога. После отдыха они должны были сменить остальных — первый и третий ряды.

Бессонница — злейший враг на войне. Рассвет застал оба войска друг против друга, продолжалось испытание нервов. Наверное, терпение иссякло бы и бой грянул бы, если б не появился мчавшийся галопом гонец. Он прискакал со стороны реки. Лошадь была вся в пене. От его вестей князь потемнел, словно туча. Сербы взяли в плен Расате и двенадцать великих боилов! Весть мгновенно облетела войско, боилы и тарканы были созваны на совет. Решили мириться с хорватами или, если те не согласятся, постепенно отступить за реку. Домета с двумя боилами вышел перед строем, поднял копье, наклонил его налево, потом направо и вбил в землю в знак прекращения боевых действий. Сделав еще два шага вперед, он вынул меч из ножен и передал его боилу. То же самое сделал один из хорватов. Они встретились посередине между враждебными войсками, чтобы выслушать предложение Дометы. После обеда на это место пришли Борис и хорватский князь. Преподнеся друг другу богатые подарки, они дружески расстались. Теперь стало гораздо легче перейти реку...

9

Сарацины разбиты!

Добрые вести летели на крыльях, одна лучше другой.

Народ толпился на площади перед церковью святой Софии, чтоб услышать очередную благодарность небу за победу Христова оружия. На торжищах и в лавках, на светских и духовных собраниях не умолкала хвала благословенному могуществу Византии. Патриарх Фотий в соборном храме отслужил торжественный молебен в честь победы, и в сказанном им слове была немалая доза византийского лукавства:

— Аллах побежден, но есть и другие божества, оскверняющие землю и души людские и ожидающие меча возмездия. Пора небесному судии направить наш меч в сторону Болгарии во имя блага соседнего нам варварского народа...

Эти слова Фотия облетели весь город. Они были сказаны, чтобы подготовить налогоплательщиков Константинополя к войне против болгар. Варда и Петронис были готовы к долгожданной войне, однако василевс колебался. Он не имел ни малейшего представления о военных делах империи, но теперь вдруг ударился в полководческие амбиции. Когда Михаил говорил, Варда обычно молчал, выжидая, пока он наговорится всласть, а затем поступал по-своему. Однако с некоторых пор Василий, вероятно, настраивал императора против него: Михаил стал нервничать, когда речь заходила о войне. Он сердился на Варду, ворчал. Не исключено, что он делал это нарочно, чтобы дать кесарю возможность понять причину его воркотни,

— Ладно, ладно! Война... Уж очень вы хотите ее, ты и Фотий, но только ли из-за войны вы так настойчивы?

— Из-за чего еще, мой император? — удивленно спросил Варда.

— Может, кое-кому войско нужно здесь, в столице, чтоб осуществить свои тайные замыслы?

— Но... ведь мы здесь... Я, Василий, Петронис...

— Так-так...— Михаил кивнул.— Говори!

— И скажу, мой император, ибо твои подозрения обижают меня. Разве я служу твоему величеству со вчерашнего дня, разве твоя светлость не знает меня, как самого себя? И теперь я слышу такие слова в награду за мою верность! Я сберег тебе трон, когда рука твоя была еще слаба, чтобы бороться с узурпаторами, объединившимися вокруг твоей матери, я стоял и стою возле тебя по поручению твоего отца! Я стараюсь не мешать твоим глубоким размышлениям, не обременяю тебя обычными государственными заботами. Если это породило твои сомнения, позволь мне передать дела империи человеку, которого ты выберешь, и удалиться из круга твоих приближенных. Я уже немолод, я отдал все, что мог, поэтому любое подозрение ранит меня больнее стрелы, особенно если оно исходит из мудрейших уст моего солнценосного василевса.

Никогда еще Варда не говорил в присутствии Василия так долго, но в этот раз не смог стерпеть явного недоверия императора. Михаил молчал, потупив голову, рассматривая ногти на руках. В последнее время Василий непрестанно наговаривал на его дядю, приписывая ему самые плохие намерения. Михаил не верил ему, но настойчивое желание Варды снять войска с сарацинской границы и сосредоточить их под крепостью Цорул заставило его задуматься. Зачем, спрашивается, понадобилось сосредоточивать все войска около столицы? Верно, была обещана помощь князю Великой Моравии Ростиславу, но, пока части перебросят с одного конца империи в другой, тот закончит войну с двумя сильными державами — либо победителем, либо побежденным. Вот тогда кое-кто воспользуется войсками в своих нечистых целях, уверял императора Василий. Он не называл имени, но василевсу было ясно, кого он подразумевает — его дядю Варду.

Наедине Василий мог добиться от императора всего — так было с передачей в его руки маглавитов, так же могло получиться и с войсками, если бы этот разговор не зашел в присутствии Варды. Михаил сознавал, что достаточно глубоко обидел дядю, отняв командование маглавитами, и что не может позволить себе еще одну обиду — отнять право контроля над войсками. И все же он хотел услышать, что думает Варда. И услышал: Варда был готов отойти от дел и покинуть его. Михаила ужаснула эта мысль. Выходило, что он останется один, без поддержки... А Василий?.. Но может ли он понять, о чем думает Василий? Варда — человек проверенный, а этот ведь

недавно... Однако любой, кто приберет к рукам всю власть, становится опасным и для самых близких людей. Разве сам Михаил не устранил мать и сестер, чтобы править единолично? Что ж тогда говорить о Василии, чужом человеке... Нет, не надо спешить! Войны хотят — пусть воюют, но, если они проиграют, пусть пеняют на себя. Тогда будет причина устранить и Варду, и Петрониса, и Антигона, и никто не упрекнет его. Можно будет подумать и о Фотии, хватит ему воевать с папой, подрывая авторитет своего императора у европейских монархов. Фотий прожужжал ему уши непрестанными требованиями начать священную войну с болгарами. Бог ему явился!.. Явился и сообщил, что Михаилу предопределено стать крестителем одного варварского князя. Василевс не очень-то верил этим богоявлениям. Если бы кто-нибудь явился и предсказал ему, что завтра на конных скачках он завоюет первое место, он мог бы этому поверить, так как хочет этого, но ему не хотелось верить в нечто отдаленное, к тому же возвещенное устами его вчерашнего асикрита. В скачках есть стихия, порыв, Михаил давно мечтает выиграть первое место, да все не удается. Уже дважды он почти касался венка победителя, оба раза что-то случалось то с конями, то с колесницей. Некоторых участников бегов он возненавидел на всю жизнь и не желал не только видеть их, но даже слышать их имена. Если бы у них обнаружились малейшие грехи, он тотчас же покарал бы их жесточайшим образом, чтобы лишить возможности участвовать в состязаниях на ипподроме.

Михаил поднял голову и, уставясь взглядом в стену перед собой, сказал:

— Лишь василевс всегда может высказать свои сомнения, и в этом нет ничего плохого. Плохо, когда он, умалчивая о них, решит действовать против своих приближенных. Вы самые близкие мне люди, я верю вам обоим. Никого не хочу обижать, никого не хочу лишать доверия... У одного в распоряжении маглавиты, у другого — войска, себе же оставляю лишь ваше уважение и почтение к трону и короне. Все хорошее в государстве — дело ваших рук, вы — драгоценные камни в венке славы вашего василевса, поэтому, если надо воевать, воюйте во имя бога и василевса.

Протянув руки, он разрешил обоим прикоснуться к ним в знак верности и доверия.

Михаил думал, что тем самым он мудро прекратил мужское соперничество, продиктованное ревностью. Но не так думали стоявшие по обе стороны от него соперники. Бледное лицо Василия, как всегда, ничего не выражало, но Варда знал: в сердце бывшего конюха уже загорелось пламя новой ненависти, на сей раз к самому императору, который не исполнил его желания и не отобрал войско у кесаря.

Михаил продолжал сидеть на троне, но ни Варда, ни Василий

не уходили. Каждый боялся оставить соперника наедине с ним. Он понял это, встал и, не оглянувшись, пошел в опочивальню, надеясь, что в его отсутствие они выяснят отношения. Но им нечего было сказать друг другу. Все было столь ясным, что слов не требовалось. Пришлось с фальшивой учтивостью поклониться друг другу. И они поклонились. И каждый ушел со своими планами и недобрыми помыслами...

В тот же вечер Варда велел позвать к себе лучших гонцов и, передав им в запечатанной свинцовой капсуле послание Антигону и Петронису, тут же отправил в путь. В письме он сообщал о решении перебросить войска на этот берег и сосредоточить их под Цорулом. Варда приказывал осуществлять переброску по частям, чтобы не создавать паники среди местного населения и чтобы ввести в заблуждение сарацинских разведчиков — иначе могут возникнуть для империи лишние хлопоты... О предстоящей войне с болгарами не говорилось, но это вытекало из всех распоряжений. Да и Фотий с амвона достаточно широко рассказал о своем желании, так что не было нужды в дополнительном сообщении о подготовке к войне. Отослав гонцов, кесарь остался один. Впервые за последнее время он был доволен собой. Да, с Михаилом нужно вести прямой и ясный разговор, как сегодня. Нечего бояться конюха. Лучше быть свободным и живым, чем почитаемым и восхваляемым... до момента уготованной тебе смерти. Ведь и слепому видно, что Василий не желает ему добра. Хорошо, что сегодня понял это сам император, иначе он не рассуждал бы так здраво. Варда понимал, что императору нелегко далось это. Мужчины, подобные Михаилу, отдают, отдают все, лишь бы исполнить свои желания. Эта мысль раздосадовала Варду... Не он ли был причиной, что император стал таким... Страшное дело, если Михаил осознает свое падение и начнет искать виноватого. Тогда он не станет разговаривать с ними обоими, а просто пришлет людей Василия, чтобы они отрубили кесарю голову.

Варда обхватил затылок ладонями и потянулся так, что кости хрустнули. Он делал всегда это движение, когда чувствовал разлад с совестью.

10

История с женитьбой короля Лотара II, казалось, тянулась без конца. Жалел ли папа о том, что вмешался в нее? Нет, он не принадлежал к людям, которые могут сомневаться в себе. Он считал себя непогрешимым и должен был победить. Чем запутаннее становился узел, тем настойчивее и упорнее был Николай. Сначала он предоставил решение вопроса местному духовенству, чтобы не придавать

делу широкой гласности и не превращать жизнь короля в потеху для людей, но, вникнув в историю распри, понял, что она уже всем известна. Знать Лотарингии поднялась на защиту справедливости и развернула активную деятельность. Прежде чем папа успел вмешаться, знать устроила суд божий. К великому удивлению, дело выиграл заступник королевы Тойтберги: кипяток не ошпарил его руки. Лотар вынужден был отступить и взять жену к себе. Это произошло в год восшествия Николая на латеранский престол. Когда все думали, что семейное счастье поселилось в королевской семье, распря снова вспыхнула. Заперев бедную супругу в подземельях дворца, Лотар голодом и пытками заставил ее признаться, будто до замужества она согрешила с другим мужчиной. Созвали спешно Синод в Аахене, и тогда папа впервые усомнился в справедливости епископов Лотарингии. Гунтар из Кёльна, Титгауд из Трира и Адвентий из Метца с яростью набросились на измученную женщину, и тогда даже у наиболее предубежденных возникло сомнение в их честности. Тойтбергу приговорили к публичному покаянию и заключению в монастырь; только архиепископ Гинкмар не принял участия в Аахенском Синоде, ибо, по его мнению, рассматривать дело должен Синод общефранкский. Его сфера полномочий выходила за пределы одного государства, и, разумеется, становилось неизбежным вмешательство папы. Он велел созвать Синод в городе Метц. Но Лотар снова раскрыл мошну с золотом для божьих служителей. Папа, который давно послал к нему своих легатов Радоальда из Порто и Иоаганна из Фикокле в надежде, что первый намотал на ус наказание Захария, просчитался. Тот, кто привык брать взятки, отвыкает от этого очень нелегко. Подсудимая не пришла на Синод, она исчезла где-то по дороге. И в довершение всего не прочитали папские послания, адресованные Синоду!

Это было неслыханно.

Папа Николай заперся в Латеране и ждал.

Решения Синода должны быть представлены папе, но нелегко придется тем смельчакам, которые передадут их ему.

Самыми смелыми оказались Гюнтер и Титгауд, архиепископы Кёльна и Трира.

Папа продержал их три недели перед воротами своего дворца. Когда их ввели, оказалось — они попали прямо на заседание Святого Синода, который обсуждал вопрос о лишении их епископских должностей и званий. На глазах у всех папа взял свитки с решениями Синода в Метце и после предания их обоих анафеме разорвал свитки, швырнув обрывки им под ноги.

Николай вряд ли так поступил бы, если бы не был уверен, что Синод в Метце — спектакль, поставленный на золото короля... Кроме того, были и другие причины, заставившие папу принять столь категорическое решение. Вопрос был ясен даже глупцам, но на глазах

простого народа им занимались один за другим соборы умных мужей и своими ошибочными решениями подрывали веру в церковь. Все теряли время зря, ибо самой важной распрей была не эта. Борьба с Восточной церковью приобретала такой размах, что надо было беречь силы, а не растрачивать их на уличные сплетни, не создавать излишние проблемы. Неужели так трудно понять эту простую истину!.. Умнее других оказался Людовик Немецкий. Он не стал терять время на семейные неурядицы Лотара, а с оружием в руках пошел на защиту папских прав — на войну против союзника Византии, великоморавского князя Ростислава. Вот достойный муж, посвятивший себя богу, так как бог нуждается не только в молитвах, но и в людях, умеющих владеть мечом.

Болгарский князь хоть и язычник, но делами своими более угоден богу, чем папские архиепископы, епископы и слуги. Людовик сообщил, что Борис хочет принять крещение. Если Бориса осенит свыше и он пожелает принять христианскую веру от престола святых Петра и Павла, тогда это земное дело станет самым большим свершением папы...

Николай распустил Святой Синод, готовый к любым неожиданностям. Он знал, что оба немецких архиепископа не примирятся с решением Синода, но и он добьется своего. Похоже, не все еще поняли, что он за человек, и потому всякий раз приходится убеждать их делом. Николай велел позвать к себе брата Себастьяна и прикрыл глаза в ожидании. Поцелуй в руку дал папе знать, что тот уже пришел.

— Куда отправились те двое?

— К императору Людовику, святой владыка.

— Не спускай с них глаз.

— Хорошо, святой владыка.

— И не забывай осведомлять меня.

— Разумеется, святой владыка.

Николай умолк, со стороны казалось, будто он спит. Но напряженные скулы и наморщенный лоб свидетельствовали, что он бодрствует и размышляет. Себастьяна уже не было в покоях — пошел исполнять поручения. Папа полностью доверял ему. Если бы он приказал ему убить Фотия, это было бы сделано, но такой шаг вряд ли стоит делать, достаточно разоблачить его, показав, что он опирается на насилие. Николай зримо представил себе замешательство в Константинополе после получения его послания, и тонкая, едва заметная улыбка собрала морщинки около его глаз. Пора грекам опомниться, хватит самонадеянно думать, что они — самые умные и близкие к богу. Кроме праздных слов, их ничто не связывает с богом. Даже перенос столицы из Рима в Константинополь был сделан только потому, что император Константин чувствовал, как неудобно ему жить

в одном городе с наместником бога на земле — наследником престола святого Петра! И подобно всякому разумному человеку, знающему свое место, он и уступил Рим истинному властелину земли и неба... Грекам следовало бы понять хоть это, ведь отсюда все началось и для них. Но напрасно было бы ждать понимания от невежества... Оно всегда ведет летосчисление со дня своего рождения!

Папа откинулся на спинку стула, пошевелил пальцами ног, чтобы согреть их. Люди знали, что он крепок и здоров, но в последнее время ноги у него почему-то стали мерзнуть. Вот и сейчас. Лето ведь на дворе! Не холодно, а пальцы ног заледенели. Годы, наверное... К тому же он потерял сон... Впрочем, бессонница не мешает, наоборот, помогает обдумывать дела церкви в одинокой постели, среди ночной тишины. Опаснее другое — покалывание в груди. Трудно даже определить точно, где колет, всякий раз там, где он не ожидает. Старость!.. Но все от всевышнего, и тревожиться не стоит. Бог знает свое дело. Важно, чтоб душа не болела, чтобы не снедало сомнение в справедливости того, что делаешь. До сих пор он был далек от сомнений, так как всегда прислушивался к голосу свыше. И исполнял только то, чего требовал всевышний. Пока он жив, так и будет. Его жизнь прошла в служении богу, и он никогда не осквернит достоинство искреннего слуги. А когда придет черед переступить порог того мира, он шагнет туда с чувством исполненного долга...

11

Беды шли одна за другой — упорные и тяжелые.

Напрасно жрецы приносили собак в жертву Тангре, напрасно капища оглашались их заклинаниями... Прекрасная весна сменилась засушливым летом. Все, что могло гореть, сгорело. Земля стала похожа на бритую голову; одни ленивые ящерицы ползали по земле с разинутыми ртами, с глазами, помутневшими от жажды. Люди и скотина были поражены неведомыми смертельными болезнями. Красная нитка, продетая сквозь уши ягнят и овец, не помогала, они подыхали на ходу. Оставшиеся в живых еле волочили ноги по жесткой траве. Если какая-либо овца неосторожно заходила в черный боярышник и некому было вытащить ее оттуда, то, обессиленная голодом и зноем, она уже не могла выбраться сама. И все это случилось после войны с сербами. Борису пришлось вести долгие переговоры, прежде чем он получил согласие на выкуп. Увы, его опасения оправдались. Расате нельзя было доверять войско! Неразумная молодость осталась неразумной! От доверия она не поумнела. Только почему он сам

сглупил, согласившись доверить ему жизни стольких воинов? Великие боилы наперебой объясняли ему причины поражения, но кому легче от их объяснений, когда в ущельях сербских гор погибли его люди, а он навлек на себя позор недальновидного руководителя! Вместо того чтоб молчать и посыпать свои головы пеплом, они мелют языками о плене, как будто не их заковали в цепи, а других. Борис едва выкупил их... Когда он увидел их в кандалах, его сердце чуть не выскочило из груди от злости и муки. Сербы нарочно так разукрасили их, чтоб вырвать от него побольше подарков. Чтоб их освободили, Борис должен был лично встретиться с князем Мутимиром, и не где-либо, а прямо в горах... Заключили мир, обменялись подарками, освободили пленных, даже сыновья Мутимира, Бран и Стефан, оказали ему честь и сопровождали его до Расы, но чувство глубокого унижения осталось и непрестанно терзало его душу. Как легковерно поддались они на уловку сербов! Борис был уверен, что причиной разгрома была глупость Расате. Боилы умалчивали о главном, и Расате молчал, уставясь в землю. Когда он поднимал глаза, в них отражалось лишь тупое, упрямое желание прикрыть молчанием свою вину. Великие боилы были разговорчивее, но никто не хотел называть виновника. Однако Борису было ясно, кто виноват. Его сын! И князь решил поговорить с чудом уцелевшими воинами. Из рассказов и недомолвок начала проясняться картина битвы. Расате с частью конницы умчался вперед и оторвался от пеших воинов. После короткой стычки под Расой он бросился преследовать отступающие сербские войска, не заметив ловушки. Чтоб не оставлять его в беде, все двенадцать великих боилов тоже помчались за ним. Тогда спрятавшиеся в крепости сербские войска ударили им в тыл. В горных теснинах была уничтожена вся конница и были взяты в плен те, кто обязан был руководить военными действиями. Отставшие пешие воины взяли полупустую крепость Раса, не подозревая, что впереди идет бой не на жизнь, а на смерть. Они и удержали крепость до прихода Бориса. Сербы вряд ли так быстро согласились бы на заключение мира, если бы Раса не была в руках болгар.

Передав крепость Брану и Стефану, князь болгар покинул сербскую землю, но с ним осталась скорбь по погибшим...

Все это уже миновало... Но лиха беда только теперь пришла на порог... Онегавон погиб в Великой Моравии. Уже второй кавхан навсегда остался в тех землях. Война с мораванами лишила князя лучшего друга. Кроме своих братьев, не с кем было ему поделиться тревогами, некому выплакать свою боль. Хлеб сгорел на корню, не дав даже молочного зерна. Люди пошли собирать дикие корнеплоды. И это уже теперь, а что будет зимой, он и думать боялся. Князь распорядился перегнать всех животных в горы. Хоть бы удалось сохранить уцелевший скот. Горы могут дать тень, траву и листья, прохладу и

воду. Двинулись стада, и по дорогам страны заклубилась сухая пыль от копыт. Никто не веселился, не пел и не плясал. Мертвая земля выгорела, стала голой, пустой и безводной. Воды не было даже в капище Мундрага. И без того нечистоплотные и неряшливые жрецы совсем уж заросли грязью. Пот заливал их лица от усердных молитв Тангре, но Тангра молчал. Он не посылал ни туч, ни молний, которые помогли бы сохранить хотя бы искру надежды. Люди, приходившие из соседних государств, не верили своим глазам. Там лето было как лето, и плоды зрели как всегда. Глядя на изможденные лица болгар, Борис ловил себя на том, что думает уже как христианин. Бог карал язычников, его народ. Иногда ему приходила в голову и такая мысль: может, собрать всех этих измученных людей и ворваться в соседние земли, награбить скота и хлеба, вина и фруктов? Хорошо, он сделает так, а дальше? Кто остановит чужестранных воинов, когда они придут мстить и подступят к столице? Нет! Он не может позволить себе что-либо подобное! Пока он прикажет всю соль из Солниграда, предназначенную для Людовика, Лотара, Карла и Ростислава, обменять на хлеб и другие продукты. Кто нарушит приказ — смерть! Так же надо будет торговать и обработанными шкурами животных.

К концу лета засохли многие священные дубы. С их ветвей свисали красные нити, оставленные теми, кто молил о дожде. Люди длинными вереницами ходили вокруг дубов и обреченно смотрели в пустое, будто остекленевшее небо. В один из таких сентябрьских дней в Плиску прискакали гонцы и принесли вести с двух концов государства. Византия объявила Болгарии войну. Византийские войска наступают морем и сушей... В табунах изловили священных коней, которые, однако, не пытались ни бежать, ни рвать арканы. Они кротко протягивали шеи — исхудавшие и обессилевшие от голода. И запыленное, голодное войско двинулось в поход, прочь от сгоревших полей, не разбирая дороги, с одной только сухой и острой, как меч, бастурмой под тяжелыми седлами. Сам князь, темный и молчаливый, ехал, как на похороны, впереди войска. С обеих сторон — братья Ирдиш и Докс, на этот раз забывший о веселых шутках.

Место кавхана пустовало. И только ли оно? Если обернуться назад, то ни в войске, ни в свите не увидишь знакомых лиц, кроме великих боилов Сондоке и белокурого Дометы: кто остался лечить раны, а кого не пустила старость. Не было на плечах хана и любимых соколов. Он оставил их сокольничим еще тогда, когда отправился в Сербию выкупать пленных. Неподходящее было время для праздных развлечений. Его люди получили высочайшее право охотиться, где захотят, все запреты потеряли свою силу. Князь не взял с собой Расате, чтоб тот не видел его позора. Борис был уверен, что победят византийцы, если не произойдет какого-либо чуда. Все надежды возла-

гались на умение вести переговоры. Если дело придется решать оружием, болгары погибнут.

Гонцы приносили тревожные вести. Византийцы разбили передовые отряды, заняли Девельт. Корабли высадили пеших на берег около Месемврии и Анхиало. Осадные машины уже перевезены через ров и размещены под крепостными стенами. Защитники настойчиво просят о помощи. Борис выслушивал все это, но не мог сделать невозможное возможным: силы следовало беречь для сражений. Самым страшным врагом войска была усталость: пока подходили к Месемврии, оказалось, что она взята. Борис послал багатура Сондоке и Домету вести мирные переговоры, а гонцов — навстречу остальному войску под командованием тестя, канабагатура Иртхитуина, и ичиргубиля Стасиса, которым приказал развернуться и занять горные перевалы со стороны моря и Девельта. Необходимо усилить стражу, запастись, насколько возможно, едой и беречь силы для боя.

Борис не торопился атаковать, чтобы не выдать слабость своего войска. Если уж не избежать сражения, то хорошо бы найти противника послабее, чтоб первой победой внушить врагу страх. Первое сражение надо выиграть любой ценой... Пока разбивали лагерь и ожидали возвращения посланцев, Борис велел распределить среди воинов запасы еды и вина, чтоб каждый знал, чем он располагает. Разгрузили телеги, и скелеты черепах забелели под жарким солнцем. Мастера натянули на них свежесодранные воловьи шкуры, а жесткое воловье мясо пошло в большие походные котлы. Если Сондоке и Домета вернутся с неблагоприятным ответом, тогда, как надеялся князь, можно будет под прикрытием темноты пододвинуть боевые черепахи к разрушенным византийцами стенам, кое-как укрепленным бревнами. Надо напасть, пока враг не получил подкрепления. Сондоке и Домета принесли ответ: византийцы не хотят мира. Значит, надо действовать быстро и решительно. Котлы пусты, вино выпито... Постепенно темнело, видимость ухудшалась. Самые сильные воины подвозили черепах к пробоинам. Византийцы не успели расчистить ров, и это облегчило нападение болгар. Уже при первом штурме Домета со своими бойцами проник в крепость. Защитники растерялись, побросали оружие и побежали к кораблям. Пленные болгары, запертые во внутреннем дворе, сумели обезоружить стражу, сломали дверь и присоединились к нападающим. Победа досталась неожиданно легко. К князю привели знатного византийца, одного из великих доместиков. Борис любезно принял его, завел с ним дружеский разговор. Он хотел привлечь его на свою сторону: византиец был нужен для предстоящих переговоров. Утром Домета, Сондоке и пленный отправились в Девельт, где находились брат кесаря Петронис и стратиг Феоктист Вриенний, давно знакомый князю. Пошли просить мира, а условия можно уточнить позднее...

Первым о предложении болгарского князя узнал Варда — от Петронисa. Раньше он принял бы решение самостоятельно, но после того памятного разговора с Михаилом стал осторожнее. Михаил тут же принял его. Выслушал. Обещал подумать. Наверное, хотел посоветоваться с Василием или с кем-нибудь еще... А может, в самом деле хотел обдумать положение, но кесарь не верил в это, ибо стал очень подозрительным. Чтобы рассеяться, Варда позвал Фотия. Патриарх пришел под вечер и засиделся допоздна. Они вместе поужинали. Кесарь хотел продолжать войну до полной победы, но патриарх считал, что не стоит рисковать. Если Борис согласится принять христианство от константинопольской церкви и расторгнуть союз с Людовиком Немецким, тут же надо будет приступить к переговорам о мире. До спора дело не дошло, так как решение василевса было неизвестно. Утром их ожидал сюрприз — созыв Великого Синклита.

Василий и император выступили за прекращение военных действий, если захваченные земли останутся за Византией и если, кроме того, противник уступит Месемврию. Фотий, поддержав их, настаивал на крещении. Варда, опасаясь, что его молчание примут за несогласие, предложил принудить Болгарию расторгнуть союз с германским королевством. Это была мысль Фотия, но патриарх дипломатически промолчал.

Для него важнее было то, что секретарь записал требование о крещении и болгары должны были дать свое согласие... И Фотий не успокоился, пока не убедился в том, что императорские посланцы отправились в Девельт.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Я из новокрещеного болгарского народа, который в те годы бог привел к истинной вере с помощью своего избранника, князя Бориса, названного при крещении Михаилом. Опираясь на силу Христа и крестного знамения, он усмирил стойкое и непокорное племя болгар...

Из «Чуда святого Георгия с болгарином», X век*

И были [Константин и Мефодий] великим якорем в бурных волнах житейского моря...

Из «Похвалы Константину и Мефодию» Климента Охридского

В это время весьма жестокий и воинственный болгарский народ отказался — в большинстве своем — от языческих идолов и суеверий, поверил в Христа и, омывшись спасительной водой крещения, перешел в христианскую веру.

Из «Хроники Регино», X век

1

Константин пытался представить себе столицу Великой Моравии, но это ему не удавалось. Он побывал в стране халифов и у хазар, узнал другой мир, однако мир этот был непохож на тот, что он видел сейчас. Там природа была благосклонна к беднякам: они могли обходиться без обуви и теплой одежды. Их занимали лишь заботы о хлебе насущном. Здесь, хотя весна была на исходе, холод все еще давал себя знать, и приходилось тепло одеваться, особенно по вечерам. На синеватых вершинах гор высоко в облаках лежал снег, и белое его сияние словно напоминало зеленым полям внизу, что их веселое бытие преходяще, как все земное. Путешествие продолжалось достаточно долго. Братья наняли несколько упряжек. Кони — мощные, с большими копытами и широкими крупами — редко переходили с шага на бег, да и возницы не понукали их. Грубо сработанные телеги из толстых деревянных досок, окованных железом, были похожи на передвижные укрепления. Боковые доски были так высоки, что, когда их опускали, они закрывали колеса. Телеги не имели ничего общего с сарацинскими двуколками, влекомыми двугорбыми верблю-

дами. Константин, одетый в черную власяницу, сидел в телеге на мягком сене и слушал пение поздних жаворонков. Чуткие птичьи души нежились где-то высоко в небе — оттуда сыпались хрустальные, незримые трели. Ученики задирали головы, стараясь увидеть пташек. Это занятие отвлекало их от грустных дорожных картин. Миссия вступила в земли Ростислава. Сожженные села свидетельствовали о недавней войне между болгарами и моравапами. Крестьяне уже работали в полях — лучший признак того, что кровавые битвы прекращены. Люди Ростислава встретили посольство на границе и, обменявшись несколькими словами с соотечественниками, сопровождающими его от Константинополя, развернулись и поскакали рядом, зорко глядя вокруг, как бы опасаясь разбойников. Всадники были не из разговорчивых. Поэтому молчали и ученики. Лишь Горазд дал себе волю, под скрип колес и песни жаворонков весело звучал его голос. Константин понимал его: много лет прошло на чужбине, и он наконец возвращался в родные края — как тут сдержать себя? Оставив Моравию из-за какой-то ссоры и скитаясь по миру, чуждый для других и отчужденный от себя, Горазд никогда не забывал отцовской кровли, тосковал по ней. Теперь, возвращаясь по старому следу, он хочет видеть улыбку своего народа и мечтает дать ему веру и гордую стойкость.

От постоянного сидения у Константина болели суставы. Он вытянул ноги, лег на спину. Небо над головой куда-то плыло, его голубизна почему-то раздражала. Константин закрыл глаза, и воспоминания тотчас же пришли к нему... Тем утром, когда собирались в дорогу, мать ни на минуту не оставляла сыновей. Любо ей было смотреть на них, слушать их. Они говорили о Брегале, о болгарском князе, об Иоанне, она не пропускала ни слова и, прежде чем уйти в горницу, подошла к ним. Ласково глядя выцветшими глазами, сказала, прослезившись:

— Давайте прощаться, соколики вы мои, может, видимся в последний раз. Не о вас, о себе говорю. Стара я — чую, отец к себе зовет. Пора пойти к нему, один он... Слава богу, что дал еще разочек поглядеть на вас...

Мефодий поторопился прервать ее. Сказал, что еще встретятся, но мать покачала головой:

— Я свое отжила. За вас боюсь. В далекую землю собрались, к чужим людям. Все у вас будет: и добро, и зло, и ветер, и солнце. Главное — всегда держитесь вместе! И если уж кого бог к себе позовет, заклинаю: в родную землю положите, возле меня и отца, чтоб не лежать под чужим небом... там лишь ветер по нему будет плакать... Или в Полихроне похороните... Вы слышите?

— Ну-ну...— Мефодий поднял руку.— Полно, мама, того и гляди, здесь останемся...

— Нет, сынок, вашу дорогу сам господь благословил, не мне, старой, вас останавливать. Идите, но помните мои слова. Мать всегда беспокоится о детях и больше всех радуется, если слышит о них доброе слово. Счастливого пути, соколики мои.— И она перекрестила обоих.

Никогда не забудет Константин ее дрожащей морщинистой руки...

А телега все громыхала по дороге, где-то высоко плыло небо — жизнь уводила от детства... Миссия переночевала в просторном каменном замке. Зубцы крепостных стен были разрушены в неравных битвах. Около лестницы, ведущей на стену, находился сарай, полный сломанных стрел и копий. Группа оборванных крестьян стаскивала железные наконечники — пригодятся в случае чего. Внешние ворота, выбитые из массивных креплений, с трудом удалось отодвинуть в сторону, чтоб телеги могли проехать в холодный каменный двор. В воротах виднелась большая пробоина. Было ясно, что их бодала железная баранья голова тарана.

Ужинали в огромном зале. Вокруг тяжелого стола стояли стулья разной высоты. Приветливый хозяин оценивающе глядел на гостя, будто измеряя его рост, и указывал каждому место. Это удивило Константина, но Горазд почтительно обратил его внимание на уже сидящих за столом: все, казалось, были одного роста, словно их выравнивали мечом. За трапезой все равны — таков здешний обычай. «Что же, хороший обычай, символический»,— подумал Философ. Плохо только, что равенство возможно лишь за столом богатых. Крепостные крестьяне, снимавшие наконечники копий и стрел, так и останутся крепостными, как и везде в мире. Константин только теперь знакомился с порядками Великой Моравии. Не стоит делать поспешных выводов... Запомнилась ему также несоленая еда. Константин попросил соли, но хозяин пожал плечами: болгары отказались поставлять. После заключения мира, возможно, караваны опять отправятся в Солниград, а пока — уж извините. Философу вспомнилась горько-соленая вода хазарских степей. Вновь напрашивалось сравнение двух стран. Чем полнее его дни сольются с духовной жизнью этой страны, тем ярче будет разница между вчерашним и сегодняшним. Моравия жила на перекрестке, немало рук тянулось к ней. А разве он сам не пришел сюда от Фотия?.. Нет, патриарх заблуждается, Константин не считает себя его рукой! По-хорошему пришел он к этим людям — чтоб дать им письменность, чтобы спасти от жадных домогательств, чтобы возвысить их.

Утренняя молитва несколько задержала миссию. Тронулись в путь, когда солнце, точно огненный петух, село на крепостную стену. Дорога, петляя, спускалась с холма, на котором высился замок, и уходила в зеленые поля. Константин привык к ней — ведь половина жизни прошла в дороге. В пути он обдумывал и плохое, и хо-

рошее, в пути постигал истины, собиравшиеся в душе, как те сломанные копья — у лестницы замка. Сделав свое дело, они вышли из строя, но их продолжение — железные наконечники — было пригодно для новой брани. Константин не завидовал такой судьбе. Всю жизнь боролся он с людьми, которые хотели сделать его наконечником своего копья, чтоб он действовал согласно их воле. Философ соглашался ехать куда угодно, но только если поездка отвечала его желанию. Вот и теперь, чем ближе столица Ростислава, тем яснее становится: эта земля — меч в руках папы и в планах Фотия. Константин идет по лезвию меча. Но он не сойдет с пути — и не потому, что хочет угодить тому или другому, а потому, что он нужен славянским братьям. Прежде чем выехать из Константинополя, все собрались потолковать о поездке. После слов, сказанных Мефодием, Горазд встал и, прослезившись, поблагодарил за то, что их путь ведет в землю его предков. Он так прочувствованно говорил о бедных людях этой земли, что все пригорюнились... И вот теперь он от волнения не находит себе места. То спрыгнет с телеги, то затеет разговор с сопровождающими земляками, а то сорвет придорожный цветок — порадовать друзей.

Константин видел, как искренне и открыто Горазд радуется, как мрачнеет, когда вопросы наталкиваются на сухие ответы всадников. Особенно не нравилось им на ходу разговаривать о войне.

— Ну, как война?

— Ужас! — отвечали они, глядя куда-то вдаль.

— Под Нитрой тоже?

— Тоже.

— А люди?

— Что люди?

— Выдержали?

— Выдержали...

— А еда была?

— Какая там еда... Зубы стали выпадать. Соли не было... На, смотри! — ответил тот, постарше, разделил пальцами нависшие усы и раскрыл рот. Два пожелтевших зуба подпирали верхнюю губу.

...В конце долгого пути высилась, будто высеченная резцом на горизонте, крепость. В лучах заката она казалась охваченной пламенем, так что ехавшие в телегах ученики тревожно встали на ноги, но безразличие возниц успокоило их. В Велеград вошли вместе с сумерками, перед самым закрытием крепостных ворот. Никто не поспешил им навстречу. Никакой торжественности. Одни любопытные купцы вышли на улицы, чтобы поглазеть на неизвестных путников, и все. В узких каменных улочках стражники уже вставляли зажженные факелы в железные кольца. Один из них и отвел прибывших в ближайший монастырь. Там царило запустение, как в сарацинском

караван-сарае. Они кое-как расположились. Справедливо ли укорять за холодный прием страну, только что вышедшую из войны? Даже мирный договор еще не подписали. Константин все это понимал.

Не вовремя пришли...

А может, именно сейчас моравский народ нуждается в них, чтобы укрепить веру в себя, чтоб набраться сил для новой борьбы? Видимо, князь примет их завтра или послезавтра. Ждет, пока отдохнут с дороги. На дне шкатулки у Константина лежало послание василевса, в котором выспренне говорилось о дружеском отношении к князю властелина всех греков и о людях, направленных князю по его желанию. Разумеется, Ростиславу нужны были не столько чувства Михаила, сколько тайна «греческого огня» — военная помощь, к сожалению запоздавшая. Но ни Константин, ни Мефодий, ни их ученики не были в этом виноваты...

2

Целыми днями Ирина не отрывалась от пяльцев.

Мир за окнами дома был не для нее. Она чувствовала себя беспредельно одинокой. Подруг не было, по гостям не ходила. Раньше хоть в церкви показывалась, чтобы похвастать золотыми браслетами и красивыми нарядами, но с тех пор, как исчез Иоанн, она не знала, как вести себя в обществе. Варда нарочно пустил слух, что горбун утонул. Рыбаки выловили труп утопленника, и это пригодилось Варде, чтобы навсегда освободиться от кошмара своей молодости. Как ни старался он делать вид, будто Иоанн его не интересует, а страдания сына не существуют для него, все же в мгновения раздумий он ощущал в душе уколы презрения к себе, но кесарь был так устроен, что эти мгновения быстро заглушались его жаждой быть над всеми и над всем.

В последнее время они и вовсе исчезли. Как ни странно, бегство сына вернуло ему спокойствие, сняло внутреннее напряжение. Замкнувшуюся в себе Ирину он осыпал ласками. Варда заметил, что стал чрезмерно болтлив в ее присутствии. Его пугала ее молодость, но еще больше — ее молчание. Кесарь по себе знал, что молчание сродни ночи, а ночью рождаются самые причудливые мысли и решения. Когда остаешься там наедине со своими тайнами, будто входишь в пещеру соблазнов и сомнений, скрытую от чужих глаз, и может случиться, что ты неожиданно примешь какое-либо дурацкое решение. От Ирины вряд ли следует ждать такого решения, но кто знает человеческую душу... В ней больше извивов и ущелий, чем долин и хребтов в горах. Кажется, владеешь собой, и вдруг что-то сбивает тебя с толку. И ты не знаешь, как поступить. Вот хоть теперь: пустил слух о смерти Иоанна, но не предвидел людских сплетен, которые

чернят его — Иоанн, мол, покончил с собой, ибо не мог больше глядеть на дела отца и жены! Эта придуманная смерть камнем повисла на его шее и на шее Ирины. Если люди увидят, что за кесарем уже нет силы, они разорвут его на куски среди бела дня. Варда немало пожил на свете и может утверждать, что знает и богатых, и бедных и что по притворству своему они не отличаются друг от друга. Знатный может смотреть тебе в глаза и лгать, а простолюдин предпочтет остаться в стороне, но отомстит при первом удобном случае. Вчерашние приятели стали отдаляться: видно, пронюхали о кознях Василия. Раньше патрикии Феофан и Константин обивали его порог, теперь же заглядывают раз в неделю — посмотреть, на месте ли он или его уж и след простыл. Если он расправится с конюхом, то подумает тогда и о них, но пока они нужны ему. Один Фотий, кажется, не замечает, как Василий постепенно вытесняет его. Но чего можно ожидать от рассеянного ученого? Решил стать крестителем славянства, варваров. Из-за борьбы с папой до того вжился в роль защитника константинопольской церкви, что стал смешон. Но Фотий — настоящий друг, который помнит сделанное ему добро. Однако, занятый его восшествием на патриарший престол, Варда упустил руководство охраной императора. Иначе василевсу и в голову не пришло бы думать об этом, а у Василия едва ли хватило бы смелости просить... Но не зря люди говорят: нет худа без добра. Если бы он не настаивал на войне с болгарами, то сейчас Михаил и народ не торжествовали бы. Победа! Она могла быть еще большей, если бы они не приняли предложения Бориса о мире. Но как же им не принять — ведь победа засчитывается Варде, его сыну и Петронису, а противники боятся умножения их славы, и недаром, ибо легко возлежать под балдахином и удовлетворять свои желания, но трудно быть на поле брани, не зная, откуда пронзит тебя коварная стрела или острый меч.

Когда войска двинулись на варваров, Варда хотел идти с ними, но его не отпустили — и не столько василевс, сколько знатный конюх. А если он вернется в Царьград во главе войск? С него не следует спускать глаз! Впрочем, кто у кого под надзором — неизвестно. Жаль только, что он не договорился с Петронисом и Антигоном, прежде чем они ушли в поход, а довериться гонцам не осмелился. По всему было видно, за ним следят, проверяют его приказы... Недоброе чует Варда...

Вот уже несколько дней в Константинополе находились послы Бориса, уточняли условия мирного договора. Город выглядел так, будто не войска, а церковь выиграла войну. Улицы кишели черноризцами. В большом соборном храме готовились к крещению ханских людей. Там был и новый кавхан, которому дали имя Петр в честь одного из первых апостолов Христа. Он был братом Сондоке, жил в Старом Онголе. Великий совет двенадцати боилов с согласия

Бориса выбрал его на эту почетную должность, ибо был он человеком сговорчивым, хорошим воином и дипломатом. Не раз укрощал он злобу венгров — то словом, то оружием. Князь согласился еще и потому, что жена Петра была славянкой, христианкой. Человек, нарушивший старый порядок, может содействовать ему в утверждении нового.

Еще до созыва Великого совета князь встретился с будущим кавханом. Разговор был прямым и откровенным. Вот, Тангра уже не охраняет их. Тангра допустил, что его народ умирает от голода! Тангра не укрепил силы воинов, оказался слабым, не защитил их! Тангра должен уйти, чтобы они вновь стали сильными и непобедимыми! Будущий кавхан ни разу не возразил, напротив, Борис чувствовал, что он считает его слова выражением собственных мыслей. Сами люди уже возроптали против жестокости Тангры. От двух страшных землетрясений потрескались стены Солнеграда и обрушились сотни домов в Задунайской Болгарии! Люди еще не пришли в себя от первого, как случилось второе, где-то около Загоре, но земля заколебалась по всей стране. Затем пролились оранжевые ливни; переполнив реки, они довершили разрушительную работу землетрясений. Дожди чередовались с мокрым снегом, потом пошел непрерывный снегопад, наваливший сугробы на крыши хижин. Холод и голод шли вместе, чтобы погубить болгарский народ. Будущий кавхан с трудом смог прибыть на Великий совет. Принятие новой веры вынуждалось и тем, что византийцы обещали дать хлеб и продукты питания, семенное зерно, ибо свои запасы были съедены. Борис не жаловался, просто рассказывал ему все это, чтобы кавхан знал, куда вести страну. Если он согласен, то его сегодня изберут кавханом и пошлют в Константинополь подписывать мирный договор с Византией на тридцать лет. Двенадцать великих боилов давно одобрили эти предложения. Они дали согласие, ибо не видели другого пути. Новому кавхану предстояло отправиться в Царьград, забыть свое прежнее имя и принять другое — одного из последователей Христа. Византийские духовные лица долго спорили насчет имени, пока Фотий, будто желая посмеяться над папой, не предложил назвать болгарина Петром, имея в виду краеугольный камень новокрещеного народа. Предложение понравилось. Купель в форме креста оказалась слишком маленькой для кавхана, но он стерпел это во имя спасения своего народа. Другие посланцы также получили новые имена, некоторые тут же забыли их, думая, что они нужны только здесь. Но время рассудило иначе. Вместе с миссией в Плиску выехали епископ с двумя священниками, чтобы свершить святое таинство над князем и его приближенными. Миссия выждала, пока не растаяли снега, пока вода не стекла в речные русла и не открылись дороги, чтобы могли проехать караваны с зерном и продуктами для голодающих. Двенадцать боилов разделят все это между ста знатными родами — и для посева, и для пищи.

Дорогой священники крестили людей, но многие разбежались по лесам, и, показываясь из-за скал, они творили разные бесовские заклинания. Плохо было и то, что по деревням расползлись различные «божьи люди», чтобы ловить заблудшие души и приобщать их к своим скверным учениям.

Телеги, увязая, тяжело двигались по плохим дорогам. Люди кавхана не отставали от них. Они прекрасно понимали, что их сила — не в проповеди, а в содержании грубых конопляных мешков. Ведь голодный за горсть зерна готов отказаться от своего бога, лишившего его хлеба насущного.

Молва о зерне и других продуктах распространилась по всей болгарской земле. Толпы ободранных, изголодавшихся людей хлынули в Плиску. Многие поджидали караваны, протягивая руку за милостыней. А были и такие, кто при виде полных мешков сходил с ума и был готов силой взять все, что только можно есть.

Хорошо, что князь послал конную стражу для охраны каравана. Еще летом он велел боилам открыть для народа свои амбары, но амбар, из которого только берут, быстро пустеет. Голод заставил вспомнить старый сказ о муравейниках, люди раскапывали их в поисках зерна для посева.

Все капища, встречавшиеся на пути следования каравана, были разорены — из-за крошки хлеба, миски муки, крины зерна.

Голод рушил многовековую веру народа, сокрушал бога, бросившего своих чад на произвол судьбы. Того, что сделал караван, состоявший из тысячи телег с хлебом, не смогли совершить люди Фотия в последующие годы, так как давали болгарам лишь слово на непонятном языке, а не то, что насущно необходимо.

Вся Плиска вышла встречать кавхана.

Даже Борис позавидовал ему. Новый христианин Петр ехал во главе хлебного войска, а за ним — остальные члены миссии, уставшие от дороги, обремененные двумя именами, одно из которых они мучительно старались припомнить, пока окончательно не забыли его.

3

Завоевания Людовика Немецкого были небольшими, но они радовали папу Николая. Королю удалось устрашить Ростислава, хотя не удалось покорить его. Но и это было немалым делом, особенно когда знаешь, чем занимаются другие правители. Тут ссора по крайней мере закончилась победой, и Карломан принужден был подчиниться отцу. До чего коварным он оказался! Жажда властвовать пересилила общепринятые нормы поведения. При живом отце он претендовал на ко-

рону. Его дерзость дошла до того, что он вступил в союз с Ростиславом. А это затрагивало интересы римской церкви. Пути господни, в сущности, неисповедимы... Многое так запуталось... Семейный скандал Лотара II подошел к самому драматическому моменту. Себастьян приносил тревожные вести, и папа, хотя и верил в свои силы, стал критически приглядываться к людям вокруг себя. Кто усомнится в его святости, а кто останется верен ему и в самые трудные дни? Приближалась буря, и надо было проверить прочность креплений в своем шатре. Каждое утро без вызова приходил Себастьян, сообщал новости: оба свергнутых архиепископа нашли радушный прием при дворе императора Людовика II. Все лето и осень они провели в Беневенте, чтобы встречаться с императором и натравливать его на Николая. Тамошние служители церкви регулярно доносили подробности разговоров, которые велись в ту дождливую осень за императорским столом. Об исповедях людей Людовика тоже докладывалось Себастьяну, значит, и папе. Гунтар и Титгауд настаивали, чтобы император вмешался в дела церкви. Видать, твердили они, пришло время, чтоб его крепкая десница обуздала своеволие старика из Латерана. Нельзя допускать, чтобы обижали королевскую семью и издевались над ее представителями. Лотар был братом императора, и обиду на Лотара они умело распространяли на весь род Людовика II. Изгнанные иерархи хитро напомнили ему о прежнем заступничестве за Иоанна Равеннского. По их словам, все надежды епископы возлагают на него. Император, мол, единственный защитник справедливости. Пришло время, чтобы он усмирил папу, слишком возомнившего о себе! Все эти льстивые, приятные для императорского слуха слова разжигали тайную ненависть в душе Людовика: ведь папа не прислушался к нему в разгар спора с архиепископом Равенны... Эта обида глубоко засела в сердце и время от времени вспыхивала вновь. Теперь представился хороший случай дать миру понять, что император — не тень папы, а сильный властелин, который крепко держит в руках судьбу империи, и не только ее... Несмотря на то что Людовик II был единственным императором, короли и князья, бароны и маркграфы совсем не считались с его мнением. Когда он пошел на Карла Лысого, чтобы силой утвердить свой авторитет, папа опять вмешался и все сорвал. Если он раз и навсегда не положит этому конец, то никогда не возвысится над другими властелинами и останется одним из многих в тени папского престола. Глубоко в душе Людовик II уже был на стороне изгнанных архиепископов и брата Лотара. Если он сейчас не защитит его, а тем самым и право распоряжаться делами своей семьи, другой случай вряд ли представится. Плохо, что его жена, императрица Энгельберга, ненавидела любовницу Лотара и была на стороне папы. Вообще-то она и Тойтбергу не жаловала, да и мало знала ее. Зато Энгельберга хорошо знала ее мать, а какова мать, такова и

дочь. Жена графа Бозо покинула свой дом, обходила родственников в чужих столицах и сплетничала. Энгельберга диву давалась ее нахальству и распущенности. Николаю опять пришлось вмешаться, чтоб ворота знатных домов закрылись перед графиней и она вернулась к мужу. Саму Тойтбергу императрица почти не знала до того, как она стала женой Лотара, но потом, во время свадьбы и после нее, пока король все еще жил с ней, Тойтберга произвела на Энгельбергу хорошее впечатление. Лотар неоднократно жаловался ей на ревность Тойтберги. Тогда она не обратила на это внимания: если жена не ревнует мужа, значит, не любит его. Лотар не переставал изменять жене с Вальдрадой, так что припугнуть его было нелишним. Императрица оправдывала молодую жену. Когда вспыхнула распря, она твердо встала на сторону опозоренной королевы. Даже если та и грешила до свадьбы, она все равно будет ее защищать, так как брат мужа самой Энгельберги не только поддерживал связь с другой женщиной, но и имел от нее детей. Кроме того, даже короли должны понимать, что им не позволяется относиться к женам как заблагорассудится. Она ни в коем случае не может согласиться, чтобы ее муж выступил против папы. Энгельберга так возненавидела свергнутых архиепископов, что даже не пожелала прийти в зал, где они ужинали. Тут императрица совершила ошибку: без нее они беспрепятственно вершили свое разрушительное дело. От дворцовых людей она узнала, что муж собирается в поход на Ватикан. Несмотря на то что было холодно и февраль не располагал к путешествиям, Энгельберга решила пойти с ним, чтобы иметь возможность обуздать его неуравновешенный характер. Когда Энгельберга сообщила супругу о своем решении, он вскипел, но на следующий день согласился, ибо у самого на душе скребли кошки. Выступление против всесильного наместника бога начало его тревожить — ведь спьяну согласился повести войско на Рим, чтобы вразумить папу. Когда пришел в себя, было поздно отказываться от слова. Императору не к лицу быть бесхарактерным. Набожность жены может обезопасить его от чрезмерных действий. Ее присутствие позволит ему держаться в стороне от двух архиепископов. А это облегчит трезвый подход к вопросам, порожденным столкновением с папой. Титгауд и Гунтар непрестанно уверяли его, что папа Николай трус, что Людовик легко одолеет его сопротивление и подчинит себе, а уж тогда и взоры всех властителей обернутся к нему — императору. Что папа, мол, обязан своим авторитетом, если он вообще у него есть, единственно дружбе с ним, Людовиком II, подчеркнуто выразившейся во время коронации папы, когда император вел под уздцы его коня. Если бы не было, дескать, этого дружеского жеста, достойного великодушного правителя, вряд ли мощь и слава возгордившегося Николая были бы столь значительны. Но в священных книгах говорится, что тот, кто может давать, может и взять обратно...

И лишь он, Людовик II, в состоянии унять папу. Император поддался на уговоры.

Войска Людовика II наступали на Рим по всем правилам военного искусства. Вечный город утопал в тумане, будто пытался спрятаться от взгляда интервентов. Жители укрылись в домах, ставни лавок были опущены. Жизнь замерла. Войска вступили на опустевшие улицы, смущенные тишиной, враждебностью. Император нарушил глухое молчание, и коляски отправились к дворцу у собора святого Петра. Раньше божьи служители встречали императора песнопениями, соблюдался долгий церковный ритуал, который был ему в тягость, а теперь не нашлось никого, кто открыл бы перед ним высокие железные ворота, и кучера долго колотили в них, прежде чем они открылись с протяжным скрипом. Людовик II расположился во дворце. Разгневанный и продрогший, он ждал папских посланцев, но никто не приходил. Приближенные приносили плохие вести: Николай заперся в Латеране и неустанно молится богу в надежде, что тот усмирит гнев Людовика. Кроме того, папа велел жителям Рима начать пост, а семь римских епископов обратились с призывом к мирянам и братии, чтобы они устроили непрерывные уличные шествия с хоругвями и мощами святых.

Дело принимало необычный оборот. Людовик II стал терять уверенность. По всему было видно, что папа не намерен уступать. Он не захотел даже отправить во дворец своих посланцев, чтобы смягчить императорский гнев. И туман все больше раздражал его своей непроницаемостью. Только песнопения да кашель участников шествий прорывались сквозь него. Из белесой мглы люди, как духи, все выплывали и выплывали, высоко держа распятия и хоругви. В чем дело? Может, папа потешается над ним — или он в самом деле обезумел? Людовик вскипел, и даже Энгельберга не смогла укротить его. Он не слушал никого. Туман будто затемнил его душу и мысли, и император сорвался.

Он приказал войскам жесточайшим образом расправиться со всеми этими шествиями, которые тянулись мимо собора святого Петра и дворца.

Расправа императорских вассалов и солдат с мирным населением и священнослужителями прибавила еще один неразумный поступок к этому неразумному походу. Одна из процессий подверглась нападению. Священники, избитые, окровавленные, разбежались кто куда. На земле валялись разодранные хоругви; сломанный крест святой Елены с инкрустированным куском особо почитаемого креста, принесенного из Иерусалима, был брошен на поругание посреди улицы. И произошло чудо. Туман вдруг рассеялся, но только на этой улице — будто бы для того, чтобы все видели богомерзкое деяние императорских солдат. Город загудел. Люди кинулись поглядеть на свет-

лую часть улицы и стали разносить молву о знамении. Такого святотатства не было со времен Каролингов. Божий гнев искал жертву и обрушился на солдата, который первым поднял руку на святой крест. Молва разбередила души императорских приближенных и смутила их. Один солдат действительно погиб. Его нашли повешенным на дереве перед воротами дворца. Стражники утверждали, будто он сам наложил на себя руки. И пока он накидывал веревку на шею, с неба лилось странное сияние, которое мешало им видеть. Как только казнь свершилась, сияние прекратилось. Это знамение расстроило всех. Императрица заперлась в молельне и отказывалась принимать кого-либо. Император дважды посылал позвать ее, но она неизменно отвечала:

— Пусть прежде покается перед божьим наместником...

Это привело императора в полное смятение. Он стал подозревать всех в том, что его избегают, как заразного. И не выдержал: тело его охватил ледяной озноб, а затем жар. Император слег в постель от неведомой лихорадки.

Тогда ему сообщили, что папа Николай на лодке переплыл Тибр, заперся в соборе святого Петра и, запретив кому бы то ни было беспокоить его, молится, отказавшись от хлеба и воды. Это известие заставило Энгельбергу покинуть молельню и прийти к больному мужу. Людовик лежал бледный. На нем была груда перин, но он дрожал от холода. Голос жены немножко успокоил его. Лихорадка поутихла. Императрица предложила устроить примирение с папой. Смущенный и растерянный властелин безропотно согласился. Амбиции уступили место разумному решению — с достоинством выпутаться из этого странного римского тумана, может, еще не все потеряно... Примирение произошло через два дня.

4

Встреча с Ростиславом состоялась на следующий день. Князь, хоть и устал, принял посольство и был с ним ласков. Прежде чем дать письмо Михаила переводчику, стоявшему слева от трона, Ростислав долго держал его в руках. Переводчик начал читать на высокой ноте, а Горазд, допущенный на прием по просьбе Константина и Мефодия, не утерпел и стал переводить на свой родной язык — отчетливо и ясно. Получилась торжественная сцена, напоминавшая античный театр.

— «Бог, заповедавший каждому познать истину и подняться до возможно более высокой степени совершенства,— читал знатный великоморавянин, а Горазд переводил,— увидев веру твою и подвиг твой, ныне, в наши дни, сотворил буквы для вашего языка и тем содеял нечто, чего не бывало раньше, кроме очень давнего времени,—

чтобы и вы могли присоединиться к великим народам, восславляющим бога на своем родном языке»...

Мораванин умолк, обвел взглядом собравшихся в зале людей, будто он сам сочинил сие удивительное послание, достал пестрый носовой платок и, утерев большие рыжие усы, продолжал:

— «И послали мы к тебе того, кому явил бог сии буквы, мужа почитаемого и благочестивого, вельми ученого и философа. Прими сей дар, что лучше и почетнее любого злата, и серебра, и драгоценных камней, и недолговечного богатства»...

При переводе этого места Горазд воодушевился, и глаза его засияли. Произнося слова «мужа почитаемого и благочестивого», он приподнялся на цыпочки и торжественно указал на Константина. Все это получилось у него непринужденно и никого не рассердило, даже Константин улыбнулся в ответ, а князь дружески кивнул Философу. Чтение продолжалось:

— «Освой его, чтобы работа пошла быстрее и чтобы ты всем сердцем предался богу! Но не пренебрегай и общим спасением, подтолкни всех, чтобы не ленились и чтобы стали на путь истинный, тогда и ты, после того как научишься познанию бога, будешь вознагражден им ныне и впредь за всех тех, которые уверовали душой в нашего бога Христа: отныне и навсегда ты оставишь будущим поколениям память о себе, подобно великому императору Константину».

Далее шли пожелания и приветствия. Когда чтение закончилось, Ростислав пригласил Философа сесть рядом с ним и поинтересовался, откуда у Горазда такое хорошее знание языка.

Род Горазда был известен и очень близок князю. Ростислав знал его отца, его братьев. Один из них пал в битве под Нитрой. Ростислав приказал своим людям относиться к Горазду как к его доверенному лицу и спрашивать у него о нуждах посольства. Князь велел также привести в порядок монастырь, сделать его удобным для жилья. Он отпустил средства на питание и на открытие училища, в котором предстояло обучать новой азбуке детей окрещенных знатных людей. Сам он долго и радостно листал и рассматривал подаренные братьями книги с новыми буквами. Человеком с открытой душой оказался князь Великой Моравии. Это успокоило братьев и прибавило сил для работы. На обеде в их честь Ростислав пил сверх меры. Приближенные старались, чтоб ему больше не наливали. Будучи пьяным, он наговорил немало угроз в адрес немцев. И раза два плохо отозвался о Людовике Немецком. Константин понимал его: страх, не прошедший после недавней войны, продолжал угнетать князя. Он чувствовал себя подавленным, неуверенным, но ненависть к германскому королю, которая не угасла в нем, радовала братьев. Она означала, что они смогут опереться на князя в борьбе, которая их ожидает. Германские священники, изгнанные из Великой Моравии, не замедлят появиться сно-

ва и попытаются вернуться в монастырь, занятый миссией, под предлогом, что это их собственность. Да и не только в монастырь. Германские епископы давно считают эту землю своей духовной нивой... Братья были также удивлены тем, что еще не вмешался папа и не потребовал у них объяснений. Избежать объяснений вряд ли удастся. Важнее, пока тут нет их противников, прочно обосноваться и приготовиться к борьбе, насколько сил хватит.

В княжеской церкви отслужили первую литургию на славянском языке, посвященную Клименту Римскому, мощи которого братья возили с собой. В церкви было тесно от верующих и неверующих. Неистребимое человеческое любопытство привело их сюда поглядеть на посланцев далекой византийской земли и услышать своими ушами, что Священное писание, которое немцы вдалбливали им на латинском языке, можно читать и толковать на родном славянском. Раскрыв рот, мораване слушали песнопения учеников, с удивлением наблюдали за богослужением, совершавшимся несколько иначе, чем это делалось до сих пор папскими служителями, смотрели на темное, строгое одеяние обоих братьев, старались заглянуть в книги, написанные новой азбукой, и сердились, когда их детей не принимали в училище, где учили читать и писать. Любознательные люди были эти мораване. Комнат для учеников не хватало. Горазду пришлось просить князя дать им еще один дом. Ростислав быстро удовлетворил эту просьбу. На воскресной литургии в соборном храме присутствовал Ростислав со свитой. Все знатные люди Великой Моравии прибыли на торжество. Братья правили службу, ученики им помогали. В наскоро созданном Гораздом синодике великих мужей Моравии особенно торжественно прозвучало имя князя Ростислава, которого снова сравнили с Константином Великим.

Никогда ничего подобного не совершалось в Велеграде. Новые священнослужители упоминали в своих молитвах наряду с папой и константинопольским патриархом и князя Великой Моравии, провозглашали и утверждали единую землю и единый народ во имя того славянского дела, которое они всюду проповедовали. Никто не интересовался церковным саном посланцев Византии, важнее было то, что богослужение всем нравилось. Они осмелились приравнять язык славян к трем священным языкам, благословенным Римом. Ведь Исидор Севильский так говорил в своих поучениях: «На сих трех языках и сотворил Пилат надпись на кресте господнем. Потому таинство священных писаний должно остаться только на этих трех языках». Это Исидорово утверждение непрестанно повторялось и повторялось, и вдруг пришли люди, говорящие, что слово божье надо проповедовать на родном языке каждого народа, чтобы верующие могли его впитывать, как сухая земля воду и как глаза зрячего солнечные лучи. После торжественных песнопений совершалось крещение в воде.

Ростислав сидел чуть в стороне на высоком троне, украшенном деревянной резьбой и предназначенном для архиепископа, и следил за торжественным богослужением. Славянский язык, на котором оно шло, известен ему, за исключением некоторых слов, звучавших несколько глухо и не по-моравски, но иначе и быть не могло: это был язык нижнеболгарских славян — ведь долгое время болгары владели частью этих земель, прежде чем они отошли к франкской державе. Его отец Моймир первым направил свое копье против врагов, которые пытались посягнуть на эти окраинные земли. Ростислав продолжил его дело и благодаря огромным различиям в обычаях и языках между моравanами и франками сумел сохранить свой народ. Пока франки, жившие в нескольких государствах, непрерывно ссорились между собой, его отец укрепил свою власть и установил единый справедливый порядок. Вера еще не установилась, культ языческих идолов продолжался. Новый бог пришел одновременно с немецкими священнослужителями, но латинский язык и чуждая письменность были слабым оружием. Он не хотел, чтобы немецкое духовенство присутствовало в Моравии. Оно следило за всем, что тут происходило, и спешило осведомить своих. Если он сумеет прогнать германцев раз и навсегда, создать свою письменность и церковь, это будет большой победой. Может, еще большей, чем победа, добытая оружием. Князь слушал глуховатый голос Мефодия, ясный и мелодичный голос Константина и думал об их церковных санах. Он еще не спрашивал их об этом и спрашивать не спешил, но, если их дело укоренится, одному из них надо будет возглавить самостоятельную моравскую церковь, которую князь давно стремился создать. Когда он посылал своих людей в Рим, им руководила мысль оторвать моравские земли от диоцеза зальцбургского архиепископа, перейти в прямое подчинение к римскому папе, который в результате стал бы его неколебимой опорой в борьбе против упорных немцев. Судя по всему, папа не хотел портить свои отношения с франкскими епископами и архиепископами, потому что даже не соизволил ответить моравскому князю. Папа считал его земли надежно подчиненными римской церкви, и ему даже в голову не приходило, что интересы моравan расходятся с интересами Людовика Немецкого. Моравская земля хотела дышать, а моравский народ — жить своей жизнью, а не жизнью нежеланных гостей. И если ему удастся найти умных людей и заключить союз с Византией, он пойдет на это в надежде, что Византия поможет справиться с врагами и укрепить самосознание народа. Правда, надежды на военную помощь и «греческий огонь» не оправдались, но мудрые речи посланцев наполняли его радостью... и грустью, так как они пришли, когда страна все еще была в осаде, и кто знает, хватит ли у него сил одолеть врагов. По правде сказать, враги тоже не были уверены в себе. Ведь был разбит только Карломан. Теперь Ростиславу предстояло грудью защищать

дело прибывших первоучителей. Хватит ли сил?.. В его душе угнездилось утаиваемое от всех разочарование, и он мял его, как глину между пальцев. Не было достаточного единства среди знатных моравских родов. Одни были слишком заняты собой, другие посматривали в чужую сторону, будто хотели сказать, что думают не так, как князь. Какой-то необъяснимый страх всегда держал их в состоянии готовности служить двум господам. Ростиславу надо было отучить их от этого, внушить уверенность в собственных силах, поднять их выше мелочных личных интересов, сделать великими мораванами. Поэтому он велел их сыновьям начать изучение новой письменности и новых книг. Поколение, которое спустя несколько лет станет в строй, будет лучше, чем отцы, различать свое и чужое, ибо отцы шли от чужого к своему, а сыновья начинают со своего.

Хватило бы только здоровья дожить до того дня, когда истинное просвещение даст плоды, хватило бы жизни увидеть первого архиепископа самостоятельной моравской церкви, устремившей крест в родное небо! Хватило бы только!.. Ростислав широко перекрестился под звучные голоса хора, славившего бога, который пришел завоевать души людей.

5

Для новой мастерской Климента, Марина и Саввы нашлось помещение в башне у задних монастырских ворот. Правда, не столь удобное, как в Полихроне, но зато вдали от шума и суеты, располагающее к раздумьям своим необычным видом и позеленевшей от времени крышей. Судя по всему, прежде чем стать монастырем, это массивное каменное здание было каким-то замком, построенным не очень опытными мастерами, но знатоками военной обороны. С башни был хорошо виден весь город с палатами князя и голубятнями на дворе. Голуби то и дело взмывали в небо и разноцветным облаком летали над городом. Ниже голубятен находились конюшни. Климент, Савва и Марин часами могли смотреть, как княжеские слуги чистят коней скребницей, расчесывают гривы и хвосты, прогуливают их по большому двору, не смея, конечно, сесть верхом. Слева были навесы для телег и карет, а впереди, где раскинулся дворцовый сад, отчетливо желтели песчаные дорожки. Напыщенные охранники часто пересекали их и исчезали в боковых, темных воротах — вероятно, там располагалось помещение княжеской охраны. С башни вся жизнь города была видна как на ладони — с его улочками, тесной, мощенной камнем площадью, окруженной массивными зданиями, с жестяным петухом на крыше северных городских ворот. Не зря немецкие священнослужители облюбовали себе это пристанище. Ничто не могло ускользнуть от их глаз... Климент разместил мастерскую в башне, а вни-

зу, в нише, укрепили для Саввы небольшой кузнечный мех, который использовали для изготовления мелких поковок, необходимых в переплетном деле. Вдоль трех стен поставили кровати, а в середине — массивный дубовый стол, принесенный из сырого монастырского подземелья. Туда страшно было входить. В центре темнел глубокий колодец. Вода на дне сверкала, точно остекленелый глаз мертвеца, и от нее тянуло холодом. В соседнем подвале впритык к стене стоял грубый стол, а рядом был очаг. На стене висели зубчатые щипцы, клещи, а под самым потолком — какие-то мехи. Сперва они подумали, что это монастырская мастерская, но когда всмотрелись — в ужасе отпрянули. Это была пыточная. Очаг для поджаривания, щипцы, чтобы рвать живое мясо, тяжелый деревянный стол, чтобы распинать связанных людей, мехи, чтобы под давлением вливать им воду в рот. Все свидетельствовало о нечеловеческой жестокости прежних обитателей монастыря. Не дай бог испытать на себе такую злобу. Подвал ужасов глубоко запечатлелся в поэтической душе Климента, и он боялся один спускаться в подземелье. Савва подтрунивал над ним, посылал его к колодцу за водой. Климент выходил, но тут же в смятении возвращался. Однако вскоре ученики освоились в новой обстановке. Многие из них целыми днями преподавали в христианском училище, другие переписывали славянские книги и служили службу в нижней церкви. Несколько раз Климент пробовал вернуться к рисованию, дело что-то не клеилось. После посещения Брегалы он жил точно во сне и охотно предавался ленивым мечтаниям. Он завидовал Иоанну, что тот остался там, где белые монастыри, изящные расписные часовни среди зеленых долин, лежащих разноцветным ковром под охраной высоких скал. Пока Климент был дома, он не смог посетить могилу отца, опасаясь, что его сочтут слишком любопытным, и теперь жалел об этом. Отец лежал наверху, у самой пещеры, где вилась тропинка к орлиному утесу. Трава там начинала зеленеть раньше, чем в других местах, и долго оставалась свежей. Отец любил сидеть на лужайке и смотреть, как весна не спеша поднимается снизу вверх, где ее с нетерпением ожидают деревья. Клименту казалось, что отец все еще смотрит сверху своими старческими глазами, уставшими от чтения книг и дыма зимнего очага, и надеется на встречу с сыном.

Стараясь унять острую тоску, Климент ложился навзничь в жесткую постель, поднимал деревянную ставню бойницы, чтоб было светлее, и брал родовую книгу.

«Гляжу я со своей скалы на небо и думаю о творении божьем. Звезды ярче и крупнее тогда, когда небо темное и безоблачное. Так и в душе человеческой. Добро освещает ее, а мрак лишь подчеркивает свет, чтобы его увидели и ощутили как можно больше людей. Сижу я на этой орлиной скале и спрашиваю себя: отдалившись от людей, зажег ли я свет добра в чьей-либо душе или напрасно прожил дни

под небом весны, лета, осени и зимы? Одна жена была у меня, но я не понял ее души. Ведь, умирая, она сказала мне с улыбкой: «Не жалей, что я сбила тебя с пути рода, ибо мы с тобой пошли истинным путем душ человеческих. Мы опередили государство. Люди придут туда, где мы сейчас находимся, но не застанут нас, мы будем далеко в будущем... Не жалей!» А я порой жалел, ведь я сменял богатый аул на пещеру, радостный бег табунов — на лесное безмолвие. Она знала об этом, а я думал, ее душа живет в узкой скорлупе ежедневных хлопот и одиночества. И ушла она от меня на тот свет, и оставила в неведении, ибо так ведь человек устроен — по себе судит он о других, забывая о том, что каждый смертный — это отдельный мир...»

Отложив книгу, Климент почувствовал себя как человек, у которого украли его мысли. Будто мать убеждала не жалеть, что дороги жизни увели его в далекие земли, где он сеет зерна новой азбуки. Не жалеть, ибо они — первые сеятели! Другие придут туда, где они сейчас, но не застанут их, они уже будут в будущем... Вот в чем смысл — открывать дороги к людским душам. Иначе, если бы он родился в отцовском ауле и жил бы среди его нескольких жен и двадцати своих братьев, скакал бы он теперь по пыльным полям с кровавым мечом злобы в руке... И когда чья-либо более крепкая рука вышибла бы это блистающее оружие, а его самого свалила бы на землю, то в его глазах билась бы лишь тоска по бессмысленно прожитой жизни и страх, что он ничего не оставляет людям. Ему не стоит раскаиваться! В священных книгах давно сказано: созданное не погибает... А Климент мог стать только просветителем, и никем другим. Он всегда хотел быть полезным людям. Ему не надо ничего, кроме куска хлеба и крыши над головой, чтоб было где разместить мисочки и горшочки с красками, которые радуют глаз и оживляют пергамент. С башни Климент всматривался в даль и следил за движением времени. Оно ощущалось по созреванию хлебов. Сначала они были беловато-зеленоватыми, потом постепенно желтели и желтели, пока не налились медью. Хлеба начинались у самых хибарок, разбросанных за крепостной стеной, и радовали его душу живой игрой красок. Климент воспринимал мир в цвете и с помощью цвета. Он хотел бы постичь каждодневную философию людей, но они не спешили раскрыть душу первому встречному, прикидывались или дурачками, или людьми, прошедшими огонь и воду. С башни Климент наблюдал за своим соседом. Это был крепкий старик. Выйдя из дому и поглядев на небо, он входил в сад и осматривал ветви. В его руке кривой садовый нож походил на отдельный темный палец — он ловко работал им, и лишние ветки падали на землю. Работа старика нравилась Клименту. В ней была творческая жилка, постоянное стремление сделать дело лучше, чем раньше. Это привлекало Климента, и вскоре он познакомился с соседом. Старик ухаживал и за княжеским садом. Во всем поле не оставил он ни од-

ного дикорастущего деревца. Воткнув почку в надрез, он стягивал его тоненькой тряпочкой и заливал ранки воском. Старик в совершенстве владел искусством облагораживания, и Климент с присущей ему молчаливой сосредоточенностью увлекся. Странным открытием было для него вмешательство в божьи дела и превращение ненужных кислых яблок в сочные, вкусные плоды.

Во время занятий с учениками Климент любил водить их на холм к роднику с кривыми вербочками и прививать им это новое умение, а из веток вербы делать чудные дудочки. Когда день собирался уходить за горные хребты, молодая дружина спускалась с холма, и веселые голоса дудочек разносились окрест. Выходили люди из ближайших домов, чтобы посмотреть на них и порадоваться. Климент умел сочетать строгость с приятными занятиями, полезное — с ребячеством, и поэтому ученики охотно обращались к нему по любому поводу. Он встречал их неизменной улыбкой, морщинки около продолговатых глаз собирались в тонкую сеть, и лицо излучало доброту. Среди последователей солунских братьев Наум, Климент, Марин и Ангеларий были такими мечтателями, которые входили в детали большого дела с терпением, достойным золотых дел мастеров. Савва и Горазд — люди иного склада — производили сильное впечатление одним своим присутствием, размахом планов, в подробности не углублялись. В их пылких словах всегда больше дерзости, чем ясной глубины, но теперь они, пожалуй, нужнее для дела: в это время открытой борьбы пастельные тона задушевности теряются в общем гуле. Вся Моравия бродила, как виноград в глубоких чанах, прежде чем он превратится в вино. Эта неустоявшаяся стихия нуждалась поначалу именно в таких людях, как Савва и Горазд. Они прокладывали первопуток, а Клименту, Науму, Ангеларию и Марину предстояло, как заботливым хозяевам, с любовью выращивать то, что посеяно, чтобы оно взошло и дало плоды.

Сами братья точно так же отличались друг от друга: Мефодий был силой и дерзновением, Константин — мудростью, зерном, которому надлежало прорасти в борозде, проложенной пахарем.

Все семеро юношей, которых Савва когда-то привел в церковь Святых апостолов в Константинополе, хорошо усвоили письменность. Они обучили еще столько же своих друзей, но пока проявили себя только в каллиграфии. Почтительное уважение к учителям держало их в тени. Будущие невзгоды и мытарства закалят их, и проявятся лучшие их черты — стойкость и непреклонность славянских просветителей. Моравия станет их полем боя и их Голгофой.

А пока они продолжали учиться, сочетая два начала, идущие от Константина и Мефодия.

Дудочки из веток вербы, все еще не потревоженные гневом немецких епископов и аббатов, веселили людей. Впереди, высоко под-

няв голову, шел Климент, к груди он крепко прижимал Священное писание, из которого, как закладки, выглядывали стебельки василька и тимьяна. Душа поэта по-своему боролась со злом во имя возвеличения славянства.

6

И князь также был окрещен в золотой купели, подаренной ему василевсом. Крестили в большом дворце Плиски. Вчерашний хан и князь Борис назвался именем своего крестника Михаила. Двенадцать великих боилов приняли веру вслед за ним. Присланный из Константинополя митрополит со священниками заполнили своими голосами дворцовый зал, разжигая любопытство болгар торжественным одеянием. Первым после княжеской семьи отказался от прежних богов тесть Иртхитуин, приняв имя Иоанна Крестителя. Многое перевидал он на своем веку и не верил ни в каких царей небесных. Но сейчас спасение народа обязывало, и он подчинился. Его старший сын прибыл из Константинополя с новым именем — Петр, привез хлеб и спокойствие государству; младший, Сондоке, был одним из первых людей в стране. Можно ли желать большего? Иртхитуину надо было дать личный пример боилам и багаинам. Его дочь была женой князя и теперь, по новой религии, становилась его единственной супругой.

Каждая новая женитьба хана порождала дрязги, и не столько среди жен, сколько среди знатных родов. Все боролись за более почетное место в иерархии. Теперь Борис становился великим князем, и Константинополь посылал ему свое благословение! Воспротивилась лишь его мать: она хотела остаться с Тангрой, боясь упреков покойного хана на том свете. Пришлось вмешаться дочери. Феодора не оставила мать в покое, пока ее не полили святой водой из серебряного кувшина и не окропили ей лицо митрополичим букетом. Феодора теперь открыто носила иконку и крест и запретила называть ее Кременой. Она позвала изографа Мефодия и велела расписать свою небольшую комнатку под дворцовую молельню. Огоньки свечей отражались в образах святых, запах ладана вытеснил запахи меда и сожженных трав. Любой бог приходит со своими порядками. Новокрещеные христиане то и дело ходили к Феодоре, чтобы она объясняла им учение Христа. Неясность угнетала и смущала их души. Даже князь, давно подготовленный для восприятия нового, был не в состоянии охватить все происходящее. Его беспокоил непрекращающийся приток византийских священников. Пересекая границы на конях и пешком, на ослах и мулах, они вбивали крест у реки или колодца и начинали крестить людей во имя всевышнего и его сына. Люди не понимали греческого языка. Слушая непонятную речь, они покорно

входили в воду и ожидали не сказок, а настоящего куска хлеба. У кого не было еды, те следили, не идет ли кто-нибудь с зерном, и, едва завидев такого человека, спешили снова принять крещение. Появились и священники, проповедовавшие разную ересь и вводившие людей в еще большее смятение.

Князь видел этот беспорядок, и душа его наполнялась тревогой. В мирном договоре ничего не говорилось о самостоятельной болгарской церкви. Беда так прижала всех, что не было времени обдумать этот вопрос, а византийцы не спешили объяснять, как будет происходить крещение и какие церковные порядки будут введены в болгарской церкви. Наверное, им хотелось оставить все нити управления в руках константинопольского патриарха. Это не нравилось ни князю, ни его приближенным. Княжеский приказ, согласно которому всякий не принявший новой веры будет считаться врагом государства, разослали тарканам, боритарканам, боилам и багаинам, сообщили всем людям. Однако это не означало, что с принятием христианства отменяется государство болгарское. Византийским священникам надо знать, где кончаются их права. Их обязанность — вытеснить тех, кто разговаривает с Тангрой и толкует суеверия, а не вмешиваться в дела князя и великих боилов. Разумеется, князю придется потерпеть, пока болгары не дождутся первого урожая после голодного года, а тогда он поговорит с ними иначе... И об этих тревогах должны узнать приближенные, чтобы не подумали, будто князь ослеп. Великий совет был созван очень быстро, без шума. После кавхана Петра слово взял Борис-Михаил. Он указал на неразбериху в стране, дал собравшимся понять, что их голос окрепнет после сбора урожая, ибо, как он выразился, «кто услышит умирающего с голода?». Князь предложил перестроить капище в Плиске в церковь, а на вопрос молодого Ишбула, как надо к нему обращаться, Борис прищурился и строго сказал: «Как до сих пор! Но хочу предупредить тех, кто думает, что новый закон и до лета не доживет. Пусть не обманывают себя: вера должна остаться! Разговор с Константинополем коснется только наших порядков, ибо Болгария сохранит себя лишь как христианская держава. Однако у нас должна быть своя, самостоятельная церковь, со своим церковным главой. Если византийцы на это не согласятся, есть еще и Рим. Спешить не надо, мы должны оглядеться и подумать, собраться с силами. Ходят слухи, будто я добровольно предал государство Византии. Это измышления моих врагов. Голод нас предал — сила и новая вера нас спасут...»

Урожай на полях обрадовал землепашцев. Амбары заполнились. Вновь зашумело веселье и зазвучали песни. Запахло свежевыпеченным хлебом. У уцелевших ребятишек зарумянились щечки. Молоти-

ли до поздней осени; лошади целыми днями ходили по току вокруг столба. Те, кто голодал больше всех, предпочитали молотить вальками: берегли каждое зернышко. Еще один такой урожай, и все беды забудутся. Труднее поправлялось дело со скотом. Исхудалые овцы преждевременно выкидывали плод, ягнята рождались либо мертвыми, либо хилыми. Надо делать отбор и негодных забивать. Отбор требовал терпеливой работы в течение нескольких лет. Так было и с коровами, с волами и лошадьми. Засуха поразила их сильнее всего: много заболело, многих забили. В эти напряженные и смутные дни Борис часто вспоминал Брегалу, белый монастырь и его молчаливых обитателей. И кесарева сына, который оставил дом, чтобы принести пользу другому народу. Иоанн олицетворял одну из особенностей нового учения — бескорыстную заботу о возвеличении ближнего. Этот неказистый на вид человек отыскал и собрал болгарских юношей, желающих учиться, и книг становилось все больше и больше. Жаль, что они переписывали всего лишь несколько священных книг, которые тогда привез Константин. Письменность будет нужна народу, думал Борис, но лишь после замены византийских священников болгарскими. В этом Борис не сомневался. Его пугало, однако, недоверие, которое он замечал в глазах кое-кого из знатных. С тех пор как миновала угроза голодной смерти, тайная враждебность, словно подпочвенные воды, стала проступать то тут, то там. Доверенные люди регулярно сообщали князю о настроениях молодого Ишбула, собирающего вокруг себя недовольных. Его сторонники были посланы в десять отдаленных тарканств, чтобы плести сети заговора. Князь с каждым днем все больше убеждался в притворстве многих знатных, окружавших его. Страной владели сто родов, и он правильно определил: опасность придет от «чистых», от тех, кто не вступал в кровную связь со славянами. В заговор вплетались и боковые ответвления знатных родов. Молодой Ишбул больше не чувствовал себя единственным главой. Вокруг него собралось нечто вроде совета, и одним из вожаков был великий жрец, которому надлежало призвать народ на борьбу против князя и его веры. Испокон веков самым страшным врагом болгарского государства была Византия, и многие не могли понять неискушенным умом, почему теперь разрешается, чтобы византийский закон взял верх. Люди задавали вопросы, но мало кто мог дать им объяснения, а были и такие, кто не хотел говорить правду. Эти утверждали, будто князь дал народу плохой закон, поэтому надо силой прогнать из столицы и византийских духовников, и самого Бориса. Заговорщики решили повести толпу к Плиске, когда князь поедет в Брегалу. Но незадолго до отъезда Борис прознал про этот план и решил отказаться от путешествия. Не время для прогулок. Надо быть тут и вывести государство из хаоса. Князь приказал верным друнгам и турмам сосредоточиться в близлежащих крепо-

стях. Кавхан Петр и княжеские братья Ирдиш (он принял имя святого Илии) и Докс возглавили командование войском. Домета принял командование дворцовой гвардией и крепостью Плиска. И все тихо, без шума. Главные заговорщики покинули стольный город, скрывшись в неизвестном направлении, но скоро это перестало быть тайной. Молодой Ишбул бунтовал людей в Деволско и Нише, его старший брат по прозвищу Заика и шесть великих боилов отправились собирать сторонников в Задунайскую Болгарию. Их путь тоже стал известен. Там, где они прошли, священники и новокрещенные защитники веры были повешены на деревьях.

Десять тарканств поднялись на князя и Плиску. Борис испугался. Запершись в молельне сестры, он впервые в жизни призвал на помощь нового бога.

Сам он верил и не верил в его силу, но, видя, как ревностно молится сестра, чувствовал, что с каждым днем его сомнения рассеиваются. Стоя на коленях, Борис не столько молился, сколько думал. Так сложились обстоятельства, что этот бунт рано или поздно должен был вспыхнуть. Борис подсознательно ожидал его. Он развязывал ему руки, чтобы свести счеты с врагами, которые всегда искали повод оплевать и оклеветать его. Бунт поставил их лицом к лицу, и возврата назад не было. Или он погибнет, или они. И если победит он, придется истребить их под корень, чтоб враждебного семени не осталось на этой земле, чтобы некому было хулить и срамить Бориса. Государство и народ переживали такое, что не многие смогли осознать: ведь пришлось по принуждению принимать новое учение от Константинополя, а не по убеждению — от Рима. Тогда противникам трудно было бы обвинить его в том, что он продался извечному врагу.

Народ, в сущности, не виноват, виноваты подстрекатели и сквернословы, те, кто вводят его в заблуждение, и алчные византийские попы, нахлынувшие в его земли. Нашлись и самозванцы, которые кинулись ловить рыбу в мутной воде. Один такой окрестил несколько деревень. За издевательство над истинной верой Борис велел отрезать ему нос и уши и прогнать из страны.

Болгария стала пастбищем всевозможных божьих пастырей. Даже сарацины притащились искать заблудших овец для магометанского рая. Нет, Борис даст ясный, хотя и жестокий урок всем бунтарям. Поднявшись с каменного пола молельни, он посмотрел отяжелевшим взглядом на сестру.

— Что говорит новый бог?

— Смерть еретикам!

— А можно?

— Все можно ради веры.

Этот ответ укрепил беспощадность в его душе.

Созрело решение: завтра с утра созовет всех знатных. Ворота крепости будут открыты сутки. Кто хочет покинуть город — туда ему и дорога; кто хочет бороться с ним — пусть остается.

И совесть не будет мучать, он никого не насилует. Завтра он поймет, кто верен и искренен. Завтра!

7

Ученики хорошо усваивали новую письменность — к великой радости Константина. Церковных проповедей становилось все больше, люди постоянно приходили из отдаленных мест Моравии, приглашали их на крестины и свадьбы. Но чем глубже вникал Философ в жизнь народа, тем яснее понимал, что люди продолжают жить по законам предков, соблюдая языческие обычаи и обряды. Новое учение вошло в крепости, но не в деревни. Несмотря на славу братьев, передававшуюся из уст в уста, Деян легче их проникал в деревни. Он умел лечить болезни, и крестьяне сами искали его. Жизнь бедняков была хорошо знакома Деяну, и они считали его своим. Тощая лошаденка Деяна постоянно была в пути, постоянно откуда-то возвращалась — уставшая, унылая, с болтающимися сафьяновыми тороками, полными всевозможных трав и кореньев. И сам хозяин был похож на нее. Он совсем поседел, борода поредела, но походка оставалась молодой, и потому ученики шутили по поводу второй молодости старика. Деян только улыбался в ответ. В промежутках между поездками он заботился о Константине, делая это ненавязчиво. Философ удивлялся: Деян, когда надо, оказывался всегда под рукой — взять ли от учителя Евангелие, подмести ли двор, подать ли котелок святой воды, прикрепить ли к кресту свежий цветок для окропления. Необходимый и в то же время незаметный, Деян был словно тенью Константина. Философ поражался его выносливости: легкий как перышко, улыбающийся, он ни разу не пожаловался на трудности длительных путешествий.

Собираясь в Моравию, братья не намеревались брать его с собой из-за утомительной дороги, но в последний момент увидели, как он подходит к ним с ветхой сумой на плече и обожженной палкой в руке; точно такие палки с набалдашниками, отдаленно напоминающими лошадиную голову, делали отшельники в горах. Жалко стало старика. У него никого нет в этом большом, чужом городе, да и какую работу стал бы он делать? Богатым были нужны крепкие, здоровые слуги, и прежде всего рабы. А Деян был свободным человеком... Константин знал, что лежит в ветхой суме. Острый нож, две поношенные конопляные рубашки, несколько головок чеснока, кусок чер-

ствого монастырского хлеба да глиняная фляжка с каким-то обжигающим напитком от упадка сил. В другой части переметной сумы были разные лекарственные травы и коренья. Стоило кому-нибудь закашляться или пожаловаться на боль в суставах, Деян тотчас же ставил горшок на огонь и спешил приготовить отвар. Мать-и-мачеха и медвежье ушко, коренья первоцвета, кора вербы и многое другое хранилось в суме. Особенно прославился Деян лечением оспы, которая свирепствовала в Моравии. Дети умирали как мухи. Болезнь перебрасывалась от одного ребенка к другому, и о ней говорили как о старой ведьме, которая по вечерам перепрыгивает через высокие дворовые ограды, и в доме, где она появляется, заболевают дети. Эта напасть перепугала людей, заставив их запираться в домах. Тогда Деян впервые решил использовать свои познания. Они были очень простыми. В то время, когда он жил за Хемом, заболел один из его сыновей, и Деян позвал знахарку из Тутракана. Он привез ее в канун больших весенних праздников. Еще у калитки Деяна насторожила тишина в доме: то ли ребенок уже умер, то ли находится при смерти. В приземистой лачуге остальные дети забились по углам и круглыми от ужаса глазами смотрели на умершего братишку. Тогда знахарка соскоблила в ореховую скорлупу гной с нарывов только что умершего ребенка, велела Деяну пожарче разжечь огонь в очаге и выйти с женой во двор. Плач вскоре заставил отца заглянуть сквозь щель в двери — он окаменел. Пустив детям кровь острым лезвием ножа, она мазала ранки содержимым ореховой скорлупы.

Когда плач затих, знахарка открыла дверь и велела похоронить умершего. После похорон старуха пожелала вернуться в Тутракан, но Деян не отпустил ее. Он хотел понять, что будет с другими детьми. Несколько дней спустя они тоже заболели, но легко, и выжили все до одного. Оспа перенеслась к соседям. Знахарка не успела спасти их первого ребенка, но остальные уцелели благодаря ее таинственным действиям с кровью и гноем. Деян долго упрашивал старуху рассказать, что, кроме гноя, было в ореховой скорлупе, но она упрямо молчала. В конце концов пришлось самому попробовать ее лечение на одном соседском малыше, и он выздоровел. Теперь его слава целителя распространялась по всей Моравии. Некоторые приписывали ее дружбе с Константином. Невозможно было представить, чтобы неграмотный старик знал такие тайны. Философ не мешал Деяну. Напротив, радовался, что старик тоже вносит свою лепту в популярность миссии, что он чем-то полезен людям. В последнее время Деян подружился с Наумом, чувствуя себя обязанным заботиться и наставлять молодого неопытного болгарина. Наум присоединился к миссии, когда Философ был в Брегале. Сначала его желание ехать с ними не понравилось Константину. Ему все казалось, что князь хитрит, посылая своего человека в Моравию, но сомнения отпали уже

тогда. Наум пользовался уважением ханской семьи. Особенно близок был он сестре Бориса, Феодоре, которую обменяли на Феодора Куфару. Сам князь несколько раз говорил о ней, и Константин с нетерпеннем ожидал встречи, ибо знал Феодору еще пленницей в Царьграде. Когда они увиделись, завязался разговор, и сестра князя просила рассказать о Константинополе, об императрице и ее дочерях, интересовалась мелочами, дорогими сердцу девушки, прожившей лучшие годы у Золотого Рога. Жизнь святых апостолов в ее изложении получила окраску восточной легенды. Вероятно, она сама приспособила жития к окружающей ее среде. В темных глазах Феодоры горел фанатичный огонь, характерный для тех, кто живет в обществе иноверцев. Сестра князя не скрывала своих взглядов, и это внушало Константину уверенность в близкой победе небесных сил, которая откроет сердца болгар для христианства.

Когда Философ подарил девушке книгу, написанную на славяно-болгарском языке, она взяла ее с почтительным страхом и поцеловала серебряный крест на деревянном переплете.

Если закрыть глаза, Константин и сейчас явственно видит ее смуглые руки с длинными холеными пальцами, которые поднимают к губам созданную им книгу. Они недолго разговаривали вдвоем. Вскоре появился Наум. Сначала Константин подумал, что его послал князь — послушать, о чем они говорят, но по отношению к нему Феодоры и по поведению этого молодого человека Философ понял: пришел еще один сторонник его дела. Наум, как он сам сказал, был сыном кавхана Онегавона. Константин не слышал до сих пор этого имени, но хорошо знал болгарскую иерархию. Кавхан — второй человек после хана-князя. Вторая жена Онегавона, мачеха Наума, была славянкой, и он сызмала воспринял ее веру. К удивлению Константина, юноша пожелал поехать с ним в Моравию. Борис не хотел отпускать Наума без согласия отца, но Онегавон отправился с войском в Моравию, а посылать туда гонцов было неразумно. Да и Константин торопился, не мог ждать. Тут и вмешалась Феодора. Она встала на сторону Наума и добилась согласия хана. О чем говорили брат с сестрой, осталось для Философа тайной, однако перед отъездом из Брегалы во время обеда князь обратился к Науму с пожеланием учиться у мудреца, открыть свою душу для новых букв, сотворенных Философом Константином, чтобы принести пользу болгарам. Философ удивился этому поручению.

Прежде чем отправиться в путь, Константин окрестил в монастырской купели немало людей. За время пребывания в Брегале он ознакомил несколько послушников с новыми буквами. Юноши оказались смышлеными. В помощь им остался Иоанн, чей острый ум легко охватывал сложность великого начинания. И все-таки без него и Мефодия работа вряд ли пойдет как надо. Но пусть живет надежда,

что из искры разгорится костер, который согреет весь народ.

Надежду поддерживал и фанатичный блеск в глазах княжеской сестры.

...В часы досуга Константин часто приглашал Наума. Говорили о многом, но непременно о Брегале, дорогах в Плиску, о крещении болгарского народа. Наум был родом из верхних земель, за Хемом. Философ и его брат также не раз искали там свои корни. Когда братья были у хазарского кагана, Константин так ответил на вопрос о своем сане и звании: «Был у меня великий, прославленный дед, который сидел близко от царя. Но когда он отверг оказанную ему большую честь, его прогнали, и он ушел в чужую землю, обеднял, и там родился я. Я захотел достичь былой дедовской чести, но не смог... ибо внук Адамов есмь».

Слова об Адамовом внуке дали основание считать ответ остроумной шуткой, но Константин, в сущности, сказал правду. Его дед был князем одного из семи славянских племен, населявших Мизию. При хане Круме он был вынужден из-за своей веры покинуть ханский двор и поселиться вместе с семьей в Солуни. Тогда Лев, один из сыновей деда, взял меч и щит и отправился воевать за византийскую славу. Сарацины долго будут помнить удалого и дерзкого русого воина, который, не жалея жизни, вызывал их на поединок и всегда побеждал. Благодаря храбрости Лев снискал доверие и уважение логофета Феоктиста. В неписаной семейной хронике рассказывалось о подвиге отца, спасшего жизнь логофета в кровавой битве под стенами какой-то крепости. Константин любил расспрашивать отца о тех временах, но Лев был замкнутым человеком и, несмотря на свою ратную славу, не любил рассказывать о человеческих страданиях. А к занятиям младшего сына, Константина, относился с особой, нескрываемой радостью: наверное, видел в нем свою неосуществленную мечту... Любовь Константина к книгам не ускользнула также от взгляда логофета. Каждое посещение Феоктистом дома солунского друнгария было большим праздником. Жарились молодые барашки, пелись песни, дети показывали большому гостю все, что умели. И в этом не было раболепия, нет. Обоих мужчин с молодых лет связывала крепкая воинская дружба, и Феоктист всегда интересовался делами солунского друнгария.

Лишь раз отец почувствовал себя униженным. Константин никогда не забудет этого... В Пелопоннесе было восстание славян. Отец получил приказ выступить против бунтовщиков, но все медлил. Тогда прибыл Феоктист... Разговор был тайным, но мальчика не выгнали из комнаты: считали, что он вряд ли сможет понять его. В памяти остался только странно тонкий голос отца, повторявшего одни и те же слова: «Не могу! Как я пойду на своих?! Не могу!» И сердитый ответ логофета: «Ты должен забыть своих, ведь я головой поручился

за тебя императору. Ты понял?.. Ты должен пойти на них, если не хочешь, чтоб нас обоих уничтожили те, кто и так нас не любит».

И отец пошел... Константин так и не понял, сумел ли он подавить восстание, но с того дня какая-то пружина сломалась в его душе, и он долго жил, будто в нереальном мире, не замечая людей вокруг. Лишь мать осмеливалась перечить ему и разговаривать с ним. Она также была славянкой, дочерью князя Крестогория, замуж вышла с большим приданым, и это помогло новой семье материально укрепиться. От матери Философ унаследовал умение наблюдать, искать подход к людским сердцам, углубляться в себя. Если бы он пошел по стопам отца, может, и достиг бы большего в возвращении дедовской чести и славы, однако теперь его слава была на ином пути. И он отправился в путь-дорогу, чтобы вернуть честь славянскому роду, опираясь на силу всего лишь пригоршни букв.

Теплый прием, оказанный миссии в Великой Моравии, радовал Константина. Вместе с тем долгими ночами, бодрствуя в одиночестве, он часто, положив перо на пергамент, уходил вослед своим грустным мыслям. Эта страна была зажата меж воюющими силами, а плоды на меже выращивать трудно. Всегда найдутся руки, которые собьют их с дерева, или ноги, которые их растопчут. Совсем другое дело работать под сенью болгарских гор. Там и почва хорошая, и климат благоприятный. Да и сами семена познания предназначались именно для той земли. А здесь пришлось перерабатывать некоторые переводы, чтобы сделать их понятными всем. Разница вроде небольшая, но все-таки есть. Правда, хорошо помогают Климент и Горазд, особенно Горазд. Хотя ему нелегко давалось самостоятельное творчество, он прекрасно знал тонкости и оттенки здешней речи, правильно сопоставлял латынь и греческий с местным языком и безошибочно подсказывал точный перевод того или другого слова.

Константин часто поднимался по ступенькам в башню, где Климент устроил свое рабочее место. В последнее время он почему-то перестал писать иконы, хотя ему часто напоминали, что местным церквам необходимы святые образы. Константин решил при встрече пожурить его. Зайдя в мастерскую, он увидел, что Климента нет. В темном углу смутно проступали очертания какой-то иконы. Философ подумал, что его прежние напоминания все-таки пошли впрок, но, когда передвинул икону к свету, в одной из блудниц около Христа узнал Ирину. Сердце его больно сжалось. Видно, где-то глубоко в душе все еще горел тайный огонь. Константину было неприятно, что Климент поместил Ирину среди блудниц, и в то же время он почувствовал какое-то удовлетворение. Эти два чувства столкнулись, но верх взяло безразличие. Он поставил икону на прежнее место, походил по мастерской, осмотрел доски, приготовленные для рисования, заглянул в неоконченные рукописи, отодвинул деревянные тиски с

зажатой в них только что переплетенной книгой, и в его сознании как-то сам собой, медленно всплыл вопрос: почему Климент написал Ирину? Этот вопрос долго носился в воздухе, точно бабочка вокруг пламени, пока не упорхнул куда-то, уступив место другому: а почему он перестал писать иконы?

С некоторых пор Климент занялся облагораживанием диких деревьев. Целыми днями пропадал он в поле, возился там с черенками, обложенными землей и обернутыми мокрой тряпкой. Константин не понимал этого увлечения, но считал, что и оно пройдет, как проходит всякое увлечение. Почти все деревца в поле уже привиты, и Климента по-прежнему ждут горшки с красками и листы пергамента. Вот Савва не бросается от одного занятия к другому, все делает в хорошо обдуманной последовательности. Закончив занятия с учениками, он разжигал огонь, и вскоре молоток начинал выстукивать свою звонкую песенку по отбитой до блеска наковальне. Этот бодрый звук ласкал душу, и Философ с улыбкой осматривал все, что создавал Савва: узорные застежки для деревянных переплетов, серебряные лампадки, чернильницы в форме невиданных птиц. Все оживало под его короткими, толстыми пальцами. Пока Константин под звон наковальни до самого рассвета корпел над рукописями, Мефодий вел всю остальную работу. Службы в монастырях, весь церковный канон надо было переустроить по образцу константинопольской церкви. Немецкие священники сквозь пальцы смотрели на различные языческие верования. Зловредная ересь, будто под землей живут люди, продолжала беспрепятственно распространяться. Пост здесь приходился на другие дни, и это создавало дополнительные сложности. Местные священники, рукоположенные немцами, были невежественны: молитвы, которые они бормотали под нос на непонятной им латыни, они заучивали наизусть, не постигая их смысла, и не могли объяснить, что за молитва и почему читается по тому или другому случаю.

Новое духовенство, которому надлежало воспринять и продолжить дело братьев, должно было обладать умом, убежденностью, верой и тонким знанием Христова учения и священных догм. Недавно Мефодий и Ангеларий вернулись из Нитры, где находился подаренный им скит и земли. Братья создавали свое церковное хозяйство, они не хотели быть Ростиславу в тягость — у него и так достаточно забот. Чутьем практичного человека Мефодий улавливал в моравском князе некоторое разочарование. Он слегка охладел, узнав, что в миссии нет ни одного епископа. Константинополь послал ему ученых мужей, в чем князь не сомневался, но этого было мало. Ростислав нуждался в самостоятельной церкви. Мефодий впервые упрекнул себя за то, что в свое время не согласился принять епископский сан, который Фотий предложил ему после возвращения из Хазарии. Тогда он думал, что сан не пригодится, но теперь видел, как все

дело может сорваться только из-за этого. Знать Нитры весьма радушно встретила Мефодия, но в разговорах, в некоторых случайно услышанных словах сквозила тайная неприязнь к Ростиславу: не забылось убийство нитрийского князя Прибина. Эти чувства, к сожалению, разделял и Святополк, племянник Ростислава, назначенный им правителем Нитры. Судя по всему, он стремился понравиться знати, чтобы со временем выйти из подчинения Ростиславу. Существовало какое-то тайное несогласие, и это было не к добру. Мефодий держал нейтралитет, делая вид, что ничего не понимает в делах моравского княжества. Он считал более важным укрепить духовную общность моравов с помощью веры. О своих наблюдениях и тревогах Мефодий рассказал брату. Философ внимательно выслушал его и решил пока ничего не предпринимать. В этой стране они были чужими, и вмешательство в государственные дела грозило навлечь на них подозрения и ненависть.

8

— Я отдыхаю только с тобой, Анастаси...

— Я знаю, владыка.

— Почему ты так называешь меня, Анастаси?

— Потому что этот Фотий пугает меня.

— Какой?

— Этот, сановитый. Я люблю другого Фотия. Моего Фотия.

— Ты хочешь рассердить меня, Анастаси?

— Нет, владыка. Ты такой далекий, ты теперь больше принадлежишь всевышнему. А мне нужен земной, веселый Фотий.

— Я не могу быть веселым, Анастаси. Не могу... Но с тобой забываю о земных заботах. Не вынуждай меня вспоминать о них сейчас.

— Не буду, владыка.

Фотий подобрал полы темной одежды и собрался уйти. Анастаси встала, чтобы проводить его. Она выглядела совсем юной. Все в ней было изящно. Тонкие черты лица одухотворенно светились, будто неведомый ювелир долго работал над своей мечтой, чтоб оживить ее. Хрупкая ладошка потерялась в большой ладони мужчины, ножка в алой бархатной туфельке дрогнула. Поднявшись на цыпочки, Анастаси, закрыв глаза, поцеловала Фотия.

— Ты больше не хочешь смотреть на меня? — спросил патриарх.

— Нет,— вздохнула Анастаси.— Я закрываю глаза, чтобы не видеть патриарха, а видеть только любимого. Иначе мне следовало бы поцеловать не губы, а твою руку.

— Умница моя...

Фотий вышел на улицу, натянул капюшон, так что не стало видно лица, и крупными шагами пошел к крытой карете. Кучер не обернулся — карета чуть накренилась, заскрипела, он понял, что патриарх уселся, и взмахнул кнутом.

В патриаршем дворце было прохладно, и Фотий поспешил подняться на верхний этаж. В кабинете его ожидала постель. Он зажег свечу в подсвечнике, стоявшем на массивном резном столе, заваленном бумагами. До рассвета оставалось несколько часов, и надо было поспать. Анастаси слишком молода для него и, дай ей волю, держала бы его до утра... Фотий медленно разделся и лег. Усталость и сон сразу одолели его. Он проснулся от привычного шума шагов и скрипа дверей. Начинался день. Патриарх встал, быстро оделся, окунул пальцы в таз с водой и чуть коснулся ими лица и глаз. Не было смысла умываться: вот-вот должен был явиться его лекарь и парикмахер. Своими благовонными водами он восстановит свежесть лица.

А пока не надо терять драгоценного времени.

Фотий хлопнул в ладоши, и дверь бесшумно отворилась. Молодой синкелл подошел ближе и развернул желтоватый пергаментный свиток. Обычно патриарх начинал свой рабочий день шуткой, но теперь лишь кивнул головой и глухо сказал:

— Читай...

Служитель начал читать; известия были нерадостные. Гонцы привезли из Болгарии плохие новости. Бунт против князя и священников. Пешие и конные воины направляются в Плиску со всех сторон. По дороге они крушат строящиеся церкви, убивают духовных лиц и свирепо угрожают князю. «Если все эти люди одновременно обрушатся на болгарскую столицу, от нее не останется камня на камне: их тьма!» — так кончалось сообщение, посланное каким-то перепуганным братом во Христе.

— Еще что?

— Письмо из Моравии, святой владыка...

— Что пишут?

— Мефодий жалуется, что немецкие священники не дают миссии покоя. Объявили братьев еретиками.

— Оставь. Я его еще почитаю. А где же лекарь?

— Здесь, святой владыка, ждет у дверей.

— Пусть войдет...

Легкими шагами цирюльник переступил порог. Оставив сумку с приборами на столике, он по всем правилам ритуала прикоснулся губами к холодной руке патриарха. Обычно за этим следовало благословение, но сейчас Фотий лишь махнул рукой и повернулся вместе со стулом. Лекарь заглянул ему в глаза, проверил веки, подержал двумя пальцами кисть руки, шевеля губами, и приступил к бритью. Когда все было окончено и в воздухе разлилось знакомое благоуха-

ние, Фотий встал и, не дожидаясь выхода цирюльника, несколько раз глубоко, по привычке, вздохнул. Мысли пошли по тревожным следам сообщений из Болгарии.

Бунт... Какой бунт? Против кого? За что? Верно — языческие плевелы не легко устранять, но чтобы бунт?.. Нет, здесь что-то не так. Вероятно, священник просто поддался какой-то глупой панике. Патриарх собирался посетить кесаря, он давно не видел его. Однако прежде хотел узнать, о чем пишет Мефодий. Это было первое письмо из Моравии. Мефодий кратко сообщал о путешествии миссии и с явной неприязнью рассказывал о злобе служителей папы. Фотию не хватило терпения прочесть письмо до конца. Свернув его в трубочку, он положил письмо в полость патриаршего посоха и стал одеваться. Он любил приходить к Варде во всем великолепии. Ирина волновала его. В ней была какая-то притягательная плотская сила. И патриарх завидовал Варде, но признавался в этом лишь себе.

Фотий долго стоял у ворот кесарева дворца. Его, очевидно, не ждали. Да и прибыл он в необычное время, без предупреждения. Пока поднимался по лестнице, ему казалось, что из-за каждой двери за ним следят невидимые глаза; чувство тревоги проникло в душу, сделав его подозрительным и настороженным. Остановившись посреди приемной, он огляделся. Красочная мозаика на полу и на стенах, мебель из темного дерева, кадки с южными растениями с крупными яркими цветами впервые произвели на него впечатление. Патриарх обычно приходил сюда в спешке, углубленный в себя, так что не было времени восхищаться обстановкой. После посещения он уносил с собой слово, какое-либо Иринино слово, произнесенное глубоким голосом, жест или улыбку Ирины, подчеркнутую взглядом ее слегка выпуклых глаз. Он сидел в приемной и вслушивался в шум шагов, скрип дверей и приглушенные шепоты. Ему казалось, что в большом дворце кесаря творится что-то неладное. Слуги будто провалились сквозь землю. Фотий подошел к окну и посмотрел в сад. Там было по-утреннему свежо, дорожки подметены и посыпаны белым песком, развесистый орешник почти закрывал ворота, но Фотий сумел увидеть приоткрытую створку и лошадей у коновязи. Стало быть, к кесарю прибыл вестник.

Патриарх прогулялся по приемной, остановился у кадки с олеандром, понюхал его алые цветки и открыл посох. Письмо Мефодия уняло нетерпение. Мир бурлил, люди воевали за веру и против нее. Вот папа отлучил Фотия от церкви, предал анафеме, но разве он этим повредил ему? Нет. Ни добраться до него не может, ни призвать на свой суд — все равно что кидать камнями в солнце. Теперь папа обрушит весь гнев на византийскую миссию в Моравии. Именно

об этом пишет и Мефодий. Константин прибавил всего несколько слов уважения, обо всем остальном сообщал старший брат. Он слыл человеком практического склада мышления, умел нащупывать нити взаимоотношений меж людьми, предвидеть ходы большой политики. Ростислав воевал с немцами и просил о помощи. Впрочем, письмо задержалось в пути — вероятно, гонцу пришлось колесить. В Константинополе уже знали о войне моравского князя. Знали, что он проиграл ее, несмотря на то, что храбро защищался в крепости Девин. В помощи уже не было надобности. Фотию известно было даже, что Ростислав признал верховенство Людовика Немецкого. Того единственного, чего патриарх не знал, не было и в письме: какова будет судьба миссии и братьев? В сущности, он не столько волновался за судьбу братьев, сколько за судьбу своих планов. Боялся, что папа восторжествует с помощью немецких священников и растопчет мечту Фотия о победе в Моравии. Не хватало еще бунта в Болгарии... Все, что патриарх завоевал с таким трудом, теперь рушилось, рушилось повсюду. Фотий был упорным человеком, редко впадал в отчаяние, но на эти известия нельзя было махнуть рукой и забыть о них. Гибли плоды его труда. Пожалуй, в Моравии дела не столь страшны, на этой кровавой меже победы чередовались с поражениями, но если выпустить из рук Болгарию — надо оставить патриарший престол, ибо вся его борьба теряет смысл.

Шаги Ирины прервали его думы. Она была весьма смущенной и, поцеловав руку патриарха и получив благословение, попросила извинить Варду: его задерживают какие-то неожиданные неприятности. Она не сказала, какие именно, но, судя по долгому отсутствию кесаря, неприятности были немалые.

Ирина пригласила гостя сесть в широкое кресло и, опустив ресницы, села напротив. Впервые сидя наедине с нею, Фотий мысленно сравнивал ее с Анастаси. В Ирине не было ничего детского — женщина рвалась из-под златотканых одежд; шея, белая и мягкая, излучала порочную чувственность, Ирина была словно пропитана ею — вся, от высокой прически до скрытой платьем, но явственно очерченной ноги. В присутствии Ирины Фотий забыл о своих высоких заботах. Без сомнения, древние эллины недаром обессмертили в скульптуре формы женского тела, недаром воплотили их в образах божественных Венер. Тогда почему он должен лишаться того, что дается человеку самим господом и отнимается на склоне лет? Ведь он не вечен. Если бы бог считал плотские желания ненужными, не стал бы он вселять их в душу человека, которого сотворил. Правда, тут вмешался и дьявол, открыв глаза Адама для познания, но разве тот, кто целыми днями без дела прогуливается по райскому саду, не увидит сам запретного плода?

В присутствии Ирины Фотий, забыв про свой сан, вернулся в те

годы, когда насмехался над церковными догмами, когда с уважением и удивлением углублялся в мир древних философов. Длинные опущенные ресницы Ирины скрывали ее глаза, но патриарх чувствовал, что она каждой клеточкой своего тела ощущает его желание. Это открытие смутило его, он заерзал в кресле.

— Если светлейший кесарь не имеет возможности принять меня, я мог бы прийти в другой раз,— сказал он и хотел было встать.

Ирина только подняла ресницы и взглядом заставила его замолчать. В ее глазах были усталость и безграничная печаль. Будто не расслышав вопроса, она вздохнула и неуверенно спросила:

— А... как там ваши светила, владыка?

— Кто?

— Братья... Кого вы послали завладеть Моравией...

— Воюют, светлейшая.

— Воюют,— повторила Ирина, и в голосе ее послышалась такая тоска, что патриарху стало неудобно смотреть на нее.

Трудно понять душу этой женщины. Когда-то она говорила о братьях со злобой, а теперь будто сожалела, что они воюют и что их жизнь, как и на всякой войне, подвергается опасности.

Пока он соображал, как продолжить разговор, дверь открылась, и вошел Варда. Ирина воспользовалась его приходом и ушла, вновь поцеловав патриарху руку, и Фотий содрогнулся от жара этих губ, которые только что так печально промолвили «воюют».

Варда извинился, мол, заставил патриарха святой церкви ждать, сказал, что причины были весьма важны. Фотий понял: кесарь тоже знает о бунте в Болгарии, и это всерьез обеспокоило его. Надежда, что неизвестный священник от страха сгустил в своем сообщении краски, умерла. Фотий вновь присел в кресло и растерянно опустил руки на колени. Варда был угрюм, неспокоен, даже сердит. Он сердился и на Бориса, и на божьих служителей, неспособных вести борьбу за души язычников. Слетелись туда, как мухи на мед, и довели дело до бунта. Если болгарский князь не сумеет справиться с бунтарями, придется опять снимать византийские войска с сарацинской границы. Тридцатилетний договор с Болгарией успокоил Константинополь, и всю армию отправили воевать против арабов. В близлежащих крепостях остались лишь незначительные части, годившиеся разве только для обороны. Заварил Василий кашу — пусть теперь сам ее и расхлебывает. Василевс позвал Варду, чтоб сообщить ему новости, и кесарь очень удивился: гонец не ему первому доложил известия, а непосредственно императору. Значит, Василий хочет отстранить кесаря и от этих дел. Настойчивость, с которой бывший конюх копал ему яму, серьезно пугала Варду. Во-первых, он отнял у него командование императорской гвардией; во-вторых, помешал связаться с войсками, когда они находились близ Константинополя;

в-третьих, отнял право первым получать секретные сведения и командовать соглядатаями и гонцами. В-четвертых, один бог ведает, что ему еще придет в голову, чтобы очернить Варду и, может быть, лишить его жизни. Варда посмотрел на патриарха, глубоко вздохнул и несколько фальшиво и напыщенно сказал:

— Ну, святой владыка, пора нам действовать!

9

Ростислав возвращался от крепости Девин во главе войска, растревоженный поражением, недовольный собой. Он унизился перед Людовиком Немецким: должен был поцеловать меч и крест и поклясться ему в верности. Властелин Великой Моравии никогда еще не был так опозорен. Нет, не надо было заключать союз с немецкими маркграфами. Ведь в прошлом году Карломан ничем не помог ему. В сущности, и Ростислав не оказал ему помощи, оставив воевать с отцом один на один. Король тогда сокрушил сына, взял в плен и посадил под домашний арест. Но это их домашняя распря, и напрасно Ростислав впутался в нее. В те дни Людовик Немецкий не посмел напасть на него. Напали только болгары; однако теперь дело приняло иной оборот. Видно, Людовик основательно подготовил свой поход. Король вторгся в земли Ростислава с многочисленным конным и пешим войском, и он, Ростислав, не выдержал. Хорошо хоть, что заперся в неприступной крепости Девин, иначе вряд ли остался бы в живых...

Властелин Моравии дернул поводья, обернулся и оглядел запыленную колонну уцелевших воинов. Она ползла по дороге, не соблюдая порядка, без песен, в мрачном, как и он сам, молчании. Все ранее завоеванное надо будет исподтишка добывать снова. Выгнанные немецкие священники вернутся, а там, смотришь, пошлют к нему во дворец какого-нибудь «советника», чтоб и в собственном доме не было спокойствия. Неизвестно, удастся ли ему теперь добиться самостоятельной церкви. Труд братьев пойдет прахом, если Ростислав откажет им в покровительстве. Немалую работу совершили они в его землях, несмотря на то, что никто из них не имел епископского сана. Напрасно стал он с недоверием относиться к их делу. Ведь живое слово братьев помогало сплочению народа и тем более будет нужно теперь. Раз немцы сразу заговорили против них, значит, они — кость в горле зальцбургского архиепископа. Нет, не бывать тому, чтобы он, властелин Моравии, бросил их в эти тяжелые времена. Лишь бы хватило сил отстаивать и ныне, в положении немецкого вассала, народные интересы. Ростислав покачивался в седле, и взгляд его невольно останавливался то на лесистых холмах вдоль дороги, то на крышах домов, рассыпанных по долинам. Мир продолжал жить. Жили птицы,

звери, все, что населяло землю, не обращая внимания на княжеское поражение и княжеские тревоги. И чем глубже задумывался Ростислав, тем яснее понимал, что страхи и тревоги преходящи, как сам человек. Разве до него мало людей прошло той же дорогой, по той же земле, и ветер разметал их мысли, а дожди промыли их кости до перламутровой белизны. Коротка жизнь человека. Словно в подтверждение раздумий из близкого оврага поднялся ворон. Князь усталым взглядом проследил за жирной черной птицей. Сев на ветку, она окровавленным клювом принялась чистить перья. Наверное, в овраге лежала падаль или убитый человек — все равно что: жертва стала кормом ворона, жизнь которого, как говорят старые люди, продолжается целых пять человеческих жизней. Где же справедливость? Ростислав остановил коня, поднял тяжелый лук и прицелился в птицу. Почуяв неладное, ворон взмахнул крыльями и улетел, зловеще и сипло каркая. Князь опустил лук и пришпорил коня. За ним взвилось облако белой пыли и скрыло от него войско.

Велеград, Микулчице и окольные крепости защитили себя от немцев. Все, что вне крепостных стен, было сожжено и разрушено до основания. Люди бродили среди пожарищ, ища остатки посуды, недогоревшую мебель, разбросанную утварь. Жестокая война уничтожила труд многих поколений и подорвала добрые намерения Ростислава. Скольких хлопот и забот стоило собрать воедино и сохранить моравское государство. Его отец, Моймир, начинал с нуля. Немало бессонных ночей потребовалось ему, чтобы объехать князей и владельцев замков и уговорить их объединиться, если они не хотят больше быть рабами и вассалами франков. Тогда воспротивился только Прибин, нитранский князь. В сущности, он не имел ничего общего с большей частью людей, населяющих его земли. Когда-то, поссорившись с болгарским ханом, он покинул его страну с небольшой ордой болгар, сумел договориться с франками, и они дали ему во владение Нитру. Крепость была сильной. Прибин еще больше укрепил ее, расширил, построил вторую крепостную стену — словом, сделал неприступной. И возгордился. Моймир не раз посылал к нему послов, но тщетно, и наконец решил прибегнуть к силе. Он победил Прибина и выгнал из собственных владений. Долго скитался тот — то у франков был, то у хорватов и болгар, потом опять у франков,— пока они не смилостивились и не позволили ему править Блатненским княжеством. И опять засновали посланцы меж князьями-соседями. Закрутилось колесо тайных переговоров, как вдруг, ко всеобщему удивлению, Моймир вернул Прибину нитранские земли. Но лучше бы он их не возвращал! Прибин начал клеветать на князя, и франки сделали все возможное, чтобы свергнуть Моймира. Надо было спасать

свои владения, и он уступил их сыну, Ростиславу. Сын унаследовал мечту отца создать сильное государство, которое могло бы противостоять Людовику Немецкому, и потому первым делом решил отомстить Прибину. В кратком сражении под Нитрой самонадеянный князь пал от стрелы Ростислава. Сын Прибина, Коцел, спасся бегством к немцам. Они дали ему Блатненское княжество: оно стало разменной монетой, выплачивавшейся немцами за верную службу. Молодой князь обосновался в Мосбурге, укрепил город, но не перестал зариться на бывшие владения отца, где теперь правил племянник Ростислава, Святополк. Племянник храбро дрался в том сражении, и дядя остался им доволен. Многие приближенные моравского князя возражали против возвышения Святополка, указывая на его спесивость и на то, что он-де готовит заговор, чтобы сбросить опеку, но в его поведении Ростислав пока не видел ничего подозрительного. Ведь Святополк хорошо защищал Нитру и, надо думать, останется преданным и сговорчивым.

Крепостной ров вокруг Велеграда был местами засыпан. Коегде в стенах виднелись пробоины, но население, поднявшееся на защиту города, сумело его отстоять. Ростислав остановился у городских ворот. Тридцать приближенных бояр из свиты затрубили в рога, и их звуки оживили тишину. Залязгали цепи, и тяжелый деревянный мост стал медленно опускаться.

Первым на него въехал князь. Копыта коня зацокали по толстому, окованному железом дереву, и снова раздался дружный призыв рогов. С внутренней стороны выстроились защитники города. Впереди стояли Константин и Мефодий с учениками. Рыжая борода Горазда светилась медным отливом в лучах заходящего солнца.

Подняв руку, Константин троекратно перекрестил Ростислава. Ученики запели какую-то церковную песню, умилившую князя. Нет, еще не все потеряно! Вот люди чтут его, духовенство — собственное! — восхваляет. Чего еще можно желать? Он побежден, но он придет в себя, соберется с силами и отплатит врагу. Нельзя складывать оружие. Все на этой земле преходяще, и сила немцев тоже. Колесо жизни вертится, говорил когда-то отец, и те, кто внизу, завтра могут оказаться наверху — кто знает? Князь выпрямился, дернул поводья; усталый конь встал на дыбы и громко заржал.

Народу не нужен унылый властелин. Его должны видеть дерзким и непокорным. Унылый властелин ведет за собой унылых воинов, но он, Ростислав, не позволит считать себя растоптанным и покоренным. Во дворе замка все было по-старому. Из голубятен доносилось воркованье, пестрокрылые голуби стаями взмывали в небо и со свистом садились на крышу. Князь торопился в замок повидаться с семьей. Его жена болела, и в Девине он сам ухаживал за ней. Она была молчаливой, строгой женщиной, привыкшей повиноваться судь-

бе и мужу. Иногда, ощущая ее строгость, он спрашивал себя: любит ли она его? Эти мысли приходили редко, а теперь князю и вовсе было не до них. Когда он был помоложе, женщины будоражили его кровь, позднее тревоги о судьбе княжества заменили эти волнения, но в минуты хорошего настроения Ростислав вспоминал старые обычаи. Его предки, его отец жили не с одной женой, и никто их за это не попрекал. Теперь последователи Христа боролись против многоженства. Чем оно мешает им? Лишь бы ты был в состоянии прокормить и одеть несколько жен. Ростислав до сих пор помнит разговор отца с каким-то священником, который разгневался на боярина, имевшего несколько жен. Священник хотел отлучить его от церкви, но Моймир вступился: «И что из того, что у него много жен — и в доме, и вне дома? Женщина как река: перешел, обернулся, следов нет. Зачем тогда карать человека? Ведь все на свете — от бога...» Эти рассуждения глубоко запали в сознание Ростислава. У его народа были старые обычаи. Если девушка до свадьбы не понравилась хоть одному мужчине, парни чурались ее, считали некрасивой и неинтересной.

Теперь церковь подняла голос против этих обычаев. Священники придумали новое слово и били им, как камнем. Каждого позволившего себе небольшую вольность обзывали развратником, налагали на него долгий пост, предавали анафеме. Но что плохого, если увеличивается численность народа? Ростислав собирался потолковать об этом с братьями, да все было недосуг. С сегодняшнего дня надо быть хитрее. До сих пор Ростислав надеялся на оружие, но, увидев, что оно мало помогло, решил чаще пускать в ход оружие мысли. Оно рассекло немало узлов.

По уму нет равных византийским мудрецам. Если предоставить им и их делу полную свободу, все окрестные славянские народы объединятся под эгидой нового епископата. Тогда не он один, а вся славянская общность будет поддерживать братьев, раздражая немцев и папу... Ростислав поднялся по лестнице, оглядел прохладную приемную, пересек ее и исчез в соседнем коридоре. Опочивальня находилась на верхнем этаже. Жена настолько ослабела, что не вставала с постели. Еще до начала войны она запретила мужу посещать ее, так как не хотела, чтоб он видел ее некрасивой и изможденной. Вид княгини смутил его: волосы поседели, щеки впали, а тело вообще нельзя было различить под мягкой пуховой периной. Виноватая улыбка жены сбила князя с толку. Он остановился на пороге и не посмел приблизиться к ней.

— Подойди,— еле слышно обронили ее губы.

Он шагнул, оперся на меч, как на пастушеский посох.

— Испугался? — спросила княгиня.

Прежде чем ответить, он мучительно проглотил слюну. Хотел успокоить ее, рассеять, но она отмахнулась — молчи, дескать.

— У меня к тебе просьба...

— Какая?

— Вели позвать Деяна.

— Деяна? Кто такой?

— Целитель. Из окружения братьев.

— Ладно, позову,— сказал Ростислав и неумело погладил ее руку.

— Говорят, он и мертвых воскрешал. Ты слышал о нем?

— Да.

Имя Деяна было совершенно незнакомо князю, но он не мог лишить жену последней надежды. Пусть и этот врачеватель попытается ее вылечить. Сегодня же прикажет позвать его. А вдруг вылечит...

На дворе светило солнце. Кипела жизнь. Ростислав неожиданно упрекнул себя за прежние мысли о женщинах. Ему казалось, именно этими рассуждениями он накликал болезнь на ту, которую любил. Ее молчаливая любовь никогда не мешала, не досаждала ему. Жена ни разу ни в чем его не укорила. Он знал ее больше как женщину, но как человека понял только сейчас. И она надеялась. Поможет ли этот Деян?.. Сомнения князя усилились, когда он увидел самого целителя. В ветхой суме за его плечами, должно быть, лежало чудотворное лекарство. Сухая фигура с жиденькой бородкой, изъеденной временем, не внушала доверия. Если он и в самом деле умеет лечить, почему сперва не подлатает себя? Ростиславу нравились крепкие, здоровые мужчины, которым ничего не стоит выпить ведро вина и в один присест умять жареного барашка. А этот?.. И все же он велел отвести Деяна к жене.

Так жизнь снова вошла в прежнюю колею, если не считать молчаливого возвращения некоторых франкских священников. Мало кто из них имел высокий сан. Они появлялись в Велеграде один за другим, внезапно, как тот черный ворон, и ничего не требовали. Стремились занять свои прежние обиталища, но, если видели, что это им не удастся сделать, бесшумно отходили в тень в ожидании лучших дней. Будучи неуверенными в своей силе и в искренности моравского князя, они старались не попадаться ему на глаза, но не упускали случая очернить Константина и Мефодия, называя братьев и их учеников носителями зла и неправды.

Для немцев братья были еретиками, так как рискнули нарушить святую догму триязычия. Если б не покровительство моравского князя, они не задумываясь послали бы Константина и Мефодия на костер. Но к Ростиславу мало-помалу возвращалось прежнее самочувствие. После того как Карломана посадили под домашний арест, недовольные королевской властью поднялись по всей стране, маркграфы не хотели мириться с тем, что у них отняли достоинство и земли.

Они объединялись, организовывались и готовили заговоры против Людовика Немецкого.

Их взгляды вновь с надеждой обратились к Ростиславу; они предлагали заключить союз, обещая уступки и новые земли моравскому князю. Он не спешил давать согласие, ибо однажды уже обжегся. Маркграфы не внушали ему доверия, казалось, кое-кто из них пытается проверить его преданность императору.

Уйдя с головой в обдумывание всевозможных планов, Ростислав не забывал и о здоровье жены. Она вновь запретила пускать его к себе, ее посещал лишь тот старик с жиденькой бородкой и ветхой сумой. Князь часто встречал его на каменной лестнице замка, но не было времени обменяться хоть парой слов. Тревожное лето уже покатилось под гору, словно сорванное ветром яблоко, когда дверь столовой открылась и на пороге показалась улыбающаяся, изменившаяся до неузнаваемости супруга. Желанное чудо произошло! Старик столь искусно свершил свое дело, что Ростиславу просто не верилось. Не будь он свидетелем, никогда бы не поверил, что существует человеческая сила, способная воскрешать из мертвых.

Обрадованный и изумленный, князь встал и пошел навстречу жене.

10

Бунтовщики приближались к стольному городу.

Борис приказал запереть крепостные ворота и позвать к себе старейшин ста родов, которые, согласно древней традиции, должны были находиться вокруг правителя. В тронный зал явились всего сорок восемь, остальные пятьдесят два присоединились к мятежникам. Кавхан Петр посчитал дважды, но от этого их больше не стало. Среди них не было ни одного «чистого». Потрясенный, князь постиг истину: нет, он не был ханом и князем болгар. Болгары бросили его. С ним остались лишь те, кто понял ограниченность древних законов государства. Борис закусил губы и сжал дрожащие от гнева кулаки. Верные боилы, багаины, тарканы и боритарканы молча стояли в зале; каждый, смущенный жестокой правдой, углубился в свои мысли.

— Спасибо вам за верность! — Князь сказал эти слова срывающимся от волнения голосом. Все видели, как заходили у него желваки. Затем князь высоко поднял меч, рукоятью вверх, отчего он стал похож на крест.— Завтра вечером мы пойдем против невежества и глупости, чтобы защитить наш новый закон. Горе тому, кто встанет на нашем пути! Готовьтесь... заплатить за добро добром, за зло — злом!

Призвав каждого вооружить своих людей и разместить их в намеченных местах вдоль рва и на стенах, кавхан Петр закрыл Великий Совет.

Дозорные часто сообщали новости о передвижении мятежников. Мужчины из пятидесяти двух родов возглавили их, чтобы повести на стольный город. Кони поднимали вдали клубы пыли, щиты и копья поблескивали в косых солнечных лучах. Мятежников было много. Они шагали вразброд, лес копий, мечей и вил создавал впечатление, будто люди идут на косьбу. Никто не подозревал о ловушке. Осмелев от того, что их так много, они двигались, словно стадо, готовое снести любую преграду. Вожаки еле сдерживали их, упрашивая подождать воинов из дальних областей, привыкших к боевому порядку. Борис вместе с кавханом поднялся на крепостную стену. Все поле со стороны Шумена было черно от людей. Хану стало не по себе. Неужели это те, кого он с таким трудом спас от голодной смерти?! Те, ради кого он навлек на себя ненависть знати, разрешив им охотиться на ее землях и в ее лесах?.. Древнее знамя — победоносный конский хвост — развевалось вдали над этим людским морем, и неистовые крики о возмездии Тангры летели к небесам. Жрецы шли в первых рядах; высоко поднималось пламя жертвенного огня, и визг жертвенной собаки достигал ушей князя.

День был на исходе. Лучи закатного солнца окрашивали головы людей и копья в багровый цвет, и столпотворение внизу выглядело кровавым и страшным.

— Это божье знамение...

— Что, светлейший княже? — спросил кавхан.

— Все это, внизу...

Князь повернулся и по старой привычке три раза сплюнул. Оба углубились в свои мысли, а они были нерадостными. Кавхан думал о своем жизненном пути. Разве плохо жилось ему в Старом Онголе? Его отец, глава рода Иоаин Иртхитуин, сызмала обучил сына добывать кусок хлеба мечом и храбростью. А у молодца и голова была толковой, так по крайней мере считали его близкие. Сколько раз доходило до пограничных стычек с кочевыми племенами, и всегда он умел угомонить их то словом, то взяткой. Не хотелось проливать кровь своих людей. Надо было беречь их для будущего решительного сражения, когда все силы понадобятся в борьбе с венграми или воинствующими племенами, привыкшими грабить и опустошать соседние земли. Вообще там, на передней линии, было хорошо. А теперь, став кавханом, он замарает свой меч кровью знатных болгарских родов. В сущности, он сам остался прежним или стал другим? Имя у него не болгарское, никто не называет его Огланом, кроме первой жены, всем больше нравится Петр, да и сам кавхан быстро привык к новому имени. Кем был тот Петр, апостол, он узнал всего несколько дней назад от княжеской сестры, Феодоры. Значит, Петр — краеугольный камень римской церкви, а он, кавхан,— болгарской? Ведь он ничего не знает ни о религии, ни о боге, которому служит... Впрочем, надо

ли знать? Теперь он должен спасать столицу от простолюдинов и рабов, от тех, кто не желает добра своему князю. Ведь если они ворвутся сюда, то не простят его, что бы он им ни говорил, просто потому, что он — брат ханской жены. Не пощадят, растопчут его даже те, кого он спас от голодной смерти, добившись того каравана с хлебом. Возможно, они потом и пожалеют, в мире ведь так водится — сожаление наступает после содеянного зла. Петр тоже жалеет о том, что согласился стать кавханом именно в это тяжелое для государства время, но назад нет возврата. И нечего больше об этом раздумывать.

С гор спустился легкий вечерний ветерок, из-за далеких хребтов выползли черные тучи, заходящее солнце окунуло в них лучи раз, другой, и вот уже погасли красный и оранжевый огни, поглощенные, задушенные тучами, а они двинулись дальше и овладели всем пространством между горами и небесным куполом. Чтобы прогнать наступающий мрак, мятежники разожгли костры, где-то запищала волынка, вокруг костров пошли пляски, дикое веселье взбудоражило землю. Огненная стрела взвилась в небо и, очертив дугу, упала в толпу. Только пьяные могли зря растрачивать стрелы, которые одна за другой взлетали в небо, описывая высокие огненные дуги, и Борису вдруг показалось, что вернулись мартовские праздники его детских дней, когда ребятня, гремя пустыми деревянными горшками, прогоняла змей и ящериц, собирала в кучи мусор и разжигала большие костры, через которые все прыгали, веря, что это к здоровью. А на рассвете в небо взмывали огненные стрелы. Парни метали их во дворы будущих жен. Девушки прятались за плетнями, стараясь разглядеть сквозь щели обладателей стрел. Борис не знал, что станет теперь с этими дедовскими праздниками. Спроси он у сестры, может, и получил бы ответ, но, правду сказать, сейчас ему было не до праздников. Костры в поле полыхали, карабкались по холмам и исчезали во мраке, как падающие звезды. Лишь бы войска в крепостях не спутали сигнальный огонь с каким-нибудь большим костром! Борис и Ирдиш-Илия вроде предусмотрели все, но мало ли что бывает. Они зажгут сигнальный огонь, когда утихнут бесовские крики и опьяневшие, усталые мятежники свалятся у костров. Именно тогда княжеский огонь запылает в небе, и горе, о горе им... В этих последних мыслях крылась злость, и Борис испугался самого себя. Ведь он старался владеть собой в самые тяжкие мгновения, стремился не поддаваться чувствам. Так поклялся он давно, после первого урока, когда было задето его честолюбие властелина. С высокой стены князь осматривал темное поле, ров и табуны, спрятанные за рвом, чтобы они не попали в руки мятежников. Лежащие около коней коровы вдруг привлекли его внимание.

— Отправь кого-нибудь к Феодоре. Пусть приготовят свечи.

Много свечей. Взять из часовни и другие — она знает. Мы тоже пошлем им стрелы, они запомнят их.

Принесли свечи, и Борис велел прикрепить их к коровьим рогам. Когда зажжется сигнальный огонь, надо будет зажечь и эти свечи и пустить коров в поле, в стан спящих бунтовщиков.

Все сделали так, как было велено, и все произошло так, как предусматривали. Они разбили мятежников, взяли в плен множество простолюдинов и рабов, только знатных почти не брали в плен. Собрали бедноту на месте табунов, между рвом и крепостной стеной, под стражей верных князю воинов. В поле валялись трупы. У жестокости свои законы, и Борис не сумел одолеть жажду мести. Он приказал уничтожить все пятьдесят два рода вместе с женщинами и детьми. Вздрогнул стольный город, ибо милости не было ни для кого. Женщины выли, дети плакали на руках у матерей; мужчины пошли на смерть с тупым смирением на лицах. Они ведь поднялись спасти Тангру, а Тангра отвернулся от них. Всех повели куда-то по дороге в Овеч, где были приготовлены общие могилы — в старых кирпичных мастерских. И несмотря на то, что обреченные знали, куда идут, они все еще не верили в свою гибель. Лишь после того, как первые головы покатились с плеч под топором палачей, все осознали жесточайшую правду. Новый бог требовал жертв. Тангра звал своих верных к себе. И только перед смертью постигли они, что, когда спорят боги, от этого страдают люди. Увы, было поздно. Осужденные унесли с собой в небытие непокорство народа, от которого останется только имя — болгары. В полдень, когда все пятьдесят две знатные семьи были зарублены, к яме привели простолюдинов и рабов, чтобы они собственными глазами увидели княжеское наказание. Картина была страшной. Все молчали, словно пораженные громом. И в этот момент было сообщено решение Бориса: они прощены. Им прощалась дерзость, ибо они подняли руку на князя не по своей воле.

Не было милости для жрецов. Они остались в яме вместе с семьями знатных. Только верховный жрец куда-то исчез. Люди ясно поняли, что отныне будут повиноваться новому богу, а с ним шутки плохи.

Молва о жестокости князя обошла всю болгарскую землю, внушая страх и укрепляя новую веру. Теперь люди безропотно строили церкви, проклятий не было слышно. Они шли в новые святилища, как на посиделки: повидаться, поболтать о том о сем. В церковных дворах стали устраивать смотрины. Проповеди византийских священников проходили мимо ушей, не затрагивая сознания. Мало кто понимал их язык. Зато святые образы приковывали внимание людей, побуждали искать знакомые черты. Все питали глубокое уважение к богоматери с младенцем на руках. Материнство — это было так понятно женщи-

нам. Инсус же, которого писали с огромными, недетскими глазами, напоминал им ребенка, больного лихорадкой. Его жалели и ставили перед ним самые большие свечи. Несмотря на запреты, простолюдины и рабы с трудом отказывались от древних обычаев. Мишоров день, песни понедельник, день стад и огня, праздник земли почему-то не умирали, продолжали жить и под крестным знаком. Свадебные шествия с грустными припевами, кони, украшенные дарами, телеги, полные приданого, без устали неслись по деревенским дорогам. В гуще веселья священник возникал всего лишь раз, дальше все шло по-старому. Пыталась утвердиться какая-то новая, неизвестная религия, смесь добра и зла... Сам князь не понимал, что следует оставить и что запретить. Феодора могла дать совет только насчет богослужений. Тогда Борис решил написать письмо патриарху Фотию. Он сделал это не столько ради ясности, сколько потому, что решил быть твердым с патриархом. Хватит его священникам трясти рясами на болгарских землях. Князь жестоко наказал бунтовщиков, пожелавших вернуть старое, но новое так и осталось непонятным для людей, и совсем не по их вине... Виноваты чужой язык и чужие священники. Борис хотел иметь болгарскую церковь, со своим главой. Ради бога, пусть Византия считает его духовным сыном, но это не должно мешать устроению церковных дел на собственной земле. В заключенном мирном договоре ничего на этот счет не говорилось, речь там шла только о принятии христианства от Константинополя. Это развязывало князю руки. И он не поколебался потребовать, что ему полагалось,— своего главу церкви.

Мысли его разделяла и Феодора... Прежде чем послать письмо Фотию, Борис посоветовался с кавханом и тестем Иоанном Иртхитунном. Позвали и Алексея Хонула. Верный старой ненависти к соотечественникам, тот горячо убеждал князя, что самый правильный путь — иметь самостоятельную церковь. Пусть Фотий откажет — посмотрим, как он это сделает. Алексей Хонул следил за спором между Константинополем и Римом, знал, что в случае отказа патриарху пришлось бы опровергнуть свое утверждение, что каждая церковь вправе быть независимой.

После жестокой расправы с бунтовщиками князь замкнулся, стал суровым, нервным и мнительным. Появилась бессонница. Целыми ночами сидел он в небольшой часовне, молясь и бодрствуя. Совесть искала прощения у бога, к ногам которого он положил столько жертв. Борис похудел, высох, лицо потемнело и осунулось, светились одни глаза, ставшие большими и круглыми. Приближенные избегали его. После двухнедельных молитв он вдруг созвал Великий совет и без лишних слов велел заменить убитых боилов славянскими князьями, которых собрал со всей болгарской земли. Согласно старому обычаю, им с семьями надлежало переехать в столицу или поселиться вблизи

от нее. Борис разместил большинство из них в строящемся Преславе, остальных — в Плиске. С этого дня он начал величать себя великим князем, в отличие от подчиненных ему князей. Все теперь были равны перед законами государства. Не было больше двух истин, одна — для болгарина, другая — для славянина.

Этот шаг вернул ему уважение людей.

Если он задумал действовать решительно, нельзя медлить, пока не появились новые «чисто» болгарские роды. Князь намеревался быть одинаково твердым и со своими, и с чужими. Так он будет вести себя и с патриархом. Если Фотий попытается оспорить его право на самостоятельную церковь, Борис обратится к Риму. Ведь Людовик Немецкий давно обещает заступничество перед папой.

11

Два воробья вили гнездо под крышей дома напротив. Взъерошенные, неспокойные, они будто потемнели от недавнего тумана. Один, поменьше, все ласкался, искал клювиком клюв другого. Папе казалось, что они разговаривают о своем будущем семейном гнездышке. Небо над ними было чистым и синим, белесые облачка пронеслись, точно стая голубей, и исчезли, словно боялись замутить божью лазурь. Николай утонул взглядом в бездонной синеве. Она манила безграничностью; ему казалось, что он сам становится бесплотным и легким, бесконечно далеким от земных дел. Такое случилось с папой впервые. Он твердо ступал по земле, всегда с кем-нибудь воевал, а теперь вот искал в ясном небе покоя и безмятежности. Папа удивлялся самому себе. Вероятно, все это было результатом достойно исполненного долга, торжества победы... Император Людовик II уехал из Вечного города, не оставшись даже на пасху. Он отказался получить у папы отпущение грехов в среду, перед началом великого предпасхального поста. Император отправился к врагу папы, Иоанну Равеннскому. Ничего, пусть зализывают раны, как побитые псы. Это грубое сравнение, характерное для папы, внесло некоторый диссонанс в кроткую картину и в возвышенное состояние, царившее в душе божьего наместника. Сноп солнечных лучей падал через боковое окно и освещал его усталую жилистую руку. Он всмотрелся в нее, словно видел в первый раз. Она была будто выкована из золота, с синими дорогами жизни, по которым течет божье вино, вдохновляя его на борьбу. Эта золотая рука умилила Николая. Всевышний шлет ему знак, что он верно служит ему. Откинув голову на спинку высокого стула, папа уснул. Сон был кратким и безмятежным, как у ребенка. Папа проснулся, когда один из воробьев спорхнул со спинки второго, поправляя растрепанные перышки. Николай поколебался — улыбнуться или

сделать недовольный вид, но, верный себе, отвел взгляд в сторону: продолжение жизни дано всевышним, поэтому нет причин возмущаться природой. Он не хотел нарушать странного ленивого покоя, но нельзя было отречься и от своего девиза: ни дня без дела,— а посему ударил ладонью о подлокотник кресла, вслушался и повторил удар. Не глядя на появившегося поставеника, сказал:

— Брата Себастьяна!

Губы брата Себастьяна прикоснулись к золотой руке Николая. «Подозревает ли, какую он руку целует?» — вдруг подумал папа и сказал:

— Садись...

Себастьян сел, положив руки меж колен и устремив преданный взгляд на светлейшего отца. В этом взгляде было столько чистоты и верности, что сам папа удивился. Сегодняшний день вообще стал днем удивлений. Мир открывался ему иным, укрощенным и безмятежным, да и он сам будто вновь открыл себя — кроткого и склонного к блаженным грезам. Даже этот человек перед ним показался папе безгрешным и чистым, точно непорочный ангел господень. В сущности, Себастьян и вправду был таким, ибо ему были отпущены все грехи. Николай лично дарует ему отпущение в среду, накануне великого поста, потому что он хорошо служит.

— Уехали?

— Уехали, святой владыка.

— Те тоже?

— Те раньше, святой владыка.

— А люди?

— Ликуют, святой владыка.

— С полным правом... Мы совершили большое дело.

Папа уже хотел отпустить Себастьяна, но посчитал, что день был бы пустым, если бы состоялся лишь этот разговор, поэтому он поджал ноги и сказал:

— А что ты сделал с письмом этих...

— Оно здесь, святой владыка.

— Прочитай.

Брат Себастьян откинул верхнюю одежду и вынул из-под кожаного пояса пергамент. Прежде чем начать читать, он подошел поближе к окну, и его тонкий голос, мелодичный и звонкий, солнечным лучом побежал по залу. Этот голос смягчал резкие слова двух лотарингских архиепископов. Когда папа вторично выгнал их из святого города, они оставили это письмо на могиле святого Петра; оно было полно выражений, которые могут высказать лишь люди, пропитанные ненавистью к представителю неба. Оба оспаривали право божьего наместника вмешиваться в их дела и утверждали, что решение лотарингского духовенства правильно. По их мнению, было справедливо,

что Лотар выгнал законную жену и взял любовницу, мать его детей, ибо, кроме канонического права, существует и право естественное, продиктованное жизнью. В тех местах, где слова и выражения были грубыми и несдержанными, Себастьян останавливался в явном колебании: читать, мол, или нет,— но папа согласно кивал, и тот понижал голос, будто этим мог смягчить грубость. Прочитав письмо, монах шагнул к Николаю с намерением передать свиток, который он держал двумя пальцами, а папа сказал:

— Оно мне больше не нужно. Письмо подтверждает их глупость.— И, помолчав, продолжал прежним кротким голосом: — А что думает брат Себастьян?

— Призвать обоих на божий суд за обиду, святой владыка.

— Не надо... Бог дал достаточно знамений, подтвердивших нашу правоту.— Бросив взгляд на Себастьяна и уловив, что тот не понял его, Николай добавил: — Посмотри, какой чудесный день он послал на землю после их отбытия.

Брат Себастьян поклонился, вновь поцеловал руку папы и исчез в темных коридорах. Папа постоял, вслушиваясь в его легкие шаги и пытаясь вернуть себе прежнее настроение, но не смог и погрузился в земные мысли и тревоги. Интересно, как чувствуют себя император и Иоанн Равеннский? Правда, Николай победил обоих, победил лотарингских архиепископов и епископов, даже короля Лотара II, хотя тут победа будет полной только тогда, когда папа устранит Вальдраду и восстановит в правах законную супругу. Все в руках папы, все, далеко лишь неуязвимый Фотий. Если объявить всеобщий военный поход на Константинополь, вряд ли это даст результаты. Николай не спрашивал себя, будет ли это законно, его интересовали лишь результаты. Едва он подумал, что Ростислав продолжает вести себя как самостоятельный правитель, его охватил гнев. Где же Людовик Немецкий? Чем занимаются остальные короли?!

Немало времени прошло с того дня, когда папой Николаем завладело странное блаженное настроение. Жизнь шла своим чередом. Весна давно миновала; на дворе стояла золотая осень с карминовыми прожилками в листьях деревьев. Забыв о счастливом мгновении на черепицах дома, воробьи увели окрепшее потомство под другие крыши. Лотар привел во дворец законную супругу. Все успокоилось. Утих и Ростислав, Людовик Немецкий принудил его стать своим вассалом после очень напряженной битвы под Девином. Победы были, но результатов не ощущалось. Посланцы Фотия все так же спокойно жили под крылом Ростислава. Папа объяснял это неразберихой в королевстве Людовика Немецкого. Многие маркграфы ополчились против него, после того как он посадил Карломана под домашний арест, ли-

шил титулов маркграфов, помогавших сыну. Их оказалось немало, и между ними были родственные отношения, так что вокруг короля усиливалась тайная неприязнь. Пока не упрочит собственный трон, Людовик не станет тратить силы на закрепление победы над Ростиславом. А до этого времени Константин и Мефодий будут делать свое еретическое дело. В его еретичности папа не сомневался ни минуты. Ведь они дерзнули выступить против триязычия, против Исидоровых декреталий, они проповедуют слово божье на каком-то простонародном языке.

Пора разобраться в их проповедях, покончить с бесовскими домогательствами византийских посланцев. Но каким образом? Николай этого еще не решил, ибо другие, более важные события вторглись в тишину Латерана и поглотили его внимание. Болгария проиграла войну с Восточной империей и приняла христианство от Константинополя! Совсем неожиданный удар! Папа не находил себе места, он злился на всех: и на Фотия, и на Бориса, и на Людовика Немецкого, который написал ему когда-то о готовности болгарского князя принять слово Христа от святой римской церкви. Папа настолько поверил этому, что поторопился уведомить кое-кого из епископов. А на деле, оказывается, он предал гласности свое унижение, упавшее как снег на голову. Эта осень осталась в душе Николая не золотом, а туманами: он замкнулся, отдалился от людей на всю зиму, до следующей весны. Все козни патриарха он воспринимал сквозь мглу поражения и внешнего безразличия — до того, пока не узнал о бунте болгар против князя и византийских священников. Надежда снова засветилась в его взгляде. Папа Николай ожил. В походке вновь появилась упругость. Властные нотки в голосе обрели прежнюю ясность и силу. Брат Себастьян каждое утро сообщал известия из болгарских земель. После подавления бунта интерес папы как будто заглох, но это только казалось. Людовик Немецкий сообщил, что болгарский князь обратился к нему с просьбой посодействовать его встрече с папой Николаем. Король не мог сказать, о чем будет беседа, он просто не знал. Ничего, папа был доволен и этим. Выходит, князь болгар не забыл о нем. Вновь возродившаяся надежда придала смысл деятельности римской церкви. Папа взялся за дела королей и епископов. Кто-то кого-то преследовал, кто-то увел чью-то дочь, целые графства брались за оружие из-за мелочных поводов. А в это время на крышах птицы любили друг друга, выкармливали новые поколения, без ссор и распрей устроившись в старых гнездах или соорудив новые по соседству. Воробьи из дома напротив снова учили детенышей летать. Папа смотрел, как птенцы весело подпрыгивают на крыше и их неокрепшие крылышки дрожат в предчувствии полета.

Жизнь птиц была простой, а жизнь людей — сложной. Птицы понимали друг друга с одного прикосновения клювика. А человек все

норовил поссориться. Вот только что папа уговорил жену графа Бозо, Ингильтруду, вернуться к мужу, как вспыхнула распря во дворце Карла Лысого. Граф Балдуин увез его дочь и женился на ней. Папе пришлось немало потрудиться, успокаивая отца и примиряя его с влюбленными. Карл Лысый заставил Синод франкских духовников отлучить от церкви будущего зятя. Папа долго колебался, прежде чем принять чью-либо сторону. Дело Лотара II отняло так много времени, что вряд ли стоило снова заниматься подобным случаем. Но если ты однажды взял на себя обязанность решать светские вопросы, нельзя оставаться в стороне. Задачу папы облегчала просьба обоих влюбленных. Он дал свое благословение на их брак, и Карл подчинился его мудрому решению.

Мир населяли люди и птицы, все — божьи создания, и наместник Христа обязан заботиться обо всех, но птицы не тревожили его, а вот сознательные чада, сотворенные по образу и подобию божьему, никак не могли поделить между собой земли и женщин и удовлетворить свое честолюбие. Они все искали, но не находили, все копали кому-то яму и унижали самих себя, все клеветали, чтоб оклеветали их самих, и убивали друг друга. А божий закон не щадил никого, кто преступал его. Сказал же господь: не убий... Но убивать приходилось... Вот Борис, князь болгар, перебил взбунтовавшихся язычников. И если бы он не сделал этого во имя бога, убили б его самого во имя какого-то Тангры. Так что же, сложить руки и ждать смерти? Умирать, как когда-то первые христиане в этом городе, ставшем теперь опорой божьего престола? Если папа и его люди сложат руки, последователи Тангры сотрут их с лица земли. Но бог еще сказал: поднявший меч от меча и погибнет! Папа предпочитает руководствоваться этим вторым законом, более истинным. Такие люди, как Себастьян, угодны богу, они его тень, но и его сила. Когда ты победил, тебе легко отправить своими послами высокомерных честолюбцев типа Арсения, епископа Хорты,— пусть распространяют твои послания и внушают своей осанкой уважение к тебе. Теперь хортенский епископ обходит королей, сообщает распоряжения папы, и ему никто не смеет противоречить. Вот и Карл Лысый подчинился папскому приказу и благословил влюбленных.

Божья земля, божьи птицы, божьи люди... И над ними — он, папа Николай, а выше — только небо...

Папа встал, самодовольно погладил бороду и посмотрел на карниз дома напротив, где воробьи учились летать.

12

Миссия покинула монастырь под Аквилеей. Константин ехал впереди, погруженный в мысли.

Печален мир без доброго слова, пуста душа без надежды и земля без зерна, без будущего плода. Лишь дорогам нет конца, были бы только силы скитаться по ним... Константин чувствовал усталость. Стал побаливать желудок, усилилась тревога, вызванная сомнением, что дело их бессмысленно. В первый раз отчаяние овладело ими, когда аквилейский патриарх Лупос не разрешил образовать новый диоцез из земель Паннонского и Моравского княжеств. Диоцез был необходим в непрестанной борьбе с немецкими священниками, понаехавшими в государство Ростислава. Князь поддержал братьев. Это была его идея — объединить близлежащие славянские территории в отдельный диоцез под руководством Константина. Братья уцепились за идею, потому что увидели в ней спасительный росток. Они оставят в Моравии поколение ученых молодых людей, которые по знаниям будут на несколько голов выше немецких священников. Они-то и станут краеугольным камнем в фундаменте самостоятельной моравско-паннонской церкви. Оба князя договорились между собой, оставалось получить благословение аквилейского патриарха, но тот, по-видимому, боялся зальцбургского архиепископа. Патриарх утверждал, будто не имеет права образовывать новые диоцезы. Может, так оно и есть. Константин ощущал, как сужается горизонт вокруг миссии, как враги все выше поднимают головы и люди начинают отступать перед озлоблением немецких священников, не гнушающихся никакими средствами для вытаптывания семян, посеянных с таким трудом. Первая жертва в этой борьбе расстроила всех. Недруги объявили Деяна колдуном, обвинив в том, что-де нечисть каждую ночь собирается в его суме и передает часть своей бесовской силы чудодейственным травам и кореньям. Эти слухи поползли после того, как старик поднял княгиню со смертного одра. Молва шла за ним по пятам, и немецкие священники натравливали на него простолюдинов.

Константин вспомнил день смерти Деяна. Это было весной. Светило солнце, звенели ручьи, над лугами вились облака пестрых бабочек. В тот день Климент, как всегда, повел учеников на холм, и веселые звуки вербовых дудочек заполнили пространство до самого монастыря. Философ отложил книгу: поманили с зеленого холма звуки беспечной молодости. На память пришли детские годы, согретые теплом материнской ласки. Его мир был иным. Там было лишь синее море — безграничное и ровное, теряющееся в далеком мареве. Оттуда возвращались рыбаки — пахари моря. Лица, обгоревшие под солнцем, узловатые руки привлекли его своей силой, и он мечтал, как подрастет, стать рыбаком... Не стал. Но Константин побывал в таких местах, о которых многие рыбаки даже не знали. Однако не это было важно, важно было, что один из них подарил ему свирель из ракови-

ны, она издавала такой же звук, как те дудочки на холме. Константин долго берег ее. Сейчас эти звуки мешали ему уйти от воспоминаний, и он с запозданием понял, что веселье на холме прервалось... До его слуха долетел шум. Он был тревожным. Всмотревшись, Константин понял, в чем дело. По дороге тащилась лошаденка Деяна, но без хозяина. Через хребет была перекинута какая-то одежда. Константин вгляделся пристальнее и оцепенел. Это была не одежда, а сам старик. Руки его беспомощно висели, неестественно торчала борода. Ученики взяли лошаденку под уздцы и повели в монастырь. Веселье кончилось, голоса дудок замерли в листве и травах, надо всем витал дух смерти. Смерть была для Константина чем-то осязаемым. Он мог уловить ее присутствие как некое странное дуновение, как безмолвие, холодно отпечатавшееся на лицах окружающих,— безмолвие, у которого не было определения и названия, но которое никогда его не обманывало. Смерть, смерть шла рядом с дряхлой клячей Деяна. Философ вышел на галерею и стал тяжело спускаться навстречу смерти и ученикам. Старика положили внизу, на каменных плитах двора... Не было видно никакой раны, но в широко открытых старческих глазах застыл нечеловеческий ужас. Константин понял все. В таком ужасе прощались с жизнью невинно осужденные. Он подхватил рукой седовласую голову, и пальцы нащупали в затылке железную шляпку гвоздя. Так обычно убивали колдунов, чтобы приковать нечистую силу к телу жертвы.

Константин выпрямился и троекратно перекрестил старика. Где его сума, он не спросил: был уверен, что ее давно сожгли те, кого лечил Деян. Его похоронили как положено. Впервые миссия предавала чужой земле своего человека, и каждый задумался о собственной судьбе... На похороны пришла и княгиня. Константин увидел слезы в ее глазах — эта суровая женщина плакала по Деяну, спасшему ей жизнь.

А солнце по-прежнему светило и грело, мотыльки все так же шелестели пестрыми крылышками, будто опавшие сухие листья, поднятые ветерком. Одна бабочка села на могилу и долго трепетала крылышками, словно прилетела с далекой родины покойного, чтобы проститься с ним. Все это глубоко запало в душу Философа и надолго расстроило его. Ему долго казалось, что вот откроется дверь, и Деян войдет, дрогнет его побелевшая козья бороденка — от неизменной улыбки,— и он подаст Константину грушу или вытертое подолом рубашки яблоко... До сих пор ощущалось его отсутствие, а ведь с того дня прошло немало времени. Не хватало его безыскусной преданности, которая делала Деяна способным угадывать желания Философа. Деян вошел в жизнь Константина, когда его молодой ум, смущенный действительностью мира знатных, еще только искал себя, когда любовь уходила от него, оставляя в душе горечь первого большого разочарования; Деян навсегда оставил Философа, когда жизнь наносила

ему непрестанные удары, воздвигала на его пути коварные, непредвиденные препятствия, которые надо было преодолевать словом и силой. И он понял, что и сейчас нуждается в улыбке и стойкости Деяна, который ни разу не пожаловался, не сказал, что ему опостылело жить. Да, у него было чему поучиться даже Философу. Время и борьба лечат. Константин сам в этом убедился. Это выстраданная истина, не книжная. Иначе и быть не может. Если поддашься боли, значит, откажешься идти вперед по избранному пути. А ведь ты не один, с тобою люди, и их стремления ты также должен осуществить. Верно, Деян был не из тех, без кого нельзя продвигаться дальше, но у него было свое место в этом мире, как у скромной травинки на большом весеннем лугу. Среди разнообразных цветов есть и эта травинка, поднявшая росистый стебелек, чтобы дать миру необходимое и взять необходимое от него... Но вот приходит глупость и давит ее своей пятой. С глупостью Константин борется уже немало лет. Он не спрашивает себя: во имя чего? Потому что знает — во имя возвышения человека в человеке. Это борьба за жизнь и ради жизни... Оглядываясь на пройденный путь, Константин видит, что все препятствия созданы невежеством. Здесь существует свой мир без каких бы то ни было законов: мужья без объяснений меняют жен, отец спит со снохами, царят порядки, которые вызвали бы возмущение в Византии,— и Константин должен либо примириться с невежеством, либо бороться против него. В церковной жизни дела обстоят не лучше. Церкви существуют только при замках, священники исполняют службу спустя рукава. Посты другие, литургии тоже. Верно, миссия ввела строгий порядок, но церковь нуждается в главе, а кто рукоположит архиепископом именно его, Константина? Ростислав начал терять веру в их начинание. Тогда миссия отправилась в земли Коцела. Тот выгнал немецких священников из своей страны, и это укрепило надежду братьев. Блатенский князь принял их с почестями. Предоставил в их распоряжение все училища и велел ученикам подчиняться братьям. Сам он принялся усердно изучать знаки, сотворенные Философом. Город Мосбург встретил посланцев как дорогих гостей, но немой вопрос, который был в глазах Ростислава, они скоро увидели и у Коцела. Имеют ли братья право возглавить новую церковь? Они пошли просить это право у аквилейского патриарха. Пошли вместе с наиболее одаренными учениками, чтобы и для них выпросить церковные звания. Не хотелось обращаться к Риму: это означало бы отказаться от завоеванного в Моравии и от восточного богослужения, то есть отречься от славянского языка и запереться за толстыми стенами догмы триязычия. И все-таки они могли бы пойти на некоторые уступки, например перевести на славянский язык литургию о святом Петре, а не о святом Василии, твердо выступить за единую церковь, предоставив папе и патриарху разбираться в том, кому принадлежит первенство.

Жизнь обучила их подобным хитростям. Пока Николай и Фотий спорят — они будут спокойно делать свое дело. Так по крайней мере братья представляли себе положение вещей, напуганные большим спором, разгоревшимся из-за Болгарии между двумя церквами. Болгарские послы приехали в Рим просить совета у папы. Константин допускал подобный поворот событий, но не так скоро. Фотий действовал неумело. Догадайся он вовремя послать братьев к болгарам, их князь, может, и не поступил бы так... Константин закрыл глаза, похлопал усталую лошадь по шее и задумался: где-то там, среди белых монастырей Брегалы, остался Иоанн, чтобы сеять семена просвещения. Сумел ли он хоть что-нибудь сделать или зря угас от бескрылой тоски и терзаний? Добрая душа живет в его уродливом теле. В сущности, что такое тело? Ковчег тайных страстей и неразделенных мечтаний. В самом деле так: земля поглотит его, и оно постепенно исчезнет. Лишь сотворенное им останется: облагороженное ли деревцо, высокий ли дом, нарисованный ли образ или написанное слово — это не имеет значения. Полезное останется, а ненужное растворится в почве. И никто не поинтересуется, каким было твое тело. Если Иоанн и сумеет возвысить свой дух над суетой, он поймет все. Философ опасался только, сможет ли Иоанн побороть свое уязвленное честолюбие. Это ведь фамильная черта. Его брат — такой же, отец — и подавно... Что касается Варды, то по Моравии разнесся слух, будто его убили, но кто — осталось неизвестным. Человек, рассказавший об этом, узнал новость от караванщиков из Солниграда. Если смерть пришла к кесарю из дворца, Фотию не удержаться на патриаршем престоле. Ведь он был его правой рукой, и у них были одни и те же враги. Слегка кольнул вопрос: а что с Ириной? Философ поднял голову, огляделся, как бы испугавшись, не подслушивает ли кто его мысли... Мефодий ехал далеко впереди. Ученики отстали. Он обернулся: запыленные, они плелись следом. По их лицам текли струйки пота. Не было ни одной улыбки. Будь у Константина та свирель из детства, он заиграл бы на ней, чтоб Мефодий услышал. И словно кто-то украл его мысль: раздался громкий сигнал, и прояснились унылые лица.

— Привал!..

Это скомандовал Савва. Ученики быстро укрылись в тени придорожных груш. Услышав сигнал, Мефодий — старый воин! — тут же присоединился к остальным.

Константин спешился, бросил поводья на сухой сук и прислонился к стволу. Поля пустовали, пересохшая трава приобрела бронзовый цвет, из оврага доносилось томное воркованье горлиц. Философ запрокинул голову, желая прогнать усталость, и слух его уловил шепот листвы. Круглые твердые листья груши, начинавшие желтеть, были похожи на золотые монеты. Ирина, помнится, носила браслет из золотых монеток и часто поднимала руку, чтобы он не соскольз-

нул с запястья. Философ очень любил это движение — рукав ниспадал к плечу, обнажая прелестную белую плоть. Как разделило их время, как далеко остался тот сад, где они сиживали вместе... А разве мир так уж богат радостями? Воспоминание было не из веселых, однако неожиданно оно доставило радость Константину. Но тут же он упрекнул себя: плохи твои дела, если ты и такой мелочи рад. Да, плохи — самому себе он может в этом признаться. Плохи! Он чувствовал, что вся их работа обессмысливается... Чувствовал это... Константин услышал, как заржал конь Мефодия, как брат спрыгнул с него и сказал ученикам что-то смешное, но не обернулся. Над чем он может смеяться? Над собственным бессилием?! Ни разу еще Философ не впадал в такое состояние духа. Слушая шутки учеников, отдыхавших в тени, он подумал, что они не постигают всей сложности положения. Ему было трудно разделить их веселье, ибо он измерял все масштабом своей жизни. Судя по всему, придется ехать в Рим. Вряд ли кто из миссии догадывается об этом. Двинулись дальше. Но к Коцелу не стали заезжать. Он любил и ценил братьев, однако едва ли сможет оградить их от гнева зальцбургского архиепископа Адальвина. После передышки ученики повеселели. Откуда-то прилетел ветерок, закрутился вихрь. Сухие травы и листья высоко поднялись в пепельно-серое небо и, кружась, медленно опускались. Константин проследил за ними взглядом... Вот так и с людьми: поднимется вихрь, вознесет их высоко, и, лишь когда начнут падать, поймешь, какие они были легкие и пустые, никому не нужный бурьян, а возомнили себя чуть ли не богами. Жаль, народ поздно постигает эту правду о знати, поздно... Константин достаточно долго жил в кругу знатных и смог вовремя понять их пустоту и покинуть их мир, о чем сейчас ничуть не жалеет. Жалеет о другом — что не был настойчив и не добился поездки в Болгарию. Его дело может укорениться и расцвести только среди своих, там, откуда он родом.

А он пошел просить ниву для посева — новый диоцез, просить у людей, не желающих принять его у себя дома, а тем более раскрыть свои мысли. В чужом монастыре Константин понял, как трудно быть просителем. Каждый глупец начинает важничать и смотреть на тебя петушиным глазом, круглым и вопрошающим. Чем ближе подходили они к Венеции, тем яснее он понимал, что это бегство. Они покидали землю, где упорно трудились, даже не расписавшись на память в монастырском Евангелии, рядом с именами Прибина, Ростислава, Святополка и Коцела. Они покидали эту землю и уносили с собой плохие воспоминания. Они начали сомневаться даже в искренности гостеприимства, ибо возникло ощущение, что их насильно задерживают, пока аквилейские старцы ждут откуда-то распоряжения. Наверное, договаривались с немецкими епископами. Конь устало прядет ушами, солнце, хоть и близится к закату, все еще немилосердно печет, до-

бавляя тяжести его мыслям. Немало учеников осталось в Моравии и Блатненском княжестве! Они уже ведут церковные дела. Всего сорок человек захотели поехать с миссией, и Константин раздумывал, как быть дальше. Созревало намерение заехать в Константинополь. А что он там найдет, кому будет нужен? И ответил себе: Болгария! Быть может, там положение изменится, и он будет нужен, гораздо нужнее, чем здесь. Вот приедут они в Венецию и там все обдумают. Но тут же, глядя на опущенные плечи учеников, упрекнул себя за колебания. Он не может поступить так без всякой причины, отказавшись от последней надежды — Рима! Если папа окажется сговорчивым... Вряд ли, однако, можно ожидать этого от Николая. Он не раз угрожал братьям, и их появление вызовет, конечно, только гнев и проклятия! Нет, Константин не боится! Он достаточно хорошо владеет словом, всю жизнь пополнял свои знания — и не будет молчать от страха. И еще об одном пожалел он сейчас: если заставят миссию уйти из Моравии и Паннонии, и они не увидят больше Марина. Этот тихий и благообразный человек, прошедший с ними путь плечом к плечу, украсил резьбой по дереву немало церквей близ столицы Ростислава. Марин заболел, задержался в Мосбурге, надеясь встретить братьев главами нового диоцеза. Тщетная надежда еще одной доброй души!

Поравнявшись с Мефодием, Константин остановил коня. Вдоль дороги, у подножья запыленных деревьев, струился ленивый ручеек. Братья спешились, уселись, развязали сумы с едой. Их примеру последовали остальные.

13

Ирина все еще не могла прийти в себя от пережитого. Ей снился Варда, лежащий навзничь в кровати, а там, где сердце, торчит нож с окровавленной рукояткой. Никто не мог сказать, когда это произошло. Охрана перед опочивальней будто сквозь землю провалилась. На стене коридора виднелись кровавые пятна — по-видимому, охранников постигла та же участь, что и кесаря. Да и кто будет интересоваться ими? Их задачей было сторожить и убивать, пока самих не убьют. Варды не стало, и Ирина лишилась всякой опоры. Ее сразу же выгнали из дворца. Слава богу, люди, пришедшие за ней, знали ее. Они когда-то служили у кесаря и сохранили в сердце страх и почтение к нему и его снохе. Ей разрешили взять с собой только то, что она в силах унести сама. Ирина кинулась к драгоценностям. Одни спрятала под одеждой, другие завязала в скромный узелок, чтоб не вводить в грех своих сопровождающих. На всякий случай взяла и шкатулку, но в нее нарочно положила самые простые и дешевые украшения. И оказалась права. У корабельного трапа двое сопровождающих чуть не избили друг друга из-за шкатулки. Вырвав ее из рук Ирины, они исчезли. Корабль уносил Ирину в неизвестность. Она хо-

тела избавиться от воспоминаний, от пережитого ужаса, от всего, что два дня назад было смыслом ее жизни. Сама не зная почему, она сошла на берег в Риме. Может, из-за новых знакомых — семьи синьора Бозоне, а может, по врожденной практичности? Синьор Бозоне путешествовал со всей семьей — с женою и двумя веселыми детьми, потому что, как он говорил, не мог без них жить. Ирина понимала его: дети, словно птенцы, мило и весело щебетали и тут же подружились с ней. Все на корабле видели, как у нее отняли шкатулку, и не упускали случая выражать свое возмущение. Всеобщее сочувствие помогло Ирине понемногу прийти в себя, и, если б не морская болезнь, уложившая ее в постель, поездка была бы неплохой. Дети синьора Бозоне все время крутились возле нее, приносили ей воды, и она привязалась к ним — насколько вообще может привязаться к кому-либо избалованная женщина, привыкшая к ухаживаниям и поклонению. И все-таки неподкупная искренность детей глубоко трогала ее. К ней приходила также их мать, но во взгляде этой женщины улавливались настороженность и недоверие, будто она боялась красоты Ирины. Морская болезнь, бледность, отчетливо выраженное душевное страдание проявили в лице Ирины черты иконописной красоты, которая производила сильное впечатление. Сама Ирина еще не сознавала этого, но пристальный взгляд синьоры Бозоне подсказал ей, что она чем-то смущает итальянку. Естественно, синьор Бозоне не имел права заглядывать в каюту, и это сдерживало ревность его жены. Но ревность проглянула в Риме, когда Ирина сказала, что хочет остаться в Вечном городе, и попросила синьора Бозоне помочь ей устроиться. Она искала не слишком дорогое жилье, но на видном месте. Такое нашлось... После этого итальянец исчез, будто сбежал. Ирина знала почему: жена никогда не простит ему услуги, оказанной Ирине. И может, она права. Бозоне — симпатичный мужчина, и одинокая красивая гречанка могла бы прильнуть к нему. Всякое сочувствие порождает чувство, и всякое несчастье — воспоминание о потерянном счастье, которое было недооценено. Ирина сейчас поняла, что́ получала она с каждым восходом солнца. Прежде она капризничала, если старая Фео не вовремя приносила завтрак или если маслины были не самые лучшие, а апельсины не самые сочные... И многое еще было, о чем она искренне сожалела сейчас, в этом чужом, незнакомом городе. Да и языка она не знала... Сначала даже хлеба не могла попросить, приходилось, как последней дурочке, указывать пальцем. Обычно Ирина делала покупки в полдень и сразу возвращалась. Те немногие золотые монеты, которые она успела сунуть во внутренний карман, все еще выручали ее. Когда кончатся, придется обратиться к драгоценностям. Их было достаточно, Ирина могла не беспокоиться. Тревоги приходили с наступлением темноты. Никогда ночи не казались ей столь длинными. Они приносили с собой кошмары, перед сжа-

тыми веками кроваво маячил острый нож и торчащая вверх борода Варды. Он снился ей только так — рука тянулась к всаженному по рукоять ножу, но лишь палец добрался до него... Сейчас Ирине стали понятны страх и подозрительность кесаря, которые она тогда считала безосновательными. В последние дни Варда дважды оставался в ее спальне до рассвета. Пробуждаясь, она неизменно видела его сидящим на краю постели, прислушивающимся к чему-то. Эта настороженность стала пугать Ирину. В первый раз она окликнула его, но он знаком приказал ей молчать и остался сидеть — полуголый, с мечом в руке, готовый в любую минуту выскочить в коридор. Именно тогда он удвоил число охранников, подобрав самых верных людей. И все ожидал известий от сына. Тот поехал на сарацинскую границу — искать Петрониса. В его отсутствие и произошла трагедия. Варда был в своей опочивальне. Чувствовал себя немного спокойнее. В последние дни Ирина привыкла будить его. Когда она вошла к нему и не увидела охранников, то слегка насторожилась, но день уже давно начался, и Ирина решила, что они вышли к внешним воротам. Ее вопль был так силен и безнадежен, что она сама испугалась его и упала в обморок. Привела ее в чувство старая Фео, никто другой не пришел на помощь. Она знала, что прислуга ненавидит ее, однако такого нахальства не ожидала. Было бы время, Ирина расправилась бы со вчерашними блюдолизами! Но надо было думать о собственном будущем, и она вспомнила о Фотии. Его взгляды украдкой не остались для нее тайной, она видела смущение, охватывающее его при встречах. Патриарх мог бы помочь. Но ей не дали пойти к главе церкви. Корабль унес ее. Хорошо еще, что разрешили уехать. Они могли постричь ее в монахини или отдать на произвол простонародью, а эти разорвали бы ее на куски. Особенно женщины. Память сохранила их взгляды, когда она ходила в церковь и демонстративно выражала пренебрежение к словам патриарха Игнатия. Тогда она проходила между двумя рядами глаз, в которых таились звериная ненависть и зависть.

Тогда Ирина была сильной, неуязвимой, а теперь она никому не известный, растерянный пилигрим в шуме странного города, населенного женщинами и черноризцами. Поглощенная заботами о себе, она все еще не задала себе вопроса: кто же его убил? У него было немало врагов, однако кто рискнул замахнуться на кесаря, на человека, которого боялась вся империя? Кто? Мысленно Ирина перебирала лица знакомых недругов: Михаил слаб, зато от Василия всего можно ожидать. Лишь он получил бы выгоду от этой смерти. Если б Феоктист был жив, Ирина не колеблясь указала бы на убийцу, но логофет давно закончил свой земной путь. Южная стена хранит капли его крови... И к этой смерти Ирина тоже приложила руку! Страшно признаться, и все же правда есть правда. Не всякий рожден быть

заговорщиком и хранить важные тайны. Дядя поверил ей, а она не оправдала доверия. Оказалась слабой. В сущности, это одна из черт ее характера: давать обещания и легко отказываться от них во имя собственного благополучия. Ведь если б было не так, она не согласилась бы выйти замуж за кесарева сына. Он был повязкой на глазах простонародья, но повязка оказалась слишком прозрачной. Пребывание Ирины во дворце Варды после исчезновения Иоанна подтвердило молву о ней и кесаре. Поднялась новая волна слухов, однако вскоре все будто забыли о ней. Раскрытая тайна становится неинтересной. Никто больше не удивлялся их сожительству. Ирина была вдовой, Варда — крепким и властным мужчиной. И она впервые почувствовала беспомощность мухи, оказавшейся в сетях паука. Ирина перестала выходить на улицу, замкнулась, все ей опостылело, лишь ласки Варды возвращали ее к жизни. Встречая других мужчин в приемной, глядя на них из окна, она находила их всех интересными, ибо смотрела на них взглядом затворницы.

Тогда снова воскресло воспоминание о Константине. Если б он посягнул на запретный плод и сорвал бы его, может, она давно бы забыла о нем, но он единственный нашел в себе силы отказать ей, отстранить ее со своего пути, как ненужную вещь. Это задело ее честолюбие, и ненависть к нему вспыхивала при каждом упоминании его имени. Потом пришло время, когда она заметила, что останавливается, чтобы послушать, что о нем такое говорят; еще позднее его образ стал являться ей одинокими ночами — казалось, она слышит его голос, и странное томление так теснило ее грудь, что незаметно для себя Ирина устремилась к Фотию. Он единственный мог что-то рассказать о судьбе Константина. Вместо того чтобы похоронить, время начало воскрешать воспоминания о нем. Ирина стала искать ему оправдания. Он оттолкнул ее из любви к ней. Воображение настойчиво восстанавливало всю встречу: самшиты, лестницу, ручеек, через который она переступила, прежде чем заговорить с ним, его руку, сжавшую деревянную балюстраду, и притчи... Да, притчи. В одной он говорил о никогда не заживающем рубце от раны. Стало быть, Философ по-своему открыл ей правду, а она не поняла его. Да разве мог он прямо сказать все, если там был Иоанн и Константин сверху, наверное, заметил его гораздо раньше, чем она? Если бы он не любил ее, то не кивнул бы ей приветливо у выхода из церкви, не встал бы первым среди молящихся, чтобы поймать ее взгляд... Правда, с самого начала все складывалось плохо. Сколько раз сидели они в саду дяди на мраморной скамеечке у орешника, явственно ощущая силу влечения, однако так и не смогли преодолеть коротенького расстояния и глупой неловкости. В такие мгновения Константин или становился разговорчивым, или совсем умолкал и только вздыхал... Это было так давно. В далекой молодости, когда жажда роскоши, почестей, стрем-

ление возвыситься надо всеми увели Ирину от искреннего чувства. Они сделали ее снохой властелина, который оставил ей в наследство ненависть — и простых людей, и тех, кто воткнул нож в его грудь. Одно успокаивало ее: здесь, в Риме, она никому не известна... Ирина стала скитаться по церквам. Большие соборные храмы завораживали таинственностью, долгие богослужения убивали время и вовлекали в мир, находившийся в полной гармонии с ее душевным состоянием. Папа очень редко служил в кафедральном соборе святого Петра: он недомогал, и врачи запретили ему волноваться. И все-таки ей повезло, и она увидела его. Это было в первую среду великого поста. Он отпускал грехи народу. Суровое лицо излучало старческое упрямство, взвешенные слова падали, словно тяжелые камни. Глядя на папу, Ирина невольно сравнивала его с Фотием. Патриарх Восточной церкви с молодости владел изяществом речи, чувством слова, ораторским искусством, обязательными для преподавателя в Магнавре и будущего императорского асикрита. В нем была лисья хитрость, однако была и глубокая мудрость. А папа Николай походил на воина. Борода с проседью, средний рост, холодные глаза, внушающие страх. Он шел во главе свиты равнодушный и недосягаемый, как бог, думая о своей пастве, но не замечая людей, преклоняющих перед ним колена. Стараясь подражать святому апостолику, за ним шагали семеро римских епископов и весь клир. Ирине нравились гордые мужчины, в них она открывала что-то свое, хотела бы быть похожей на них, но не знала, насколько гордая независимость свойственна ее характеру. Ей чего-то не хватало, чтобы возвыситься над мелочной суетой, тем паче теперь, когда приходится обо всем заботиться самой. Посещая церкви, она оглядывала детей бедняков. Хотелось найти мальчика или девочку, чтоб не быть одной, чтоб было кого посылать в лавки. Кое-кто из маленьких оборванцев привлекал ее, но она не спешила сделать выбор. Один бог ведает, кто их родители. Лучше присмотреться к детям соседей.

Ирина откладывала и это, а в служанке она нуждалась... В Константинополе она привыкла бездельничать, сидеть за пяльцами и тянуть и тянуть нить воспоминаний. Даже одевали ее служанки. Теперь приходилось самой заниматься всем, самой одеваться, и одеваться по-прежнему изысканно. В ней глубоко жила тайная мысль понравиться кому-нибудь из здешних патрициев, честолюбие недавно любимой женщины не позволяло отказаться от этого намерения. Ирина часто ходила в церковь Санта Мария Маджоре. Ей нравился теплый голос архиепископа Адриана, его речь, полная мудрых поучений и трудная для понимания, погружала ее в утраченное прошлое. В нем было что-то пугающее и в то же время притягивающее, была мужественность, смягченная годами. Кроме того, церковь Санта Мария Маджоре посещали соотечественники Ирины, священники, поки-

нувшие по разным причинам Царьград — либо в период иконоборческого движения, либо в период распрей с Игнатием. Ирина с упоением слушала их, не рискуя заговорить. Они могли бы оказаться сторонниками Игнатия, которых Варда велел выгнать из Константинополя, а она боялась этого. Вероятно, их, как и ее, посадили на корабль, не дав возможности проститься с близкими. Если так, они должны были ненавидеть кесаря. И все же она слушала их, ибо родная речь скрашивала ее одиночество.

Ее привлекали также мозаики на стенах и на арке, что-то очень близкое в них, что возвращало Ирину в знакомый мир. Они были как бы продолжением старинных работ, обогащенных христианскими мотивами и речными пейзажами, столь типичными для Константинополя. Время от времени до нее доходили обрывки известий о распре в Византии, о новых преследованиях. Многие знатные люди были разбросаны по империи или уже переселились на тот свет. Так, однажды Ирина услышала имя Антигона. Оказывается, он попытался поднять бунт против василевса, пошел с частью войск к монастырю, где томилась Феодора, намереваясь освободить ее, но свои же люди поймали его и прибили к чему-то — Ирина не поняла, а спрашивать было неловко. Могли огрызнуться — зачем, мол, подслушиваешь чужие разговоры. Неизвестность мучила Ирину целую неделю. Антигон!.. Выходит, Варда специально послал сына привести войска, ибо чуял свой конец? А где Петронис? Что с ним? Неужели он позволил схватить и убить себя, хотя вся армия была в его руках? Вопросы остались без ответа. Они растворились в сумраке церкви и в приятном голосе архиепископа Адриана, в их странной гармонии, которая отрывала Ирину от земных страстей.

Она сидела на деревянной скамье, опустив голову, углубленная в себя, одинокая, всеми забытая. Далекие голоса выплывали из сумеречной глубины, звали ее, упрекали или радовали чем-то совсем мелким и незначительным. Мелодичнее всех звучал голос Константина. Он был столь явствен, что Ирина вздрогнула и подняла голову, ища Философа взглядом... И тут же осознала: голос архиепископа был очень похож на голос Константина. Она подсознательно отождествила их еще раньше, невольно впав в самообман. Теперь Ирина нуждалась даже в иллюзии, и потому она упорно продолжала ходить в церковь Санта Мария Маджоре. В старую кафедральную церковь, которая снова станет местом ее встречи с тем, о ком она не забыла...

14

В который уж раз просматривал Борис послание патриарха Фотия и все удивлялся его назиданиям. Фотий учил, как надо править страной, но о самостоятельной болгарской церкви даже не заикался, будто князь не писал ему об этом. Трудно было понять, притворство

это или неуважение. Борис испытующе вглядывался в послание, красивые буквы танцевали перед глазами. Глубокомудрые, пропитанные запахом ладана советы, придуманные в тиши патриаршего мира, вызывали у него кислую гримасу — такими они были книжными, оторванными от земной жизни. Да и не могли они сейчас быть полезны Борису. Патриарх знакомил его с решениями церковных соборов, пытался возвысить его дух над всем земным, дабы подготовить к небесной жизни, где он получит «невыразимое и вечное царствие небесное как неотъемлемое наследие, как нетленное жилище, как сверхъестественное, божественное веселие и непреходящее наслаждение».

Резко отодвинув послание, князь велел седлать коня. Хотелось рассеяться, сбросить с плеч гнетущие государственные заботы, почувствовать себя как прежде, когда он еще не был христианином и не получал таких премудрых советов. Пока Борис ждал коня и свиту, он снова заглянул в послание; о гневе там было написано: «Гнев есть самовольное исступление, отчуждение человека от его собственного разума. Поэтому тот, кем овладел гнев, совершает такие поступки, какие обычно совершают сумасшедшие».

Последнее слово разгневало князя. Фотию легко говорить, находясь под сенью патриаршего престола, но, окажись он на крепостной стене, среди взбунтовавшегося моря язычников, неизвестно, какую мудрость стал бы он проповедовать в своем философском послании и уж, наверное, иначе писал бы о человеческом гневе и человеческих деяниях. Десять тарканств поднялись против князя, костры обуглили всю землю под Плиской, кони и люди вытоптали всю траву около стольного города. Посмотрел бы он, какие «поступки совершаются». Совсем не те, «какие обычно совершают сумасшедшие»... Борис подошел к окну и посмотрел во двор. Конюхи вывели белого коня, привязали к седлу соколов. Колпачки придавали птицам смешной вид, но Борису было не до смеха. Там, в Константинополе, прикидывались невинными младенцами, не давали себе труда понять, что бунт вспыхнул из-за византийской спесивости: они хотели непонятным греческим словом покорить душу народа, испокон веков борющегося против всего византийского... Неужели они не сознают этой бьющей в глаза истины или на самом деле слышат только звуки своих песен, как глухари по весне? От таких божьих ревнителей не дождешься ничего другого. Люди не могут, закрыв глаза, принимать новую веру. Они должны знать основные вещи, относящиеся к их повседневной жизни, а Фотий твердит о церковных соборах, о том, кто и за что был предан анафеме и отлучен. Всегда есть время отлучать. Теперь почти все отлучены! Надо найти что-то такое, что привяжет народ к вере, из-за этого Борис и писал Фотию длинное письмо, а не ради советов об управлении страной...

Конь был оседлан. Свита ждала. Князь прикрепил к поясу меч, накинул верхнюю одежду и оглядел людей. Не было Докса. Борис вспомнил, что два дня назад сам послал его в Преслав посмотреть, как идут строительные работы. После подавления бунта поле вокруг Плиски навевало неприятные воспоминания, и Борис втайне решил перевести столицу в новый город. Когда? Один бог ведает. Строительство шло очень медленно. Пленных стало меньше, а после войны с Константинополем он освободил всех византийцев на основе мирного договора.

Тронулись... Соколы заняли свои места на плечах князя, люди ехали позади, на почтительном расстоянии, тяжесть меча ощущалась на левом боку, лук подрагивал — но не было того прежнего азарта, который заставлял забывать обо всем. Поле напоминало о бунте, о вечере и утре перед боем. Там, где священные камни, поставили тогда пленного Ишбула. Одну его руку пронзило стрелой, она висела, как сломанное крыло птицы; в узких щелях глаз пылала нескрываемая ненависть. Он не захотел раскаяться, наоборот, назвал князя отступником, предавшим отцовскую честь и славу. Борис не совладал с собой, вынул меч и протянул кому-то из приближенных. Это был смертный знак. До сих пор видится ему голова Ишбула с застывшей в глазах ненавистью. Впервые князь позволил себе наказать пленного смертью. Он сделал это во имя старой вражды и новой веры. И вот дождался патриарших наставлений вместо понимания своих забот. Будто он только-только на свет народился! Глупейшее византийское самомнение, глупейшее византийское самодовольство... Князь не нашел нужного сравнения и пришпорил коня. Иноходец пошел ровной рысью, и звон мечей приятно коснулся слуха. Но ухо князя было настроено на звуки прошлого, они растаяли в воздухе, но остались в его сознании — как звон того меча, который отделил голову бунтовщика от тела. Звук был тупой и в то же время пронзительный, как жужжание осы... Долгое время у него не было желания браться за меч. Только когда князь решил послать миссию к папе, ему пришло в голову подарить представителю небес в знак уважения именно тот меч, которым он подавил бунт. Посольство во главе с кавханом Петром — старый Иоанн Иртхитуин и боярин Марин — отбыло. Оно везло множество даров, а также оружие Бориса, чтобы искупить его грех. Во избежание недоразумений, как с Фотием, Борис спрашивал, сильно ли он согрешил пред небесным судией, усмирив мечом взбунтовавшихся язычников. Сомнение в справедливости содеянного угнетало его душу, он хотел разобраться в самом себе и в новой вере. Миссия получила задание настаивать перед папой на самостоятельной болгарской церкви. Борис решил воспользоваться борьбой и соперничеством между двумя силами. Может, константинопольский патриарх воображает, что князь, подобно дрессированному соколу, укрощенный

навеки, сидит у него на плече, спрятав голову под кожаным колпачком? Нет, этому не бывать!

Лес темнел впереди, как стена, молчаливый и таинственный. Обычно Борис посылал вперед егерей и сокольничих — определить места охоты. Теперь он ехал без всякой подготовки, предоставив все случаю. Не охота руководила им, а желание рассеяться, освободиться от мыслей и забот, которые не давали ему покоя. Свита расположилась на опушке. Егеря уже ушли в гущу леса. Решено было ориентироваться по большому дереву на холме, густую крону которого пощадили как века, так и топор человека. Его могучий ствол был виден отовсюду. В овраге клубился странный туман, размывающий очертания кустов и деревьев. Князь оставил лошадь коноводам и вошел в лес. Под ногами шелестела прошлогодняя листва, ветки заговорщицки перешептывались, легкий ветерок пробивался сквозь заросли, будто следя за Борисом. Там, где лучи солнца проникали сквозь зеленую завесу, образовались причудливые солнечные пещеры, насыщенные отблесками света. Князь словно утонул в этом нереальном зеленом мире. Из-под опавшей листвы выглядывали грибы. Красные шапки ядовитых завораживали взгляд. Своей безмолвной таинственностью природа всегда заставляла его чувствовать себя окруженным бесчисленным множеством глаз и голосов, неведомой людям жизнью, столь же напряженной и трепетной, как и человеческая.

Князь шел медленно, осторожно, чтоб нависшие ветви не поцарапали соколов. На всякий случай решив снять птиц на руку, он остановился, прислушался. Откуда-то издалека доносились заливистый лай собак, крики егерей. Сквозь кусты перед ним просвечивало солнце. По-видимому, там была поляна. Борис миновал ее, узкую и длинную; за нею снова начался дремучий лес. Кустарник был побежден и отступил перед мощью деревьев. Дуплистые толстые стволы походили на людей в засаде. Князь высвободил ноги сокола постарше и только снял колпачок, как на поляну выскочил заяц, тут же метнулся в сторону, но освобожденная птица вмиг заметила его. Она круто налетела, и до ушей Бориса донесся слабый писк. Когда он подошел, заяц лежал на спине, отбиваясь от сокола. Увидев князя, зверек подпрыгнул, но сокол повалил его ударом клюва в затылок. Борис наступил на зайца ногой, подоспевший слуга прикончил его и убрал в сумку. Сокол вернулся на плечо хозяина, и Борис вновь закрыл его голову колпачком. Начало было неплохим. Охотясь на мелкую дичь, князь больше доверял соколам, чем стрелам. В борьбе животных было что-то сильное, первобытное. Особенно если птицы нападали на лису. С ней было далеко не просто справиться. Часто она выигрывала. Несколько лет назад лиса уничтожила лучших соколов князя. Борис тогда не успел выпустить одновременно обоих, и этого было достаточно,

чтобы лисица разделалась с каждым в отдельности. То были хорошие соколы: атакуя лису, они прежде всего старались выклевать ей глаза. Ослепленного зверя легко добить...

Борис пересек поляну и вошел в старый лес. Между стволами было довольно далеко видно. На опушке начинался овраг, за ним кусты и хилые дубки. Спустившись в ложбину, он поискал взглядом туман, который заметил перед тем, как войти в лес. Тумана не было, зато нос уловил сладковато-едкий запах дыма от дубовых дров. Князь остановился и вслушался в шум, доносящийся со дна оврага. По-видимому, там подняли кабана. Борис вложил стрелу в лук и приготовился встретить его. Стоял долго, пока шум не утих. Сзади с длинными копьями замерли двое слуг, готовые к нападению или к обороне. Когда кабан ранен, он становится злым и яростно атакует...

Борис первым подошел к месту сбора. Это был огромный дуб, изъеденный временем. Дупло походило на пещеру, и князь всмотрелся в его темноту. По всему было видно, что в нем кто-то живет. На дне лежали сухие ветви, застланные прошлогодней примятой травой. Оглядевшись, он заметил множество едва видимых тропок, ведущих к дубу. Это заставило князя отойти и осмотреть крону. На нижних ветвях висели лоскутки от одежды, дольки чеснока, продырявленные посредине,— это означало, что дерево объявлено священным. Выходит, вопреки приказам люди продолжают молиться своему богу, искать у него исцеления и спокойствия.

Неожиданное открытие снова вытеснило из души князя ровное, светлое настроение, вернуло его к посланию Фотия и утренним тревогам. Значит, и меч не может искоренить старое. Но тогда остается надеяться только на время... Когда-то Борис боялся своего народа, ему казалось, болгары склонны воспринимать все чужое. Боялся, что если откроет им дверь к Византии, то погубит их — так погибли на неведомых землях и среди других народов остальные ответвления племени. От них уже нет и следа. След-то, может, и есть, но государства нет. Это убеждение окрепло после возвращения сестры из константинопольского плена: лишь овал ее лица и разрез глаз остались болгарскими, а способ мышления, вера, даже речь, немного надменная, с легкой картавостью и неясным выговором звуков, характерных для болгарского языка, были византийскими.

Князь протрубил в рог, эхо понеслось над лесом, и вершины деревьев вернули его обратно.

В ответ затрубили другие рога. Вскоре захрустели сухие ветки под ногами приближающихся людей. Егеря пришли последними. Они вели какое-то существо, закутанное в шкуры, с длинной немытой бородой. Человек! Борис всмотрелся в это косматое страшилище. Что-то знакомое проглядывало из-под грязи, угадывалось в пристальном

взгляде. Прежде чем князь вспомнил имя человека, тот упал на колени и протянул руки, прося милости.

И князь узнал его: великий жрец, тот, кто вел мятежные толпы на Плиску и исступленными криками, обращенными к Тангре, разжигал слепой гнев бунтовщиков против него, отступника... Простить его? Если бы Борис не получил послания Фотия, возможно, он и простил бы, но после поучений патриарха о том, как надо управлять народом, он не сделает этого. Если бы Борис слушал и исполнял все, о чем писал лукавый византиец, от государства осталось бы одно воспоминание. В послании было нечто обидное, адресованное лично ему: «Лучше сделать вид, что не знаешь о задуманных бунтах, которые трудно подавить, и предать их забвению, чем раскрывать и подавлять их...»

Но это касается нераскрытых, а как быть с раскрытыми? Подавлять их или сидеть сложа руки: нате, берите меня? Тот, кто теперь валяется у него в ногах, не так давно на Великом совете сидел рядом по правую сторону от князя, завязывая в грязной бороде узелки против зла. Он покинул князя во имя старого бога и встал во главе мятежников. Разве жрец был с ними искренен? Вряд ли... В противном случае он не бросил бы их и не спрятался бы в лесной глуши. Выходит, не о людях, а о собственном благополучии думал жрец. Таким — только смерть! Если бы он отвечал лишь за себя, князь мог бы простить его, но он подвел многих и многих и должен ответить за них. Человек может ошибаться. Но вводить в грех других, чтобы этим воспользоваться,— такое прощать нельзя!

Князь отвернулся, чтоб не смотреть на жреца, и указал на дуб. Согласно старому обычаю, любимцы Тангры должны были уйти к нему, не пролив ни капли своей драгоценной крови. Бог зачисляет их советниками к себе в свиту. Князь твердо решил послать ему еще одного советника. Будущий приближенный Тангры, однако, продолжал ползать у его ног и молить о прощении. Князю пришлось еще раз указать егерям на сук. Они бросились на жреца, и вскоре его тело в ободранных шкурах закачалось на веревке...

Нигде не было покоя, и князь велел ехать в Плиску. Чем больше удалялись они от леса, тем гуще и мрачнее становились тени в его душе. Ночь застала их в пути. Над хребтом всплыла круглая луна и покатилась по вершинам, словно медный щит. Князю казалось, что если он сейчас замахнется мечом и ударит по ней, то по всей земле пойдет звон и все люди поймут его гнев. Борис был в ярости на весь этот мир со всеми его богами. Лишь белый конь, не понимая его тревоги, весело ржал. Князь поднял меч на свой народ, и народ — на него. Открылась глубокая расселина, и он не знал, чем заполнить ее. Те, кто призван понять и благословить его, чтоб он обрел покой, учили в «посланиях», как надо управлять. Ему хотелось закрыть глаза и

завыть, подобно одинокому волку, и он сделал бы так, если бы не надежда, что папа все-таки поймет его терзания. Миссия должна была привезти от него успокоение...

15

Фотий жил словно во сне. Он был во власти чувства, что каждое новое утро — последнее. Единственным утешением была Анастаси. Он уже не так тщательно прятался, когда посещал ее. Патриарх осознал истину, что все тленно на этой земле. Если уж его благодетель Варда не смог уберечься от врагов, ему это тем более не удастся.

Прочитав послание болгарскому князю, Фотий увидел, как далеко оно от жизни. Он писал его в приподнятом состоянии духа. Думал, что возвысился над земными страстями и постиг наконец большие, вечные истины, так как поверил, что бог единственно ему поручил быть пастырем человеческого стада. Витая в облаках, он и сотворил сие премудрое письмо, чтобы научить уму-разуму некоего князя, не поняв одного: все, чему он учит, лишь неосуществимая мечта, ибо, когда эта вдохновенная мечта летела, осененная божьим промыслом, убийцы Варды дерзнули осуществить свои намерения. Все, оказывается, сводилось к одному: кто опередит. Опередил Василий, более решительный и хладнокровный. Нож всажен в грудь Варды. Рука, поддерживавшая Фотия, мертва. Да и только ли она? Не было ни Антигона, ни Петрониса, ни патрикия Феофила. Все, кто когда-то кормил Василия, были отправлены на тот свет. Бывший конюх не хотел встречаться с людьми, у которых служил, чтобы своим присутствием они не напоминали ему о том, как начал он свой путь наверх. Поэтому Фотий жил будто во сне. Из всех хорошо знавших Василия остался только он. Пока, наверное, Василий считает его менее опасным, но он не забудет о нем и не пощадит его. Фотий испытывал некоторое сожаление о минувших годах. Сколько ценного времени было напрасно потеряно в борьбе за авторитет империи! Как он растревожился, узнав, что князь, которого он поучал, оказался гораздо практичнее, чем думал Фотий. Пока патриарх надеялся на свое послание, тот уже направил миссию к папе, чтоб уничтожить все завоевания Фотия, чтоб унизить его и показать воочию: пока мудрец мудрит, безумный дело вершит.

С каким прискорбием встретил патриарх византийских священников, выгнанных из болгарских земель! С какой болью выслушал весть о прибытии епископов Формозы Портуенского и Павла Поппуланского в страну, которую он считал своим духовным завоеванием! Папа Николай торжествовал там, где патриарх до вчерашнего дня рассыпал свои премудрости. Нет, нет, Фотий не из тех, кто останавливается на полдороге. Пусть завтрашний день будет для него послед-

ним, но, пока дышит, он не откажется от своих замыслов и не впадет в отчаяние и уныние. Ну и время выбрал этот болгарский новокрещеный сын Христовой церкви! Твердая рука империи безжизненно повисла, боевой меч Петрониса ржавеет, некому вразумить князя силой, вот он и приглашает папских людей в свое государство, чтобы осквернить дело, начатое Фотием. Впрочем, все это уже в прошлом, теперь у патриарха другая забота. Прежде чем покинуть патриарший престол, а может, и сей мир, он решил предать Николая анафеме. Фотий торопился созвать собор. Он хотел, чтобы люди поняли: он не менее силен, чем папа. Послание всем восточным патриархам было уже в пути. Фотий не раз перечитывал его, радуясь силе своего слова. Единственная слушательница, юная Анастаси, должна была только согласно кивать, так как в последнее время он не терпел каких бы то ни было замечаний и возражений. Анастаси понимала его. Чутьем влюбленной женщины она улавливала его постоянное напряжение, натянутое, как тетива лука. Он похудел, волосы поредели еще больше, только блеск глаз оставался прежним: кротким и обманчивым, как поверхность воды в глубоком колодце. В его взгляд она в первый раз окунулась с надеждой найти в нем опору своей любви, но ошиблась. Анастаси прекрасно осознала это, когда Фотия рукоположили патриархом; сколько слез она пролила, пока не склонила его снова посетить ее. Но это прошло. Тогда Анастаси была совсем юной и верила в прочность мужских чувств. Теперь она поняла, что мужчина больше любит похвалы себе (особенно своему уму), чем когда ему признаются в любви и говорят, например, как любимая ждала его, как с нетерпением смотрела в окно. Анастаси ведь совсем не глупа: Фотий уже в возрасте, ему надо решать множество дел, бороться с врагами, а времени ему не хватает — он все пишет, советует, приказывает, рассылает послания и даже с ней не сразу отрывается от дневных тревог, упрямо держащих его в своей власти. Она любит смотреть на его лицо с холеной бородой и на палец, прижимающий пергамент.

Обычно Фотий читал, откинувшись назад — вероятно, чтобы видеть, слушает ли она. Анастаси знала наизусть все послание, но ничего не говорила, чтобы не обидеть его. Иногда в его голосе слышался гнев, и она вдруг ощущала, что он становится ей ближе, понятнее. Он волновался, а она любила волнение — и в человеке, и в природе.

Когда патриарх читал: «Болгары, народ варварский и ненавидящий Христа, стали вдруг склоняться к познанию бога и кротости... они странным образом присоединились к христианской религии...», голос его набирал высоту, лицо озарялось внутренним огнем, и Анастаси видела, как гнев пробивает крепкую кору внешнего спокойствия. Фотий, будто пророк, поднимал палец:

«Но, о помыслы и деяния, полные лукавства, зависти и безбожия! Сей рассказ, которому следовало бы быть источником радостных вестей, будет грустным, ибо радость и веселье обратились в горечь и слезы. Не минуло и двух лет с тех пор, как этот народ начал почитать христианскую веру, а мужи злокозненные и богомерзкие (каким иным словом мог бы определить их благочестивый человек?), рожденные мраком (ибо пришли из западных стран)... увы, как рассказать об остальном? Эти мужи, подобно молнии или землетрясению, а еще точнее, подобно страшному вепрю, набросились на только что утвердившийся в благочинии и посему робкий еще народ и зубами и когтями, сиречь примерами бесстыжего поведения и извращенными нормами, опустошили возлюбленный и новопосаженный виноградник господень, насколько им хватило дерзости. Ибо изловчились они развратить болгар и отвести их от правильных и чистых догм и от непорочной христианской веры».

Здесь Фотий умолкал, вставал, и Анастаси знала: он не может читать дальше от сильного волнения, вызванного собственным словом. Она предвкушала это мгновение и ласками как бы снимала с патриарха его каждодневные заботы.

Так повторялось изо дня в день. Когда его не было, она старалась чем-либо развлечься, с неподражаемым терпением ожидая любимого, чтобы все началось сначала: чтение послания, волнение в голосе, загадочная глубина его взгляда. Предстоящий собор оживил его сердце, поглотил все внимание. Порой Анастаси подозревала, что за рассказами о ней Фотий скрывает другие тревоги, которых ей не следует знать. Всякий раз он не забывал вспомнить, как бы невзначай, об очередном изгнаннике, или о ссылке на острова, или о новой жертве, сброшенной с южной стены. В его словах она улавливала страх за самого себя. Она не смела расспрашивать, а он не спешил объяснять ей, отчего рождается страх.

Всю весну шли короткие, частые дожди. Трудно было уследить за ними: ударят струями в окна, смоют все мокрой рукой и перестанут, но стоит собраться выйти на улицу, как прогремит новый гром, туча низко нависнет, выльет на землю потоки мутной воды и промчится дальше. Анастаси предпочитала сидеть дома, у нее не было знакомых в большом городе. Родители давно махнули на нее рукой. Связь с патриархом отдалила ее от них. Они пытались выдать дочь замуж, но не смогли ее убедить и вдруг перестали давать о себе знать, будто поставили на ней крест. Они очень редко приезжали в Константинополь. Только отец время от времени наведывался по государственным делам; родители предпочитали находиться в Адрианополе, подальше от великосветских сплетен и распрей. То, что когда-то произошло между ее отцом и Феоктистом, в юности волновало Анастаси, и хотя она не знала подробностей и не интересовалась ими, но

опасения за жизнь стратига Македонской фемы Феодора не были ей чужды. Времена были бурными, тревожными: свергали и возвышали, убивали и преследовали, того и гляди, пострадает и он. Его считали человеком Варды, а теперь кесарь был заклеймен как самый черный дьявол, и даже Фотий вынужден был с амвона назвать его «исчадием того, кто ночью владеет миром». По реакции людей на перемены Анастаси понимала: все сводится к одному — кто окажется сильнее. Сильный становился истолкователем закона, присваивал правду, а слабый валялся в пыли, оплеванный вчерашними друзьями и товарищами. Теперь каждый старался представить себя врагом Варды, приписать себе несуществующие заслуги перед бывшим конюхом. Анастаси знала семью Василия, он был из фемы отца, но с тех пор, как покинул родное село, больше туда не возвращался. Поговаривали, что Василий женат на какой-то дальней родственнице бывшего императора Феофила, но все это было болтовней. Анастаси знала его жену, она была дочерью одного из сотников отца. Василий женился на ней, будучи телохранителем Варды. У них родилось трое сыновей: Константин, Лев и Стефан. Жена была умной, толковой и миловидной. Она одновременно с Анастаси приехала в Царьград — увидеть большой мир и найти при случае знатного жениха. Она нашла своего, а Анастаси утонула в холодных глазах Фотия... Тогда он был асикритом императора, его слово имело вес, как слово самых приближенных людей, а Василий был лишь одним из телохранителей.

Но это было когда-то... Вскоре мир перевернулся, и тот, кто стоял на низшей ступени, стал вдруг вторым человеком в империи, и Фотий боялся его. В этом Анастаси не сомневалась. Его волнение передалось ей, и при каждом посещении она с нетерпением ожидала последних новостей. Погрузившись в эти смутные тревоги, Анастаси не заметила, как прошла весна. И совсем неожиданно пришло лето. Казалось, будто оно скрывалось за дверью и караулило, пока ее откроют, чтоб ворваться. И солнце открыло дверь. Дожди вдруг прекратились. Солнечные лучи заполнили комнаты, накалили землю и черепичные крыши, лето подняло ввысь синее, бездонное небо. Только сейчас Анастаси заметила ласточкино гнездо под крышей и в нем птенцов с белыми шейками. Они были вечно голодные, смешные, с большими гладкими головками, с клювиками широкими и желтыми. В последнее время Фотий стал приходить реже, и Анастаси развлекалась, целыми днями созерцая ласточек. Она вынесла во двор, под смоковницу, столик, пыталась вышивать узоры, перенятые у матери, и не переставала наблюдать за птицами — лишь бы не думать. Размышления делали ее раздражительной и мрачной. Пугала неуверенность в завтрашнем дне. Фотий был гораздо старше ее, они не были в браке. Правда, он не бросил ее на произвол судьбы, купил дом, содержит ее, но упаси бог, если что-нибудь с ним случится,— куда ей

тогда деваться? К своим она вернуться не может... И Анастаси старалась смотреть на жадных птенцов, а не напрягать ум и не забивать голову заботами о будущем. Чему быть, того не миновать. Надо было думать раньше. Теперь поздно... Несчастье, если уж оно приходит к человеку, ни с чем не считается. И те, кто чувствует себя наиболее уверенно, вдруг оказываются под открытым небом, с пустыми руками. Взять хотя бы Ирину. И муж у нее был, был знаменитый кесарь, а кто знает, где она сейчас? Коль не в монастыре, то наверняка кормит рыб в Золотом Роге. После смерти Варды о ней не было ни слуху ни духу. Она будто сквозь землю провалилась. Анастаси несколько раз спрашивала Фотия, но он только пожимал плечами. Не знает? А зачем ему знать об этом! Своих тревог хватает. Ирина пожила припеваючи, погордилась, покрасовалась и исчезла так, как и появилась. И все же в стране были и умные люди, которые не связали себя с Вардой, будто предвидели все, что случится, предпочли довольствоваться славой своей мудрости, чем носить ярмо знатного лукавства. И свет они повидали, и свет увидел их ученость. Если б Фотий не связал себя с императорским двором, он мог бы быть среди них. Константин и Мефодий уважали его. Так говорил ей Фотий. И зачем ему обманывать ее; он был учителем Константина, был старше его на десять лет, они дружили, когда были преподавателями в Магнавре. Эти ее длинные размышления удивили Анастаси — неужели она так вжилась в судьбы патриарха и братьев? Она несколько раз видела Константина и Мефодия, и хотя не разговаривала с ними, но от Фотия немало знала об их жизни и скитаниях по чужим краям. А может, не столько рассказы Фотия навели ее на мысли о братьях, сколько слух о связи Константина и Ирины? Молва, как известно, разжигает женское любопытство.

Собор, в который Фотий вложил столько усилий, прошел. Папу Николая отлучили от церкви и предали анафеме. Послания о соборе размножили и разослали по всему христианскому миру, чтобы люди знали, что патриарх Фотий не дремлет, что его трудно переупрямить. Восточная церковь впервые попыталась привлечь на свою сторону императора Людовика II и его жену. Это было сделано по предложению Фотия, с целью разжечь давнюю распрю между императором и папой. Протоколы заседаний собора пестрели похвалами уму и смелости Людовика II и его благоверной супруги, защитницы справедливости и Христова света... После успешной работы патриарх, позволив себе немного отдохнуть, зачастил к Анастаси. До собора он обещал ей поездку на острова, подальше от людских глаз, там они могли почувствовать себя свободными, как все земные существа. Они выжидали, пока не пройдет жара и знатные не вернутся в город, чтоб никто не смущал их своим присутствием. Выбрали далекий остров в море, не очень зеленый, но спокойный и безлюдный. Там в небольшом скиту

жил один-единственный монах, очень старый, он уже ничего не видел и не слышал. Фотий намеревался отвезти туда Анастаси и в сладких беседах с нею под облаками и небом наверстать упущенное за прошедшие годы. Наметили дату — двадцать пятое сентября. Путешествие должно было укрепить их здоровье и вернуть им спокойствие. Но оно осталось лишь мечтой. Двадцать третье сентября все перевернуло. Императора Михаила нашли мертвым. Смерть настигла его в постели. Придворные рассказывали, что на лице императора сияла лучезарная улыбка... Фотий отпевал василевса и не видел улыбки, но заметил то, о чем не говорилось. Император был задушен. Его лицо было синим, глаза вылезли из орбит, жилы на шее так вздулись, будто он при жизни болел зобом. Тот, кто совершил это, явно недооценил своих сил, ибо на кистях покойного чернели отпечатки пальцев. Такие сильные пальцы были только у Василия — друга императора. Фотий никому не посмел рассказать, что видел и о чем подумал. Он понял: после императора настал его черед. Не мог он оказаться единственным счастливцем. Все его друзья и благодетели уже получили свое. И на следующий же день Фотий поспешил составить завещание. Прежде всего он хотел обеспечить Анастаси, а часть наследства отдать ближним и церкви. Об этом знал только государственный служитель. Как вести себя с бывшим конюхом, патриарх не ведал. Если тот потребует короновать себя, у Фотия вряд ли хватит сил и смелости отказаться. Придется возложить корону на голову узурпатора, который еле-еле может подписаться. Прежде чем покинуть сей мир, Михаил совершил свою самую большую ошибку — провозгласил Василия кесарем. Титул кесаря полагался только преемнику императора, если, конечно, у него нет прямых законных наследников. К великому удивлению всех, Василий был еще и усыновлен покойным императором. Что можно предпринять против такой неслыханной наглости, кроме как сделать вид, что ты ни о чем не догадываешься, что ты слепой дурак? И Фотий решил закрыть глаза...

16

Папа Николай чуял свой близкий конец и готовился в путь к небесным селениям. Вот уже десять дней, как он не вставал с постели, опухший и неузнаваемый. Удары сердца едва улавливались. Целители двигались на цыпочках, глубокомысленно молчали и, лишь когда выходили из покоев папы, беспомощно пожимали плечами.

Папа умирал медленно, довольный собой. Он покидал сей мир с сознанием победителя, несмотря на анафему, которой предали его восточные епископы. Николай лежал на высоком ложе, поддерживаемый со всех сторон подушками, и его волевое лицо было орошено

мелкими каплями пота. Его путь имел свой смысл и свои плоды. Лучший дар, который он преподнесет всевышнему,— это государство болгар. Только за то, что Николай сумел привлечь их в лоно церкви святого Петра, райский ключник отпустит ему все грехи и отведет лучший уголок в небесном саду. Папа отходил, но какие-то невидимые нити все еще привязывали его к жизни и приводили в движение медленные мысли. Он сделал много, получил мало, и осталось еще многое, что надо было совершить во имя веры. Как он обрадовался прибытию первых болгарских послов! Они привезли дары, оружие победителя язычников — Борисов меч — и список вопросов, взыскующих путь к истинной вере.

Ключ к ответу на них находился в руках папы, и он стал добросовестно открывать тайные дверцы в мир Христовой благодати. Были там и смешные вопросы — об одежде и штанах женщин; были и серьезные — о старых обрядах и жертвенной собаке, о конском хвосте в качестве государственного флага, о постах и выходных днях, о самостоятельной церкви и миро... И тот вопрос, особый, спрятанный среди других: грешен ли князь, кровью навязавший веру своему народу? Будучи близким к земным делам, папа тут же понял, что за этим вопросом кроются терзания растерянной души и бессонные ночи правителя, оказавшегося на перепутье. И Николай подчеркнул ответ именно на этот вопрос. Папа оправдал Бориса, ибо он действовал во имя всевышнего. Вежливо посоветовал на некоторое время уединиться, покаяться. Если б Николай только отпустил князю грех, это, возможно, показалось бы ему неубедительным, а посему духовный пастырь порекомендовал и молитвы, и покаяние.

Папа подытоживал свою жизнь. Как ни хотелось вернуться в молодость, но мысль все вела в последние годы, ибо, по его мнению, они — единственные заступники папы перед небесным судией.

Он послал в болгарское государство лучших своих людей во главе с Формозой Портуенским и Павлом Поппуланским. Они одолели все козни дьявола и чистыми руками высоко подняли святое дело. Николая раздражало лишь, что Формоза считал себя еще более ревностным святым, чем сам папа. Портуенский епископ не прикасался к женщине, искушения плоти были ему неведомы, и душа его была светлой, как ядро молодого ореха, спрятанного в скорлупе мудрых заветов господа. Именно такой пастырь мог выпестовать хорошее стадо. И если в будущем болгарская церковь станет самостоятельной, лучшего архиепископа для нее не найти. Пока же Николай оставался верным себе: только наместник святого Петра в Риме может быть главой церкви,— поэтому на соответствующий вопрос Бориса он ответил уклончиво.

Время от времени умирающий просил позвать брата Себастьяна. Тот приходил, целовал вялую опухшую руку папы и садился, с

ладонями, зажатыми меж колен. Дрожащим, срывающимся голосом, будто одолевая трудную вершину, папа расспрашивал о церковных и мирских делах. Брат Себастьян терпеливо ждал, пока папа закончит говорить, и в его кротких невыразительных глазах сияла безгрешная чистота.

Николай позвал его и сегодня утром, хотел осведомиться о положении в мире. Себастьян тут же появился, сообщил радостную весть: император всех греков Михаил III ушел в лучший мир. Молва утверждала, будто умер он не своей смертью. Вторая новость даже приподняла святого старца с подушек: враг папства Фотий свергнут новым императором, неким Василием, человеком низкого происхождения. Характеристика узурпатора не интересовала Николая. Сильное впечатление произвело только известие о поражении его лютого противника. Папа хотел было повернуться лицом к Себастьяну, напрягся, но сил не достало, и он вновь упал на подушки. Подобие улыбки озарило опухшие, посиневшие губы.

— Кончено с Фотием, значит...

— Да, святой владыка.

— Не ушел от моей анафемы.

— Не ушел, святой владыка.

— Теперь я могу спокойно умереть...

— Все мы в руках господних, святой владыка.

— Все, брат Себастьян.— Папа впервые обратился к нему по имени, и это растрогало монаха.

— Не время покидать нас, святой владыка, не время. Сколько еще дел ожидает вмешательства твоей святой десницы...

— Дел, говоришь? — обронил Николай и умолк, будто хотел вспомнить, что означало это слово. Вдруг какая-то тень набежала на глаза, и он сказал: — А что произошло с теми мудрецами Фотия? Они уже в Риме?

— Нет еще, святой владыка.

— Нет, говоришь... Если я не доживу до того момента, проучите их.

— Хорошо, святой владыка.

— Бог еретиков не жалует, так что смотрите, вы тоже...

— Сам господь говорит твоими устами, святой владыка.

Папа глубоко вздохнул, чуть слышно кашлянул и закрыл глаза. Брат Себастьян бесшумно удалился. Все еще действовала привычка, навязанная деспотической натурой Николая. Оставшись наедине с собой, божий наместник не потерял нить разговора. Он продолжал думать о послах патриарха в Моравии, которые должны были явиться в Рим и объяснить свои деяния. Как расправился бы он с ними, особенно сейчас, когда патриарха настигла его анафема! Костер, костер для них — и все увидели бы, как папа Николай защищает ус-

той церкви. Эти братья должны понести такую кару — за одну только дерзость воевать во славу врага папы на землях, по праву принадлежащих святому Петру! Какое-то глупое детское удовлетворение проступило на опухшем лице. Николай видел себя, раздувающего угли под ногами двух моравских первоучителей, привязанных к бревну, и самодовольство не покидало его. Так и оставил он этот мир, не получив отпущения грехов...

Семеро римских епископов, стоявших около его ложа, тоже не поняли, что он умер. Все-таки они решили причастить его хотя бы мертвым, чтоб никто не укорял их за леность и нерадивость. Тринадцатого ноября 867 года душа папы Николая вознеслась на небо. День был пасмурным, и она долго блуждала, пока нашла дорогу к райским вратам. Возле них ждал ключник, святой Петр, но он не слишком обрадовался прибытию земного наместника бога. Он знал упрямый и жесткий характер бывшего папы, его суровые деяния и непомерные претензии и боялся, как бы тот не сместил его.

Целый месяц шли богослужения во славу Николая, читались молитвы об упокоении души мудрого и добродетельного папы. Его преемник Адриан, сладкоголосый архиепископ церкви Санта Мария Маджоре, которого наметили еще до смерти Николая, уже распоряжался там, где все еще витал дух этого непоколебимого мужа, достойного носить меч, а не крест...

Брат Себастьян осиротел, но он прекрасно знал цену преданности. Поэтому, запершись в своей комнате и стиснув ладони меж колен, он стал думать о том, как новый папа Адриан позовет его. Монах не спешил и не волновался: ему было известно, что сначала положено знатным засвидетельствовать свое почтение божьему наместнику, а в конце очереди возникнет и он сам — когда завершатся торжества, отзвучат льстивые слова и люди останутся наедине со своими мыслями. Брат Себастьян знает по опыту, что тогда, в уединении, проступают рожки человеческих грехов, и тогда его поцелуй согреет всепрощающую руку Адриана II, его единственного земного наставника, и Себастьян вновь пойдет по своему привычному пути — из этой комнаты в папские покои и обратно. И жизнь его снова будет легкой и безмятежной, а сны — сладкими и кроткими, как у ребенка, ибо снова есть кому исповедоваться в своих грехах. Брат Себастьян посмотрел на последнее донесение: оно было из Венеции. Моравские первоучители Константин и Мефодий уже были там, и духовенство вызвало их на диспут. Дальше их дорога вела в Рим, и новый папа, конечно, поинтересуется ими, ибо они везут с собой мощи святого Климента Римского. Значит, Себастьян скоро поцелует руку Адриана II — так скоро, что кое-кому из знати и епископов придется подождать приема у папы.

Ведь неотложные дела всегда рассматриваются вне очереди.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Много дней спустя, когда пришло время отдать богу душу, Философ сказал своему брату Мефодию: «Брат мой, в одной упряжке мы пахали с тобой одну борозду. Моей жизни приходит конец, и я скоро паду на ниву. Ты очень любишь гору [сиречь монастырь на горе Олимп в Малой Азии], но не оставь ради нее учение, ибо с ним ты легче спасешь свою душу!»

Из «Пространного жития Мефодия»
Климент Охридский, IX век

Папа сказал: «Чтя его святость и любовь, я нарушу римский обычай и положу его в свою усыпальницу в церкви святого апостола Петра». Но брат его [Мефодий] сказал: «Вы не послушались меня и не передали его мне, так пусть теперь он, если позволите, почиет в церкви святого Климента, мощи которого он сюда привез».

Из «Пространного жития Константина Философа», IX век

1

Вечерами вода в венецианских каналах становилась черной. Константину казалось, будто вокруг дышит и колышется что-то живое; тяжелый застойный запах полз по городу и заставлял плотно закрывать окна. Порой из домов по ту сторону канала вырывался желтый луч света и, рассекая мрак, ложился на черную живую воду. Стражники на пристани ударяли в щиты, оповещая людей о том, что они бодрствуют и что все спокойно. Город погружался в сонную дрему все еще жаркой ранней осени.

Константин не мог заснуть. Мысли не давали покоя, и боль в желудке все чаще напоминала о себе. Если бы не эта тяжелая болотная вонь, он целыми ночами стоял бы у открытого окна, глядя на кусок неба, видневшийся в проеме между темными домами противоположной стороны. Подворье, в котором они остановились, было не самое лучшее и удобное, однако сравнительно дешевое, а кроме того, оно находилось в стороне от городского шума. Из окна было видно,

как гондолы и плоскодонки покачивались на волнах у самой двери, словно утки, молчаливые и темные. Время от времени подвыпивший гондольер пытался запеть, но быстро умолкал, испуганный криком разбуженного горожанина или такого человека, кто, бодрствуя, подобно Константину, старался дотерпеть до все еще далекого утра. Пуст город без деревьев и птиц... Философ любил зеленый цвет листвы, птичью суету в ветвях. Любил трели птиц, льющиеся, как прозрачные весенние ручейки, и напоминающие ему о вечности жизни. Город без деревьев и птиц — пустой город. Особенно вечером. Ветру, метавшемуся меж домами, не в чем было вдоволь нашуметься, негде было спрятаться и подремать. Константин погружался в свои воспоминания. Многое повидал он: и далекие сарацинские земли, жаждущие воды, и соленые хазарские степи, и зеленую Моравию с прекрасными равнинами и лесами, и чашу Блатненского озера, окаймленного высоким тростником, который был населен дикими птицами и озвучен их пением и криками. Теперь он познавал город из камня на воде — в нем была овеществлена бережливость человека, его мечта о море, страсть к торговле и, наверное, тоска по зеленой траве. Константин не допускал мысли, чтобы кто-нибудь хоть раз в жизни не захотел прилечь среди цветов на пестром лугу с травинкой в зубах и смотреть, как плывут облака и исчезают в синем далеке, где кто-то кого-то ждет.

Вот уже неделю миссия находилась в Венеции. Философ раздумывал, куда отправиться дальше. Будто угадав его колебания, пришли ученики во главе с Климентом — они хотели склонить его к поездке в Константинополь, чтобы получить необходимые церковные титулы и затем вернуться к Ростиславу или Коцелу. Они считали бессмысленным унижаться перед римским папой. Насколько им было известно, группа немецких священников во главе с зальцбургским архиепископом Адальвином поехала в Рим, дабы оклеветать братьев перед святым отцом. Ученики были уверены: теперь в Ватикане миссию ждут одни огорчения, ведь Фотий отлучил и предал анафеме наместника бога на земле. Вряд ли стоит тащиться в такую даль, чтобы добровольно сунуть голову в пасть тигру. Сначала Константин придерживался такого же мнения, но после разговора с Мефодием вдруг заколебался. Ибо в Константинополе у них уже не было никакой опоры. Савва узнал от какого-то моряка печальные новости. Михаил и Варда убиты, Фотий свергнут, на его месте сидит Игнатий. После долгой борьбы старый упрямец вновь вернулся на патриарший престол. А он сторонник папы и вряд ли похвалит усердие братьев. Зачем же туда ехать? Чтобы посмотреть на взбудораженный город? Им хватало гонений и тревог...

Братья колебались, не зная, куда повести учеников. Все-таки с ними мощи святого Климента Римского, которые они разыскали в да-

леких землях. Он хранил их до сих пор, может, и дальше не оставит? В сущности, вся надежда на святого...

Бессонница и дорога изнурили Константина, непредвиденные плохие вести приступом брали душу, и он был близок к отчаянию. Но он выдержит, не сдастся... Ведь и в самые тяжелые мгновения жизни некая спасительная рука указывала им путь через препятствия, как Моисею и его народу — через Красное море. Завтра же надо послать Савву проверить сообщения того моряка. Быть не может, чтобы никого из знакомых не осталось в живых. Но, задумываясь, Философ приходил к убеждению, что все переменилось. Другие люди правят империей и церковью. Константин знал Василия только как фаворита императора и известного силача. А силач, захвативший власть, вряд ли станет интересоваться их делом. Того и гляди, сочтет братьев людьми Михаила, и их отведут на южную стену. Философ знал: во времена подобных перемен надо быть подальше от властей.

Константин дождался рассвета и почувствовал облегчение. Еще затемно гондолы начали куда-то уходить. С шумом открывались ставни лавок. В окне напротив мелькнула женская фигура, мгновенье спустя створки распахнулись, как крылья огромной бабочки. Бог знает почему, это перламутрово-белое лицо напомнило в сумраке раннего утра лицо Ирины. Что с ней? Сумела ли она спастись или пала от меча нового властелина? Впрочем, не стоит о ней беспокоиться. Она из тех женщин, кто не останется незамеченной. Она всегда найдет крышу, под которой можно жить. Лучше заботиться о своих делах. Чем больше раздумывал Философ, тем яснее понимал, что у миссии один путь — в Рим. Последний шаг — крах или победа! Другого выбора нет! Если, конечно, они не застанут в Риме болгарских послов, о которых рассказали ему в аквилейском монастыре. Если застанут, то договорятся и отправятся к Борису. Это могло бы быть неплохое решение, хотя и со многими неизвестными. Во-первых, успеют ли, пока болгары еще там? Во-вторых, захотят ли болгары принять их? Константин знал Бориса, но ведь ему, как и Ростиславу, нужны священники с саном... Философ быстро оделся и постучал в соседнюю дверь. Мефодий был сердит: не было воды, чтоб помыться. В городе на воде это казалось невероятным. Братьям надо было потолковать о своем жизненном пути. Он и до сих пор не был таким, каким они хотели бы его видеть. А теперь сама их жизнь начинала терять смысл. К чему закрывать на это глаза? Необходимо найти решение. Твердое. О событиях в Константинополе надо сообщить остальным, и всем вместе решать: куда теперь?

Мефодий, прихрамывая, нервно ходил по комнате и, поочередно загибая пальцы, говорил:

— В Моравию возвращаться нет смысла, пока хоть один из нас не получит архиепископский сан. К Коцелу — также, в Константи-

нополь к Игнатию — ни в коем случае! В Болгарию — мы опоздали.

— Почему?

— Потому что надо было идти, как только мы узнали, что туда прибыли византийские священники. Теперь, когда к болгарским делам привлекается папа, мы им не нужны.

Мефодий загнул следующий палец, но Константин прервал его:

— И все-таки нелишним будет встретиться с болгарскими послами, если они еще в Риме.

— Да, я тоже хотел это предложить,— сказал Мефодий.— Одна дорога осталась у нас — в Рим... Рим — и будь что будет.

Решение было принято, но, прежде чем отправиться в Вечный город, надо было посетить архиепископа Венеции. Местное духовенство хотело их увидеть и узнать, как они проповедуют и на каком языке. За этим приглашением братья чувствовали ловушку. Не зря ведь сюда прибыли германские священники во главе с Адальвином.

Вести из Константинополя подтвердились: Василий — император, а Игнатий — патриарх. О Фотии моряки, которых расспрашивал Савва, ничего не знали: мертв ли он или, как раньше Игнатий, сослан на какой-либо остров. Одно было ясно: с патриаршего престола его свергли спустя несколько дней после убийства Михаила. Об убийстве говорилось так, между прочим, чаще оно называлось смертью. Теперь всем ученикам стало очевидно, почему надо идти в Рим. Они уходили, чтобы победить или признать себя побежденными. Ясная цель объединила и сплотила их. Папа уже послал в Венецию своего легата, чтоб сопроводить их в Рим; он должен был знать, что проповедуется в его владениях. Легат явился утром на постоялый двор и вручил братьям папское распоряжение. Он застал их и учеников за скромным завтраком. Его пригласили к столу, однако он отказался, пренебрежительно оглядев скудную еду. Догадываясь о намерениях папы, легат не хотел иметь ничего общего с осквернителями догмы триязычия. Он держался так, что кусок застревал в горле учеников. Но тут Савва, подняв деревянную чашу с водой, сказал:

— Предлагаю выпить за здоровье гостя, который принес нам надежду увидеть наместника бога, а Риму — увидеть нас.

Никто не засмеялся, чтоб не обидеть легата, но в глазах учеников появился веселый блеск, которого давно уже не было. Все подняли деревянные чаши с прозрачной водой и выпили. Легат, не поняв шутки, поклонился, довольный оказанной ему честью, и, подобрав подол длинной сутаны, словно скатился в лодку. Константин и Мефодий не успели даже подняться, чтобы проводить его.

Значит, папа интересуется ими... Только теперь прояснилось, почему их задерживали в монастыре под Аквилеей. Архиепископ Лу-

пос послал тогда человека, чтобы предупредить святого апостолика об их пребывании у него и об их просьбе рукоположить одного из них в сан архиепископа. Папа, вероятно, знает и о новом диоцезе в Моравии и Паннонии. Нелегко им будет... А тут еще и диспут. Братья понимали, что уклоняться нельзя. Диспут был объявлен на завтра, поэтому они заперлись у Константина и стали думать, как быть. Философ предложил выйти с мощами святого Климента Римского — так они сдержат ярость немецких священников. Мефодий согласился.

Савва, Горазд, Ангеларий и Климент хорошо понимали тревогу своих учителей. Они шли вместе с самого начала и чувствовали себя сопричастными их радостям и печалям. Наум, присоединившийся к ним позднее, был из знатной семьи, у него были свойственные его кругу привычки, он не сразу усвоил прямоту и искренность новых друзей. Сперва они считали его нелюдимом, но постепенно это впечатление рассеялось. Да, Наум был недоверчив, но иначе не могло и быть: он приехал из страны, которая с начала своего существования воюет с Византией. И тот факт, что братья и их ученики были посланы византийской державой, побудил Наума быть настороженным и подозрительным. Однако совместная жизнь их божьей дружины помогла Науму понять, что византийскими были только высочайшие рекомендации, а все остальное было славянским. Славянский язык — язык, на котором говорили люди по обе стороны Хемских гор и ниже, в Родопских горах и Солуни,— объединял всех нитью сладкогласых звуков. Что ж, пусть считают их представителями Константинополя... Пока были в Моравии, Наум сблизился с Деяном и Климентом; они первыми протянули ему дружескую руку, не спросив, чей он сын и кто до вчерашнего дня обслуживал его в отцовском доме. Нерасторопность в повседневных делах вызвала кроткую улыбку Деяна, и он взял юношу под свое покровительство. Учил, как убирать постель, чинить перья, греть воду для стирки. В первое время старик сам стирал одежду Наума, чтобы тот увидел, как это делается.

Юноша занимался всем нехотя, но потом стряхнул с себя глупую гордыню и, наблюдая за работой других, быстро усвоил свои права и обязанности в этом пестром человеческом улье. Его усердие в освоении новой письменности вызвало уважение Константина и Мефодия. Константин, который считал себя наставником Наума, питал к нему какое-то особенное, неопределенное чувство. Всегда, когда он думал о поездке в Болгарию, он связывал ее с Наумом. Ведь Наум — человек Бориса и его сестры Феодоры, он лучше всех смог бы объяснить болгарской знати, зачем братья прибыли в их землю.

И теперь, в ожидании встречи с послами Бориса в Риме, Философ уповал на Наума. Посланцы, без сомнения, узнают его, если

он — сын второго человека в государстве. Ни Константин, ни Наум не знали, что Онегавона уже нет в живых. Наум был вместе с Мефодием под Нитрой и прошел, ничего не подозревая, около безымянной могилы отца. В Болгарии, согласно древнему обычаю, на мраморной мемориальной колонне было высечено имя Онегавона и указано и место его смерти, как положено первому помощнику правителя. О его сыне в Плиске тоже не забыли. Феодора не раз говорила о Науме, и Борис в трудные минуты думал о том, как найти его. Именно сейчас князю были необходимы люди, которые знали бы учение Христа и в жилах которых текла бы болгарская кровь, чтоб он не сомневался в цели их деятельности. Разумеется, Наум и не подозревал о замыслах Бориса. Он жил тревогами учеников Константина, взявшихся за тяжелейшую работу — просветить один из славянских народов, превратить Моравию в прочный щит против немецкого духовенства. И когда росток надежды начал увядать, он печалился вместе со всеми друзьями и собратьями в этом каменном городе на воде... Сначала Венеция очаровала его красочными гондолами, яркими фонарями, звонкими песнями, улицами-каналами, по которым невозможно было проехать на коне, горбатыми мостами, соединяющими дома, красивыми женщинами, которые, выглядывая из окон, щедро дарили молодым людям свои улыбки. Все это было новым и невиданным, и только туманы над водой нагоняли тоску по синеватым сумеркам Плиски, по далеким горам и холмам, по мареву жарких дней, по осенним лесам. Наум любил лес осенью. Ему нравилось сидеть на лужайке, слушать шепот листьев, когда они, отделившись от веток, как бы говорят им последнее «прости». Поднятые ветром, листья скитались по земле, как и он, сын кавхана, покинувший своих сестер и братьев. Порой Наум спрашивал себя: не жалеет ли он? Вначале ответ приходил не сразу, но по мере того, как шло время, он становился категоричным: нет, не жалеет. Наум последовал за Константином, чтоб взять от его огня, сколько удастся. Здесь Наум нашел себя, нашел дело по своим способностям. Как одержимый трудился он над списками и украшал пергамент, чтобы засиял он всеми цветами осенних лесов, всеми красками далекой родной земли. С каждым днем чувство приязни к братьям становилось глубже и теплее, и теперь Наум готов был пойти за них в огонь и воду. Порой он грустил — грусть эта была связана со смертью первого друга, Деяна. Увидев его, мертвого, с железным гвоздем в затылке, юноша подумал: «А не положат ли и меня где-нибудь в чужую землю?» Наум и до сих пор не может простить себе эгоистического чувства, внезапно охватившего его тогда, у безжизненного тела Деяна. И он понял, что надо усовершенствовать свой дух, чтобы возвыситься над личной судьбой. Миссию ожидает много опасностей, и, если они хотят, чтобы их дело осталось жить в веках, они должны быть едиными и в радости, и в страданиях.

Тропинка вилась по скале — огромная змея, кольцами охватившая камень. Ее голова лежала в травах на лужайке, у одинокой могилы. Тут частенько присаживался согбенный годами человек, с острым горбом и большими печальными глазами, подолгу отрешенно смотрел на долину Брегальницы и о чем-то думал.

У ног его текла река, ее белая пенная грива моталась из стороны в сторону, внизу кружили птицы, во дворах монастырей двигались сплющенные фигуры братьев. Отсюда они выглядели такими же сгорбленными и безликими, как он сам. И это успокаивало его. Вглядываясь в даль времени, он вспоминал удушливую атмосферу отцовского дома со всеми его мерзостями и кознями, какие только есть в человеческом мире; глухое проклятие вырывалось из его груди и летело вниз, словно камень, отломившийся от утеса, и долина его души наполнялась ропотом. Хорошо, что он убежал из того затхлого мира с его фальшивым блеском, с взглядами, в глубине которых таились коварные мысли. Иоанн нашел себя здесь. Однако его скрюченное хилое тело не обрело покоя. Умелые длинные пальцы Иоанна переписали множество книг, которые должны были пойти к людям, но, к сожалению, лишь немногие могли прочесть их. Иоанн не сумел увеличить число грамотных, как наказывал Константин; не хватило сил перебороть болезненное честолюбие, ибо он был человек, униженный природой. Когда Иоанн собрал первую группу учеников, чтоб показать им новые письмена, насмешка, которую он уловил в их глазах, прожгла его насквозь, и желание обучать их вдруг пропало. Лишь двоим горбун сумел кое-что вдолбить в головы, и на них он постепенно переложил заботы об учениках, а сам уехал с Феодорой в Плиску, надеясь, что путешествие вернет ему душевный покой. Оказалось, что его обостренные чувства нигде, кроме как в горах, не находят мира и успокоения. Он не смог жить во дворце Плиски, несмотря на заботливость окружающих. Мнительность заставляла Иоанна быть всегда настороже, и он считал, что доброе отношение вызвано сожалением к нему. Только один человек не жалел его, говорил с ним, как с равным. Константин! Он был его врачом, другом, братом; он и учил его, и бранил, потому что не видел в нем калеку. Такого отношения к себе искал, но не находил Иоанн, везде наталкиваясь на сожаление или насмешку. Иоанн решил покинуть Плиску. Она напоминала ему прошлое. Правда, Плиска не Константинополь; но там, где дворцы, всегда не хватает воздуха. Иоанн искал простоты в отношениях и тишины в природе. И он решил вернуться в Брегалу. В Плиске он чувствовал себя никому не нужным. Чего только не делала Феодора, чтобы удержать его, но все было тщетно. И она велела отвезти его в Брегалу, подарив ему на прощание шубу

и две золотые иконки, написанные монахом Мефодием. Иоанн поблагодарил за подарки, как нищий, и отправился доживать свои дни в пещере на скале, где когда-то обитал неизвестный отшельник.

Иоанн ничего не слышал о детстве Климента, поэтому ни надгробный камень на лужайке, ни сама пещера не были связаны в его сознании ни с кем из знакомых людей. У него была крыша над головой и свой взгляд на мир с высоты, подаренной ему природой. Большая шуба была хорошим одеялом. Он укутывался в нее весь, вместе со всеми своими мыслями и желаниями, с огорчениями и редкими радостями. Одна из этих радостей — это посещения бывшего ученика, который рассказывал о жизни братии и приносил вести из разных стран. Два дня назад он сообщил о новостях в Царьграде. Оказывается, там бог покарал одних, а на других взвалил новые грехи.

И в первый раз Иоанн почувствовал себя камешком этой горы. Он отломился здесь и здесь остался, ибо с тем миром, откуда он пришел, ничто больше не связывает его, кроме воспоминаний и чувства ненависти. Он боролся и с ненавистью, и с воспоминаниями, словно выдергивал упрямую крапиву, но на руках оставались волдыри, и они с еще большей силой напоминали о прошлом. Иоанн не мог понять, что, отказываясь от живой жизни внизу, он обрекает себя на воспоминания. Скала, на которой он жил, была очень высокой, а потому, к сожалению, не помогла сосредоточить его взгляд, обращенный к старым и новым страданиям, на чем-нибудь близком. Сидя на зеленой лужайке, Иоанн походил на черного крота, неожиданно вылезшего на белый свет, чтобы поглядеть на птиц и людей. Еще одну радость приносили ему птицы. Уже на исходе зимы они устраивались на ветвях, проверяли прошлогодние гнезда, склевывали сгнившую кору и искали личинок. С наступлением весны их голоса набирали силу и высоту. Иоанн затихал в суете птичьего мира, на душе становилось светлее, он хранил в памяти каждый звук — расцветало врожденное чувство музыкальности, выстраивая в его сознании странный птичий язык, который изо дня в день обогащался, пока Иоанн не осознал, что уже понимает его.

Впервые он попытался побеседовать с ними в период сумасшедшей вакханалии соловьиных ночей. Услышав его голос, лес притих, ошарашенный этим чудом, и потом ответил. Иоанн повторил — повторился и отклик. Тогда, испугавшись самого себя, он встал с камня, огляделся вокруг — нет ли поблизости окаянного — и быстро ушел в пещеру, укутался с головой в шубу и до утра не сомкнул глаз.

С этого дня он регулярно сидел на камне и слушал птичью перекличку. «Ты где?» — спрашивал заблудившийся воробышек. «Здесь,— отвечала воробьиха.— Иди сюда, я нашла что-то хорошее». Иной раз Иоанн становился непрошеным свидетелем объяснений в любви.

«Я люблю тебя, люблю!» — пел снегирь, и эта радость любви не смущала никого. Однажды, увлеченный этим зовом, Иоанн повторил его вслух, высоким и звонким голосом. Лес онемел на мгновение, но потом каждый куст торжественно ответил: «Люблю тебя!.. Люблю тебя!..»

Пораженный, Иоанн увидел, как птицы полетели к нему, чтоб посмотреть на него и разделить его радость. Подумав, что он сходит с ума, Иоанн упал в траву и зарыдал. Никогда в жизни не произносил он этого слова вслух. Когда-то он любил Ирину, любил самозабвенно, но так и не смог признаться ей в любви — ведь уже в первую их ночь она ушла к другому. И душа его затвердела в неразделенном одиночестве, забыв само звучание слова «люблю». Долго плакал Иоанн, жалость к себе выжимала все новые и новые слезы. Константин хотел от него песен, которые бичевали бы зло, но Иоанн все больше убеждался, что не способен создать их. На этой земле он был человеком без ясной цели, горемыкой, сбившимся с пути, рабом собственного обостренного честолюбия... Неужели нельзя это болезненное честолюбие превратить в тетиву, с которой будут запускаться острые стрелы его песен? И он закрывался в пещере, брал кисточку и пергамент, но вместо гнева в душе затевал свою нехитрую мелодию веселый снегирь: «Люблю тебя, люблю!..» Иоанн понимал, что его душа состоит из многих и противоположных душ, воюющих между собой и лишающих его покоя: радость одолевала злость, злость — тоску, тоска — испепеляющую ненависть, ненависть — бесконечную печаль. И стоило показаться ростку надежды, тотчас же налетали холодные вихри бескрылого одиночества и ненависти ко всему на свете.

Шли дни, и Иоанн со странным удивлением осознал, что он — никому не нужная земная тварь, появившаяся только для того, чтобы люди со странным любопытством взирали на еще одно существо — не то животное, не то человека. Эта мысль родилась, когда он понял, что ему некому сказать «я люблю тебя». Он перестал заботиться о своем теле. Запасы кореньев и лесных ягод, которыми он питался, убывали. Раньше он целыми днями бродил в дубняке в поисках черепах. Иоанн связывал их за ножки тонкой веревкой и хранил до наступления скоромных дней. Когда угли в очаге раскалялись, он закапывал в них черепах и быстро выходил из пещеры, чтоб не слышать их скрипучих стенаний. Зверь не умер в нем, он не мог без мяса. Утолив голод, Иоанн садился у камня и смотрел вниз, на сплющенные фигурки в монастырском дворе.

С каждым днем ненависть к людям усиливалась и жгла его душу. Иоанну казалось, что люди виноваты в его отчуждении, и только один среди них продолжал связывать его с миром — Константин... Ибо он возвышался над людьми. Еще при жизни Философа Иоанн увенчал его нимбом святого и не позволял себе усомниться в этом.

Иоанн ослаб и стал видеть Константина во сне. В первый раз привиделось ему, будто Философ поднимается в гору. Усталый, волосы на высоком лбу слиплись от пота, рука указывает вперед. За ним идет группа людей, и только один из них остановился посреди дороги — какая-то сильная боль заставила его присесть на землю,— но взгляд устремлен вслед тому, кто ведет их. Сон расстроил Иоанна. Если б он пошел с Константином, его жизнь не утратила бы смысла, а теперь он обречен на одни воспоминания. Впереди ничего и никого, и некому указать Иоанну путь ввысь. Даже пергамент не побуждал к творчеству. Песни не рождались, ибо их некому было читать и нечему было служить. Он уподоблял себя тому человеку из сна, который остановился посреди пути. Но взгляд того был устремлен за учителем, а взгляд Иоанна обращен назад, в прошлое.

Он мог разговаривать лишь с птицами, но радости их навевали на него печаль: было как раз то время, когда матери учили птенцов летать. Веселый шум стихал лишь к вечеру, голос филина оглашал долину, и его круглые глаза, словно две золотистые луны, повисали над какой-нибудь веткой. От этих глаз у Иоанна ползли по телу мурашки, и он зябко кутался. Только языка филина не выучил он, да и не хотел его знать. Иоанна пугало, что они так похожи друг на друга: он выбрал мрак пещеры, филин — вечную ночь... Даже летучие мыши казались ему привлекательнее, потому что в их писке было что-то нежное и робкое. На этом все кончалось. Это было вокруг него, с этим он жил и дружил.

Однажды в Брегалу приехала Феодора. Она послала людей за Иоанном. Он долго колебался, но не спустился вниз. Просил передать, что болен. Придуманная болезнь должна была встать между ними преградой, но получилось наоборот. Феодора пришла к нему и ужаснулась, увидев суровую пещеру отшельника. Не поняв душевных терзаний Иоанна, она упала перед ним на колени, как перед святым. Он молчал, и в его взгляде было презрение к себе: он еще может вводить людей в заблуждение! В искренность Феодоры он не верил. Он думал, что, если бы захотел жениться на ней, вся эта фальшивая набожность слетела бы с нее и она тоже стала бы презирать его, потому что у него есть только мужские желания, но он — не мужчина; женщина, набожная или нет, ищет силу крепкой мужской руки, и не только руки. А что он?

Он — тряпка... Но разве подобные ему люди не становились святыми, ибо верили? Да, но он-то не верит. Во что верить? Патриархов свергают одним махом, возводят на престол новых, не сообразуясь с небесными законами, предают людей анафеме, один убивает другого во имя какого-то бога. Зачем? Кто может объяснить ему? Где Константин, который успокоил бы его мудрым словом и добротой душевной? Иоанн верит только в него, ибо он воюет во имя добра, ради

людей. Его не остановят ни патриарх, ни папа. А так... верить может любая овца, но объяснит ли она, во что верует? Бог!.. Иоанн прочитал немало древних и новых книг. Древние эллины придумали множество богов — столько, сколько им было надо. И для земли, и для красоты, и для войны, и для мудрости. И, может быть, они были правы. Каждый поклоняется тому, кого любит. А теперь все стремятся узаконить одного-единственного бога, но не каждый его любит. Иоанн, например, не может сказать «я люблю тебя» какой-нибудь женщине, потому что она осмеет его. Те, кого мы любим, ранят нас больнее всех. Тогда какой смысл говорить единственному богу, что он любит его, если он его не любит? Да и как любить его, если он сделал свое дело небрежно и сотворил Иоанна... не таким, каковы все остальные люди.

И Иоанн прошел мимо упавшей ему в ноги княжеской сестры. Приближенные расступились перед ним, и на глазах у всех он исчез в складках гор. Через два дня пастухи нашли его... Он повесился на старом дубе, недалеко от пещеры.

Феодора велела похоронить его на вершине скалы и построить у пещеры монастырскую келью в память святого Иоанна Брегальницкого.

3

Савва вошел к Константину.

— Они собираются,— сказал он.— Посмотрите, сидят, точно вороны, на лестнице храма.

— Ждут нас, значит...

— Ждут, учитель.

— Тогда не будем озлоблять их своим опозданием,— сказал Константин и быстро встал.

Вслед за ним встали ученики. Климент и Горазд взяли ящичек с мощами святого Климента Римского и сошли к гондолам. В первой гондоле плыли испытанные спутники братьев — Савва, Горазд, Наум, Климент, Ангеларий; в остальных — младшие ученики. Холодные стены домов высились по обеим сторонам канала. Этот холод угнетал и нагонял страх на малодушных. Савва попросил гондольера подождать остальные гондолы, поднял руки и запел молитву во славу Климента Римского, сотворенную Константином. Песня, медленная и торжественная, подхваченная голосистыми учениками, заполнила пространство меж домами, эхо усилило ее, и она зазвучала, как в церкви. Такой песни Венеция не слыхала. Распахивались узкие окошки, любопытные слушатели то и дело издавали одобрительные возгласы. Это придало ученикам уверенность, и их голоса с еще большей силой вторглись в пространство между небом, водой и камнем. Гон-

дольеры, не понимающие слов песни, но чувствующие красоту мелодии и порыв молодых голосов, гордо поглядывали на открытые окна, довольные впечатлением, которое производили их пассажиры. Отовсюду слышалось:

— Браво!

— Брависсимо!

Замкнутый каменный город вдруг утратил свою холодность. Синий, словно небо, цветок вылетел из ближайшего окна и упал к ногам Саввы. Он торжественно поднял его над головой, и песня грянула еще дружнее. Гондолы пришвартовались, ученики высыпали на каменную площадь и увидели огромное множество людей. Все папское духовенство стеклось сюда, чтобы поглядеть на еретиков, на возмутителей божьего порядка, развращающих людские души неведомыми письменами. Горазд и Ангеларий расступились, пропустив братьев вперед, и высоко подняли ящичек с мощами. Песня оборвалась. В тишине какой-то калека бросился к ним, чтобы поцеловать мощи, но так и не добрался до них. Двое сильных священников перехватили его, и он исчез за черной суровой стеной папистов.

Константин и Мефодий шагнули вперед. Их взгляды встретились с холодным взглядом архиепископа Адальвина... Слева от него находился архиепископ Венеции, благообразный старец, отяжелевший от лет и добротной пищи. Братья остановились у лестницы, и до их слуха донесся вопрос:

— Диспут будет в храме, владыка?

По ответу оба поняли, что все заранее обдумано и подготовлено.

— Разве можно впустить в храм божий льстивое слово еретиков? — спросил Адальвин, и толпа затихла.

Началось. Константин сделал шаг вперед, улыбнулся.

— Пилат сказал те же слова, прежде чем умыть руки в крови господней,— спокойно произнес он.

Архиепископы переглянулись. Похоже, братьев ничуть не смущало присутствие такого множества папских людей. Напротив, они даже дерзко улыбались. Тот, что постарше, держал в руках священное Евангелие, младший — крест господень. Его высокий лоб венчали густые с проседью волосы, борода была тоже густой и холеной. В глазах обоих светилось синее небо — таким ясным оно бывает только весной. Начало не предвещало хорошего конца. Адальвин еще не понял этого, но старый архиепископ Венеции, привыкший оценивать людей с первого взгляда, был смущен вступлением в диспут. Однако раньше, чем он успел вмешаться, Адальвин как-то поспешно кинул гостям вопрос:

— Молитва священна в праведных устах. Прежде чем судить нас и ставить на одну доску с Понтием Пилатом, скажите, кто вы такие и почему, ненужные и незваные, смущаете души людей?

— Если пойдете и спросите жителей Великой Моравии и Паннонии, они ответят вам, кто мы, ибо слушали наше слово и с его помощью постигли истины божьи. Но для тех, у кого нет ушей, чтобы слушать, и нет разума, чтобы воспринять божественную истину, самые мудрые слова — лишь пустой звук.

Это было произнесено с достоинством. Константин не вдавался в объяснения, а сохранил за собой право нападать. Венецианский архиепископ все больше убеждался, что перед ним человек мудрый и хитрый.

Обе группы, стоящие друг против друга — одна выше, другая ниже,— продолжали перебрасываться взглядами и словами. Те, кто нападали, еще не устремились в атаку, те, кто оборонялись, еще не приготовились к ней.

Солнце стояло высоко в небе, но лучи его не падали на укрывшихся в тени храма, а освещали только живописную группу непрошеных гостей. На самом-то деле гости были приглашены, ведь папа ждал их в Риме. Здесь присутствовал его легат, которому велено было отвезти их в Вечный город. Он молча стоял по правую руку от Адальвина, и его безразличный взгляд, казалось, говорил: подобный диспут в подобном городе, а не в Риме меня не интересует, и пусть его ведут те, кто его спровоцировал. По-видимому, лаконичные ответы и долгие паузы взвинтили нервы. потому что Адальвин спустился на ступеньку вниз и, еле сдерживая гнев, спросил:

— И все-таки мы, собравшиеся здесь, хотим знать, кто вы такие.

Неумение зальцбургского архиепископа владеть собой обрадовало Философа, и он решил дать ему еще более отвлеченный ответ.

— Прежде чем отправиться в праведный путь,— сказал он,— Моисей обратился с молитвой к богу: «Господи, ежели они спросят меня, кто я и кем призван быть их пастырем, что мне ответить своим людям?» А всевышний, подняв руку, сказал: «Ответишь так: я тот, кто есмь...»

Еле дождавшись окончания ответа, Адальвин вернулся на свое место и прошипел:

— Это дерзкая мысль! Ты кто, пророк, что ли?

Философ тут же отпарировал:

— Бог давно изрек устами Соломона: «Попридержи язык, человек, не сквернословь!»

Однако Адальвин не желал сдаваться:

— Из Моравии дошел слух о вашей новой ереси!

— В чем же она состоит?

Адальвин, указав на Константина пальцем, ехидно улыбнулся:

— Наверно, сам боишься сказать, потому и спрашиваешь меня! Тебе лучше знать... Говори! Пусть все папство поймет, почему ты ве-

зешь в Рим святые мощи, если в душе у тебя не вера, а черный дым!

Обвинение все еще высказывалось в общих словах, и потому Философ не спешил отвечать. Его спокойствие явно раздражало Адальвина. Взгляд архиепископа стал ледяным. Константин видел, как подрагивает его левая рука, придерживающая тяжелый наперсный крест. Похоже, архиепископ испытывает страх. Но все же не стоило недооценивать противника. Не в первый раз обвиняли Константина в распространении черного дыма, и потому он не волновался. Положив руку на свой крест, он сказал четко и твердо:

— Дым подобен тени нашего земного пути. Сам дух господень был во мраке, когда он воскликнул: «Да будет свет!» И был свет. И это было хорошо... И этот свет, более ясный, чем свет солнца, живет в моей душе. Зря ты обвиняешь. В лукавую душу премудрость не идет, и этому я радуюсь, слушая тебя сегодня...

Адальвин помрачнел и потерял самообладание.

— Ты нарушаешь догмы, созданные им! — и он указал на небо.

Впервые не удержался Мефодий:

— Ты ошибаешься! Разве сам господь не нарушил святой догмы?

Молчаливая стена папистов будто треснула, и несколько голосов возопили:

— Это святотатство!

Философ невозмутимо продолжал:

— Когда всевышний сотворил землю, он дал будущему народу не соху, не имущество, но общий для всех язык. Однако люди собрались и в злобе своей решили воздвигнуть высокую башню, до самого небесного престола. Начали стройку. Вершина уже пробила небо, а башня все росла. И господь испугался: вместо камней — кирпич, вместо грязи — смола! Их общая сила была беспредельной, и тогда он, с тревогою посмотрев вниз, сам нарушил свою догму и дал всем мастерам различные языки. Стройка тотчас же остановилась, ибо никто никого не мог понять... Не так ли было, скажи?

Ученики зашумели. Тогда, оттеснив Адальвина, взял слово архиепископ Венеции:

— Тихо, я хочу говорить. Мы узнали, что ты создал неведомые знаки и ныне проповедуешь слово божье на варварском языке. Разве ты не знаешь, отче, что с тех пор, как крест Христов был поднят на Голгофе, все человеки славят небо только на трех языках?

Снова раздались голоса папистов:

— Грешен он!

— Нарушает святую догму!

— На костер! Смерть им!

Константин улыбнулся, и светлая эта улыбка больно задела противников.

— Лишь теперь получил я разумный вопрос,— сказал он,— и я отвечу. Разве на просторах земли не живут самые разные племена, разные птицы и разве их языки и звуки не богом даны им? Почему же в таком случае какой-нибудь священник строго осуждает то, что создал господь? И теперь не закидываете ли вы все его грязью? Если есть солнце и ясный свет, почему же кто-то должен прозябать во мраке? Молчите? Да, молчите. Потому что он смотрит оттуда,— и Константин поднял руку к небу.— Потому что перед ним, верю я, вам сегодня стыдно. На слово его вы налагаете узду, а он всем нам дает кусок хлеба, воду, дождь, воздух и жизнь. Так почему вы запрещаете плод жизни, созревший в моей душе и предназначенный тем, которые говорят сегодня на славянском языке и которые являются плодородной нивой, где мудрость может изумительным образом проявить себя?

Воцарилось напряженное молчание, а затем вступил в диспут представитель папы, до сих пор хранивший напускное безразличие. Слова Константина смутили его, но они основывались на примерах из жизни и не были подкреплены ссылками на священные книги. Поэтому легат решил повторить вопрос венецианского архиепископа, но дать ему каноническое направление. Приложив два пальца к груди, он сказал:

— И все же скажи нам, человече, как это ты придумываешь книги для славян и учишь их? До сих пор никто этого не делал — ни апостолы, ни папа римский, ни Григорий Богослов *, ни Иероним * или Августин *. Мы знаем только три языка, на которых следует в книгах восславлять бога: еврейский, греческий, латынь.

Снисходительное обращение «человече» рассердило Философа, но он не подал и виду.

— Скажите, считаете ли вы бога бессильным дать то, что он хочет? — спросил он и, бросив взгляд на легата, продолжал: — Или вы считаете его завистливым, а потому не желающим дать это? — И, не дождавшись ответа: — А мы знаем немало народов, у которых свои книги и которые славят бога на своем языке. Это армяне, персы, авасги, иберийцы, согды, готы, авары, тирсы, хазары, арабы, египтяне и многие другие — перечисляя народы, Константин загибал пальцы правой руки, и взгляды всех сосредоточились на ней. На каждый палец приходилось по два народа, и еще два оставалось. Константин нарочно взял число «12», по количеству апостолов,— число, священное для церкви. Подняв взгляд от руки, он продолжал: — Если вы не хотите признавать эти примеры, так послушайте божью волю, высказанную в Писании. Давид говорит: «Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу, вся земля». И далее: «Восклицайте Господу, вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте». И еще: «Воскликните Господу, вся земля! Служите Господу с веселием». А в Евангелии ска-

зано: «А тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими». И в том же Евангелии: «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне и я в Тебе». А пророк Матфей говорит от имени Иисуса: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се Я с вами во все дни до скончания века. Аминь!» Говорит и Марк: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками». А вам, законодателям: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете». И еще: «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения: сами не вошли и входящим воспрепятствовали». А коринфянам говорит апостол Павел: «Я желаю, чтоб вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками,— разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание. Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, чтó вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет «аминь» при твоем благодарении? Ибо он не понимает, чтó ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего: я боле всех вас говорю языками; но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Братия! Не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни».

Так говорил Константин. На тесной каменной площади стояла

тишина, словно не было тут живых людей. Свободное обращение со священными книгами и словами апостолов поразило всех, и никто не спускал глаз с Философа, боясь пропустить что-либо большое и мудрое, произносимое его устами. Он цитировал апостола Павла, но так, будто высказывал свои мысли. Дело же Константина настолько совпадало с поучениями апостола, что и самые злобные папписты чувствовали, как почва ускользает у них из-под ног. Легат больше не смотрел на всех пренебрежительно — он соображал, как бы ему достойно выпутаться из этого диспута. Легат смотрел на поседевшие волосы Константина, в его голубые глаза, и ему казалось, что он утопает в этих глазах вместе со своими скудными знаниями, а ведь он считал себя одним из столпов Западной церкви. Константин вновь поднял руку, и голос его прозвучал властно и сильно:

— «Итак, братия, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками: только все должно быть благопристойно и чинно... И каждый язык пусть проповедует, что Иисус Христос есть господь во славу Бога Отца, аминь».— Константин помолчал немного и добавил: — Это слова апостола Павла, и если мне вы не верите, то ему поверить должны...

Снова воцарилось молчание. Адальвин не мог примириться с поражением. Он стал спускаться по лестнице, но, увидев, что все неодобрительно смотрят на него, воздел руки к небу:

— Не верьте ему! Он лжет! Он весь во грехе... Нарушает святые догмы! На костер! Смерть им всем!

Прежде чем Константин ответил, вскипела горячая кровь Мефодия. Он шагнул навстречу зальцбургскому архиепископу.

— Слепец, почему ты мечешься в бессилии своем? — спросил он, и суровое лицо его запылало от едва сдерживаемого гнева.— Бесплодна ярость твоя. И рука твоя не может убить все видимое, а как же ты остановишь дух наш? Он клокочет в глубине наших душ, он тащит за собою ваши вековые догмы, он ищет свет! Глядите и прозревайте: славянская стена, которая возводится и уже достигла неба, вселяет страх в каждого властелина, а вы в слепой злобе кидаетесь на нее, но тщетно — об эту стену разобьются и ваши головы!

— Проклятие! — крикнул взбешенный Адальвин.

Константин вмешался еще раз:

— Не кричи! Остановись, не кричи. Великан пробуждается, славянские народы набирают силу, и разве не придет время, когда взойдет их звезда?

Венецианский архиепископ спустился по лестнице, подошел к ящику с мощами святого Климента Римского, поцеловал его и сказал:

— Бог вам судья! Идите, чада.

По знаку Саввы ученики грянули молитву во славу Климента

Римского, и их голоса будто вихрем сдули папских людей. Они поспешили войти в храм и закрыть двери, чтобы не слышать торжества победителей.

4

Борис чувствовал, как укорачивается его время, но не понимал, что бешеный водоворот жизни затягивает его, правителя страны, которая не знает, куда идет. Болгарские посланцы побывали в Риме и вернулись назад. Ответы папы, более человечные и реалистичные, чем послания Фотия, побудили Бориса быть решительным и ясным по отношению к себе и к народу. Он открыл ворота государства для римской церкви и закрыл для восточной.

Люди Фотия поняли: для них уже нет места на болгарской земле. Их выгоняли без каких бы то ни было объяснений. Их легковерное торжество, которое они считали прочным, подвело их. Их уход был подобен бегству, и всюду их преследовала злоба вчерашних язычников.

Священников группами отвозили на границу и выпроваживали с шутками и насмешками.

По всей стране уже ходили папские священники, епископы, аббаты и более мелкие чины, чтобы по второму разу крестить болгарский народ. Болгары теперь не прятались: они привыкли к тому, что во имя новой веры либо убивают, либо ублажают. Но самое главное не менялось: язык веры оставался непонятным для народа.

Толмачей было очень мало, и они помогали только епископу.

Борис любил уединяться с епископом Формозой Портуенским и беседовать о церковных порядках. Князь видел, сколько трудностей было связано с введением новой религии. Не было ни церковной утвари, ни зданий, более или менее подходящих для церквей. Бывшие капища перестраивались в церкви, но, как во всем перекроенном, в них оставалось много неудобств. В отличие от константинопольских священников папские люди вели себя внимательно и вежливо. Они держались не как завоеватели, а как учителя, пришедшие передать свои напутствия. Борис велел доверенным людям следить за работой и поведением посланцев Рима и все больше убеждался в их добрых намерениях. Формоза был аскет, его не манили ни вкусная еда, ни женщины; о нем говорили, что, сколько он себя помнит, ни одна женщина не имела над ним власти. Это поднимало его в глазах болгар, которые, как известно, любят женщин. И хотя Формоза имел все возможности одеваться в шелк и дорогие ткани, он не снимал истертой власяницы, презрев земные удовольствия и роскошь. Мало кто спо-

собен так противиться соблазнам, и удивление постепенно переросло в глубокое почтение. Да и речи его были умными, дельными, без излишней назидательности. Он умело затрагивал те вопросы, которые интересовали людей: как связать религию с повседневной жизнью, что искоренить и что оставить от старого. Это были практические советы, полные тепла и заботы о ростках нового в душах людей. На одной из встреч между послами Бориса и Людовика Немецкого был возобновлен союз. Немецкое королевство направило в Болгарию повозки с церковной утварью, одеждой и богослужебными книгами для священников.

Повозки сопровождала внушительная группа духовных лиц во главе с Германриком, опытным епископом Пасау. Он был из числа немногих западных священников, хорошо знавших Болгарию.

При встречах и разговорах с гостями князь старался не упустить из виду главного — создания самостоятельной болгарской церкви. Он часто перечитывал ответ папы, из которого следовало, что святой отец пытается отложить решение основного вопроса. Папа писал: «Невозможно окончательно ответить вам на этот вопрос, пока не вернутся наши посланцы и не сообщат, много ли у вас христиан и есть ли между ними единомыслие. На первых порах вам достаточно епископа, а когда христианство распространится по всей вашей земле и будут рукоположены епископы для каждой церкви отдельно, тогда из их среды будет избран один — если не патриарх, то архиепископ,— к которому будут обращаться все».

Этот ответ до известной степени был правильным, он был вручен первому болгарскому посольству, вместе с которым прибыли и папские люди. Рим и вправду не знал страны болгар и силы укоренения христианства в народе. Ответ содержал и обещание относительно главы болгарской церкви, и с тех пор, по мнению Бориса, прошло достаточно много времени, чтобы можно было перейти от слов к делу. Но такой перспективы не вырисовывалось. Борис чувствовал, что пошла большая игра, знал, что он уже включился в нее и не остановится, пока не добьется своего. Если он даст малейший знак Константинополю, то получит, чего хочет, но он решил пока не торопиться. По правде сказать, Восточная церковь пугала его своими домогательствами ввести в Болгарии греческий язык и вселить уверенность в византийцев, осевших па недавно завоеванных болгарских землях. Присутствие византийских священнослужителей превращалось в бич для народа и государства, и Борис отдавал себе отчет в том, что это было одной из причин бунта против него.

Борису нравился Формоза. Его строгость устраивала князя, человечность согревала душу. Для себя Борис решил: он будет настаивать на том, чтобы этот епископ возглавил болгарскую церковь. Всех остальных князь подозревал в наклонностях к мелким хитростям, в

отступлении от истинного божьего дела. Князь судил о людях и по их любви к золоту, которая в большей или меньшей мере была свойственна каждому человеку. Формоза был полностью лишен накопительской страсти, и это ставило его много выше всех других посланников папы. В ответах папы Борис нашел и утешение для себя: «Итак, Вы сообщаете, как по божьей милости Вы приняли христианскую веру и как побудили окреститься весь Ваш народ; однако новокрещеные единодушно и с большой свирепостью поднялись против Вас, заявляя, что Вы им дали плохой закон, и они хотели убить Вас и поставить правителем другого; и еще пишете о том, как с божьей помощью одолели их всех, от мала до велика, как были преданы смерти все бунтовщики из знатных родов вместе с их семьями и как Вы не причинили никакого зла тем, кто не принадлежит к этой знати. Вы хотите знать, согрешили ли Вы, лишив жизни...» И Борис особенно усердно перечитывал папское отпущение грехов и советы о покаянии.

Сорок суток провел он в дворцовой молельне в бдениях и чтении молитв и почувствовал, что все душевные терзания улетучились, словно дым от ладана.

Князь стал неузнаваемо кротким, неторопливо-спокойным при принятии решений, которые могли бы уронить его престиж, и люди относили это за счет его глубокой набожности. Но они ошибались. Просто он вернулся к испытанным и проверенным началам управления государством, которые сам установил для себя после того, как потерпел разгром от немецких войск.

Борис уклонялся от всех встреч и всех переговоров, всегда посылая кого-нибудь из приближенных. Он боялся, что личное участие слишком обязывает, и предпочитал оставаться в тени. Так создалось впечатление о некой таинственности и о более свободном отношении к принятым обязательствам, так внушался страх и перед широкими просторами болгарских земель, и перед неизвестностью мыслей и планов князя.

Борис вместе с приближенными поехал в Преслав. Новая религия требовала новой столицы. Все вокруг напоминало о первых шагах христианства, которые были не слишком удачны. А Преслав будет детищем и свидетельством его благочестивости. Там уже строились прекрасные дома и высокие церкви, городские стены светились белизной, а искусные живописцы и резчики по дереву создавали настоящую сказку под названием «Преслав».

Князь ездил туда по крайней мере раз в месяц. И как некогда мысли его были заняты тревогами о государстве, так теперь он не переставал думать о борьбе двух церквей. Болгария стала золотым яблоком раздора. В сущности, раздор существовал и до него. Князь лишь воспользовался им для устроения церковных, и не только церковных дел. Европа и Византия с ожиданием смотрели на него и на

него надеялись. Его государство стало третьей силой в мире, и он не хотел размениваться по мелочам. Это государство должно иметь хорошие города и крепости. Борис собрал в Преславе ремесленников со всех концов страны. Звон наковален был слышен издалека. Ковалась обшивка для массивных дубовых ворот внешней крепости, отливались колокола и кресты для куполов божьих храмов. Медники выковывали свирепых львов и барсов, когтистых птиц и сцены охоты, золотых дел мастера корпели над тем, чтобы придать металлу чудесный блеск, и их искусные руки создавали украшения и золотые нимбы над головами святых.

Церковь уже назвали Золотой, хотя она еще не была достроена.

Каждый раз, приезжая в Преслав, князь просил зачерпнуть себе воды из кирпичного церковного колодца. Ему казалось, что она самая вкусная — то ли из-за святого места, то ли от знойного дня. В силу разных обстоятельств он ездил туда только летом.

В новом городе поселилось немало славянских князей, членов Великого совета. Теперь в Преславе распоряжался княжеский брат — Докс. Подъезжая к городу, Борис заметил длинную вереницу повозок, нагруженных камнями и толстыми бревнами. Колеса протяжно скрипели, нарушая тишину дня. Князь заговорил с проводниками каравана, оказавшимися людьми кастрофилакта * Овеча. Они исполняли трудовую повинность. Мужчины были все в пыли и то и дело прикладывались к тяжелым баклагам с уже теплой водой, висящим на крепких колесных чеках. Рваная, вылинявшая одежда говорила об их бедности. Борис старался не притеснять батраков и рабов, но над ними стояло столько других больших и малых господ! Плохо жили люди, каждый что-нибудь брал у них. Строительство Преслава требовало золота и труда. Недавно князь решил разделить территорию нового города между знатью, пусть каждый сам строит себе дворцы и жилища. Таким образом он хотел побудить богатых взять на себя большую часть расходов по благоустройству улиц, площадей, внутренних дворов. Заботы и расходы по строительству крепостной стены он в обязательном порядке распределил между различными тарканствами.

Пусть каждый знает, что он сделал для нового города.

Борис поскакал вперед. Преслав белел вдали. Громадный вяз в центре крепостного двора был виден издалека. Строители хотели срубить его, но князь не разрешил. Пусть эта живая красота остается до тех пор, пока не умрет собственной смертью. В ветвях вяза укрывалось громадное гнездо аистов. Издалека было видно, как птицы парят над ним. Их плавные круги будто очерчивали границы города и поднимали его в небо.

Борис поехал медленнее: он смотрел на птиц. У них тоже свой мир, неведомый человеку, и забот своих, наверное, хватает; у кого

они есть, тот знает им цену. Князь проследил взглядом, как аисты устремились к гнезду — свист крыльев и вскоре дружный перестук клювов слились воедино со звонкими ударами наковален. Чем ближе к городу, тем яснее звучали удары кузнечных молотов и плотницких топоров. Мастера уже поставили каркасы крыш на некоторых домах и дообтесывали крепкие балки. Сосредоточившись на звуках, рожденных деятельной человеческой рукой, князь не заметил, как из города выехала группа всадников. Среди них был и брат Докс, вечно улыбающийся, с уже полысевшей головой. Встречающие встали по обеим сторонам дороги; только братья остановились друг против друга, подняли в знак приветствия мечи, поравнялись и поехали рядом.

— Как идут дела? — спросил Борис.

— Прекрасно, великий князь, топоры поют, как веселые девушки.

— И не устает твой глаз заглядываться на красоту? — пошутил и князь.

— Устанет глаз искать красоту, значит, человек уже закончил свой путь, великий князь.

— Ты все тот же.

— С шуткой легче живется, брат,— понизил голос Докс.— Если бы я расстраивался из-за всего плохого, пришлось бы покончить с собой. Я каждый день посылаю гонцов в тарканства, чтобы напомнить им о повинности. А там глухими прикидываются. Видно, придется мне повесить одного из тарканов на вязе — увидишь, другие тут же исправятся. Вот таркан Овеча наконец прислал камни и бревна. Если они будут мне досаждать, то я заставлю их построить по одной церкви вокруг Преслава, тогда, возможно, они образумятся.

— По церкви, говоришь? — И Борис, оторвав взгляд от шеи коня, посмотрел на брата.— Неплохая мысль. Пусть у каждого тарканства будет своя церковь, пусть оно даст ей землю на содержание и молится своему святому. Умно!

— Ну и подкузьмил я их. Я пошутить хотел, а ты всерьез принял,— улыбнулся Докс.— И... вот что я хочу сказать. Тягостна мне эта служба. Меня больше к книгам тянет...

— И книгами займемся, но прежде надо завершить начатое.

— Да этой стройке конца не видать, великий князь. Одно завершишь — другое начинается. Преслав будут строить и наши сыновья, вот увидишь. Лишь бы они были разумнее нас.

Последние слова Докса навели князя на мысль о Расате. Его окрестили Владимиром, но это не обратило душу юноши к новой вере. Ему подавай коней, ночные пирушки да девушек.

Начнет Борис говорить с ним, тот слушает и молчит, а слова отца в одно ухо впускает, в другое — выпускает. Иоанн Иртхитуин уже махнул на внука рукой, лишь Ирдиша он еще побаивается. Из-за

страха или из уважения, трудно сказать, но Бориса он слушается... Братья остановились у красивой внешней стены.

Ее вид вытеснил образ сына из головы Бориса.

Он подъехал к стене и медленно погладил камни ладонью. Да, Преслав будет прекрасным городом...

5

Боль в желудке не унималась, Константин чувствовал себя совсем ослабевшим. Слабость усилилась в результате долгого пути и торжеств при встрече миссии в Вечном городе. Философ лежал на спине в удобной постели и думал о пережитом. Страхи в общем не подтвердились. Какой-то невидимый благодетель и на этот раз уберег их от зла. Рим встретил миссию необычайно торжественно. Папа Николай — заклятый враг Восточной церкви и Фотия — переселился в лучший мир за две недели до их приезда, и теперь надо было не объяснения давать, а выражать соболезнование. Нет, не лицемерие, а простое человеческое чувство побудило их быть временно сопричастными римскому духовенству. И только Савва, который всегда был прямодушен, вздохнул:

— Ну и повезло нам!

Все поняли, что́ он хочет сказать, и сделали вид, будто не слышали его. Если бы папа Николай не умер, не видать бы им ни торжественной встречи, ни литургий. И кто знает, где бы находились и как бы отвечали они на любезные вопросы брата Себастьяна. Константин лежал, и в его болезненном сознании проходили картины непривычного шума, почестей, достойных мощей святого Климента. Новый папа Адриан лично принял и с интересом выслушал их. Подаренные ему книги были освящены в церкви Санта Мария Маджоре, или «Фатон», как ее прозвали византийские священники.

Много людей пришло поглядеть на тех, кого духовенство и хвалило, и ненавидело. Константин лежал, и в глазах у него рябило от пестрых мозаик в церквах и от еще более пестрой толпы. Ясные голоса гулко сталкивались под куполом церкви и все еще звучали в его душе, смущенной такой встречей. Но искренни ли были римские священники, воздавая им такие почести? Может, все это лишь внешнее прикрытие того, что задумано и чего не положено видеть народу?

Весь Рим стоял по обеим сторонам дороги Виа Маджоре, чтобы посмотреть на них и выразить уважение к святому Клименту Римскому. Не было конца приветственным крикам и песнопениям. Константин и Мефодий чинно ступали первыми, за ними — смущенные ученики. Шествие задержалось у церкви святого Климента, но папский легат сказал, что надо идти дальше. Мощи следует вручить самому

папе. Он ждет их у Латерана. Площадь перед папским дворцом почернела от священников и мирян — яблоку негде упасть! Новый божий наместник, человек страшноватого вида, с мягким голосом и лисьим выражением в глазах, взял ящичек с мощами, передал его стоящему слева священнику и благословил опустившихся на колени славянских первоучителей. Это было первым торжественным актом папы Адриана, и он хотел придать ему как можно больше блеска. Сам Климент Римский вернулся в Вечный город, притом именно во время его, Адриана, понтификата *!

Ведь даже он, папа Адриан, никакими усилиями не смог бы организовать нечто подобное.

И несмотря на тайную неприязнь к братьям, Адриан должен был отдать им дань уважения и почестей. Весь Рим ликовал благодаря им.

Первое торжественное положение святых мощей состоялось в церкви Латерана. Служба длилась недолго. Ожидалось большое богослужение в церкви Святого Климента. Шумные торжества оставили у Константина ощущение неискренности, однако все пока шло хорошо. Вечером, в тесном кругу семи римских митрополитов, братья подробно рассказали о смысле своей работы в Моравии. Мефодий попросил на этой встрече дать духовный сан некоторым из них, чтобы они могли продолжить свое дело в Моравии. Папа Адриан не ответил на просьбу, и это внесло некоторое напряжение в торжественную атмосферу приема. Сначала Константин подумал, не поторопился ли брат, но, поразмыслив, оправдал его. Именно сейчас, пока их осыпают почестями, надо ставить вопрос о возвращении... Затем покатилась волна богослужений и литургий во всех больших кафедральных соборах. Только тут Философ понял, как много в городе византийских граждан. Они на каждом шагу останавливали его, просили благословения, задавали вопросы, и он должен был любезно отвечать, хотя перед глазами расплывались красные круги от усталости и мучили боли в желудке.

В шумных римских толпах Константин встретил также Аргириса — ученика Магнавры, который в то давнее время затеял с Гораздом драку из-за славянского происхождения Константина. Аргирис попросил святого благословения и на вопрос, что он тут делает, весьма сбивчиво объяснил, мол, его послал сюда патриарх Игнатий по делам церкви.

У Философа не было времени расспрашивать о Царьграде, да и вряд ли Аргирис мог бы рассказать то, что интересовало Константина. Аргирис был очень хитер и знал, когда, где, кому и о чем говорить. Константин удивлялся: как это он сумел завоевать доверие Василия и Игнатия? Он ведь был родственником Варды. В свое время первым пошел собирать людей в поддержку Фотия, для борьбы с Игнатием. Чего только не бывает на этой грешной земле. Константин

уже перестал удивляться. Немало он перевидал и пережил на своем веку... Боль в желудке не давала покоя. Нашла время... Константин лежал и думал об учениках, об их радостях. Савва уже не раз успел побывать за воротами большого города и всегда возвращался с интересными вестями. Он узнал, где поселились болгарские посланцы, и ждал, пока учителю полегчает, чтоб привести их к нему. И тут Савва предался мечтам. Он надеялся увидеть своего избавителя и учителя главой большой церковной общины, охватывающей Паннонское, Моравское и Болгарское княжества. Обычно настроенный скептически, Савва внушил себе: сейчас надо требовать многого, чтобы получить поменьше, но и не совсем мало.

Константин понимал его. Наступил как раз такой момент. Если прозевать его, жизнь войдет в свои берега, успокоится и им гораздо труднее будет сделать свое дело. Опять поднимут головы старые враги — немецкие священники, пустят в ход сплетни, тайные интриги и, не успеешь оглянуться, оттеснят миссию во тьму забвения. Философ был за безотлагательные действия. И незачем долго оставаться в Риме. Получат то, что хотят,— и в дорогу! Только болезнь досаждала. Откуда она взялась именно теперь... Новые византийские знакомые прислали к нему целителя; его капли унимали боль, но ненадолго. Как жаль, ах, как жаль, что нет Деяна. Какая досада, что никто из учеников не заинтересовался его травами. Деян давно поднял бы его на ноги... Оставшись наедине с болью и думами, Константин, словно от назойливой мухи, не мог избавиться от одной странной догадки: на литургии освящения славянских книг в церкви Санта Мария Маджоре на него все время упорно смотрела неизвестная женщина. Все время он ощущал ее взгляд, но не смог хорошо разглядеть незнакомку. При выходе, когда люди столпились у дверей, ему удалось на мгновение увидеть ее, и что-то очень знакомое заставило его остановиться. Но женщина уже исчезла в толпе... И всякий раз, возвращаясь к своей догадке, он укорял себя. Неужели он дошел до того, что в каждой иностранке видит Ирину? Зачем ей тут быть, в этом далеком городе? И хотя вопросы были оправданны, сомнения не оставляли его. Возможно ли столь большое сходство? Та же походка, та же фигура, те же узкие покатые плечи. Пока Философ думал об этой случайной встрече и предавался воспоминаниям, боль постепенно утихла. И вопреки его желанию ожил тот, далекий мир... Он увидел ту Ирину с чистой, как снег, душой, увидел, как она улыбается, а браслет на ее руке соскальзывает куда-то к локтю, к белому красивому локтю, который едва обозначается под шелковой тканью. Многое дала Константину жизнь и многое отняла, но это воспоминание осталось — вопреки его желанию. Оно оказалось сильнее запретов, которые он сам наложил на себя и которые наложила на него жизнь.

Порой Константин думал: может, он слаб, чтобы преодолеть это?

Но потом устало махал рукой: пусть-де и у него будет такой огонек. Его свет и холоден, и непостоянен, да нельзя жить совсем без этого... Философ ловил себя на мысли, что иногда преувеличивает в Ирине самую незначительную крупицу добра и преуменьшает зло, которое не раз обнаруживалось в ее поступках. Но это происходило как-то невольно, неосознанно. Он думал: если бы он в своей жизни встретился еще хоть с одной женщиной, у него было бы право сравнивать, и тогда то немногое хорошее, что сохранилось в его душе от Ирины, растворилось бы во времени, но теперь в книге его жизни было только две страницы об одной женщине — белая и черная. И Философ предпочитал заглядывать в белую... Но не это было самым важным: дело его жизни признали в Риме. Он гордился достигнутым. Папа обязал епископов Формозу и Гаудериха рукоположить некоторых из учеников в церковный сан. Константин никогда не предполагал, что сладкогласый славяно-болгарский язык прозвучит в соборе святого Петра! Большой храм усиливал их голоса, наполняя души торжеством,— торжеством земледельца, радующегося плодам своего труда. Это прекрасное волнение придавало славянскому слову чýдное звучание и вызывало слезы на глазах людей. Такие богослужения были проведены и в храмах Святой Петрониллы, Святого Андрея, Святого Павла. Ученики были неутомимы, днем и ночью их голоса воздавали хвалу всевышнему. В это время и родилась прочная дружба между Философом и Анастасием, правой рукой Николая и любимцем нового папы. Анастасий, который владел греческим языком и свободно ориентировался во всей религиозной литературе, любил беседовать с Константином.

В их беседах часто затрагивалась жизнь Климента Римского. Анастасий расспрашивал его о путешествии в страну хазар и о том, как были найдены святые мощи.

Философ рассказывал. Подробности увлекали Анастасия. Он часто повторял самые интересные места, чтобы лучше запомнить их. Константин воспринимал этот интерес библиотекаря Ватикана как нечто естественное, но мало-помалу убедился, что это не простое любопытство. В конце концов он спросил, и ответ Анастасия его не удивил: Гаудерих, епископ Велетри, составлял житие Климента Римского и попросил Анастасия узнать подробности. Церковь в Велетри носила имя этого святого. Константин постепенно понял, что у него вдруг появились новые друзья. Велетрийский владыка был в почете, папа считался с ним. На стороне Философа находился и Арсений, дядя Анастасия, один из семи римских епископов. Арсений происходил из знатного рода, имел большие связи и обширные знакомства и являлся одним из советников папы. Однако врагов у Константина было раза в три больше, чем друзей. Они сгруппировались вокруг зальцбургского архиепископа Адальвина и Формозы Портуенского, только что

вернувшегося из Болгарии. Формоза категорически возражал против отступления от догмы триязычия. Первое время Константин не верил слухам, что Формоза не одобряет богослужения на славянском языке. Ведь он сам по распоряжению папы возвел некоторых учеников в церковный сан. Кроме того, епископ вел болгарские дела, а защита этой догмы может отдалить его от народа. Если он надеется завоевать души новокрещеных христиан с помощью латинского языка, он жестоко заблуждается. Анастасий умело и как бы между прочим обращал внимание Константина на того или другого епископа, ориентировал его в обстановке, склоняя к тому, чтобы он не питал слишком больших надежд... Анастасий взялся за перевод сочинения Константина «Обретение» — о поездке к хазарам и о поисках мощей святого Климента.

Но эти радости вскоре стали блекнуть. Мефодий часто приходил к нему сердитым. Им молчаливо отказывали и отказывали в том, что они хотели получить, а время шло — вот постарели еще на год. Вторую зиму жили они в городе апостолов Петра и Павла... Напрасно прождав возле папских ворот, Мефодий возвращался, садился на край постели брата и говорил, нахмурив брови:

— Дело принимает другой оборот...

— А что такое?

— Помалкивают о том, чтобы мы возглавили Моравско-Паннонский диоцез...

— Скажут, скажут, брат,— пытался успокоить его Философ.

— Дай бог... Но, видя суету людей Адальвина, я начинаю сомневаться в славословиях, которыми паписты осыпали нас вначале.

— Не будь неверующим, брат. Ты знаешь, что наше дело святое и ему покровительствует небо.

— Знаю, знаю, но что-то долго ждать приходится.

— Немало ждали, подождем еще... И я — разве смогу я ехать? Запоют птицы, зазеленеют травы, и придет к нам радость, я выздоровею, и все пойдет, как мы хотим.

Но это говорилось затем, чтобы успокоить брата и сподвижника. Философ понимал: враги славянской письменности начинают брать верх, а папа не знает, как поступить. Он не мог вечно держать братьев в неизвестности. Анастасий часто наведывался, спрашивал о выздоровлении — интересовался, мол, папа...

Эти визиты побудили Константина быть более внимательным к гостю, чтобы чем-либо не обидеть его и особенно не дать ему понять, что братья недовольны папой. Анастасий и сам чувствовал его боль:

— Вот поправишься, и дела ваши двинутся. Я сделаю все возможное, чтобы исполнить твои желания.

Однако порой, опустив ладони на колени, папский библиотекарь тяжело вздыхал:

— Идет борьба за диоцез. Немецкие епископы и аббаты считают, что эти земли по праву принадлежат им.

Тут Константин, забывая о своей боли, приподнимался и долго доказывал, кому принадлежат паннонские и моравские земли. Его красноречие поражало Анастасия. Когда, задыхаясь и раскрасневшись, Философ умолкал, Анастасий клал ему ладонь на руку:

— Твое слово полностью убедило бы святого апостолика в правоте вашего дела. Поэтому ты отдыхай и поправляйся, не волнуйся. Я скажу тебе, когда мы пойдем к папе. Он человек хороший. Умница! Семь раз примерит и лишь тогда отрежет. Только сейчас слишком долго примеряет, и это используют ваши враги, чтобы усилить на него давление. Даже Людовик Немецкий прислал послов с просьбой не удовлетворять ваших требований. Он, мол, всю жизнь боролся за эти земли и теперь не может согласиться, чтобы они стали самостоятельным диоцезом. И все подчеркивает свои заслуги перед римской церковью. Во-вторых: отношения между папой и Гинкмаром Реймским ухудшились. При Николае Гинкмар не смел так вести себя, но теперь, с возрастом, он стал упрямее и не всегда поддерживает божьего наместника. Гинкмар многое решает сам, не советуясь с Римом, и этим льет воду на мельницу немцев.

Константин понял, что борьба будет тяжелой. Скорее бы поправиться! Время от времени боль утихала. Он вставал с постели, но выходить не спешил. На дворе все еще стояла ненастная погода, и Философ боялся нового осложнения.

Все чаще садился он за письменный стол и упорно создавал книги на славянском языке. В его комнате был особый климат: теплый и вместе с тем печальный. Слабое тело склонялось над пергаментом, тонкая рука с проступающими узлами вен внушала уважение к этому ученому человеку, который дописывал страницы своей жизни в заточении большого города. Константин чувствовал себя очень одиноким, но не говорил об этом, чтобы не обидеть кого-либо. Все старались сделать невозможное возможным — приблизить день отъезда в страну своей мечты, где ждали друзья, прощальная улыбка Марина, где была могила Деяна.

...Поедут ли они и когда, никто не мог сказать наверное. Вечером приходили все к Константину, рассказывали о том, что сделали, но он все больше и больше страдал оттого, что сам не мог вступить в борьбу с врагами. А время шло...

6

Ирина входила в тайны города. В церкви Санта Мария Маджоре она узнавала все новости. Она уже не пряталась от своих сограждан, византийцев. Слава одинокой изгнанницы вызвала к ней сочув-

ствие. Сперва их взгляды пугали ее, но постепенно она стала замечать в них любопытство. Ирина еще была красавицей, и хотя черты ее обрели спокойствие и лицо округлилось, но ее чары продолжали действовать. И так как к этому прибавлялась молва о прежней жизни — приукрашенная и дополненная,— то получалось нечто похожее на восточную сказку. И каждый стремился войти в эту сказку, полистать ее страницы, чтобы понять что-то, что пропустили другие,— недосказанное, скрытое за молчанием. Росло число доброжелателей. Некоторые начинали досаждать тем, что навязывались в друзья. Два немолодых патрикия выразили желание быть ее покровителями. Этот благовидный предлог заставил Ирину держаться холодно, но не настолько, чтобы оттолкнуть их. Она чувствовала ситуацию и старалась извлечь из нее пользу.

Ирина жила скромно, стала бережливой. Она переехала в другую квартиру на Виа Маджоре — улицу, на которой совершались все торжества и шествия. Ирина содержала пожилую служанку и только по воскресеньям позволяла себе приглашать гостей. Обычно люди приходили после утреннего церковного богослужения. В небольшом салоне с красивым камином говорили о жизни в Константинополе, вспоминали о давних событиях и былом величии, иногда кое-кто из женщин смахивал слезу краем вуали. Хотя дом часто посещали молодые мужчины, никто не мог похвастаться интимной близостью с хозяйкой. Ирина держалась на высоте прежней славы. И теперь она презирала себя всякий раз, как вспоминала, что в первое время, поддавшись страху и одиночеству, она испытывала влечение к некоему синьору Бозоне.

Об этом унижении она думала редко. Ирина сменила бедную квартиру на небольшой, но красивый дом на главной улице, чтобы отдалиться от воспоминаний. Стоя на высоком балконе, она могла наблюдать шествия, папские торжества, всевозможные посольства из разных земель и от различных королей, приходившие засвидетельствовать новому папе свою верность и уважение. Пестрая ежедневная суета делала ее участницей жизни большого города, возвращала ей хорошее самочувствие, и она думала, что стоит если не выше, то наравне с теми старыми фамилиями, которые мало-помалу беднели, но не отказывались от былого величия. Таких родов в столице было много. Их представители неустанно стремились вернуть славу предков, но это мало кому удавалось. У такого семейства Ирина сняла дом. Оно дало миру нескольких епископов и одного папу. Обедневшие потомки не пропускали случая подчеркнуть это перед каждым, кто более или менее заслуживал их внимания. Ирина пересчитала свои богатства. Она могла бы купить этот дом и после этого все еще оставалась бы при деньгах, но ей казалось, что она не долго будет жить в чужом городе и что в неизвестном, но недалеком будущем корабль

унесет ее обратно в Константинополь, к роскошной и приятной жизни...

Может, отчасти поэтому Ирина не хотела связывать себя ни с кем из мужчин, упорно предлагавших ей дружбу и покровительство. Она надеялась снова вернуться туда, где знала и ненависть, и почести, где испытала чувство власти и превосходства над всеми. Весной и летом Ирина любила сидеть на балконе, среди зеленых вьющихся растений, и смотреть на жизнь внизу — жизнь поспешную, полную забот и тревог обыкновенных людей и лиц королевской крови, пришедших, чтобы принести дары и получить взамен кое-какие выгоды от божьего наместника.

В свое время она стояла в стороне от дел Варды, не знала, что и от кого он получает, что и кому дает. Все казалось ей легким и радужным, как игра света на павлиньем хвосте. Ее интересовало одно: когда кесарь вернется, захочет ли он ее или нет. Лишь когда тревоги Варды за свою жизнь стали гнетуще явными и она начала видеть их отражение на усталом от бессонных ночей лице, Ирина приблизилась к пониманию старой истины: жизнь — это непрерывная борьба. Кесарь защищал себя и ее. Он старался предвидеть все преграды на пути, а теперь ей надо самой обнаруживать и преодолевать их, чтобы остаться здоровой и почитаемой, уважаемой и достойной уважения. Постепенно Ирина осознала, что такая красавица, как она, может жить легче, чем любая другая женщина. В ее присутствии мужчины становились до глупости любезными, забывали о своих интересах, переставали вести счет деньгам. Разве она могла бы приобрести этот дом, если бы это было не так? Наследник одного из пап счел желание бывшей снохи кесаря Византии снять у него дом такой честью для себя, что просто растаял от любезности... Ирину его щедрость удивила. Но позже ей стала понятна его хитрость. Благодаря ей вновь заговорили о его старинном роде, даже новый папа, по ее сведениям, заинтересовался и ею, и ее хозяевами. Об этом сообщил Ирине Аргирис, бывший ученик Константина, с которым Ирина познакомилась на богослужении в церкви Санта Мария Маджоре. Аргирис был в Риме в качестве представителя патриарха Игнатия и старался восстановить связи между Восточной и Западной церквами.

Ирина не знала, насколько это удавалось ему. Но, судя по уклончивым ответам, не все было в порядке. Он сердился на папу за вмешательство в религиозные дела болгар, однако даже в его гневе сквозила змеиная хитрость, и было трудно понять, на чьей он стороне. Ирина неоднократно пыталась навести его на разговор о Константинополе, о тех, кто выгнал ее, и всякий раз Аргирис пропускал это мимо ушей. Но он никогда не забывал сказать о поручениях солнцеликого императора. Вначале до нее не доходил смысл этих слов, ибо она продолжала считать императором Михаила, но, когда Аргирис

упомянул имя Василия, Ирина содрогнулась и едва сдержала себя, чтобы не выгнать Аргириса из дома. Перед глазами возник телохранитель Варды, пугавший ее своим невыразительным, мертвенно-бледным лицом.

Кесарь уволил его по настоянию Ирины, но если б она могла знать, сколько он натворит бед, то заставила бы Варду просто прикончить Василия.

Аргирис, почувствовав, что чем-то раздосадовал Ирину, тотчас же переменил тему. Желая обрадовать ее, он сказал, что о ней говорили у папы Адриана. В разговоре принимал участие и зальцбургский архиепископ Адальвин. Она захотела узнать подробности, однако Аргирис извинился — он спешит, зайдет как-нибудь в другой раз. Одно, мол, ясно: они живо интересуются ею и ее судьбой.

Это было сразу после прибытия Константина и Мефодия в Вечный город. Ирине и в голову не приходило, что Адриан так встретит братьев. Вся улица была забита народом. Легаты непрестанно сновали туда-сюда. Папская конная гвардия расчищала путь. Ирина, не желая толкаться в толпе, смотрела на все с балкона. Укрывшись за вечнозеленым плющом, она вглядывалась в толпу, туда, откуда должен был прийти тот, кто столько лет продолжал жить в ее душе. Любила ли она его? Утверждать это она не могла. Ирина знала, что все, что касалось его, было еще дорого ей, однако не было уже чистоты страсти и желания найти его даже в глуши монастыря. В первые дни в Риме она мысленно все время была с ним. Он был ее внутренней опорой, Ирина открывала его всюду, даже в голосе папы Адриана, но с тех пор, как вокруг нее стали увиваться новые поклонники и старая слава бывшей кесаревой снохи начала выводить ее из неизвестности, образ Константина потускнел и отдалился. И если бы не было его неожиданного появления в Вечном городе и встречи, затмившей встречи коронованных особ, она вряд ли почувствовала бы необходимость воскресить былое. В ней вновь заговорила женская суетность, желание связать свое имя с именем Философа, человека, который взбудоражил сонную леность папского города. И Ирина достигла своего. Первым пустил об этом слух Аргирис. Молва постепенно ширилась и разрасталась, так что возникла фантастическая небылица о еще более фантастической любви.

Когда братья вошли в Рим, они ни о чем не подозревали. Константин шел во главе процессии с мощами Климента Римского, за ним Мефодий с книгой на славянском языке, а дальше шагали ученики, запыленные, с блестящими глазами, и каждый о чем-то думал. С высоты балкона Ирина видела, как Философ время от времени поднимает мощи, благословляя людей, и она почувствовала, что тот образ, который когда-то волновал ее, постепенно снова завладевает ее душой. Человек, шедший внизу, был ослабшим, потемневшим от долго-

го пути и солнца. Холеная борода изрядно поседела. Раз, когда он обернулся к толпе, Ирина сумела уловить синеву его глаз и потом долго стояла, глядя на его удаляющуюся спину; только она хотела войти в комнату, как запели известную ей молитву во славу Климента Римского, и она осталась на балконе. Ирина не раз слушала эту молитву в церквах и училищах Константинополя и при этом всегда чувствовала, что в ней плачет его душа. Ей казалось, Константин не о святом написал молитву, а о своей душе, навеки загубленной, исторгнутой из мира, молодой и жаждущей любви. Теперь молитва ворвалась в ее сердце со своей первоначальной силой, и она поняла, как страстно мечтала тогда о чем-то недостижимом. Папа никогда не встретил бы с таким шумом и почестями ее Варду, хотя перед ним дрожала целая страна. Кесарь не мог войти завоевателем в город божьего наместника, а Константин, преподаватель Магнавры, славянин, которым она так глупо пренебрегла, шагал теперь по красивейшей улице Рима, в конце которой его ждал святой апостолик, окруженный семью епископами и сонмом высших священнослужителей! И ради кого вышел на улицу божий наместник? Ради того самого Константина, который когда-то с глубоким юным волнением преподнес ей стихи и жадно ловил каждый ее жест. До чего разными оказались представления о величии и славе. В то время она искала славу в кругах знатных и сильных, а он — в мудрости и правде жизни. Выходит, он был прав... Ирина ушла с балкона. Одна древняя пословица всегда успокаивала ее, и Ирина часто ее повторяла: где вода была, там будет опять... Но она понимала, что к данному случаю это не подходит: чистая вода золотоносного родника нашла другое направление и прошла очень длинный путь, а потому вряд ли может снова течь там, где совсем недолго текла раньше. Она понимала: единственно возможную пользу ей еще удастся извлечь, только предав гласности их старую дружбу. Нет ничего плохого в том, если к своей славе она прибавит и славу Философа, а его самого сделает более интересным и загадочным. В пользе для себя Ирина не сомневалась. Яркий свет, падающий на Константина, бросил бы один из своих лучей и на нее, а это придало бы дополнительный блеск женщине, которая не прошла незамеченной в жизни такого человека, как Константин.

Молва распространилась широко, и Ирина не ошиблась в своих предположениях. Стоило ей появиться в церкви, где служили братья, и люди расступались перед ней, а слух, подобный ветру в весеннем лесу, ласкал шепот. Многие наблюдали за ней, за ее взглядом и остались крайне разочарованными поведением Константина. Его взгляд ни разу не устремился к красавице, голос ни разу не дрогнул, а щеки не покрылись краской волнения. Бледное лицо подчеркивало синеву

глаз, а спокойствие внушало уважение. Было что-то отшельническое, покоряющее в его прямой фигуре, в силе его слова. И любопытство, словно щенок, вертелось вокруг него, ища подтверждения своим догадкам. Даже Ирину смутили сосредоточенность и спокойствие Философа. Два раза занимала она такое место, где он не мог не заметить ее, однако Константин проходил мимо с поднятой головой, погруженный в свои мысли. «Почему?» — спрашивала она себя и не могла найти ответа. Пока молва не стала достоянием знакомых, Ирина часто собирала их у себя дома, но теперь перестала приглашать, и это еще сильнее разожгло любопытство. Они предполагали, что тут замешан Константин, человек, который имел власть над красавицей. Все это были пустые догадки. Дело было в другом: Ирина решила таким путем еще больше взвинтить интерес к себе. Она не могла объяснить слепоту Константина. Может, он не допускает мысли, что она находится в этом городе? Или она так изменилась, что он уже не может ее узнать? Ирина всматривалась в свое отражение в серебряном зеркале и не находила большой разницы с той Ириной, которую он знал. Разумеется, годы изменили ее, но не настолько, чтобы ее нельзя было узнать с первого взгляда. Ирина не многого хотела от него. Лишь бы его взгляд на мгновение встретился с ее взглядом и он вздрогнул бы от неожиданности! Похоже, не столько она сама нуждалась в этом, сколько все, кто ожидал, что вот-вот что-то произойдет между Философом и женщиной, предопределившей его жизненный путь,— так думали многие знакомые Ирины. В сущности, эту мысль внушила им она сама...

Ирина решила купить дом. Ее надежда вернуться в Константинополь увяла. Аргирис урывками рассказал горькую правду. Все могущество Варды перешло в руки императорских сыновей — Константина, Льва, Стефана. Род кесаря был рассеян и уничтожен. Два телохранителя, которые посадили ее на корабль, поплатились жизнью за проявленное милосердие: им было велено обезглавить ее. Впервые Аргирис высказал свои опасения. Он, как посланец Восточной церкви, мол, чувствует себя здесь хорошо, но, если ему прикажут вернуться в Константинополь, он еще подумает. О его родстве с кесарем знает немало людей, и кто скажет, что его ожидает...

— И все же я женщина... Разве я сделала ему что-нибудь плохое?

— Смерть не разбирает, мужчина или женщина. Ты будешь напоминать ему о том, кого он убил.

Аргирис сказал правду. И Ирина не сомневалась в ней. Аргирис боялся за себя — верный признак того, что в Константинополе не благоволят к изгнанникам. Новый василевс спешил выдвинуть людей,

близких ему, окружить себя покорными слугами. Умных он держал в стороне, ибо не хотел, чтобы во дворце были люди умнее его, он подбирал их даже по росту, отстраняя всех, кто хоть на сантиметр был выше его: он желал на всех и все смотреть сверху, чтобы чего-либо не пропустить. Меч был единственным распорядителем, а слово василевса — единственным законом. Василий, в сущности, был безграмотным, он не умел писать и еле-еле читал, и он не знал законов предыдущих правителей. Василий помнил о них, так как испытал их на собственном горбу, и чутье пострадавшего подсказывало ему, что́ следует искоренить, чтобы жить спокойно.

Ирина купила дом. Она боялась, что со временем дом подорожает и она останется на улице. Как всякая практичная женщина, она хотела быть уверенной в своем будущем. Подсчитав то, что осталось после покупки, Ирина была слегка озадачена. Денег хватало лишь на скромную жизнь, если, конечно, не считать великолепного ожерелья. Оно само по себе было целым состоянием, но Ирина любила его и не хотела с ним расставаться. Стоило прикоснуться к камням, как оживали крепкие руки Варды, ласкали ее грудь и белую шею. Как неумело надел он ожерелье... Но это было когда-то... Теперь уязвленное честолюбие побуждало ее неустанно думать о Константине. Прежние любовь и ненависть сплелись в странный узел противоречивых чувств. А впереди ее ожидало самое большое испытание...

Появился Адальвин. Ирина не звала и не ожидала его. Он пришел поздним зимним вечером без предупреждения. Старая служанка открыла дверь, набожно перекрестилась и поцеловала ему руку.

Ирина очень удивилась. Архиепископ Зальцбурга, как он ей представился, был очень любезен. Суровое, по-немецки скроенное лицо излучало холод и упрямство. Оттопыренная нижняя губа свидетельствовала о жестокости. Адальвин уселся у камина и загляделся на игру пламени. Затем отвел взгляд от огня и сказал:

— По поручению святой церкви и апостолика Адриана я пришел, светлейшая, в обитель твоей неземной красоты.

— Моя душа возрадовалась, владыка,— в тон ему ответила Ирина, и вдруг какое-то тяжелое предчувствие овладело ею.

— Мы узнали, что Царьград, как называют его византийцы, не был добр к тебе. По поручению святого апостолика я поспешил к тебе на помощь. Такая славная и красивая женщина, как ты, не должна испытывать лишений и огорчений. Жизнь создает цветы на радость людям, а не для того, чтобы страдать от невежества и прихоти тиранов... Бог не забывает своих возлюбленных чад.

— Но бог не любит меня! — наморщила лоб Ирина.

— Эти мысли рождаются от отчаяния и одиночества, чадо мое... Тесно в этом доме твоей гордой красоте. Она создана для почестей, веселья, похвал и уважения, да, уважения, которое возвышает душу.

Ирина слушала и не знала, зачем он пришел. Неспроста притащился на ночь глядя. Что-то было у него на уме. Вдруг она вспомнила разговор с Аргирисом. О чем же он говорил? Речь-де шла о ней в присутствии папы и зальцбургского архиепископа, а о чем еще?..

— Но красота сама по себе никого не согреет, владыка... Я приехала из страны, где была солнцем, а теперь я даже не луна, потому что в мою ночь некому созерцать меня. Мои звезды погасли одна за другой, и сейчас я бедна, всеми покинута и для всех чужая в городе святого Петра и Павла.

— Судьба человека в его руках, светлейшая...

— Да, так принято говорить, но многое в жизни свидетельствует, что не все зависит от человека.

— Ты права, светлейшая, над нами бог, а мы лишь пыль на его ногах. Он определяет наши мысли и нашу жизнь, но ты не имеешь права сердиться на него... Ведь сам бог указал папе Адриану на тебя...

Разговор начал раздражать Ирину и, встав, она спросила:

— К добру или не к добру?

— Бог всегда желает добра своим чадам, светлейшая. И почести, и слава, и деньги, и веселье зависят от одного лишь твоего решения.— Оглядевшись, он добавил: — Не можешь ли ты посмотреть, куда делась твоя служанка?

Не поняв, зачем ему понадобилась старуха, Ирина пожала плечами:

— Наверное, спит.

— Плохо обучила ты прислугу, светлейшая, если она ложится спать раньше хозяйки. Надо бы проверить это...

— Но зачем?

— Чтобы она не подслушивала. То, что я хочу сказать, должно остаться в глубокой тайне.

Ирина выглянула в коридор. В конце, на старом сундуке, дремала, как когда-то, ее верная Фео, старая служанка.

— Будьте покойны, владыка.

— Покой — удел усопших душ, светлейшая, а мы, пока мы живы, должны исполнять повеления всевышнего.

— И что же он велит мне?

— Сделать одно доброе дело для святой церкви и престола святого Петра, светлейшая...

— А могла бы я услышать об этом?

— Надо помочь одной душе отделиться от тела.

— Что-что?!

— Надо ускорить с твоей помощью одну желательную смерть...

— Чью же?

— Еретика Константина!

Адальвин выговорил имя Философа с такой злобой, что Ирина содрогнулась. И хотя она хорошо знала козни византийской знати и была виновна в смерти своего дяди Феоктиста, в этот момент вдруг почувствовала себя униженной и оплеванной... Чего, чего хочет этот черноризец от нее, знатной женщины, по которой вздыхают мужчины всего Константинополя?! Сделать из нее убийцу человека, который, несмотря ни на что, озаряет ее своим светом! Нет, она не позволит так унизить себя. Ирина крикнула:

— Мерзавец... Вон отсюда! Вон!..

Но Адальвин продолжал невозмутимо сидеть и, будто ее гнев относился не к нему, спокойно сказал:

— Не волнуйся, светлейшая. Я ведь о тебе знаю все. И о твоей любви, и о твоем грехе... Все! Знаю, что там тебя ждет хорошо наточенный меч... Ныне перед тобой только две дороги: одна ведет к скорой смерти, вторая — к довольству и роскоши... Когда-то ты выбрала вторую. Думаю, по проторенному пути идти легче.

— Уходи! — сжав кулаки, повторила Ирина.

— Стало быть, нет! — Адальвин поднялся и с усмешкой посмотрел на нее.

— Уходи из моего дома!

— Есть и еще одна дорога. К твоей скорой смерти...

— Как? Ты убьешь меня?

— Сохрани господь! Неужели я выгляжу таким страшным и жестоким? Если не согласишься, мы отправим тебя к своим... Там давно ждет тебя острый меч бывшего телохранителя. Он сделает эту работу лучше нас.

Приблизившись к ней, архиепископ достал тяжелую мошну с чем-то звенящим, подбросил ее на ладони, чтоб Ирина услышала звон, и медленно положил на стол. Вместе с нею он оставил какой-то оловянный флакончик.

— Оставляю тебе и это,— сказал он.— Его содержимое может усыпить сто таких мудрецов, как твой Константин... Медленно, но верно. А вот это тебе.— Он постучал пальцем по мошне, и опять в ней что-то зазвенело.— Этот прекрасный звон никого не оставляет равнодушным. Нищему он снится, и даже богатый от него теряет покой. Даже глухой слышит его. Итак... до завтра. Утро вечера мудренее...

Ирина не заметила, как гость вышел и прикрыл за собой дверь. Она опустилась в кресло, где только что сидел Адальвин, вихрь мрачных мыслей закружил ее, и ироничный голос Иоанна зазвучал в душе: «Тебе платят, Ирина, так же, как когда-то ты оплатила собой смерть Феоктиста, ибо он мог сказать: «И она, и она с ними...» Ты заплатила своей совестью дьяволу, чтоб он избавил тебя от мысли бороться против твоего похитителя. Вот так-то!.. Ты уже раз попробо-

вала, знаешь, что это не очень страшно. Подлая твоя душа давно сжилась с тем, что ты играешь роль святой. Разве своею смертью я не обязан твоей злобе и пренебрежению? Иди! Убивай! Убивай!.. Убивай!..» Гостиная была очень тесной, но голос Иоанна породил в ней многократные отзвуки и проник в самую глубь Ирининой души... И в этот голос сердитым эхом ворвался крик Варды: «Ты требовала от меня смерти Константину, но я уже не кесарь, я мертв и не могу сдержать слово. Я перед тобой в долгу. А теперь святой отец дарит тебе эту смерть, и ты не отказывайся, ибо я умру во второй раз, узнав, что ты его любишь... Соглашайся...»

Ирина стояла посреди комнаты, и мысли сталкивались во мраке ее души, словно черные летучие мыши.

«Но как пойду я к нему отнять то, чего не могу ему дать? И почему именно я, а не кто-то другой?..»

Будто услышав вопрос, голос Варды прервал ее: «Ты, и только ты! Чтоб я был спокоен! Ты! И если кто-нибудь обвинит тебя в покушении на Константина, молва найдет достаточно доводов, чтобы оправдать тебя: женщина мстит бывшему возлюбленному. Отомсти, Ирина!.. С тобой — бог и папа Адриан. Они прощают и благословляют тебя...»

Ирина оперлась на стол и долго стояла, безмолвная и опустошенная, прислушиваясь к далеким голосам, доносящимся из ее прошлого, не очень честного прошлого...

7

Анастасий покидал Рим переодетым, ночью. Даже лошадь была черной. Папские стражники без устали разыскивали его, а немецкие священники разносили молву, что он убийца... Как это случилось? Анастасий так и не смог понять до конца. Одно было ясно: смерть жены и дочери папы Адриана от руки племянника Анастасия, сына епископа Хорты Арсения, положила Анастасия между молотом и наковальней. Ведь ему было известно только то, что его племянник любит дочь Адриана. Похищение и убийство ошарашили Анастасия, но враги сделали все возможное, чтобы оклеветать именно его. Впрочем, стоит ли удивляться? Разве жизнь Анастасия не висела на волоске множество раз, разве анафемы не обрушивались на его голову, а лжесвидетели не опошляли его святые мысли?.. Одно время, когда он был еще молодым и дерзким, когда мечты о славе наливались жизнью, словно весенние почки, а мир казался чистым и заманчивым, Анастасий наивно бросился завоевывать папский престол... Франки вскружили ему голову обещаниями и лестью. Их сторонников в Риме было очень мало, но Анастасий надеялся на их военную силу и по-

шел с ними — чтобы с той поры быть вечно гонимым и преследуемым, ненавидимым и необходимым, восхваляемым и осуждаемым.

С тех пор прошло много лет, но ему трудно забыть дороги своей упрямой и дерзкой молодости, когда казалось, что море по колено, а до неба — рукой подать... Нет, Анастасий не отказывается от своего прошлого. Оно научило его быть таким, каким он был сейчас,— непреклонным и упорным в любом деле.

Светало, становилось прохладно. Анастасий закутался в плащ и пришпорил усталую лошадь. Хотелось побыстрее добраться до монастыря под Равенной. Иоанн Равеннский, вечно бунтующий против Рима, не откажет ему в убежище. Кроме того, в кармане Анастасия лежало рекомендательное письмо епископа Хорты императору Людовику II. Дорога петляла, и Анастасий был настороже. За холмами его могли подстерегать неожиданности, а они были очень нежелательны... И все же, как ни старался он вглядываться в то, что было впереди, мысли не хотели двигаться по тесному кругу сегодняшнего дня. Они упрямо возвращали его в прошлое, когда, подгоняемый искушением власти и славы, он помчался за миражем папского престола... И добился ли своего? Нет! Но есть по крайней мере о чем вспоминать... В отличие от некоторых собратьев, прозябающих в монастырских кельях, полуослепших от вечного глядения в небо, Анастасий надеялся и на небо, и на свои силы. Он добился того, что одни и те же люди и ненавидели, и уважали его, а это дается нелегко. В свое время папа Лев IV посвятил Анастасия в пресвитеры, но вскоре святому старцу пришлось заниматься его делом. Первый раз он отлучил Анастасия на соборе в Риме, потом — в Равенне. В Равенне папа лишил его церковного сана и велел изобразить момент отлучения на стенах храма святого Петра... Это случилось в декабре, день был сырой. Он хорошо помнит причину: Лев IV испугался за свой престол. Анастасий, молодой, энергичный священник, прошел вверх почти все ступени лестницы, ведущей к папскому дворцу, потому-то и загорелся весь сыр-бор. Кем только не обзывали его: и исчадием ада, и слугою дьявола,— однако Анастасий не пришел в ужас от преследований и анафем, а сумел по-новому взглянуть на религиозный мир и увидел, что и тут людские страсти стоят выше всех сказок о боге и выше божьих велений. А сказки эти были туманом, в котором скрывались ловеласы, алчные до золота чернорицы, чревоугодники, пастыри, сами не верившие своим словам,— весь мир, мир, рожденный ложью и превративший в ложь истину о боге. Анастасий решил воевать с этим миром, добиться победы и затем свести счеты со всеми фарисеями. Он стал выжидать. Вскоре представился удобный случай — смерть Льва IV. При поддержке войск франков Анастасий вошел в Рим, велел стереть анафему со стены собора святого Петра и торжественно вступил в Латеран. Но тщеславие сыграло с ним злую

шутку. Пока он распоряжался в папском дворце, римские епископы собрались и утвердили папой Бенедикта III. Из семи епископов лишь Арсений, дядя Анастасия, голосовал против Бенедикта. Жестокая шутка заставила Анастасия уйти в монастырь святой девы Марии и за чтением книг обдумать свое поражение. Чем больше седели волосы, тем яснее становились для него некоторые истины: темные силы рано предчувствуют рассвет и ополчаются против него, объединенные и слепые, движимые страхом, как бы кто не занял их места. Анастасий уподоблял себя рассвету, и если он пока не победил, то по своей вине: слишком явно выступал он против сил мрака... Уединившись в тесной келье, он занялся чтением — все равно служить в церкви ему было запрещено... Его тяготило лишь, что приходилось причащаться вместе с мирянами. Это было настоящим унижением для священника. Первым вспомнил о нем папа Николай. Он был из тех людей, которые ни перед чем не останавливаются, лишь бы осуществить задуманное. Дядя Арсений, епископ Хорты, сообщил, что папа хотел бы приблизить его к себе. Анастасий, уже привыкавший к мысли о бессрочном заключении в четырех стенах кельи, воспрял духом. Просто не верилось, что его давнишний друг Николай вспомнил о нем — сам Анастасий тоже забыл о друге, пока воевал за престол. Не совсем, конечно, забыл, но держался от него в стороне, опасаясь его притязаний. Анастасий понял, что их намерения во многом совпадают, а в подобных случаях люди или мешают друг другу, или превращаются во врагов... Теперь папа Николай нашел его. Нашел и вернул к жизни... Анастасий не мог не отблагодарить его за этот поступок. Анастасий ясно понимал: протягивая ему руку, папа наживает немало недругов... Поэтому он решил верно служить Николаю I. И служил. Особенно во время распри с константинопольской церковью. Неплохо пожил Анастасий под крылом папы. Когда Анастасий видел, как он набрасывает узду на разных королей и баронов, как ищет справедливости в человеческих отношениях, то все больше и больше привязывался к нему. И так было до конца жизни святого отца... Смерть Николая I повергла Анастасия в смятение. Он знал: враги не замедлят выступить против него; и успокаивала только одна мысль: распря с Восточной церковью не окончена, и он еще понадобится новому папе Адриану... Ведь Анастасий глубоко вник в спор, стал незаменимым советчиком. Никто лучше его не знал греческий язык и греческие нравы... Так и произошло. Но непредвиденная любовная история сразу все испортила, посеяв нелепые сомнения в душе папы... Этим немедленно воспользовались враги Анастасия...

Анастасий остановил коня и всмотрелся в темноту. Глаза стали близорукими от непрестанной работы с пергаментами, но слух был как в молодости. Ухо уловило шум. Одинокий старый путник, прислушиваясь, постоял на месте, пока не убедился, что шумит вода, и

поехал дальше. Однако конь увлек его к воде. Напившись, конь снова вышел на каменистую дорогу...

Анастасий хотел по крайней мере на склоне лет жить, как все, в покое и заботах о благе людей, но судьба распорядилась иначе, и он вновь беглец, беглец по чужой вине. Если бы он остался в Риме доказывать свою правоту, то не смог бы справиться с теми, кто снова поднялся против него. Ведь давно архиепископы Гунтар и Титгауд в своем письме, оставленном на могиле святого Петра, клеймили папу за возвращение отлученного Анастасия в Латеран, и разве простят его сейчас, когда потеряно благоволение Адриана? И зачем ему надо было давать советы племяннику... Молодой человек пришел к нему неожиданно — мол, возлюбленную хотят отдать за другого... На вопрос: «Что мне делать?» — Анастасий ответил: «Бороться за свою любовь»... И смотрите, как был истолкован совет сыном Арсения... И мать, и дочь похитили и убили. Зачем? Анастасий только догадывался. Что же мог бы сказать он в свою защиту?.. Говорить, что парень не приходил к нему, нельзя, отрицать свой ответ — значит лгать. Стоит повторить его, как враги растопчут Анастасия. А ведь он не думал ни о чьей смерти, советуя «бороться за свою любовь», но разве докажешь свою правоту предубежденным? И он предпочел покинуть город, пока все не отшумит и люди не начнут рассуждать более трезво. Убийство вызвало много шума и вытеснило все другие вопросы. Так сорвались планы Анастасия помочь Константину и Мефодию. Что они теперь подумают о нем? Поверят ли в клевету о его причастности к этому мерзкому преступлению? Братья приехали из страны, в которой они прокладывали трудный путь новой письменности, стало быть, знают, что такое борьба. Знают, как дешево ценится человеческая жизнь, но вряд ли допускают, что злодеяния могут совершить и папские люди. А может, они и верят в злонамеренность этих людей, ибо сами братья немало понатерпелись от них... К чему вся шумиха вокруг встречи Константина и Мефодия в Риме, если их вопросы все еще ждут ответа? Ведь это же умышленная игра! Непрерывные шушуканья с немецкими священниками, постоянные переговоры, тайные и явные, встречи с глазу на глаз — не свидетельствует ли все это о тайных намерениях? Анастасий искренне хотел помочь братьям или по крайней мере открыть им правду, но, увы, теперь он бессилен...

Его кратковременная дружба с Константином представлялась ему манящим светом в темной ночи. Красноречие, широкие познания Философа пленили его, и Анастасий сожалел, что им пришлось так расстаться... Он задумчиво слушал цоканье конских копыт, и в нем усиливалось чувство, что из-за внезапной вынужденной разлуки он многое теряет. Мефодий не стал близок ему, Анастасий не успел войти в его духовный мир, ибо тот все занимался сугубо практическими де-

лами. Всегда торопился: он распоряжался всеми учениками, прислугой, конюхами. Над всеми сиял ореол Константина. Странную мягкость, усталую и мудрую, излучали его слова и глаза, бледное лицо и поседевшие волосы, исхудалое тело, снедаемое неведомой болезнью. И то же самое тело умело быть сильным, властным, его глаза могли метать молнии — но все лишь во имя человека и добра. И таких людей, посвятивших себя торжеству добра, больше уже нет, а если и есть, то так мало, что и двух жизней не хватит повстречать одного из них. Анастасий убежден: Философ никогда не поверит в злодеяние, которое молва приписала ему. И тут Анастасию подумалось: а ведь его ненавидят сейчас также потому, что он одобряет дело братьев и дружит с Философом... Люди ведь каковы — скажи им: «Солнце чище всего», обязательно найдется кто-нибудь, кто, поджав губы, заметит: «И на нем есть пятна!» Удивительно, как в этом городе скрытой злобы и интриг все еще существует уважение к братьям и их ученикам! И правильно решил Константин: им пора уезжать. Но как они уедут, Анастасий не знал... Что понесут в своих душах — радость или горечь,— только небу известно. Он может сказать лишь, что душевные тревоги Адриана и все его терзания будут сегодня использованы германскими священниками только в своих интересах...

Анастасий пришпорил коня и посмотрел вперед. Солнце уже вставало.

8

Феодоре пришлось снова менять свое имя. Епископ Формоза Портуенский перекрестил ее Марией. Он убедил ее, что Феодора — неподходящее имя, ибо является именем светской женщины (императрицы Византии) и не может лечь в основание такого важного события, как крещение болгарского народа. Имя Марии, богоматери и искупительницы страданий Христа, самое подходящее для нее. Феодора согласилась, хотя уже привыкла к прежнему имени. Оно напоминало ей о первых шагах в овладении новым учением, было частью молодости, прожитой среди других людей — чужих и одновременно близких умением пересадить ее на свою почву и привить ей свою веру. Феодора-Мария никогда не забудет жизнь в Константинополе... Сначала прибытие римских священников смутило ее. Она чувствовала себя виноватой перед знакомыми и друзьями из Царьграда за то, что ее брат так коварно отплачивает им за добро, но постепенно интересы государства заставили ее пошире посмотреть вокруг, и она поняла замыслы Бориса-Михаила: надо добиться самостоятельности болгарской церкви, в противном случае болгарский народ будет считать ее брата жалкой тенью под ногами Византии. И так как она была человеком упорным, то без промедления встала плечом к плечу с

братом, очищенная от сомнений, будто воскресшая для новой жизни с именем Мария...

Тяжелые снега выпали на престольный город, и жизнь пульсировала только возле теплых очагов. Взрослые редко выходили на улицу. Одни дети, как воробышки, без конца затевали возню на снегу, наполняя шумом внутреннюю крепость. Далеко от ворот, там, где были колонны с надписями, они вылепили огромную снежную бабу, а вокруг нее расчистили каток. Феодора-Мария любила наблюдать за ними и испытывать саму себя. Она отказала многим женихам, и, если думала о мужчине, это говорило в ней врожденное чувство, которое трепетно волнует всякую женщину, когда она видит краснощеких детей и слышит их нежные веселые голоса.

Она стояла у окна, взгляд ее был устремлен к далеким горам, а слух переполнен ребячьим шумом и гамом. В ее годы дольше нельзя оставаться на перепутье... Надо либо до конца жизни быть небесной невестой, либо подумать о доме и семье. Несмотря на упорные отказы женихам и сватам, она все еще не решалась сделать последний шаг — постричься в монахини. Когда-то в Константинополе она впервые влюбилась, поняв это по смущению и волнению, которые овладевали ею, как только она видела ожидаемого гостя... Человек, которого она любила, не подозревал о ее чувстве. Он приходил в гости к своей теще, императрице, обычно с большой свитой. Пока слуги занимались лошадьми, он приводил в порядок златотканые одежды, поправлял меч и лишь тогда поднимался по мраморным ступеням. С трепетом Феодора ловила каждый его жест и шаг. Это был второй муж старшей дочери императрицы, что, однако, не помешало полонянке влюбиться в него. Родовые привычки жили в ее крови: она не ревновала его к жене. Она открывала его для себя, принимая со всем плохим и хорошим, что в нем было. В сущности, плохого она не видела. О его недостатках говорила Феодоре императрица: он был робким, не гонялся за постами, не стремился сделать карьеру, не хотел бороться против Варды. Во всем этом Феодора ничего плохого не видела. Можно было сочувствовать ему только в одном — он не имел детей. Императрица обвиняла в этом его — и, вероятно, была права, так как ее дочь имела сына от первого брака. А у него в роду был бездетный дядя, и теперь жизнь обездолила его самого. Молодая полонянка жалела его. Она часто в ночной тишине думала, сколько детей подарила бы ему, если б он по-хорошему посмотрел на нее, если бы провидение указало ему на нее...

И он заметил Феодору... Разумеется, она не родила от него. Все было так кратко и тайно, что до сих пор кажется сном, давним несбывшимся сном... Он был слаб духом, а она открывала в себе прекрасное материнское чувство заботы о слабых... Отсюда и та теплота, с которой она позже относилась к Иоанну. В нем Феодора видела не

мужчину, а перепуганного жизнью человека, посвятившего себя божьему стаду, служению ближнему... Поэтому она не могла понять его странного взгляда, отяжелевшего от тайного желания и от недоверия... Противоречия в характере Иоанна и жесткая преграда, которую он часто воздвигал между собой и окружающими, заставили Феодору-Марию задуматься о его судьбе и искать для него оправдания. Он, конечно, отличался от остальных людей, но жизнь дала ему все то же, что и другим! Даже нечто большее... И все же он ушел из нее, пройдя загадкой мимо княжеской сестры и исчезнув не в дебрях лесов Брегалы, но в дебрях божьей тайны... Был ли Иоанн святым человеком? Наверное, да... Он отказался от всего земного, общался с богом в горах, на скале, вел суровую жизнь в пещере, и, наконец, это последнее вознесение — сук на дереве... Самоубийцы неугодны церкви, но Феодора-Мария считала, что в его смерти виноваты скверные люди, приверженцы мертвого бога Тангры. Поэтому она решила увековечить его светлую память, построив келью святого Иоанна Брегальницкого.

В последнее время она неустанно искала и находила нужные приметы. Бог не может не подать небесных знаков для своих новых чад. Ей сообщали о появлении целительных родников, о каких-то таинственных всадниках с крестом господним в руках, появившихся наверху, в Патлейне. И Феодора-Мария решила попросить брата построить там святилище, в котором божьи слуги найдут приют, если они услышат голос всевышнего.

Борис-Михаил согласился.

А снег все так же искрился перед ее глазами, и ровное белесое небо, придавившее город и окрестности, замкнуло для нее мир в самой себе. Что случилось с тем, кто первым прикоснулся к ее губам?.. Она ничего не слышала о нем с тех пор, как императрицу заточили в каком-то монастыре, ничего не слышала, когда пошли разговоры о смерти Варды, ничего не узнала и после гонений, последовавших за приходом нового василевса... Ничего! Да и был ли он вообще на белом свете? Кто знает!.. Может, все воспоминание было порождением мечты, тайного желания быть с мужчиной... Ее губы принадлежат только святым иконописным ликам, ее мысли — всевышнему; а может, тот человек был только искушением дьявола... Нет, больше ей не нужен мужчина, ее путь ясен: он идет в вечность...

Наступили рождественские праздники — пестрое смешение нового и старого. Феодора-Мария не пропускала ни одной литургии. Слуги несли за ней мягкую подушечку, чтоб, опускаясь на колени, княжеская сестра не стукалась о каменный пол. Порой она так уходила в придуманный ею мир, что свеча в руке угасала, и лишь падающие на руку капли расплавленного воска прерывали ее оцепенение. В чем смысл ее жизни на этой земле? Учить людей любви к ближ-

нему, самой будучи лишенной любви... Лишенной по своей воле...

Женихи уже не приходили. Боялись отказа. И она решила, что победила в себе женщину. Только дети... эти веселые дети... При мысли о них она невольно трогала груди... Неужели они так и увянут, не почувствовав губок и мягких ручонок жадного лакомки?..

Повалил упорный снег — тихий и равномерный. Днем постоянно слышалось карканье ворон. С гор спустились волчьи стаи и взяли под надзор перекрестки дорог. Люди уже опасались одни пускаться в путь. Случалось, в крепостные ворота влетали перепуганные кони с разбитыми пустыми санями. Мужчины отправлялись на поиски хозяина саней. Обычно находили его меч, лоскуты одежды и обглоданные кости... В это время начиналась жизнь ровная и бескрылая, пропахшая ладаном. Феодора-Мария посылала за изографом Мефодием. Он был единственным византийским священником, оставшимся в стране: сам пожелал, и Борис разрешил ему, ибо он был пленным.

Мефодий входил в небольшую комнатку Феодоры-Марии, и они долго обсуждали проекты святилища в Патлейне. Он все удивлялся: к чему такая спешка? Ведь еще ничего не начато, зачем же понадобились проекты? Чутье подсказывало ему, что ей нужен он — если не как мужчина, то как спутник в одинокой жизни... Феодора-Мария все еще была женщиной в силе, и изограф безмолвно и упорно ждал, когда она, как переспевший плод, упадет ему в руки... Спешка могла принести одни лишь неприятности. Ведь он пленный, а пленным вольности прощаются нелегко... Феодора-Мария и сама понимала, что за желанием беседовать о будущем духовном святилище крылось искушение. Мефодий нравился ей. Нравился его неухоженный вид, открытое пренебрежение к этой жизни, удлиненное лицо святого с холодным взглядом. Проводив его, она запиралась в молельне и мучительно пыталась подавить тайные желания. Ей казалось: если б мужская ладонь никогда не ласкала ее тело, ей легче было бы отказаться от желаний плоти; но теперь она уже почти не верила себе. Чтобы избавиться от соблазна, она решила поехать в Брегалу. Сколько раз готовились кони, но она все откладывала поездку — то из-за непогоды, то из-за неожиданно возникших дел, но, оставшись наедине с собой, понимала, что единственной причиной были ее чувства. И княжеская сестра вновь и вновь запиралась в молельне, целыми ночами металась в борьбе с плотскими желаниями, но, когда она была уверена в победе над искушением, снова возникали различные причины, чтобы отложить поездку.

А снег шел и шел, завалил все дороги и тропинки. Деревья стали сказочно красивыми. Кусты были похожи на шалаши, на снегу виднелись еле различимые следы птиц и зверей. «Как только перестанет идти снег, я поеду»,— говорила себе Феодора-Мария.

Но когда он перестал, она вдруг испугалась сугробов.

— Невозможно ехать, правда? — допытывалась она у кучеров.

— Невозможно, светлейшая...

— Ну и зима,— качала головой божья невеста, но женщина в ней с улыбкой торжествовала.

Ведь в Брегале одни священники да монахи, придется раз и навсегда проститься с вожделенными мечтами о мужской ладони и крепких губах. Изограф Мефодий не выходил у нее из головы — небрежный, одинокий, как она, он долго и неопределенно смотрел на нее, и она была не в силах прогнать его.

Постепенно разговоры о поездке прекратились. Кучера успокоились. Кончилось постоянное напряжение. Крепкие расписные сани убрали под навес, а конюхи, сплевывая сквозь зубы, глубокомысленно говорили:

— Только сумасшедший может ехать по такому снегу!..

Для Феодоры-Марии эти слова были подобны манне небесной. Ведь они успокаивали ее совесть... А когда дороги стали проезжими, она вдруг так понадобилась брату, что о поездке, разумеется, не могло быть и речи.

Борис-Михаил охладел к папским людям. Он еще не отказался от них, но молчал или говорил неопределенно, если кто-нибудь начинал их хвалить. Первой поняла это Феодора-Мария и, убежденная в необходимости своего присутствия, полностью забросила мысли о поездке. Лишь наедине с собой она презирала себя за то, что не это было истинной причиной...

9

Игнатий возвращался из ссылки победителем. Фотий был в немилости. Старый поборник справедливости возвращался в Константинополь, который был сбит с толку и маялся от неизвестности. Когда-то Игнатий заклеймил кесаря, претендовавшего на императорскую власть, а сегодня его встречал простой конюх, узурпировавший эту власть.

Патриарх не знал, скорбеть ему или радоваться... И все-таки радость от того, что он вернулся победителем, побудила его высоко держать голову и внимательно посматривать из-под седых бровей, отыскивая друзей и недругов в толпе встречающих. Враги притаились, и старый патриарх с удивлением замечал, что число друзей увеличилось.

Пожалуй, он простит мелкие провинности, сделает вид, что не заметил большой вины, и постарается устранить только тех, кто камнем лежит на его пути. Игнатий широкими взмахами серебряного креста, обвитого зеленью, благословлял людей, которые неизвестно почему высыпали на пристань встречать его. Пришли ли они ради

него или из-за страха перед новыми правителями? А может, люди верили в его справедливость? Если он не поколебался предать анафеме Варду, стало быть, и перед Василием не склонит головы... Это и непозволительно ему... Такая седовласая голова не должна склоняться ни перед кем.

Народ толпился, люди целовали края его одежды, старались поймать пальцы — ими будто овладело безумие. Глядя на все это, старый патриарх хотел поднять руку и сказать своему стаду такие слова, которые растрогали бы их, но сам не выдержал и заплакал. И плакал он не от восторга и не от радости, а от сожаления. Немало лет прекрасной поры его жизни прошло на острове, в тесной келье, в плену морского безмолвия... Тогда он думал, что еще сможет принести пользу божьему стаду, а теперь... Что надо совершить, чтобы они поминали его добром? Патриарх уже не думал об анафемах и отмщении. Всевышний подтвердил его правоту, возвратив ему патриарший престол,— вот это было действительно важно. Правда, он получил его из рук конюха, но пути господни неисповедимы... Слезы, крупные и мутные старческие слезы, катились по морщинистым щекам, но, лишь когда они заскользили по белой бороде и в них отразился отблеск дня, люди их заметили. Сначала слезы Игнатия многих смутили, но вскоре смущение перешло в прерывистые рыдания. Первыми заплакали женщины. Материнское чутье подсказало им, что и эта надежда — самообман... А может, женщины плакали о себе, о собственных загубленных годах... И до сих пор Игнатий не понял истинной причины того плача. Он шел среди людей с высоко поднятой седовласой головой, и его слезы сверкали, как капли дождя. Плачем ознаменовалась встреча патриарха, и всему его правлению суждено было пройти под знаком сомнений и душевных тревог.

...Игнатий чувствовал себя в долгу перед римской церковью. Папа Николай оказал ему доверие и помощь, и теперь патриарх стоит на страшном перепутье: усугублять ли распрю или найти руку, которая сумеет связать разорванную нить отношений между двумя святыми престолами? Но мысль, что новый папа не сделал ничего для его второго восшествия, сдерживала Игнатия. Трудно было бы ему, если б не умер Николай... Игнатий не раз писал святому апостолику, что все свои надежды связывает с ним и его одного признает судьей...

В первоначальной неразберихе патриарх, недолго думая, случайно выбрал своим посланцем в Рим Аргириса. Он помнил его как человека учтивого, не вмешивающегося в церковные и государственные дела. Лишь когда Аргирис уехал, Игнатий узнал кое-что о его поведении во время правления Фотия, но отзывать было поздно. Что с

ним, что без него — ведь пропасть между двумя церквами создал болгарский вопрос.

Если Игнатий откажется от идеи религиозного подчинения Болгарии Константинополю, он потеряет уважение духовенства, в том числе и своих сторонников... Борис выгнал византийских священнослужителей из своих земель, но надежда на возвращение все еще жила и подкрепляла их. Игнатий не представлял себе, что может сделать Аргирис в Риме для залечивания этой глубокой раны. И потому он почти не искал его. Он оставил его там жариться на медленном огне. За время своего властвования Фотий так расширил деятельность церкви, что старый Игнатий с трудом мог обозреть ее. Когда ему сообщили о миссии в Моравии, он долго-долго стоял, запрокинув голову и опершись руками на набалдашник посоха, и синкелл подумал, уж не случилось ли с ним что-нибудь.

Патриарх заговорил медленно, запинаясь, будто устав от изнурительной поездки. Он не знал, как относиться к братьям — как к врагам или как к друзьям... Плохого они ему ничего не сделали, но не сделали и ничего хорошего. Они держались в стороне от распри, были вне его поля зрения, и сейчас их пути-дороги почти не интересовали Игнатия. Если он упустил Болгарское княжество, то Моравское, пожалуй, мог бы удержать. Однако из-за Болгарского люди могут его возненавидеть, а из-за Моравского лишь пожмут неопределенно плечами: оно находилось очень далеко и не возбуждало всеобщего интереса. А пока оба брата были отнесены к тем, кто не мог ожидать от него ни добра, ни зла. Пусть выкручиваются, как знают, а если сделают что-нибудь полезное для его церкви, Игнатий не замедлит их приголубить.

Узнав о шумной встрече Константина и Мефодия в Риме, он снова задумался о них: в лучшем случае они могли бы стать его союзниками, необходимыми союзниками, которые принесли бы пользу обеим церквам. В чем конкретно выразится польза, Игнатий определенно сказать не мог, однако врожденное чутье подсказывало, что пока не следует отказываться от их дела.

Фотия увели из патриаршего дворца внезапно, и он даже не успел прибрать многие свои книги и рукописи. Какой-то слуга пришел взять их, но Игнатий был занят и не разрешил.

Игнатий, оставшись наедине с собой, часто заглядывал в рукописи врага и невольно удивлялся мыслям Фотия. Его противник был очень умен, это был философ, отличавшийся большей широтой мышления, чем он, и притом мышления неканонического. Светское начало преобладало даже в религиозных трудах. И в послании болгарскому князю Михаилу божественное осталось на заднем плане. Например, вот это место. Патриарх поправил замятые края пергамента и прочитал:

«Не делай ничего противузаконного даже в угоду друзьям своим. Ибо, если ты прав, они все же скорее возненавидят тебя за попрание закона, чем возлюбят за угодничанье перед ними. Если они подлые люди, ты причинишь себе двойной ущерб, ибо сделаешь им добро и заслужишь ненависть добрых людей. Кроме того, большое безумие — заменить временное личное удовольствие вечным и всеобщим порицанием».

Умно, но со сколькими сложностями, как книжно сказано. Игнатий разговаривает с людьми просто, с примерами, так что всякий понимает его, а не так вот:

«Благодеяния откладываемые и отсрочиваемые стареют, увядают и теряют свою красоту. Потому что как только они утратят украшающее их усердие, которое и является причиной большого и яркого удовольствия, то уже не приносят больше своевременной радости».

Сколько книжного в этой верной, глубокой мысли!.. И если человек столь учен, как Фотий, не может быть, чтобы он забыл землю, по которой ходит, и людей, о которых думает. Игнатий многое постиг в жизни, жаль только, время упущено и силы убывают, как вода в колодце на пустынной полоске земли... Легко давать советы, но трудно самому исполнять их. Из того, что его глубокомудрый предшественник написал болгарскому князю, сам он не исполнял и сотой части. Особенно в отношении обмана. Патриарх нагнулся над рукописью, чтобы рассмотреть получше, и прочел:

«Обман — всегда признание в своей слабости. Если его применить к друзьям, он превращается в большое зло и в исключительно безнравственное дело, но, если применить к врагам и недругам, которые о нем не догадываются, он будет сродни военной хитрости. Однако, если было заключено соглашение и враги его не нарушали, обман нельзя назвать ни геройством, ни доблестью. А посему не обманывай даже недругов, ежели они доверяют тебе. Ибо неприятель неприятелем, но немалые обманщики и лжецы те, кто обманывают доверившихся им людей».

Патриарх задумался. Написано-то красиво, однако, когда надо было сбросить Игнатия с патриаршего престола, он поступил как приятель или неприятель? Игнатий никогда ничего плохого Фотию не сделал, а императорский асикрит донес василевсу о чем-то, из-за чего Игнатий был немедленно свергнут и заточен. И почему? Только потому, что Игнатий встал на сторону матери-императрицы Феодоры. Никогда Игнатий не сказал ни слова скверного против Фотия, и их дороги не пересекались — до того момента, когда был предан анафеме Варда... Но ведь он заклеймил кесаря, не асикрита, а асикрит оклеветал его перед Михаилом... В таком случае зачем пишет он эти назидания? Кому нужны его глубокомудрые советы, если он сам не придерживается их? Кому?!

Впрочем, стоит ли портить себе нервы? Фотий уже не мешает, его смел ветер справедливости и возмездия. Но после него осталась распря, глупая распря с римской церковью! Как он из нее выпутается?

Игнатий троекратно ударил позолоченным посохом об пол. Патриарший синкелл заглянул в приоткрытую дверь.

— Войди, я не ем людей! — сердито сказал Игнатий.

Юноша с еле проступающими усиками робко вошел и чинно встал у двери. Патриарх испытующе посмотрел на него:

— Откуда родом, чадо?

— Здешний я, святой владыка...

— Кто отец?

— Патрикий Константин, святой владыка...

— А-а... знаю его. Хороший у тебя отец. Очень рад, что он воспитал такого молодца.— Игнатий потер лоб рукой и добавил: — А где он сейчас?

Синкелл пожал плечами и что-то пробормотал.

— Что-что? — Игнатий наклонил голову в его сторону.— Громче, сынок, не слышу... Где?

Вдруг лицо старика потемнело.

— Как? Его... тоже?

— Да, святой владыка...

Игнатий хотел было спросить: за что? Но его ленивый ум на сей раз поспешил и вовремя остановил вопрос. Кто мог объяснить, почему убивали знатных людей? Их убивали — и все. Вот сын патрикия Константина стоит перед ним и вряд ли может ответить на этот вопрос... Хорошо, что не спросил... Мучаясь старческой бессонницей, Игнатий часто встречал рассвет с открытыми глазами и, уставившись в потолок, думал о многих нужных и ненужных вещах. Каждая мысль приходила к нему, словно живой человек, он долго беседовал с ней и оценивал ее со всех сторон. Особенно настойчивой была мысль о том, чтобы написать новому василевсу, конюху Василию, и просить его прекратить репрессии. Она неотступно преследовала его, но улетала, словно испуганная птица, как только он ударял посохом об пол, чтобы позвать синкелла. Нет, патриарх достаточно томился на морском острове и не хочет туда возвращаться. Если он может что-либо сделать для людей, он осуществит это легче тут, среди людей.

— Все мы в руках бога, сын мой! — глубоко вздохнул старец. Работать уже не хотелось, но он все же спросил синкелла:

— Скорописью владеешь, сынок?

— Да, святой владыка...

— Вот и хорошо, не хвастаешься этим, а говоришь только «да». Стоит человеку возомнить о себе, будто он все знает и может, как от него ничего не остается... Запомни, что я сказал тебе. Пройдет время,

и ты скажешь: «Так-то и так-то говорил мне святой отец, и хорошо, что он говорил мне это...» По божьей воле мы будем с тобой работать на благо людей. И правильно: молодость и старость, если подружатся, многое одолеют. Значит, ты говоришь, что надо готовиться к Вселенскому собору? Тогда садись, пиши... Ты хорошо это придумал.

Синкелл вначале решил, что патриарх шутит, но, увидев его сосредоточенное лицо, подошел к столу и развернул пергамент.

— Хорошо,— повторил Игнатий,— до собора пройдет год-другой, а за это время день просветлеет, деревья распустятся и плоды созреют... Ты не пиши все, что говорится. Пиши лишь то, что я скажу...

Опершись подбородком на ладони, охватившие набалдашник посоха, Игнатий начал медленно диктовать.

Синкелл еле поспевал за ним. Патриарх говорил кратко, простовато, но сильно. Он сообщил епископам, что намеревается созвать новый собор, знакомил их с вопросами, о которых пойдет речь, интересовался их мнением, желал доброго здоровья, божьей благодати и усердия в небесных делах.

Синкелл писал, и его тревога и смущение постепенно исчезали, будто впитывались в пергамент.

По божьей воле они вместе будут работать на благо людей...

10

Это была высшая ступень иерархической лестницы. И на ней стоял бывший конюх Василий. Сначала он боялся смотреть вниз, боялся увидеть красную краску пролитой крови, но уже привык. Теперь ему хотелось одного — молчания. Он хотел полного молчания и подчинения. Тот, кто позволял себе возражать ему, прощался или с местом, или с головой.

А по ночам ему снилось, как он сильными руками душит бывшего императора. Василий просыпался угрюмым и долго не мог прийти в себя. Велел перенести спальню в противоположный конец дворца, но и сон перешел на новое место — упорный, всегда один и тот же. Михаил был пьян, и, как обычно после попойки, Василий отвел его в спальню. Но впервые привычная улыбочка императора вызвала у Василия чувство гадливости, и он захотел зажать ее подушкой. Стиснув правой рукой протянутые руки Михаила, левой Василий взял подушку.

Пьяный император не понимал происходящего. Ему казалось, что Василий шутит, и потому он неуклюже вертел головой, избегая мягкого пухового мячика. И лишь когда крепкая рука Василия зажала ему нос и рот, в мутном сознании императора забрезжила страшная правда, но было поздно. Михаил напрягся, желая освободиться, вы-

скользнуть. Это заставило нового кесаря стиснуть ему горло и не расслаблять железных пальцев, пока тот не дернулся в последний раз. Все случилось так быстро и внезапно, что Василий удивился. Он выпрямился, потер ладони одна о другую, посмотрел на них и, не увидев крови, усомнился в содеянном. Сомнение было столь сильным, что он пододвинул свечу и в ее свете попытался разглядеть Михаила. Лучше бы он не делал этого... Бывший император лежал навзничь, с согнутыми коленями, посиневшим лицом и большими мутными глазами, вылезшими из орбит.

Поверх белого покрывала тяжело лежали руки, будто переломленные, а там, где Василий стиснул кисти, были видны отпечатки его сильных пальцев.

Таким он каждую ночь видел Михаила во сне. Немало смертей помнил бывший конюх, но эта навсегда останется его проклятием. Днем он с головой погружался в государственные дела и в распри, а ночью приходил Михаил и до утра не покидал опочивальни. Утром император звал старшего сына, Константина, вручал ему списки с титулами и именами знатных и просил читать их вслух.

— Патриарх! — начинал юноша.

Василий добавлял:

— Игнатий!

— Кесарь!

— Читай дальше!

Василий махал рукой. Он не нуждался в соправителях.

— Новелиссим * Никифор...

— С сегодняшнего дня — Феодор,— говорил отец.

— Куропалат * Варданий!

— Остается.

И как не оставить его, когда они вместе готовили заговор! Он временно командовал охраной дворца, благодаря ему перехитрили Варду. Василий пока оставит его, но постепенно, думал он, сделает эту должность почетной. Охрана должна быть под его надзором: он знал путь собственного восхождения и не хотел быть застигнутым врасплох.

— Зоста-патрикия *! — продолжал Константин.

Василий готов был снова махнуть рукой, но вдруг поднял палец и задумался. Положение первой после императрицы женщины было немаловажным. Патрикия имеет свободный доступ ко всему во дворце, и какая-нибудь лукавая вертихвостка может натворить немало бед. Этот вопрос надо рассмотреть еще раз. Может, у жены будут свои соображения... Сей пост обычно полагался матери императрицы, но Василий не мог допустить, чтобы его простоватая теща из Адрианополя навязывала тут свой вкус. Здесь нужна женщина, разбирающаяся в дворцовых делах.

Разумеется, он размышлял об этом так, между прочим, но ведь новому василевсу необходимо изучать людей. Постепенно он привлек на свою сторону всех переселенцев, которых когда-то Крум оставил за Иструмом и которые так хитро сумели вернуться. Многие известные люди уже умерли, но сыновья их сохранили воспоминания, и эти воспоминания теперь становятся для них самой важной связью с Василием. Пока он прокладывал себе путь наверх, они тоже не сидели сложа руки. Некоторые были уже друнгариями, кастрисиями *, а один стал препозитом *, наблюдающим за кувикуляриями * и императорскими покоями. Он нуждался в доверенных людях, и чутье бывалого человека помогало ему находить их. Он искал их не в нынешних и не во вчерашних знатных родах, а где-то посередине, зная по опыту, что тот, кто собственными силами сумел добраться до этой середины, будет благодарен ему, если с помощью протянутой сверху руки поднимется еще выше, поближе к василевсу. Такие люди знали цену пройденному пути. Иначе обстояло дело с самыми бедными: быстрое и легкое возвышение не вызывало у них благодарности. С ними часто бывает, что не успеют они еще привыкнуть к жизни с удобствами, как впадают в душевные терзания, и невозможно предсказать, какой сюрприз могут они преподнести. Чувство справедливости непрерывно тянет их вниз, туда, откуда они произошли, и нарушает их душевное равновесие. Они способны в любой момент усомниться в том, кто над ними, и не потому, что стремятся занять его место, нет, но из-за неуверенности, делает ли он все точно так, как, по их мнению, надо делать на благо народа. Василий сам прошел через подобные душевные терзания, но, вкусив иной жизни, уже не хочет вернуться вниз к плебсу. Для него это было бы равносильно смерти.

Иногда он подумывал и о знатных, но лишь о тех, кого при Варде унижали и преследовали. Обыкновенно это были патрикии, стратиги провинциальных фем. На них держалась империя. С переменами Василий не спешил. Он подготовил смену еще при жизни Михаила. Многие из его людей уже тогда заняли нужные посты, чтобы у него была уверенность, прежде чем он решится поднять руку на своего благодетеля. Кольцо вокруг Михаила давно сомкнулось, и он продолжал жить только по благоволению Василия. Но та пьяная ухмылка ускорила его смерть. Василий уже чувствовал твердую почву под ногами, и все же он неуклонно продолжал выкорчевывать все сомнительное. Он искал корень зла, чтобы предотвратить любую неожиданность. Одной зимы хватило ему, чтобы прочно врасти в чужую почву. Он усвоил императорские порядки, научился говорить, а мертвенная бледность лица, от которого как бы исходил фосфоресцирующий свет, отгораживала его от других, придавала ему холодный и неприступный вид.

Даже друзья, которые всегда были рядом с ним, внутренне признавали его превосходство. Атлетическая фигура и резкая речь Василия внушали уверенность. Император следил за тем, чтобы исполнялись все дворцовые ритуалы. Будучи человеком из низов, он боялся прослыть некультурным и со свойственной ему строгостью старался приучить к порядкам и своих новых друзей. Следил за одеждой, за отличиями, за чинопочитанием... Многие из бывших слуг, готовые служить любому василевсу, люди без каких-либо пристрастий, остались на своих местах. Сперва Василий думал послать патриарха Фотия на южную стену, но затем отказался от этой опасной затеи: озлоблять духовенство, когда войско еще не полностью было в его руках, показалось ему опасным. И он решил ограничиться свержением Фотия. Этот поступок, надеялся Василий, восстановит дружбу с Римом. Пригласили ссыльного Игнатия, встретили и возвели его на престол с такими почестями, будто никогда не свергали. Дворцовым синкеллом назначили священнослужителя из Адрианополя, друга Василия. Когда Василий узнал, что синкеллом патриарха стал сын бунтовщика, патрикия Константина, убитого вместе с Петрониксом, он вскипел. Но, подумав, смягчился: если юноша одаренный, глупо не воспользоваться его знаниями... Василевс делал особую ставку на знания. Он разыскал самых мудрых учителей для сыновей Льва и Константина, так как желал сделать их просвещенными, сильными умом. Таким образом император надеялся также скрыть собственную безграмотность.

Близилась первая пасха в царствовании Василия, город с особенным интересом ожидал пиршества. В первый день число всех приглашенных (вместе с императорской семьей) должно равняться девятнадцати — это были самые приближенные и наиболее почитаемые люди. Пиршество устраивали в храме святой Софии, свидетелями его были немногие, но, как известно, любопытство не ведает преград, и прочные стены для него — лишь прозрачная перегородка, сквозь которую все видно. Эта торжественная трапеза происходила в день отговенья. Яства были разнообразнейшие, блюда подавались в соответствии с рангами. Мало было счастливчиков, которым что-либо перепадало от второго блюда, подносимого василевсу. Пирующие удобно возлежали на своих местах, чтоб не заметно было опьянения и нарушений чинопочитания... В зал приглашали в определенном порядке, по утвердившейся традиции, которая строго соблюдалась. Приглашенные члены императорского сената обязаны были снимать хламиды* в передней, дабы предстать перед взором василевса лишь в камизиях*. И только стратиги имели право входить в мантиях, но не в обычных, походных, а в изысканных, вышитых золотом, приличествующих случаю. Традиция обязывала пригласить также двух магистров, шесть стратигов-проконсулов, двух друзей из Болгарии и двух

официальных лиц в чине логофета — ровно двенадцать дополнительных гостей, столько, сколько было святых апостолов. Для них ограничений не существовало, им разрешалось быть в зале в своих одеяниях и своей обуви, но они должны были являться только после прибытия всех девятнадцати аковитов и после того, как императорские музыканты заняли свои места.

Потом к делу приступал препозит, который в соответствии с чинами размещал всех за императорской трапезой, но никого не пускал на третью ступень. Туда гостям доступа не было. Там был только василевс.

Этот дворцовый ритуал, давно известный горожанам Константинополя, не возбуждал их любопытства. Интерес сосредоточился на том, кого пригласят. Все знали друзей прежнего императора, хотя они и сменялись почти каждый год, но что было, то прошло, а сейчас важно знать, кто теперь войдет в зал аковитов.

Гадали новые приближенные.

Кое-кто из бывшей знати ждал.

Многие надеялись получить приглашение.

Число приглашенных в первый день было ясно, твердо и категорично — девятнадцать... Оно смущало и самого императора. Василий не хотел никого обижать, но одновременно должен был четко определить тех, на кого опирается и рассчитывает. Эти волнения относились только к первому дню. Торжества продолжались девять дней, в течение которых многих можно было пригласить. Сначала Василий склонялся к отказу от приема, но, подумав, решил не нарушать традиции. Вводить новые порядки ему казалось не очень правильным — тут приходилось принимать во внимание его путь к власти. И он решил возложить все ритуальные заботы на дворцовых людей. До сих пор он только присутствовал на торжествах, не спрашивая, кто их организует. Он знал лишь, что этим занимаются императорские приближенные, но теперь положение изменилось. Много знатных выпало из предварительных списков, многим новым предстояло быть за трапезой вместе с Василием. Намечалось также угощение для патриарха и синодальных старцев с соответствующими гостями — магистрами, антипатами, стратигами, двумя друзьями из Болгарии * и двумя димархами *.

Каждое утро приближенные докладывали ему о предстоящих торжествах, и василевс в конце концов велел написать весь ритуал, чтобы утвердить его, а ему самому впредь рассматривать только имена приглашенных.

Каждое утро один из сыновей, Константин, настойчиво знакомил его с тем, что было написано в ритуале:

«В девятый день от пиршества аковитов устраивается угощение,

известное под названием тригитик, и следует предварительно пригласить на императорское угощение 12 друзей, а именно...»

«...Всех их приглашают рано утром от имени императора через атриклина *, а вечером, после того как трапеза будет готова, все приглашенные входят в зал вместе с императором...»

Далее следовал перечень титулов, имен, объяснений, которые начинали сбивать его с толку, и всякий раз появлялись посланцы Болгарии, число которых увеличивалось с каждым днем торжества.

«...На следующий день после этого приема проводятся заключительные скачки, друзья из Болгарии возвращаются на родину и дается прием в роскошном Триклинии, в императорском зале...»

Василий знал, какую политику надо вести с болгарами. Борьба с Римом еще не окончена, и внимание к болгарским посланцам подразумевалось само собою. Труднее было со своими: все, кто помог Василию в борьбе за престол, теперь ожидали внимания и признательности. Он был перед ними в долгу и потому сейчас непрерывно уточнял и пополнял списки приглашенных.

В его голове упорно крутилась мысль о конных состязаниях. Они были любимым занятием бывшего василевса, и Михаил сам участвовал в них. Василий колебался — отменить их или нет. Решил оставить. Скачки так прочно вошли в жизнь Константинополя, что если он отменит их, то навлечет на себя гнев населения. И он решил обогатить их новым состязанием — борьбой. Борьбой сильнейших мужчин империи...

После торжеств Василий собирался отправить свою миссию в Рим, чтобы помирить обе церкви и решить болгарский вопрос — основную причину распри.

Находясь на высшей ступени самой высокой лестницы, император старался обозревать все вокруг. От его взгляда не ускользнула Моравия, но Василий думал заняться ею попозже.

11

Целыми днями Мефодий ходил по делам миссии. Папская стража уже знала его и пропускала в Латеран. Прямая осанка, седовласая голова, четкая, чуть прихрамывающая походка внушали уважение. Стражники почтительно расступались перед ним. И как бы он ни был погружен в себя, он никогда не забывал поздороваться с ними. Мефодий не искал сближения. Уважение к человеку побуждало его быть внимательным. Но чем больше ходил он по домам знати, тем больше убеждался, что искренность не присуща римскому духовенст-

ву. Обещания не согревали его, не укрепляли надежды. Первоначальный интерес к их делу прошел, у некоторых епископов оно уже вызывало досаду.

В сущности, никто из них не рискнул бы открыто занять сторону Константина и Мефодия. А к папе после большого несчастья, обрушившегося на его семью, было невозможно пробраться. Около Мефодия вырастала темная стена притворно любезных лиц, и он ощущал, как все его усердие становится бессмысленной беготней за миражем Моравско-Паннонского диоцеза.

Страшно уставший, он возвращался вечером в монастырь при церкви святой Праседе, чтобы дать отдых отяжелевшей голове. Дело не двигалось. Константин не поправлялся. Савва, Климент, Ангеларий и Наум непрестанно заботились о нем, но что они понимают в болезнях! Несколько раз приходили папские целители, но давно, еще при Анастасии. С тех пор как молва прогнала его из Вечного города, братья потеряли связь с папой. Да и не время беспокоить Адриана. У него были тяжелые заботы. Прошел слух, что после покушения на жену и дочь он сошел с ума. Он непрестанно молился, и его молитвы были полны проклятий в адрес Анастасия, епископа Хорты Арсения и его сына. Сорок дней не выходил папа из латеранской церкви, а когда показался в дверях, его лоб был в шишках от ударов об пол.

Гнев истощил его тело, и он занемог. И очень долго приходил в себя. Время от времени он звал к себе брата Себастьяна и диктовал злобные послания франкским епископам по самым ничтожным поводам. Брат Себастьян, верный себе, усердно переписывал их и рассылал адресатам. И оттуда приходили ответы. Гинкмар Реймский писал их, совсем не соблюдая уважительного тона к святому апостолику. От крепкой власти папы Николая уже ничего не осталось, и Себастьян чувствовал, как превращается в слугу, которого защищает от дождя дырявый зонтик. Вряд ли папа мог отвратить от него гнев людей и бога. Но он обязан был служить, и он служил. Брат Себастьян несколько раз пытался передать Адриану завещание покойного папы Николая насчет Константина и Мефодия, но новый божий избранник не хотел его слушать, а когда слушал, то не понимал. Его взгляд стал пустым, устремленным в одну точку, на что-то ведомое лишь ему самому. Только однажды папа сказал:

— А они все еще здесь?

— Кто, святой владыка? — И Себастьян поднялся, испуганный его неожиданным вопросом и сосредоточенным взглядом.

— Ну, братья, о которых ты мне говорил...

— Здесь, святой владыка.

— Скажи им, что я скоро приму их...

Себастьян передал Мефодию слова папы и его обещание при-

нять их, но это было уже достаточно давно. С тех пор молчание становилось все более тягостным, стена все более плотной, непробиваемой. Вечный город начал показывать свое неприветливое лицо. Встретив их как гостей, он теперь смотрел на них как на людей, которым пора уходить. Они достаточно погостили, оставили здесь, что принесли, и ничего не взяли отсюда. Этот город не привык давать. Сколько существует на свете, он только берет и берет. Что это вообразили себе учителя славян? Если бы город так легко раздавал, от него ничего не осталось бы! Желающих брать всегда слишком много.

Мефодий понимал устремления города, но ведь если речь идет о новом завоевании во имя всевышнего, то надо и давать. Нет, Мефодий не перестанет ходить, стучать в двери, убеждать. Его жизнь прошла не в четырех стенах кельи, он знает, что такое бури и мытарства, возвышение и падение, рана и боль, радость и торжество. Дело миссии восторжествует, ибо правда за ними. Вернувшись в тихую келью, Мефодий ложился на постель, заводил руки за голову и долго не мог успокоиться. Братия собиралась на очередную молитву, он тоже должен был идти, но гнев держал его в келье. Он предпочитал побыть возле постели Константина, чем бормотать там вместе с другими... Холодный город был виноват в том, что его вера слабела.

А брат все худел, терял силы. К великому удивлению всех, неделю назад появилась Ирина. Она долго стояла у постели Философа и долго, не переставая, плакала. Ей было жаль своей жизни, своих молодых лет. Константин слушал ее, и сочувствие комом перехватывало горло. Ирина стала беспомощным листком, гонимым ветром. Есть ли у нее кто-нибудь в этом городе? Никого! И он верил ей, ибо в ее словах было много горя и много отчаяния. С какой-то женской настойчивостью она все возвращалась к тем годам, которые прошли в доме логофета и которые были в сознании Философа единственным общим для них светлым пятном. Ему казалось, что эти воспоминания стали ее опорой.

Константин не знал женщин. Он прошел мимо них, а они мимо него, как корабли, плывущие в разных направлениях. Правда, была одна пристань, где они встретились, но встреча была недолгой и поэтому, наверное, оставила только доброе воспоминание.

Слушая жалобы Ирины, Философ думал о себе, о своих трудных дальних дорогах, об отшумевших днях и о той женщине, которая, провожая его и Мефодия, долго смотрела на них, чтобы унести их образ с собой, на тот свет, к отцу. Сколько раз в одинокой келье плакала его душа о родном доме, о ласковой материнской руке, о свете над тихим синим морем, озарившем его детство живительной силой человеческой надежды. И Константин увидел себя мальчиком: пахари моря, рыбаки, шли от горизонта к берегу на фоне огромного ве-

чернего заката, будто морские божества выходили из глубин заалевших волн, а он сам бродил по берегу и касался их волос, позолоченных заходящим светилом. Серебряная рыбья чешуя блестела на их загорелых телах, будто на них были серебряные кольчуги, и в мечтательной душе мальчика рождались грезы о сказочных путешествиях. И вот скитания привели его в этот каменный город, чтобы увидеть слезы измученной женщины и услышать жалобный плач ее сердца. Был бы у нее ребенок, она жила бы утешением оставить после себя часть своей крови, которая будет передаваться из поколения в поколение, поддерживая надежду на бессмертие... Это о ней, а что сказать о себе? Разве он не пилигрим, заброшенный судьбой под чужие небеса?.. Этот вопрос заставил его привстать с постели. Он не раз задавал его себе, но теперь, в сравнении с судьбой Ирины, он прозвучал очень жестко и резко. И ответ впервые показался Философу неудовлетворительным, неуверенным. Его бессмертие заключалось в его большом деле, но, судя по всему, у него не хватит сил завершить это дело... Потомки сохранят о нем память, только если его брат и ученики смогут одолеть врагов славянской письменности... Только тогда его кровь будет передана другим поколениям в слове, как и сказано в Священном писании...

Облокотившись на подушку, Константин попросил Ирину принести воды. Когда она подала ему чашу, он ощутил на руке ее слезы. Они обожгли его, как раскаленные угли. Мир сжалился над ними обоими. Он встретил ее снова, чтобы вдвоем они оплакали прошедшие годы. Константин запомнил шепот Ирины — она просила прощения. За что? Он не понял. Он увидел, как она выходила, далекая и состарившаяся, бескрылая и неузнаваемая.

А утром он обнаружил на подушке кровь...

Он понял, что приходит конец. Константин позвал учеников и пожелал принять монашескую схизму и имя Кирилл, с которым он и предстанет перед всевышним. Пятьдесят дней его жилистое тело боролось со смертью и наконец сдалось. Прежде чем закрыть глаза, он тихо произнес свой завет. Мефодий, весь превратившись в слух, запоминал его последние слова.

— Брат мой,— шептали потрескавшиеся губы,— мы в одной упряжке пахали одну борозду. Моей жизни приходит конец, и я падаю на ниву. Ты очень любишь горы, но ради них не оставляй учение, ибо с ним легче спасешь свою душу...

Он умирал и думал о спасении того, что дало смысл всей их жизни! Мефодий стоял на коленях у постели брата и всем сердцем ощутил его последнее движение, но глаза не хотели верить, что все свершилось, что Философ больше не пойдет с ними, что не прозвучит его ясный голос и след от его шагов не укажет им дорогу вперед. Константин отправился в свое самое долгое путешествие, и глаза его не

наслаждались теперь весенними цветами — они освещены были колеблющимся светом восковой свечи, который напоминает нам о непрочности человеческой жизни... Нет, он должен жить! Он будет жить!.. Не может умереть тот, кто дал людям столько света и мудрости!

Мефодий встал. Выпрямился. В его взгляде застыл страшный вопрос. Как случилось, что брата уже нет? Ведь всего несколько минут назад он был с ними, надеялся вновь отправиться в путь и повести их к заброшенной борозде на большой ниве славянства!.. Зачем случилось это?.. Зачем?!

Мефодий посмотрел на поникшие головы учеников, и по его суровому лицу как-то робко и нерешительно покатились слезы. Страшная догадка поселилась в его сердце. Нечистой была рука этого города. Привыкший не давать, а только брать, он отнял самое дорогое — их мудрость и свет, Константина, но этот город ошибается в своих расчетах: он забыл, что у них остался меч с рукоятью в виде креста, и меч сей — Мефодий! Пока он жив, он не оставит борозду на их общем пути!

Мефодий троекратно перекрестился, и слова его прозвучали как удары тяжелых камней:

— Клянусь именем славянских народов! Клянусь светом содеянного тобою, брат мой, что исполню твое желание! Спи и слушай, как все уста будут восхвалять твои письмена! Ты жил, чтобы возвысить людей, отныне они будут возвышать тебя!

Ученики подняли головы и скорбными голосами нестройно провозгласили:

— Аминь!

Книга третья · Мир бессмертия

Светът на безсмъртието

Редактор Т. Горбачева

ГЛАВА ПЕРВАЯ

...И получил папа эту весть, и узнал, что Мефодий в темнице. Тогда он проклял немцев, наказав всем королевским епископам не служить мессу, сиречь литургию, пока Мефодий в неволе. Поэтому они освободили его, но пригрозили Коцелу: «Ежели он останется здесь, тебе не будет от нас покоя».

...Тогда и случилось это — мораване изгнали всех немецких священников, которые жили у них, ибо уразумели, что те не желают им добра и плетут интриги против них.

Из «Пространного жития Мефодия».
Климент Охридский, IX век

...И мы не только отлучим всех греческих пресвитеров и епископов, что находятся там, но и предадим их анафеме. А нам сказали, что большинство из них рукоположил Фотий, значит, они ему друзья и споспешествуют ему; а заодно с ними и вас мы тоже отлучим, ибо ты отступник, перебежчик, разрушитель веры, ты соучастник дьявола, которому подражаешь, а дьявол есть лжец, и для него изначально безразлична истина.

Из письма папы Иоанна VIII князю
Борису-Михаилу. Декабрь 872 года

...Когда эти святые, сиречь Кирилл и Мефодий, увидели, что верующих много и что много божьих чад рождается на свет, но у них вовсе нет пищи духовной, братья сотворили азбуку, как уже говорилось, и перевели Писание на болгарский язык, чтобы в достатке дать божественную пищу тем чадам божьим.

Из «Жития Климента Охридского».
Феофилакт, XI век

Мы верим, что понадобился бы целый поток слез, как говорит пророк Иеремия, чтобы оплакать твои безобразия. Разве ты не затмил жестокость — не скажу духовного, но любого светского лица, даже тирана, бросив нашего брата во Христе, епископа Мефодия, в темницу и самым суровым и нечеловеческим образом заставив его стоять под открытым небом в мороз и дождь... стегая его бичом из конских волос.

Из письма папы Иоанна епископу Германрику
Пассавскому. 873 год

Сей наш великий отец и светоч Болгарии был родом из европейских мизийцев *, которых народ теперь называет болгарами...

Из «Краткого жития Климента».
Дмитрий Хоматиан, XIII век

1

Почуяв конец пути, лошадь остановилась на холме и протяжно, призывно заржала. Вдали в косых лучах солнца сияла моравская столица, и душа Мефодия наполнилась тихой, вдруг пришедшей радостью. Мир снова возвращался к нему вместе с трепетным ожиданием труда. Ощущение от пережитых неприятностей, оставшихся где-то позади, до сих пор было в нем живо. Сырые немецкие казематы подкосили его здоровье, но укрепили дух и решимость ни перед чем не останавливаться во имя доброго дела. Два с половиной года, проведенные в суровой стране Людовика Немецкого, в тюрьмах, где немцы истязали Мефодия втайне от папских легатов, сделали еще более твердым его убеждение идти по пути Константина-Кирилла. Клятва, данная у смертного одра брата, стала его опорой, помогла выдержать все пытки и издевательства. Защищенный ее броней, он оставался несгибаемо стойким, как одинокое, но могучее дерево, выдерживающее напор злобных вихрей. В его душе не угасал огонь борьбы, согревая сердце и поддерживая уверенность в том, что небесный судия обратит еще свой взор на него — мученика истины, радетеля о просвещении народов. Чем только не терзали его мрачные силы рода человеческого: пытками, хулой, голодом, низкой ложью, которая точила душу, как невидимый червь внутренность цветка или яблока. Темень сырых каменных подземелий отнимала зрение, но свет, идущий от воспоминаний, защитил его, сделал еще более мудрым и чистым, как чиста горная вода, рожденная в ледниках. В безликие годы одиночества у него было очень много времени обдумать все, что произошло. Смерть Константина потрясла его. Мефодий, привыкший всегда видеть врага и бесстрашно вступать в единоборство, теперь понял, что в Вечном городе не может быть ясной и чистой улыбки. Чем торжественнее и шумнее обставлялась церемония похорон брата, тем больше сомневался Мефодий в добрых намерениях окружавших его папских легатов и епископов. Рим сбил его с толку коварством: папа предлагал даже свою гробницу для Константина, однако не разрешил Мефодию исполнить завет матери — похоронить Константина во дворе монастыря святого Полихрона. А может, папа и не подозревал о том, что творилось вокруг него. Потрясенный смертью своих близких, он вряд ли понимал действия епископов, аббатов и легатов, заполнивших Латеран. Наверное, так оно и было — ведь вначале папа согласился выполнить просьбу Мефодия, как только он сказал: «Мать взяла с нас клятву, что того, кто умрет первым, оставшийся в живых доставит в родной монастырь и там похоронит». Адриан велел заковать гроб с телом Константина и приготовить к отправке. Семь дней держали его в таком состоянии, семь дней папские люди отказывались передать его Мефодию, семь дней епископы и Адальвин угова-

ривали папу не давать гроб, «ибо после долгих скитаний бог привел Константина сюда и здесь принял от него душу, здесь и следует похоронить его, как всякого глубокочтимого мужа...». Мефодий попросил раскрыть гроб, чтобы в последний раз взглянуть на брата, однако папские люди не захотели выполнить и эту просьбу, а распространили молву, будто по божьему велению крышка навсегда приросла к гробу и открыть его невозможно... Измученный горем Мефодий не имел тогда времени всесторонне обдумать эти слова. Лишь в темницах Людовика Немецкого постиг он жестокую правду о смерти Константина... Та же самая рука, которая схватила его и заперла в подземельях Эльвангена, погубила и брата, погасила светильник славянства, ум и мудрость их упорной дружины. И чем больше немецкие священники старались сломить его дух пытками, тем больше крепло в нем убеждение в насильственной смерти брата. Они рассчитывали, что после кончины Философа его ученики разбредутся по белу свету, что посеянные им семена будут вытоптаны и выклеваны вóронами времени и не дадут ни единого всхода, но они ошиблись. Остался он, Мефодий, и он станет во главе последователей Философа и продолжит его дело. Сначала Мефодий отправился к Коцелу. Папское благословение гласило: «Посылаю его на все эти славянские земли учителем по воле бога и первопрестольного апостола Петра, ключника царствия небесного». И снова начались мытарства с получением епископского сана, и снова Мефодию надо было идти ради этого в Рим. Он поехал с двадцатью учениками. Вернулся и собрался было спокойно продолжить дело брата, но его вдруг опять пригласили для объяснений. Мефодия остановили на дороге какие-то незнакомые люди, и, пока ученики разбирались, что к чему, внезапно, как вóроны на сокола, налетели всадники и похитили его на глазах у учеников. Никогда Мефодий не забудет встречи с Людовиком Немецким, его холодных серых глаз, чуть искривленного подбородка, обросшего колючей щетиной, и хриплого голоса. По сторонам от короля стояли епископы Адальвин Зальцбургский, Германрик Пассавский, Анон Фрезингенский, Ландфридт Сабионский. Они привели Мефодия на суд, и все обвинение состояло в следующем:

— Ты учишь на нашей земле!

Мефодий и не думал отступать, а при виде мрачных лиц, скроенных по немецкому стандарту, его охватил гнев. Их обвинение было несправедливым. Испокон века моравские и паннонские земли подчинялись папе римскому. И хотя часть диоцеза Илирикум стала владением Восточной церкви, это не давало немецким священнослужителям права распоряжаться, как в своей вотчине, в западном Илирикуме, принадлежащем Риму. Их тупая уверенность возмутила Мефодия.

— Если бы она была ваша, я ушел бы оттуда, но это владения святого Петра. Воистину ненасытно и алчно преступаете вы искон-

ные границы и забываете божье учение. Но берегитесь: тот, кто хочет костяным черепом пробить железную гору, останется без головы...

Эти слова взбесили Германрика, и он процедил сквозь зубы:

— Худо тебе будет за твой язык!

Мефодий не испугался угрозы. Он вспомнил Писание и ответил:

— Я говорю истину перед царями, и мне сраму не будет.— И, подняв руку, наставительно добавил: — А вы делайте со мной, что хотите. Я не лучше тех, кто боролись за истину и потому в муках ушли из этой жизни...

— Что ты не лучше, мы знаем,— с насмешкой в голосе сказал Адальвин, но Мефодий прервал его:

— Мне неведомо, что́ вы знаете, но и вы не знаете, что́ я знаю о вас.

— Что ты можешь о нас знать? — пренебрежительно пожал плечами Анон Фрезингенский.

— Я знаю, что ваш земной путь заканчивается. Это не проклятие, а мысль, подсказанная мне небом,— ваш земной путь уже на исходе. Слишком велик груз грехов ваших, и тяжело стало матери-земле носить вас...

От этих слов епископы почувствовали себя неуютно. Желая вернуть им уверенность, Людовик Немецкий поднял брови и, уставившись тяжелым, свинцовым взглядом на сухое, пророческое лицо Мефодия, сказал:

— Не мучайте моего Мефодия, он и так весь в поту, будто у печи стоит...

В голосе слышалась плохо скрываемая насмешка, и Мефодий не остался в долгу:

— Ты прав, государь. Раз один человек встретил философа и спросил его: «Отчего ты так взмок?» И тот ответил: «Я спорил с невежами».

Мефодий знал, что епископы никогда не простят ему этих слов. Поэтому он не удивился, что был отправлен в Швабию, подальше от своего диоцеза, от друзей и учеников. Те же самые епископы не переставая мучили его: посадили на хлеб и воду, жестоко издевались над ним, обезумев от ненависти и злобы. Но и за высокими стенами замков, в сырых подземельях, где он сидел вместе с преступниками и сумасшедшими, Мефодий ощущал заботу и присутствие Саввы. Что и как делал неутомимый ученик и сподвижник, Мефодий не знал, но его тайные весточки и знаки постоянно напоминали учителю, что есть люди, которые думают о нем. Он видел Савву только раз, в конце первого года заточения,— в воротах крепости. Мефодия перевозили в другой город, и конвойные даже не заметили присутствия Саввы. С Саввой был и один из учеников помоложе, Лазарь, умный и ловкий

юноша, который легко входил в доверие и к знатным, и к простым людям. Их незримое участие укрепляло надежду Мефодия на то, что его плен продлится недолго. И он не ошибся. Новый папа Иоанн VIII настоял на его освобождении. Легат Павел Анконский привез распоряжение папы. С ним приехал Савва, чтобы указать место, где заточен Мефодий. Но радость Мефодия омрачило известие о гибели Лазаря от рук немецких священников. Смерть настигла юношу в Риме после встречи с Анастасием, которому он рассказал о судьбе Мефодия. Лазарь вышел из Латерана и исчез, а через несколько дней его нашли мертвым в лесу. Но и убийство не смягчило немецкой злобы: дорога в Паннонию была для Мефодия закрыта, и ему пришлось ехать в Моравию... И вот его конь стоит на невысоком холме и призывно ржет, чуя конец пути. Косые солнечные лучи золотят медные украшения на сбруе, на земле лежат длинные ломаные тени коня и человека. Савва терпеливо ждет, пока учитель и архиепископ отпустит поводья, чтобы продолжить путь к городу надежды, где их ожидают остальные ученики.

2

Жизнь шла своим чередом. Все, от травинки до птицы, устремлялось к смерти, словно слепой к солнцу. Зачем? Борис-Михаил уже давно постиг этот сумасшедший бег, который он, как бы ни хотел, не мог остановить. Ничего другого не оставалось, как направлять этот бег — в меру своих сил. Смерть ни от кого не отступалась. Она шла с человеком со дня его рождения, и ему смолоду надо было привыкать к мысли не обращать на нее внимания. Если дать ей волю, она станет преследовать тебя, соблазнит под свою манящую сень... Усталость то и дело напоминала князю о смерти. Усталость от длинных бессонных ночей, от непрестанных хитростей византийцев, папских упреков, от государственных забот и тайных козней врагов. Вот в его руках шелестит новое послание папы. Пергамент потрескивает, как горящая восковая свеча, и наполняет душу мраком сгустившихся теней. Иоанн VIII угрожает анафемой за то, что он вновь перешел к константинопольской церкви... Бориса не пугают проклятия, но он не хочет окончательно порывать с Римом. Так что снова придется отправить к новому папе посольство с дарами и очередными уклончивыми ответами. Движение надо направлять, и он направляет его. Церковный собор в Константинополе рассмотрел болгарский вопрос и признал за болгарской церковью право иметь своего главу. Самостоятельность, хотя и неполная... Хорошо потрудились кавхан Петр, ичиргу-биль Стасис, канатаркан Илия, сампсисы Пресиян и Алексей Хонул. Восьмой вселенский собор почти полгода заседал в святой Софии, и болгарские посланцы терпеливо выжидали подходящего случая. Пос-

ле заключительного заседания, на котором прозвучали торжественные слова: «Долгих лет жизни императору Василию; Константину и Льву; долгой жизни императрице Евдокии... Анафема Фотию, Григорию Сиракузскому, Евлампию Апамейскому! Вечная память папе Николаю, ревнителю истины! Долгих лет жизни папе Адриану II, константинопольскому патриарху Игнатию, иерусалимскому патриарху Феодору и александрийскому — Михаилу, а также восточным престолам и римским викариям!» — наступил самый напряженный момент. Император Василий I пригласил представителей всех церквей во дворец, где будет испытано единство церквей Константинополя и Рима. Наряду с легатами Людовика Немецкого пригласили и посланцев Болгарии. Кавхану Петру, бывавшему в Риме и знавшему суть распри, надлежало поставить на обсуждение спорный вопрос о болгарской церкви. Его смущало лишь присутствие старого знакомого, Анастасия Библиотекаря. На соборе Анастасий был больше толмачом, нежели духовным лицом. После того как он тайно покинул Рим, король Людовик II сумел для него выпросить у папы разрешение поехать в Константинополь. Анастасию поручили сосватать дочь короля, Ирменгарду, за сына Василия I, поэтому его так охотно пригласили на торжественное заседание. Представители Рима держались кротко и вместе с тем самоуверенно, и вдруг это умиротворение было нарушено неожиданным появлением кавхана Петра. Борис правильно рассчитал удар. Болгарский вопрос надо было решать в самом конце, в присутствии императора Василия, во избежание нежелательных ссор и прений. Князь и кавхан тщательно обдумали каждое слово выступления. Петр начал с выражения почтения к собравшимся:

— Узнав о том, что по патриаршей воле вы собрались здесь из разных стран ради пользы святого божьего престола, и выражая благодарность вам, которые посланы апостолическим престолом...— И, подняв глаза к потолку, чтобы не видеть лиц папских представителей, продолжил: — Мы были язычниками и лишь недавно приобщились к христианской благодати. Поэтому, чтобы избежать какой-либо ошибки, мы хотим узнать от вас, представляющих здесь верховных иерархов: какой церкви мы должны подчиняться?

Борис зримо представил себе изумление папских послов. Впрочем, его люди рассказали ему обо всем. С того дня до нового папского послания, полного угроз, прошло два года, в Латеране уже восседал новый наместник бога, который и написал это гневное послание. Борис не был знаком с новым папой и избегал личных встреч с ним. Он предпочитал поддерживать с ним связь через третьих лиц, чтобы не брать на себя клятвенных обещаний в верности. Князь хотел быть свободным и неизвестным, это делало его загадочным и неуязвимым... Кавхан Петр бросил тогда яблоко раздора и терпеливо ждал. В присутствии императора вспыхнул яростный спор, который в результате

привел к решению об относительной самостоятельности болгарской церкви. Борису-Михаилу осталось лишь сыграть перед папой роль святой простоты. Он-де сожалеет, что пришлось попросить римских священников покинуть Болгарию. Но как христианин Борис-Михаил, мол, не мог не подчиниться решению столь важного церковного собора, на котором присутствовали и папские легаты... Римские священники — в отличие от византийских, которых бесцеремонно выгнали,— покинули Болгарию желанными гостями, оставляющими дом доброго хозяина лишь по настоянию более сильного господина. Чтобы иметь защитника перед папой, Борис-Михаил приказал наполнить кожаный кисет папского епископа золотом, а его карету — дорогими подарками. Это способствовало тому, что римское духовенство спокойно, без проклятий и угроз в адрес вчерашних хозяев, покинуло болгарское государство. Они были уверены, что уезжают ненадолго, но князь так не думал. Он решил раз и навсегда распрощаться с божьими опекунами, которые ставили себя выше него. Вновь прибывшим византийским священникам Борис-Михаил внушил мысль, которой они раньше пренебрегали, что он — единственный хозяин Болгарии и что к его словам надо прислушиваться. Византийские священники пересекли границу, помня о прежнем унижении, когда каждый мог кинуть в них камень. Но с их приходом в душе Бориса возродились прежние тревоги о своем духовенстве, об опасностях, проистекающих от греческого языка, однако на сей раз решение этих задач виделось ему более легким. Он хотел разыскать тех духовных лиц из Брегалы, которые были учениками Иоанна, и проверить их знания. Если их силы окажутся совсем слабыми, он думал найти в Моравии брата умершего в Риме Философа, и Наума, сына убитого кавхана Онегавона, и христолюбивого, досточтимого сподвижника святых братьев Климента. Князь, как всегда, не торопился. Ему хотелось посмотреть, как пойдет дело, понять, кто из его сыновей будет достоин возглавить духовную жизнь государства. Более подходящим казался младший — Симеон. Он родился в бурные дни крещения, не знал старых законов и мог бы стать духовным пастырем, если проявил бы усердие и святость. Без сомнения, богу более радостно входить в общение с представителем самого знатного рода, чем с каким-нибудь неизвестным священником. Наблюдая за мальчиком, Борис видел, как он разрывается между стрельбой из лука и книгами. Мечта о воинских подвигах, наверное, отступит перед осознанием истины, что главенство в государственных и светских делах принадлежит старшему брату, Расате-Владимиру. Тот с трудом сживался со своим вторым именем, и Борис-Михаил чувствовал, что богослужения были для него истинным мучением. Как все, он посещал их, как все, стоял на коленях, но душа его не уносилась к всевышнему. Расате в это время думал о чем-то своем, небожественном. Отец часто ловил его на том, что он вообще

не слушает священника. Иной раз Расате вставал последним, и у Бориса было впечатление, что его сын не очень-то понимает, где он и почему стоял на коленях. Бывало и так, что Расате первым украдкой выходил из храма и спешил исчезнуть, скрыться от отцовского взгляда, опасаясь, что в наказание отец может заставить его дольше всех стоять у алтаря. Не таким был Симеон. О нем сызмала стала заботиться его тетка. Кремена-Феодора-Мария привязалась к племяннику с огромной силой материнской любви, присущей старым девам, и увела его в глубины своего одинокого религиозного мира. Вечерами она читала ему притчи, и греческий язык входил в душу мальчика вместе с жизнеописаниями святых и мудростью пророков. Эта привязанность и радовала, и пугала Бориса. Он боялся, что чрезмерное общение с богом может слишком рано оторвать сына от земной жизни, сделать его неспособным к практическим делам. Богу богово, но людям нужна крепкая рука. Самому князю больше других нравились такие святые, как Георгий, Илия и все те, кто владели копьем не хуже, чем крестом, лихо управлялись с боевыми колесницами и громами небесными и вселяли в души страх. Симеон не должен стать только безликим книжником и духовным пастырем. Ведь в жизни и самому кроткому приходится браться за оружие во имя божьей истины. Симеон должен вырасти таким. И, уезжая на охоту, Борис-Михаил брал с собой Симеона. Кремена-Феодора сердилась, умоляла сокольничих и наказывала слугам и телохранителям беречь племянника, но перечить брату не смела. Слово великого князя болгар было для всех законом. Борис молча смотрел, как сестра хлопочет и раздает поручения — в гомоне егерей и сокольничих, средь лая собак и всеобщего шума. Ее советы казались ему смешными. И если что радовало его в поведении сына, так это улыбка Симеона. Отрок добродушно посмеивался над тревогами тетки, обещая привезти ей лисьи шкуры для зимней одежды. Он излучал достоинство и мужественность, и отец смотрел на него с любовью. Его понятливость и восприимчивость питали давнюю мечту князя: он видел сына в Магнавре, в обществе самых образованных людей... Но все это относилось к будущему. А теперь Борис-Михаил должен был хитрить, чтобы смирить гнев папы и правителей соседних государств. Надо было поддерживать дружбу с Людовиком Немецким, всегда опиравшуюся на церковные догмы. Когда Борис был на стороне Византии, Людовик отвернулся от него; потом, в годы сближения с Римом, они возобновили дружбу, но теперь их отношения опять разладились — вот уже более двух лет, как византийские священники снова вернулись в Болгарию. И если дело еще не дошло до открытого разрыва, то лишь потому, что немцы были очень заняты. Их распря с моравскими князьями затянулась. Борис-Михаил не вмешивался в нее, и ему пока удавалось оставаться в стороне. А дальше — время покажет.

Одновременно с Мефодием в Моравию прибыл в качестве постоянного представителя римской церкви папский легат Иоанн Венетийский. Святополк обрадовался: Рим проявил к нему большое расположение. Новый папа Иоанн VIII не ладил с восточнофранкским духовенством, и его покровительство моравской земле помогало князю укреплять государство. Долгий путь прошел Святополк — путь падений и взлетов, стоивший ему больших сил и тревог. Несколько лет назад Святополк, послушавшись кое-кого из своих приближенных, заключил с Карломаном договор против Ростислава. Жажда власти оказалась сильнее родственных чувств, и он выступил против своего благодетеля. Ростислав, судя по всему, не поверил сведениям о том, что его племянник объявил себя самостоятельным властелином, и потому пошел на встречу с ним неподготовленным. Он дорого заплатил за это. Святополк взял его в плен и передал в руки немцев. По решению суда в городе Резна Ростиславу выкололи глаза... Стоит зажмуриться, как Святополк и сейчас отчетливо видит, что учинили немцы над его благодетелем и за что он сам тоже несет ответственность. Ростислав был осужден за неисполнение каких-то несуществовавших обязательств. Когда к его глазам поднесли раскаленное железо, он сказал всего несколько слов, но они камнем легли на сердце племянника. Тогда он выслушал их с усмешкой, будто они не касались его, но слова те глубоко ранили его душу. Они будили его по ночам, держали в напряжении, заставляли подниматься с постели и угрюмо бродить по темным коридорам замка. Он как сейчас видит поседевшую голову Ростислава и слышит его прицельные слова:

— Милости я не хочу! На что мне теперь глаза, если я не увижу больше неба над Микульчице, а иметь глаза, чтобы видеть перед собой подлеца и предателя родной земли,— не хочу!

И он сам протянул руку за раскаленным железом... Эта мужественная рука, которая не дрогнула и в такой момент, заставила Святополка отвернуться, чтобы не видеть, как навсегда угаснет свет в глазах князя... Не прошло и недели, а Святополк стал уже постигать смысл содеянного. Он открыл Людовику Немецкому ворота в свою землю. Священники хлынули в Великую Моравию, и начались гонения. Войска Карломана захватили Велеград, богатства Ростислава, и Святополк почувствовал, что приходит его черед, но спасаться бегством было уже поздно. Сначала немцы держали его при себе, но скоро обвинили в неискренности по отношению к Людовику Немецкому, заковали в цепи и бросили в темницу. Странно было, что его посадили в одну камеру со слепым Ростиславом. Вначале Святополк молчал, боясь голосом выдать себя, но сохранить свое инкогнито в тесной камере было невозможно. Ростислав узнал его — то ли по странному

молчанию, то ли по нервным шагам. Святополк боялся: а вдруг тот задушит его ночью! Целыми ночами он не смыкал глаз. Даже унизился до того, что попросил тюремщиков перевести его в другую камеру, но их смех лишил его всякой надежды. Днем Святополк не смел поднять глаз на изувеченное лицо своей жертвы, но однажды вечером, с наступлением темноты, не выдержал и расплакался. Услышав плач, Ростислав пошевелился во мраке и сказал:

— Будь трижды проклят, если плачешь о себе, но если плачешь о народе нашем — я прощаю тебе содеянное зло.

— Я плачу о тебе! — еле слышно промолвил Святополк.— Народ и без нас проживет...

От такого ответа Ростислав вздрогнул. Он долго молчал, точно каменная стена, и вдруг сказал:

— Мы были нечто, а теперь мы ничто... Твой плач обо мне — плач неразумного человека, и все же я прощу тебя, если ты вырвешься на свободу и спасешь землю нашу. Это будет расчетом за мою жизнь...

Это прощение-клятва вонзилось в душу Святополка, как стрела. И когда он снова понадобился немецкому королю, оно дало ему силы принять предложение Людовика — возглавить огромное войско, чтобы подавить мятеж в Моравии. Сторонники Ростислава и Святополка поднялись против франков, на деревьях развевались черные долгополые одеяния немецких священников и торчали концами кверху их рыжеватые бороды. Во главе восставших стал князь Славомир. Мятежники укрепились в Воле под Микульчице, и войско Карломана терпело одно поражение за другим. Людовик Немецкий не мог помочь сыну, потому что в этот момент он и Карл Лысый делили между собой Лотарингию и ему самому нужны были воины. Поэтому Карломан с радостью принял согласие Святополка выступить против Славомира. Он тут же приказал разместить его в пограничном замке и окружить шпионами. Войско Святополка увеличивалось с каждым днем, прежние друзья, участвовавшие в заговоре против Ростислава, вновь присоединились к нему и постепенно вытеснили доносчиков. Поняв свою огромную ошибку, его друзья жаждали искупить ее даже ценой жизни. Из их числа были выбраны те, кто отвез в Волю первые тайные сообщения Славомиру, и вскоре Карломан увидел, что его обманули и перехитрили. Повесив шпионов на придорожных деревьях, Святополк со всем своим войском присоединился к восставшим. С этого дня Великая Моравия снова начала набирать силу, чтобы сохранить независимость, купленную большой кровью и неутихающей болью в душе Святополка — болью, которая часто побуждает его быть излишне торопливым и вспыльчивым, грубым, вздорным и жестоким. Эта боль будет его спутником — невидимая, но страшная, утаиваемая от других, но для него явная и неустанная...

Так и шла жизнь властелина Моравии — рука об руку с недоверчивостью и болью. Мнительность его была порождена немецким коварством и хитростью. Святополк стал с недоверием вглядываться в каждого человека. Даже Мефодия он принял не вполне искренне. Одна половина души радовалась, другая — сомневалась. Вот такой, сомневающийся и в своих, и в чужих, взял он в руки бразды правления и стал страшным для врагов и непонятным для друзей. Лишь ночью слова Ростислава звучали во мраке его души и придавали сил в борьбе. Ведь не мог Ростислав не простить ему зла, если страна стала свободной, а дороги — открытыми для богатых купцов и священников. В душе Святополка созревала мечта: укрыться под крылом папы, чтобы немцы не посмели больше напасть на него. Он стал часто приглашать к себе папского посла Иоанна Венетийского, стремясь доказать верность папскому престолу. Святополк боялся и своих людей. Те, кто знал, как он предал Ростислава, вопреки всему не могли искренне любить, уважать его. Стремление укрепить государство они объясняли его нечистой совестью. Власть, которая была получена путем вероломного насилия, не могла снискать уважения к себе, несмотря на ее теперешнее явное стремление быть справедливой. В корнях ее дерева с самого начала угнездился червь.

Но несмотря на это, государство, управляемое крепкой и жесткой рукой Святополка, все больше упрочивалось и увеличивалось, превращаясь в силу, которой стали бояться соседние князья. Мефодию и ученикам это приносило радость и спокойствие. Их дело стало крепнуть, а количество врагов веры — уменьшаться. Первым из проклятых Мефодием немецких епископов покинул сей мир Адальвин — ярый враг славянской письменности и святых братьев. Любуясь красивыми книгами, переписанными новой азбукой, Мефодий размышлял над тем, что он идет к добру двуединым путем, неся в душе и добро, и ненависть. Возмездие уже обрушилось на Адальвина, теперь на очереди остальные. Мефодий был уверен, что оно падет на них. Еще в то время, когда в темницах немецкого короля ждал суда, Мефодий увидел во сне, как черная птица смела крылом пять звезд с неба и они, сгорев, рассыпались над ним, но не опалили его. Мефодий тогда же истолковал сон так: четыре звезды — это четыре епископа, и пятая — Людовик Немецкий. Ему предстояло умереть последним — его звезда, перед тем как сгореть, долго катилась по небу. А может, это была звезда Коцела? В борьбе за престол он как-то незаметно исчез, а соседи все еще воевали меж собой за его земли. Мефодий сожалел о блатненском князе, ибо Коцел был одной из его надежд. Он был искреннее Святополка и не только заботился о том, чтобы множились золотые семена новой азбуки, но и сам пытался усвоить ее, приобщить к ней своих людей, потому что видел в ней орудие сохранения своего маленького княжества. Мефодий сожалел, что не мог защи-

тить его. Немецкие священники давно уже начали преследовать тех учеников, которых братья подготовили еще во время своей первой поездки в Рим. С ними был тогда и Марин. Теперь он окреп, но в его характере и поведении ничто не изменилось. Все так же в молчании работал он острейшими долотами и ножами, и дерево оживало в изображении бесчисленных переплетений растений или птиц, сидящих под тяжелыми виноградными гроздьями и готовых воспеть хвалу сотворению мира. Его появление было совсем незаметным, и только алтари в новых церквах могли засвидетельствовать, сколь необходима была его упорная рука. Тихими шагами поднялся он по лестнице в комнатку над монастырскими воротами, молча положил на стол ветхую суму с железными инструментами, сел и — будто никогда не выходил из этой каменной кельи — склонился над липовой доской и стал с поразительным терпением обрабатывать ее. В таком положении его застал Климент. Их встреча прошла без лишних слов, словно не несколько лет, а лишь несколько дней отделяли ее от предыдущей. Но поседевшие волосы напоминали о пережитом. И если оба поднимали головы от работы, то только для того, чтобы отдохнуть и чтобы, хотя они вряд ли отдавали себе в этом отчет, послушать звонкую песенку, которую выстукивал молоток Саввы. Он ловко клепал изящные застежки и золотые оклады для новых книг. Мир принял учеников в свои натруженные ладони, чтобы показать им свои мозоли. Верили ли они в этот мир?.. Верили, ибо жизнь не ласкала и не баловала их. Она показывала им все, чтобы они помнили и о хорошей, и о плохой ее стороне. Смерть отняла у них веселого дружелюбного товарища, Лазаря, и подчеркнула бренность их существования. Но они и не забывали об этом и потому так упорно и сосредоточенно трудились во имя того, что было завещано Константином-Кириллом. И если те, кто присутствовал на похоронах Философа в Риме, знали, что никогда больше не увидят его, Марин и остальные ученики не расставались с надеждой, что в один прекрасный день откроются монастырские ворота и Константин войдет во двор, оглянется вокруг, как он любил делать, и под его шагами заскрипят ступеньки витой лестницы, ведущей к келье...

Даже Мефодий порой ловил себя на такой мысли, несмотря на то что знал жестокую истину.

Он нуждался в мудрости брата.

4

Болгария вернулась в лоно Восточной церкви, и патриарх Игнатий чувствовал, что он возвысился в собственных глазах. Целую неделю после собора он ничего не делал. Сидел, опершись на патриарший посох, с расчесанной длинной бородой, и изумлялся самому себе.

Он, кто больше всех был обязан римскому апостолику, отнял у него огромное завоевание. Впрочем, это легко объясинить. Люди патриарха неплохо потрудились... Потрудились? Пустое! Хорошо, что болгарский князь поспешил послать на собор своих испытанных хитрецов, иначе все прошло бы гладко, а собор закончился бы лишь анафемой Фотию и пожеланиями долгих лет жизни василевсу и императрице. Пришло время отблагодарить болгар и послать им церковного главу. Если б не болгары, папа римский и по сей день господствовал бы в соседних странах, а теперь и Фотия заклеймили, и вернули то, что он упустил из рук, следуя глубокомудрому принципу «ничего не уступать!». А ты уступи, дай им главу, а потом пошли своих священников, чтобы они осуществляли это главенство, проводя твоим языком твои идеи... Кому в итоге польза? Опять-таки Восточной церкви. Ты ведешь себя скромно, словно гость в чужом доме, и все же ты будешь там — не совсем в центре богатого стола, но все же за столом... Вот так понимает дело Игнатий, а не как глубокомудрый предшественник, который ссорился с Римом, писал послания, и на него писали, отлучал от церкви, и его отлучали, а каков результат? Должен был он, Игнатий, вернуться из ссылки, чтобы болгарские церковные дела стали решаться в пользу Константинополя...

Патриарх Игнатий начал верить в свою прозорливость и мудрость. Все вышло так, что и самый близкий друг подумал бы, что Игнатий значит больше, чем на самом деле. Он вжился в роль всемогущего божьего пастыря, и гневные послания папы Адриана с трудом вернули его на землю. Жизнь снова втягивала его в распри, и тут патриарх понял, что, увы, он уже не годится для борьбы. Силы постепенно покидали его, ум просил отдыха, и он уподоблялся престарелому игумену, который мечтает единственно о трехлетнем винце из бочонка, что хранится в холодном подвале...

И Игнатий выпустил из рук бразды правления, а стремительная река времени повлекла церковные дела за собой. Но любую победу, которая имела хоть малейшее отношение к церкви, Игнатий спешил приписать себе. Так было с битвой под Тефрикой, где войска императора Василия сумели наконец разгромить гнездо павликианской ереси. Долгие годы этот пограничный город служил прибежищем лжепророков, которые разносили по всей империи свое богоненавистное учение, отравляя людские души. Взятие Тефрики было отпраздновано в Царьграде. Оборванных, изнуренных пленных водили по улицам, и горожане издевались над ними. В глазах павликиан горел фанатичный огонь. Это были люди, которые не останавливались ни перед чем. Патриарх, слывший строгим аскетом, прочитал в соборном храме долгую, утомительную проповедь против нарушителей святых догм и впервые открыто выступил с восхвалением непобедимой, всекарающей десницы императора.

Этой поддержкой узурпатора Игнатий сразу навлек на себя ненависть низвергнутой знати, всех пострадавших от преследований и их родственников. Те, кто плакал, встречая его на пристани, теперь возненавидели его, потому что почувствовали себя обманутыми человеком, у которого они так надеялись найти утешение. Для них Игнатий стал выжившим из ума стариком, который не знает, что говорит. Но никто не смел высказать это вслух.

Знать достаточно натерпелась от людей Василия, неграмотного и жестокого узурпатора. Да и его жена, Евдокия, пыталась подражать прежним императрицам. Вечерами во дворце допоздна была слышна музыка и в освещенных окнах виднелись пышно разодетые люди. И те же самые люди — честолюбивые и неблагодарные, как все творцы изящного,— рассказывали в темных тавернах на берегу Босфора небылицы о своей благодетельнице, хотя в одном не могли ей отказать — что она красива. Несмотря на возраст, Евдокия выглядела так, словно время прошло мимо нее, словно оно лишь видело, но не касалось ее. Она все так же звонко и приятно смеялась, может, чуть громче, чем пристало императрице. Василий запрещал ей смеяться в его присутствии, но она не слушалась, и поэтому придворные говорили, что Евдокия — единственный человек в империи, который позволяет себе перечить властелину. Однажды она вспомнила о своей подружке Анастаси и, как всякая суетная женщина, велела разыскать ее и привести во дворец. Императрице хотелось похвастаться перед ней своим высоким положением, нарядами и драгоценностями, хотелось просто, как некогда, поболтать с подружкой, потому что она чувствовала: потомственная знать следит за нею, зло прищурив глаза, и ждет, когда она скажет неуместное слово, чтобы потом судачить об этом где придется.

Они с Анастаси дружили с детских лет, вместе мечтали о достойных и богатых мужьях, делились и плохим, и хорошим. Теперь Евдокия могла гордиться своим положением императрицы, в то время как у Анастаси была лишь незаконная любовь бывшего патриарха Фотия. Евдокия знала, что возлюбленный Анастаси не нравится Василию, но разве император спрашивает ее, с кем ему дружить? Пусть Василий не сует нос в ее дела. Если она лишится подруги, ей придется молча, словно преданной собачонке, ходить за мужем, вилять хвостом и благодарно, но со страхом поскуливать... А было чего бояться! Они поднялись так высоко, что все стали им завидовать. Вначале, когда они поселились во дворце, Евдокия ночами не спала и все ждала, что кто-то придет и сварливым голосом спросит, с какой стати она живет здесь. Чувство, что она, будто воровка, проникла в чужой дом, не давало ей покоя, но, видя, как Василий повелевает людьми, как именитые, знатные персоны исчезают по одному его слову, Евдокия постепенно освободилась от страхов. Первыми освободились

руки. Еще вчера они привычно исполняли чужие приказания, теперь все чаще лежали на ее коленях, словно пара белых голубей. Она смотрела на них и не верила, ее ли эти холеные руки. Затем освободился слух: забылся голос бывшей хозяйки, которая любила на высоких тонах бранить Евдокию за пустяки. С тех пор как императрица узнала, что патрикий Феофил убит, а его жена постриглась в монахини, ее голос перестал преследовать Евдокию. Но труднее всего освобождалось сердце. Оно продолжало робко трепетать, учащенно биться и все просилось на волю. Евдокия чувствовала себя как в клетке в этих просторных роскошных покоях. Ей не хватало воздуха. Глаза уставали смотреть на пестрые мозаики и мраморные статуи в коридорах и углах большого богатого дворца, ранее принадлежавшего Михаилу. Если бы кто-нибудь вдруг открыл дверь и сердито спросил ее, почему грязно в коридоре, Евдокия не задумываясь пошла бы за веником... Ее дети быстрее привыкли к роскоши, к мысли, что они — сыновья василевса. Особенно младший, Стефан, родившийся в год воцарения Василия... И ведь гораздо приятнее, если ты можешь пригласить давнюю подружку и похвастаться перед ней тем, чего у нее нет, чем сидеть одной во дворце, как в чужом доме.

Анастаси пришла, когда Василий с войсками отправился к Тефрике. Будь он во дворце, она вряд ли осмелилась бы появиться. Ей казалось, что он прикажет слугам не пускать ее на порог. Кто она такая, чтобы приходить в гости к самой императрице? Когда она говорила «императрица», то как бы забывала, что этот высокий титул носит ее Евдокия; Анастаси все казалось, что императрица — это кто-то, кого она не знает. И все то время, что она была у подруги, это чувство не покидало Анастаси. Она ловила себя на мысли, что вот-вот спросит:

— А где же императрица?..

Евдокия осталась той же улыбчивой и веселой, какой была в детстве. Правда, вначале она напустила на себя важный вид и ходила как-то неестественно прямо, но вскоре забыла, что она императрица, и долго водила подругу по дворцу, показывая его красоты. Анастаси все не удавалось найти верный тон, пока она не избавилась от мысли о различии между ними. И тогда завязался непринужденный разговор о пяльцах и вязанье, о тех временах, когда обе они впервые оказались в городе царей с надеждой найти тут свое счастье. Даже о том, что Василий вначале обратил внимание на Анастаси, но она не ответила ему взаимностью — Фотий появился раньше него. Это воспоминание могло быть для Евдокии неприятным, но Анастаси нарочно остановилась на нем, чтобы проверить искренность подруги. Евдокия залилась звонким смехом, и Анастаси подумала, что ее развеселило это воспоминание, но, вернувшись домой, поняла причину радости Евдокии: она торжествовала, что оказалась умнее, согласившись тог-

да на брак с Василием... Кто такой Фотий? Бывший императорский асикрит, свергнутый патриарх! А Василий — император, с которым хочет породниться даже Людовик II! Анастаси хотела спросить, чем кончилось сватовство Ирменгарды за сына Василия и Евдокии. Ходили слухи, будто помолвка расстроена и... Но так и не посмела задать этот вопрос. Мало ли о чем судачат люди. Все-таки прошло уже два года, а свадьбой и не пахнет... Нет уж, лучше помалкивать, если видишь, что это противоречит твоему тайному желанию. Анастаси хотела, чтобы Евдокия заступилась за Фотия. Разве бывший патриарх сделал что-либо плохое ее мужу? Он ревностно занимался делами церкви и не совал нос в дела государственные... Если бы спросить Анастаси, она желала бы, чтоб Фотий был неотлучно с нею, но мужчине не пристало целый день крутиться около жены, он должен делать что-нибудь на пользу народу и государству. Анастаси хотелось прощупать почву, ибо она предчувствовала близкую кончину Игнатия. Он очень стар, и ему уже не под силу вести борьбу с Римом, а Фотий считает, что борьба эта еще не скоро кончится, ведь папа не откажется от притязаний на болгарские земли. Что Адриан, что Иоанн — все папы римские занимают престол с мечтой безраздельно владеть христианским миром. Но обо всем этом Анастаси не рискнула сказать подруге. Прежде надо было понять, насколько Василий прислушивается к ее мнению, и лишь тогда просить о помощи, чтобы зря не унижаться. Анастаси слышала, что Евдокия — единственный человек в империи, который позволяет себе не выполнять приказы Василия, и сейчас она готова была поверить этому: император вряд ли обрадовался бы, узнав, что жена Фотия пришла во дворец. А Евдокия пригласила ее. Значит, подруга осталась прежней своевольницей. Если бы она такой не была, Василий, пожалуй, не женился бы на ней. Когда Анастаси отказала ему, он начал крутиться около Евдокии, и та долгое время не допускала его до себя. Ее лукавый смех держал Василия на привязи, пока он не предложил ей руку и сердце...

5

Одряхлевший папа Адриан ушел в лучший из миров, и его место 27 октября 872 года занял папа Иоанн VIII. Новый папа нашел, что духовная нива густо заросла плевелами низких страстей и интриг священнослужителей разных стран и народов. И заперся Иоанн, обрек себя на пост и молитву, на общение с самим собой и с богом, чтобы понять свой путь на земле. Несмотря на то что он был уже в летах, он носил в себе не прожитую до конца молодость, очищенную

и обогащенную мудростью, которую дают время и жизненный опыт. И когда вышел он из храма святого ключника Петра, то уже знал, что и как делать. Ему были нужны люди, которых его предшественник притеснял. Первым он позвал к себе Анастасия Библиотекаря. Старость обращается к старости, мудрость — к мудрости во имя спасения папской славы и чести, приниженных во времена Адриана. Плохое наследие оставил его предшественник: немецкое духовенство заполонило Латеран и втихомолку всем распоряжалось. Брат Себастьян упорно стоял на своем посту, и папа Адриан сначала советовался с ним, но после того, как от постигшего его горя утратил равновесие, совсем забыл о нем, и все, что надо было сделать, указывали папе немецкие священники, плотной стеной оттородившие святого апостолика от мира и никого к нему не допускавшие. Теперь, при новом папе, они снова попытались играть ту же роль, но Себастьян выжидал, он знал, что новый хозяин Латерана скоро позовет его. Хорошо получилось, что Анастасия позвали первым: он и расскажет Иоанну VIII о безрадостном положении, в каком оказался Себастьян. Брат Себастьян уже много лет не получал отпущения грехов! Как же в таком случае он будет совершать и накапливать новые? А что, если всевышний завтра призовет его к себе... Трудно будет предстать перед господом с непрощенными грехами, совершенными во имя божьего престола. Нет, если и новый папа не вспомнит о нем, придется удалиться в монастырь и там очистить душу от грехов... Две из тайн тяжелее других: тайна смерти Константина-Кирилла и тайна похищения его брата Мефодия. Правда, он не причастен ни к одной, но все о них знает. Ведь немецкие священники давно перестали бояться его, и все, что они вершили за спиной папы Адриана, не было тайной. Что они только не делали, лишь бы не передать гроб с телом Кирилла его брату! Себастьян прекрасно понимал их страх: то, что они дали Философу выпить, могло уже проявиться на теле. По той же причине они не позволили открыть гроб, хотя об этом просил Мефодий. А похороны с невиданными почестями должны были прикрыть их мерзкое злодейство. У самого Себастьяна за душой есть и более страшные дела, но все они были совершены по божьей воле, а в этом случае божьей волей пренебрегли. Брат Себастьян, уже не раз думавший покинуть Латеран, теперь понимал, что снова приходит его время занять достойное место в делах людских и божьих... Анастасий Библиотекарь не забудет его. Если он хороший человек, то отплатит Себастьяну добром. Ведь в то время, когда ему пришлось бежать из Рима по вине племянника, именно Себастьян первым предупредил его и посоветовал бежать, пока он еще не получил от папы распоряжения об аресте. Себастьян поступил так не только из дружеских чувств к Анастасию, но и из-за ненависти к немецким священникам, которые передали ему распоряжение об аресте. Себастьян тогда впервые за-

упрямился: нет, мол, сделаю, лишь когда сам услышу из уст святого отца. И тут немцы засуетились, а он тем временем успел предупредить Анастасия. Брат Себастьян очень хорошо понимал, почему был поднят такой шум вокруг Анастасия Библиотекаря. Немцы давно хотели его уничтожить, так как помнили его симпатии к франкам, к Карлу Лысому. Брат Себастьян впервые раскрыл себя перед ними, но не жалеет об этом. Ведь им ничего не стоило схватить Анастасия и предать божьему суду, результаты которого всегда в пользу обвинителей...

Анастасий привык видеть своего друга Николая I сидящим у камина, его голова опиралась на высокую спинку стула, взгляд был устремлен на пламя, ноги укутаны медвежьей дохой. Светский вид кабинета Иоанна VIII удивил Анастасия. Стул с высокой спинкой все так же стоял у камина, но сбоку, возле мягкой тахты, красовался изящный столик на гнутых ножках с тарелкой греческих сладких орехов и двумя стаканами воды. Очевидно, папа хотел вознаградить себя после того, как закончился не очень долгий пост. Они знали друг друга с давних времен, но если Анастасий некогда неразумно выказал симпатии к франкским священникам, то Иоанн, несмотря на сочувствие им, предпочел сохранять трезвое, разумное равновесие, и это вывело его на верх иерархической лестницы. И теперь он имел право судить с высоты своего положения. То, что он пригласил Анастасия, яростного и заклейменного защитника франков, было хорошим признаком, и Анастасий решил воспользоваться случаем. Ясно, что Иоанн VIII нуждался в советах, но не спешил вмешиваться в столь сложную сферу, как отношения в самом Латеране. Церковные распри были ему известны, но он не знал, с чего начать. И Библиотекарь должен был помочь ему. Вот уже месяц, как два ученика покойного Константина-Кирилла Философа пытались пробиться к папе, но им мешали. В конце концов они обратились за содействием к Анастасию. Савва и Лазарь, так звали учеников, хотели рассказать святому отцу о заточении Мефодия, архиепископа Моравии, баварскими священниками и открыть место заточения. Несколько дней назад Лазарь исчез, а сегодня утром Савва сообщил, что это немцы похитили его. Теперь только Савва мог указать папским слугам, где томится Мефодий.

Известие произвело очень сильное впечатление на Иоанна VIII, и он тут же позвонил в колокольчик. Появился худой монах с длинным лицом.

— Позовите брата...

— Себастьяна,— подсказал Анастасий.

Брат Себастьян почтительно подошел и с благоговением поцеловал руку папы; мир снова понял, что брат Себастьян ему нужен. Он поднял на папу ясный взгляд, и Иоанн VIII невольно улыбнулся. В этих глазах отражалась чистота весеннего неба. Это были глаза не-

винного младенца. Папа на мгновение усомнился, что с такой чистотой могут быть связаны темные человеческие дела, но, преодолев неверие, спросил:

— Может, твои люди слышали об исчезновении юноши по имени Лазарь?

— Он убит, святой владыка.

— Кем? — удивился папа.

— Лучше всего знает это епископ Германрик Пассавский, святой владыка.

— А это точно?

— Если распорядишься, мы подвергнем его божьему суду, святой владыка.

— Я не хочу начинать судом,— нахмурился Иоанн VIII.— Ну, а о ссылке моравского архиепископа ты что-нибудь знаешь?

— Да, святой владыка.

— От кого? — удивленно спросил папа.

— От своих людей и от Саввы, сподвижника Философа, святой владыка.

— А есть ли что, о чем ты не знаешь? — улыбнулся божий наместник.

Это странное признание способностей Себастьяна заставило его сердце дрогнуть от радости, но лицо его осталось все таким же кротким, а глаза — спокойными и ясными, как летнее небо.

— Служу святой церкви, святой владыка...

— Ты мне нужен! — удовлетворенно сказал папа и, сунув руку для поцелуя, дал понять, что разговор окончен. Себастьян поклонился и бесшумно исчез, словно растворился в воздухе.

— Ну, что ты скажешь о брате...

— Себастьяне,— опять подсказал Анастасий.

— Да, о брате Себастьяне,— повторил Иоанн.

— Только то, святой владыка, что папа Адриан ошибался, доверяя не ему, а священникам с сомнительной репутацией.

— Понимаю,— кивнул головой папа. И, помолчав, добавил: — А что ты думаешь о наших отношениях с Константинополем? Ты ведь был на соборе, лучше всех знаешь, как бессовестно они обманули нас.

— Знаю, святой владыка. К сожалению, Игнатий оказался не лучше... Фотия. С ними надо снова бороться. Но мне кажется, лучше сначала обратиться к болгарскому князю.

— Ты прав! Все зависит от него. Нелишне будет припугнуть его гневом божьим.

Анастасий хотел было возразить насчет припугивания, но воздержался. Опасно начинать с оспаривания папских решений. Он боялся, что послание в резком тоне может разозлить князя. Ведь Рим сам

виноват в печальном исходе, так как вопреки обещанию не послал ему главу церкви — все откладывал. Борис-Михаил был согласен видеть на этом посту Формозу Портуенского, но Николай тогда отказался рукоположить его. И сейчас Иоанн не совершает ли той же ошибки, начиная с запугивания? Время показало, что болгарский князь не робкого десятка. Он хитро играл на противоречиях между двумя великими церквами и пока выигрывал... Анастасий поднял голову, чтобы возразить, но, увидев сосредоточенное, сердитое лицо папы, опять отказался от своего намерения.

Иоанн VIII был роста чуть выше среднего, с упрямым лицом аскета, суховатым, но хорошо сложенным телом воина. Прямой римский нос над маленьким ртом с четко очерченными губами создавал впечатление вечной напряженности. С такими людьми лучше не спорить. Анастасий хорошо знал их. Они не откажутся от задуманного, пока жизнь сама не докажет их ошибку.

Библиотекарь встал. Ему показалось, что молчание папы означает завершение разговора, но он ошибся. Иоанн кивком велел ему сесть.

— Итак, побыстрее напиши послание. И порезче. Пусть этот болгарский князь поймет, что с Римом шутки плохи.— Он потянулся за сладостями.— Угощайся! Надо разыскать и освободить моравского архиепископа. Пора вернуть в лоно Рима то, что испокон века было его, хватит Людовику Немецкому и его священникам присваивать чужие земли. Подготовь письма немецким епископам, и пусть Павел Анконский займется освобождением Мефодия.

6

Горазд скорбел о Ростиславе: князь сделал для него немало доброго. В свое время он один из всех священников мог входить к Ростиславу, когда хотел. Разумеется, Горазд не пользовался этой добротой, старался не надоедать просьбами и вопросами. Ростислав был человек открытый и хотел, чтобы его окружали такие же люди. Усомнившись в ком-нибудь, он не ждал, пока поймает его на месте преступления, но, стремясь предотвратить худшее, приглашал на откровенный разговор, без угроз и последующих наказаний. Может, это прямодушие и погубило его. Святополк был полной противоположностью Ростислава, и Горазд не любил его. Но была и другая причина — доброе отношение Ростислава к его роду. Князь знал всех и хорошо отзывался об отце и братьях Горазда... В смутное время непрерывной борьбы со своими и чужими, в отсутствие Мефодия, которого похитили и бросили в темницы Швабии, Горазд как-то незаметно стал во главе учеников, и они признали его главенство. Помимо того, что он здесь был у себя дома и делал все, чтобы оберечь их от не-

мецких священников, он первым находил правильные решения. Когда начался большой мятеж и Славомир укрепился в Воле под Микульчице, Горазд собрал своих друзей и тайными тропами отвел их к восставшим. И хорошо сделал, потому что месть чужакам усеяла дороги трупами. Горазд настоял на том, чтобы Савва и Лазарь под видом бродяг отправились на розыски Мефодия и сделали все, чтобы освободить его. Ученики святых братьев, оставшиеся в Воле, часто — под свист стрел и боевые кличи — откладывали перья в сторону и брались за оружие. Они поняли простую истину: на бога надейся, а сам не плошай.

Когда начались тайные переговоры о присоединении Святополка к восставшим, Горазд первым усомнился в его искренности. Разве не он предал Карломану родного дядю и благодетеля — Ростислава?.. Долго совещались военачальники при тусклом свете свечей, прежде чем Славомир решил объединиться с войском Святополка. Но поставил ему условие: пусть Святополк внезапно ударит армии Карломана в спину. Нельзя было доверять Святополку, пока он не покроет трупами вчерашних союзников поле вокруг Воли и Микульчице. Святополк сделал это, ибо глубоко в душе чувствовал вину перед своим народом.

Горазд присутствовал на встрече двух князей. Угрюмое лицо Святополка уже тогда не понравилось ему. Он пытался объяснить это его усталостью и душевными терзаниями, но, сколько раз ни видел он Святополка потом, его лицо не менялось — оно было похоже на крепко запертый дом с тесными окошками, куда никто не в состоянии проникнуть и понять идущую там жизнь. Горазд был человек прямой, вспыльчивый и откровенный и чувствовал, что не сможет ладить с новым князем Великой Моравии. Да и Святополк не часто приглашал Горазда к себе, хотя знал, что пока миссия ему полезна. Если бы у миссии были какие-то пожелания, он не поколебался бы все исполнить, лишь бы Горазд со сподвижниками делали свое дело. Страна воевала, одерживала победы и, будто разъяренный медведь, стряхивала с себя все, что на нее налипло. Однако чем больше Горазд узнавал князя, тем отчетливее понимал, что есть и другие причины, по которым князь держит его в стороне. В свое время весь род Горазда стоял за Ростислава, и теперь Святополк сомневался в их преданности. Князю все казалось, что сторонники и друзья Ростислава не простят вероломства новому правителю.

Но истинная причина была в другом: князь не доверял людям. Если он не любил Горазда, ничто не мешало ему любить Климента, Наума или Ангелария, он мог бы опереться на Марина, Савву или, например, на молодого Константина, которого Мефодий, вернувшись из немецкого плена, рукоположил в сан дьякона. Он мог бы приблизить к себе и Лаврентия, одного из самых усердных учеников, кото-

рого в свое время, перед путешествием в Моравию, Савва привел к Философу вместе с Лазарем, Стефаном, Марко, Парфением, Игнатием и Петром. Из них только Лазарь погиб. Все остальные были живы, заслуживали уважения и похвал, но князь не искал их общества. Даже Мефодия он принял весьма сдержанно. Правда, после заутрени Святополк пригласил Мефодия и Горазда во дворец, но намного больше внимания уделил папскому послу, Иоанну Венетийскому. Всего лишь раз спросил князь Мефодия о немецких крепостях, в которых тот был заточен, и больше не обращался к нему. Похоже, разговор о тюрьмах не пробуждал в душе Святополка приятных воспоминаний. Мефодий также не любил вспоминать о своих злоключениях. Он стал говорить о духовном возвеличении славянства и высказал просьбу, чтобы Климент возглавил все школы в стране, а его первым помощником стал Горазд. Святополк не возразил. Он только пожелал, чтобы в ближайшие дни Климент был ему представлен и получил напутствия и дарения для монастырей и школ. За столом почти все время молчали, каждый был занят своими мыслями. Горазд ел медленно и про себя сравнивал Святополка с Ростиславом. Прежний князь уже при первой встрече принял их, как родных братьев: радушно угощал, просил чувствовать себя как дома. Вместе начали они полезное для всех дело. И Ростислав в разговоре не упускал случая высказаться против их общих врагов. А у этого будто и нет врагов. Молчит, и только глаза поблескивают из-под густых бровей. Может, Моравия нуждалась ныне именно в таком молчуне, может быть, но Горазд с трудом принимал его. Все казалось, что Святополк не желает им добра. А может, он молчит от страха перед немцами? Их угрозы не были пустыми словами. Вот Коцела уже нет, а его княжество стерто с лица земли. Он был слабее. А если б они могли, разве не сделали бы то же самое и с Моравией? Хватает князю забот! Всюду враги. Лишь папа может помочь ему, приютив под своим духовным крылом, пока государство окрепнет, а дальше — время покажет...

874 год стал для Мефодия и его сподвижников плодотворным и благоприятным. Кармином расцвели сотни страниц переведенных ими церковных книг, в поте лица трудились усердные создатели книг и сеятели веры. В этом году сбылось пророчество Мефодия: смерть увела в могилу еще двоих его мучителей — Германрика Пассавского и Ландфридта Сабионского. Весть эта пронеслась, словно свежий ветерок в пустыне, и наполнила их души. Есть небесный судия! Есть справедливость в мире! Злейшие гонители навеки закрыли глаза. Гонимые могут перекреститься и возблагодарить всевышнего, что избавил их от врагов, покарал нечестивых за земные грехи. Весть побудила Мефодия встать из-за грубо сколоченного стола, заваленного

списками, и выйти на лестницу, во двор. Захотелось увидеть небо, почувствовать, как наливается жизнью каждая почка, вдохнуть зеленый аромат лугов вокруг монастыря. Келья внезапно напомнила ему о сырых подземельях немецких крепостей, где угасала жизнь многих людей, осужденных за недоказанные преступления. Может, кто-нибудь из них и провинился в чем-нибудь и даже совершил злое дело, но Мефодий, ни за что отсидевший в темницах два с половиной года, не мог поверить, что узники грешны и что те, кто их осудил, справедливые судьи. Он на самом себе испытал их справедливость! Но разве кто-нибудь сумел избежать смерти? Никто. Вот и его «судьям» пришлось войти в ее вечные врата, чтобы предстать перед истинным судом! Там каждый отвечает за себя. Что посеяли они на земле, то и пожнут на небе.

Мефодий пересек тесный монастырский двор, нагнулся, чтобы не удариться головой о перекладину ворот, и ступил на зеленую траву. Красивые цветы, синие, желтые, красные, белые и розовые, наполнили душу радостной песней об обновляющей силе земли. Оглянувшись, Мефодий заметил Горазда. Он сидел у веселого ручейка с травинкой в зубах и с открытой книгой на коленях. Архиепископ узнал ее. Псалтырь. Подошел к ручейку. Его тень пересекла низкий берег и дотянулась до ног Горазда. Ученик, хотя был уже немолод, почтительно встал навстречу учителю.

— Отдыхаешь? — спросил Мефодий.

— Восхищаюсь, святой владыка,— ответил Горазд и указал рукой на живописный луг.

Оба умолкли, и только их взгляды, как заботливые пчелы, перемещались с цветка на цветок. Далеко за холмами лаяла собака и скрипели колеса, но скрип, приглушенный и смягченный расстоянием, был приятен для уха, звуки сливались с еле слышным журчанием ручейка и располагали к тихой беседе.

Они присели на поляне. Солнце задержалось на вершинах холмов, устав от дневного путешествия, и, казалось, тоже было склонно к беседе.

Горазд прикрыл глаза ладонью и долго вглядывался в запыленную дорогу. Из крепостных ворот выехала карета с двумя конями в упряжке, за ней — группа воинов из княжеской охраны.

— Иоанн Венетийский едет в Фархаин,— заметил он.

— Пусть добро одолеет зло...— сказал будто про себя Мефодий.

— До сих пор мы не видели добра от Людовика Немецкого, но если Святополк решил заверить его в своей преданности, нам остается только молчать. Разве мы можем что-нибудь сделать, святой владыка?

— Поживем — увидим... Святополк знает характер немцев и не дастся им так просто.

— Может быть,— пожал плечами Горазд, и взгляд его потух.

Мефодий молчал, ибо разделял его опасения. Еще до того, как солнце зашло за холмы, потянуло предвечерним холодом. Мефодий встал.

— Пора на вечерню.

7

Ирину все больше и больше привлекали сумеречность церквей, приглушенные голоса священников, отрешенно-печальные лица божьих чад, которые в просторных соборах искали общения с богом. Ирина как тень бродила среди них, обуреваемая страхом остаться наедине с собой. Она никогда не была общительной, а сейчас старалась вступать в разговор с людьми, быть с ними вместе, но все будто избегали ее. Однако это ей только казалось. Каждый был занят своими заботами и тревогами и не располагал временем для сочувствия чужим печалям. Да и какие печали, какие огорчения могут быть у этой знатной и все еще красивой женщины? Никому и в голову не приходило, что ее одиночество отравлено воспоминанием о смерти другого человека, камнем лежащей на сердце. И все равно по вечерам Ирина оставалась наедине с собой. Старая служанка, намаявшись за день, засыпала на сундуке в конце коридора. Ирина слушала, как старуха ходит тяжелыми медленными шагами, как затворяет за собой дверь, как поскрипывает сундук под тяжестью ее тела... А затем приходил он. Входил в комнату, оглядывался и садился в широкое кресло перед холодным камином. Ирина видела часть его лица, глубокую складку у рта, тонкие губы и красное ухо. И весь разговор снова начинал звучать в ее душе — жестокий в своей нагой и грубой злобе. Он говорил от имени папы и всевышнего и хотел, чтобы она сделала то, что больше подходило для мужчины,— отняла жизнь у человека. И она сделала это, потому что испугалась за свою жизнь, но с тех пор потеряла покой. А он продолжал приходить к ней, усаживался в широкое кресло и сидел всю ночь, не двигаясь и не глядя на нее. Только раз Ирина усомнилась в его присутствии, но не смогла дойти до кресла, не хватило сил и смелости. Она закрывала глаза, ждала его ухода и так засыпала. Сон был тревожным и навязчиво-неотступным: ей снилось золото, много золота, и кровь на руках. Кровь! Она оттирала ее, отскребала, но кровь оставалась. И так всю ночь... А он продолжал сидеть в кресле и покачиваться; Ирина видела часть его лица, глубокую складку у рта, тонкие губы и красное ухо. Он сидел до рассвета. И всегда уходил, когда изнеможение одолевало ее, а обрывочный сон, коварный и тяжелый, приходил к ней лишь на минуту, ровно на такой срок, какой был нужен, чтобы ее мучитель ушел.

Она слышала его шаги, скрип половиц, хлопанье двери, но не было мочи открыть глаза, чтобы удостовериться. Наконец она поднималась, стояла посреди комнаты, слышала его запах — запах ладана и еще чего-то тяжелого и неопределенного; сиденье кресла сохраняло вмятину и тепло от его тела... Ирина ослабела, пожелтела, в ее темных глазах поселился страх, как у загнанного зверя. Дрожа всем телом, она опускалась на скамейку в храме, но не молилась, а обхватывала руками голову и часами сидела так, опустошенная, отупевшая, сосредоточенная только на одном: как она вернется в дом, как ляжет в постель, снова придет он, войдет в комнату, сядет в широкое кресло, и она всю ночь будет видеть часть его лица, глубокую складку у рта, тонкие губы и красное ухо.

Ирина оставалась в таком положении, пока прикосновение церковного служки не напоминало ей, что церковь закрывают и надо идти. Возвращения домой были настоящим кошмаром. Уже с порога она звала служанку, лишь бы не быть одной. В последнее время Ирина все хотела попросить, чтобы служанка ночевала в ее комнате, но не решалась. Вдруг та заподозрит недоброе? И без того она с некоторых пор стала смотреть на Ирину беспокойным, недоумевающим взглядом. А такая просьба может испугать ее...

Бесконечный кошмар повторялся и повторялся, опутывал ее невидимой паутиной леденящих ужасов и нелепых видений до тех пор, пока чей-то неслышный голос не подсказал ей путь исцеления: чтобы избавиться от одного, надо пойти к другому, который много раз прощал ее и опять простит. И лишь теперь Ирина вспомнила, что еще ни разу не была на могиле Константина и даже на похороны не ходила. Тогда ей казалось, что люди знают о ее преступлении, и она осталась дома — болела голова, душа разрывалась от плохо скрываемой ненависти ко всем и к себе самой. Именно в тот день впервые явился ее мучитель и сел в кресло у камина, и она впервые увидела часть его нереального лица, глубокую складку у рта, тонкие губы и красное ухо. Он приходил каждую ночь, чтобы омрачать ее душу и сделать ее слепой и глухой ко всему другому... И она решилась. Было воскресенье. Город шумел, весь в цветах и весенней зелени, в обманчивом опьянении преходящей красотой, когда Ирина спустилась по каменным ступенькам в крипту церкви святого Климента. Она никогда не была тут, в мире одиночества, но какая-то невидимая рука вела ее во мраке, эта рука указала ей на могилу в стене, с правой стороны от алтаря, и сумеречный мир принял преступницу.

— Прости меня,— зашептали ее уста,— всю жизнь я причиняла тебе страдания, и всю жизнь ты прощал мне, прости и самое страшное зло... Я осталась с тобой... прости меня!

Камень молчал, стена молчала, лишь свеча потрескивала в руке, и ее пламя колебалось, будто от дыхания того, кто здесь покоился.

Так ходила она неделями, годами. К единственному человеку, который навсегда остался в папском Риме и лучше всех знал ее — со всем плохим и немногим хорошим, знал маленькую пеструю тропинку, сад, где отбрасывала тень старая могучая смоковница и где стояла скамейка с грифонами. Но садовая тропинка превратилась в широкую пустынную дорогу, по которой шли только коварство и ложь, смерть и бездушие, суета и плач. И воспоминание о кошмарных ночах постепенно стерлось, тот демон уже не приходил, не садился в кресло у камина, и она не видела часть его лица, складку у рта, тонкие губы и красное ухо. Он ушел: вначале исчезло красное ухо, затем складка и тонкие губы, потом лицо, и после всего — вмятина на кожаной подушке кресла вместе с запахом ладана и чего-то муторного и тяжелого. Ирина забыла дорогу к другим церквам. В сумеречной крипте святого Климента она нашла свое место. Прежние обожатели теперь избегали ее, да и она перестала ими интересоваться. Страсти перегорели, и уже не было суетного желания быть всегда окруженной вниманием. Ирина нашла свое успокоение и свою тропинку в жизни. Старый ключник базилики спешил открыть ей дверь, она замирала у могилы, и другой мир для нее не существовал. Однажды, подняв голову, она увидела, как на стене проступил его лик, целеустремленный и мудро-просветленный. Ореол над ним ослепил Ирину, и она упала на каменный пол. Так ее и нашли. Привели в сознание. Два дня Ирина не выходила из дому, два дня ее ноги то ступали по направлению к сундуку, то останавливались в нерешительности; на третий она собралась с силами и подняла крышку. На дне сундука лежала та страшная мошна с золотом. Ирина взяла ее двумя пальцами, будто вещь прокаженного, завернула в темный плащ и пошла в базилику, чтобы поднести этот дар и высказать свое желание. Она хотела, чтобы золото превратилось во фрески, на которых будет он — Константин-Кирилл. Святые отцы с радостью приняли дар, и вскоре образ Философа ожил на стене. Она все так же стояла перед ним на коленях, на том же месте, где стояла столько дней и месяцев, и постепенно привыкла выдерживать его взгляд. Он смотрел на нее со стены всепрощающими очами — далекий и возвышенный, великий и недостижимый, и когда она видела этот взгляд, то начинала сомневаться в своем преступлении и спрашивать себя: а не было ли все, что творилось вокруг него, и само убийство дурной шуткой ее больного воображения? Не может быть, чтобы она причинила такое зло человеку, который стоит высоко над смертными! Мельничные жернова ее греха постепенно стали крошиться, а взгляд ее — светлеть. Она казалась себе маленькой пылинкой. Нет, она никогда не давала ему воды перед смертью и не видела его бледного лица! Ведь он покинул этот мир спустя несколько недель после их встречи, он не мог бы жить так долго, если бы она помогла ему умереть. Нет, ее руки не

могли содеять такое зло... Ирина смотрела на них безумным остановившимся взглядом, но не находила никаких следов. Той крови, которая ее страшила по вечерам, больше не существовало. Перед глазами были руки, на которых виднелись кое-где морщинки, руки более чистые и белые, чем когда бы то ни было. Будто кто-то шел следом за ней и каждый день с упорным постоянством освобождал ее память от воспоминаний, а ее душу — от страшных грехов, от Варды и Иоанна, Феоктиста и Фотия, Василия и Михаила, чтобы очистить место только для одного человеческого образа — образа Константина. Кирилл был бесплотным, нереальным, далеким и чуждым. Она помнила только Константина, его наивную улыбку, робкие ласки, уставшие руки и запыленные сандалии, потупленный взгляд и пергамент с обращенными к ней словами: «звездочка моя». Он был с нею, пока однажды она не потеряла и его... Осталась только дорога к базилике святого Климента. А привычка молиться на коленях с горящей свечой в руках превратилась в необходимость. Ирина вставала с постели и отправлялась в свой путь. Сначала служанку пугала ее молчаливость, но потом она стала сопровождать хозяйку и напоминать ей о еде, об отдыхе. Она жалела Ирину и не искала работы у других. Каждое утро ключник церкви встречал обеих женщин, приветствовал их, но, не получив ответа, в недоумении пожимал плечами. Закутанная в черные одежды, Ирина постепенно становилась загадкой для окружающих. Она продолжала целыми днями стоять на коленях. Но уже не молилась, только безучастно смотрела на каменную плиту, сосредоточенная на последних днях своей бессмысленной жизни на грешной земле...

Приехав в очередной раз в Рим, Мефодий посетил могилу брата, чтобы в молчании постоять и поразмышлять около того, чей дух продолжал быть с ними на трудном пути против черных охранителей триязычия, и весьма удивился, увидев там одинокую странную женщину.

Она стояла перед фреской с изображением Константина, сама словно не от мира сего, взгляд ее больших выпуклых глаз был пуст, и Мефодий не узнал ее.

8

Не каждому дано умение подавлять в себе злорадство. Оно всегда живет в человеке, и нужно много сил, чтобы превозмочь его. У него свой уголок в душе, и оно выжидает удобного случая, чтобы показать коготки.

Борис-Михаил сам убедился в этом.

Сербы, которые когда-то разбили его лучшие войска, взяли в

плен Расате и двенадцать боилов, теперь сами просили у него помощи. Три брата воевали между собой, и каждый старался сделать его своим союзником: заверениями в дружбе, дарами и обещаниями. Борис не спешил связывать себя обязательствами. Борнтаркан Белграда и тамошние боилы постоянно оповещали князя о ходе борьбы за власть между Мутимиром, Гойником и Строймиром. Обещав всем поддержку, Борис выжидал. В сербских горах всегда таились неожиданные опасности, и он не хотел быть обманутым. В свое время его отец, Пресиян, целых три года воевал в неприступных каменистых ущельях, но ничего не добился, лишь изнурил свое войско и пролил много крови. Тогда многие боилы осуждали хана за эту войну и даже Борис был склонен считать поход отца бессмысленным, но теперь, став правителем, он понял правоту старого воина и хана: пока сербы за спиной, надо всегда опасаться их нападения по наущению Византии. Теперь Константинополь ради сербов не станет портить хорошие отношения с Болгарией, и Борис-Михаил надеялся хитростью довершить дело отца, начатое силой оружия. Борис не предпринимал походов, чтобы вмешиваться в междоусобную ссору, они сами звали его, будучи не в состоянии поделить отцовский трон. Но что это был за трон? Едва братья встали на ноги, как злейшая распря заставила их схватиться за мечи. Междоусобица близилась к концу. Мутимир постепенно одолевал Гойника и Строймира, пора было Борису-Михаилу вмешаться. Его послы открыто выступили за Мутимира. Никто из них не окровавил меча, не посягнул на чужую жизнь, они просто отвезли закованных в кандалы братьев Мутимира в Плиску, чтобы сам Мутимир обрел спокойствие. Борис принял братьев князя с почестями, подарил им дома, велел снять с них цепи и долго беседовал с ними о сербских делах. Строймир был более разговорчивым, в отличие от Гойника его не гневило положение заложника. Это смирение, наверное, было вызвано беспокойством о семье. Ведь заложниками стали также его жена с двумя дочерьми и сыном, а он не хотел, чтобы их положение ухудшилось из-за его непокорности. Он был вообще человек мягкий, уступчивый и вряд ли принял бы участие в междоусобице, если бы не чувствовал, что братья пренебрегают им, стараются отстранять его от государственных дел. Эта мягкость характера была написана на его лице: оно было круглым, всегда готовым озариться улыбкой, в глазах постоянно вспыхивали веселые огоньки, как искры от огнива. Несмотря на то что ему было далеко до старости, волосы уже были седыми, и это делало его необычным и привлекательным. Он был высокого роста, говорил плавно, на лице выделялись красивые губы. Гойник, напротив, отличался замкнутостью и скрытностью. Он был на голову ниже брата, сухой и крепкий, будто закаленный в огне. Остроскулое лицо было суровым и напряженным, а в холодных серых глазах таилось коварство. Гойник с пер-

вого взгляда не понравился Борису-Михаилу, но, верный себе, князь сделал вид, что одинаково относится к обоим братьям. У Мутимира были основания опасаться Гойника — наверное, поэтому он оставил его сына Петра заложником у себя. Если отец рискнет что-нибудь предпринять против Мутимира, пусть подумает о сыне. Эта зависимость — заложник отвечает за близких — не была чем-то новым, она была известна с сотворения мира. Борис-Михаил сразу понял, что Гойник не примирится с положением пленника болгар, и велел следить за ним. Пока Гойник в Плиске, болгары держат Мутимира под постоянной угрозой. Глядя на угрюмое лицо серба, князь испытывал злорадство. Нужда заставила западных соседей просить у него помощи, как сам он в свое время ездил к ним выпрашивать сына. Борис-Михаил не забыл унижения, но попытался подавить его, загнать вместе со злорадством в далекий уголок души. В то же время в голове зрели планы на будущее. Сын Строймира, Клонимир, был весь в отца. Несмотря на молодость, он был умен, и князь вдруг увидел, что он подходящий супруг для дочери Сондоке — Богомилы. Ей еще рановато думать о замужестве, но годика через два и она «выйдет к калитке» в ожидании женихов. Разумеется, Богомиле не придется долго ждать. Претенденты найдутся. Отец — человек богатый и в почете, и жених должен быть достойным ее. Уже сейчас Богомила привлекает мужчин особенной красотой. В ней состязаются достоинства славянского и болгарского типов: небольшого роста, бойкая, шустрая, смуглолицая, с большими, удивительно синими глазами и длинными пепельно-русыми волосами, редко встречающимися в Болгарии. Такая красота способна полонить и самого черствого мужчину. Брак Богомилы с Клонимиром казался Борису-Михаилу хорошим оружием в борьбе против сербского князя. Ведь тому все время будет грозить появление наследника княжеского рода. Эта мысль заняла свое место в планах Бориса-Михаила, он только выжидал удобного случая, чтобы ее осуществить... Письмо папы Иоанна VIII оторвало его от размышлений. Оно было дерзким и грубым. Борис-Михаил не испугался, он понимал, что чем трезвее будет воспринимать различные угрозы, тем больше от этого будет пользы для дела. Обе церкви начинали новую распрю, из которой следует выжать все выгоды для болгарского государства. За время пребывания в Болгарии римских священников он понял, что папа хочет одного — подчинить его своей воле. Папа забывает, что только от Бориса зависит, кого он оставит при себе. Выбирает он, а они спорят... И пусть спорят! После урока, который он преподал константинопольскому духовенству, изгнав его представителей из страны, оно больше не противоречит Борису. Болгарская церковь, можно сказать, уже стала самостоятельной: Борис-Михаил выбрал архиепископом Иосифа, и никто не посмел перечить. Иосиф прибыл, чтобы занять свой пост, и выказал князю большое

уважение, как патриарх — императору. Разве так было бы, если б папские люди навсегда остались в Болгарии? Борис постиг главное в отношениях римской церкви со светскими правителями: и Людовик Немецкий, и Карл Лысый, и Людовик II чувствовали себя зависимыми от папы, а латынь была единственным языком в их церквах. Такая судьба грозила и Болгарии. Но Борис не вчера родился, чтобы позволить церкви встать выше него. А кроме того, сила Людовика Немецкого постепенно уменьшалась, Великая Моравия вытеснила его со среднего Дуная. Кто поможет Болгарии в непрестанных войнах с Византией? Уж не Рим ли? Рим очень далеко, чтобы можно было надеяться на его помощь. Тогда зачем связывать себя с престолом святого Петра? Быть может, в глазах папы Борис и не выглядит очень честным, и, наверное, это так, но интересы государства требуют, чтобы он был предусмотрительным, потому что никто ничего доброго не сделает для него, если он сам не потрудится. Разве папа руководствуется любовью к нему и к его народу? Нет, у него свой расчет — укрепиться в Болгарии и ослабить константинопольскую церковь.

Иначе зачем эти угрозы и жалобы, зачем двум церквам воевать между собой? Разве они служат не одному и тому же богу? Нет, их любезные слова не закроют князю глаза на все, что творится вокруг. Он не дитя наивное, чтобы смотреть только на небо, он по земле ходит! Он был нечестен? А как ему быть честным, если мир все еще не ценит честности! С кем поведешься, от того и наберешься. Время такое, что надо добиваться своего места под солнцем, как трава, что прорастает и сквозь камень. И он добьется, не принимая никаких обязательств перед тем или другим. Сейчас, когда обвинения продолжают сыпаться на него, неплохо было бы осуществить задуманную свадьбу сына Строймира и дочери Сондоке...

И свадьбу сыграли. Песни спели. Одарили молодоженов землями — и князь, и Сондоке,— но спокойствие не пришло к Борису-Михаилу: дошла молва, что сын Гойника, Петр, убежал к хорватам. А это развязывало руки его отцу, который теперь мог нарушить данное брату слово — ничего не предпринимать против него. Князь еще в дни свадьбы заметил неспокойствие Гойника и велел усилить наблюдение за ним: с кем встречается и о чем говорит. Если он позволит ему убежать и предпринять покушение на Мутимира, тогда конец дружбе с сербским князем. Тот будет вправе усомниться в дружеском отношении Бориса-Михаила: он выдает замуж за его племянника свою родственницу и в то же время освобождает брата-заложника для борьбы с ним! Такая мысль столь логична, что Мутимир не может не подумать именно так... И все-таки роль опекуна трех сербских князей доставляла Борису удовольствие. Глубоко в душе он торжествовал, что держит их в своих руках. Неважно, что на первый взгляд он не вмешивается во внутренние дела Сербии, неважно. Чтобы Гой-

ник не доставлял ему больше хлопот, князю неожиданно пришла в голову коварная мысль: а не будет ли лучше послать к Мутимиру его самого вместо убежавшего сына,— но, подумав, Борис-Михаил отказался. Лучше было держать Гойника у себя, ведь его плен — козырь против Мутимира. Нет, не стоит спешить, надо подождать. Жизнь преподносит такие сюрпризы, что, того и гляди, Гойник очень понадобится. Борис-Михаил и теперь остался верным себе — он не будет решать вопроса, не рассмотрев его со всех сторон.

9

С каждым днем Климент становился все более неразговорчивым. Склонившись над книгами и погрузившись в заботы о просвещении Моравии, он чувствовал, как время, словно ветер, быстро и неуловимо проносится мимо и он не может остановить его. Мир все так же, как и в прежние века, шел своими невидимыми путями. Все возвращалось на круги своя, только не люди. На место ушедших появлялись другие, и их мысли и желания были иными.

Разве может кто-нибудь заменить ему Константина-Кирилла Философа! Кто может вернуть улыбку кроткого Деяна? Никто! Один, Деян, остался на их общем пути, другой, Философ, ушел так далеко вперед, что все они продолжают идти вслед за его мыслями: дать свет славянским глазам, запечатлеть на пергаменте истину для славянских народов. Каждый из учеников Константина боролся с мраком, особенно те, кто работал в пограничных районах — на перекрестках злейших вихрей. Все они, сеятели добра, были похожи на листья огромного дерева: чем злее хлестали их ветры, тем слышнее становились их голоса и тем больше радовали они души людей.

Климент встал с жесткой постели и быстро оделся. В соседний двор больше не выходил старик с кривым ножом, сад был заброшен и запущен. Пока миссия скиталась по дальним краям, садовник переселился в лучший мир. Наверное, сейчас он обходит райские сады и неустанно осматривает ветки на райских деревьях. А если он этого не делает, значит, он уже не существует. Климент не мог привыкнуть к мысли, что садовника не стало, что калитка в сад всегда закрыта. Он подошел к узкому окошку башни, и сердце его затрепетало: калитка открылась, и в травы высотой по колено шагнула чудно красивая девушка, посмотрела на небо и потом, увидев огни алых маков в саду, всплеснула руками и нагнулась рвать цветы. Климент невольно прищурился, и белое платье, и золотые волосы, и огненные маки — все слилось в одно цветовое пятно. Он почувствовал, что молодость не совсем ушла из тела и что образ Ирины давно превратился в черты неизвестной блудницы на иконе. Старая мудрость учила: с глаз до-

лой — из сердца вон; и она давно исчезла из памяти. Она была лишь мечтой, плодом воображения неопытной молодости. Те годы прошли, но мужчина в нем напомнил о себе. А ему казалось, что он поборол вожделения, что порывы страсти ослабли и даже совсем улеглись и, подобно пушинкам одуванчика, попавшим под осенний дождь, лишились способности взлететь. Но то, что он испытал при виде девушки, заставило его отойти от окна, присесть за стол, чтобы осознать, что он ошибается. Руки легли на пергамент, потянулись к перу... Но чернила высохли. Климент встал, чтобы достать с высокой полки горшок с кармином, и взгляд его снова устремился в сад. Теперь девушка стояла в корыте и, приподняв подол платья, спокойно мыла белые ноги. Длинные волосы упали ей на лицо, солнце ухватилось за золотые пряди прекрасных волос и легко покачивалось над корытом. Климент почувствовал, как художник вытеснил в нем монаха, и взгляд его жадно вбирал подробности картины. На краю каменного корыта алел букет маков. Рука, потянувшаяся за ним, была маленькая, и ножки, ступившие на камни, тоже были маленькие и порозовевшие от холодной воды. Девушка выпрямилась, откинула голову, чтобы собрать волосы, и, подняв руки, стала заплетать косу, а Климент всем своим существом ощутил, как груди и приподнявшееся белое платье затрепетали в ожидании, когда она опустит руки. Но девушка не спешила. Она собрала золотистые волосы в тяжелый узел, откусила белыми зубами длинный стебель мака и воткнула алый цветок в волосы с левой стороны, над небольшим ушком.

Климент до того был захвачен волнующим зрелищем, что не услышал, как вошел Савва. Прикосновение к плечу заставило его обернуться и смутиться, но Савва не заметил смущения.

— Красива! — сказал он, кивнув в сторону двора.

Климент не собирался отвечать, но сердце художника не выдержало:

— Очень! Что правда, то правда!

— Из новых она. Недавно приехали...

С тех пор как Святополк переехал в Велеград, не было недели или месяца, чтобы какой-нибудь нитранский владетель не переселился сюда. Это были небогатые люди, которые стремились быть у князя на глазах, надеясь, что их заметят, что они войдут в доверие и затем получат в подарок немного земли.

— Вчера слышал, как ее отец что-то наказывал ей и называл Либушей...

Звук этого странного имени ударился, словно звон летящей пчелы, в каменные стены кельи, но вместо того чтобы вылететь сквозь узкие окошки на улицу, собрался в одну точку и остался в душе Климента. Он поразился: когда-то в монастыре святого Полихрона именно Савва назвал ему имя женщины, поразившей его своей красотой. Но

та женщина уверенно шагала по своему золотому пути, а эта все еще резвилась среди манящих цветов и мыла ножки холодной водой из каменного корыта.

Будто угадав его мысли, Савва присел на деревянную скамью и глухо сказал:

— Будь я моложе, попытал бы счастья. Но годы не те... Я многое перевидал на этой земле и вкусил всего. Ты знаешь. Я говорил тебе... Но одно удивляет меня: до каких же пор ты будешь так жить? Ты уже немолод, но все еще мужчина в соку. И красивый. Неужели ты покинешь сей мир, не познав второй половины божьего творения?

Климент встал, хотел было возразить. Но Савва махнул рукой:

— Да выслушай меня хоть в этот раз! Одно другому не мешает. Этого божьего дела даже папы не чуждались. Разве ты не видишь, что все, кто занимает престол святого Петра,— старики, испытавшие очень многое и только в результате этого подготовившие себя к святости. Знаю, ты скажешь: не богохульствуй... Но ты не прав. Если бы женщина не была нужна мужчине, бог не создал бы ее.— Савва встал и начал ходить по келье, старые, уставшие половицы жалобно и глухо заскрипели.— Признаюсь тебе,— сказал он,— что немало женщин сочувствовали и помогали нам в розыске архиепископа Мефодия.— И, помолчав, добавил: — Знаешь, я убедился, что они много лучше нас. Они умеют ценить жизнь, ибо девять месяцев носят ее в себе, а потом еще три года на руках... Кто не знает женщин, обедняет себя на целую жизнь, запомни это. Я не святой, как ты или Наум, не так хорошо знаю слово божье, ибо неуком пошел за своим незабвенным спасителем, Константином Философом, так что ты прости мне все эти слова. Если я богохульствую, пойду к отцу Мефодию исповедаться, пусть он решает. Пусть наложит на меня любую епитимью, я вытерплю...

Савва лег на жесткий топчан, положил руки под голову и притих. Его слова произвели сильное впечатление на Климента. Он часто ловил себя на том, что в глубине его души живут подобные слова, только не столь земные и убедительные. Климент отправился в большой мир из горной пещеры, где пахло пергаментом, потом жил в богатых комнатах, где полки гнулись от книг, затем — в монастырской келье, где витали книжные мысли о святых и грешниках, и лишь в Моравии он столкнулся с настоящей жизнью, с делами людей — хорошими и плохими. Разумеется, толкование святых догм часто зависит от тех или иных интересов, но жизни надо смотреть прямо в глаза, если не хочешь, чтобы она нанесла тебе неожиданный удар... Савва был прав, и все-таки его слова о женщинах смутили и сбили с толку Климента. Верно, бог создал женщину, но разве в Писании не сказано, что искушение пришло от Евы, не она ли причина того, что род человеческий изгнан из рая?

Климент причесался деревянным гребнем, надел ветхие сандалии из воловьей кожи и вышел из кельи. Душа была встревожена красотой девушки и словами Саввы... Они с Саввой давние друзья и не будут обманывать друг друга. Да и Савва не из тех людей, что таят в душе коварство, издеваются над чистотой помыслов и нарушают душевное равновесие друзей. Он говорил, что чувствовал, и это очень нравилось Клименту. Савва не мог завидовать, скрытничать, не мог быть коварным. Всю жизнь он боролся со злом и честно прошел свой путь... Душевное смятение надолго осталось в душе Климента и угнетало его и днем и ночью.

Климент возвращался от Святополка. Он получил благословение возглавить все школы в государстве. Князь, окруженный знатными людьми, принял Климента в одном из небольших залов. И все было по-княжески: много советов и поручений, придуманных не столько им, сколько его приближенными. Дарственные грамоты были написаны новыми буквами, и Климент почувствовал себя победителем. Ему льстило княжеское внимание и забота о деле миссии. Казалось, что приближенные князя с надеждой и упованием смотрят на все, что делают просветители во имя самоопределения народа. Климента смущал только нахмуренный взгляд и тяжелый, будто высеченный из камня, волевой подбородок князя. Но если бы он не был таким, разве сумел бы он справиться с врагами? В присутствии папского легата Святополк объявил в Фархаине, на совете королей, о своем повиновении Людовику Немецкому, но это была формальность. Если судить по заботам князя о славянской письменности, то можно сделать вывод, на чьей он стороне. Климент подобрал подол рясы, чтобы, спускаясь по мраморным ступеням, не наступить на нее, приветливо кивнул страже, охранявшей ворота, и огляделся. Площадь с кафедральным собором и общественными зданиями была залита солнцем, и люди спешили укрыться в тени. Какой-то человек вышел из дворца и, поравнявшись с ним, предложил пойти вместе, поскольку ему, мол, в ту же сторону. Сказал, что обычно приезжает на коне, но сегодня было не к спеху, поэтому и пришел пешком. Судя по одежде и широкому поясу из железных пластинок, на котором висел меч, он не принадлежал к знати. У него были добрые серые глаза.

Солнце поднялось высоко, тени укоротились. Попутчик оказался разговорчивым. Он интересовался жизнью в монастыре, обучением детей, церковными службами. Его любопытство было безгранично. За беседой Климент не заметил, как подошли к монастырю. Незнакомец остановился у ворот и, протянув Клименту руку, сказал:

— Ну, до свидания. Мы соседи с недавних пор и еще не знаем

друг друга...— И пошел к тому самому двору с садом.— Хочешь, зайди к нам. Гостем будешь!

Климент онемел от этих неожиданных слов.

10

И все же Кремена-Феодора-Мария поборола искушение дьявола и уехала из Плиски. Она сделала это, чтобы не унижаться. Изограф Мефодий давно понял ее душевную борьбу и читал ее желания. В его взгляде она видела себя всю — разгаданную и уязвимую для насмешек, а в последнее время заметила и мужское превосходство, в котором не было почитания, несмотря на большую разницу в их положении. Она чувствовала, что мечта о материнстве подчиняет ее себе и что, если она не уедет, у нее недостанет сил противостоять этому зову. Кремена-Феодора-Мария решила поехать в Брегалу и там в тиши понять, любит она Мефодия или только вожделение тянет ее к нему... Огромным усилием воли в последний момент она заставила себя не крикнуть возницам: «Назад!» — под предлогом, что-де забыла взять с собой очень важную вещь. Но не крикнула.

И лишь проехав половину пути, поняла, что искушение побеждено. В Брегалу она прибыла на праздник святого Иоанна Брегальницкого. Каждый год монахи из здешнего монастыря и люди из ближних деревень собирались на горе, чтобы почтить память несчастного кесарева сына, немного повеселиться да испить воды из источника под деревом, на котором нашли повешенного. Монахи утверждали, будто эта вода помогает от болезней глаз и от гнойных ран. В невообразимой суете праздника Кремена-Феодора-Мария стала понемногу обретать равновесие, но всякий раз при звуке голоса какого-нибудь молодого мужчины ее глаза искали его, а сердце упивалось его статью. Эти волнения с каждым днем убеждали, что изограф не имеет над нею настоящей власти. Во дворце, куда он, будучи священником, имел доступ, он вытеснил других не потому, что она испытывала к нему сильное чувство, а из-за женской ее слабости. Но все же это были только предположения, лишь время покажет, насколько она увлечена. А пока молитвами и неустанным бдением подавляла она свое чувство. И чем дальше уводил ее пестрый хоровод времени, тем яснее Кремена-Феодора-Мария понимала, что тоскует гораздо больше по Симеону, чем по изографу Мефодию... Бешеный ток крови, который прежде с неожиданной силой гнал ее к Мефодию, превратился теперь в тоску о своем ребенке, о брачном ложе и детской колыбели. И ей стало ясно: она не укротит себя, пока не найдется мужчины и для нее. Эта мысль впервые пришла ей в голову во время свадьбы юной Богомилы. Сидя на отведенном ей месте, она слушала

веселый гомон гостей и думала о себе. Неужели она так и останется одна и не исполнит назначения женщины на земле — не даст новой жизни и продолжения рода? У женщины нет иного назначения в этом мире. Ведь всевышний, посылая человечеству своего сына, прибег к помощи женщины, а не прямо с неба спустил его на земную твердь.

По утрам, стоя у окна горницы, Кремена-Феодора-Мария с особенным старанием считала призывы кукушки и в ее сером оперении и в ее одиночестве видела саму себя, а в ее голосе слышала муку своего одиночества. Так продолжалось до тех пор, пока однажды ее взгляд не привлекли главные ворота. Это прибыл брат со свитой, и третий за ним был Алексей Хонул. Красивый византиец с коротко подстриженной бородкой жил одиноко в Плиске, и потому она жалела его, а жалость постепенно перешла в желание побеседовать и поближе узнать его. Хотя они уже много лет жили в одном городе, но ни разу не встречались. Кремену останавливала мысль, что у византийца есть жена и дети и он мечтает найти их.

Если верить молве, то во время последнего пребывания в Константинополе на восьмом Вселенском соборе Алексей Хонул искал семью, но никого не нашел. В свое время Варда сослал их в приграничные земли близ Тефрики, где они погибли от сарацинского ятагана. Это вызывало к нему всеобщее сочувствие. Князь разрешил византийцу, если он пожелает, не возвращаться с собора в Болгарию, а остаться в Константинополе и сказал, чтобы он не чувствовал угрызений совести перед болгарскими друзьями. Разумеется, если уверен, что Василий не казнит его. После разрешения Бориса-Михаила никто не сомневался, что Хонул не вернется в Болгарию, поэтому все весьма удивились, снова увидев его. Было известно и содержание разговора между князем и Хонулом после возвращения посольства. При этом присутствовали кавхан Петр и братья князя, Докс и Ирдиш-Илия. На вопрос князя Алексей ответил так:

— Великий князь! Свои изгнали меня мечом, вы приняли меня с доверием... Я снова поехал туда с надеждой увидеть детей и вернулся нищим, потому что остался без надежды. Я думал, ненависть к тем, кто изгнал меня, погасла, но убедился, что она жива, когда в день прихода в Царьград мне предложили продать мое искреннее отношение к вам и заменить его коварством. Я предпочел вернуться сюда чистым и преданно, как до сих пор, служить вам. Если не веришь, прикажи повесить меня, чтобы быть спокойным за себя и за государство.

Это были слова достойного мужа — продуманные, искренние и честные. И никто не усомнился в них. Кавхан Петр хотел было сказать, что именно Хонул следил за ходом всех дискуссий на соборе и правильно указывал ему, когда надо вмешаться, чтобы его слова попали в цель, но промолчал, ибо в заступничестве не было нужды.

— Речь твоя и взгляд твой — искренни,— ответил Борис.— Оставайся в моем государстве. Пользуйся моими милостями наравне с моими братьями, с верным кавханом, со всеми боилами и багаинами — гордостью земли моей. И если решишь создать новую семью — мое тебе благословение и поддержка.

За три года, прошедших со времени этого разговора, Алексей Хонул ничем не запятнал свое имя и верно служил Борису-Михаилу. Последние слова князя глубоко запали ему в душу, и он все чаще возвращался к ним. Ведь он в расцвете сил, можно попытать счастья, зажечь очаг, воспитать новых детей. Раньше, до поездки в Константинополь, надежда найти своих сыновей укрепляла его дух, и он сопротивлялся доводам рассудка, но теперь, когда стало ясно, что семья его погибла, он не хотел остаться один на этой земле. Глубоко в душе Алексей уже принял решение и носил образ той, которую хотел бы назвать своей женой, но боялся отказа... Княжеская сестра была у него на уме и в сердце, только она. В последнее время он хотел поговорить с нею, однако мысль о том, скольким женихам она отказала, лишала его смелости. Дни, проведенные в Брегале, запомнились особым тихим покоем, ленивым теплом южной земли, голосами кукушек в тенистых дубравах. Кукование отражалось от каменных гор и возвращалось — умноженное, ослабевшее и томительно-странное. Алексей Хонул заметил, что Кремена-Феодора-Мария часто стоит у окна и задумчиво прислушивается к голосу кукушки, и у него было чувство, что в отголосках эха он слышит собственную душу. Так же трепетала его душа в тот день, когда он впервые встретил свою Василики. Она была хрупкая и нежная, и когда двигалась, платье на ней развевалось, будто девушка не ходила, а летала. Василики выросла в знатной семье, но не научилась скрытности и фальши. Были и такие дни, когда они ссорились. Если бы в это время их слышал кто-нибудь посторонний, то сказал бы, что они больше не заговорят друг с другом и что их пути разошлись. Но все кончалось совсем неожиданно: оба клялись, что не могут жить один без другого, что мир опустеет, если, не дай бог, с одним из них случится что-нибудь... Их старший сын понимал: эти ссоры неизвестно как начинаются, но всегда одинаково завершаются; младший, однако, тяжело переживал каждое резкое слово, сказанное ими. Он родился чувствительным, ранимым, и они боялись за него, так как он входил в мир со слишком доверчивой душой. Старший, Петроний, был другим: суровый, крупный, но стеснительный, он часто защищал свою душу панцирем жестокости. Отец рано стал разговаривать с ним как мужчина с мужчиной, ничего не тая, даже такие дела, как заговор. И спасся благодаря ему. Это Петроний послал стражу Варды искать отца сов-

сем в другой стороне, и те попались на удочку... Алексей Хонул поехал на собор в Константинополь с надеждой найти сыновей и остаться с ними или увезти их с собой в Плиску, но теперь все становилось бессмысленным. Они погибли. Надо было решаться на второй шаг, а он не мог — мешала любовь к сыновьям. И хотя теперь у него были виды на княжескую сестру, он, однако, чувствовал, что сделает этот второй шаг с единственной надеждой — она ему откажет и он получит оправдание перед собой, что пытался, но ничего не получилось.

Вглядываясь в Кремену-Феодору-Марию, Алексей находил много общего между нею и Василики. Княжна была такой же хрупкой, только глаза у нее удлиненные, миндалевидные, а сама она спокойная, с плавными жестами, замкнутая и далекая от мира. А может, ему так казалось, потому что он смотрел со стороны. Алексею Хонулу нравилось его одиночество: он никому ничего не объяснял и ни от кого ничего не хотел, возвращался домой когда пожелает, ходил туда, куда заблагорассудится.

Но эта свобода иногда надоедала. Были минуты, когда всем существом он жаждал острых ссор, вроде тех, давних, они вывели бы его из равнодушия, убивающего человеческое в человеке. В такое состояние Алексей Хонул порой впадал теперь и боялся, как бы не совершить чего-нибудь неразумного, что запятнало бы его имя и честную службу князю. Тогда он спрашивал себя: зачем он тут? Кому нужен? И не мог найти убедительного ответа, ибо почти ничто не связывало его с этой страной...

Однажды они возвращались с охоты, пробродив два дня в ближних лесах. Торжественно и гордо шагали егеря, сокольничие, а следом на телеге везли громадного оленя. Его рога привлекали внимание своими размерами. Люди стеклись поглазеть на охотников, и среди них вдалеке Алексей Хонул увидел сестру князя. Она поднималась на цыпочки и кого-то искала. Алексей Хонул шел за князем, но статная фигура Бориса-Михаила с соколами на плечах почти скрывала его. Алексея заинтересовало, кого же столь нетерпеливо высматривает Кремена-Феодора-Мария, и он остановил коня. Когда взгляд княжны нашел его, огонь в ее глазах будто опалил Алексея, он выронил уздечку и медленно провел ладонью по лицу, к которому прилила горячая волна крови.

11

То, что казалось близким, постепенно удалялось, словно мираж. Папа Иоанн VIII не мог простить себе самонадеянности, с которой подошел к решению болгарского вопроса. Результатом писем Борису-

Михаилу были всего-навсего небольшой подарок от князя, переданный через монаха-пилигрима, и заверения в добрых чувствах. Поначалу эти уверения и дар заставили папу броситься с мальчишеской горячностью в бой, но самоуверенность постепенно превратилась в разочарование, разочарование — в озлобление на болгар, греков, на собственных епископов и священников, которые с такой поспешностью покинули болгарские земли.

Его предшественник, папа Адриан, похоже, весьма тяжело перенес возвращение всего своего воинства в Рим, если предал суду епископа Гримоальда Полимартийского, обвинив его в том, что он покинул Плиску без всяких протестов. Епископ был столь дерзок, что взял для папы письмо от болгарского князя, предварительно не ознакомившись с его содержанием. И хотя Гримоальд утверждал, что был изгнан, в послании было написано, что князь Борис-Михаил, как добрый христианин, не может не повиноваться решению восьмого Вселенского собора, которое было принято, как известно, при участии и папских легатов... Папа Иоанн VIII позвонил в колокольчик. Появился монах.

— Пусть Анастасий найдет все, что относится к делу Гримоальда.

Святой отец не раз читал эти документы и всегда открывал в них что-нибудь новое. Папа Адриан II лишил епископа сана за то, что тот без разрешения Рима покинул вверенную ему страну. Но только ли за это?

Иоанн кивнул вошедшему Анастасию, пригласив его сесть к столику с неизменными сладкими орехами и двумя стаканами свежей холодной воды, и взял пергамент... На суде священники невысокого сана твердили, что никто не выгонял их из болгарских земель — ни болгары, ни греки, — но что их обманул епископ. Не слишком ли тяжела его мошна? Что он был подкуплен, папа Иоанн VIII не мог утверждать определенно, но в написанном мелким почерком донесении брата Себастьяна, подкрепленном показаниями свидетелей, говорилось, что после того, как епископа отстранили от церковных дел и лишили сана, он оказался очень богатым и стал жить на широкую ногу... Брата Себастьяна провести невозможно. В конце донесения был условный знак, что наблюдение за Гримоальдом продолжается. Указав пальцем на знак, папа спросил:

— Ну что, не позвать ли его?

— Почему бы и нет, святой владыка.

Брат Себастьян, как всегда, вошел бесшумно, и весь ритуал повторился: поцелуй папской руки, благословение, чистый, безоблачный взгляд.

— Есть ли что-нибудь новое, брат Себастьян, что усугубило бы вину Гримоальда Полимартийского?

— Есть, святой владыка. Досточтимый, преподобный епископ...

— Бывший!

— Бывший епископ, святой владыка, купил корабль и хочет использовать его для торговли. По дороге в город святого Петра он встретился с многоуважаемым епископом Формозой Портуенским...

— Бывшим! — сердито повторил папа.

— Бывшим епископом, и они договорились попросить помощи у наследников покойного Людовика Немецкого.

— Еще что?

— Пока все, святой владыка.

— Ступай с богом,— и папа благословил своего преданного, чистосердечного служителя.

После его ухода он долго стоял, задумавшись и не произнося ни слова. До чего все запутанно и сложно. На что же еще надеется Формоза? На сыновей Людовика Немецкого? После смерти отца ссоры между ними стали притчей во языцех. Они все не могут разделить государство, определить границы. В междоусобицах постепенно таяла мощь немецкой державы. Святополк медленно, но уверенно вытеснил их со среднего Дуная, и не слава, а закат прежде сильной и могучей страны виделся папе. Да, ошиблись его враги в своих расчетах. И зачем было Формозе совать нос не в свои дела? С какой самоуверенной дерзостью он настаивал на том, чтобы его послали в Болгарию — он-де поправит церковные дела. Князь Борис-Михаил, мол, ценит и уважает его. Каково? Сиречь ты, твое святейшество, не способен, а потому поручи мне от имени святого Петра исправить положение. Нет, папа Иоанн VIII не клюнет на это, ему известно, кто стоит за спиной Формозы. Старые опытные враги, сторонники покойного Людовика Немецкого, подталкивают его на этот неразумный поступок, мечтая показать всем, что Иоанн бессилен в делах церкви. И они хотели получить позволение, письма и поддержку от него! А он отлучил Формозу, лишил епископской кафедры. Святому отцу известны его тайные намерения — папский престол! На это нацелены его хлопоты, вся его хитрость, преданность богу и неземная чистота. Пусть теперь мыкается по свету и ищет подобных себе союзников. Он надеется на немцев — пусть надеется. Но папу сам Людовик Немецкий не смог испугать, что же говорить о его близоруких сыновьях. После смерти императора Людовика II, назло прогерманской партии в Вечном городе, Иоанн VIII возвел в сан императора не Людовика, а его брата — Карла Лысого: во-первых, из дружбы с франками, во-вторых, чтобы показать всем, что он, папа римский, решает вопрос о всех поднебесных титулах и дает их тем, кому пожелает. Этого, похоже, не уразумел многоумный Формоза Портуенский. И с самомнением всезнайки появился как раз тогда, когда папа вернулся из Павии, и навлек на себя справедливый гнев всевышнего...

Анастасий Библиотекарь спокойно сидел, не смущаясь молчанием Иоанна VIII, и, как в открытой книге, читал его мысли. Ничто другое не могло так взволновать Иоанна VIII, как упоминание имени Формозы. Оба давно враждовали. Оба стремились занять место Адриана. Победил Иоанн, и теперь он мстит противнику. Эта вражда — на всю жизнь, пока один из них не покинет божий мир.

— Что это мы умолкли, брат Анастасий...— тряхнул головой папа и троекратно перекрестился.

— Забот много, святой владыка. У бедных телом и духом нет забот, и они живут легче.

— Ты прав, брат Анастасий. Не в добрый час возложил на меня всевышний бремя церковных забот. Ночами не сплю, все о стаде Христовом думаю. Мне нужны могущественные правители, но их нет. Сарацины грабят наши земли, и некому остановить их. Сыновья Людовика спорят, маркграфы поднимают голову, император Карл все обещает помочь, но с места не трогается. Того и гляди, махну рукой на болгарский диоцез и обращусь к Василию. Он теперь единственный сильный император.

— Но как на это посмотрят недовольные, единомышленники Формозы Портуенского?

— Это не решение, а всего лишь мысль. Попробую с божьей помощью победить арабов, и только если не добьюсь успеха, обращусь к Константинополю. Поверь, нелегко мне будет сделать этот шаг.

Папа потянулся к стакану с водой, и Анастасий впервые заметил, как дрожит его рука. Папа взял стакан, подержал в ладонях и стал пить медленными глотками.

— Я думаю,— сказал он, поджав нижнюю губу,— я думаю о золоте. Велика его сила, покорившая столько людей. Христа продали за тридцать сребреников, но сегодня, видать, предательство подорожало... Люди вроде Гримоальда Полимартийского целые диоцезы продают, торгуют верой и душами человеческими, и небо не обрушивается на них, и земля их носит на себе. Никак не могу понять магию золота. И найдется служитель божий — я слышу его шаги, вижу его мутные глаза, следящие за мной сквозь толстые стены, улавливаю его мысль, плетущую паутину коварства и злобы против меня, звон золотых монет раздается в моих ушах, монет, которыми ему заплатят за мою смерть. Слышишь — за мою!

Папа встал, слегка наклонившись вперед, глядя в одну точку на стене. В его глазах было безумие, руки дрожали. Он был охвачен непонятным ужасом. И вдруг отшатнулся, будто стараясь уберечься от невидимой опасности, и сшиб полой одеяния полупустой стакан, оставленный на краю столика; стакан с резким звоном разбился об пол. Папа очнулся, взял себя в руки. Он провел бледными ладонями по

лицу, сложил их, словно для молитвы, и долго так стоял, а потом сказал, оправдываясь:

— Переутомился я в последнее время... брат Анастасий...

— Отдохните и думайте о том, что вы нужны миру и завтра, святой владыка,— сказал Анастасий и пододвинул к нему второй стакан с водой.

Папа выпил воду залпом, будто гасил внутренний огонь. И впервые Анастасий остался с ним надолго. Папа не отпускал его до утра, пока солнце не ворвалось в окна и легкое посапывание святого отца, сидевшего в кресле, не подсказало Анастасию, что можно уйти.

Он поднялся и, неслышно ступая, вышел в коридор, где дремал верзила монах. Анастасий взглядом показал ему на спящего папу и тяжелой походкой старика, страдающего от бессонницы, пошел дальше.

Впервые он не чувствовал зависти к обладателю престола святого Петра.

12

С приближением старости Мефодий стал замечать, что его мысли все чаще обращаются к Брегале и в памяти воскресают последние судорожные подергивания малышки Марии. Трепет от руки умирающего ребенка передался всему телу Мефодия, и он долго стоял, бессильный, углубленный в себя, потрясенный страданием. Муки всех его детей сконцентрировались для него в предсмертной дрожи самой маленькой дочурки. И теперь, стоит лишь прикрыть глаза, он видит пустые стулья вокруг стола. А сколько радостного шуму и невинных шалостей было всегда за столом, пока не обрушилась божья кара. Но за что он наказан? За то, что был тогда обоюдоострым мечом в чужих руках? Что подавлял голос славянской крови и к прежним несчастьям славян прибавил новые? Не за это ли? Трудно сказать... Но если за это, то не душа невинная, а только он и должен был искупить вину!

— Папа, ты ведь не отдашь меня старухе болезни...— шептала тогда Мария.

— Не отдам! — сказал он, но не смог сдержать обещания.

Мог бы не отдать, если б настоял, чтобы ребенка отправили в пещеру, к Клименту и его отцу. Мефодий никогда не простит себе той нерешительности. Ведь стоило прикрикнуть на жену, и все могло сложиться иначе... А может, было необходимо, чтобы так случилось и у него развязались бы руки для божьего дела. Но надо ли такой ценой платить за то, чтобы уразуметь божье повеление? Разве чистая душа ребенка в чем-нибудь виновата? В такие минуты размышле-

ний Мефодий чувствовал, что не в состоянии ничего делать, и только молитвы давали силы снова идти через время, бороться со злобой и нечестивостью. Оглядываясь на прожитую жизнь, Мефодий все яснее понимал, что его земной удел — страдание. Он сам выбрал его, чтобы другие могли радоваться. Эти два чувства — страдание и радость — как день и ночь. Если в сердце есть одно, там не должно быть другого, иначе невозможно счастье. Но достижимо ли счастье — он начал сомневаться. Даже такие правители, как Святополк, не всегда принимали его слова и поучения, ибо не созрели для понимания высокой мысли. Архиепископ видел, что князь изо дня в день все больше охладевает к нему. А началось это с воскресной проповеди, в которой Мефодий говорил о правителях, создающих для людей законы, но не соблюдающих их. Эта двойственность всегда возмущала его. Он стоял на том, чтобы дела соответствовали словам. В противном случае человеку лучше быть бессловесным существом. Люди не любят брать слово на веру, они выжидают, чтобы своими глазами увидеть, будет ли оно подтверждено делом. Святополк на словах одобрял священное учение, но церковь посещал редко и, самое главное, не всегда соблюдал постулаты этого учения. Он часто придерживался унаследованных от дедов старых правил, которые святая церковь заклеймила, но которые, точно сорняки, глубоко пустили корни в душе человеческой. Святополк и к наукам относился хуже, чем Ростислав. В воскресной проповеди Мефодий возвел Ростислава в святые — как человека, который первым пожелал приобщить народ к мудрости истинной Христовой церкви, который пригласил в княжество усердных просветителей из Византии. Упоминание о Ростиславе рассердило князя, он нахмурился и про себя назвал архиепископа недобрым словом. Тут и папский легат Иоанн Венетийский, вместо того чтобы урезонить Святополка, подлил масла в огонь, сказав, что-де Мефодий не соблюдает наказа папы — не проповедовать на славянском языке, не испросив согласия верующих в храме. Архиепископ давно подозревал, что Иоанн не желает ему добра, но все думал, что разум удержит его от распри.

Вновь назревал раздор, и Мефодий знал, что придется защищаться, вместо того чтобы переводить святые книги. Три года назад он попытался привлечь к моравскому диоцезу сербского князя Мутимира, написав ему длинное, подробное письмо, но тот все еще колебался. Мефодий не потерял надежды, хотя с тех пор прошло уже несколько лет. Если бы была открытая искренняя поддержка Святополка, Мефодий мог бы многое сделать, но теперь снова надо было тратить время на оборону и нападение. Папский легат и князь объединились против него. Почему? Что плохого он сделал? Роль архиепископа в диоцезе именно такова: поучать божье стадо, указывать ему истинную дорогу, спасать души, клеймя извращения истины! Ска-

зано же: все равны перед судом божьим! С какой стати одним прощается все, а другие принимают муки, даже не совершив греха? Неважно, что грешен не простой человек, а князь. На божьем суде имеют значение только истина и добро, но не титулы!

Осень была дождливая. Днем слабое солнце еще пробивалось сквозь широколистые леса. Мефодий все пристальнее вглядывался в божье творение — в земной мир. Всевышний создал его за семь дней, но, по-видимому, эта работа утомила бога, потому что он не сделал человека совершенным. А может, помешал дьявол? Наверное, так! Не мог же тот, кто с таким мастерством сотворил природу с ее круговращением жизни, не видеть недостатков в своем наивысшем творении — человеке... Многое испытал на своем веку Мефодий, и потому он не мог запереть свой ум в узкой келье церковных догм и часто искал истину в самой жизни. Старыми, но внимательными были его глаза, а слух различал змеиное шипенье зла и вопли людей, и потому он позволял себе смотреть на божьи дела взглядом человека, взыскующего справедливости. Разве справедливо клеветать на человека и не давать возможности защититься? А Иоанн не переставал клеветать на него. И все-таки справедливость существует: папа отозвал Иоанна Венетийского... И снова перо Мефодия скрипит по пергаменту темными осенними ночами. Устав от непрерывного труда, он выходит во двор, чтобы послушать вой ветра в бойницах старых каменных стен. Темные облака ползут по небу, борются с ветром, наполняют душу успокоительным шумом и движением. Мефодий любит движение. В первые годы монашества он пережил духовный застой и еще помнит его горький вкус. Ему не пришлись по душе ни ленивая дремота чувств, ни торжество сна и чревоугодия. В движении облаков есть стихия жизни, в ней скрывается надежда, словно солнце и луна в облаках. Эти темные облака хорошо знали свою недолговечность, поэтому спешили излить влагу на плодородную землю. И плыли дальше, плыли, а на их место приплывали новые. Так и в жизни человека: и боль, и радость, и мытарства, и веселье, и рождение, и смерть движутся в вечном круговороте. Уйдет и он, но после него останется свет, будоражащий покой сонных душ, возгорающийся вновь и вновь в каждом истинно человеческом рождении... Допоздна бодрствовал Мефодий в эти осенние ночи, все чего-то ждал. Новые волнения пришли вместе с новым папским легатом, Вихингом. С самого начала он занял место Иоанна, а затем унаследовал интриги своего предшественника, вжился в них и вскоре сам стал распускать клеветнические слухи. Каждый раз, услыхав очередную хулу на себя, Мефодий вспоминал строфу Иоанна Дамаскина *:

Где пиршества светские,
Алчба там безмерная,
Там рабство и злато царят
И слово продажное, лицемерное.

Особенно нравилось «продажное слово». Не раз омрачало оно его дни, появилось и сейчас.

И оно не может не достичь — к добру или к худу — папского престола. Жизненный опыт Мефодия подсказывал, что началась новая борьба, и он не ошибся. Вскоре Вихинг сообщил Мефодию, что папа приглашает его для объяснения перед Синодом. Хорошо все обдумав и дав необходимые наставления Горазду и другим ученикам, Мефодий отправился в Рим.

ГЛАВА ВТОРАЯ

...Также узнали мы, что ты служишь литургию на варварском, на славянском языке. Поэтому мы посылаем тебе с нашим легатом Павлом Анконским указ, в котором запрещаем отправлять богослужения на этом языке и повелеваем служить только на греческом или на латыни, как это делается во всей Божьей церкви, на всей земной тверди и у всех народов...

Из письма папы Иоанна VIII Мефодию, архиепископу Паннонскому. 873 год

Мефодий исповедал нам, что он верует и проповедует согласно с евангельским и апостольским учением, как указывает святая Римская церковь и как нам завещали святые отцы.

И мы нашли, что он правоверный христианин, опытный и полезный в церковных делах, и мы посылаем вам его обратно, чтобы он продолжал управлять вверенной ему церковью, и повелеваем вам принять его как вашего пастыря, со всеми почестями, вниманием и радостью, ибо мы данной нам властью подтверждаем его архиепископские привилегии.

...С ним посылаем и пресвитера Вихинга, которого мы по твоему желанию рукоположили епископом святой Нитранской епархии, и мы повелеваем, чтобы он во всем подчинялся своему архиепископу, как тому учит святой канон...

Из письма папы Иоанна VIII князю Святополку. Июнь 880 года

1

Василий не стал ждать ухода священников. Они продолжали свои бесконечные разговоры на краю императорского стола. Василевс чувствовал себя усталым, обессиленным. Большого напряжения стоил ему этот собор! Представители папы снова попытались вернуть себе болгарский диоцез. Если бы собором руководил Игнатий, он вряд ли смог бы так хитро вывернуться, как это сделал Фотий. Хотя и было принято решение вернуть болгар в лоно римской церкви, но одновременно было записано, что изменение это может произойти только с согласия византийского императора. Василий с большим вниманием

следил за дискуссией и все больше убеждался, что не ошибся, восстановив Фотия на патриаршем престоле. «Лиса империи», как называли его недруги, прекрасно сделал свое дело.

Василий окинул взглядом священников, извинился, что уходит, пожелал всем ревностно оберегать души человеческие от греха и удалился. На верхнем этаже его ждали сыновья. Стефан был еще мал, но Константин и Лев вместе с отцом занимались государственными делами. Час назад вестники сообщили, что сарацинские пираты разграбили и опустошили остров Самос. Эта новость рассердила императора. Он тут же приказал части флота выйти в открытое море и отправиться к острову. Пираты стали живой раной в сердце империи, они нападали неожиданно и там, где их меньше всего ждали. Взятие Тефрики и казнь вождя павликиан Хризохира были единственными успехами Василия, которые заслуживали торжественного празднования. Отрубленную голову Хризохира долго носили по Царьграду, а остальных вожаков павликиан в назидание посадили на колья, вбитые на ипподроме. Василий устроил это страшное зрелище, чтобы кое-кто понял, что с ним шутки плохи. После битвы под Тефрикой цена на рабов упала. Рынок был перенасыщен, простой раб старше десяти лет стоил десять номисм, а моложе — пять. Раб-умелец стоил двадцать номисм. Не изменилась цена только на молодых евнухов — семьдесят. Их покупали главным образом знатные византийцы и сарацины. Вообще с арабами можно было бы хорошо торговать, если бы не их бандитские налеты, которые приводили василевса в бешенство. Арабы постепенно отнимали у империи село за селом, город за городом. Сицилия и юг Апеннин уже были в их руках. Два года назад Византия потеряла там свою последнюю крепость — Сиракузы, которую арабы после девятимесячной осады взяли неожиданным шмурмом. Все-таки Никифор Фока успешно вмешался и сумел восстановить власть империи в Апулии и Калабрии. Если бы не эти успехи, папа вряд ли дал бы согласие на рукоположение Фотия патриархом. Василий понимал и страхи, и надежды святого отца. Папа боялся сарацин и надеялся на помощь Василия в борьбе против своих врагов. Эти надежды можно было прочесть между строк посланий, которые папа Иоанн VIII не переставая слал ему. Может ли Василий оправдать надежды? Вряд ли! Василий уже не верил в свое могущество, тщательно скрывая от всех эти сомнения. В ответах папе он поддерживал его иллюзии. После смерти Людовика II Василий присоединил к державе город Бари и исподволь накапливал войска, чтобы еще более расширить свои владения.

Придворный приготовил опочивальню, и по давней традиции, унаследованной от императоров, об этом возвестили трели механического соловья. Они раздражали Василия, видевшего в этом ритуале что-то детски-наивное, но он не посмел отступить от традиции. Сегод-

ня вечером птица пропела весьма своевременно. Оставив сыновей за обдумыванием дел, император пошел в опочивальню. Евдокия ждала его на ложе. В последнее время он уклонялся от исполнения супружеских обязанностей, но причиной была только усталость. Ведь Василию никогда в жизни не приходилось так много думать! Его раздражало также, что жена не придерживается этикета. Какая императрица входит в опочивальню мужа без приглашения? Евдокия имела в своем распоряжении половину дворца, залы, пышный гинецей, но прежняя привычка спать вместе манила ее в покои Василия. В этом, конечно, были свои преимущества: можно поделиться с ней тревогами минувшего дня, поговорить о сыновьях,— но зато Василий лишался возможности побыть наедине с собой. Тем более что присутствие жены всегда связано с различными просьбами и ходатайствами. Точно так было и в случае с Фотием. Василий забыл и думать о нем, но Евдокия прицепилась и внушила мысль о большой пользе, которую Фотий принесет императорскому дому и государству. Евдокия еще при жизни Игнатия прожужжала Василию уши, что-де старик не годится для новой борьбы с Римом. Василий догадывался, откуда ветер дует, но не спешил ни одергивать жену, ни принимать всерьез ее разговоры. Поэтому все беседы на эту тему кончались приятной истомой супружеской близости... Сегодня вечером Василию было не до того, но он знал, что не сможет устоять перед ласками жены. К его удивлению, Евдокия оставила его в покое: по-видимому, таким образом она хотела отблагодарить за восстановление Фотия. Она уже знала о спорах на заключительном заседании собора и гордилась своим протеже. Не будь Фотия на престоле, болгарские земли снова были бы потеряны для Византии. Принятые туманные обязательства были лишь видимостью уступки римской церкви. Так по крайней мере уверяла ее Анастаси, а Фотий выразился гораздо яснее: ему нужно только благословение василевса, и папа римский получит Болгарию, когда рак на горе свистнет! Да, пока Василий не мог не быть признательным жене за ее ходатайство в пользу Фотия. В свое время он отстранил его не только из-за ненависти к нему, а еще и потому, что хотел таким образом войти в доверие к папе римскому, но вскоре убедился в непригодности Игнатия. Церковные догмы сковали его мысли, и он непрестанно ударялся об них, как об стену. Но бог помог, вовремя призвав старика к себе, чтобы не мешал вести земные императорские дела. Патриарха нашли окоченевшим в широком кресле у письменного стола. Он не успел закончить мысль, на пергаменте было ее начало: «И плакали чада о...» Никто не понял, о чем, но и о смерти самого Игнатия люди плакали гораздо меньше, чем в день его возвращения из ссылки. Патриарх скончался в октябре 877 года, до приезда папских легатов Евгения Остийского и Павла Анконского. Они прибыли лишь весной следующего года. Почему они так опоздали,

никто не понял. О смерти Игнатия они узнали уже в Константинополе, и Василий, желая понять их реакцию, распорядился, чтобы легатов встретил именно Фотий. Император остался им очень доволен, когда узнал, что Фотий снова решил подкупить легатов. Арабы опять напали на Апеннинский полуостров, и папа вынужден был послать третьего легата — на этот раз с просьбой о помощи. Как тут не признать Фотия? Василий понимал: за Фотия придется заплатить немалую цену,— но победа на соборе была важнее. Теперь оставался только один путь — путь обмана святого апостолика. Папа просил у него разрешения на поездку своих легатов к болгарскому князю! Василий согласился: ведь желание Бориса-Михаила иметь собственного епископа было удовлетворено Византией, и, значит, не было причины опасаться встречи легатов с князем. Кроме того, собор принял решение о невмешательстве Константинополя в дела болгарской епархии. Чего еще может желать болгарский князь! Правда, своего патриарха у болгар еще нет, но об этом рано думать. Василий был поражен лукавством Фотия, ловко опутавшего папских послов, которые, ничего реально не получив, остались при твердом убеждении, что все идет согласно их желаниям. Император стал даже побаиваться патриарха. Такой способен превзойти в величии василевса. Этим опасением Василий ни с кем не поделился, даже с женой...

Довольная собой, Евдокия положила руку на голову Василия. Он погладил ее бархатную кожу и закрыл глаза. Он не сомневался, что Евдокии известен его путь к престолу, но за все это время она ничем не выдала себя: встречала мужа с неизменной улыбкой, принимала на себя заботы о воспитании сыновей. Теперь, когда исчезла необходимость угождать Михаилу, он решил не пренебрегать ею, однако бремя забот о государстве оказалось столь тяжелым, что Василий скоро почувствовал сильную усталость. Хорошо еще, грамотные и умные сыновья пришли на помощь... Василий погладил обнаженные плечи жены и по привычке притянул ее к себе. Она отклонилась, но это только раздразнило его.

Была глубокая ночь, когда Василий отодвинулся на свою половину ложа. В окне виднелись редкие звезды, и Василий не смог заснуть, пока они не растаяли в свете зари.

2

Мефодий возвращался из Рима с неопределенными впечатлениями. Славянский язык не был для них приемлем. Они предпочитали ему даже греческий, но Мефодий и ученики посвятили свою жизнь славянскому...

Архиепископ поднял голову и огляделся. Один Семизисн, при-

дворный Святополка, был верхом на коне, остальные члены посольства ехали в каретах. Вихинг сидел в глубокой задумчивости, и его угрюмое птичье лицо не предвещало ничего хорошего. Пока они были в Риме, Вихинг обошел друзей, чтобы они помогли ему попасть к папе. Иоанн VIII принял его, но не во всем поверил ему. Прежде чем посольство получило аудиенцию у святого отца, Мефодий дал римской курии объяснения по выдвинутым против него обвинениям. Вопросов было немного, а тот, кто их задавал, был весьма учтив. Слава и возраст Мефодия внушали почтение. Его белая борода сияла, словно горные снега, однако огонь в умных глазах уравновешивал холод, порожденный мыслью о вечных снегах. Его взгляд, молодой и ясный, не мог быть неискренним, коварным. Мефодия обвиняли в том, что вопреки повелению покойного папы Адриана он правит службу на славянском языке и преследует священников, проповедующих на латыни. Обвинители не смогли назвать ни одного пострадавшего от Мефодия, не считая немецких духовных лиц, изгнанных князем Моравии за различные прегрешения; они-то и утверждали, будто он не соблюдает каноны церковного богослужения. Было и еще несколько явно несостоятельных обвинений. Мефодий спокойно и достойно опроверг все. Он не оправдывался, он просто рассказал о своих мытарствах и о просветительской и духовной работе во имя всевышнего. Вся его жизнь мученика сама по себе была гневным обвинением против обвинителей. Именно те, кто искал темные пятна в деяниях Мефодия, два с половиной года держали его в темницах. Германрик Пассавский приказал привязать его к позорному столбу перед церковью святого Иеронима, стегать бичом из конских волос и держать босым, с непокрытой головой на солнце, в дождь и непогоду до тех пор, пока не сгниет ряса. Но бог все видит! Архиепископ поднял указующий перст, широкий рукав черной рясы скользнул вниз, и все увидели шрамы от щипцов и раскаленного железа. Первым опустил глаза Иоанн VIII, не желая смотреть на злодеяния своих людей. Благо мучители Мефодия вместе с Людовиком Немецким отправились на тот свет, иначе папа не знал бы, как поступить с ними. Правда, он когда-то предал их анафеме, но теперь ему стало ясно: одного этого едва ли было достаточно. Иоанн VIII закрыл заседание Святого синода. Мефодий был оправдан. В скором принятии решения был и еще один мотив: папа надеялся на Мефодия. Надеялся использовать его в переговорах с Василием. В последовавшей за оправданием беседе святой отец подсказал Мефодию, что неплохо было бы поехать в Константинополь и напомнить византийскому императору об обещанной помощи в борьбе с сарацинами. Это предложение обрадовало Мефодия. Он давно хотел попасть в Царьград и в монастырь святого Полихрона. Во-вторых, сейчас подходящее время поехать туда через Болгарию и встретиться с князем Борисом-Михаилом,

Последней идеей он поделился с папой, тот разволновался и благословил намерения архиепископа. У Иоанна VIII была причина проявить доброту и щедрость. Хорошая весть пришла вместе с моравским епископом: глава посольства Семизисн передал папе просьбу своего правителя, который хотел быть вассалом Рима, а не немецких королей. Папа Иоанн VIII согласился с большой радостью: в его подчинение переходило сильное государство, которое способно помочь в борьбе против сарацин, налеты которых стали кровоточащей раной. Из духовного правителя он постепенно превращался в светского дипломата, в воина и проклинал всех князьков, царьков, графов и маркграфов, расплодившихся на землях вчера еще единых, могущественных государств. На кого можно было теперь опереться? Он не надеялся даже на франков! Карл Лысый все еще никак не мог решиться прийти к нему на помощь, будучи напуган церковными раздорами в королевстве. Чтобы усилить свое влияние во франкских землях, папа с согласия Карла Лысого рукоположил примасом Галлии и Германии Анзегиза Зенского, но ничего этим не добился, кроме гнева Гинкмара Реймского. Иоанн VIII мысленно сравнивал себя с орлом в клетке: он силен, храбр, мог бы справиться с любым врагом, но прутья клетки мешают ему. Разобщенность и несговорчивость правителей были его клеткой. Сквозь прутья он видел, как против него плетется заговор, но не мог этому противодействовать: не на кого было опереться, кроме брата Себастьяна. А в последнее время и тот стал чего-то побаиваться...

Свои тревоги папа Иоанн VIII хранил в тайне, продолжая высоко держать седую голову и отдавать распоряжения как человек, который исполняет волю небесного судии. Оправдав Мефодия, он, однако, не отстранил Вихинга. Напротив, рукоположил его епископом Нитры, оставив в Моравии осведомителем, хотя и не всегда верил ему. Присутствие Вихинга будет держать Мефодия под постоянной угрозой, заставит соблюдать папские наказы. В письме князю, которое вез с собой архиепископ, святой отец одобрял его прежнюю деятельность, утверждал, что «Мефодий чист, правоверен и делает апостольское дело». Он разрешил княжескому дому слушать святую литургию — по желанию — либо на славянском, либо на латыни и дал Святополку полное право самому решать на месте все церковные споры. Во избежание недоразумений и ложных толкований его отношения к деятельности Мефодия папа распорядился дать копию своего письма и Мефодию, и Вихингу. Для Святополка подготовили также специальную буллу, в которой говорилось, что в руки Мефодия отданы богом и апостольским престолом все славянские страны: «Тот, кого он проклянет, будет проклят, а кого благословит — благословлен». Папа имел в виду и земли болгар, продолжая считать их своими, несмотря на присутствие там византийских священников.

Мефодий хорошо понимал намерения папы, и поэтому крепло его желание поехать в Константинополь через Болгарию. Ведь теперь он имел право быть также и архиепископом Болгарии. Мефодий мысленно уже ехал по этой стране, раскинувшейся по обе стороны Хема. Где-то там было и его прежнее маленькое княжество, в котором Константин и Климент посеяли первые семена новой азбуки. Если Иоанн жив, Мефодий, может, увидит новый очаг знаний, зажженный Константином... На сей раз в Велеграде посольство встретили со всеми необходимыми для такого случая почестями. Князь Святополк принял его в день прибытия. Святополку сообщили решение папы и вручили письмо и буллу. Святополк не имел оснований быть недовольным. Приняв его в вассалы, папа тем самым признавал полную свободу и независимость Моравии и ее место в семействе самых сильных государств. Эта новость была отмечена как подобает: продолжительными празднествами, церковными песнопениями и богослужениями. Целую неделю голоса священников наполняли церкви благословениями папе и князю Святополку. Передача князю полного права самому решать все церковные споры была признанием силы и мудрости Святополка. Наблюдая за проявлениями княжеской радости, Мефодий стал побаиваться за будущее своей миссии. Отныне князь становился судьей — он так вырос в собственных глазах, так загордился, что было неловко смотреть на него со стороны. Когда Семизисн подчеркнул заслуги архиепископа в решении вопроса о вассальной зависимости, Мефодий увидел, как лицо Святополка потемнело. Вихинг, заметив холодок в глазах князя, воспрянул духом. Его место у князя не потеряно. Еще не кончились торжества, а до ушей Мефодия дошла сплетня, что, мол, папа дал Вихингу отдельное письмо, в котором велел изгнать учеников Мефодия из Моравии, его самого лишить поста архиепископа, а новую азбуку запретить и уничтожить. Зная правду, Мефодий не обратил особенного внимания на эту клевету. Он начал усиленно готовиться к путешествию через болгарские земли, но злоязычная молва ползла среди людей и изо дня в день все больше смущала и тревожила их. Тогда архиепископ решил попросить своего противника прочитать народу письмо папы. Вихинг не соизволил выполнить просьбу, но подтвердил наличие особого письма.

И вот огромная площадь перед дворцом заполнилась мирянами и священниками. На лестнице кафедрального собора — Вихинг и Мефодий; по обе стороны от них — ученики. Архиепископ первым прочел вслух письмо папы. Пришла очередь Вихинга, но тот медлил. Наконец, подгоняемый нетерпеливыми возгласами собравшихся, он уткнулся носом в пергамент и забросал Мефодия и его последователей скверными словами от имени папы Иоанна VIII. Савва не выдержал, выхватил письмо из рук Вихинга и протянул Горазду. Ко все-

общему изумлению, вся хула оказалась ложью. У Вихинга была такая же копия послания папы к Святополку. В наступившем смятении никто не заметил исчезновения Вихинга, который, боясь гнева обманутых мирян, спрятался в святом алтаре.

Мефодий поднял руку: он хотел говорить. Толпа притихла. Архиепископ Моравии попросил людей вернуться в свои дома и беречь истинную веру, ибо дьявол коварен и может даже принять образ служителя святой церкви.

Всем было ясно, в чей огород брошен камень. На следующий день Мефодий написал два письма: Иоанну в Рим и Святополку,— в которых уведомлял их о деяниях Вихинга. Послав письма со своими людьми, он почти забыл о случившемся. Он готовился в путь. Вместо себя архиепископ оставил Климента, а в путешествие решил взять Наума, Савву и Константина, из молодых учеников — Марка и Лаврентия. Вихинг на свой лад подготовился к их отъезду. Его последняя клевета была такой: Мефодий-де едет потому, что василевс и патриарх Константинополя припугнули его страшной угрозой. Архиепископ обошел клевету молчанием. Его ждала дорога, ждали новые дела. Тут было не до Вихинга. Мефодий уходил к истокам своего пути, в мир своей молодости. Такое возвращение в прошлое всегда волнует.

Ученики во главе с Гораздом и Климентом долго шли рядом с повозкой, внимая советам Мефодия. Ему хотелось все предусмотреть, оставить готовые решения на все случаи, предостеречь от неприятных неожиданностей.

Когда город остался далеко позади, Мефодий встал в повозке на колени и троекратно перекрестил их.

3

С княжеской охоты в Брегале прошло немало времени. Жизнь в столице вновь завлекла Бориса в хитросплетение церковных и светских проблем. Очередной собор в Константинополе не прибавил ничего нового к болгарскому вопросу, если, конечно, не считать того, что уже никто не осмеливался вмешиваться в дела болгарской церкви и болгарского государства. Правда, своего патриарха еще не было, но архиепископ Иосиф чувствовал себя вполне независимым. Князя раздосадовало тупое упрямство папских посланцев Евгения Остийского и Павла Анконского. Слушая их, он думал о самодовольстве и ограниченности человека. Глупец не сознает своей глупости. Она неотделима от него, он размахивает ею, словно конским хвостом на боевом копье. Папские послы так и не поняли простой истины: Борис единственный хозяин на своей земле, и если он принял их для беседы, то

сделал это только по собственному желанию. Угрозы легатов звучали столь нелепо, что ему хотелось вышвырнуть их вон вместе с их спесью. Он удержался, ибо не был намерен ссориться с папой. Надо закончить начатую игру и добиться поставленной цели — своей, болгарской патриархии.

Это была единственная беседа с папскими послами. Сколько потом они ни настаивали, Борис отказывался их принять. И так продолжалось до тех пор, пока уязвленное самолюбие не заставило их покинуть Болгарию. Князь до сих пор помнит тот отъезд. Никто не вышел провожать их. Впервые была нарушена традиция — относиться к гостям с уважением и вниманием... Лил дождь, и двое всадников выглядели жалкими и перепуганными, от их индюшачьей надутости не осталось и следа. После отъезда послов Борис с гневом думал о Риме. Но, поразмыслив, решил послать Сондоке с дарами Иоанну VIII — засвидетельствовать свое почтение. Сондоке вернулся быстро и привез от папы письмо, полное надежд на будущее благоденствие Болгарии в лоне римской церкви. Для таких надежд не было реальной почвы, но они были необходимы божьему наместнику, и он тешил себя ими. Иоанн VIII обещал золотые горы, если князь укроется под его крылом. Но Борис-Михаил хорошо помнил недавние времена: папские наместники в его стране не признавали другой власти, кроме божьей. Не желает князь иметь таких опекунов. Он давно вышел из детского возраста, его рука окрепла, и он не нуждается в непрестанных советах. Фотий оказался умнее и перестал поучать его.

Пребывание Бориса-Михаила в Брегале было связано не только с охотой. Он хотел проверить, к чему привело прекрасное начинание Иоанна, благословленного Константином Философом. Князь несколько раз спрашивал об этом сестру, но ее ответы не удовлетворяли его. Князь знал о смерти кесарева сына и считал ее делом рук фанатика-язычника. Убийцу долго разыскивали, однако на след не напали. Эта печальная история ослабила интерес князя к хорошо начатому делу, и он редко вспоминал о нем. Но чем определеннее складывались в его пользу церковные дела, тем больше возрастала нужда в своей азбуке и в своих книгах. Тут не поможет никакой собор, тут необходима мудрость просвещенных людей, знатоков письменности. Белый монастырь с его приятной чистотой привлекал Бориса-Михаила, он ходил на все вечерни. Но уже чувствовалось отсутствие отца Сисоя — добрый старец переселился в лучший мир, навсегда освободившись от земных забот. Братия выбрала игуменом молчаливого суховатого отца Панкратия, вечно куда-то спешащего и чем-то озабоченного. Кроткая, благая улыбка редко озаряла его костлявое лицо. Жизнь в монастыре, как и прежде, подчинялась строгому распорядку, каждый монах знал свои обязанности. Лишь юродивый, преподнесший когда-то князю дикие груши, жил сам по себе. Время запорошило снегом его

волосы, прорезало лицо тропинками морщин, но взгляд его по-прежнему не пропускал ни одного гостя монастыря. Он еще в отдалении встречал их и бормотал благословения, пока ему не опускали в руку какую-нибудь монету. Борис-Михаил всегда одаривал его. Юродивый запомнил это. При его появлении он бросался открывать ворота, кланялся до земли. Вначале монахи гнали его прочь, но поняв, что князь не сердится, оставили юродивого выражать свою радость, как ему бог повелел. Во время посещений монастыря Борис-Михаил узнал подробности о монахах, начавших когда-то изучать азбуку Константина. Из них двое умерли, трое переехали в нижнеболгарские монастыри; остались только четверо. Их привели к князю. Оказалось, что все их усердие сосредоточилось на переписывании подаренных Философом книг. Попытки переводить жития святых с греческого не удались. Все четверо утверждали, что переводчиками могут быть только святые люди.

— Это божья работа, светлейший! — непрестанно повторял тот, что был пониже ростом, остальные молчали.

Борис захотел увидеть переписанные книги и остался доволен работой. Книги были тщательно скопированы, разрисованы кармином, украшены застежками.

Да, люди старались, трудились. Но чего-то им не хватало. Князь велел заплатить им за труд и послать книги в Плиску, а спустя несколько месяцев позвал и самих переписчиков в столицу. Их устроили в лавре под наблюдением Докса. Борису-Михаилу не хотелось, чтобы эти люди затерялись, тем более что они проявляли удивительное усердие в работе. Когда князь заходил к брату, он звал кого-нибудь из монахов. Если монаху давали что-либо написанное по-гречески и поручали перевести, он отказывался. Но когда князь диктовал ему на славяно-болгарском, монах легко улавливал слова и красиво выписывал их на пергаменте.

— Прочитай, что ты написал! — говорил князь. И к его великому удивлению, монах произносил на славяно-болгарском языке то, что ему было продиктовано.

Эта странная игра очень нравилась племяннику князя, Тудору. Юноша привязался к священникам, быстро освоил азбуку и письмо. Поскольку ум его не был скован представлением, что под силу святым и что — простым людям, он пытался переводить с греческого на славяно-болгарский жития святых. Его отец с трудом сдерживал радость. Это рвение было приятно и Борису-Михаилу, и он не упускал случая похвалить племянника. И вот однажды князь поручил Доксу отобрать склонных к учению юношей, чтобы послать их в Константинополь. В 878 году выехала первая группа, в которой был и сын князя, Симеон. Борис спешил подготовить способных молодых людей, которые постепенно взяли бы церковные дела Болгарии в свои руки —

он продолжал с недоверием относиться к византийским священникам. Греческий язык был непонятен народу, и люди молча отказывались заучивать наизусть что бы то ни было. На греческом хорошо говорили только немногие знатные люди. Его сына Симеона обучила греческому языку Кремена-Феодора-Мария. После отъезда Симеона в Константинополь она замкнулась, перестала интересоваться проектом святилища в Патлейне, давно уже не звала к себе изографа Мефодия. Два-три дня назад она пожелала встретиться с братом. Борису все было некогда, но сегодня он велел позвать ее.

Сестра вошла тотчас же, будто ждала за дверью. Бориса удивил ее вид. Куда исчезла прежняя суровая, аскетичная женщина? Хотя она была уже не первой молодости, выглядела она теперь совсем иначе: пополнела, похорошела. Упав на колени перед братом, она сразу начала о своем деле. Что-то с ней случилось... Он впервые видел ее смущенной. Князь вслушался в ее слова.

— Князь, брат мой, теперь, после смерти нашего отца, ты отец и судья мой... Я пришла к тебе с просьбой. Как ты к ней отнесешься — не знаю. Но я уже решила, хотя и поздно, что хочу иметь дом и семью. Сердце просит...

— Кто он? — не удержался Борис.

Изменения, происшедшие с сестрой, и обрадовали, и встревожили его. Жизнь звала ее куда-то, но куда? Он хорошо знал ее упорный характер и опасался ее выбора, а потому поторопился с вопросом. Кремена-Феодора-Мария покраснела до кончиков ушей.

— Алексей Хонул,— еле слышно прошептала она.

Князь успокоился. Разумеется, он был готов сию же минуту дать согласие, но, когда речь шла о браках членов княжеской семьи, обычай требовал выслушать мнение Великого совета.

— А он что думает?

— Мы уже договорились...

— Хорошо. Иди.

Она встала и пошла к выходу. Борис смотрел на нее и в этой покорной женщине не мог найти ничего от той, которая когда-то истово целовала крест с распятием, готовая отдать жизнь за нового бога... Теперь она шла к двери, склонив голову и глядя в пол. Воцарение и изгнание священников из Константинополя и Рима, игра и борьба ее брата с двумя великими церквами привели к тому, что фанатичный религиозный огонь в ее душе почти угас. Чистый свет учения Христова, пленивший ее вначале, потускнел, и слуги божьи разочаровали ее своей продажностью. Греки первыми алчно набросились на ее родину, вторые, хотя и были более сдержанны, стремились всех подчинить себе. Кремена-Феодора-Мария думала, что посланцы Рима неподкупны, но когда ее брат наполнил золотом мошну епископа Гримоальда Полимартийского, лишь бы тот тихо увел из Болгарии латин-

ских священников, она была потрясена. Ей осталось одно — вернуться к жизни с ее радостями, разумеется не отринув бога совсем...

Борис подождал, пока она выйдет, и встал. Он был рад, что сестра решила обзавестись семьей. А мысль об Алексее Хонуле вызвала у него довольную улыбку.

4

У Наума было длинное, чуть плоское лицо. Уши небольшие, но так странно загнуты вперед, что создавали впечатление несоразмерности с остальной частью лица. Тонкие черные усики казались приклеенными из-за контраста с седеющей бородой. С самого детства он был робким, замкнутым и застенчивым. Его отец, Онегавон, не мог надивиться этой самоуглубленности. Порой он бранил мальчика, порой радовался, что в отличие от остальных детей сын не лазает по деревьям, не проказничает, не возвращается домой без рук без ног от беготни. Обостренное чувство справедливости всегда держало Наума в напряжении. Провинившись в чем-нибудь, он безропотно принимал все упреки, но стоило его несправедливо обвинить, как его губы начинали дрожать и на глазах появлялись слезы. Он не протестовал, не оправдывался, только комок подкатывал ему к горлу, и он еще долго переживал обиду. Застенчивость мешала ему дружить с детьми. Порой мать находила его спрятавшимся в уголке их большого двора, прижимала к себе и шептала: «Чернявенький ты мой, одинокенький» — и все гладила его по волосам цвета воронова крыла. После ее преждевременной смерти Наум частенько забирался в заросли большеголова в саду, плакал и тосковал по ее ласке. Он все глубже погружался в свой внутренний мир, и когда в их доме поселился раб-византиец, душа Наума была уже готова принять легкодоступное утешение новой религии. Кроме того, новая жена отца, русокосая Роксандра, любила поздними зимними вечерами читать ему жития святых угодников, удалившихся от мира и поселившихся в дремучих лесах, где они дружили с деревьями и травами, дикими зверями и птицами и слушали голос небесного судии. Под воздействием житий Наум сделал первую попытку удалиться от мира. Он был в том возрасте, когда выбирают жизненный путь, и пошел на манивший его зов. Бегство не удалось. На пятый день егеря и сокольничие отца разыскали Наума в пещере у водопада в Бояне. Годы спустя он проходил по этим местам и увидел, что камень над входом отломился и наглухо закрыл пещеру. Теперь никто не мог бы представить себе, что отроком он прожил тут в одиночестве пять дней. От раба-византийца Наум научился греческому языку и стал с увлечением читать рукописные книги. Они были большой редкостью и стоили очень дорого. Их обычно продавали калеки-странники, для которых дороги были домом, а го-

рода — надеждой. От Константинополя добирались они до далеких земель задунайской Болгарии, и чего только не было в их истрепанных торбах. Жизнь скитальца нравилась Науму, и он не раз ловил себя на мысли покинуть отцовский дом. В их семье были в почете только воины, подготовленные для суровых походов, и набожный Наум чувствовал себя здесь чужим. Все знали, что Роксандра христианка, но никто с уверенностью не мог сказать этого о Науме. Его необщительность люди принимали за гордыню.

Когда Онегавона пригласили в Плиску и доверили ему кавханскую должность, Наум вдруг оказался в дворцовых кругах, и тут впервые сестра князя правильно поняла его скрытную молчаливость. Открыв в нем христианина, последователя ее бога, она взяла Наума под свое крыло. Наум до сих пор не может объяснить себе, как это произошло. Она была красива, интересна для молодого человека, и он привязался к ней с трепетной нежностью, словно к святой. У этого чувства не было имени, вернее, он не знал его, хотя оно известно каждому влюбленному, но Науму оно не пришло в голову, потому что он был неопытен и считал себя ужасно некрасивым. Ему казалось, что он выглядел бы лучше, если бы у него совсем не было ушей, чем с этими загнутыми вперед несоразмерными раковинами, висящими по обеим сторонам лица. И все же он всегда стремился быть около княжеской сестры. Есть в жизни юношей такие периоды, когда увлечение женщинами старше них болезненно тревожит душу. Такой мукой мучился Наум, когда познакомился с Константином Философом и захотел поехать с ним в Моравию. Кремена-Феодора, догадываясь о терзаниях юноши, поддержала его, ибо боялась его неразумного увлечения. У таких замкнутых юношей подобные чувства, характерные для перехода к зрелости, могут привести к последствиям, неприятным для окружающих и для них самих. Наум тоже видел опасную силу своего увлечения, понимал, что оно бессмысленно, понимал это разумом, но сердце не успокаивалось... Так он и покинул Болгарию: глаза смотрели назад, душа спряталась в скорлупу разлуки, рука все тянулась к подарку Кремены-Феодоры — маленькому бронзовому крестику с распятием. Таким он вошел и в круг учеников Константина и Мефодия. Первым раскусил молчальника Деян, поняв, что его замкнутость не высокомерие знатного человека, а простая человеческая застенчивость и мука. И старик раскрепостил молодую душу теплой улыбкой, душевным отношением. Постепенно Наум нашел свое место в пестром улье монахов и изменился так, что сам себя не узнавал. Похвалы Константина за усердие в овладении обеими азбуками вытеснили из его сознания навязчивую мысль о том, что он ужасен. В действительности Наум был стройный мужчина с загадочными темными глазами и с умом, который жадно впитывал все прекрасное...

После смерти Константина он почувствовал себя сиротой, ведь

Деян уже давно умер. Чтобы заглушить боль по двум дорогим учителям и мысль об оставшейся на родине женщине, он ушел с головой в работу: переписывал книги, служил в церквах, учил молодых моравских священников. Мефодий считал его весьма способным, особенно в скорописи, поэтому взял с собой в Константинополь. Он отдал ему предпочтение еще и потому, что путь миссии лежал через Болгарию, а Наум был болгарин и знал свою страну.

Архиепископ часто расспрашивал Наума о Плиске, об устройстве болгарского княжества, о князе и его приближенных. Наум отвечал кратко, но умно и с уважением к сану и возрасту учителя. Ни разу Мефодий не слышал, чтобы он, несмотря на его угрюмый вид, коголибо ругал. И никто не подозревал, что за этой внешней неприветливостью его сердце громко стучит от радости предстоящей встречи с родной землей, с отцом, Роксандрой и с той, кто была причиной отъезда в Моравию. Наум родился в Плиске, но вырос в Средеце, где его отец был боритарканом, прежде чем стать кавханом. В этом городе была и могила матери. Однако стоило прикрыть глаза — и как въяве возникал образ Плиски с княжескими дворцами, в одном из которых жила она. Конечно, давние волнения улеглись, но ему было любопытно, что он почувствует, когда увидит ее. Осталась ли она такой же? Княжна была стройной и изящной от природы, а такие женщины дольше сохраняют молодость.

Сопровождающие не спешили. Возницы громко переговаривались, шутили. На равнину набегали и откатывались зеленые волны трав. Дорога петляла, спускалась в овраги и вновь выходила в поле. Наум почти не садился в повозку, шел пешком. Его лицо стало совсем смуглым от весеннего солнца. Время от времени он нагибался, рвал придорожные цветы, невольно привлеченный их красотой. Мысли ушли далеко вперед, об усталости не могло быть и речи. Доносился веселый голос Саввы — как всегда, он шел впереди и покрикивал на возниц, чтобы не дремали. Дунай был еще далеко. Миссия намеревалась сделать привал в Белграде, попросить помощи у болгарского боритаркана. Путешествие проходило спокойно, раз только сломалась ось у одной из повозок. Это случилось поблизости от какой-то деревни, и ремесленники тут же починили ее. Возницы говорили, что лучше всего взять лодки там, где Дунай покидает земли Великой Моравии. Этот берег издавна называли «услужливым»: тут находился рыбацкий поселок, где не отказывали в помощи путнику — будь то беглый раб, странник или богатый купец. Через некоторое время возницы стали нетерпеливо указывать кнутами вдаль, но реки еще не было видно, она пряталась меж высоких берегов. К вечеру миссия остановилась на шумном постоялом дворе. Сопровождающие сразу же отправились нанимать лодку побольше. Они заторопились обратно, так как в окрестностях появились венгры, которые любили внезапно обру-

шиваться на поселки, засыпая людей стрелами и приводя в ужас своим волчьим воем. Вечером легли спать в тревоге. На рассвете Савва принес известие, что венгры окружают поселок. Перепуганные люди опрометью кинулись к лодкам, шел кулачный бой за каждое место. Мефодий попросил Савву успокоить людей и сообщить им, что он попытается с помощью слова божьего укротить венгров. Взяв с собой Наума и Савву, архиепископ храбро пошел навстречу всадникам, остановившимся на недалеком холме. На высоком коне сидел человек с двумя охотничьими соколами на плече; через другое плечо была перекинута звериная шкура. Всадники заметили старца и его спутников, и двое поскакали им навстречу. На пристани и в лодках с любопытством наблюдали за встречей Мефодия с вождем венгров. Старец подошел и широким жестом перекрестил человека на высоком коне. О чем разговаривали они и на каком языке, разобрать было невозможно, но вождь венгров вдруг бросил поводья телохранителю и соскочил с коня. Белобородый старец и мужчина с соколами на плече присели рядом на землю. Пока они разговаривали, старший из спутников священника спустился к пристани и сказал, чтобы все спокойно шли по домам и что венгры не причинят им зла.

Мефодий собрался уходить лишь к обеду, когда солнце поднялось высоко над головой. Вождь венгров подарил ему золотую чашу и перстень в знак дружбы. Разговор, состоявшийся при посредничестве Наума, привел вождя венгров в доброе расположение духа. Мефодий рассказал ему о поездке в Таврию, где он и его брат Константин беседовали еще с одним вождем венгров.

— Ты сможешь узнать его, если снова увидишь? — спросил под конец человек с соколами на плече.

— Если меня не обманывают глаза и память, он очень похож на тебя...

— Это и был я! — сказал венгр, попрощался, взлетел в седло, и вся орда поскакала обратно.

Наума очень удивило, что венгры понимают язык болгар, тот старый язык, на котором продолжали говорить лишь в некоторых знатных домах. В их семье только мать знала этот язык, Онегавон пользовался славяно-болгарским. Но мать, лаская сына, всегда говорила на старом языке...

Пока они спускались с холма, Мефодий с радостью поглядывал на стройного смуглоликого дьякона. Вот какие люди взялись за их с братом дело — люди, которые удивляют его своими способностями на каждом шагу!

Ладья ждала их, готовая к отплытию.

Мефодий вошел в нее, сел на деревянную скамью, и взгляд его устремился вперед, по течению реки. Гребцы взялись за весла, и вода большой реки понесла ладью к землям болгар.

Фотий поднимался по лестнице патриаршего дворца с таким чувством, с каким возвращаются в родной дом. Остановившись на широкой площадке, он посмотрел на расписной потолок. В углу в искусно натянутой паутине покачивались несколько высосанных мух, а неподалеку устроился ткач и владелец ловчей сети. Из-за этого паука у Фотия возникло ощущение, что кто-то за ним следит. Он приказал двум сопровождавшим синкеллам убрать незваного гостя и уверенно взялся за дверную ручку патриаршего кабинета. Дверь оказалась заперта. Новый хозяин процедил сквозь зубы:

— Кое-кому, видно, не по вкусу мое возвращение!

Сопровождающие не поняли, кого он имеет в виду, но смутились. Младший из них, сын патрикия Константина, бегом спустился вниз. Через мгновение на лестнице показалась мятая камилавка слуги. Связка ключей дрожала в его руке, ключ не попадал в скважину. Фотий не удержался, выхватил ключ и сам открыл дверь. В кабинете ничего не прибавилось и ничего не убавилось, если не считать красивой чернильницы с орлами, которую сам Фотий еще тогда успел прибрать.

Патриарх сел на знакомый стул, вытянул ноги и, окинув взглядом синкеллов, кивнул: садитесь. Те робко присели на диванчик. Они не знали, как держать себя, не знали ни привычек, ни желаний, ни слабостей патриарха. Ведь он пришел сюда завоевателем. Сознание победы держало Фотия в приподнятом настроении. Строгое выражение лица, наморщенный лоб, показное недовольство — все это было лишь попыткой скрыть свое ликование.

— Посмотрим решения собора...— сказал Фотий, подобрав ноги и облокотившись на резной письменный стол.

Синкеллы переглянулись. Младший развернул свиток с решениями и начал читать по порядку заседаний. Дослушав до четвертого, патриарх пошевелился на стуле и пожелал услышать еще раз, как записано первое решение. Запись должна быть такой, чтобы позволяла двоякое истолкование.

— Читай! — сказал Фотий.

Молодой синкелл повысил голос.

— Тише и медленнее! — постучал Фотий костяшками пальцев.

Синкелл понизил голос:

— «...Константинопольскому патриарху впредь не рукополагать в Болгарии и не посылать туда святого причастия...»

Фотий поднял палец, синкелл умолк. Повторив в уме эти слова, патриарх остался доволен собой и своими людьми. Это было хорошо сказано. Таково было одно из условий папы, предварявших его согласие на избрание Фотия патриархом. Оно соблюдено. Зато в ре-

шении опущено самое важное условие: посланных в Болгарию византийских священников возвратить в Константинополь. Что касается запрета рукополагать, то Фотий и сам не хотел обладать этим правом, поскольку у болгар был свой архиепископ, руководивший их церковными делами. Если бы Фотий попытался вмешиваться, Борис-Михаил вряд ли бы это позволил. Так что решение собора не ущемляло Фотия.

— Прекрасно сказано, с божьей помощью,— перекрестился патриарх. Уже не скрывая своей радости, он с улыбкой посмотрел на синкеллов и стукнул ладонью по столу.

— Ну как, поборемся еще с Римом?

— Ежели на то воля божья, святой владыка...

— Воля божья — каждой церкви самой управлять своими делами!

Синкеллы переглянулись. Фотий заметил это.

— Что? «Язычнику» не верите или хотите сказать мне что-нибудь?

— Посол папы Иоанна, легат Петр, заявил вчера, что святой апостолик приравнял нашу церковь ко всем остальным. Он не захотел признать за нами даже второго места в иерархии...

— Вы слушайте меня, а не Петра! — Патриарх встал и прошелся по кабинету.— Готовьтесь к борьбе. Чего только со мной ни делали: и благословляли, и анафеме предавали,— но я не отступил от истины. И не отступлю. Хорошенько запомните это. С завтрашнего дня начнем делать свое дело на благо церкви и господа бога, но не по воле Рима, а по нашему разумению...

Фотий подождал, пока стихли шаги синкеллов, открыл книжный шкаф, взял первую попавшуюся книгу, полистал и задумчиво вернул на место. С тех пор как его лишили патриаршего поста, он отвык читать религиозную литературу. Фотий непрестанно рылся в древних рукописях, пополняя свой «Мириобиблион» * заметками. Свыше трехсот книг прочитал бывший патриарх с радостью открывателя-книжника. Он откопал их в подвалах и на чердаках, чтобы воскресить для своих современников и с новой силой вернуть им блеск — пусть слепым служителям божьим станет ясно, что не с них начинается человечество... Это было его единственным утешением во времена страха, когда все, кроме преданной Анастаси, покинули его. Она сидела с пяльцами в уголке и с огромным терпением слушала его сочинения, не горячилась, как он, и, хотя не все понимала, никогда этого не высказывала. Ей думалось, что он радуется неискренне, лишь затем, чтобы она не жалела его, потому что вчерашние друзья и единомышленники оставили его. Эти друзья еще вернутся и еще будут заискивать перед ним, как только поймут, что император изменил свое отношение... Вначале Анастаси ничего не говорила Фотию. Но когда Евдо-

кня уверила ее, что василевс склонен снова возвысить Фотия, она не смогла сдержать радости. Сказав Фотию об этом, она тут же пожалела, что сказала. В первое мгновение он просиял, потом замкнулся, даже на некоторое время отдалился от нее. Так Фотий поступал всегда, когда его раздирали противоречия или когда приходил час жизненно важного решения. Он стал уходить из дому и целыми днями где-то пропадал. Анастаси волновалась, не зная, что и подумать. По Царьграду пополз слух о возвращении Фотия в патриарший дворец. Анастаси, услышав это, передала ему. Он лишь улыбнулся, и ей стало ясно, что слух распространяется не без его участия. Она понимала: Фотий хотел увидеть реакцию своих бывших друзей и сторонников. Вскоре она убедилась, что в этом был известный смысл. Первым пришел свой человек — Филипп, епископ Адрианополя; за ним — все, кто получил епископство из рук Фотия. Игнатий не успел из-за старческой медлительности заменить их своими людьми. Посланцы приезжали внезапно, с предосторожностями, передавали приветы от епископов и ловили каждое слово Фотия. Им хотелось понять, насколько верен слух. Фотий отвечал так, что они уезжали окрыленные, с радостной надеждой на скорое восшествие Фотия. Проводив их, он снимал маску счастливого и уверенного в себе человека, и лишь одна Анастаси была в состоянии поддерживать его настроение, по сто раз напоминая слова Евдокии о намерениях василевса снова возвысить его. Так продолжалось до того дня, когда император позвал Фотия к себе. С большим волнением ожидал Фотий этой встречи. Из императорского дворца он вышел со смешанными чувствами: он и ругал себя за то, что унизился перед конюхом, и ликовал — теперь уж он отомстит всем, кто считал, что песенка «лисы империи» спета. Ведь они совсем распоясались: клеветали на него, распускали грязные сплетни, придумывали нарушения церковных канонов, якобы совершенные во время его правления. И не угомонились даже после появления новых слухов. Дошло до того, что ему приписали дружбу с Авадием Сантаварином — магом и колдуном. Тот-де своими чарами снова расположил императора к Фотию. Фотий действительно знал одного Авадия, но тот был продавцом лекарственных трав. Фотий изредка заглядывал в его неприметную лавку с одним желанием — подышать ароматом трав, который напоминал ему о свежескошенных лугах при утреннем солнце, когда души трав и растений возносятся в слиянии с чистейшим воздухом. В последний его приход дверь в лавку была закрыта. Сосед Авадия шепнул ему, что тот оказался сторонником манихейской ереси, его хотели взять после разгрома павликиан под Тефрикой, но он успел бежать в Болгарию. Это известие смутило Фотия, и он перестал ходить в лавку, но клевета уже шипела змеиным языком. Пришлось объяснять все это василевсу, и Фотий ничего не утаил, честно рассказал все, как было. Император слушал мрачно,

молча, и лишь когда Фотий упомянул о скошенных лугах, его лицо прояснилось и по красивым губам скользнула мечтательная улыбка.

— Понимаю, я тебя хорошо понимаю! — вздохнул Василий.

Теперь эти страхи остались позади, предстояло повнимательней ознакомиться со всем патриаршим хозяйством. В стаде божьем паслись и паршивые овцы, которые заражали остальных. Их давно уже ждали мясники с острыми ножами, и работа мясников была поручена Святому синоду. Однако перед этим надо было почистить и сам Синод. За время правления Игнатия ничего не было слышно о миссии в Моравии. До Фотия дошла весть о смерти Константина, но он ничего не знал о судьбе остальных. Патриарх просмотрел всю переписку Игнатия, но не обнаружил писем к Мефодию — значит, он и его последователи в борьбе с немецкими епископами могли рассчитывать только на свои силы. Теперь, когда назревало новое столкновение с папой, Фотий решил разыскать миссию, узнать, что ею сделано и в какой мере можно на нее положиться.

Ему хотелось вести борьбу с Иоанном VIII всеми средствами, широким фронтом. Он поддержит Мефодия, раз тот сумел расширить завоевания Константина. Если окажется, что Мефодий кое в чем уступил папе, это простительно: разве сам патриарх не хитрил и не увертывался, пока не утвердился в своем положении? Важно, чтобы Мефодий окончательно не отвернулся от Константинополя... Завтра же надо послать ему приглашение в Царьград. Если Мефодий примет его, значит, он чист перед своей совестью, не запятнал ее в это драматическое время.

Фотий еще раз осмотрел свой кабинет, полюбовался видом на противоположный берег, где выросли новые дома среди красивых садов, и вдруг спохватился — ведь уже время идти к Анастаси.

Патриарх тяжелыми шагами спустился по лестнице. Слуги засуетились, и Фотий подумал: теперь он опять тот, кому все будут кланяться и целовать святую руку...

6

Два раза Гойник, вверенный Борису-Михаилу сербский князь, бежал из Плиски, и два раза его возвращали под стражей обратно. Борис ломал себе голову, что же с ним делать. После первой попытки бегства он позвал Гойника и поговорил с ним. Серб обещал не создавать больше излишних тревог князю, но не сдержал слова. Похоже, что не сдерживать своих обещаний было в крови у их рода... Борис еще не однажды будет иметь возможность убедиться в этом.

Когда Гойник бежал во второй раз, Борис не стал терять времени на разговоры. Он приказал усилить наблюдение за беглецом, не налагая на него никаких дополнительных ограничений.

Иных забот хватало князю. Свадьба сестры и Алексея Хонула была единственным радостным событием за последнее время. Усилились набеги венгров на задунайские земли княжества. Раз за разом приходилось отбивать их всеми наличными силами. Теперь они исхитрились нападать на самые дальние северо-западные окраины государства. Их приземистые кони не видны были в высоких травах равнин, а их волчий вой все чаще заставлял людей хвататься за оружие. Как умудрялись они проникать сюда из-за лесистых гор, князь не мог себе объяснить.

Присутствуя на торжественной службе при бракосочетании Кремены-Феодоры-Марии и Хонула и глядя на пышные одеяния епископов, красивые иконы в золотых и серебряных окладах, Борис-Михаил от души радовался, что все это создано в его время и благодаря ему. Церковь была огромной, с высокими сводами и искусно выполненной резьбой. Запах ладана и красок от новых икон постепенно вытеснял аромат свежесрубленного дерева. Впервые здесь совершалось такое торжественное бракосочетание, с соблюдением всех подробностей церковного обряда: золотые обручальные кольца, обмен венцами, соединение рук... Кремена-Феодора-Мария хотела, чтобы свадьба была скромнее, но князь воспротивился. Он пожелал одновременно с торжественным обрядом освятить божий храм. Его сестра первой из княжеской семьи выходила замуж согласно христианским законам и требованиям... Народ наполнил храм до отказа, каждый хотел увидеть жениха и невесту. Кремена-Феодора-Мария шла с достоинством, высоко подняв голову. Тончайшего шелка белоснежная фата делала ее еще стройнее и выше. Кум Докс, брат невесты, стоял в кругу родственников, повесив на левую руку огромную расписную флягу, украшенную дикой геранью, а правой рукой разбрасывал мелкие монеты, за которые у лестницы шла борьба. Так щедрый Докс соединил новое и старое. В церкви все было по христианскому обряду, на улице — по древнему обычаю. Повозки с приданым невесты давно уже стояли у княжеских палат, возницы ждали указаний, куда ехать, ибо никто еще не знал, какой дом князь подарит молодоженам. Он объявит свое решение после того, как невеста поцелует руку отца. Борис стоял на месте отца, Пресияна, престарелая мать осталась дома, ожидая возвращения молодых. Она не пришла в церковь, так как ноги почти совсем не слушались ее. Когда в большой дворцовый зал вошли родственники невесты и друзья жениха, Кремена-Феодора-Мария и Алексей Хонул подошли к князю, поцеловали его руку и опустились перед ним на колени, смиренно склонив головы.

Глашатаи, стоявшие за спиной Бориса-Михаила, объявили его волю:

— Великий князь болгар властью, данной ему от бога, дарит своему зятю Алексею Хонулу и сестре Марии дворец с голубыми мра-

морными колоннами в Преславе.— Далее следовал перечень земель за Дунаем, входящих отныне во владения зятя, а от матери молодожены получили дом в Плиске и золотое ожерелье, подаренное ей ханом Пресияном на их свадьбу...

На этом кончились радости князя. Мать Бориса и Марии скончалась через неделю после свадьбы, потом стали приходить вести о налетах венгров. В довершение всего князя разгневал новый побег Гойника — несколько дней назад он опять исчез. Князь только-только поднялся на широкий балкон, как стража ввела во двор запыленного гонца. Увидев взмокшего коня и усталое лицо воина, Борис-Михаил понял, что он очень спешил. Гойник или венгры? Появление гонцов уже раздражало князя, хотя они ни в чем не были виноваты. Но на сей раз воин привез пергамент от белградского боритаркана Радислава. В нем сообщалось об архиепископе всех славянских земель Мефодии, который едет из Моравии и просит разрешения проехать через Болгарию, где он хотел бы встретиться с князем. В конце послания упоминалось о сопровождающем Мефодия Науме, сыне почившего кавхана Онегавона. Это письмо было приятной неожиданностью для Бориса-Михаила. Он не знал Мефодия лично, но все, что он слышал о нем, а также память о его брате Константине, вызывало у князя чувство симпатии к Мефодию. А то, что он увидит еще и Наума, усиливало радость. Борис-Михаил велел накормить гонца и дать ему две золотые монеты за хорошую весть.

Нет, не совсем забыл его небесный судия...

В Плиске шли лихорадочные приготовления к встрече архиепископа Мефодия и его учеников. Столица впервые видела такую суету. Ожидали, что высокопоставленный гость прибудет по реке, куда уже поспешили княжеские люди. Пока Мефодий ждал в Белграде ответа Бориса-Михаила, туда приехал посланец Фотия: в Девине он узнал, что архиепископ на пути в Болгарию, и помчался ему вслед. Посланец вручил архиепископу «всех славянских земель» письмо патриарха. Мефодий долго читал его. О том, что Фотий вновь стал главой Восточной церкви, он узнал еще в Риме. Сначала пришла молва, а потом и папа подтвердил слух о восшествии на престол Фотия, который будто бы согласился со всеми требованиями папы и примирился с мыслью о верховном главенстве римской церкви. Хорошо зная лукавство Фотия, Мефодий не поверил в это, но не хотел расстраивать Иоанна VIII своими сомнениями. Теперь послание патриарха шуршало в его руках. Мефодий прочитал послание несколько раз. Витиеватая мысль Фотия — будто поднимаешься извилистой горной тропой — утомляла Мефодия, и лишь одно примиряло с этим восхождением: за каждым поворотом открывались новые и новые красоты. Все было по-

догнано плотно, и если задумаешься над словом, то откроешь его тайный смысл. Нет, «лису империи» ничто не изменит. Но если бы Фотий не был таким, он вряд ли возвысился бы и вряд ли сохранил бы себя в мрачной тени Варды.

Вторичное восшествие на патриарший престол, когда все уже забыли о нем, доказывало его незаурядную хитрость и стойкость.

Фотий приглашал Мефодия посетить Константинополь, чтобы увидеться и побеседовать о церковных делах в его диоцезе. Слова «в твоем диоцезе» были написаны более крупными буквами, и архиепископ терялся в догадках: умышленно ли выделены они или писец плохо почистил перо? Как бы то ни было, Мефодий знал: с Фотием следует вести себя осторожно, без ненужной откровенности. Сама жизнь Мефодия достаточно определенно свидетельствовала о том, кому он служит. Если Фотий умен, то поймет значение почти трехлетнего заточения в Швабии. Да и теперешняя борьба не намного безопаснее для Мефодия и его последователей. Бурное время и испытания так закалили их, что они готовы ко всему. Совесть Мефодия чиста, и он никого не боится. «Лиса империи» умеет хитрить и властвовать, а разве мог бы, как он, выдержать столько мучений на позорном столбе, пока черная ряса не истлела от солнца и дождя. А Мефодий выдержал еще и бичевание кнутом, которому подвергли его слуги Германрика.

Фотий должен ноги ему целовать — ноги, которые во имя славянства прошли столькими дорогами, сколькими сам сын божий не прошел... Мефодий туго свернул пергамент и, открыв крышку посоха из слоновой кости, всунул его внутрь. Это была старая привычка, сохранившаяся с молодых, с «княжеских» лет.

Вскоре пришло сообщение от болгарского князя, и миссия стала собираться в путь. Боритаркан Белграда Радислав распорядился перенести их багаж в свою расписную ладью с белоснежными парусами. Решение Радислава вместе с супругой сопровождать миссию было приятной неожиданностью для Мефодия и говорило о том, что князь болгар придает большое значение встрече с ним. Эту весть принес Наум, который был связным между архиепископом и Радиславом. После разговора с людьми Бориса-Михаила Наум загрустил, и это не ускользнуло от Мефодия. Он подумал, что Наума чем-то обидели, ведь это меж людьми так легко делается. Но вскоре все разъяснилось: Наум узнал, что уже нет в живых его отца, кавхана Онегавона. Его мучила мысль, что он столько лет ходил по моравской земле, в которой покоилось тело отца, и не подозревал об этом. Он, конечно, не нашел бы могилы и не воскресил бы отца, но мог бы помолиться за его душу, улетевшую в небесные края. Онегавон не был крещен, но сердцем был привязан к новой вере.

Торжественная встреча началась на берегу Дуная. Как только

нарядная ладья причалила, священники из Доростола высоко подняли икону богоматери и пошли навстречу дорогим гостям. Вместе с архиепископом Иосифом шел весь клир, звучали молитвы и песнопения, которые впервые слышала древняя река. За толпой виднелись расписные повозки. В первую сели оба архиепископа, в следующие — остальные гости и встречающие. И так ехали до Плиски. Приезд в столицу был намечен на воскресное утро, до наступления жары. Знать собралась перед княжеским дворцом. Появление Мефодия, его длинная белая борода, прихрамывающая походка, большие ясные глаза — все это произвело неизгладимое впечатление.

Почтительно склонив голову, князь Борис-Михаил прикоснулся губами к большой старческой руке. Мефодий перекрестил князя, поднял крест и благословил собравшихся. Ему предстояли важные беседы и проповеди в новой базилике.

7

Климент впервые должен был самостоятельно решать церковные вопросы в Моравии. Когда Мефодий находился в заточении, общепризнанным главой стал Горазд, и теперь Климент был озадачен решением архиепископа. Климент чувствовал, что в душе Горазда что-то сломалось, он стал раздражительным, а порой впадал в апатию. Видимо, это не ускользнуло от острого взгляда Мефодия, так как перед отъездом он собрал учеников в монастырской трапезной, благословил их и сказал:

— Чада мои, не думайте, что, предложив Клименту временно замещать меня, я пренебрег достоинствами Горазда или кого другого из вас. Каждый поочередно будет меня замещать. Я хочу проверить, насколько вы подготовлены к жизни. Пока я томился в швабских темницах, Горазд показал силу духа, умение вести дело и ценить плоды нашего общего труда. На сей раз я хочу испытать Климента.

Эти слова рассеяли сомнения и восстановили прежние дружеские отношения. Правильно поступил старый мудрый учитель.

— Будьте дружными, как пальцы одной руки, помогайте Клименту, и бог поможет вам...

Климент не щадил себя, стремясь оправдать доверие и надежды Мефодия. Целыми ночами не гасла свеча в его келье, сон напрасно дежурил под окном. Заботы об укреплении моравской церкви поглотили все его внимание. Времени не оставалось, чтобы постоять перед узким окошком и посмотреть в сад. Иногда, устав от ночных бдений, он сожалел, что не может с прежней легкостью отдаться приятному созерцанию того, как Любуша вплетает в волосы алый мак, как нагибается над каменным корытом и золотистая волна волос ка-

сается воды... Это видение казалось ему далеким и привлекательным лишь для незанятого человека, но не для священника, несущего бремя церковных забот целого государства. И все же порой художник в нем заявлял о себе. Она была ведь там, под окошком, в яблоневом саду, хотя ему и казалось теперь, будто она бесконечно далеко. Сколь смехотворно было бы встать у ее ворот и ждать, пока она выйдет, или прийти к отцу и попросить ее руки. Нет, Климент тут же потерял бы уважение своих, стал бы предметом насмешек даже самых молодых послушников. И все же в душе копилась боль, что половина жизни проходит мимо из-за запретов и условностей, которые они сами себе установили. Вот вернется Мефодий, и он даст волю слезам... Но до этого не дошло. Мефодия еще не было, но не было уже и Либуши. Весна увела ее к охраннику из княжеской свиты. Быть может, так лучше. Теперь легче обуздать страсть, которая могла бы вытеснить все другие мысли и желания. Либуша промелькнула, словно солнечный зайчик или весенняя бабочка, и даже ни о чем не догадалась. Спустя некоторое время она приехала к отцу в гости, и он увидел ее — она располнела, на щеках проступили какие-то пятна. И Климент разочаровался в ней. Той, которая украшала волосы алыми маками, больше нет. Бабочка превратилась в кокон.

И по тому, что он стал способен на такое скорое разочарование, Климент понял простую истину: сам он уже не молод. Время мчалось и уносило иллюзии, как ветер уносит весенний цвет с деревьев в соседнем саду...

— Уж очень ты вглядываешься во все это, очень! — тряхнет головой вернувшийся из Константинополя Савва, наблюдая, как Климент в сотый раз меняет цвет на иконе.

И Климент поймет, что означают эти слова: ты стал слишком требовательным. Но ведь то же самое можно сказать о нем вообще. Климент достиг того возраста, когда и в наилучшем творении обнаруживаешь недоделки. Вероятно, это чувство появилось у него сразу после отъезда Мефодия в Константинополь. С обостренным вниманием следил Климент за всем и во все вникал, чтобы чего-нибудь не пропустить, не проглядеть. И впервые понял, что враги не дремлют, что они постепенно опутывают моравского князя. Святополк ни разу не обратился к нему как к главе моравской церкви, а Вихинг непрестанно крутился около князя. Его даже видели вместе с князем в местах, совершенно не подходящих для священнослужителей.

Климент и Горазд дополняли друг друга в работе. Первому была свойственна трезвая оценка вещей, второму — беспокойство духа, порой доходящее до агрессивности, но это не мешало им быть друзьями. Более того, каждый сожалел, что он не как другой, и из-за этого между ними возникло тайное соревнование. Оно было плодотворно, ибо не переходило в зависть. Горазд нашел своих родственников,

ставших рьяными защитниками нового учения. Два его племянника поступили в духовное училище, которым руководил Климент. Всего было уже подготовлено около двухсот дьяконов и священников. Эти люди нуждались в книгах, церковной утвари, во всем необходимом для служения богу. Горазд обычно занимался текущими повседневными делами, а Климент — обучением. Ныне, вспоминая, как он беззаботно водил учеников в поле и как на обратном пути свист вербовых дудочек заставлял людей выходить из домов и слушать, он не мог поверить, что это был он. Нет у него теперь времени для таких детских забав.

В отсутствие Мефодия Климент усадил Стефана, Парфения, Игнатия и Петра переписывать церковные книги. Каждый сам выбирал, что переписывать — Евангелие или что-либо другое. Климент хотел иметь книжный резерв. Священники бережно относились к рукописям, но постепенно буквы стирались, пергамент высыхал и рвался; находились и такие люди, которые воровали у них книги и, подстрекаемые немецкими священниками, сжигали их. Стефан, Парфений и особенно Марко слыли хорошими скорописцами. Последний подражал Науму, который не имел себе равных. Марко, бывало, заканчивал переписывать раньше, но по красоте письма Наум был непревзойденным мастером. Марко был любимцем Климента, который считал его своим учеником. Их объединяло многое — и в образе мышления, и в жизненном пути. Марко тоже происходил из семьи покинувшего Плиску знатного болгарина, но детство его было тяжелым, даже более тяжелым, чем у Климента. Его отец умер очень рано, а мать он вообще не помнил. Юноша занимался чем придется, пока Савва случайно не встретил его и не привел к Константину. Марко быстро освоил новую азбуку, а от Климента узнал и ту, первую из созданных Философом. Она привлекала его тем, что осталась сиротой: любовь ее создателя целиком перешла на вторую. У Марко была душа поэта, он все одухотворял. В его представлении у дерева была своя жизнь, у листвы — своя речь, у рек — песня. Марко, как брошенного ребенка, жалел первую азбуку. И несмотря на то, что она никому не была нужна, он, переводя и переписывая книги, часто пользовался этой азбукой. Мефодий знал эту его привязанность и потому, отправляясь в Болгарию, попросил у Марко несколько таких книг. Он надеялся, что семена, посеянные Константином в Брегале, дали плоды, а ведь они были семенами первой азбуки. Марко, который и не мечтал даже, что когда-нибудь понадобятся его неурочные труды, был чрезвычайно обрадован вниманием Мефодия. Эта радость и побудила Мефодия взять его с собой.

Климент грустил о легком характере и шутках любимого ученика, ему не хватало Марко. Уже никто не заглядывал к нему в келью, не разворачивал свитков, полных мыслей и красочных образов. Мар-

ко пытался подражать в поэзии Иоанну Дамаскину, но его песни были не столь печальными, тоскливо-мрачными.

В стихах Марко сияло голубое небо, зеленые ивы касались ветвями-косами притихших фиалок и ощущалась легкая, как марево в летний день, грусть, которая пронизывала все образы и символы. Климент любил слушать его и невольно сопоставлял поэтические видения Марко с его внешним обликом. Если поэзия Марко была легка и эфирна, солнечна и красочна, то его плотная фигура дюжего молодца, крупная голова на крепкой шее больше подходили бы уличному борцу, чем поэту, который нанизывает одно на другое тонкие переживания души. Порой, лежа на топчане среди неоконченных икон и разбросанных листов пергамента и слушая стихи, Климент словно слышал задорные трели соловья, жужжание стрекоз над водой и пчелок, летящих по своим безымянным путям в лес, к древесному дуплу. Климент невольно погружался в такой реальный и безмятежный мир своего ученика и понимал, что нуждается в этом. Поэзия Марко отрывала его от забот, от воспоминаний о недавних пререканиях с княжеским поставщиком дубленых шкур. Старик весь пропах дубителем, а его непрерывная болтовня утомляла: он достиг того преклонного возраста, когда граница между мыслью и словом стирается и всякая, даже пустяковая, мысль обязательно произносится вслух. Старик непрерывно суетился, и стоило, например, попросить у него краски, как он начинал бубнить: «Тебе, значит, нужна краска, подожди, где же она? Кажется, в том углу, да, в горшке мастера из Микульчице, красивый горшок, правда, да и сам гончар был хороший человек, но однажды мы его нашли мертвым за крепостной стеной, в ту зиму волки спускались аж до моста. Помнишь? Стояли на мосту и поджидали людей, вот тогда и погиб тот гончар, который подарил мне горшок, в этом горшке я сначала готовил еду, а вот теперь храню краски. Сколько тебе надо, говоришь? Будет ли у меня столько? Ну что ты, это много! Слишком много! Ты думаешь, тебе одному нужны краски? Нет, дорогой, ведь и людям князя даю, попробуй не дай им. Тебе проще отказать». И так далее... И так далее...

Климент мрачнел от одной мысли, что придется вновь встречаться с поставщиком. Когда-то его болтовня забавляла, но тогда было время слушать старика. Теперь все надо делать быстро, а старик не только не изменился, но стал еще плоше. Раньше он хоть говорил медленно, а теперь по-сорочьи трещал и к тому же оглох.

В последний раз Климент просто не выдержал и вернулся обратно без черной краски. Из слов старика он понял, что Вихинг и тут вмешался, сказав: «На что это они так много расходуют черной краски? Может, они пьют ее или изливают на мирян, чтобы очернить их души своими еретическими мыслями?..»

Константинополь стал еще красивее. Ранняя осень уже давала о себе знать, там и сям оставляя едва заметные следы. По тому, что небо теряло глубину и становилось далекой равниной с усталым солнцем, Мефодий понял, что надо ехать обратно, чтобы дожди не застигли его в пути. Разговоры с Фотием были очень долгими и обстоятельными. Патриарх расспрашивал обо всем: о немецких священниках, о Святополке, о намерениях папы и о том, как Мефодий оценивает предстоящую борьбу и шансы на успех константинопольской церкви в его диоцезе. Фотий не поинтересовался только людьми, окружавшими Мефодия. Беседа с василевсом не выходила из круга вопросов, обозначенного Фотием, но Мефодий должен был выяснить отношение василевса к папе. Папа ожидал помощи. Будет ли она ему предоставлена или он надеется напрасно? Василевс отвечал с неохотой, и Мефодий сделал вывод: все разговоры о помощи — пустые сказки. Когда они вышли из дворца, Мефодий увидел, что любопытство Фотия еще не удовлетворено. Фотий дал ему понять, что из-за болгарского диоцеза борьба с Римом вспыхнет с новой силой, и пусть Мефодий, дескать, готовится к ней. В конце Фотий, будто стыдливая девица, намекнул на двойственное положение Мефодия: архиепископ рукоположен папой, а находится на службе у Константинополя. Кому же он отдает предпочтение в борьбе?

— Это верно — идет борьба, и, по-моему, ясно, почему немецкие священники борются против меня. Я не отказался от константинопольской церкви, это она отказалась от меня и моих учеников...

— Как так? — удивился патриарх.

— Так. Никто не искал меня и не защищал, пока я сидел то в одной, то в другой тюрьме.

— В этом виноват Игнатий.

— Да, он, святой владыка... Я очень рад, что теперь вспомнили обо мне.

Фотий погладил бороду. Он был доволен, что не забыл написать Мефодию письмо.

— Слава и смерть Константина и твоя святость обязывают меня, брат Мефодий,— сказал он.— Мы боремся за одну правду, но вам труднее там, под постоянной угрозой меча...— И, помолчав, добавил: — Ну, а что ты думаешь о Болгарии?

Мефодий хотел было сказать о желании болгарского князя пригласить учеников из Моравии, но воздержался. Он вспомнил о неприязненном отношении Фотия к идее распространения созданной Константином письменности в землях вокруг Хема. По всему было видно, что патриарх и сейчас не отказался от мысли покорить и поглотить болгарское население с помощью греческого языка. Капля ка-

мень долбит, и разве можно сомневаться, что такая сила, как ежедневные проповеди на греческом языке, продолбит упрямые болгарские головы?

Мефодию была ясна эта опасность, понимал ее и князь Борис-Михаил. Вокруг этой темы вращались их разговоры, когда Мефодий был в Плиске. Борис-Михаил все хорошо обдумал. Он готов был принять Мефодия в своей стране, но не настаивал, так как понимал, что Мефодию нелегко на это решиться; зато князь очень хотел иметь у себя нескольких ученых людей, сведущих в новой письменности. На второй день после прибытия Мефодия в Плиску князь пригласил его на прогулку в Мадару. Там они отобедали и сели беседовать в зале, украшенной оружием. Несмотря на то что обстановка не располагала к мирному разговору, они провели долгую полезную беседу. Загибая пальцы левой руки, Борис-Михаил по порядку поведал о своих опасениях в связи с крещением народа:

— Когда-то я откровенно говорил с твоим братом, святой владыка, и хотел бы так же побеседовать с тобой. Я и мой народ приняли новое учение от наших извечных врагов. Во-первых, приняли и добровольно, и насильно. Во-вторых, мой народ поднялся против меня, и я, не имея возможности спасти себя словом, спасся с помощью меча во имя того нового, что пришло оттуда. В-третьих, я добиваюсь самостоятельной церкви, как и ты в Моравии. В-четвертых, хотя моя борьба успешна, но этот успех подтачивает опасный червь — греческий язык несет моему народу порабощение и гибель. Верно, я могу направлять церковные дела, строю и буду строить храмы, но все это оборачивается помощью и пользой для врагов моего народа... И если что спасет меня, то только ваша азбука, которую вы создали для славяно-болгарского народа. Если вы хотите, чтобы ваше дело пустило корни в подходящую, истинную почву, переселяйтесь в мое государство. Я дам вам все, чтобы восторжествовал славяно-болгарский язык и чтобы вытеснен был эллинский. Я говорю это тебе, ибо твой брат рассказал мне когда-то о вашем славяно-болгарском происхождении. Ради памяти о родине предков, святой владыка, помоги нам сохранить себя... Константин когда-то оставил мне книги, написанные для моего народа, но очаг оказался без присмотра, ибо тот, кто должен был поддерживать огонь, не постиг простой истины, что только новая письменность спасет государство от смертельной опасности. Слабой была рука Иоанна, и ума ему не хватило, чтобы раздуть из искры пламя народного сознания. Тот, кто не хочет жертвовать собой ради чужого народа, может погасить огонь или просто оставить его угасать, как это сделал Иоанн. Добрая душа, добрый человек, но он был рабом по натуре... Он растерялся, а такой человек не может найти ясный путь и неуклонно идти по нему. Помоги мне, святой владыка, вывести народ к свету и своей письменности!

Последние слова князя были точно крик души, они-то и побудили Мефодия не быть до конца искренним в разговоре с Фотием. Вначале он решил оставить в Болгарии Константина и Марко. Один был дьяконом, второй — священником; но, подумав, понял, что это будет трудно сделать без разрешения Фотия. Не стоило таким образом наживать себе в его лице сильного и злобного врага. И он попросил у Фотия согласия оставить в Константинополе двоих своих людей, которые чувствовали себя не вполне здоровыми. Мефодий надеялся, что через некоторое время они сами смогут получить разрешение на поездку в Болгарию.

Мефодий долго размышлял, прежде чем выбрать Константина и Марко. Во-первых, оба были людьми подходящими и ни у кого не вызывали подозрений. Наума нельзя было оставлять, так как Фотий ни за что не согласился бы, чтобы в Плиску поехал болгарин из знатного рода, который может стать в руках Бориса-Михаила орудием защиты болгарской самостоятельности. А каково положение сейчас? Борис думает, что перехитрил Фотия, получив свободу в делах церкви, но священники-то ведь греческие... Пока они возглавляют болгарскую церковь, пока греческий язык — язык церкви, патриарх не откажется от тайных намерений и всегда будет держать кормило в своих руках, чтобы направлять корабль туда, куда ему нужно. Хотя он и невидимый кормчий, но именно он, и никто другой, будет кормчим. Если понадобится, он и патриарха рукоположит для болгарской церкви, но только под своим невидимым надзором.

И все-таки осенние дожди настигли упорного, крепкого старика в пути. Настигли, когда он уже входил в Моравию. Он возвращался усталый, но обогащенный размышлениями и вопросами — вопросами, не дававшими покоя. На обратном пути он опять проехал через Болгарию и вновь встретился с Борисом-Михаилом. В этот раз князь ждал на самой византийско-болгарской границе и не оставлял его, пока Мефодий находился на болгарской земле. Они попрощались в Белграде, в доме боритаркана. Там за ужином обсудили дела. На этот раз Борис-Михаил настаивал на переносе резиденции Мефодия в Болгарию — «навечно», как он сам выразился.

Князь обещал золотые горы, архиепископство, но Мефодий был уверен: хотя болгарский князь обещает искренне, Константинополь не допустит такого и даже отлучит Мефодия и предаст анафеме. Ибо он нужен Византии только там, в Моравии, на острие немецкого меча. Мефодий ничего не обещал князю, сказал лишь, что оставил в Константинополе дьякона Константина и священника Марко. Если они прибудут в Болгарию, князь может им полностью доверять. Их устами говорит Мефодий, и они думают, как он.

После того как Борис-Михаил уехал, Мефодий устроился на ночь в старом монастыре. Слушая вой ветра и барабанную дробь дождя по крыше, он не мог не думать о просьбе болгарского правителя. Постепенно зрела мысль рассказать при встрече папе римскому об опасениях Бориса-Михаила и попросить разрешения перенести архиепископскую столицу из Девина в Плиску или в Белград. Он не сомневался, что Иоанн VIII поймет его. Во имя давней мечты — взять под свое крыло Болгарию — папа не задумываясь нарушит догму триязычия. Если бы Иоанн разрешил, Борис-Михаил, озабоченный судьбой своего народа, с радостью принял бы Мефодия. Князь не из тех, кого можно легко согнуть. Он показался Мефодию сильным человеком, сильным и умным. Шуточное ли дело — обвести вокруг пальца Рим и Константинополь! Уже много лет Борис-Михаил упорно добивается лучшей доли для своего народа, и не лопатой копает он родник, а словно тонкой, но острой иглой.

Глубоко уважает таких людей Мефодий. Они умеют ценить подвиг и мудрость, силу и упорство, упование и надежду.

Надо хорошо обдумать все и тогда сделать тот шаг, которого ждет от него Борис-Михаил...

9

Анастасий Библиотекарь ушел на вечный покой. Вскоре за ним последовал и папа Иоанн VIII. Его смерть была полной неожиданностью. Люди, которые ненавидели его, сделали свое дело, судия небесный принял еще одного своего служителя, насильственно лишенного жизни. Но прежде, чем завершилось его земное существование, папа Иоанн VIII нашел время взойти на амвон и предать анафеме Фотия. Для Фотия это не было чем-то новым, и он отнесся к анафеме без излишних душевных терзаний и тревог. Тем более что вскоре получил возможность высказать мнение, что, мол, господь возмутился поведением своего наместника в Риме и научил кое-кого, как укротить его. Папский престол занял некий Мартин II, а библиотекарем стал Захарий, бывший епископ Анании. Фотий очень хорошо знал его и даже считал своим другом. Ведь это его нагрузил золотом Фотий перед своим первым избранием. Много злоключений пережил епископ из Анании, прежде чем вернул себе благоволение папы Иоанна VIII.

Мартин II недолго пробыл в Латеране. Через два года Захарию уже надо было приспосабливаться к привычкам следующего папы — Адриана III, который успел только одно: принять имя Адриан вместо мирского Агапий. Фотий долго размышлял, стоит ли направлять своих послов к новому папе, и решил не торопиться. Смены в Риме, воз-

можно, будут продолжаться, а борьба между группировками — углубляться, и незачем связывать себя с тем или другим папой. Своих дел и забот достаточно. Прежняя ретивость уступила место углубленности и созерцательности. Да и лет Фотию было уже немало. Беспокоила и Анастаси — слишком велика у них разница в возрасте. Анастаси достигла как раз той поры, когда женщина больше всего нуждается в мужчине. Фотий понимал, что она нужна ему и что он должен сохранить ее для себя. Ведь она глубоко вошла в его жизнь, вместе с ним страдала, радовалась его победам и даже способствовала им... Ребенок родился совсем неожиданно. Вначале это испугало патриарха, но он быстро понял, что дитя — самая крепкая связь между ним и Анастаси. После богослужений, утомительных церковных встреч и бесед с епископами или их доверенными лицами Фотий спешил домой, он любил посидеть в ласковой тени беседки, и тогда его мысль очищалась от церковных догм и запаха ладана. И он устремлялся по следам древних философов и поэтов, чувствуя себя таким же древним скитальцем и магом, бредущим по пыльным дорогам мира. Эти мысленные путешествия отрывали его от реального мира, и он жил своей собственной жизнью, своей мечтой. Несмотря на высокий сан, Фотий не смог вдоволь побродить по миру, побывать в далеких странах, испытать трудности путешественника, а не знатного затворника. Он сравнивал свою жизнь с жизнью заключенного, его наказанием было осуществление его желаний. Ему не на что было даже посетовать, и это тяготило. Вначале волновали анафемы папы Николая, но лишь вначале. Император Михаил скончался, Василий стал правителем Византии — и тут пришли волнения за собственную жизнь. Он остался в живых! Он пережил всех друзей и знакомых. И опять сел на патриарший престол. И все эти волнения он пережил в золотой клетке, называемой Константинополем. Если б он по крайней мере ощутил ветер изгнания, выдержал битвы и невзгоды, выпавшие на долю Константина и Мефодия, ему не было бы сейчас обидно. Василий согласился на возвращение ему престола патриарха, но не вполне доверял. В беседе с Фотием василевс выдал себя одним лишь взглядом, но Фотий до сих пор не может забыть этого. Василий смотрел на него с особым любопытством, будто старался проникнуть внутрь, открыть в нем нечто таинственное и загадочное. Возможно, он искал секрет, из-за которого Фотия называли «лисой империи». Но Фотий не находил в себе ничего лисьего. Он считал: секрет заключается в том, чтобы никогда не раскрывать себя целиком перед людьми, не доверять им до конца и всегда оставлять за собой право не быть застигнутым врасплох, не быть разочарованным в ком бы то ни было. Только болгарский князь перехитрил его, и он не мог себе этого простить...

В последнее время патриарх вновь углубился в поиски старин-

ных книг и чувствовал себя довольным жизнью. Его работа по истолкованию павликианской ереси приостановилась. Четвертая, последняя книга была только начата. Ему не работалось. Было чувство, что он подходит к ней как древний мыслитель, а не как глава церкви. Он хотел снова вжиться в церковные дела и тогда вернуться к этому многолетнему труду. И хотя Василий старался держать его подальше, сыновья Василия постоянно искали общества Фотия. Особенно средний, Лев. Он внушил себе, что должен быть мудрецом империи, и беспорядочно накапливал знания. Фотий был одним из его любимейших собеседников. Мания Льва все знать делала его очень смешным. Он не мог уразуметь, что те, кто знает больше, чем он, всегда будут уступать ему в спорах, лишь бы не навлечь на себя его гнев. Лев был честолюбив и завистлив. Эти черты его характера не ускользнули от Фотия, который надеялся лестью завоевать его дружбу.

Иным был Константин. Он унаследовал от отца силу и подозрительность. Науки не привлекали его. От них он брал только то, что требовалось в жизни. Он ловко владел мечом, был прекрасным наездником и, как все недалекие люди, не сомневался, что никто не может его перехитрить. Ехидные шуточки брата в его адрес были столь тонкими и замысловатыми, что вряд ли могли дойти до Константина.

Фотий, который часто был свидетелем этих подковырок, предчувствовал, что время разведет их и они забудут о кровном родстве. Константин был первенцем и не сомневался в своих правах на отцовский трон, но Лев не думал мириться с этим. Он давно искал путь к первенству и, может быть, уже нашел бы, если бы не мешало то, что настоящий василевс, его отец, еще крепко сидел на троне. О младшем брате, Стефане, Лев вообще не думал. Он хотел брать пример восшествия на престол с отца. Лев знал, каким путем пришел к власти отец, хотя это тщательно скрывалось. Стоило ему закрыть глаза, и в памяти всплывала старая конюшня с обветшалым потолком, застоявшийся запах конского навоза ударял в нос и возвращал в детство. Он был маленьким мальчиком, когда отец, чтобы показать свою силу, поднял мраморную плиту, лежавшую перед домом патрикия Феофила. Тогда Лев впервые понял, сколь могуч отец. Все трепетали перед хозяином, и Василий, чтобы умилостивить его, назвал своего первенца Константином — в честь отца Феофила. Возможно, это подействовало на патрикия, так как Василий стал не просто конюхом — ему подчинялись другие слуги. Память обо всем этом жила в душе Льва, и он не допускал туда никого. Более того: с помощью Фотия он решил создать лжелегенду о своем роде, следы которого будто бы обнаружены где-то в Армении. Патриарх послушно принимал все измышления, и это нравилось Льву. Дружба с самым ученым человеком

империи возвышала Льва в глазах людей. Сам Фотий ничего не терял от такой дружбы, хотя необходимость угождать и нравиться все более и более тяготила его. По-настоящему он отдыхал лишь в тени смоковниц, окружавших его укромную беседку. В теплые вечера Анастаси выносила ребенка в сад, патриарх разнеживался, охваченный запоздалой отцовской любовью. Он не узнавал себя. Ребенка назвали Феодором, в честь недавно скончавшегося отца Анастаси. Ее мать часто приезжала в гости и в последнее время жила подолгу — ей не хотелось возвращаться в Адрианополь. На смертном одре отец простил дочь за незаконное сожительство с Фотием. Теща нередко говорила о прощении в присутствии Фотия, и это начало его раздражать. Что, собственно, он простил? Что Фотий спас его от меча Варды? Что возвысил его дочь до себя? О многом, конечно, не говорится, но кто хочет — может узнать. «Доброжелателей» всегда было достаточно. И у Фотия тоже. Особенно во время опалы... Тогда «доброжелателей» было так много, что патриарха и теперь мороз по коже дерет. Тогда его не могли обвинить в том, что у него в доме живет женщина, молодая женщина, ибо он был обыкновенным человеком, как все. Теперь же об этом знали, но закрывали глаза. Ведь у самого заурядного епископа была экономка, что же тогда говорить о патриархе! Кроме Анастаси, в доме жили его рабы и рабыни. А разве кто-нибудь запретит ему держать рабов? Никто!

А эта заладила: «простил, простил»... Никого лучше не нашла бы ее дочь, если бы ее отца постигла та же участь, что и логофета Феоктиста! Фотий давно собирался заткнуть теще рот, но не хотел обижать Анастаси. В последние дни он стал избегать встреч с тещей. Как только она входила в комнату, он выходил и закрывался в кабинете, погружался в чтение любимых старых книг. Анастаси заметила это, но не смела спросить Фотия. Она чувствовала, что присутствие матери раздражает его. Если Фотий будет настаивать, чтобы мать вернулась в Адрианополь, Анастаси окажется в трудном положении. Мать все продала в Адрианополе, и ей некуда было возвращаться. Она и не спрашивала согласия Анастаси, но как объяснить все Фотию? Анастаси выжидала: авось все уладится само собой. Она оправдывала присутствие матери тем, что та ухаживает за ребенком. И это объяснение все еще удовлетворяло патриарха.

Теперь, когда бóльшая часть жизни была прожита, Фотий все чаще стал интересоваться миссией в Моравии. Константин скончался в Риме, но Мефодий оказался исключительно упорным человеком. Будь у Фотия такие последователи, Риму никогда не видать бы главенства, наоборот, Константинополь стал бы распоряжаться судьбами всего Христова стада. Странными людьми оказались эти братья, и еще более странными — их последователи. Фотий судил об этом по тем двум священникам, которых Мефодий оставил в городе. Если бы

его не попросил Симеон, сын Бориса-Михаила, патриарх вряд ли разрешил бы им поехать в Болгарию.

Чего они только не делали, чтобы получить это разрешение! Он удерживал их и обещаниями, и угрозами, но они упорно добивались своего, даже тропинку протоптали к зданию патриархии. Особенно пресвитер Константин. Он не оставлял Фотия в покое до тех пор, пока тот не дал разрешения. Братья воспитали их по своему образу и подобию, иначе Фотий не мог объяснить их настойчивость и упорство. А если бы они такими не были, разве задержались бы надолго в Моравии, непрестанно подвергаясь гонениям и преследованиям? Фотию было неясно, как идут дела в Моравии, хотя от епископа Сергия Белградского он получал время от времени краткие сообщения. Смены пап в Риме развязали руки немецким священникам, но Мефодий все еще не жаловался патриарху. Он продолжал трудиться на благо истинной церкви.

10

Немалый путь прошел Ангеларий вместе с братьями монахами, много радостей и тревог отметили этот путь. Он был из тех людей, которые всегда идут за своей мечтой и сеют добро на земле, не думая о самих себе. Узкое его лицо удлинено редкой черной бородой, руки бледные, с длинными пальцами, глаза кроткие и всепрощающие, сердце исполнено добра и сочувствия к чужой боли. Таким был Ангеларий. Он любил оставаться в тени. Всегда скромный и по-девичьи застенчивый, он молча нес свой крест, не жалуясь на невзгоды и трудности. Ангеларий рос в знатной семье, окруженный заботами учителей и вниманием слуг, но чем старше он становился, тем яснее понимал, что написанное в религиозных книгах не согласуется с жизнью. В книгах говорилось: не убий! — но люди убивали друг друга. Или: люби ближнего своего. Но даже родные братья и сестры готовы были выцарапать друг другу глаза из-за отцовского наследства...

Это последнее он испытал на себе. Его отец еще не умер, а братья и сестры уже разграбили все, будто Ангелария и на свете не было. Родной город Филиппополь встретил его как чужака. Никто не открыл дверь, не пригласил переночевать. С тех пор как он уехал в Константинополь учиться, его сестры и братья поставили на нем крест — одним меньше при дележке отцовского имущества. Если бы они признали его, надо было бы отдать ему его долю, а кому же хочется возвращать взятое. И они предпочли запереть двери. Ангеларий, побродив по городу своего детства, вернулся в Константинополь, чтобы тут попытать счастья. Случай свел его с Константином. Это было как раз в те годы, когда молодой философ, только что окончив-

ший Магнаврскую школу, болезненно переживал несправедливость знати. Общая боль сблизила их, и они подружились на всю жизнь. Вместе искали тишины в монастырях на берегу Босфора, вместе вернулись в Константинополь, и благодаря ходатайству Константина, утвержденного преподавателем в Магнавре, Ангелария приняли туда учиться. Его любовь к знаниям, упорная молчаливая кротость, способность к чужим языкам обеспечили ему уважение соучеников. Лишь с Аргирисом он не ладил, несмотря на свой незлобивый нрав.

В Магнавре Ангеларий подружился с Гораздом, и они вместе работали в церкви святой Софии — до самого отъезда миссии Константина и Мефодия в Хазарию. Не раз приходила им в голову мысль уйти к братьям в монастырь святого Полихрона, но все не решались: боялись надоесть своим присутствием. Но однажды не удержались — поехали и две недели там пробыли, а затем с явным неудовольствием вернулись в Константинополь. Не хватило смелости признаться в истинной цели своего посещения. Им очень понравилась мастерская Священного писания, и потом они частенько вспоминали крышу из каменных плит и во́рот, с помощью которого открывался путь к свету. В монастыре они переписали для себя обе азбуки и по дороге в Хазарию приятно у́дивили Константина и Мефодия умением писать новыми знаками. В этой поездке Ангеларий постиг смысл великого дела святых братьев. Правда, в Хазарии было не до новых азбук, но слово Константина, его поведение во время диспута с израильтянами и магометанами заставили Ангелария поверить в его грядущее торжество... Сам бог говорил устами Философа. В Хазарии Ангеларий нашел ответ на вопросы, которые непрестанно мучили его. Разве Константин и Мефодий не богатые люди? Не оставил ли один целое княжество, а второй — жизнь в кругу знати? И зачем? Ради справедливости меж людьми! Ради той самой справедливости, которую искал и он. Тогда о чем же жалеть? Уж не об отцовском ли добре? Глупости! Он нашел свой путь. Лишь бы братья остались благосклонны к нему... А они остались. И все, что было их, стало теперь и его, даже стремления и мечты. Когда Константин принял имя Кирилл, Ангеларий плакал, словно ребенок, ибо понял, что теряет самого близкого друга, учителя и наставника. Ангеларий впервые видел слезы и на глазах Саввы. Они катились по щекам, но он молчал, стиснув зубы и с трудом глотая воздух, будто что-то попало в горло и душило его. Ангеларий плакал навзрыд и не стыдился этого. И теперь, вспоминая желтое лицо друга и наставника на белой подушке, Ангеларий чувствовал, как его губы начинают дрожать и слезы затуманивают взгляд. Чтобы рассеяться и отвлечься от печальных мыслей, он попытался вспомнить ту веселую песенку, которую они когда-то пели в Магнавре. В ней было что-то легкомысленное и кощунственное, что раздражало преподавателей и смущало самих учеников. Эта песенка

возвращала Ангелария к тому, что ушло навсегда, осталось в молодости, как алый мак среди песков.

Там, в Риме, у смертного одра Константина, Ангеларий впервые попытался вспомнить эту песенку, но и она не помогла ему. Его плач был судорожным, отчаянным. Он навеки распростился со своей молодостью и мудрым, человечным учителем. Остались друзья, избранный путь и заветы Константина. Но трудно живется, когда есть только это. Нужны еще ласковые слова или неизреченная любовь, светящаяся в глазах. Их Ангеларий будет искать до конца дней своих, и неизвестно, найдет ли. Никто не заменит ему Константина. Даже Мефодий. Он добр, но суров, лишь изредка улыбнется, потреплет по плечу. Но может быть, он по-своему прав. Фальшивая ласка страшнее удара...

Так и жил Ангеларий среди тех, кто сеял семена слов. И боролся с неправдой — земной и небесной. Пока хватало сил, шел сквозь время, чтобы приносить людям добро там, где расцветали тернии зла и таились острые зубы злобы... Во время странствий по чужим землям частенько в его воображении явственно, зримо возникал родной город с каменными домами, с зубцами крепостных стен, с извилистой рекой, которая унесла смех беззаботного детства и горе вернувшегося блудного сына, забытого и изгнанного своими. Но в отличие от притчи ни одна дверь не открылась ему навстречу, ни одна рука не протянулась для приветствия.

Воспоминание о возвращении домой снова вело его через скошенные луга и зеленые хлеба, которые то склонялись под легким ветром, то выпрямлялись, и при виде этого волнующегося моря душа плакала грустным голосом перепела. Вспомнилось, как однажды вечером пришел он в незнакомую деревню и какой-то хозяин, вместо того чтобы дать хлеба, натравил на него собаку. Но собака пожалела его. Перестав лаять, она остановилась против Ангелария, да так и осталась стоять, глядя в его глаза, кроткая и послушная. Хозяин примчался с кнутом, занес руку, чтобы ударить его, но встретив взгляд юноши, замер, укрощенный, как и его собака. В тот раз Ангеларий не осознал того, что произошло, но спустя некоторое время понял, что в его глазах есть загадочная сила. Он окончательно убедился в этом, когда по пути из Рима в Паннонию незнакомые люди напали на них и увели Мефодия. Человек, набросившийся на Ангелария, был крепкий, коренастый, с лохматой рыжей шевелюрой. Он замахнулся мечом и рассек бы Ангелария, если бы Ангеларий не схватил его за жилистую руку и если бы их взгляды не встретились. Человек этот вдруг оцепенел посреди дороги, как ленивая змея в первые весенние дни. Что за сила была в его взгляде, Ангеларий не знал, но его способность укрощать людей и зверей не осталась для окружающих тайной. Он делал это неосознанно. Он не ставил своей целью укротить

кого-то. Мгновение всемогущества приходило неожиданно, и Ангеларий не знал, когда оно придет снова. Те, кто видел это, говорили потом, что он становился не похож на Ангелария, которого они знали. Иной, строгий и суровый человек глядел его глазами, заставляя каменеть людей и зверей. Когда Ангеларий слышал эти рассказы, у него возникало ощущение, что речь идет не о нем.

После отъезда Мефодия в Болгарию и Константинополь Вихинг распоясался. Случай свел Ангелария с Вихингом. Однажды знатные люди захотели послушать заутреню на славянском языке, но Вихинг воспротивился. В гневе он поднял руку на Ангелария, и тут люди увидели, как эта рука вдруг повисла, словно от удара, а глаза Вихинга стали покорными и мутно-сонными. Ангеларий впервые услышал себя в такой момент — его голос был голосом чужого, незнакомого человека, скрытого в нем:

— Вон!

И Вихинг безропотно повиновался. В этом «вон!» была спокойная и одновременно твердая убежденность, что никто не может ослушаться его. Все были смущены происшествием, и с тех пор стоило только Ангеларию появиться на улице, как его начинал преследовать странный шепот. Поскольку он был стеснителен, то не знал, куда девать глаза.

С того дня Вихинг боялся встречи с ним. Завидев его, тотчас же прятался в ближайший двор или переулок. Его слуги рассказывали, что три дня он не мог прийти в себя, все ходил, как сонная осенняя муха. Лишь к концу третьего дня Вихинг, после того как облился ледяной водой, обрел прежнее равновесие. Ангеларий считал все это преувеличением, цель которого — обвинить его в общении со злыми духами. Разве такие же сказки не распространяли о Деяне, прежде чем убить его? Поэтому он старался к вечеру быть дома. Невежество таило в себе угрозу.

Он забеспокоился еще более, когда узнал, что папа рукоположил Вихинга епископом Нитры. Это было неожиданно для всех, кроме Мефодия. Конечно, диоцез был очень большим, и он не мог охватить его своим попечением. Ему полагались помощники, и папа по настоянию князя утвердил Вихинга. Таким образом папа удалял Вихинга из Велеграда и в то же время оставлял его под своим крылом, а кроме того, надеялся смягчить гнев немецких епископов и Карломана. После смерти Людовика Немецкого трое его сыновей не очень чтили святого апостолика, и хотя он отвечал им тем же, но порой ему приходилось считаться с недругами. Мефодий, Климент, Горазд, Наум, Ангеларий — все сеятели мудрых семян новой письменности понимали затруднения Иоанна VIII, но каждый из них по-своему объяснял его действия. Ангеларий с присущей ему кротостью думал, что папу вводят в заблуждение советники. Иначе разве рукоположил бы

он епископом Вихинга, клеветника и бесчестного человека, для которого слово божье — только способ получить личные выгоды. Ангеларий не мог примириться с этим решением Иоанна. Порой ему хотелось сесть и написать письмо святому отцу, и он уже было приступил к его сочинению, но, посоветовавшись с Мефодием, отказался от своего намерения. Прочитав начатое письмо, Мефодий помолчал, и Ангеларий, видя, как он нахмурил лоб, подумал, что архиепископ, наверное, отчитает его, но Мефодий положил руку ему на плечо и сказал:

— Хвалю тебя, сын мой, что сердце твое открыто для истины, но... истина не всегда и не каждому дорога. Порви письмо, ибо тем, кто рукоположил Вихинга, истина не нужна. Если бы мы не были борцами за истину, нами не пренебрегали бы, на нас не клеветали бы и нас не преследовали бы. Любая истина для них — бельмо на глазу, и зло не может терпеть ее. Так было, так будет... Спокойной ночи...

Но вопреки пожеланию Ангеларий не сомкнул глаз до рассвета. Слова Мефодия поразили его.

11

Снегом завалило и дворцы, и хаты, лишь черный дым из труб напоминал о жизни. Дорога от дворца Бориса-Михаила до большой церкви за стенами внутреннего города была еле заметна. Еще затемно рабы и слуги стали расчищать ее, по обеим сторонам каменной стены выросли огромные снежные валы. Князю предстояло идти на крещение: Кремене-Феодоре-Марии бог дал сына, и князь не мог не разделить ее радости. Кроме того, ребенка назвали его именем — Михаил. Поставив на деревянный, инкрустированный перламутром стол стакан молока, князь начал одеваться. Надо было надеть шубу — стоял мороз. Он подошел к окну, наклонился и, пораженный, застыл на месте. Внутренний и внешний города были неузнаваемы. Большие здания утонули в снегу, а там, где должны были быть хаты, вился лишь дымок из труб.

Красота приняла облик ясной, чистой белизны, которая прикрыла холмы и горы, придала жизни особую таинственность и кротость. На огромном вязе за северной стеной тесно сидели вороны и промерзшими клювами перебирали блестящие перья. Эти черные птицы, как бы выписанные на белом фоне, выглядели нереальными, придуманными и одновременно зловещими... Борис-Михаил посмотрел вниз. Широкая терраса заслоняла от него часть двора. Откуда-то раздались веселые крики. Два раба выскочили из-под навеса и принялись бороться на снегу. От возни они разрумянились. Другие поощряли их

криками, замерзшие лица светились улыбками. Их игра понравилась князю, он тоже улыбнулся. Но вдруг люди испуганно отпрянули, притихли. Князь наклонился, чтобы понять, чего они испугались, и помрачнел. На лестнице стоял сын, Расате-Владимир. Ноги его были широко расставлены, и в руке пламенела золотая рукоять конского бича. Ударив им раз-другой по сапогу, он повернулся и вошел обратно во дворец. По-видимому, испугался мороза... Борис-Михаил присел за инкрустированный стол, хорошее настроение покинуло его. Владимир продолжал создавать хлопоты и неприятности. Его часто видели с Гойником перед тем, как серб во второй раз бежал из Плиски. Но только ли это? Один проступок следовал за другим, и отец не знал, что с ним делать. Наказать? Но как? Лишить права первородства? На это он не мог решиться, прегрешения сына не были столь велики. И все же он ему не нравился! Когда князю сообщили о дружбе Владимира с Гойником, он позвал сына и долго говорил ему об обязанностях престолонаследника. Расате-Владимир слушал, не перечил, но в конце разговора Борису-Михаилу показалось, что в глазах сына мелькнула плохо скрываемая насмешка: дескать, собака лает — ветер носит. Князь с трудом сдержался, чтобы не прикрикнуть на него. Но все было так мимолетно, что отец усомнился в своих подозрениях и потому взял себя в руки. Похоже, престолонаследник не внял наставлениям, ибо продолжал плохо относиться к людям, пренебрегать законами и позволять себе вещи, которые трудно извинить. К примеру, князь не может простить ему пренебрежения к книгам. Борис-Михаил не помнит, чтобы когда-нибудь видел сына с Евангелием или житием в руке. Владимир предпочитал развлечения своих пращуров: стрельбу из лука, конные состязания, гульбу и долгие застолья с кумысом. Он хотел таким образом доказать, что он настоящий мужчина, который никого не слушается и ни перед кем не склоняет головы. Нет, не может он понять движения времени и новых требований... Сердце Бориса-Михаила разрывалось от противоречивых чувств. Он все еще не мог поверить в столь односторонние пристрастия сына, отцовское чувство невольно смягчало прегрешения Владимира, объясняло их возрастом — однако сыну было не так уж мало лет. Он уже был женат во второй раз... Первая супруга скончалась совсем неожиданно, выпив отвар дурмана. Почему? Никто не понял. Расате-Владимир поспешно женился снова, украв дочь ичиргубиля Имника. Зачем надо было ее красть? Разве нельзя было попросить ее руки, как положено? Может, он боялся, что Великий совет не даст согласия на неравный брак? Борис не сердился: девушка красива, добра,— но сумеет ли сын оценить ее? Князь мечтал видеть первородного сына знающим, чего он хочет и к чему стремится. Мечтал породниться через него с могущественными королями и императорами, а он — устремился красть дочь Имника. Впрочем, это его дело... Нет,

не только его. Если бы было как когда-то: имей жен столько, сколько можешь прокормить,— тогда другое дело, а сейчас? Сейчас — одна жена на всю жизнь! Так учит церковь. Так считает и он, великий князь Болгарии. А его сын делает что хочет.

Если бы только это, можно было бы махнуть рукой, но нет. Когда прибыл святой старец Мефодий, Расате-Владимир вместо того, чтобы первым получить его благословение, отправился куда-то в горы, на охоту. Он якобы не знал! Даже на торжественном богослужении в большой базилике не присутствовал...

Воспоминание о пребывании Мефодия увело мысли князя от тревожных раздумий о сыне. Такой проповедник нужен ему! И речь его понятна, и слово его продуманно и мудро. Сравнивая Мефодия с прежними и нынешними священниками, он не мог найти ему равного. Если бы Мефодий согласился остаться в Болгарии, князь слушался бы его, как сын. Мефодий знал, что защищает и чего хочет. Не зря исколесил он столько дорог по земле господней во имя защиты человеческих истин. Разве ради денег отправился он на борьбу с неправдой? Нет! Ради сана? Если бы он хотел, то давно получил бы сан в византийской земле. Нечто большее руководило им — зов единородной крови. Он хотел открыть глаза славянскому роду. Дать ему свет и знания, мудрость и достоинство. Вывести в число первых по уму и просвещенности. Вот на что ушли его лучшие годы — на борьбу с врагами славянства. Слушая приятную речь Мефодия, речь славяно-болгарского народа, князь чуть не заплакал... Этот язык может стать раствором, который скрепит камни его большой державы. И тогда ему не страшны ни римляне, ни греки. Оборонительная стена будет прочной, непреодолимой... Жена тихонько заглянула в комнату и, увидев его задумавшимся, осторожно прикрыла дверь. Борис-Михаил знал, что она будет покорно ждать хоть целый день. Князь никогда не ругал ее, как некоторые мужья. Ее мир был миром ее детей, их горестей и радостей, она не надоедала ему ни просьбами, ни назойливыми требованиями. По одному движению жена угадывала его желания, и это не было ей в тягость. Такой с малых лет воспитал ее отец, Иоанн Иртхитуин. Такими она растила и детей — неприметная и добрая, неизменно готовая помочь нищим и несчастным. Попрошайки на паперти большой базилики всегда ожидали ее с нетерпением. Они не толпились, не толкали друг друга. Они знали, что княгиня никого не забудет, не оставит с пустой ладонью. Борис-Михаил не вмешивался в ее жизнь, но порой, погруженный в собственные заботы, вдруг поднимал на нее глаза и удивлялся, будто видел ее в первый раз. Несмотря на свои годы, княгиня очень хороша. Волосы у нее по-прежнему черные и блестящие, и лишь морщинки у глаз выдают возраст...

Борис-Михаил встал, посмотрел вокруг невидящим взглядом,

толкнул ручку двери и вышел в коридор. Жена посторонилась, чтобы он прошел вперед, и последовала за ним. В прихожей уже ждали слуги, держа две красивые лисьи шубы. Князю по его просьбе они только накинули шубу на плечи, а княгиню одели, подняв высоко воротник. Приземистые сани были застланы красным ковром. Между огромными снежными стенами по сторонам дороги сани и люди выглядели словно божьи коровки на белом платке жницы. Князь сел в первые сани, за спиной встали на полозья два статных телохранителя. Борис-Михаил оглянулся. Все члены семьи сидели в санях, но и на этот раз не было Расате-Владимира...

Крестный сын Михаил уже резвился на лужайке с детьми знати. С того памятного дня крещения несколько зим промелькнуло, будто снежные комья скатились с горы... Архиепископ Мефодий не отвечал, и князь часто перечитывал последнее письмо папы Иоанна VIII. От угроз он перешел к просьбам. Борис-Михаил брал протершийся на сгибах пергамент и подолгу всматривался в латинские буквы. Он уже не нуждался в переводе, так как знал письмо наизусть: «В любом случае незамедлительно сообщайте нам с гонцом обо всем, что вы хотели бы улучшить, и тогда мы с помощью божьей выполним любую вашу просьбу, потому что мы хотим спасти ваши души, а мы будем заботиться о том, чтобы дела шли согласно воле божьей...»

Князь не ответил на это письмо. Того, кто просил, уже не было в живых. Иоанна VIII сменил Мартин, а Мартина — Адриан III. Борис-Михаил добился своего, и Рим мало интересовал его. Теперь его держала в напряжении лишь тревога за Расате-Владимира. Сын не соответствовал княжеским требованиям. Как в ту многоснежную зиму, так и теперь, когда весна хозяйничала в полях и в душах человеческих, князь был недоволен им. Сын впутался и в последнее бегство Гойника — дал ему одного из своих коней. Зачем он это сделал? Потому-де, что конь понравился сербу, вот и все. Гойника нашли недалеко от границы с Сербией, мертвого, с пробитым черепом, одна нога — в стремени. Конь долго волочил его по камням, и люди Бориса-Михаила с трудом опознали труп. Никто не мог назвать убийцу. Только в голове князя стремительно промелькнуло подозрение: уж не Расате ли? Замкнутый, скрытный, сын вряд ли забыл унижение, которое ему пришлось пережить в войне с сербами. Оно было раной в его душе. Стоило вспомнить о войне в его присутствии, как взгляд сына становился свинцово-тяжелым, лицо темнело, короткая крепкая шея наливалась кровью. Но если он убил, Борис-Михаил не простит ему такой низости.

Большие заботы доставляет первородный, большие. И один ли он? Все дети! Даже маленький Михаил. Сестра Мария души в нем не

чает, пылинки с него сдувает. За ним ухаживает целый табун кормилиц, молодых и здоровых, но кто знает, каким он будет, когда вырастет... Князь желает, чтобы он принес сестре только радости, чтобы был здоров, чтобы стал гордостью государства. Но не все желания сбываются. Разве Борис-Михаил не дрожал над своими детьми, разве Расате-Владимир не умилял его первыми шажками, ребячьей болтовней? С какой радостью слушал бы он теперь похвалы сыну, но их становится все меньше и меньше, а в последнее время если кто и хвалит, то князь видит, что делают это неискренние люди.

И тут он впервые прикоснулся к горькой правде, которая останется с ним до конца жизни: Расате-Владимир недолюбливает новую веру. Веру, которую он, Борис-Михаил, утверждал и словом, и мечом. Неужто ему суждено увидеть сына среди врагов своих? Верно, Расате вкусил от старой жизни, но молодость на то и молодость, чтобы стремиться вперед, идти на свет далеких огней. Неужели Расате-Владимир душой остался в мире предков? Этот вопрос тяжелым камнем лег на сердце Бориса-Михаила, и ответа на него не было.

Князь вряд ли усомнился бы так в маленьком Михаиле, окрещенном в купели новой базилики, но в сыне он сомневался.

12

Мефодий вышел из церкви. Годы согнули его, ноги едва держали тело, но он был доволен собой. Предчувствуя смерть, он в последний раз обратился к христианам. Эхо его глуховатого, дрожащего голоса еще витало под высокими сводами соборного храма, когда он почувствовал, что силы покидают его, и пожелал вернуться в келью. Небо сияло, и от каждой зеленой травинки веяло ароматом жизни. Вербное воскресенье — праздник богодухновенного дня, праздник бессмертия — наполняло силой все живое. А где его силы? Он без остатка израсходовал их в борьбе за истину. И теперь мог спокойно покинуть этот мир страдания и клеветы, радостей и невзгод.

Опершись на Горазда, Мефодий поднялся по лестнице в келью. Жесткая постель приютила его, лампада, слабо потрескивая, кивнула своим огоньком, будто обрадовалась его возвращению, и все замерло.

Сказанные пастве слова: «Берегите меня, дети, до третьего дня» — будто притаились в углах кельи, кроткие и задумчивые, как его ученики. Мефодий лежал на тесной кровати, и его белая борода, длинная, отливающая перламутром, светилась в сумерках особенным сиянием. Желтая старческая рука бессильно свесилась с постели, Климент поднял ее и положил ему на грудь. Рука пересекла белую дорогу бороды и так и осталась лежать, изнуренная, отяжелевшая.

Перед взором архиепископа проходили видения его жизни: из глубины молодости — смутные, неясные, из времени близкого — тревожные и нерадостные. Он встречал их, как гостей,— равнодушный к себе самому, но не к ним... Возвращение из болгарских земель стало началом новой надежды. Он не решился откликнуться на просьбу Бориса-Михаила и перенести свою резиденцию в Болгарию. Во-первых, Фотий не позволил бы, во-вторых, получилось бы, что он сбежал, бросив плоды многолетнего труда. И от кого бежать? От какого-то Вихинга!.. Мефодий не хотел примириться с тем, что папа рукоположил Вихинга епископом Нитры, сделав первым помощником Мефодия. Еще перед прошлой поездкой в Рим, с Семизисном, архиепископ возразил Святополку, когда тот предложил, чтобы папа рукоположил Вихинга епископом Нитры. Это возражение не было принято во внимание. Вихинг был уже закадычным другом князя. Он непрестанно сновал между ним и немецкими графами, маркграфами, создавал союзы, постепенно опутывая Святополка невидимой сетью. Святополк даже крестил сына Арнульфа, восточного маркграфа. Это было на руку Вихингу: Святополк начал больше считаться со своими соседями, чем с Византией, давние связи с которой казались ему бесполезными.

Официально Святополк был вассалом римской церкви. Моравско-Паннонским диоцезом управляли из Рима, и поэтому его страх перед немцами и немецкими священниками притупился. Папа позволил ему самому решать церковные вопросы, и князь не хотел лишиться дружбы с Вихингом. В той беседе с князем Мефодий попытался предложить Горазда и Климента кандидатами в епископы, но Святополк ничего не ответил, промолчал. Лишь во время приема у Иоанна VIII архиепископ понял, что Святополк вновь настаивает на кандидатуре Вихинга. С этого момента Мефодий стал подозревать, что Святополк в душе не желает ему добра. Мефодия радовал тот факт, что папа в письме, адресованном Святополку, безоговорочно поддержал архиепископа. Это письмо пытались утаить от людей, чтобы можно было распространять о Мефодии клевету, но попытка не удалась. Никогда не забудет архиепископ того, как Вихинг убежал от позора. Тогда Мефодий написал папе послание, чтобы ознакомить его с тем, что случилось, и понять, верны ли сведения, распространяемые Вихингом, будто папа приказал изгнать Мефодия из Моравии.

Ответ Иоанна VIII висел теперь над головой Мефодия, возле лампадки. В свое время Мефодий попросил учеников переписать его, разослать всем церквам в стране и предать гласности. Это письмо было настоящей победой над Вихингом. Вот оно:

«Иоанн, епископ, раб рабов божьих — архиепископу Мефодию. Видя в тебе одного из самых усердных проповедников истинного учения и одобряя твое ревностное пастырское служение, которое ты про-

являешь в улавливании душ, верных господу богу нашему, мы вельми радуемся и не перестаем восхвалять и благодарить его за то, что он пуще прежнего разжигает твою ревностность в исполнении его заповедей и милостиво оберегает тебя от всяческих бедствий на благо преуспеяния святой церкви.

Из твоего письма мы узнали о твоих приключениях и о различных происшествиях. Насколько мы тебе сочувствуем, ты можешь видеть по тому, что мы во время твоего пребывания у нас советовали тебе следовать учению римской церкви в согласии с преданиями святых отцов, а также наставляли тебя чтить Символ и истинную веру, в соответствии с которыми ты обязан проповедовать и поучать.

То же самое мы написали и в нашем апостолическом послании преславному князю Святополку, которое ты, как уверяешь, передал ему. Никакого иного послания мы ему не посылали.

И ничего не велели мы ни тайно, ни явно тому епископу и не советовали ему делать ничего другого, кроме как руководствоваться твоими напутствиями. Еще меньшей веры заслуживает утверждение, будто мы заставили того епископа присягнуть, ибо об этом не было и речи.

Поэтому, чтобы уничтожилось в тебе сомнение, ты с божьей помощью и согласно евангельскому и апостольскому учению внушай всем святое учение и истинную веру, дабы принести обильные плоды Иисусу Христу от труда и старания твоего, а ты от его благодати получишь справедливое воздаяние.

Скорби о других искушениях, в которые ты впал так или иначе, но поскорее перебори их с радостью, ибо, как апостол говорит, никто не может быть против тебя, когда бог с тобой!

И когда с помощью божьей вновь приедешь сюда, мы желаем внимательно выслушать вас обоих, и мы с божьей помощью доведем до справедливого конца все, что было совершено противозаконно, и все, что вышеупомянутый епископ вопреки своему долгу сделал против тебя; и мы не остановимся, пока не уничтожим его непокорности решением нашего суда».

Но до встречи противников дело не дошло, да и папы вскоре не стало. Преемники Иоанна VIII очень быстро уходили вслед за ним: Мартин умер, Адриан III при смерти. Быть может, он и Мефодий преставятся одновременно? Архиепископ шевельнулся и попросил воды. Горазд подал знак Науму и Ангеларию, чтобы принесли глиняный кувшин. Подперев голову учителя, Горазд заметил, как трясется его собственная рука. Это не ускользнуло от взгляда Мефодия. Он отпил немного воды, и от попытки улыбнуться кожа у него на лице дернулась.

— Твоя десница не должна дрожать, сын мой... Народу и церкви нужна крепкая рука, сильная и справедливая!

Это были не просто слова, это была истина, которой Мефодий следовал всю жизнь. Он выстрадал ее и теперь завещал своему преемнику — Горазду. Архиепископ не видел никого более достойного, чем он. Горазд сможет продолжить борьбу с врагами, стремящимися уничтожить драгоценнейшие семена новой письменности. Он знает латынь, греческий и родной славянский, он правоверен и проверен. За ним стоит множество последователей нового учения, родственники Горазда и народ, любящий свою страну... Остальные ученики могут уйти в другие земли, оставив возделанную ниву, чтобы найти новую почву, которую они смогут вспахивать лемехом упорной мысли, но Горазд никогда не уйдет отсюда, из земли, где покоятся его предки. Правильно поступил Мефодий, избрав его своим преемником. Плохо, что Горазд только пресвитер и что не папа, а лишь архиепископ посвятил его в епископы,— неизвестно, признает ли это Рим... Много лукавства и неискренности накопилось в Латеране. И сейчас, перед смертью, Мефодий понял, что Вихинг снова уехал в Рим клеветать на него. Зальцбургский архиепископ Теотмар, преемник Адальвина, поддерживает Вихинга и неустанно натравливает его на Мефодия. Не сегодня началось это. Привык Мефодий, все испытал и теперь уже не волновался. За долгую жизнь он сделал много добра и потому за себя не боялся. Он крестил чешского князя Болеслава и его супругу Людмилу, встречался и беседовал с угорским и ляшским королями, приобщал к тайне божьего слова и истинной вере сербских жупанов и хорватских князей, оставил болгарскому князю книги на славянском языке и двух своих лучших учеников... Сумели ли они добраться до Плиски? Константин и Марко не посрамят его.

За них Мефодий был спокоен. Тревожила судьба семян, посеянных здесь. Сеятелей стало больше, но еще больше врагов, которые, будто огромный ореховый куст, закрыли все густой тенью, а под ней даже бурьян плохо растет, не говоря уж о нежных побегах истины. Чтобы укрепить эти ростки, вдохнуть в верующих новые силы, он, архиепископ Мефодий, захотел с ними побеседовать сегодня утром. Вопреки всем запретам он произнес проповедь по-славянски, чтобы возвысить свой народ, а через него — и себя. Сколько раз его вызывали в Латеран, сколько раз заверял он, что соблюдает все наказы. Несмотря на это, Мефодий не считал себя клятвопреступником, ибо всевышний создал языки, чтобы его восхваляли все народы. Этой простой истины не хотели понять хозяева Латерана...

На третий день Мефодий почуял конец и пожелал проститься с учениками. Они входили к нему один за другим, целовали костлявую руку и уносили с собой последнюю искорку от огня его большого сердца. В полночь Мефодий погрузился в беспокойный сон, но перед самым восходом солнца сон стал покидать его, и Мефодий увидел, как в светлом проеме двери появилась Мария, его меньшая дочурка. Она

остановилась у постели и своей ручонкой взяла его костлявые пальцы. Мефодий попробовал подняться. Он хотел пойти за дочерью, но голова затряслась, упала на подушку, а рука соскользнула с постели и бессильно повисла.

Климент опустился на колени, поднял руку учителя, поцеловал ее и во второй раз бережно положил поверх белой, светлой, как его жизненный путь, бороды.

Могучее дерево истины, под которым люди находили справедливость, перестало жить, и теперь некому было защитить их от молний и вихрей...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

...Они мечтали о Болгарии, думали о Болгарии и надеялись, что Болгария готова дать им спокойствие...

Солдаты, люди жестокие, потому что были немцами, которым от природы свойственна жестокость, после приказа ожесточились еще больше, схватили святых людей (учеников Мефодия), вывели их за город и, раздев донага, поволокли по земле. Этим они совершили двойное злодеяние: бесчестье и страдание от леденящего холодного тумана, всегда окутывающего земли вдоль Дуная...

Из «Жития Климента Охридского». Феофилакт, XI век

Еретики сильно истязали одних, а других — пресвитеров и дьяконов — продали за деньги евреям, которые отвезли их в Венецию. Когда по велению божию евреи продавали их, в Венецию из Царьграда приехал по царским делам человек царя. Узнав о них, он выкупил их. Взяв их с собой, он вернулся в Царьград и рассказал о них царю Василию.

Из «Старейшего жития Наума», X век

1

Преследования начались еще до того, как их позвали на суд. Вихинг занял архиепископское место, и ученики Мефодия чувствовали себя словно в осажденном городе. Монастырские ворота были заперты на засов, со старой башни Савва недоверчиво следил за всем, что происходило внизу, в городе. В хоромах Святополка непрестанно сновали люди Вихинга. Пресловутое божье смирение, присущее священникам, исчезло, и они, будто некое странное злобное воинство, злорадно торжествовали над свежей могилой своего противника — Мефодия. Вихинг вернулся из Вечного города в сопровождении епископа Доминика и пресвитеров Иоанна и Стефана с письмом от нового папы Стефана V к Святополку. Их приезд был явным свидетельством того, что сила на стороне Вихинга.

Савва всматривался в узкое окошко-бойницу и мысленно возвращался к предсмертным словам Мефодия, чтобы почерпнуть силы

в наступившее тяжелое время: «Мои дорогие, вы знаете, что зло — сила еретиков и что они, всячески искажая слово божье, стараются обмануть ближних. Они делают это двумя способами: убеждением и строгостью, применяя первый к неучам, второй — к заячьим душам. Я молюсь и надеюсь, что вы выстоите и против того, и против другого...»

Только сейчас Савва стал постигать прозорливость учителя и наставника. Он все предвидел, и потому столько озабоченности было в его словах и столько печали в голосе: «Не бойтесь ни сегодняшней злобы, ни тех, которые убивают тело, но не могут погубить души...»

Савва присел на жесткую лавку и оглядел мастерскую — кузницу их надежд. Еще позавчера здесь молот напевно постукивал о наковальню, а из-под резца тихого, усердного Марина выходили алтари, украшенные цветами и виноградом, в углу все еще стоит та икона с бывшей кесаревой снохой в группе блудниц. До сих пор Савве непонятно, зачем она нужна Клименту. Пройден такой длинный путь, а он не продал ее, не подарил какой-нибудь церкви. Она пришла вместе с ними, и может, ей суждено остаться немым свидетелем их борьбы и тревог, взлетов и падений. Если они уцелеют в борьбе, уцелеет и она, а если их победят, то некому будет заботиться и о ней. Эта икона была творением их мечты, и она исчезнет вместе с их мечтой... Савва вслушался. Братья вошли в монастырский храм, и молитва благоуханием наполнила их души. Они надеялись на того, кто привел их под это чужое небо, чтобы дать славянам глаза и память. Но Савва не знал, будет ли народ поддерживать их в эти тревожные времена. Много перевидал и пережил Савва — страдание и радость, разочарование и возвышение,— и ничто не могло смутить его. Давно уже некому было жалеть его, и если он почувствовал себя человеком, то обязан этим святому и справедливому Константину-Кириллу, своему благодетелю и духовному отцу. Он верил в него, а потому верил и в его бога. Савва жил в разных странах, где люди верят разным богам, и убедился, что хороший человек остается хорошим независимо от того, какому богу молится. А его учитель был олицетворением человеческой доброты. Таким был и Мефодий. Когда Савва слушал его предсмертные наставления, у него было чувство, будто он слушал того, кто, одинокий, навеки остался в Риме.

«Я неповинен в вашей крови, ибо, подобно пророку Иезекиилю, не боялся говорить вам правду, бодрствовал на своем посту как страж. Я заботился о том, чтобы вы стали мудрыми и со всей бдительностью оберегали ваши сердца и сердца братьев ваших, ибо вы ходите среди капканов, а после смерти моей на вас набросятся свирепые волки, которые не пощадят стадо божье, лишь бы увести его за собой. Ваша вера сильна, и вы должны сопротивляться им»...

В этот момент двери церкви отворились, и, будто угадав мысли Саввы, оттуда вышли с иконой богоматери и с песнопениями монахи, возглавляемые Гораздом и Климентом. Они обошли храм и направились к монастырским воротам. Савва мигом сбежал вниз и открыл их. Он присоединился к шествию, поднял голову, и его голос слился с голосами остальных. Процессия спустилась с холма, свернула в узкую улочку, выходящую на площадь перед княжеским дворцом, и направилась в соборный храм. За ней потянулись любопытные — взрослые и дети. Когда проходили по площади, сторонники Вихинга вышли из княжеского двора, чтобы посмотреть на процессию, но за иконой шло много людей, поэтому они не рискнули ничего затеять.

Когда под высокими сводами собора затихли песнопения, люди Вихинга ввалились в храм вслед за шествием и стали мешать службе, прерывая священников и бросая высокомерные реплики, затем один из них громко спросил:

— Почему вы все еще руководствуетесь мертвыми словами мертвого Мефодия, а не присоединяетесь к живому архиепископу и не исповедуете, что Сын рожден от Отца и Дух исходит от Сына?

Савва хотел было схватить его за подрясник и вышвырнуть вон, но Климент шагнул вперед:

— Мефодий жив, его слово и благословение живут в сердце истинного архиепископа — Горазда! А ваше сквернословие — лишь пятно на солнце веры. И в чем же мы ошибаемся, если наш учитель живет в боге, духовно общается и разговаривает с нами, поддерживает в борьбе против вас? Мы верим, что Дух исходит от Отца, что Отец Сына есть его причина и начало, но Дух присущ также и Сыну и всегда только через него нисходит на достойных. Одно дело — исхождение, другое — распространение. Первое объясняет начало существования Духа, ибо как Сын — от Отца по рождению, так и Дух — от него по исхождению. Распространение не объясняет способа существования, а показывает обогащение и умножение...

Мысль Климента была слишком философичной и не очень доступной для ограниченного ума сторонников франков, поэтому Горазд сказал:

— У нас есть один Бог-Отец — единственное начало всего, что от него исходит, точно так же как солнце — начало лучей, света и тепла. Свет и тепло присущи лучу, как Дух присущ Сыну, и свет принадлежит лучу, как Дух Сыну, но свет, тепло и луч имеют одно начало — солнце. Как луч передает свет и тепло вещественному миру, так Святой Дух через Сына раздает себя всему духовному творению... Перестаньте всаживать в себя меч, все более и более сопротивляющийся этому; перестаньте воевать против Сына божьего, великого евангелиста, от которого, через которого и о котором — все еванге-

лия, перестаньте учить духовному, будучи бездуховными, ибо тогда вы говорите от противного духа!

Люди Вихинга зашумели, кое-кто из них заткнул уши, чтобы не слушать, другие подступили к Горазду с кулаками. Савва хотел было заняться самым толстым горланом, но тут из-за амвона вышел Ангеларий. Его появление заставило противников замолчать и двинуться к выходу. Слава о способности Ангелария обессиливать и укрощать людей повергла их в панику. В общем суматошном бегстве из храма Савва сумел подставить ножку последнему, который, падая, головой сбил толстяка так удачно, что многие попадали и покатились по ступеням храма, а затем разбежались по узким улочкам. Злоба людей Вихинга перешла все границы. На следующее утро они ворвались в дом одного из знатных друзей покойного Мефодия, все разворотили, сломали домашнюю часовню и утащили оклады от икон. Эти нападения участились, а спорам не было конца, они закипали повсюду: на базарах, на площадях, в храмах — везде, где сталкивались сторонники двух церквей и двух архиепископов... Велеград гудел, как разворошенный улей, но если сторонники Вихинга постоянно ходили к князю жаловаться и клеветать, то ученики Мефодия не имели доступа во дворец, а попытки Горазда и Климента попасть к Святополку закончились неудачей. Это ожесточало их, но убеждение в том, что именно они правы, прибавляло сил для борьбы с папскими людьми...

Родители уже боялись за детей, которые изучали новую письменность. Приверженцы Вихинга напали на училище, избили Лаврентия, разогнали учащихся, книги вынесли во двор и сожгли. Другая толпа, вооруженная копьями, мечами и палками, попыталась ворваться в монастырь. Братия собралась на стене, и, пока они пели свои псалмы, монастырские слуги и послушники успешно отразили атаку. Немало из приверженцев Вихинга убрались восвояси с разбитой головой или промокшие до нитки — слуги потешались, обливая их водой и кидая в них камнями.

С этого дня братья жили как на войне. В башне над воротами всегда стояла стража. Савва выкопал заржавевшие мечи, оставшиеся с тех времен, когда монастырь был крепостью. Он отбил их, заострил и приготовил для боя. Никто не знал, как пойдет дело, особенно когда ученики Мефодия убедились, что Святополк не думает защищать их. Решимость бороться до конца привлекла к ним сторонников — они стали приезжать в монастырь семьями, чтобы найти тут защиту. В обители уже не хватало места, и люди размещались в хозяйственных постройках. Так неожиданно образовалось странное поселение. Это побудило сторонников Вихинга еще более настойчиво клеветать на учеников Мефодия. Они внушали князю, будто те готовят народ к восстанию против него и знати. И Святополк решил вмешаться. В сущности, он давно решил, кого поддерживать, но теперь хотел

выполнить одну формальность: сказать княжеское слово и развязать руки Викингу и его людям. Князь приказал представителям враждующих сторон явиться на суд. Вечером затрубили рога, чтобы возвестить решение князя, а наутро княжеские вестники поскакали к монастырю, чтобы сообщить эту новость. Суд назначили на следующий день. Всю ночь монастырское братство не спало, обсуждая предстоящий диспут. Лишь Савва молчал. Ему казалось, все это — обман. Опыт подсказывал, что не надо верить княжеским словам. Особенно если ты знаешь, каким путем Святополк занял престол...

Утром он отказался идти во дворец:

— Идите, а я останусь охранять.

2

Вечера приходили по-кошачьи тихо. Мягкими невидимыми лапами ступали они на крепостную стену, проникали сквозь щели и располагались вокруг столов. Большой город затихал, по улицам спешили запоздалые богомольцы, ладонями заслоняя от ветра горящие свечи. В это время Симеон остро чувствовал свое одиночество и очень тосковал. Он представлял себе Плиску, большие ворота и стражу на них, дорогу во внутренней крепости, мощенную каменными плитами, и будто слышал родной голос Кремены-Феодоры, спрашивающей о нем. С каким трепетом и волнением провожала она его в Константинополь, сколько было вздохов и поручений к тем или другим ее знакомым. Об этом городе она рассказывала ему чу́дные истории, здесь прошла ее ранняя молодость, тут испытала она радости и горечь и запомнила его на всю жизнь. В последний момент Кремена-Феодора-Мария сунула племяннику в руку свой браслет из золотых монеток и так поцеловала, что Симеон до сих пор чувствует этот поцелуй.

— Зачем? — спросил он.

— Возьми, возьми! — И, помолчав, добавила: — На нем прочтешь имя... Если тебе что-нибудь понадобится, покажи ему браслет и попроси, чтобы помог...

Симеон ничего не понял тогда. На браслете было выгравировано имя, и Симеон часто наедине с собой подолгу рассматривал браслет. Он состоял из двадцати золотых монет, а застежка была в форме головы ящерицы. Ящерица широко разинула рот, будто измученная августовской жарой в болгарском государстве... Рядом с искусно выписанным именем виднелся знак ремесленника. Тайна браслета вначале не волновала Симеона, но чем больше чувствовал он свое одиночест-

во, тем больше неизвестность искушала его. Учиться ему было легко. Он владел греческим языком лучше византийцев — многие из них приехали в Магнаврскую школу из разных уголков многонациональной империи, и литературный язык давался им с трудом. Молодой князь был прилежен, любознателен и не склонен к развлечениям. Поэтому вечера казались ему длинными и скучными, но он нашел способ, как сократить их,— книги. Целыми ночами пламя свечи танцевало по пергаменту и кололо ему глаза своим изменчивым светом. Симеон любил погружаться в мир древности, его манила риторика Демосфена, мудрость Гомера, диспуты философов. Чем больше сокращалось расстояние между ними и Симеоном, тем яснее понимал он путь новой веры. Древние жили с богами, как с друзьями, они утратили представление об их величии, и боги иногда выглядели более земными, чем люди. Его душа утопала в робких сомнениях и раздумьях. И тут приходили жития святых, чтобы вывести его на праведный путь, где отступают искушения. Невероятные чудеса захватывали его, но только затем, чтобы вернуть на землю. Он осматривался вокруг, чтобы раскрыть искушения дьявола и козни злых духов, которые повсюду невидимо расставляют свои ловушки.

Но так было только в самом начале. Постепенно Симеон открывал для себя устои христианства. Многие ученые люди внесли свою лепту, чтобы яснее обрисовать путь веры. Симеон не переставая пил из источника познания. Раз ему случайно попала в руки книга, в которой говорилось о славных подвигах Александра Македонского. С того дня Симеон не расставался с ней. По его заказу была сделана копия, в белой коже, с красивыми застежками, с заставками и золотыми буквами. Юноша, стремившийся овладеть и мечом, и словом, вдруг почувствовал себя мужчиной, мечтающим о подвигах. Симеон стал по-новому смотреть на город, опоясанный крепкими каменными стенами, скрывающий от людских глаз великолепнейшие сокровища, присвоивший себе право вмешиваться в дела многих государств и правителей, настаивать и требовать, а в случае сопротивления добиваться своего с помощью хитрости и меча. Нет, Симеон найдет источник силы этого города, откроет секрет его могущества, и тогда — горе ему!.. Юноша все чаще стал ходить по улицам и площадям, интересоваться его историей и вслушиваться в дворцовые сплетни. Удастся ли ему проникнуть в тайны Константинополя, Симеон не знал, но его желание и настойчивость были столь велики, что ему было ясно: он никогда не отступится. После песнопений в святой Софии и занятий в Магнавре ученики разбредались по большому саду. За красивыми цветами и кустарником было немало уголков, где можно уединиться и погрузиться в мечты. В такие минуты город исчезал для Симеона, стены рушились. Он видел себя победителем, на его щите играло лучами южное солнце, словно расплывалось в улыбке

лицо покоренного византийца. Много таких улыбок видел молодой князь в этом городе — рабы улыбались лучезарно и подкупающе, чтобы понравиться будущим хозяевам. Вот такую улыбку хотелось Симеону увидеть на лице этого города, который долгие годы нагонял страх на Плиску, на землю дедов и отцов. Этот город владел тайной греческого огня * и тайной бессмертия. Стоило посвятить жизнь разгадке двух таких великих тайн. И если тайну бессмертия можно узнать из книг, другую тайну можно раскрыть только мечом... Но пока меч прочили не ему, а старшему брату, Владимиру. Симеону приходилось довольствоваться только книгами и крестом. Князь возлагал на него большие надежды, Симеон должен оправдать их. И он не терял времени попусту. Эти мечты были только кратким отдыхом на пути к настоящей цели.

Симеон не был одинок в Царьграде, вместе с ним приехали изучать премудрость сыновья кавхана и Дометы. Сын кавхана, Иоанн, был назван так в честь дедушки и имел такой же, как у него, восприимчивый и гибкий ум. Ничто не ускользало от его взгляда. Его большая голова была набита всевозможными познаниями. Часто, чтобы убедиться в достоверности чего-либо, Симеон обращался к Иоанну и знал, что получит точный ответ. Сын Дометы, Григорий, был более замкнут, но очень добр и скромен. Он учился старательно, систематически, продвигался медленно, но то, что узнавал, запоминал на всю жизнь.

Через год после них в Константинополь приехали еще двое молодых болгар: Тудор Доксов, двоюродный брат Симеона, и младший брат Наума, Хрисан. Хрисан не помнил своего отца, кавхана Онегавона, он родился в день его смерти. Сначала Хрисан и Тудор учились в Плиске, где овладели греческим языком, затем их направили в Магнавру. Небольшая, но сплоченная дружина болгар в Константинополе не пропускала ничего, что могло обогатить их представления о жизни и вере. Когда прославленный старец Мефодий прибыл в Константинополь, они были в первых рядах встречающих. Архиепископ захотел посетить Магнаврскую школу, и Симеону посчастливилось встретиться и поговорить с ним. Там он впервые познакомился и с его соратниками — Наумом, Константином, Саввой, Лаврентием и Марко. Остановка Константина и Марко в Царьграде и их поездка в Болгарию были настоящим событием для молодого князя и его друзей. Симеон сам ходил к патриарху Фотию просить, чтобы он разрешил ученикам Мефодия поехать в Плиску. И до сих пор Симеон не уяснил себе, что побудило патриарха дать согласие на поездку — то ли доброе сердце, то ли его ходатайство. Фотий радушно принял Симеона. Может ли, однако, человек по улыбкам и ласковым словам судить об истинных чувствах? Но по тому, сколько времени уделил ему Фотий и как хвалил его за усердие, Симеон решил, что патриарх

искренен. Константин и Марко получили согласие на отъезд в Плиску, но с условием: не брать с собой никаких книг на славянском языке, а взять только на греческом. В первый момент Симеон не понял, зачем надо отнимать у них книги, и поэтому спросил:

— Разве это запрещено, владыка?

— Нет, княжич, не запрещено, но эти священные книги нужны нам для здешних славян.

Симеон больше ни о чем не спрашивал, поцеловал на прощанье мягкую руку Фотия и поспешил к Константину и Марко. Когда он сообщил им о решении патриарха, Константин нахмурился:

— Ладно, мы оставим книги, но пусть он не думает, что оставим и свои головы. В Плиске мы создадим новые книги.

И они уехали. Вся болгарская дружина пошла провожать их за городские ворота. Пятеро друзей долго смотрели вслед карете, поднимавшей облака пыли, и в их душах оживала тоска по родине. Они сдвинулись с места лишь тогда, когда карета скрылась за поворотом, и, кто знает почему, Симеону вдруг пришло в голову зайти на обратном пути к золотых дел мастеру, чтобы узнать, чье имя выгравировано на браслете. Они нашли мастерскую, но оказалось, что старый мастер умер. Его сын долго рассматривал браслет и вглядывался в надпись, а затем глухо сказал:

— Только имя и осталось. Его уже нет...

— Почему?

— Почему? Потому что был зятем сосланной императрицы.

— В чем его вина?

— Не знаю, господин, и хочу дать совет: не спрашивай о нем больше. Когда великие ссорятся — истину не надо искать, она с победителем, с сильным. А этот был послабее! Он был добрым человеком, и это мешало ему бороться. Я знал его, я его помню. Когда он пришел за браслетом, то принес мне корзинку инжира. Он был добрым. Другой на его месте послал бы слугу, а он сам пришел. Привязал коня вон за ту скобу к воротам и вошел. Я был маленький, стоял в воротах и глазел вон туда, напротив, там инжир продавали, и он купил его мне...

Симеон поблагодарил мастера и, зажав в руке браслет, медленно пошел вверх по улочке. Смотри-ка, и у тети есть свои тайны. Друзья прошли по торговым рядам, где были лавки золотых дел мастеров, и поднялись к главным воротам императорского дворца. Здесь воздух был напоен приятными запахами. По старой традиции благовонные масла со всей страны продавались около дворца. Никто не смел нарушить эту традицию. Купец, который открыл бы лавку где-то в другом месте, рисковал бы и богатством, и жизнью.

Юноши шли за Симеоном, опьяненные благоуханием воздуха, но их мысли продолжали бежать по пыльному следу кареты, которая

ехала в Плиску. Там их ожидала сердечность, теплота, свобода, а здесь — большой город со своими неожиданностями. Сумеют ли они привыкнуть к нему?

3

Папе Стефану V досталась в наследство одна загубленная мечта: Болгария была безвозвратно потеряна для Рима. В этом он убедился во время визита Вихинга, приехавшего жаловаться на архиепископа Мефодия. Сначала папа принял его прохладно. Очень много епископов, ополчающихся против своих архиепископов. Жажда полновластия не дает им покоя... С каким трепетом он сам жаждал услышать, как о нем скажут: «Сообщаем вам радостную весть — избран папа!..» Не все голосовали за него, есть еще епископы, которые не желают ему добра. Стефан некоторых знал, но разве можно знать всех своих врагов. Люди стали очень хитрыми: предпочитают копать тебе могилу иглой, а не общепринятым способом — лопатой. Эти, что с иглой,— искусные мастера. Их нелегко раскрыть...

Вот какие мысли навеял приход Вихинга, но, чем дольше тот говорил, тем сильнее гневался папа на Мефодия. Рассказ о последней поездке Мефодия в Константинополь был каплей, переполнившей чашу терпения. Враги римской церкви при поддержке архиепископа Мефодия много лет отравляли души мирян, распространяя какую-то новую письменность и утверждая славянский язык. Как стало возможно такое кощунственное нарушение святой догмы Исидора Севильского о святости трех языков? Этот плевел на ниве божьей необходимо немедленно вырвать с корнем! И он благословил сладкоречивые, преданные ему и богу уста епископа Вихинга. По несдержанному порыву и по преданному поцелую Вихинга папа Стефан V понял, что в его лице он имеет глубокого и искреннего почитателя. Папа приказал составить письмо Святополку. Оно получилось обширным и назидательным. Прочитав письмо, папа несколько смутился и заколебался.

«Епископ Стефан, слуга слуг божьих — Святополку, королю славян.

Я радуюсь, что ты с полным благочестием посвятил себя вере Святых апостолов и первому — апостолу Павлу, ключнику царствия небесного, и что ты вместе со своими приближенными и остальным народом избрал его наместника на земле своим первым покровителем и защитником от всяческих потрясений в этом переменчивом мире.

Мы непрерывно молимся всеблагому Богу, желая получить заступничество того, кто владеет всеми правами царей, чтобы с его помощью и с помощью первых апостолов Петра и Павла защитить тебя, чтобы охранить тебя от дьявольских козней и дать тебе возможность

наслаждаться телесным спасением и чтобы ты, сохранив тело и душу, украсив себя добрыми делами, был удостоен от вечного судии вечного счастья. С помощью божьей ты найдешь в нашем лице покровителя во всех делах, ибо мы, его наместник на земле, обязаны заботиться о тебе, что бы ты ни делал во имя своего спасения. И мы, несмотря на расстояние, обнимаем тебя мысленно как духовного сына, а вместе с тобой — и всех верных тебе.

Нам стало известно, что ты усердно защищаешь православную веру, мы знаем также от надежных свидетелей, что ты хочешь найти убежище у твоей матери, святой римской церкви, которая является главой всех церквей, так как она получила это право от блаженного Петра, первого апостола, которому истинный пастырь доверил своих овец, сказав: «Ты есть камень, и на сем камне я создал церковь мою, и врата ада не одолеют ее»,— подразумевая под вратами ада уста тех, кто хулит православную, основанную Христом веру, которая уничтожит все ереси и всех колеблющихся наставит на путь истинный, поддержанная своим создателем господом Иисусом Христом, сказавшим: «Симон! Симон! се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих!»

Я спрашиваю: кто, кроме безумца, осмелился бы погрузиться в такую бездну богохульства, чтобы позорить веру Петра? Для него слово божье явилось в двух естествах, ибо естество божье соединилось с естеством человеческим.

Мы высоко ценим твое благочестие, и поелику ты хочешь принимать поучения, воздаем достойную хвалу твоей мудрости, ибо она не блуждает по сторонам, а заботится о том, чтобы обратиться за советом к самой римской церкви, которая является главой остальных и от которой все другие церкви получили свое начало.

Истинная основа веры, на которой Иисус Христос создал свою церковь, такова: три ипостаси, существующие в единстве — Отец, Сын и Святой дух, одинаково вечны и одинаковы по времени бытия. У этих трех ипостасей по природе одна божественность, одна субстанция, одно божье достоинство, одно величие. Они отделены друг от друга, а не смешаны, различны, но не раздельны. Я говорю о различии, потому что одно лицо у Отца, другое — у Сына и третье — у Святого духа, так как Отец не происходит ни от кого, Сын происходит от Отца, а Святой дух — от обоих, обладая полностью той же субстанцией, что Отец и Сын. Эта Святая Троица есть единый и истинный Бог; она безначальна, безгранична, неизменна во времени. Только Отец ни от кого не происходит, а посему называется безначальным. Сын есть вечный Сын Отца и потому называется рожденным. Святой дух — одинаково дух и Отца, и Сына, поэтому следует считать, что никакое время не является более ранним или более поздним;

посему он не безначален, ие рожден, а называется происходящим, чтобы не считалось, что есть два Отца и два Сына. В Евангелии засвидетельствовано, что Дух присущ также и Сыну: «Если же кто не имеет Духа Христова, тот и не Его». Апостол Павел свидетельствует, что Дух присущ и Отцу, и Сыну: «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас». И снова он ясно свидетельствует, что Дух присущ Отцу, говоря: «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши бреиные тела Духом Своим, живущим в вас». Павел свидетельствует также, что Дух присущ и Сыну: «А как вы — сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва, Отче!». Еще Павел говорит, что сама истина происходит от Отца: «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его». Нет доказательств, что Святой дух происходит от Отца в Сыне, а потом — от Сына, чтобы освятить творение как нечто постепенное; Дух происходит одновремению от Отца и Сына. Кто не согласится с тем, что Святой дух — это жизнь? И кто сомневается в том, что Отец — это жизнь и Сын — жизнь? Как Отец имел жизнь в себе, так дал и Сыну, чтобы он имел жизнь в себе...»

Папа отодвинул недочитанное послание и задумался: надо ли столь подробно объяснять Святую Троицу? Вряд ли славянский князь поймет суть сложного церковного спора. Этот спор кипит теперь в его землях между представителями римской и константинопольской церквей, с давних пор не могут они прийти к согласию в вопросе о Святой Троице. Вихинг привез Стефану труд Константина-Кирилла Философа, распространяемый его последователями, этот труд вводил в заблуждение сторонников папства. Рукопись лежала на колеиях, и папа стал ее читать:

«Я верую в единого Бога-Отца, вседержителя, творца и властелина всего видимого и невидимого, безначального, непостижимого, неизменного, бесконечного. И в единого Господа Иисуса Христа, единородного Сына, который безначально и вие времени, до всякого времени, получил святость от сущности Отца. И в единого Святого духа, происходящего от единого Бога Отца и изывающегося Богом, и как Бог он славится заодно с Отцом и Сыпом, ибо он одного естества с ними и существует в единстве с ними.

Я славлю Троицу в ипостасях, то есть в лицах, и каждое лицо я славлю само по себе и нераздельно, ибо каждое полноценно и изменяемо и не подвержено чуждому воздействию. Отцу свойственно нерождение и воздействие на двоих, зависимых от него; Сыну свойственно рождение, а Святому духу — исхождение. И так как рождение и исхождение только от Отца, и каждый из двоих взял свой свет от

света Отца, поэтому над всем миром есть один трехлунный и трехсолнечный свет...»

Папа гневно отбросил сочинение Философа. Нет, он не позволит вводить людей в заблуждение: в писании Константина-Кирилла утверждается, что Святой дух исходит только от Отца, а не от Отца и Сына, как принято в римской церкви, и эту еретическую мысль надо выжигать каленым железом. Стефан встал и начал ходить маленькими шажками. «Надо выжигать, да еще как выжигать! — повторял он, любуясь своим могуществом.— Благо есть такие преданные люди, как Вихинг...» При мысли о нем папа снова сел за стол и взял в руки послание Святополку.

«Достаточно и того немногого, что я выбрал из многих доказательств, которые из-за их двузначности необходимо принимать и головой, и сердцем, но не исследовать извне своими силами. Ибо как сияние солнца ослепляет взор, так и сияние несказанной божественности затуманивает мысленный взор человека. Наша святая апостольская римская церковь бережет эту веру, переданную от бога апостолам, а от апостолов — нам. Мы советуем, просим и заклинаем тебя, чтобы ты крепко берег эту веру.

Мы считаем, что Вихинг, уважаемый епископ и дорогой собрат, весьма опытен в церковных делах, а потому мы послали его вам, чтобы он правил вверенной ему от бога церковью, так как мы знали, что он тебе очень предан и во всех отношениях хорошо заботится о тебе. Примите его искренне, как своего духовного отца и собственного пастыря, с подобающей честью и должным уважением; берегите его и почитайте, потому что в его лице вы отдаете особенные почести Христу, который говорит: «Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня».

Следовательно, пусть он сам заботится о всех службах и, ощущая всегда страх божий, распоряжается ими, потому что и сам он будет давать отчет строгому судии за души вверенного ему народа...»

На этом заканчивалась первая половина письма, вторая часть была посвящена наставлениям о святых постах. В этом обе церкви тоже расходились, и потому надо было с такими мелкими подробностями писать обо всем. Папа Стефан быстро просмотрел наставления, а когда дошел до пассажа о Мефодии, стал вчитываться внимательнее.

«Мы очень изумились, узнав о том, что Мефодий служил не миру, а вражде, не назиданию, а лжеучению... Если это так, как мы слышали, то мы полностью отвергаем лжеучение. Проклятие за презрение к истинной вере падет на голову того, кто проявляет его; но ты и твой народ не будете виноваты перед судом Святого духа, если чтите и сохраняете веру, которую проповедует римская церковь.

Однако божественные службы и святые таинства литургии, ко-

торые упомянутый Мефодий осмеливается совершать на славянском языке, суть то, чего он клятвенно, перед святейшими мощами блаженного Петра, обещал не делать; и пусть отныне никто и никоим образом не дерзнет делать нечто подобное, испытывая отвращение к его клятвопреступлению. Потому божьей и нашей апостольской властью мы запрещаем это под страхом заключения в кандалы и под страхом проклятия — за исключением того, что служит для назидания простому, неграмотному народу и что сообщается ему на этом языке знающими людьми, чтобы ознакомить его с евангельскими и апостольскими поучениями. Мы позволяем и советуем делать это весьма часто, чтобы на каждом языке славили бога и исповедовались ему.

А упорных и непослушных, которые сеют вражду и соблазны, мы предписываем изгонять из церкви, если эти сеятели плевел не исправятся после двух увещеваний; чтобы паршивая овца не заразила все стадо, поручаем обуздать ее силой и изгнать из ваших пределов».

Этим посланием папа сделал первый шаг в борьбе, которую надо было довести до конца. Он обрекал представителей константинопольской церкви на безусловное и незамедлительное изгнание из Моравско-Паннонского диоцеза. Довольно делать уступки коварному Фотию. Папа Стефан не знал, что Мефодий ездил в Константинополь с ведома папы Иоанна. Согласно версии Вихинга, принятой Стефаном, Мефодий поехал, чтобы получить поручения от вернувшегося на патриарший престол Фотия, ярого противника римской церкви, коварного и неверного Фотия, дважды преданного анафеме...

Папа позвонил в колокольчик. Вошел монах. Святой отец показал глазами на послание, но прежде чем тот приблизился, папа попросил его позвать Захария Библиотекаря. Когда преемник покойного Анастасия вошел, Стефан V, даже не пригласив его сесть, тут же распорядился подготовить дополнительные указания для послов в Моравию и сказал, что лично вручит их епископу Доминику.

4

Архиепископ Иосиф был добр, скромен и достаточно стар, чтобы гнаться за земными благами. Князь Борис-Михаил часто приглашал его потолковать об устройстве церковных дел или послушать объяснения какого-нибудь непонятного места в учении Христа. Старец был так внимателен к болгарскому князю, что Борис-Михаил угадывал некоторое смущение в его манере держаться. По-видимому, прошлое изгнание византийских священников из Болгарии и сегодня вселяло в него неуверенность: он боялся провиниться перед князем, задеть его княжеское достоинство. Да и наставлений, полученных им в

свое время от патриарха Игнатия,— быть внимательным в разговоре, не раскрывать себя и не увлекаться в присутствии князя — не забыл. Тогда Борис-Михаил нагнал на них страху... Вот уже сколько лет, как Иосиф — глава болгарской церкви, и он не может пожаловаться на князя. Они понимают друг друга. Сначала архиепископ часто думал о Константинополе, хотел угодить также и византийцам, но постепенно понял, что Борис-Михаил не потерпит чьего-либо вмешательства в болгарские церковные дела. Вскоре Иосиф привык чувствовать себя полностью независимым от патриарха и считать князя своим единственным судьей. Это вернуло ему спокойствие и уверенность. Первое дело, на которое Борис-Михаил пожелал получить от него согласие, было открытие в Плиске училища для священников. Князь не хотел, чтобы священники приходили из Константинополя. Он предпочитал, чтобы они были болгарами, людьми из его страны. Иосиф не замедлил учредить училище по византийскому образцу, где учениками были дети знати. Некоторые из них впервые видели греческие книги, и греческий язык давался им нелегко. Борис-Михаил часто посещал училище, спрашивал учеников, внимательно слушал их ответы, но всегда уходил недовольным. Те, кто отлично отвечал на чужом языке, раздражали его. И чем больше они старались освоить византийские науки и порядки, тем больше темнело его лицо, становилось суровым и непроницаемым.

Его злило их надменное торжество: смотрите, мол, сколько мы знаем! Разве я не похож на настоящего византийца? Князь чувствовал, что у этих молодых людей исчезает болгарская душа, что они начали с презрением относиться к своему и хотят слыть чуть ли не чистокровными византийцами.

Прибытие пресвитера Константина и Марко подействовало на князя успокаивающе. Он принял их и долго с ними беседовал. Разговор о вере князь переключил на разговор о сближении языков, о создании болгарской письменности, которая будет вторым шагом в сплочении народа. Пресвитер Константин рассказал о Моравии, о борьбе между немецким и славянским духовенством. Князь слушал его и думал о себе и о своей стране: в Болгарии тоже будет нелегко ввести свою письменность. Все греческие священники разозлятся и, возможно, объединятся с недовольными — боярами, багаинами и прочей знатью. Неизвестно ведь, сколь сильны те, кто не желает ему добра... В этих делах нельзя принимать половинчатые решения, как моравский князь. Надо обдумать все, подготовить достойных людей, которые смогли бы полностью заменить византийский клир и взять в свои руки дело церкви и письменности. Обозревая нынешнее положение вещей, Борис-Михаил приходил к выводу: славянская письменность существует. Налицо и та азбука, которую им оставил Константин-Кирилл Философ. Она хорошее оружие, но в какие руки попадет это

оружие, чтобы уничтожать сомнения и невежество? Пресвитер Константин и Марко могут быть полезными. Те списки Псалтири, которые сделали люди из Брегалы, могут положить начало. Борис-Михаил предоставил им и книги, подаренные ему Константином Философом и Мефодием. Но при мысли о том, что пресвитер и Марко приехали из Константинополя не только без книг, но даже без чернильниц и перьев, князь нахмурил брови. Хозяева Константинополя бдительно следят за тем, чтобы семена новой письменности не проросли на болгарской земле. Борис-Михаил был из тех людей, кто сто раз обдумает каждый шаг, но если сделает его, то назад не отступит. Так и сейчас. Он не спешил вмешиваться по мелочам. Его слово должно быть веским. Князь поручил Константину и Марко под руководством Докса еще раз хорошенько подумать, какая из двух азбук Константина Философа больше подходит для болгарского народа. Ему самому казалось, что лучше воспользоваться той, которая ближе к греческой, ибо ее легче воспринимать и учить. Сейчас, когда византийское духовенство расползлось по стране, добавляется еще одно соображение: такая близкая к их письменности азбука не сразу вызовет гнев Константинополя. Третье соображение было связано с нынешними училищами: там учится немало сыновей знати, они изучают греческую письменность и греческий язык, чтобы отправлять церковную службу, и для них тоже будет легче приспособиться к новой письменности... И все же Борис-Михаил не спешил навязывать свое мнение. Он хотел поближе познакомиться и с другой, глаголической азбукой, которая выглядела красивее, но для написания была труднее. Этот вопрос надо было решать, чтобы приступить к размножению необходимых книг.

Докс жил на широкую ногу. После князя он владел самым большим числом рабов и самыми обширными землями. Несметными были его табуны и стада. Богатство давало ему возможность изучать целебные травы, языки, историю народов, литературы... У него было много сыновей и дочерей, но особенно любил он Тудора, который был похож на него. Тудор унаследовал разнообразие его интересов, связанных с познанием человека. Отец и сын питали слабость к книгам и народному творчеству, к сказкам, песням, былинам, заклинаниям, к заговорам от змеиного укуса, от бычьего рога, стрелы и копья, от овечьей парши, от болезней — словом, ко всему вековому опыту предков. Нищие, приходившие в Плиску отовсюду, знали об этих пристрастиях Докса и его сына, и потому по большим праздникам перед их домом всегда толпились убогие и слепые, умные и глупые, хитрецы и лжецы, чтобы рассказать рабам Докса, грекам-скорописцам, обо всем, что они слышали и видели, скитаясь по городам и весям. На следующий день отец и сын выслушивали все записанное и щедро одаряли того, чей рассказ им нравился. Это стало традицией,

и люди — кто шутя, кто гневаясь — стали называть иніцих «Доксовыми детьми».

Появление пресвитера Константина и священника Марко не произвело на людей никакого впечатления — что ж, еще двое прибавились к «детям Докса». Конечно, эти двое не были странниками, но ведь у Докса жили и такие знахари, которые не желали продавать свои знания, хранили их в тайне. Разумеется, Докс принимал только тех, у кого действительно была большая слава. Он устроил Константина и Марко в домике отдельно от остальных и запретил слугам впускать к ним посетителей без его разрешения. Этот запрет озадачил священников, но Докс объяснил им причины: князь желает, чтобы все дела, относящиеся к новой письменности, оставались тайной, и, во-вторых, у них, как у носителей нового, может оказаться очень много врагов. Князь предпочитает видеть их здоровыми и невредимыми, а не внезапно погибшими и не успевшими оставить после себя ничего полезного для его народа.

Эти объяснения несколько успокоили Константина и Марко, и они окунулись в работу. В сущности, она состояла в том, чтобы выбрать одну из азбук. Исходя из моравского опыта, оба пришли к тем же выводам, что и князь. То, что во времена Константина Философа считалось недостатком первой азбуки — ее близость к греческой,— теперь было ее преимуществом. Обстоятельства так сложились в болгарском государстве, что первая азбука им больше соответствовала. И многие знаки были близки к греческим, и так приспособлены, что отражали характерные звуки славяно-болгарской речи. Сказалась еще и большая привязанность Марко к первой азбуке — так что оба были целиком за нее.

Пока они ждали приглашения к князю Борису-Михаилу, Марко написал новое стихотворение. В нем он воспевал свою радость от богодухновенной души болгарского князя. Тяжелыми шагами ходил Марко по деревянному полу, и при каждом шаге доски глухо вздыхали, будто удивлялись его творческому дару. Пресвитер Константин задумчиво облокотился на стол. Слова Марко не доходили до него. Он думал о собственной жизни. От деда и отца, которые часто приезжали в Плиску, чтобы получить различные распоряжения, он слышал очень много рассказов о столице болгарского князя. Последний раз они там были в связи с войной против сербов и мораван. Отец, один из приближенных князя, должен был подготовить своих воинов к походу. В поход отец впервые взял с собой и Константина, его тогда звали Кинамом. Он любил скакать на быстрых конях и хвастать меткостью стрельбы и силой рук. Но все это было когда-то. Кинама взяли в плен под Нитрой в самом начале войны. Их послали разыскивать кузнецов, и они наткнулись на мораван. Два товарища Кинама убежали, но он, будучи впервые на войне, считал бегство уни-

жением и хотел встретиться с врагом лицом к лицу. Его молодой пыл быстро погасили, дело не дошло до рубки. Искусно брошенный аркан свалил его на землю и едва не задушил. Он очнулся лишь тогда, когда уже был привязан к крупу собственного коня, а конь — к черному жеребцу, на котором сидел тот, кто заарканил Кинама. Лишь он один знает, что он испытал. Хорошо, что святые братья приехали в Моравию. Наум заметил Кинама среди дворцовых рабов Ростислава и попросил братьев освободить его. Так Кинам оказался в этом необычном и интересном содружестве, так впервые познакомился с учением Христа и навсегда заболел им. Он пожелал окреститься. Кинама назвали в честь его крестного отца Константином. С этого дня он забыл свое языческое имя и добился таких успехов в освоении нового учения и письменности, что вскоре архиепископ Мефодий выделил его из учеников и рукоположил пресвитером. С самого начала Константин подружился с Марко, они жили в одной келье, и благодаря другу он полюбил первую азбуку и стихотворчество. Пресвитер Константин сам удивлялся своей способности к иностранным языкам. Он брался за них с чувством, будто уже знает их, и вскоре действительно овладевал ими. Так было с латынью и с греческим.

Теперь он вернулся на родину, чтобы сеять семена новой письменности, созданной его крестным отцом. Сравнивая две азбуки, он невольно ловил себя на том, что сам предпочел бы более близкую к греческой: во-первых, ее буквы легче писать, во-вторых, они чем-то похожи на те староболгарские знаки, которыми когда-то пользовался простой народ. Разумеется, те знаки не составляли системы, но они помогали, когда надо было что-то хорошенько запомнить. Каждый знак выражал целое слово или мысль, и поэтому они были трудны для изучения и толкования. Они были принесены из далекой прародины его народа и порастерялись за время долгого пути. По значимости их никак нельзя было сравнить с теми, которые создал Константин Философ, но ими все-таки еще пользовались.

Пресвитер Константин, конечно, не думал воспользоваться ими, он только вспомнил о них. Мысленно шел он по пути своего познания... Ему было семнадцать, когда шею захлестнула петля аркана. С тех пор прошло около двадцати лет — время достаточное для того, кто ищет знаний, чтобы многое понять, усвоить церковные догмы, заполнить пустую суму странника бесценными сокровищами старателя. Но в отличие от золотоискателей, которые всю жизнь грезят о счастье, он с самого начала напал на сокровище — на неисчерпаемые знания святых братьев. И он доволен пройденной дорогой... Пресвитер вздрогнул: кто-то тяжело поднимался по лестнице. Доски скрипели, и слышны были голоса. Он встал. Марко тоже пошел посмотреть, кто идет, но тут дверь отворилась, и на пороге показалась слегка сутулая фигура князя.

5

Их пригласили не на диспут, а на суд. Но, несмотря на это, Горазд и Климент достойно защитили дело святых братьев и Святую Троицу, как ее толковала константинопольская церковь. Святополк, ничего не понимавший в споре, хмурил брови и глядел исподлобья, точно волк. В конце он поднял руку, чтобы установить тишину, и сказал:

— Я сознаю свою необразованность и свое невежество в церковной догматике. К тому же я не знаю грамоты. Но христианство я принимаю — и навсегда. Все же я не в состоянии разрешить этот спор и не могу различить правоверного учения от лжеучения. Поэтому я рассужу вас по-христиански, как обычно делаю, когда решаю другие споры. Кто первым подойдет и поклянется, что верует правильно и православно, тот, согласно моему правосудию, ни в чем не грешит против веры. Ему я и передаю церковное главенство.

Вихинг, сидевший рядом с князем, тотчас же схватил его руку, поцеловал ее и, перекрестившись, сказал:

— Я поклялся!

Горазд, Климент, Наум, Ангеларий и Марин были сбиты с толку таким решением. По всему было видно, что оно подготовлено заранее. Горазд хотел возразить, но Святополк снова поднял руку:

— Если окажется, что кто-нибудь не исповедует веры франков, он будет им передан, чтобы они делали с ним все, что захотят! — И князь покинул зал.

Наступила полная тишина. И тогда зазвучал громкий, мощный голос Горазда:

— Я верую в единого Бога-Отца и Сына и Святого духа, который исходит от Отца...

Этих слов было достаточно, чтобы люди Вихинга набросились на него с дикой злобой. Они поволокли его, окровавленного и страшного, на площадь. И тут из рук в руки стал передаваться меч. Последний, кто получил его, взмахнул им, и голова Горазда покатилась в пыль. Все это произошло на глазах у княжеской стражи. Климент, Наум, Марко, Ангеларий и Лаврентий уже сидели в подземелье ближайшей крепости. Один из священников Вихинга, опасаясь взгляда Ангелария, так хватил его по голове чем-то тяжелым, что тот еле дышал. И пока Климент ухаживал за полумертвым Ангеларием, остальные дрожащими голосами молились тому, кто должен был защитить их... По крикам, долетавшим с площади, Климент понял, что совершается расправа над Гораздом. Вдруг поднялся неистовый вой, который постепенно удалялся по направлению к монастырю. И больше узники не слышали никаких звуков извне, лишь их молитвы звучали в тишине подземелья. Так продолжалось два дня. На третий с

самого утра были предприняты попытки сломить просветителей, заставить их отречься от восточнохристианской церкви и славянской письменности. Их морили голодом, грозили отрезать языки. На площадях жгли книги. Богатство, которое в течение стольких лет создавалось бессонными ночами и накапливалось в сокровищнице славянства, было предано огню. Погибал труд многих людей, искоренялись семена мудрости, и превращалось в пепел великое дело святых братьев. Начались жестокие преследования всех ревностных сторонников славянских просветителей: их хозяйства разоряли, жгли дома, угоняли скот. Но были и такие последователи святых братьев, кто отказался от них и вместе с их врагами бесчинствовал над своими. Около двухсот молодых людей, принявших духовные звания от Мефодия, собрали на торжище за княжеским дворцом и объявили рабами для продажи. Это разожгло алчность немецких священников, которые поспешили отделить тех, кто помоложе, чтобы продать их иудеям, а учителей — Наума, Климента, Ангелария, Лаврентия и Марина — заковали в кандалы. На пятый день принесли полумертвого Савву. Все это время он вместе со слугами и послушниками оборонял монастырь. Когда ворота были взломаны, Савва повел своих воинов против людей Вихинга. Голова Саввы была разбита ударом палицы, и он умирал под пение молитв, оплакиваемый теми, с кем делил и радость, и горе. Его лицо было изуродовано, в груди торчали сломанные стрелы. Бродяга, раб, священник, верный сторонник братьев, Савва достойно боролся за их дело. Изувеченный и обезображенный, он наводил страх на людей Вихинга — Савва один пробился сквозь их черный заслон, оставляя за собой покалеченных врагов.

Участь Саввы опечалила узников. Они стали молиться еще настойчивее и горестнее. Им не хотелось верить, что Горазд убит, и всякий раз, когда открывалась дверь, они ожидали увидеть его, но он не приходил. Не пришел он даже тогда, когда разразилось первое землетрясение. Все подземелье начало трястись и разваливаться под звуки молитвенных песнопений. Камни трескались, и кандалы, вмурованные в стену, со звоном падали к ногам. Это было истинное чудо. И горожане Велеграда впервые смутились от этого знамения. Кое-кто из сторонников славянских просветителей пошел к князю, но он не принял их. Второе землетрясение испугало и тех, кто были яростными врагами Мефодия и его учеников, но, чтобы скрыть свой страх, они набросились на всех, кого обзывали слугами дьявола, колдунами и нечестивцами. На сей раз князь уехал из столицы в одно из своих имений. Третье землетрясение заставило врагов задуматься, и, после того как они вдоволь поиздевались над славянскими просветителями, они приказали стражникам увести их из города и прогнать из моравской земли. И святые мудрецы, оборванные и голодные, босые и нагие, поплелись по грешной земле, которую они лелеяли в своих

мечтах и в которую столько лет сеяли семена новой письменности. Стражники кололи их копьями, чтобы шли быстрее, ругали, волокли за длинные бороды по терновнику. И лишь когда сами утомились окончательно, а густой придунайский туман стал ложиться на дорогу, они бросили несчастных в чистом поле, предоставив их судьбе. Было холодно. Ангеларий едва держался на ногах, он все время плевал кровью. Климент, на котором еще остались лохмотья одежды, отдал их ему. И тут, на перепутье жизни, они решили разделиться — ведь если они погибнут вместе, то пропадет все, а так они могли еще надеяться, что хоть кто-нибудь из них спасется и сбережет азбуку святых братьев, которая хранилась в их измученных головах и ожидала дня своего воскрешения. Климент, Наум и Ангеларий должны были отправиться в Болгарию, Марин и Лаврентий — в Хорватию и Словению. Стоя на высоком холме, облепленном влажным дунайским туманом, они обнялись, простились перед разлукой и пошли в разные стороны, мучимые голодом и холодом.

Климент с товарищами встретил рассвет на краю какого-то села. Расположенное в низине, оно утопало в тумане — едва видны были лишь несколько крыш. Путники подождали, пока взойдет бледное солнце. Вскоре они повстречали пастуха, который гнал стадо коров на пастбище. Разговорились. Пастух был добрым человеком, он сказал, что его хозяин — сторонник славянских просветителей, дал несчастным хлеба и посоветовал им дождаться вечера за околицей. Когда стемнело, появился хозяин с одеждой. Одевшись во что пришлось, они осторожно прошли к нему в дом. Три дня прожили в покое и тепле. Ангеларий заметно окреп, перестал сплевывать кровь. Хозяин был рад, что оказал помощь мученикам. Он относился к ним с почтительным уважением. Вечерами допоздна обсуждал с ними дальнейший путь. Селение лежало на берегу большой реки, и хозяин послал слугу в приречный лес срубить деревья покрепче и построить плот. Все это делалось втайне от чужих глаз. На следующий день ученики Мефодия должны были незаметно уйти и уплыть по реке. Но когда все сидели за ужином, неожиданно вернулся из города единственный сын хозяина. Он был удивлен присутствием незнакомых людей. Поняв, кто они, сын побледнел, вышел во двор и позвал отца. И Климент услышал, как сын говорит:

— Если они узнают, они сожгут наш дом. Чтобы не случилось зла, надо будет рано утром сообщить им...

Кому он хотел сообщить, Климент не знал, но, судя по всему, сын не желал им добра. Вскоре они вернулись в дом, но отец был озабоченный и грустный. Тогда Ангеларий долгим взглядом посмотрел на молодого человека и, прикоснувшись пальцами к его лбу, усыпил его.

Хозяин ничего не заметил, но рано утром, когда он хотел раз-

будить сына, тот не просыпался и лежал как мертвец. В доме поднялся шум. Мать плакала, отец ходил сам не свой, ему не хотелось верить, что с единственным сыном случилось самое худшее. После обеда, не в силах сдержать себя, он с горечью стал обвинять в беде гостей, назвав их колдунами и врагами единого бога. Он решил, что господь покарал его за то, что он оказал гостеприимство этим людям, грешным перед богом. Он уже хотел собственными руками связать их и передать в руки врагов, но Климент сумел убедить его в их добрых чувствах. Когда старик успокоился, Климент сказал:

— Ты ошибаешься, думая, что мы виновны в смерти твоего сына. Мы уверены, что ради нас господь вернет ему жизнь.

Когда их молитвы заглушили плач матери, Ангеларий наклонился над парнем, и, к великому изумлению всех, тот открыл глаза...

Тогда хозяин упал на колени и стал просить прощения за слова, которыми обидел гостей. Климент видел радость и раскаяние на его лице и чувствовал себя виноватым в том, что он и его друзья причинили ему столько хлопот и тревог. Вечером трое гостей простились с добрым человеком и пошли к реке, туда, где их ждал плот. С трудом спустив его на воду, они поплыли вниз по течению.

6

Гроза надвинулась неожиданно, раскаты грома гулко грохотали по небу, как топот копыт целого табуна, сбившегося с пути на бешеном скаку. За далекими холмами, непрерывно наплывая, клубились черные тучи, а между тучами и холмами возникло какое-то странное серебристо-металлическое свечение. Деревья на гребне холмов походили на хищные руки, которые стараются поймать и задержать тучи. Дикий свист вихря в ветвях заполнил всю долину и заставил сердце кавхана Петра сжаться от недоброго предчувствия и опасения за судьбу созревших хлебов. Лишь бы не выпал град! Тучи были черные, и это его немного успокаивало.

Кавхан скакал на гнедом коне в белых «носках» и время от времени оглядывался на свою маленькую свиту. Все припали к шеям лошадей, чтобы не сорвало ветром.

— Остановимся, а? — крикнул кавхан, но его слова утонули в шуме бури.

Доскакали до большого утеса. Здесь ветра не было. Кавхан соскочил с коня и, взяв его под уздцы, оперся спиной о скалу; то же самое сделали и остальные. Во всполохах молний Овечская крепость, возвышавшаяся на горе, была похожа на человека, который шлет про-

клятия небесным силам. Виднелись только две башни у ворот, а может, была всего одна и она раздваивалась при вспышках молний. Кавхан, который много раз бывал в крепости, теперь спрашивал себя, сколько башен на самом деле — одна или две? Час назад они покинули цитадель, увозя с собой недоброе чувство к ее таркану. Он стал большим приятелем Расате-Владимира и часто выезжал с ним в лес на охоту, а рабы рассказывали об их пьяных гульбищах и о женщинах, которые под покровом темноты приходили неизвестно откуда. Эти женщины потом неделями не уходили из крепости, и их разнузданный смех тревожил селение внизу, где люди, порой мучительно борясь с собой, старались жить, не нарушая новых законов и предписаний. А они были строгими и суровыми. «У кого есть жена, и он блудит с рабынею, то надо поймать распутницу, и князь этой страны должен изгнать ее и продать в другую страну, а деньги за нее раздать бедным.

Прелюбодей должен по божьему закону быть отдален от людей и семь лет обязан соблюдать пост: два года он не имеет права входить в церковь во время литургии, а должен стоять снаружи; еще два года он может быть в церкви только до чтения святого Евангелия, а в остальное время пусть стоит снаружи; следующие два он может слушать литургию только до «Верую в единого бога» и лишь на седьмой год получает право слушать всю литургию, но еще не может есть скоромного. Все семь лет он должен есть только хлеб и пить воду!» Еще строже был закон для неженатых мужчин: закон обязывал их заплатить тридцать солидов рабыне и ее хозяину и поститься в течение шести лет, а если мужчина был беден, то у него отнимали все имущество и отдавали хозяину рабыни. Эти законы должны соблюдаться всеми, если князь и его приближенные хотят, чтобы их подданные и рабы верили им. И разве справедливым князем будет тот, у кого существуют две различные мерки для подданных?

Слухи о Расате-Владимире и овечском таркане быстро распространялись и очень огорчали Бориса-Михаила. Слухи были неопределенные, и потому князь не спешил принимать меры, но когда их подтвердили «Доксовы дети», князь велел кавхану немедленно скакать в Овеч. Кто-то, похоже, упредил таркана, так как Петр застал крепость в полном порядке. Ему сказали, что внизу есть какие-то женщины, и кавхан распорядился, чтобы их привели, но они оказались молодыми жницами, идущими в Загорие в сопровождении старого годулара на тощем осле. Девушки, впервые отправившиеся на заработки, сгрудились за спиной старика и с безграничным любопытством глазели на кавхана и его людей.

Петр отпустил их, а сам, поговорив с тарканом об урожае и новых рабах, тронул коня и поехал вниз. Свита последовала за ним. Кавхан ехал и думал об увиденном и неувиденном. Увидел он непри-

ступную, в хорошем состоянии крепость, но уносил с собой ощущение, что его обманули, что таркан вовсе не испытывает уважения к послам князя, а увиливает, как уж.

И теперь, слушая шум бури, кавхан старался проникнуть в мысли таркана. По всему было видно, что этот человек не желает им добра. Во время прошлого бунта он принял у себя часть войск Ирдиша-Илии, которые были выделены в резерв, и благодаря этому вошел в доверие к Борису-Михаилу. Но тогда и не могло быть иначе. Таркан очень хитер, он понимал, что бунт будет подавлен, так как у князя большое войско... У кавхана Петра было тонкое чутье на такие вещи. Он встречался в Риме с папой, сталкивался в Константинополе с византийским лукавством, встречал и провожал немецких послов, которые перед своим прибытием распускали слух о своей непобедимости в дипломатической игре, а теперь вот таркан, укрепившись на высокой скале, пытается перехитрить его. Кавхан уехал из Овечской крепости, прикинувшись довольным тем, что видел и слышал, но он заметил и хорошо запомнил лукавое подмигивание таркана своим людям, торжествующую усмешку, спрятанную под нависшими усами, и непочтительность, прикрываемую патиной фальшивой любезности. Этого ему было достаточно, чтобы понять, кто стоял против него — друг или затаившийся враг князя.

Мелкая морось посыпалась на камни, а вслед за нею, тяжелые, как расплавленный свинец, стали бить крупные капли дождя, раздался страшный удар грома, и по небу покатился грохот, будто застучали колеса на спуске. И вдруг все прошло: облака, серебристое сияние, ветерок и такая напряженная тишина, что кавхан сам себе не поверил. Он отстранился от утеса и поднял голову. Рассеянное воинство облаков панически бежало, лишь одна черная тучка, как отставшая овца, старалась догнать громадное стадо. И кто знает почему, по кавхану показалось, что она оглядывается и — ха-ха! — сейчас заплачет. И она заплакала. Слезы заструились синеватыми прядями, повисшими между небом и землей. Солнце весело взглянуло на эти слезы, и засняла чудная радуга.

— Божьи дела! — вздохнул кавхан и по привычке перекрестился. Эта привычка осталась со времен поездок в Рим и Константинополь, где он крестился направо и налево, чтобы угодить слугам божьим... Опершись ногой о камень, Петр ловко вскочил в седло. Гнедой конь цокнул копытом по мокрой дороге и уверенно пошел вперед. Поле сейчас пахло свежестью, мокрой пылью и мокрой соломой. Сквозь густую листву деревьев доносились птичьи голоса, где-то в ущелье кукушка упорно отсчитывала годы. Кавхан остановил коня и похлопал себя по груди и карманам — чтоб не ослабевало здоровье и не уменьшалось богатство. То же самое сделали и его спутники. Старые приметы сохранялись, и, наверное, они никогда не ис-

чезнут, несмотря на новую веру, новых богов: Отец, Сын и Святой дух... Кавхан Петр не утруждал себя копанием в церковных догмах. Основы новой религии он знал, остальное — для попов и епископов. Кавхана интересуют государственные дела. Большой бедой для Болгарии будет, если оружие окажется не в порядке, если воины утратят боевой дух, если опять наберут силу семейные кланы в ущерб остальным людям. Ныне, когда болгары и славяне равны, всякая несправедливость сразу станет оружием против единства страны. И все же старые роды не могут отказаться от вековых традиций, они продолжают поддерживать и выгораживать своих. Только женитьбы разрывали эти крепкие связи — сыновья отчуждались от отцов, создавались новые порядки, и лишь самые древние поселения времен Аспаруха все еще не воспринимали нового. Веру они признали, в церковь ходили, но никто не мог проникнуть в их семейный круг. Многое приходило извне в эти поселения, но ничто не выпускалось оттуда. Люди в шутку называли их «капанцами»: подобно большим волчьим капканам, сжали они свои железные зубы и не расставались ни с чем старым, придерживались дедовских порядков. Лишь в этих поселениях сыновья не женились на славянках. Все браки заключались внутри рода. Если капанская девушка «выскакивала» за чужака — парня из другого села, даже не за славянина,— смерть неизменно приходила к молодоженам самыми различными таинственными путями. Капанцы жили замкнуто, за высокими плетнями, и огненные стрелы женихов все еще продолжали взлетать над высоким терновником, извещая об их любовных волнениях.

Кавхан не знал, что можно сделать, чтобы перебороть этих капанцев. Расселить? Назначить у них старостами славян? Но в общем-то они не создавали хлопот. У них были попы, которые всюду нахваливали их примерную набожность. И все-таки капанцы были искрой, которая тлела под грудой пепла, придет день — из нее может возгореться пожар. Кавхана и злило, и восхищало их упорство. Сам болгарин, он не мог отбросить все болгарское. Кровь влекла его к своим, но если он хочет быть справедливым ко всему населению страны, надо приглушать голос крови. Справедливость и пристрастие несовместимы... Иногда, вернувшись из далекой поездки, он ловил себя на мысли, которая заставляла его оглянуться вокруг. Ну ладно, государства воюют друг с другом, потому что люди принадлежат к разным народам, но почему церкви, поклоняющиеся одному богу, не могут поделить божье стадо и непрестанно борются между собой? Может, и тут все дело во власти: кому владеть душами людскими? Государственная власть чем-то похожа на яблоко: если не будет червей, которые ее подтачивают и подгрызают, она потеряет смысл и люди поймут, что можно жить и без нее... К сожалению, черви все еще есть, и власть укрепляет себя, непрестанно напоминает людям, что

существует ради их блага. Такова государственная власть, но церковная? Зачем двум божьим служителям, римскому папе и константинопольскому патриарху, воевать меж собой? Разве человек на том свете предстанет не перед одним судией? Какой же смысл тогда разрываться между одним и другим наместником бога на земле? Однако это все, такое огромное, не для его ума. Пусть этим занимаются в Риме и Константинополе. Его работа — рядом с князем, и никому не удастся вклиниться между ними и подорвать их доверие друг к другу...

Солнце достигло зенита и палило немилосердно. Только что прошел дождь, и едва заметная дымка струилась над стерней. Приятно, усыпляюще пахло мокрой соломой. Через поле, задрав хвост, бежала корова, преследуемая слепнями, а следом, размахивая палкой, мчался во весь дух босой пастушок. И кавхану вспомнилось детство... Отец, Иоанн Иртхитунн, не баловал их. С малых лет учил трудиться. Сколько отметин от острой стерни у него на ногах! Кавхан невольно потрогал шрам на голове от первой поездки верхом. Отец посадил его на коня — и держись как хочешь. И он долго держался, пока на пути не попалась речушка — та, за болотом. Конь поскользнулся, и Петр перелетел через него. Отец нашел его окровавленного, с раной на голове. Лечили по старому обычаю, завернув в бараньи шкуры, и сразу после выздоровления снова посадили на коня. Он должен был раз и навсегда преодолеть страх и запомнить, что половина его жизни пройдет верхом на коне. Слава богу, родители все делали правильно. Кавхан Петр благодарен им. На коне он чувствует себя как в широком и удобном кресле. Во время ханских праздников все выходят полюбоваться его ловкой джигитовкой. На скаку он поднимает с земли шапку зубами, свесившись, стреляет из лука между ногами коня и попадает в движущуюся цель. Хорошо закалил его отец, но одного не может Петр понять — отношения отца к Сондоке. Брат не желал привязываться ни к земле, ни к коням, и отец не настаивал, позволил ему расти, как он хочет. Брат так и рос. Ему нравились веселые песни, приятные беседы за столом. В отличие от Сондоке сыновья его выросли трудолюбивыми и упорными. Все унаследовали добродетели рода, даже дети от второго брака, со славянкой, и те ничем, кроме светлых волос, не отличались от остальных. Дочь Сондоке, Богомила, свела с ума всех молодых мужчин в Плиске, и хорошо, что по княжеской воле ее выдали за сына Строймира. Иначе не обошлось бы без большой крови. У нее была пепельно-русая коса до пят и ясные синие очи на смуглом лице. Как две звезды, сияли они под черными ресницами и кружили головы молодым людям. Каждое хоро заканчивалось ссорой — кому танцевать с ней. Кавхан немножко боялся за сына Строймира, многие были без ума от нее, и это не сулило ему ничего хорошего. А так парень был добрым и спокойным, как отец. Но столько доброты не полагается мужчине, потому что некоторые приравни-

вают ее к глупости. Даже князь, когда однажды речь зашла о Клонимире, сказал:

— Повезло дочери Сондоке, попался ей добрый муж. Иной раз, глядя на него и слушая его, думаешь: как это получилось, что столько доброты собралось в одном человеке? Он такой добрый, что даже глупеет от доброты...

Если бы жив был отец кавхана, Иоанн Иртхитуии, он улыбнулся бы сдержанно и сказал бы:

— Ты прав, государь!

И он сказал бы так, ничуть не лицемеря, потому что князь наилучшим образом выразил его мысли. Еще на свадьбе, приглядываясь к молодоженам, старик заметил:

— Вот слушаю я жениха, радуюсь, и кажется мне, что такая доброта не для нашей Богомилы. Обведет она его вокруг пальца и будет пускать пыль в глаза, скрывая свои прегрешения. При таком добром муже женщине трудно не согрешить...

Петр тогда засмеялся, поняв слова отца как эхо его неутихающей ненависти к сербам с тех пор, как они разбили его войско в горных ущельях, но со временем увидел, что Богомила действительно стала в доме полновластной хозяйкой, а муж — ее доброй, улыбчивой тенью. Красота жены ослепила его. А Богомиле нет еще и двадцати лет... Зачем, однако, под этим палящим солнцем копаюсь я в жизни племянницы? У меня ведь и своих забот хватает. У нее есть муж, пусть он и думает о ней. И все-таки не дай бог, чтобы когда-нибудь пришлось судить Богомилу по новым законам. Такая красота не для одного мужчины...

Кавхан хлестнул коня, и свита помчалась вслед за ним.

7

Борис-Михаил жил в нетерпеливом ожидании беглецов, о которых ему сообщил гонец белградского таркана Радислава. Мефодий умер в Моравии, но бог не забыл о болгарском государстве. Он посылал ему самых славных учеников святых братьев: Климента, Ангелария и Наума. Борис поручил Доксу приготовить жилье для дорогих гостей и помалкивать об их прибытии. Не к чему создавать шум и излишние осложнения с византийскими священниками. Они уже достаточно раздражены приездом в Плиску Константина и Марко. Слух о них распространился в столице, и люди упорно старались понять, над чем эти двое так усердно работают под заботливым присмотром княжеского брата... Докс все так же по-доброму улыбался и отпускал меткие шутки. Число «Доксовых детей», бродивших по дорогам, все росло. Они собирали не только знания о целебных травах и во-

дах, не только мудрые изречения, но стали своего рода ушами и глазами княжеского брата. Докс узнавал вести раньше Бориса. Бродяги были быстрее самого быстрого гонца. Заметив их у крепостных ворот и услышав от них имя Докса, стража впускала их без досмотра... Согласно старым законам Крума, никто в государстве не имел права отказать в пище голодным и нищим. Однако те же законы предусматривали жестокие наказания для разных обманщиков, воров и убийц, и поэтому нищие старались соблюдать все предписания. Они входили через большие каменные ворота, точно кроткие божьи коровки, насквозь пропыленные и загадочные, и их тяжелые дорожные палки глухо стучали по каменным плитам. Прежде чем отправиться к Доксу, они останавливались у чешмы, чтобы умыться, привести в порядок бороды и мысли. До них уже дошел запах дыма от сожженных в Моравии книг, и они были первыми вестниками несчастья. Они знали и о трех землетрясениях, которыми бог покарал эту страну. Им был известен путь трех учеников Мефодия, о выходе которых на берег Дуная уже знали в Плиске. Просветителей ждали здесь в сопровождении людей белградского таркана...

Синим и бездонным было небо, а горы — умиротворенными и великими. Хлеба звенели золотом о своей зрелости, и все навевало покой и радость. Где-то вдали пели жницы, и песни их, отражаясь от небесной синевы, слетали, как изнуренные птицы, на теплую грудь земли, чтобы свить свои гнезда и породить новую радостную надежду. Климент слушал эти песни и все еще не мог поверить в избавление. Долго плыли они втроем по быстрому Дунаю на утлом плоту, прежде чем их увидели люди белградского таркана, предоставившие им кров и пищу. И пока ожидали дальнейших распоряжений, они обдумывали все, что с ними произошло, и набирались сил для новых свершений. Слава богу, злоключения остались позади, и в будущем виделись только хорошие дни. И теперь путники шли навстречу этим дням, как жаждущий — к прозрачному роднику, как замерзающий — на свет далекого огонька и как голодный — к гостеприимному очагу, где его ждет теплый хлеб и ласковая рука милосердия. Трое исстрадавшихся учеников святых братьев не спрашивали, куда их ведут, не задавали вопросов, уклончивые ответы на которые могли бы растревожить их сердца. Они доверились людям князя, и каждый из них по-своему представлял себе землю, по которой они ехали и где нашли доброе слово и приют. Климент, глядя на эту равнину, блистающую золотом зрелых хлебов, невольно вспомнил о книге рода, написанной отцом. По площади Велеграда ветер, наверно, уже развеял щепотку черного пепла, в который она превратилась. Но книга продолжает жить в его памяти, неизгладимая и неистребимая, как его жизнь. И если когда-нибудь он найдет время для себя, то попытается восстановить ее со всеми истинами и несовершенствами, красотами и

слабостями, изложенными рукой одаренного человека, хотя и не знакомого с большой наукой письма. Отец покинул людей, чтобы осмыслить свое место на грешной земле, и его рука оставила такой след:

«Все люди одним и тем же путем приходят на свет божий, без одеяний и отличий, которые они получают со временем. Иногда случается так, что глупец поучает умного, слепой ведет зрячего, а самый большой нечестивец учит честного честности. Почему? И я, многогрешный, покинул кров себе подобных, чтобы уйти в горы и стать судьей самому себе. Ошибся ли я? День за днем задаю я себе этот вопрос и все ищу на него ответ, ибо и по сей день я не нашел его ни в златопечатном слове пророков, ни в мудрых книгах святых отцов. Я стою на вершине горы и смотрю вниз и, возможно, вижу лучше многих других, у которых нет крыльев, чтобы возвыситься над своей грешной, влачащейся в земной пыли судьбой. Я понимаю, что чего-то не хватает людям, чтобы быть добрыми и справедливыми... потому что тот, кто имеет много, жаждет еще больше, а кто не имеет, хочет не умереть в нищете, так почему же у него ничего нет? Чем он хуже других, имущих уже от рождения? Не чрезмерно ли я, многогрешный, возвышаю свою мысль, содержащую укоры и вопросы, непосильные нам, бескрылым тварям?.. Я стою на вершине горы и смотрю вниз, где люди пожирают друг друга во имя своей правды, ибо каждый думает, что только он прав. Но что такое правда? Разве можно ее, как вола, запрячь в телегу, везущую одного человека? Ведь те, кто следует за телегой, не защищены от пыльного облака, поднимаемого колесами. Боже, господин над людьми, не дай душе смертного твоего разорваться от искусительных вопросов! Смилуйся над грешником и открой мне глаза на истину! Я пошел искать ее, ради нее покинул свой род, отказался от почестей, от друзей и врагов, я двинулся в путь за видением своей молодости, которое было дано мне вместе с любовью и верой и которое возвысило меня до этой вершины, откуда я смотрю на мир и вопрошаю...»

Вопросы эти постоянно занимали Климента, и тут отец с сыном часто расходились. В то время как отец избрал для себя горную вершину, чтобы вдали от суетных будней наблюдать с высоты за людьми, сын спустился с вершины к людям, чтобы учить их правде и справедливости. Климент исколесил немало дорог, немало горечи впитала его душа, но он ни разу не усомнился в избранном пути. Глядя с вершины, ничего невозможно постичь. Если бы это было не так, то его учителя, Константин и Мефодий, не пошли бы в простых власяницах просвещать людей, совершать добрые и справедливые дела. Туман дольше всего держится в низинах, и потому свет нужнее всего там.

Песня жниц лилась в поднебесье над отцовской землей, и в воображении Климента возник буйный конь молодого ичиргубиля из

семьи Куригир, нетерпеливо бьющий копытом землю, на которой остались следы от изящных ножек красивой славянки. Молодой ичиргу-биль пошел вслед за нею и пришел... на ту вершину вопросов и сомнений. Сын не помнил молодости ичиргубиля, но его старость и смерть неизгладимы в сознании Климента. И последние его слова о бочонке с дубовым пеплом, предсмертный бред о священном дубе лежат в самой глубине сыновнего сердца, и, пока Климент дышит, они будут жить в нем. Теперь, когда и заветная книга рода превратилась в пепел, Климент остался его единственным продолжением. Только бы суметь восстановить книгу отца или изложить свои мысли и поучения в книгах, чтобы хоть что-то осталось от того, кто достиг вершины горы...

Климент чувствовал, как палящие лучи солнца проникают сквозь длинную власяницу и выгоняют последнюю влагу из его костлявого тела. Грязные капли пота текли по лбу, и он часто вытирал их домотканым платком. Дорога извивалась между подножиями гор, хлебными полями и тенистыми дубравами, но возницы будто и не думали останавливаться. Кони размахивали хвостами и с ожесточением били по мухам, облеплявшим потные крупы. В духоте летнего дня как предупреждение о чем-то непоправимом глухо звучал сиплый кашель Ангелария. Сырые дунайские туманы вызвали у него новый приступ боли в груди. И хотя еще в гостеприимном доме мораванина он перестал плевать кровью, большие сгустки мокроты отделялись с мукой, и нездоровый румянец играл на впалых щеках.

Ангеларию казалось, что с каждым днем странная лень все сильнее укачивает его на своих невидимых ладонях, липкий пот пропитывал его одежду. После удара в затылок люди Вихинга безжалостно топтали его ногами, и друзья удивлялись, что он остался цел. Они надеялись, что на новом месте он окрепнет и поправится. Если бы был тут Деян, то давно бы прогнал болезнь своими травами и кореньями, но старик навеки остался в чужой земле, рядом с учителем. Болезнь Ангелария напугала их еще в то время, когда в Белградской крепости они ожидали княжеского приглашения. Боритаркан Радислав велел своим лекарям заняться им, и по взглядам, которыми они обменялись, Климент понял, что здоровье Ангелария не улучшится. Лекари велели ему пить сыворотку из козьего молока и спать на овечьем навозе. Ангеларий для виду согласился, но отказался отделиться от друзей. Он обещал сделать все это на новом месте. Пока они ехали, он все яснее понимал: дни его жизни все больше и больше сокращаются. Слушая, как он кашляет посреди лета, один из возниц не выдержал и стал советовать есть горный мед вместе с сотами и пить отвар из сосновых игл. Ангеларий слушал и кивал головой, но его мысли, мутные и неясные, волочились за повозкой, словно хвост пыли. Много дорог исходил он по земле, много советов наслушался

и сам не раз поучал людей, но никогда еще поучения не касались его собственного здоровья. Он все думал, что болезням нелегко будет согнуть его, а теперь понял, сколь внезапно все изменилось и до какой степени неотвратимо надвигается незримое соседство смерти. Он уже дважды видел, как закрывает она глаза добрым и очень мудрым людям. В первый раз — глаза Константина, во второй — Мефодия. Теперь она шла рядом с ним, слушая песни жниц, и у него было ощущение, что если он неожиданно обернется, то увидит ее, сидящую рядом в повозке на свежем сене. Ангеларий представлял ее вполне зримо: как запыленную скиталицу, готовую идти вместе с ним до его недалекой уж кончины. Скрип колесных спиц напоминал скрип человеческих костей... Ангеларий постепенно начал сживаться с мыслью о своем конце, но если бы не мучительный кашель и холодный липкий пот в такую жарищу, он вряд ли думал бы о себе. И все же тихая жалость заполняла душу при мысли, что в хлебных полях и придорожных травах останутся муравьи, что птицы будут выводить птенцов и что даже паук будет плести свою тончайшую сеть, а его, Ангелария, не будет. Он долго готовился в свой последний путь, сколько слов знал о загробной жизни праведников и грешников, но теперь, когда приближался к границе потустороннего мира, ему не хотелось идти дальше. Поездка в столицу Бориса-Михаила представлялась ему спасительным бегством от смерти. Где-то там ждет его исцеление. Не может быть, чтобы княжеские врачи не нашли лекарства от его болезни. Он нужен людям, пергамент с нетерпением ожидает его умелой руки и его слов. И ему все казалось, что кони идут недостаточно быстро, а возницы не желают подгонять их. Словно угадав его мысли, Наум, который не любил сидеть в повозке и частенько шел пешком, слез и зашагал рядом. При каждом приступе кашля он доставал из кармана власяницы куски ладана и спешил дать его другу. Сначала Ангеларий отказывался, но постепенно убедился, что ладан успокаивает кашель. Вот и теперь горький вкус ладана притупил раздражение, и кашель прекратился. Это простое средство вернуло Ангеларию настроение, и на его лице снова засияла светлая добрая улыбка, всегда прятавшаяся в уголках его губ. У городских ворот Ангеларий сошел с повозки. Он хотел войти в город своей надежды с чувством победителя — победителя над страхом смерти...

8

— Небо тоже зовет к радости, великий князь.

— Человек создан для добра, святой владыка.

— Истинно так, великий князь. Да будет благословенно дело его во веки веков!

Архиепископ Иосиф вошел по мощеной дорожке в монастырский двор и взглянул на небо. Оно было чисто и покойно, как душа ребенка. Он подошел к князю и сказал:

— И сотворил боголюбивый и святой князь Михаил гнездо мудрости в устье реки Тичи! Да пребудет слава его, да святится имя его!

— Аминь! — подхватили епископы из свиты Иосифа.

Борис-Михаил подобрал подол власяницы и первым пошел к трапезной. У дверей в поклоне стояли повара и ожидали распоряжений князя и священников. Новая обитель, гнездо будущей литературы и просвещения, была построена в очень краткий срок по велению князя, и теперь он прибыл на ее открытие. И церковь, пахнущая свежей краской, и все другие здания были отделаны и приспособлены для работы с книгами. Кельи были небольшие, но уютные, с сенями, и только в представительском крыле было светское убранство. Просторные гостиные, удобные скамьи вдоль стен, застланные пестрыми коврами, создавали удивительную атмосферу веселости и душевной свободы. Трапезная — длинное светлое помещение с высокими окнами и красивыми дубовыми столами, поставленными буквой «Т»,— располагала к неторопливому принятию пищи и спокойному молчанию. Архиепископ и князь сели на главные места, остальные разместились в зависимости от сана и ранга. Духовные — со стороны архиепископа, светские — со стороны князя. Борис-Михаил подвернул рукава простой власяницы в ожидании блюд, взгляд его едва угадывался из-за опущенных ресниц. Усталость исходила от его лица, от склонившейся головы. Его волосы, длинные и слегка вьющиеся на концах, обрамляли суровый профиль. Две глубокие складки у рта исчезали в седоватых висячих усах, похожих на подкову. Их серебристые острые концы резко выделялись на фоне все еще темной, с рыжеватым отливом бороды.

Архиепископ встал, скамья резко скрипнула, он перекрестил хлеб, который князь должен был разделить. Борис-Михаил взял хлеб с выпеченным посередине крестом и легко разломил его на четыре части. Теперь пришла очередь архиепископа, и он разделил их на столько кусков, сколько людей было за столом, и отдал на подносе одному из братьев, чтобы тот раздал хлеб присутствующим. Обед начался.

Борис-Михаил первым встал из-за стола, поцеловал руку архиепископа и, получив благословение, медленно пошел к двери. За ним последовали только приближенные. Их ожидали кони и слуги. Оруженосцы встали по обе стороны князя, но он не захотел переодеваться и во власянице сел на коня. В черной одежде он выглядел словно ворон среди павлинов, но это не умаляло, а, напротив, подчеркивало его значительность и побуждало встречных крестьян и рабов кланяться ему до земли и креститься. Борис-Михаил, подобно архиепис-

копу, благословляя их слегка поднятой рукой. Он спешил вернуться в Плиску, где его ждали недавно прибывшие ученики Константина-Кирилла и Мефодия. Сначала князь думал подождать их приезда и пригласить их на открытие монастыря, но потом решил ускорить дело, чтобы было где разместить училище, которое он задумал. В этом монастыре должны работать только те, кто владеет пером и кистью, кто освоил славянскую письменность, а потому может быть полезен его народу. Несколько дней тому назад он встретил троих изгнанников из Моравии, но радость его была омрачена болезнью Ангелария. Он поручил Доксу так устроить их, чтобы обеспечить полное спокойствие для работы и отдыха, а также найти самого лучшего лекаря среди его «детей». Ангеларий нуждался в хорошем уходе. Он совсем исхудал — кожа да кости. С первого взгляда было видно, что все трое претерпели много мук. И Наум, и Климент тоже выглядели нездоровыми: изодранные, пропыленные власяницы, исхудавшие руки, заострившиеся скулы и ввалившиеся глаза с болезненным блеском. Так блестят глаза у голодающих — князь хорошо помнил это со времени засухи и других бедствий, обрушившихся на государство в ту лихую годину...

По дороге Борис-Михаил завернул в Преслав, чтобы посмотреть, как идет строительство. Вяз с гнездом аистов все так же возвышался в центре города. Во время одного из прежних приездов князь увидел такое зрелище, которое и до сих пор не изгладилось из его памяти. Они подъезжали к городу, как раз когда вставало солнце — оно будто повисло между двумя огромными ветвями вяза, уцепившись за большое гнездо аистов, которое заслонило полсолнца и само стало похоже на огромное светоносное яйцо, блестевшее в центре нового города.

Как тогда, так и сейчас слышался непрестанный перестук топоров, но теперь сквозь него явственно слышалось неумолчное щебетание воробьев, устроивших свои жилища под донцем аистиного гнезда. Этот гомон привлек внимание князя, и он усмехнулся: в городе уже есть своя жизнь и свои особенности. Там, где птицы, человек думает о высоте — о высоте ума и сердца. Крылатым городом будет Преслав, и слава его сохранится в веках. Его надо так отстроить и расписать, чтобы по красоте он не уступал Константинополю. Хватит уже рассказов сестры о красоте византийской столицы. Он, Борис-Михаил, постарается, чтобы не только в церквах, но и в площадях с украшениями из камня не было недостатка, чтобы и медь согревала его, и золото возвеличивало. Он не был в Константинополе, его глаза не видели этого города, но он не допустит, чтобы Преслав стал лишь тенью, лишь отражением византийской столицы. Вот вернется Симеон, и князь поручит ему строить Преслав так, чтобы он стал лучше Константинополя. За годы ученья Симеон по крайней

мере сумеет осмотреть византийскую столицу как следует и сохранит в памяти ее облик.

Там, где стена проходит по самому берегу реки Тичи, князь остановил коня. Надо дополнительно укрепить берег. Река — как наемный солдат, никогда не знаешь, о чем думает. Чего доброго, поднимется и подмоет берег. И не сегодня или завтра, а когда меньше всего ждешь, когда враги под стенами города... Нет, нужно укрепить русло надежнее, к чему рисковать? Князь позвал ичиргубиля Стасиса, изложил ему свои соображения и пожелал осмотреть строительство внутреннего города. Он застал мастеров за работой в здании, связывающем обе части дворца. В вестибюле перед парадной залой уже ставили медные оковки, в дуге абсиды наклеивали изразцы. В северном конце залы поднималась витая деревянная лестница, перила ее были украшены искусным узором, поблескивали шляпки кованых гвоздей. Борис-Михаил задумал превратить одно из цокольных помещений в книгохранилище. Оно должно быть сухим, легко проветриваемым, чтобы книги не портились. Глубоко вдохнув запах свежей древесины, князь вышел из прохладной залы. Летний солнечный день на мгновенье ослепил его, и он заслонил ладонью глаза. Деревья, кустарники и травы на близлежащих холмах сплелись в единую крышу, под которой шла своя, тайная жизнь природы. В опавшей прошлогодней листве черепахи искали прохладу ручьев, зеленые ящерки грелись на камнях — разинув рты, впитывая жару прямо сердцем. На склоне вот этой горы будто бы явился людям святой Пантелеймон вместе с какими-то всадниками, и Кремена-Феодора-Мария долго не оставляла брата в покое — настаивала, чтобы он построил обитель. Место, конечно, неплохое, но сперва надо закончить начатое, а потом браться за другое. Много взвалило себе на плечи государство, пригнулось под тяжелой ношей строек. В трех частях страны надо возвести по крайней мере по одной княжеской базилике, и пусть там молится его народ. Ни к чему все собирать вокруг Плиски и Преслава. Один очаг не может обогреть всю Болгарию. Много очагов нужно построить, чтобы разжечь пламя великой любви к Христу... На холме виднелись печи — искусные мастера керамики, собравшиеся со всей страны, помогали украшать новую столицу. Князь еще никому не говорил о своем намерении перенести столицу из Плиски в Преслав, но, видя, как он заботится о строительстве Преслава, приближенные стали догадываться об этом. Новый город с новыми церквами и монастырями, со стенами покрепче и повыше плисковских не строится просто так! Это строительство порождено замыслами, которые должны дать свои прекрасные и удивительные плоды. Князь отвел ладонь от глаз и велел привести коня. Вскочив в седло, Борис-Михаил, прощаясь, сказал:

— Будьте здоровы все...

Ичиргубиль Стасис проводил высокого гостя до внешних крепостных ворот и на прощанье поцеловал ему руку. Впервые Борис-Михаил уезжал вот так: не дав никаких советов, не похвалив и не побранив. Молчание встревожило Стасиса, и он терялся в догадках — хороший это или плохой признак. Ичиргубиль старался хорошо исполнять свою службу, следил, как идут дела на стройке, как охраняется внутренняя крепость. По личному приказанию князя он был прислан сюда вместо Докса, чтобы заботиться о городе и его обороне. Стасис еще стоял у ворот, когда князь обернулся.

— Береги вяз.

— Хорошо, великий князь.

— Большая красота для города.

Слова князя растрогали ичиргубиля и развеяли его тревогу. Смотри-ка, о чем князь заботится — о воробьях и аистах! Мало ему непрестанных тревог о людях, он еще о вязе думает. Странный человек... Ичиргубиль долго стоял перед крепостными воротами, и улыбка не сходила с его лица. Когда всадники исчезли вдали, он повернулся и вошел в каменный двор. Вяз отбрасывал огромную тень, а птицы с таким шумом-гамом летали вокруг, что ичиргубиль замахал на них руками, будто желая их прогнать. Но гомон не стих, а усилился, теперь к нему прибавилось металлическое щелканье аистиных клювов.

— А ведь эти друзья оглушат нас,— подмигнул ичиргубиль своим людям.— С тех пор как птицы поняли, что стали любимцами князя, они очень повеселели...

Шутка ичиргубиля сняла напряжение. Мастеровые задвигались, начали вытирать пот с лица, заулыбались. Посещение князя и его молчаливость повергли их в смущение, а сейчас они почувствовали, что освободились от сомнений и затаенной тревоги. Надо же, чем он озабочен! Вязом...

Люди не знали ни путей далекой от них княжеской мысли, ни всех тех забот, которые грузом легли на его плечи,— забот о письменности и новой церковной словесности, которая должна вытеснить греческую. Это станет венцом его жизни.

А воробьи на огромном вязе по-прежнему продолжали веселый гвалт.

9

Кремена-Феодора-Мария встала рано. Солнце пока не взошло, и лишь две огненные полоски, будто сквозь щели, прорвались из чернильной черноты в небо. Она вышла на террасу и оглядела еще молчавший двор. От конюшен уже доносилась суета слуг и рабов, а из кухни — приглушенный серебряный звон котлов. Кремена-Феодора-

Мария подняла руки и долго собирала распущенные волосы в пучок. Закрепив их наконец большой серебряной заколкой, она перегнулась через перила, но, никого не увидев, тут же передумала и решила не звать служанку. Не пристало ей, подобно кухарке, кричать через весь двор. Она хотела напомнить няне о молоке для сына — чтоб было со сливками. Мальчик сливок не любил, но мать упорно настаивала на своем. Молоко без сливок не ценилось на византийском базаре, и она считала: не случайно. Постояв еще немного на террасе и не увидев никого из слуг, сестра князя не спеша вернулась в комнату. Муж проснулся, но его сонные глаза еще плохо видели в полумраке, и поэтому, повернувшись на другой бок, он спросил:

— Это ты?

— Я, я...

— Рано ты завозилась.

— Совсем не рано.

— Рано,— сказал он и потянулся,— разбудила меня.

— Пора вставать.

— Почему?

— Сегодня воскресенье. В церковь надо идти.

Алексей Хонул промолчал, снова потянулся, и кровать заскрипела.

— Тише, не разбуди ребенка.

Михаилу шел седьмой год, но он все еще льнул к матери, непрестанно вертелся около нее, да и она не отдавала его слугам и няням. Мать боялась, как бы с ним не случилось чего, пылинки с него сдувала. Она долго мечтала о собственном ребенке и теперь не могла на него нарадоваться. Михаил был не по годам крупным, лицом и манерой держаться походил на отца. Только глаза у него материнские— живые и блестящие. Он был непоседлив и шаловлив, но это и сердило, и радовало Кремену-Феодору-Марию: на его выходки мать смотрела с улыбкой, все позволяла ему. В самом обыкновенном вопросе сынишки она открывала что-нибудь значительное, много и искренне восхищалась его умом, готова была каждому рассказывать о ею самой придуманных способностях маленького Михаила. Уловив материнскую слабость, ребенок не переставал капризничать и баловаться.

Сегодня Кремена-Феодора-Мария решила взять сына с собой на богослужение в большую церковь за городской стеной. Алексей Хонул привез из Пловдива чудесное платье, и ей не терпелось показаться в нем. Она хотела, чтобы на этом богослужении были муж и сын. И, во-вторых, туда придут Климент и Наум. Кремена-Феодора-Мария познакомилась с Климентом в Брегале, а с Наумом... Мысль о давнем увлечении Наума ею не давала покоя. Узнает ли он ее, а если узнает, смутится ли? Когда Наум в первый раз приехал с Мефо-

дием, она не встретилась с ним, так как он отправился в близлежащий монастырь за подаренной князем иконой богоматери. На иконе было много золота и драгоценных камней, и священники настаивали, чтобы гости получили ее из рук в руки. На этот раз женское любопытство одолевало Кремену-Феодору-Марию и мешало ей успокоиться. Наум был моложе и ее, и мужа, но это мало интересовало ее. Она хотела понять, сохранил ли он чувство к ней и волнует ли она его до сих пор... Алексей Хонул встал и начал одеваться. Кремена-Феодора-Мария смотрела на него в полумраке комнаты так, будто перед нею был чужой престарелый мужчина. Его медленные движения раздражали ее, а то, что он все еще не мог как следует произносить слова по-болгарски и предпочитал говорить по-гречески, вызывало у нее неприязнь. Сын путал греческие и болгарские слова, и дети подтрунивали над ним. Мать не вытерпела насмешек и полностью разлучила его с приятелями. Она держала его словно птицу в клетке, и если удавалось выбраться на волю, маленький Михаил уподоблялся спущенной с цепи собачонке, взбесившейся от охватившего ее чувства свободы.

Кремена-Феодора-Мария подошла к заспанному сыну и долго смотрела на него. Прядь волос упала ему на глаза, и мать откинула ее. Белый высокий лоб, пухлые розовые губки вызвали у нее слезы умиления. Она наклонилась и поцеловала его между красиво изогнутыми бровями.

— Хватит, хватит его целовать! — сказал муж, надевая верхнюю одежду.— Ты же своим баловством сделаешь из него никчемного человека.

— Много ты понимаешь в материнской любви! — сердито ответила она.

— Понимаю. По крайней мере в любви к детям — побольше тебя.

Напоминание о его прежних детях разозлило Кремену-Феодору-Марию.

— Поэтому ты так и уберег их...

— Не береди душу! — угрюмо сказал Алексей Хонул и вышел, не закрыв за собой дверь. Княжеская сестра пошла, закрыла дверь и задумчиво оперлась спиной о косяк. Уже на третий год после свадьбы она поняла, что ее чувство к Алексею Хонулу непрочно, что все это было только мечтой о ребенке. И он есть у нее. Отец отошел на второй план. В первый раз она поняла это после одного долгого отсутствия Алексея. Всецело занятая ребенком, она ни разу не подумала о муже и, когда он появился на пороге, пошла навстречу ему с таким ощущением, будто они расстались всего лишь утром. По-видимому, муж почувствовал это равнодушие и поэтому молча вошел в комнату, сразу лег и уснул, даже не приласкав ее, как прежде... С тех пор они стали словно чужие, каждый был занят своими мыслями, и

только легкая простуда или другое недомогание Михаила сближало их, побуждая искать друг друга и советоваться. Алексею Хонулу было уже немало лет, и безразличие жены освобождало его от лишних тревог... До сих пор Кремена-Феодора-Мария не может объяснить себе, почему он не спит отдельно от них; наверное, его удерживает любовь к сыну и потребность быть вместе с близкими. Порой его глаза под седыми бровями начинали излучать доброе тепло, однако стоило ему увидеть, что она заметила эту разнеженность, как он сразу хмурил брови и замыкался. С каждым днем родина влекла его все сильнее, и любая весточка оттуда волновала все больше. Алексей Хонул снова погрузился душой в ту пустоту, которая когда-то пугала его своей темной неизвестностью. Раньше он неделями мог сидеть за чаркой, глядя в пол и спрашивая себя все об одном и том же: кому ты тут нужен?.. Теперь достаточно было услышать голос сына, как темная муть одиночества куда-то уходила. Он знал, что люди уважают его и что кавхан полностью ему доверяет. Никто не считал его чужеземцем, и все-таки Алексей Хонул не чувствовал себя вполне своим... Взяв расшитое полотенце, он вышел во двор и долго, с наслаждением умывался у чешмы. Прислуживал ему раб, которому оставалось не много времени до выкупа. Алексей Хонул взял у него полотенце и спросил:

— Сколько тебе осталось?

— Чего, господин?

— До выкупа.

— Еще год бесплатного труда, господин...

— С нынешнего дня ты свободен,— сказал Хонул.

Не поняв, раб отступил и с робкой улыбкой спросил:

— Чем ты недоволен, господин?

— Наоборот, я доволен и освобождаю тебя.

Дрожа, раб упал на колени прямо на мокрую землю у чешмы и стал целовать Алексею Хонулу руки, бормоча слова благодарности на непонятном языке. Хонул взял этого раба в плен где-то в Новом Онголе, при нападении кочевников... Поднимаясь по лестнице в горницу, Алексей чувствовал себя довольным: воскресенье, божий день — неплохо, когда человек сделает доброе дело. На душе полегчало. Войдя в комнату, Алексей присел на край постели и сказал:

— Я освободил хазарина.

— Ничего другого ты не мог придумать! — ответила жена, поджав губы.

— Не мог. И как еще не мог, ведь и я всю жизнь, как он...

— Как он! Не называешь ли ты рабством княжеское благоволение?

— Никак я его не называю, но моя душа измучилась вдали от своих.

У Кремены-Феодоры-Марии ответ был наготове, но она промолчала. Вспомнив о первых годах своего плена в Константинополе, она поняла страдания мужа, подошла к нему и положила руку на плечо.

— Нелегко тебе, я знаю. Я испытала это на себе...

Алексей Хонул медленно положил свою ладонь поверх ее и будто сгорбился под этой двойной тяжестью. Может, они сказали бы друг другу еще что-нибудь, но в это время проснулся сын.

— Мама...

Кремена-Феодора-Мария не спеша убрала руку, и голос ее дрогнул:

— Я тут, мальчик мой, тут я.

Солнце уже взошло, церковные колокола заполнили утро тупыми звуками. Люди из внутреннего и внешнего города медленно шли по вымощенной камнем дороге к большой церкви. Женщины несли в руках незажженные свечи, обвитые зеленью и завернутые в рушники. Кремена-Феодора-Мария и Алексей Хонул подождали, пока пройдет княжеская семья, и присоединились к ней. Маленький Михаил бежал вприпрыжку, держась за руку матери, черные волосы его блестели в лучах утреннего солнца.

Все двигались медленно, чинно, никто не смел опередить знатных людей. Князь не разрешал ездить в церковь на коне или в повозке, и лишь зимой, при глубоком снеге, можно было пользоваться санями.

Заутреня началась рано. Голоса под высокими сводами волнами набегали друг на друга и наполняли души мирян тихой благостью. Кремена-Феодора-Мария увидела Наума и пожалела его: он стал темен лицом и худ, высокий лоб бороздили морщины — следы времени и пройденных дорог. Наверное, так и остался прежним аскетом, ничего не вкусившим от радостей жизни. Климент произвел на нее особенное впечатление своими серебристо-седыми волосами, но в остальном он выглядел таким же, каким она видела его в Брегале. Напугало ее бледное лицо Ангелария. Он стоял у боковой стены и опирался на деревянную обшивку. Два раза он нехорошо закашлялся, и кашель нарушил гармонию сладкогласого песнопения. Погрузившись в свои мысли и наблюдения, Кремена-Феодора-Мария не заметила, как сын вышел из церкви. Она обратила на это внимание, лишь когда услышала крики детей, ворвавшихся в церковь: маленький Михаил упал в глубокий церковный колодец. В первый момент мать не осознала, кто упал, но увидев, что муж, расталкивая молящихся, бросился к выходу, поняла все. Она рванулась, как слепая, за ним, и уже снаружи ее вопль ворвался в притвор и эхом отразился от сводов. Люди, движимые любопытством, потянулись на звук ее голоса, но суровое лицо князя и его молчаливая сосредоточенность побудили их вернуться на свои места.

Служба продолжалась.

Князь понял, что произошло, но хранил спокойствие. Те, кто смотрят на небо, должны свыкнуться с мыслью, что на этой земле не может быть ничего случайного. Все зависит от бога. Когда один из приближенных подошел к Борису-Михаилу и шепнул ему что-то, князь встал со своей позолоченной скамьи и, стараясь придать голосу твердость, сказал:

— И смотрит бог на людей и все видит. Одним дает, чтобы вознаградить их, у других отнимает, чтобы возвысить их до себя.

10

Вечера были теплыми — короткие августовские вечера, насыщенные звонким пиликаньем цикад и запахом высохших трав. Наум помнит их с детских и юношеских лет. По дорогам ехали повозки, но их громыханье доходило до его слуха смягченным. И над всем безумствовали цикады. Их песня будто поднимала тьму летней ночи и искала серебристые нити звезд, чтобы, вкатившись по ним наверх, завладеть божьими небесами. Такие вечера заставляли Наума целиком погружаться в воспоминания. Они были заполнены конским топотом, возвращением воинов из далеких походов, благоуханным теплом горящего очага, запахом мокрого виноградного хвороста, издающего на огне протяжный тонкий свист. Вечера были одной длинной сказкой, рассказываемой Роксандрой и увлекавшей его своей таинственностью; в эти вечера душистые стога сена шептались под ним, опьяняя своим ароматом, и с неба падали большие звезды прямо к ногам одинокого юноши; этими августовскими вечерами он представлял себе, как княжеская сестра переходит речку, подняв подол платья, и его горло перехватывало волной неведомого жара. Такой Наум видел ее однажды, но лишь только вспоминал об этом, сердце начинало колотиться. Все это было, было давно. Теперь, увидев ее, он понял, что их жизненные пути разошлись и многое изменилось. И все же он хотел поскорее отыскать ее в толпе молящихся. Она была красива и осталась красивой и притягательной до сих пор, несмотря на возраст. И если б не беда, обрушившаяся на нее, Наум, возможно, и не стал бы больше думать о Кремене-Феодоре-Марии, но смерть ее сына заставила его вжиться в ее боль, исполниться сочувствием к ней, и близкой и далекой. Наум готов был предложить ей свою поддержку и помощь вопреки ощущению, что она видит в нем лишь хорошего юношу, и только, а не мужчину, на все готового ради нее. Второй раз он встретил ее на похоронах маленького Михаила. Всего за несколько дней Кремена-Феодора-Мария так состарилась, что в первое мгновение Наум едва узнал ее. Она поседела, лицо увяло и осунулось, глаза утратили

блеск. Она шла за детским гробиком, погруженная в себя, и принимала соболезнования как нечто не относящееся к ней, никого не видела, никого не узнавала. Когда стали засыпать могилку, двое крепких мужчин едва оттащили ее от края. Она рвалась и билась, будто в припадке. Этой женщины Наум не знал. Это была другая женщина — мать, сокрушенная горем, а он знал божью невесту, фанатичную Кремену-Феодору, посвятившую себя Иисусу Христу. Когда и как произошла перемена, по чьей воле она вышла замуж за Алексея Хонула, Наум не знал. Ему казалось, что ее выдали насильно, иначе она не превратилась бы в женщину, столь разительно отличавшуюся от прежней. Науму трудно было понять все это. Его знание человека было неполным. Он не имел ясного представления о голосе крови, забыл о земном предназначении женщины, данном ей богом, и рассуждал как добрый наивный человек, который прошел мимо запретного плода, чтобы постичь вечное блаженство. И все, что происходило с княжеской сестрой, было ему непонятно и страшно. Наум старался не думать о ней, но вопреки его воле воспоминания находили дорожку к душе: он возвращался к той, которая когда-то пленила его. Она выделялась красотой и тем новым, что получила от Византии. Ее умение держаться с мужчинами словно с равными изумляло его, а упорство в отстаивании тайной веры побуждало боготворить ее. В сущности, его религиозное чувство получило от нее часть своей силы и то странное упоение, которое влекло его, как яблоневый цветок — пчелу.

Когда Кремена-Феодора уговорила князя отпустить Наума с Константином, Наум отправился в путь, опьяненный ее голосом, блеском ее глаз, исполненный решимости дойти до края света, если она того пожелает. Кремена-Феодора была единственной женщиной, одна улыбка которой могла бы сделать Наума счастливым на всю жизнь. Но теперь, сравнивая ту женщину с этой, он не мог найти связь между ними, и дело не в том, что они внешне отличались одна от другой, нет, они были похожи, но по своему внутреннему миру это были разные женщины: нынешняя нуждалась в безграничном сочувствии, прежняя восхищала стоицизмом и верой. И Наум остался с первой... А цикады продолжали заполнять августовские вечера звоном своих песен. Не изменились только эти вечера и эти цикады. Звезды падали, как когда-то, травы постепенно умирали, как когда-то, и, как прежде, выбивались из сил цикады, чтобы поднять до звезд свою песню, и, как прежде, он думал о ней, но теперь в его душу вкрались сомнения, которых тогда не было. С тех пор прошло столько лет и случилось столько всего плохого и хорошего, что сомнения стали неразлучным спутником Наума. Сомнений в христианской вере, вере Кремены-Феодоры-Марии, не было все это время, однако в дни гонений в Моравии он испытал сомнения в успехе дела святых братьев. Ког-

да он слышал торжествующие крики на площади Велеграда, когда видел, как рушится все, что огромным трудом создавали они изо дня в день, когда чувствовал запах дыма от костров, на которых жгли их книги, неверие запускало свои тайные щупальца в душу: а не напрасно ли труднлись они?., Теперь его поддерживала только надежда, связанная с Болгарией. Когда Наум думал о Болгарии, он видел огонь в глазах княжны и твердую княжескую руку... Борис-Михаил не сделал ни одного непродуманного шага, и если уж делал что-то — назад не возвращался. Не подтверждает ли это уничтожение пятидесяти двух знатных родов? О нем уже почти никто не говорит, самому князю, по-видимому, неприятно это вспоминать, но пусть извлекут урок те, кто хочет все повернуть назад. Вот и теперь Борис-Михаил не торопится созвать Великий совет, хотя с ними уже три раза беседовал. Это были долгие разговоры, и речь шла об ошибках в Моравии, о том, что Святополк предал их. Князь интересовался духовными школами, принципами их устройства, расспрашивал, сколько времени понадобится на обучение первой группы священнослужителей, которые смогут взять церковное дело страны в свои руки. Беседы неизменно кончались обсуждением вопроса о двух азбуках; вначале ученикам Кирилла и Мефодия казалось, что, колеблясь в выборе, они отступают от заветов своих учителей. Но, обдумав слова князя о том, что первая азбука больше подходит для его государства и что сам Константин в свое время говорил ему, как, создавая первую азбуку, он приноравливал ее к условиям Болгарии, они заколебались. Знатоку было очевидно: глаголическая азбука действительно труднее для освоения, а кроме того, в столичной духовной школе уже укоренился греческий язык, и потому первую азбуку будет легче ввести и она будет легче восприниматься. Таким путем можно сократить время на подготовку болгарских священнослужителей. Наум, Климент и Ангеларий владели обеими азбуками. Климент любил первую азбуку, но теперь был в смущении — ведь учителя его предпочли вторую... Однако доводы князя были так последовательны и убедительны, что свидетельствовали о большой предварительной подготовке. Еще при первой встрече с пресвитером Константином и Марко последние намекнули на княжеские симпатии и намерения, не сказав, правда, о своей точке зрения. По существу, в Болгарии надо все начинать сначала, и почему бы в таком случае не применить первую азбуку? Наум, Климент и Ангеларий не принесли с собой ни одной книги, они сами еле-еле спаслись. Без книг прибыли пресвитер Константин и Марко. Рукописи, оставленные когда-то Философом и написанные первой азбукой, были уже размножены, в то время как глаголических текстов было совсем мало — только книги, преподнесенные князю Константином и Мефодием. При княжеском дворе уже собралось небольшое, но сплоченное ученое воинство, которое можно было бы легче уве-

личить, если бы была принята первая азбука, созданная на основе греческого уставного письма. Князь не спешил навязывать свое мнение, которое было известно всем его друзьям и гостям. Он дал им время подумать и самим принять решение. Через несколько дней он опять созовет их, чтобы побеседовать...

На этих беседах присутствовали его братья Докс и Ирдиш-Илия, кавхан Петр, боярин Домета и престолонаследник Расате-Владимир. Один Владимир все еще не выразил своего мнения. Он молча сидел слева от отца и посматривал исподлобья. Кавхан, напротив, принимал живое участие в разговоре. Он первым высказал опасение насчет гнева константинопольского патриарха: как тот посмотрит на такой новый шаг в болгарской земле? По-видимому, Петр и Борис-Михаил уже разговаривали об этом, потому что ответ у князя был наготове. Он сказал, что выход есть: надо делать все в полной тайне до наступления момента решительного удара, когда болгарская сторона будет располагать своими учеными людьми, готовыми сразу заменить византийских священников.

— Пусть будет так,— сказал князь и, помедлив, добавил: — Вы сами видите, каков наш круг. Даже архиепископа Иосифа нет среди нас. Он человек хороший, но, по-моему, ему еще рано знать! Мы ему скажем попозже... Вам ведь известно, что, прежде чем приехать сюда, он поклялся Фотию ничего не скрывать от него. Так что мы избавим его от душевных терзаний.

Наум запомнил эти слова Бориса-Михаила и никак не мог уяснить: шутил он, когда говорил о душевных терзаниях архиепископа, или действительно так думал. Конечно, в шутке крылась истина о положении болгарской церкви. Фотий хочет быть в курсе всех ее дел и вряд ли позволит перехитрить себя. Архиепископ Иосиф, несмотря на свою привязанность к Болгарии, не может не чувствовать зависимости от своего верховного иерарха. Так что предусмотрительность Бориса-Михаила вполне обоснованна...

А цикады продолжали раскачивать августовскую ночь и объединять мир с его заботами и радостями в раздумьях Наума. И если бы не кашель Ангелария, все было бы точь-в-точь как в юности, потому что эти вечера и ночи напоминали ему о той Кремене-Феодоре, которая еще не называлась Марией. И он понял, что, наверное, вместе с именем Мария пришло и остальное, что так резко отделило ее от прежней Феодоры. Мария страдала от скорби по земному, в то время как Кремена-Феодора жила, устремив очи в небеса.

Наум потерял и ту, и другую.

Расате-Владимир преодолел холм и спустился в низину. На противоположной стороне чернел молодой дубовый лес. Таинственно мерцали светлячки, словно это ходили люди со свечками в руках. Расате пересек низину, поднялся к дубняку и, отпустив поводья, приложил ладони ко рту. Троекратное уханье филина покатилось вниз и вверх по темному лесистому хребту, а в ответ раздалось отрывистое лошадиное ржание. Всадников было около десяти. Соскочив с коней и положив руки на сердце, они почтительно склонили головы. С высоты своего жеребца Расате-Владимир смотрел на склоненные головы, и странное чувство распирало ему грудь: не все законы дедов попраны... Эти люди были из капанских селений, и только его признавали они верховным жрецом и ханом. Расате это льстило, и он часто присутствовал на их тайных обрядовых сборищах. Капанцы взяли его коня под уздцы и, стараясь не шуметь, стали медленно спускаться по крутой тропинке. Расате-Владимир бывал уже в этих местах. В самой гуще леса рос священный дуб, и каждый год вокруг него собирались со всей страны уцелевшие жрецы, чтобы почтить великого повелителя Тангру. Стародедовские законы, увы, уподобились желудям, которые раньше красовались на ветках дуба, а теперь валялись на земле, засыпанные слоем опавшей листвы. Все вокруг застыло в таинственном молчании. Недалеко от дуба били пять источников — символ руки Тангры, который, как считалось, указал, где должно быть священное место. А в сторонке от них, под самой сенью густого леса, стояли два шатра — для верховного жреца и для его наложниц. Наложницы были дочерьми самых ревностных приверженцев старой веры, гордившихся близостью к верховному жрецу. Второе, незаконное государство со своими традициями и порядками продолжало существовать под сенью первого, и вместо князя здесь правил хан.

Все окрестности были под наблюдением, вооруженная стража пряталась в густых зарослях и пропускала только тех, кто показывал тайный знак — узел из пятидесяти двух волос конского хвоста, символ бессмертия родов, отдавших жизнь во имя Тангры. Чтобы легче было считать волосы, их разделили на пять прядей по десять в каждой, и два волоса были отдельно. Расате сам придумал для приверженцев прежней веры этот символ, который открывал двери единомышленникам, давал им силу и общий язык. Расате-Владимир понимал, что его путь отклонился от пути отца. Но учение Христа с характерными для него ограничениями и запретами налагало узду на желания, и он не мог с этим смириться. Зачем человеку, пока он молод, отказываться от влечения к женщинам? Зачем всю жизнь жить только с одной женой? Почему проявляется забота о людях чужой

крови, а свой род уже не в почете? Почему надо отказываться от старых прав, чтобы уравняться со славянами? Ведь Тангра сказал: будьте хозяевами земли! Разве рабы и крепостные крестьяне — его, Расате, ближние? И если у него есть большое богатство, почему надо делить его с бедняком, который сидел и ждал, пока ты воевал за это богатство?

Нет, не может Расате-Владимир одобрить такое принижение старых родов! И такую религию, которая учит людей обезличенной покорности! Красивые дочери этих родов будут его женами перед лицом бога-неба, и он постарается соблюсти старые добрые обычаи. Расате не раз копался в отцовской переписке с папой римским и не раз приказывал читать себе письмо папы Николая, в котором тот отвечал на вопросы Бориса-Михаила. Легкой рукой ниспровергал папа законы их предков: высказывался за более мягкие наказания для тех, кто халатно исполнял воинские повинности, отрицал святость священного знамени — конского хвоста. Высмеивал древние гадания и обрядовые игры перед сражением. Отрицал право хана питаться отдельно, за высоким столом, отрицал магическую силу священного камня, советовал клясться крестом, а не боевым мечом, глумился над священными амулетами. Николай рекомендовал не выгонять жену свою, что бы она о тебе ни думала и какое бы зло тебе ни сделала, за исключением одного — прелюбодеяния... Все эти наставления расходятся с тем, как понимает жизнь Расате: он носит в себе законы предков и не может так легко отказаться от них, он — верховный жрец, его тайный кавхан — Окорсис из древнего рода Чакарар, таркан Овечской крепости. Имя Чакарар украшает одну из колонн Омуртага, и Окорсис никогда не откажется от крови, славы и прав своих предков, потому он и собрал в крепости ярых приверженцев старой веры. Нет, не умер дух смелых! И сегодня вечером Расате-Владимир снова выпьет кумыс древних шаманов и зарежет обрядовую собаку в честь Тангры. У самого большого источника уже сложен костер для сожжения усыпляющих трав, ждут только его. Он поднесет искру и тем самым возвестит начало жертвоприношения...

Престолонаследник вернулся в Плиску через два дня. Его отсутствие никого не удивило: такое случалось не в первый раз. Обычно он говорил, что был на охоте с друзьями, и в качестве доказательства всегда привозил убитых животных. Теперь Расате-Владимир привез красивую серну. Он зашел вначале на кухню, велел приготовить серну и, насвистывая песенку, медленно прошел в горницу. Но на лестнице ждал слуга, который сообщил, что князь зовет его к себе. Уже на пороге Расате-Владимир понял: отец чем-то встревожен. В комнате был и кавхан Петр. Кавхан говорил, но, увидев престолонаследника, замолк.

— Продолжай! — сказал Борис-Михаил.

Кавхан рассказывал, как его стража поймала человека из нижних земель, который ходил на тайное обрядовое сборище, где присутствовал новый великий жрец. Пойманный сообщил это и тут же умер: стражники перестарались. Кавхан Петр рассказывал, и в его голосе слышалась скрытая тревога. Он волновался.

Князь долго молчал, потом поднял голову и вопрошающе посмотрел на сына:

— Что ты скажешь?

— Да что тут говорить, великий князь,— небрежно ответил Расате.— Пустая брехня человека, замученного стражей кавхана...

— Тот, кого мучают, может просить пощады у мучителей, но не говорить, куда и зачем ездил! — возразил Борис-Михаил.

— Мне ничего больше не ведомо, великий князь,— нахмурил брови престолонаследник.

— Еще бы! Ты вообще не задерживаешься в Плиске и не интересуешься делами государства,— медленно выговорил Борис-Михаил.— Не думай, и мне хотелось бы побродить по лесу и погонять дичь, но есть дела, которые надо делать...

— Есть люди, великий князь, которые лучше меня делают дела,— язвительно бросил Расате-Владимир.

— Например? — Князь поднял брови.

— Кавхан Петр,— с нажимом сказал сын.— Он ездил проверять, что я делаю в Овечской крепости...

— Я послал его!— сказал князь и помрачнел.— Я послал его, ибо участились и стали более продолжительными эти твои охотничьи похождения, и я боюсь, как бы ты неожиданно не привел еще одну сноху — ведь ты привык уже к этой работе... Сегодня я хочу тебе сказать: твое место рядом со мной! Без моего разрешения ты никуда не должен отлучаться. Я хочу оставить после себя достойного наследника, а не слепца, сбившегося с пути. Я не запрещаю друзьям приходить к тебе сюда, без друзей человек не может жить, но никаких кутежей! Не хочу слышать от «Доксовых детей» непристойные вещи о моем канатаркане.

— Но...

— Никаких «но»! Нет дыма без огня. Я хочу, чтобы ты знал: мое княжеское слово все еще имеет вес. И я никогда не нарушал его. Если ты думаешь, что я хочу силой сделать тебя наследником, ты ошибаешься. У меня есть и другие сыновья, однако я хочу соблюсти закон предков о преимущественном праве первородного на престол. Если ты думаешь от него отказаться, надо сказать об этом уже сейчас, чтобы я мог подумать об одном из твоих братьев.

Расате-Владимир смотрел в пол и молчал.

— Если тебе трудно ответить сразу, я подожду до завтра, но только до завтра.

— Право на престол мне принадлежит по рождению, великий князь,— глухим голосом ответил Расате-Владимир,— и я откажусь от него только по твоей воле.

— В таком случае не забывай о своем месте рядом со мной. Ступай отдыхать, ты достаточно нагулялся.— И, желая смягчить свои слова, спросил: — Поймал хоть что-нибудь?

— Серну, великий князь.

— Иди.

Расате ушел в смятении. Он был сбит с толку: впервые отец так разговаривал с ним. Как хорошо, что приверженец Тангры не проболтался. Если бы их поймали у пяти источников, всех ждала бы смерть. С сегодняшнего дня он будет осторожнее. По-видимому, отец знает о кутежах в Овечской крепости. А тут еще и эти «Доксовы дети»! Лишь только Расате сядет на княжеский престол, он разгонит их, словно цыплят. От них невозможно укрыться. Впрочем, и люди кавхана не менее опасны. Расате-Владимир думал, что Петр ездил в Овеч без ведома князя, и хотел поддеть его при отце, но оказалось совсем другое... И как он не догадался, что кавхан не посмеет самовольно расспрашивать о прегрешениях престолонаследника! И все-таки не печется кавхан о своем будущем. Иначе нашел бы способ предупредить его, а не выслеживал бы тайно. Впрочем, ничего другого нельзя ждать от такого кавхана, как Петр. Слишком много крови старых родов пролил он и потому не может думать иначе, чем отец. Их надо вместе... убирать, если понадобится. А пока хан-ювиги Расате потерпит. Он смирит себя ради старых дедовских законов... Расате-Владимир пересек приемную и отправился в свою комнату. Тяжелые мысли завладели им, и он не хотел ни с кем встречаться, тем более с братом Гавриилом. Брат был замкнутым человеком и уже сейчас надел власяницу. Он во всем подражал отцу. Его не интересовали ни женщины, ни охота. Он мог расплакаться при виде мертвого воробышка. Глаза у него всегда были на мокром месте, и близкие относились к нему как к больному. Всякое острое слово его ранило, он болезненно переживал любое замечание. Непонятный страх перед людьми делал его стеснительным.

Гавриил последним садился за стол, с чувством, что ест незаслуженный хлеб. Он не смог научиться владеть мечом и не стремился к этому. Бич в руке Расате-Владимира и его плохое отношение к слугам привели к тому, что брат боялся Расате и ненавидел его. При встрече на их лицах появлялось выражение отвращения, будто они оба прикоснулись к чему-то очень противному. Торопливо шагая к своей опочивальне, Расате думал, что остается только встретиться с братом, и тогда этот день уж точно станет самым неприятным днем года.

Слово не воробей, вылетит — не поймаешь, и если уж пошла молва — ее не остановишь. Вся плисковская знать говорила о трех пришельцах как о людях таинственных и святых. Борис-Михаил видел любопытство в глазах приближенных, но продолжал молчать. Рано было расширять круг посвященных. И чем дольше он молчал, тем больше возрастал интерес к Клименту, Науму и Ангеларию. Первым преодолел страх Эсхач. Когда они спускались к Мадаре, он натянул поводья, чтобы поравняться с князем, и сказал:

— Государь, позволь обратиться с просьбой...

— Говори, сампсис Эсхач.

— Новый дом дала мне твоя добрая и святая рука. В нем есть и солнце, и радость, но одного ему недостает.

— Чего же? — заинтересовался князь.

— Не хватает святыни, которая обогатила бы его.

— Святыни я пока еще не могу дарить.

— Можешь, великий князь. Разреши Клименту и Науму поселиться в моем новом доме. Я буду беречь их, а моя семья получит их благословение.

Князь ничего не ответил, будто и не было никакого разговора, но у Мадарской крепости попридержал коня и сказал:

— Разрешаю, но с одним условием...

— Слушаю, великий князь.

— Если с ними что случится, ответишь головой.

— Согласен, великий князь.

На следующий день Климент и Наум были с радостью и почестями приняты в доме сампсиса Эсхача. Сампсис знал Онегавона, отца Наума, и не было вечера, когда бы разговор не касался его. В свое время Онегавон и Эсхач вместе ушли на войну против Ростислава, вместе воевали под Нитрой. Кавхан Онегавон умер на глазах у Эсхача. Наум, знавший окрестности Нитры, с интересом слушал рассказы о боях и старался все представить себе. Во время осады крепости друнги мораван ударили с тыла. Кавхан первым повел воинов против атакующих, но был ранен прямо в сердце и вскоре скончался.

— В спешке он не успел надеть кольчугу,— рассказывал Эсхач.— Вначале мы хотели отвезти тело домой, но война затянулась, и мы похоронили его в чужой земле. Перед смертью Онегавон попросил нас рассеять его прах по ветру, чтобы труп не достался врагу. И мы исполнили это желание. Дул ветер, и мы все видели, куда полетел пепел, но уже никто больше не найдет его следа...

Сампсис был весьма любознательным человеком. Когда он заставал Климента и Наума склонившимися над пергаментом и красками, то входил на цыпочках в комнату, садился в угол и затихал,

будто его вовсе не было,— ни слова, ни звука. Лишь когда они распрямляли уставшие плечи и сумерки заполняли комнату, хозяин распоряжался принести свечи, и разговор начинался. Беседы продолжались и за богатой трапезой. Сампсис то и дело напоминал им, чтобы ели, сердился, когда видел, что глиняные миски не опорожняются, и все ставил в пример себя и своего сына: вдвоем они съедали зараз целую серну. Порой хозяин досаждал своей настойчивостью, но гости понимали, что он делает это от доброго сердца, и не сердились. Радость сампсиса была безграничной, княжеская милость окрылила его. По воскресеньям к нему приходили знатные люди, приближенные к княжескому двору, и увлеченно слушали Климента и Наума. Они рассказывали о Моравии, вспоминали о диспуте в Венеции, воссоздавали, как могли, образы первоучителей, заставляя слушателей восторгаться их стойкостью и знаниями. Особенно взволновал всех рассказ о встрече Кирилла и Мефодия с папой римским. Когда они слушали о гонениях в Моравии, их кулаки гневно сжимались. Гости не переставали поражаться, как это люди, которые молятся Христу, могут столь жестоко преследовать своих духовных братьев. Несмотря на старания Климента и Наума объяснить им спорные вопросы в догматах двух церквей, они не могли уразуметь это и во всем винили врага рода человеческого. Только окаянный способен поссорить людей так, что в ослеплении брат убивает брата... Гибель Горазда на площади Велеграда воспринималась ими как дьявольское наущение. Они видели казни не раз, но самосуд был им почти неизвестен, а потому казался невероятен. Костры из книг, разгром училищ, заключение в тюрьму и продажа молодых учеников, изгнание — все это было для болгар похоже на страшную сказку, в которой действуют темные силы. Но вот эти страдальцы, сохранившие доброту и веру в своего бога, сидят теперь среди слушателей и повествуют о своих злоключениях.

Многие хотели взять к себе домой Ангелария, однако князь поручил его заботам боярина Чеслава. Он ему полностью доверял, кроме того, Чеслав разбирался в целебных травах и был известен как один из лучших целителей в государстве. Чеслав делал все, чтобы укрепить здоровье гостя. Он поместил Ангелария в лучшей комнате, велел давать ему горный мед с воском в смеси с целебными травами и строго следил за тем, чтобы больной принимал лекарство три раза в день. Ангеларий уступил настойчивым уговорам хозяина, но наотрез отказался пить сырые яйца, от которых его тошнило. Тогда Чеслав стал добавлять яйца в мед, иной раз вместе с растертой в порошок скорлупой. В первые же месяцы Ангеларий стал явно поправляться, кашель прекратился, мокрота уменьшилась. Он чувствовал себя вполне хорошо и стал подолгу задерживаться у стола, заваленного листами пергамента, гусиными и тростниковыми перьями. Каждое утро Ангеларий ходил на прогулку вместе со своим хозяином и целителем.

Выйдя из центральных крепостных ворот, они обходили город кругом и лишь после этого возвращались домой. Они шагали не спеша и беседовали. К ним присоединялись друзья Чеслава, которым хотя и не нравились пешие прогулки, но было любопытно послушать о мытарствах троих учеников Кирилла и Мефодия. Болгары искренне подружились с больным Ангеларием и каждое утро посылали ему по миске кумыса. От своих дедов и прадедов они знали, что только кумысом вылечивается дурной кашель. Ангеларий быстро привык к необычному напитку, который прекрасно утолял жажду, и глиняная миска кумыса всегда стояла у него в изголовье. И все, наверно, обошлось бы, если бы не туманы. Осенние туманы надвинулись из-за Дуная слишком рано и плотно обволокли город. Туман стоял такой серый и густой, что люди плутали в хорошо известных им местах. В эти дни Ангеларий позволял себе лишь ненадолго заглянуть к Клименту и Науму, чтобы поговорить о переписке и переводе новых книг... Не мудрствуя лукаво, трое учеников остановились на первой азбуке. В свое время Савва назвал ее «константиновской», но теперешнее название «кириллица» было более подходящим и более благозвучным. Незримое присутствие учителя в названии азбуки помогало им преодолеть замешательство, которое было вызвано согласием отказаться от глаголицы, связанной в их сознании со страданиями и трудностями, пережитыми в Моравии. Кириллица лучше подходила для нового поприща. В свое время Константин создал ее для Болгарии — и не ошибся. Вначале Климент колебался, но потом решил: князь прав, ибо греческий язык и греческая азбука легче воспринимались знатью. Что касается народа, то он пока с одинаковым безразличием относится к обеим азбукам. За короткое время народ слушал богослужения в новых церквах и по-гречески, и по-латыни, однако не принял ни тот, ни другой язык. Иначе обстояло дело в нижних землях государства. Славянское население долго жило под властью византийцев, и влияние греческого языка тут было заметным. Некоторые знатные славяне бессознательно тяготели к великой византийской культуре, и существовала опасность, что при наличии византийских священников они забудут об интересах Болгарии. Эта же опасность существовала и для всего болгарского народа, но ее можно было избежать — для этого нужна была новая азбука и священники болгарского и славянского происхождения. Оставался еще вопрос о языке. Старый язык болгар начал утрачиваться, вытесняемый разговорным славяно-болгарским, который возник в результате смешения славян и болгар на всей большой территории государства. Куда бы ты ни пошел: на базар, на улицу, в церковь — всюду слышался славяно-болгарский говор. И поэтому надо было переводить книги на этот общий язык. Князь для себя этот вопрос решил, значит, возврата назад не было. Климент, Наум и Ангеларий видели, что Борис-Михаил вырывает зло

с корнем, ведет дело с размахом, и мысленно сравнивали его с Ростиславом и Святополком. Пока был Ростислав, дело шло, но Святополк сначала устранился от их забот, а потом напустил на них и на их дело воронье. Сами-то они оказались живучими и упорными... И если в Моравии приходилось добиваться помощи и внимания князя, здесь Борис-Михаил сам начал строить новое здание на прочном фундаменте, стал их первым помощником. Трое учеников часто обсуждали то, что видели и слышали тут, и понимали: болгарский князь смотрит далеко вперед, куда не достигает взгляд многих его приближенных, которые хотя и видят все воочию, однако не могут уразуметь великой цели своего князя. И все же страх, уважение и привычка подчиняться ведут их в верном направлении...

Туманы вдруг стали отступать, их сменил сухой мороз, и вскоре зима засыпала все снегом. Дневного времени хватало только для работы над списками и переводами. Борис-Михаил начал все чаще приглашать к себе просветителей — то на беседу, то на княжеский ужин, то на небольшие семейные праздники. Иногда сам неожиданно приходил к ним. Почтительно брал в руки только что написанный текст и медленно читал. Князь удивительно быстро овладел новой азбукой, и это делало его сопричастным их работе. Если он задерживался допоздна, то перед уходом желал им спокойной ночи и доброго здоровья, и затем было слышно, как он шел по каменным плитам... Борис-Михаил не думал о войне. Долгосрочный мирный договор с Византией дал ему время на устройство государства, и он целиком погрузился в церковные дела, всесторонне обдумывая дорогую для него мысль о том, чтобы, как от сладкого дурмана, уберечь народ от греческого слова.

Внезапные посещения Бориса-Михаила побуждали их быть всегда наготове. И они не ленились. Зная о его желании видеть каждый раз что-либо новое, они работали не покладая рук.

Особенно красиво выписывал буквы Ангеларий, раскрашивая их кармином, и так увлекался, что забывал о болезни. Но она не спешила забыть о нем. Невидимая и упорная, она искала случая одолеть его. Ей помогли холода. Они наступили после рождества Христова и затянулись надолго. В день святого Иордана Ангеларию захотелось посмотреть «борьбу за крест» на реке. Веселое состязание парней закончилось нескоро. Возвращаясь домой, он почувствовал, что промерз насквозь. Прежде чем войти в дом, решил взять охапку дров для очага. Когда нагибался, у него потемнело в глазах, острый кашель потряс тело, и он сплюнул большой кровавый ком мокроты. На следующее утро у Ангелария пошла горлом кровь, и больше он не встал с постели.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

...Добрались до Белграда — город этот самый знаменитый из придунайских городов — и явились к боритаркану, который в то время его охранял. Они поведали ему обо всем, что с ними приключилось, ибо он пожелал узнать об этом. А когда все узнал и понял, что они мужи великие и близкие богу, тогда решил, что следует послать чужестранцев к болгарскому князю Борису, чьим военным наместником был он сам, а потому и знал, что Борис нуждается в таких людях.

Из «Жития Климента Охридского». Феофилакт, XI век

Сей преподобный и великий отец Наум вырос в Мизии. В согласии с воспитанием, данным ему благородными родителями, он презрел благородство, как и все плевелы, и присоединился к равноапостольным Константину Философу и его брату Мефодию, которые ходили и наставляли мизийский и далматинский народы; он повсюду следовал за ними, вплоть до старого Рима.

Из «Второго жития Наума», X век

1

Весть о смерти Мефодия пришла в Константинополь с запозданием. Она не удивила Фотия. Годы тяжелым грузом легли на плечи моравского архиепископа, да и непрестанные путешествия и злоключения не могли не отразиться на его здоровье. Фотий распорядился отслужить торжественную литургию во славу Мефодия в церкви Сорока святых мучеников и сам произнес прочувствованное слово о тех, кто не пожалел сил своих и труда ради божьего дела и святой константинопольской церкви. Синод решил отправить в Моравию одного из епископов для содействия последователям Мефодия в их будущей работе. Во время последнего пребывания Мефодия в Царьграде наряду с другими вопросами зашел разговор и о его преемнике. Мефодий сам завел об этом речь, горячо отстаивая одного из своих учеников по имени Горазд. Фотий смутно припоминал его по тому времени, когда тот учился в Магнавре. Прежде всего в памяти всплыла широкая огненно-рыжая борода, какой он ни у кого больше не видел. Фо-

тий знал о нем лишь то, что Горазд пришел из Рима, изгнанный тамошними священниками, и одного этого было достаточно, чтобы его приняли в Магнавру. До сего времени Фотий не забыл, как Константин отстаивал его — будто знал, что пойдет с ним в Моравию... Если бы Горазд занял место Мефодия, Фотий мог бы надеяться, что дело пойдет хорошо, но признает ли и утвердит ли его Рим? Посол должен был передать добрые чувства константинопольского василевса и патриарха и попытаться наладить хорошие отношения с моравами. Он собирался отправиться в середине лета, так как ему надо было привести в порядок личные дела, а предстояло долгое и небезопасное путешествие. Впрочем, теперь он мог идти от Константинополя до Белграда по дружественной земле болгар. Но не успел еще епископ тронуться в путь, как до константинопольского патриарха долетела новая весть и привела его в смятение, сбила с толку: Горазд убит, последователи братьев изгнаны, весь их труд растоптан и сровнен с землей. На торжищах в Венеции начали продавать, словно рабов, вчерашних учеников святых братьев. Новость привезли моряки. Старший сын василевса, находившийся с войсками на Италийском полуострове, где он воевал с сарацинами, послал своего человека выкупить учеников у торговцев-евреев. Их было немало, и тот заколебался, не зная, как поступить: всех ли выкупить или только самых молодых и крепких. Фотий был возмущен его нерешительностью до глубины души. Тех, кто пожертвовал жизнью и здоровьем во имя служения богу, теперь надо выкупать по рыночным законам?! Он немедленно приказал своему послу отправиться в Венецию с первым же кораблем и спасти всех последователей братьев.

Посол уехал, но тут стало известно, что царский человек уже принял решение. Видимо, совесть подсказала ему, как быть, и он поспешил сделать доброе дело. Выкупленные пресвитеры и дьяконы едва не разминулись с послом Фотия, чисто случайно их корабли встретились в одном из портов старой Греции.

Возвращение пленников взбудоражило народ. Молва об их страданиях передавалась из уст в уста, и простые люди окружали ореолом святости их измученные лики. К прибытию кораблей с выкупленными священниками огромная толпа людей пришла в порт. В этот день сыновья израилевы не могли появиться на улице без риска расстаться с жизнью, став жертвами возмездия. Страсти накалились, и толпа походила на вязанку сухого хвороста, ожидающего малейшей искры, чтобы вспыхнуть. Люди заполонили пристань, все пространство между кораблями было забито рыбачьими лодками. Рыбаки превратили интерес к выкупленным пленникам в прибыльное дело: на лодках наспех соорудили мангалы и жарили свежевыловленную рыбу,— но встречающих было столько, что их улов скоро кончился. На другой стороне бухты, там, где виднелся берег, также было черно

от народа. Фотий со всем клиром вышел встретить страдальцев. Даже школяров Магнавры отпустили с занятий. Первые негодующие возгласы по адресу евреев-торговцев постепенно стали сменяться проклятиями римскому духовенству. Патриаршьи люди умело направляли народное возмущение. Теперь у них на прицеле был папа Стефан. Появление учеников Кирилла и Мефодия вызвало ропот в толпе, и волна негодования залила пристань: все увидели разодранные власяницы, длинные запущенные бороды, голодный блеск в глазах, изнуренные от долгого путешествия и морской болезни лица. В Царьград прибыли истинные мученики за Христову веру. Одни хромали, другие держали руки на перевязи. Впереди шагали Лаврентий и Игнатий. Ступив на берег, они упали перед Фотием на колени и стали целовать не крест, а землю, на которой стоял патриарх. Возглас удивления эхом пронесся над толпой, женщины плакали, продавцы фруктов с подносами на головах бесплатно раздавали горемыкам свой товар. Даже Фотий не мог сдержать слез. Он троекратно перекрестил стоявших на коленях последователей Кирилла и Мефодия, и из уст его вырвалось тяжкое проклятие в адрес Рима. Будто по сигналу, люди вдруг подались вперед и, подхватив на руки оборванных учеников святых братьев, понесли их к монастырю святого Сергия Вакха, где они должны были жить. На этом все и кончилось. Народ погомонил еще несколько дней и забыл о них...

Симеон вместе со школярами Магнавры присутствовал на этой трогательной встрече, и его впечатлительная душа никак не могла успокоиться. Целыми днями выкупленные мученики не выходили у него из головы. Эти исстрадавшиеся люди посвятили себя делу, которое потерпело полное поражение. Он сознавал, что они были не только борцами за Христову веру (ведь их изгнали сторонники той же веры), но и борцами за новую письменность — и именно это озлобило их врагов, которые попытались уничтожить эту письменность огнем и мечом. Наверное, она была для них очень опасна, раз они прибегли к жестокости и насилию. Молодая душа Симеона была потрясена. Люди продолжали рассказывать о мучениях и истязаниях, кое-что преувеличивая, и все это выглядело и страшным, и странным, словно воскресение из мертвых, с той лишь разницей, что мертвые оставались мертвыми, а праведные пришли сюда. Ужас вызывал у Симеона рассказ о гибели епископа Горазда. В сознании юноши он вырастал до размеров исполина, стоящего на каменной площади далекого города. Легенда так обогатила историю: тот, кто первым обнажил меч, в следующий же миг был поражен богом, второй подхватил меч и рухнул замертво, а третий замахнулся для удара — да так и окаменел с поднятой рукой. И только когда меч попал в руки Вихинга, а это был сам Сатанаил, святость Горазда оказалась недостаточной, чтобы спасти его. Бог предпочел взять его к себе до того времени,

когда правда вновь вернется на землю и будет нуждаться в верных ей апостолах... Душа юноши как чистую правду впитывала в себя эти рассказы. Рассказывали и о Савве. Симеон знал его, они встречались, когда Мефодий приезжал в Константинополь. У Саввы было суровое лицо, изборожденное глубокими морщинами. Еще тогда Симеона поразили его тяжелые руки, похожие на молоты. В них не было ничего иконного и святого — руки вечиого труженика. Такими были руки мастеровых, всю жизнь обрабатывающих железо. И разговоры его были земными, без словесных красот и тонких оттенков мысли. То, что он хотел сказать, говорил так, что не было места для толкований. Савва, как твердила молва, один оборонял монастырь, в котором жили братья и их ученики, и с помощью чудесного меча, посланного ему богом, разбил целое немецкое воинство. А когда враги все же захватили монастырь, он взобрался на башню и взлетел высоко в небо — так спасся он от злых сил.

Бог пожелал, чтобы многолетний труд святых братьев не погиб, и поэтому трижды сотрясал землю моравскую, дабы напомнить тамошней знати, что он гневается на нее. И трижды прн землетрясениях разрывал бог кандалы Климента, Наума, Лаврентия, Марина и Ангелария. Верные соратники братьев не смогли бы спастись, если бы всевышний не дал Ангеларию чудодейственную силу: своим взглядом он усыпил охранников и вывел узников из темницы. И когда они дошли до большой реки, бог явился Клименту во сне и изрек: «Единожды посеянное да не погибнет! Земля болгар ожидает вас с радостью. Идите и умножайте золотое семя познания!»... Об этом рассказывал Лаврентий, который вместе с Марином должен был по тому же небесному зову отделиться от других учеников и отправиться к хорватам и словенам. Но лишь Марину суждено было добраться невредимым до тех мест, на которые указал им глас всевышнего. Лаврентия же поймали и отправили на торги в Венецию вместе с остальными учениками. Что сталось с Климентом, Наумом и Ангеларием, Лаврентий не знал.

И теперь Симеон вдруг понял последние строчки из письма отца, которое он получил несколько дней назад: «Я хочу порадовать тебя: бог печется о нас, он послал нам своих святых людей... Но подробнее об этом, когда вернешься. Бери полными пригоршнями божий виноград, чтобы обогатить душу свою познаниями, столь нужными тебе и государству».

Эти строчки были загадкой для Симеона, но теперь на них пролился свет. Наверное, эти трое из Моравии прибыли в Болгарию, и их приход был причиной радости отца. Симеон решил подождать, пока утихнет шум, вызванный прибытием выкупленных просветителей, а затем поговорить с кем-нибудь из них. Лучше всего было бы встретиться с Лаврентием. Будущий князь Болгарии был с ним знаком. Он

также находился в свите Мефодия во время его последнего посещения Константинополя. Симеону хорошо запомнилась встреча с Лаврентием. Пресвитер Константин познакомил их незадолго от отъезда Мефодия. Константин и Марко, которые должны были остаться в Царьграде, чтобы затем отправиться в болгарские земли, очень надеялись на помощь Симеона. Лаврентий тоже пожелал остаться с Константином и Марко, но Мефодий не позволил. Двоих достаточно, а если придется посылать еще кого-нибудь, Мефодий обещает не забыть о нем... Симеон помнит, как, сказав эти слова, архиепископ Мефодий засмеялся и полушутя-полусерьезно добавил:

— А возможно, я и сам поведу всех вас в болгарские земли.

Видимо, святой старец шутил, но его слова глубоко врезались в память.

Эти раздумья побудили Симеона поскорее начать поиски Лаврентия. Молодая болгарская церковь нуждается в таких, как он, ученых мужах. Иначе зачем бы отец так спешил поделиться своей радостью и такими таинственными намеками? Привыкнув понимать князя Болгарии с полуслова, Симеон чувствовал, что, видимо, пока ни с кем не надо говорить об этом...

2

Василий умирал мучительно. Его тяжелое тело вдавилось в кровать. Взгляд стал бессмысленным и тупым, нижняя челюсть отвисла, как у выбившегося из сил коня, и густая слюна все время душила его. Лекари то выходили из комнаты, чтобы посовещаться, то торчали возле кровати, как вороны у свежей могилы. Слуги поминутно приносили серебряные подносы с пиявками. Вся его грудь, лицо и руки были усажены отвратительными извивающимися тварями. Некоторые так насосались, что были похожи на черные наросты. Иногда император начинал бессознательно мотать головой и давиться, мучительно и долго, и тогда лекари наперебой старались его успокоить. Подкладывали подушки, прижимали язык лопаточкой из слоновой кости, но никто не осмеливался сунуть ему в рот палец. Прошлой ночью он вдруг так резко сжал челюсти, что едва не откусил полпальца одному из них. Теперь они стали осторожнее. Бывший борец и конюх все еще не покорялся смерти. Он боролся, но по всему было видно: это его последний бой. Сыновья не выходили из покоев. Тут были только двое, Лев и Стефан, старший еще не вернулся из Сицилии, где сарацины продолжали предпринимать неожиданные набеги. Это открывало дорогу Льву, и он с нетерпением ожидал кончины отца. Он спешил! Спешил, пока не вернулся старший брат. Глядя на тяжелое тело отца, он чувствовал, как все в нем бунтует, потому что тот

еще продолжает бороться, еще держится за жизнь. Ему мучительно хотелось встать и одним ударом разрубить последние нити, связывающие отца с этой жизнью, но озабоченные лица лекарей заставляли Льва сдерживать себя. Из присутствующих лишь Стефан был искренне опечален. По его юному безбородому лицу текли слезы, и он по-детски размазывал их рукавом кафтана, расшитого золотой мишурой.

Императрицы не было: она всю ночь не смыкала глаз у постели больного и с восходом солнца ушла к себе вздремнуть. Лев знал о ее привязанности к отцу и ломал себе голову над тем, как воспримет она его тайные планы. Отец давно определил в наследники старшего брата, что было известно и матери, но Лев не желал мириться с этим. Если отец скончается до возвращения брата, Лев не будет ждать ни минуты. Он тут же объявит себя василевсом — царский хрисовул был уже написан от имени Василия, и под ним стояла его золотая печать. Василий отдавал по божьей и своей воле заботы о государстве в руки Льва Философа и объявлял его своим наследником и василевсом.

Все было подготовлено тайно. Кроме императорского асикрита, никто не знал о существовании указа. Он был спрятан в соседней комнате, в ящике массивного стола, где василевс обычно хранил секретные письма. Императорский асикрит положил его туда сразу после того, как Василию внезапно стало плохо. Он сидел на широком позолоченном троне и диктовал распоряжения для старшего сына. Советовал ему не вступать в открытый бой с пиратами и не задерживаться там слишком долго. «И надейся на свой ум, потому что ум — это рука, которая направляет меч, чтобы пожать плоды победы...» После этих слов наступила долгая пауза, которая озадачила асикрита. Он ждал продолжения, но василевс молчал. Столь долгое молчание смутило его, ведь у Василия был острый ум и ясная мысль. Асикрит поднял голову и испугался: Василий выгнулся, его длинные ноги вытянулись, глаза закатились так, что белки светились в сумраке комнаты, а из широко открытого рта струей текла слюна. Асикрит выбежал в коридор, и первым, кого он встретил, был Лев. Сын будто ждал за дверью. Убедившись, что василевс без сознания, они тут же поставили императорскую печать под фальшивым указом и положили его в железный ящик стола...

Лев смотрел на черных пиявок, облепивших тело отца, и непрестанно думал о том, с чего начать. Кто будет тот, кому первым надо увидеть указ? Хорошо бы созвать приближенных василевса: если они сами откроют шкатулку, то не возникнет сомнений и слухов. Слухи-то, конечно, будут! Как бы ни было все законно и правильно, ты не можешь заткнуть рот молве. Если бы обошлось без слухов, он бы очень удивился. Лев встал, подошел к Стефану и легонько подтолкнул его к двери.

— Иди, не мучайся... Он будет жить... Так легко он не сдастся... Иди! — Отведя заплаканного брата в соседнюю комнату, он быстро вернулся, ступая легко, как кошка. Он усиленно соображал, как бы выпроводить лекарей. Их сосредоточенные, серьезные лица раздражали его. Пиявки были похожи на куски тины на белом теле отца и вызывали тошноту. Лев прислонился к окну и посмотрел во двор. Деревья выглядели унылыми и опечаленными. Давно прошло время обеда, но никто не обедал. И только он собрался отправить всех в трапезную, как больной начал икать. Лекари забеспокоились, стали тревожно переглядываться. Вдруг Василий содрогнулся так, что дернулась кровать, вытянулся и затих. Глаза стали на место, веки опустились. Пиявка, присосавшаяся ко лбу, будто осознав бессмысленность своего труда, изогнулась, раньше других оторвалась от кожи и медленно скатилась на белую подушку.

Василия не стало...

Слуги молча засуетились, торопясь убрать омерзительных помощниц лекарей.

И вдруг тишину дворца разорвал вопль. Кричала женщина, которая понимала, что потеряла все.

Лев, император византийский, приказывает... А в сущности, что он должен приказать? Первое его слово как императора должно быть весомым и запоминающимся. Все сейчас ожидают, каким будет его первый шаг. Издаст ли он новый закон, монастырь ли одарит, осужденных ли помилует, храм ли воздвигнет во имя всевышнего, который видит все... Последняя мысль заставила нового василевса вздрогнуть: действительно ли бог видит все? Если бы видел, то разве позволил бы ему таким коварным образом взойти на престол, отобрав его у брата? И все-таки, раз это удалось, значит, бог на его стороне. И убийцы, и подлецы, и дураки занимали этот престол именем всевышнего, а он ни жизни никого не лишал, ни крови не проливал, а только оказался умней остальных. Но ум не для того ли дается человеку, чтобы возвысить его над другими? В этом краю, где рабов и дураков так много, умный должен воссиять, стать для них солнцем во тьме житейской. В огромном небе, помимо мелких звезд, сияют также светила дня и ночи. Лев не раз созерцал небо, пытаясь разгадать их пути. На его столе и сейчас лежат вместе со стихами и желчными эпиграммами неоконченные труды о небесных светилах. Груду древних книг перелистал он, многих предсказателей выслушал, за хвостатыми звездами наблюдал, чтобы открыть путь своей звезды. И она воссияла в огромном небе над столицей Византии. Лев, византийский василевс, по воле божьей приказывает...

Асикрит стоял склонившись и ждал распоряжений нового импе-

ратора. Лев сидел на том же позолоченном троне, на котором потерял сознание Василий, но если отцу трон был впору, то для сына был широк, и он выглядел в нем, словно цыпленок в гнезде. Что-то птичье было и в лице нового василевса: острый нос с горбинкой, тонкие, вытянутые вперед губы, узкие скулы и широкий затылок, покрытый редкими волосами. Единственное, что его облагораживало, был лоб — не столько высокий, сколько облысевший. Если бы не примечательный лоб, василевс походил бы на простого пекаря или скорняка, которые встречаются на каждом шагу. Сын не обладал ни красотой и мужеством отца, ни живым очарованием матери. Асикрит близко знал его, знал его мелочный характер, змеиную злобу, готовую поразить каждого, и боялся его. Когда Лев предложил ему написать фальшивый хрисовул, он согласился, поскольку испугался за свою жизнь. Согласился, а сам все ждал удобного случая, чтобы предупредить отца, но случая не представилось. Как на грех, все выходило в пользу Льва. Теперь он добился своего. Стал императором. И приказывает... Асикрит ждал.

Лев VI в поисках мудрых поступков и умных мыслей медленно перебирал в уме жития святых и властителей, но прочитанное и услышанное ускользало от него. На ум приходили одни глупости, которые не годились для дела. Он то возвращался к Соломону с его притчами, то взывал к Солону или Аристотелю, но и в этих мысленных путешествиях не встречал никого, кто мог бы ему помочь. Каждый из них жил в своем времени, своими заботами, не задумываясь над тем, что когда-нибудь василевс по имени Лев Философ будет нуждаться в его помощи. Соломон мудрствовал перед приближенными и женщинами, а Льву сейчас приходится лезть из кожи перед собственным асикритом, чтобы придумать нечто радостное или впечатляющее для народа. Но человек может прославиться, не только завоевав любовь народа, но и вызвав его ненависть. До сих пор Лев думал, что его слава мудреца и философа обеспечивает ему народную любовь больше, чем сплетни о том, что он не стесняется пренебрегать божьими заповедями. Слава похотливого сластолюбца закрепилась за ним давно. Три его брака уже никого не удивляли. Но последняя жена, Теофано, стала надоедать ему, и император ломал себе голову, как бы отправить ее в монастырь. Были и другие причины. Ему приглянулась Зоя, дочь купца Заутцы, и кроме того, он подозревал, что Теофано кое-что знает о фальшивом хрисовуле. Во время одной ссоры жена бросила намек на его отношения с асикритом, это и заставило Льва задуматься и затаить подозрение, что она знает. Теофано была красива, правда, немного выше его, и если раньше разница в росте ему нравилась, теперь стала раздражать: все казалось, что жена смотрит на него свысока, с некоторым пренебрежением. Теофано была женщиной самостоятельной, со своими привыч-

ками и желаниями, которые не всегда были Льву приятны. Однажды в опочивальне, разнеженный ее ласками, он расчувствовался, наговорил кучу умных и глупых слов и как бы между прочим спросил, что ей нравится в нем. Ответ сбил его с толку:

— Лоб...

— Только лоб? — спросил он.— А чем?

— Тем, что высокий и красивый.

— Лоб как лоб! — заскромничал Лев, но в его с трудом сдерживаемой улыбке сквозило самодовольство. Чтобы погасить эту улыбку, Теофано сказала:

— Когда я смотрю на него, мне кажется, что он начинается от бровей и кончается вот здесь,— она провела рукой по его спине и похлопала по пояснице. Она пошутила! Этой «шутки» он не смог забыть никогда. По мнению Льва, она насмехалась над его образованностью, над его гордостью тем, что он самый мудрый человек в империи. Если бы нашелся другой, Лев не задумываясь сослал бы его на острова или — самое меньшее — запретил бы ему входить во дворец. Вначале Лев не увидел в ее шутке насмешки, но по мере того, как время отдаляло их друг от друга и он охладевал к ней, злополучная фраза все чаще начинала звучать в его мозгу как кощунственная издевка над его ученостью. Иногда он тайком смотрелся в огромное серебряное зеркало и упорно старался разглядеть свой затылок. Его рука нащупывала гладкую наготу и редкие волосы на шее... Нет, он не простит ей, никогда не простит этой обиды. Если Зоя ответит взаимностью, он найдет способ освободиться от Теофано.

Император заерзал на широком позолоченном троне, и асикрит поднял голову.

— Пиши! — сказал Лев.— Я, Лев Философ, волей божьей василевс Византии и многих других стран, приказываю...

3

Кремена-Феодора-Мария вдруг состарилась. Земная жизнь больше ничем не привлекала ее. Она утратила единственную связь с нею — своего сына. Сорок дней маленький Михаил был с ней, постоянно будил ее, не давая спать, но потом совсем забыл ее. Дитя! Ему больше нравились небесные селения, и тропинка к матери заросла травой. Но мать не забывала его. Она упорно продолжала ходить на маленькую могилку, выдергивала поникшие травинки, берегла ее от бесчувственного времени и сама не заметила, как могилка осела и сровнялась с землей. Кремена-Феодора-Мария стала снова впадать в религиозный экстаз, все более отчуждаясь от мужа и от окружающих. И чем дольше стояла она на коленях в домашней часо-

венке, тем сильнее чувствовала, как набухает в ней странная вина, изнуряющая ее своей тяжестью. Она начала понимать: то, что случилось с ее ребенком, есть не что иное, как божье наказание. Наказание за ее сомнения в чистоте веры и предпочтение ей плотского, земного бытия. Бог подарил ей кратковременную радость, чтобы потом заменить ее жестоким горем. Бог наказывал ее за отказ от тайного обета, который она когда-то дала себе,— остаться Христовой невестой. Теперь он приютил ее, но возложил на нее бремя страдания. И в ней созревала упорная мысль: отказаться от всего земного и посвятить себя богу. С тех пор как погиб ребенок, она стала совершенно равнодушна к мужу, не позволяла ему дотронуться до себя. Присев у горящего очага или вслушиваясь в завывание зимней вьюги, она мысленно перебирала свои земные прегрешения и приходила к выводу, что должна вымаливать искупление грехов в монашеском уединении. И уже не спрашивала себя, нужно ли уходить от мира сего, а лишь — куда уйти. Мысленно переходя из одного монастыря в другой, Кремена-Феодора-Мария искала приют для своей невыносимой боли. Такой приют был нужен ей, чтобы отдалиться от всех, стать чужой, чтобы ее забыли и чтобы она смогла забыть. И мысли ее все чаще обращались к Брегале. Там впервые искушение обрело образ, и туда надо уйти, чтобы, искупая вину перед всевышним, усугубить свои страдания. В долгие зимние ночи, бесконечные из-за не утихающей в ней боли, она открыла для себя Анну.

Анна, младшая дочь князя и ее племянница, была миловидна, но слегка прихрамывала, и хромота делала ее стеснительной и замкнутой. У нее было немало женихов, но она и слышать не хотела о замужестве. Ей казалось, что они или корыстны, или жалеют ее. А она была слишком гордой, чтобы позволить жалеть себя. Анна жила в отцовском доме, словно черная овца в белом стаде. Никто ни о чем не просил ее, и она никому не досаждала ни своим присутствием, ни разговорами. Книги с житиями святых постепенно заполняли сундучок, предназначенный для драгоценностей. Эти книги покупала она у «Доксовых детей». Так и шла ее жизнь, пока беда, как молния, не поразила Кремену-Феодору-Марию, отняв у нее единственную радость. Анна стала искать ее общества, ловила ее взгляд, ходила за ней тенью, внимая ее страданию. Анна не заговаривала с ней, не утешала, но ее присутствие постепенно становилось необходимым для сокрушенной скорбью матери. И как каждый живой человек, нуждающийся в том, чтобы выплакать кому-нибудь свою душу, так и Кремена-Феодора-Мария находила утешение в молчаливой привязанности тихой Анны. Ее первую посвятила несчастная мать в терзания скорбящей души. Анна не принялась ее успокаивать или разубеждать, а, напротив, рассказ о наказанье божьем восприняла вполне серьезно, разделяя мысль тетушки о необходимости пострижения в монахини.

Всю зиму говорили они о монастырях вдоль реки Брегальницы. Там, метрах в десяти под скалой, где стояла часовня святого Иоанна Брегальницкого, был заброшенный женский монастырь. Во времена, когда Пресиян завоевал эти земли, монашенки, опасаясь за свое целомудрие, покинули обитель. Долгие годы она была собственностью мужского монастыря и пустовала. Там жила одна-единственная старуха, которая до последнего своего часа пыталась собрать вокруг себя Христовых невест, но так и умерла в одиночестве. После переселения сестры Евлампии в мир иной монахи превратили обитель в хозяйственный склад, где хранили продовольственные запасы большого монастыря. Кремена-Феодора-Мария собиралась обратиться к архиепископу Иосифу с просьбой снова узаконить право женского монастыря на самостоятельное божье имущество. Но это зависело и от согласия брата. Если бы Борис-Михаил подтвердил старые монастырские дарения, она смогла бы возродить обитель для божьей молитвы и святой жизни.

Обе женщины уже не скрывали своего решения. Во дворце знали об этом, но князь все еще не сказал своего слова, и поэтому напряжение нарастало с каждым днем. Несколько недель назад Кремена-Феодора-Мария написала завещание. Все, что было у нее, она распределила между близкими и знакомыми. Не забыла даже слуг и рабов. Одним подарила свободу, другим — одежду и драгоценности, себе оставила несколько простых власяниц и расшитое серебряной мишурой свадебное платье, чтобы оно напоминало ей о грехе перед богом. Из украшений сохранила лишь золотое ожерелье, подаренное ей матерью к свадьбе, а остальное золото, за исключением того, что принадлежало мужу, отдала на восстановление монастыря. Завещание было составлено тщательно, с желанием никого не обидеть. Ей хотелось, чтобы ее, ушедшую в мир самоуглубления и общения с богом, поминали добром. Анна сделала то же самое, но у нее было слишком мало имущества, чтобы оно могло кого-нибудь осчастливить или обрадовать. Себе она оставила сундучок с книгами и самое необходимое, чтобы не быть монастырю обузой. Она и не подозревала, что там, в Брегале, ей предстояло испытать искушение в лице сампсиса Симеона...

С наступлением весны было получено княжеское и архиепископское согласие и подтверждение старых прав заброшенного монастыря. Это не очень-то понравилось игумену, но княжеское слово было сказано, и он приказал освободить кельи. По традиции пострижение в монахини и отречение от мира сего таких знатных особ происходило в присутствии архиепископа Иосифа. Пострижение было совершено на пасху в большом соборе около Плиски. Поседевшие волосы Кремены-Феодоры-Марии и черные как смоль кудри Анны положили на поднос в знак начала символического жертвоприношения.

Отрезали земной путь будничной суеты и тщеты. Черные власяницы сокрыли красоту двух женщин, отправившихся на поиски добра и истины вне обычной жизни людей. Вся Плиска собралась поглядеть на такое зрелище. Княжеский запрет был впервые нарушен: у собора стояли две запряженные лошадьми повозки, нагруженные тем, что необходимо для отшельнической жизни. После пострижения монахини поцеловали архиепископу руку, перекрестились троекратно и, опустив глаза, мелкими шажками пошли к повозкам. У первой, опираясь на козлы, стоял Алексей Хонул. Он не пожелал присутствовать на обряде, который узаконивал расставание с женой. Теперь Хонул оставался совсем один в чужой стране, без всяких корней. Увидев, что жена выходит из церкви, он было пошел ей навстречу. Но вдруг остановился. Она уже не была его женой, и с этого момента их ничто не связывало. Кремена-Феодора-Мария прошла мимо него, будто Алексея не было тут, и, сев на мягкие подушки, подняла руку, прощаясь со всеми. Многие близкие плакали — то ли от радости, то ли от печали.

Возницы стегнули лошадей, и обе повозки затерялись в торжественной зелени полей.

Алексей Хонул бессознательно двинулся им вслед, но, почувствовав, что все на него смотрят, вдруг смутился, оглянулся и направился к главным воротам. Впервые князь разрешил конным повозкам стоять перед соборной церковью, и то ради двух женщин, посвятивших свои жизни богу. Сам он, как всегда, пришел пешком. Люди расступились, давая ему дорогу. Он шел, подняв голову, глядя прямо перед собой, суровый и бесконечно далекий от всего, что тут происходило. Его жена как-то сгорбилась, уменьшилась и часто-часто вытирала слезы. Она оплакивала пострижение дочери. Анна всю жизнь была ее заботой и болью, материнской печалью и наказанием. Как могла она родить дитя с таким недугом? Если бы дочка охромела потом, мать не мучилась бы так: мол, несчастье есть несчастье,— ну а так она винила себя...

На полпути князь Борис-Михаил вдруг освободился от своих мыслей и будто ступил на твердую землю. Отчужденное выражение лица исчезло, и глаза засветились теплотой. Ускорив шаг, он догнал Алексея Хонула и дружески положил ему руку на плечо.

— Не скорби, Алексей. Много страданий уготовила тебе жизнь, но человек для того и создан — терпеть...

Участливая ладонь на плече и дружеский голос заставили Алексея Хонула почувствовать бесконечную благодарность к князю. Рядом с ним был не державный властелин, а человек, который ценил его и сочувствовал его боли. В сущности, их связывала одна боль, и князь не мог не понять его. Ни маленький Михаил не был ему чужим, ни Мария, ни Анна... И если было что у князя, чего не было у

Алексея,— это то, что он стоял на своей земле, а Хонул уже превращался в тот осенний лист, который ожидает последнего порыва ветра. Какую дорогу укажет ему жизнь, он не знал, да и не хотел знать. Страдание всегда шло за ним по пятам, даже когда он был среди своих. От добра ли он покинул их? Нет!..

У городских ворот стражники затрубили в рога, и этот торжественный звук как нож вонзился в сердце князя. Он махнул рукой, приказывая не трубить. Слишком сильна была боль в сердцах близких, чтобы поднимать шум фальшивой торжественности. Повозка с двумя женщинами все еще стояла у него перед глазами. Они отреклись от земного, а он остается здесь навязывать божью волю мечом и насилием. Когда-то папа освободил его от тяжких прегрешений, но простил ли он себе их сам? Много бессонных ночей осталось в его памяти, и чем больше он старел, тем чаще бередили душу воспоминания о невинно погубленных детях. Они смотрели на него своими кроткими глазами и вопрошали: за что? Что мы сделали тебе плохого, почему ты лишил нас того, чего не можешь нам дать?.. Этот вопрос будет мучить его всю жизнь, и он всегда будет чувствовать себя виновным. Разве недуг Анны не месть провидения, разве смерть маленького Михаила не острое жало, нацеленное в его сердце?! Может, весь его род будет искупать его вину и прегрешения... Все смотрят на него и завидуют, что он стоит во главе государства и держит в руках бразды человеческих стремлений и желаний, но никто не может заглянуть в глубину его души и понять, какой мрак прячется там.

И настанет день — Борис-Михаил знал это,— настанет день, когда тяжесть прегрешений перевесит его упорство и он отправится вслед сестре искать прощения за содеянное зло. Люди знают, что оно было содеяно во имя всевышнего, но Борис-Михаил не убежден, знает ли это всевышний... Круговорот сомнений никогда не кончится, ибо живой человек живет, чтобы сомневаться в том, что он сделал, иначе он не мог бы идти вперед.

4

Фотий принял свое заточение без былых терзаний. Он достиг того возраста, когда равнодушие и мудрость подают друг другу руку и становятся спутниками человека. Только вечерами, когда в небе загорались крупные звезды, бескрайняя боль приходила к нему и не давала заснуть до рассвета. Он думал об Анастаси и о ребенке, и эти мысли были невидимым ножом, который постепенно перерезал нить его жизни. Остров Теревинф был из тех морских островов, которые не отличались разнообразием жизни. И другие сосланные патриархи

проклинали дни, проведенные здесь. На этом острове в свое время много лет провел патриарх Игнатий, его заклятый враг. Теперь Фотий ходил по тем же самым дорожкам, и шаги его звучали, как шаги заключенного,— равномерно и устало.

После вечерни он поднимался на высокую прибрежную скалу, где кончалась земля и начиналась морская гладь. И невольно припоминал библейскую картину «Хождение по водам». У него было чувство, что, если он ступит на ровную морскую гладь, с ним тоже произойдет чудо. Но несмотря на это, не ступал. Слишком земным был бывший константинопольский патриарх, чтобы верить в библейские чудеса. Его согбенная фигура допоздна маячила на скале, а неухоженная белая борода слегка развевалась от невидимого ветерка. Внизу, где вода облизывала подножие скалы, отражались звезды, будто у ног лежал потусторонний небесный мир со всеми прелестями настоящего неба и даже более загадочный, поскольку он существовал не всегда. Патриарх Фотий слишком долго всматривался в просторы небесных селений, чтобы и теперь глядеть в их пустоту. В бездне искал он когда-то свои истины, но нашел ли — никто не может сказать. Фотий, устало опустивший руки и голову, походил на кусок скалы и вечности. Что еще могло бы его обрадовать? Ничто! Кроме одного — возвращения к ребенку и Анастаси.

Но ждут ли они его? Верно, они плакали, провожая его. Особенно сын. Он держался за полы длинной одежды отца, и глазки его утопали в слезах, как звезды в воде, которые наблюдал Фотий каждый вечер. Сын не говорил ему «папа», и это тяготило его. Для него Фотий был «владыка», однако сыновняя любовь к «владыке» была безграничной. Много раз спрашивал он мать: почему у других детей есть отцы, а у него лишь «владыка»? Вначале Анастаси смущали эти вопросы — она не знала, как ему это объяснить, и делала вид, что не слышит его слов, пока Фотий однажды не посадил мальчика на колени и не сказал: «Я, сынок, отец для всех людей, верящих в бога, а для тебя я владыка, чтобы тебе завидовали другие дети. Ни у кого из них нет владыки, который бы так их любил...» И этот туманный ответ, видимо, удовлетворил мальчика, и он перестал тревожить мать вопросами. «Владыка» для него был и радостью, и лаской, и наслаждением, и ожиданием. И вдруг он понял, что с отъездом «владыки» теряет все, что у него было. Слезы его были чистыми и светлыми, искренними и по-детски преданными. Вырастет и узнает правду о себе и о матери и о своем «владыке»... Неизвестно только, как посмотрит сын на все это, осудит ли его за ложь или благословит за прекрасные годы, проведенные под его крылом. Фотий не представлял себе, сколь долгим будет заточение. Много злобы навлек он на себя за годы борьбы и распрей. Сколько раз обрушивались на его голову папские анафемы! Как близко был от него острый меч василевсов! И все же

он уцелел. И только было подумал, что жизнь пойдет гладко в царствование его друга Льва Философа, как на него пал царский гнев. Почему? — спрашивал себя Фотий и не находил ответа. О многом он догадывался, но из догадок трудно было выбрать одну и сказать: вот за это! Тут и мелочная зависть императора, что Фотий делит с ним славу ученого мужа. Тут и третья женитьба василевса, охладившая их дружбу. А может, причина в другом: в вечном стремлении византийских правителей завоевать признание Рима, быть в хороших отношениях с папами, а для них Фотий — самый непримиримый враг... Тяжкие слова говорил константинопольский патриарх в адрес римских священнослужителей — и раньше, и при встрече выкупленных учеников Кирилла и Мефодия. Все это, видимо, и подтолкнуло лавину, которая покатилась вниз, увлекла за собой Фотия и забросила на этот остров с печальной славой патриаршей тюрьмы...

Низвержение не слишком удивило Фотия, хотя он не ожидал этого,— наверное, носил его в себе. Поразил выбор нового патриарха. На патриарший престол взошел шестнадцатилетний брат василевса, Стефан. Неопытное дитя заняло его место. Что оно может сделать для константинопольской церкви? Ничего! Исходя из своего многолетнего опыта, Фотий понимал, что Стефан недолго продержится на престоле, и тайная надежда не покидала ссыльного: возможно, его опять призовут спасать загубленный престиж церкви...

Фотий понимал, что это желание может и не сбыться, но лучше верить во что-нибудь, чем поддаться малодушию и праздности,— подобные мысли были единственным утешением в этом забытом богом месте и уходили, лишь когда сон смыкал ему веки. Фотий исправно выполнял все церковные требования к спасению души, но делал это по привычке. Здесь, в одиночестве, он вновь вернулся к литературным занятиям. Теперь церковные послания и заботы о торжестве константинопольской церкви над римской не волновали его. Древний мир вновь завлек его в свой темный водоворот и не давал покоя. Если бы не эти волнения, Фотий истлел бы, как одинокий уголек, от дум об Анастаси и сыне. Перед изгнанием он открыл им завещание. Фотий признавал сына своим и оставлял ему огромное наследство, собиравшееся дедами и прадедами, чтобы тот поминал его добром. Все остальное: дом, дополнительные доходы и два старых имения — он оставлял Анастаси и себе. А если ему придется на этом острове проститься с жизнью, она станет наследницей и его части имущества. О церкви в этот раз он вообще не упомянул. Достаточно много лет жизни он отдал ей, чтобы отдавать еще и часть имущества. Пусть заботятся о церкви василевсы, которым она безропотно служит. Фотий был из тех ее служителей, с которыми обходились очень плохо. Что он им сделал, что они так суровы и несправедливы к нему?..

От грустных размышлений его отвлекал монастырский служка — молодой паренек, немного глуповатый, но кроткий, с восторженным выражением на безбородом лице, отчего казался слащавым и как бы неземным. Мальчик был разговорчив, а вопросы, которые он задавал, отличались наивностью. В других обстоятельствах вряд ли кто стал бы отвечать на них, и Фотия вначале раздражала его глупость, но постепенно он стал открывать в этих вопросах путь к своему спасению. Было с кем разговаривать и таким образом освобождать душу от груза горьких дум. Он боялся лишь одного — не поглупеть бы, как его собеседник.

— А почему у птиц крылья? — спрашивал Онуфрий, и его восторженное лицо застывало в ожидании ответа.

— Почему? Потому что такими их создал бог! — отвечал Фотий, но задумавшись, понимал, что не может дать разумный ответ на этот вопрос. Птицы существовали давным-давно, еще до появления богов, по крайней мере так говорится в книгах древних эллинов. Их божества не сотворяли птиц. А до эллинов существовали и другие народы. Но, однако, все пошло от сотворения мира, от тех шести дней, о которых пишется в святых книгах. А там сказано, что бог сотворил всех сущих на земле тварей: и рыб морских, и птиц небесных, и всяких животных и гадов...

Эти на первый взгляд легкие вопросы Онуфрия все глубже и глубже проникали в сознание Фотия, и, стоя на своей скале над морем и глядя вдаль, где солнце медленно погружалось в море, он понимал, что не все ясно. Если земля плоская и у нее есть край, почему же солнечный свет в последнюю очередь уходит с горных вершин?

Но к чему копаться в непознанном, когда все сказано в божьих книгах? Ему ли сейчас делать открытия? Достаточно, что этот недоучка-василевс, присвоивший титул Философа, постоянно взирает на небо, чтобы открыть пути светил... Эти пути искали многие и до него, но мало что нашли.

Однако, несмотря на нежелание вмешиваться в дела божьи, Фотий не мог не удивляться движению далеких кораблей по морю. Вначале появлялась верхушка мачты, за ней медленно всплывали паруса, и лишь затем становился виден весь корабль. Он застывал на далекой линии между небом и водой и казался божьей коровкой на гладкой поверхности огромного арбуза. Нет, все-таки было в этом нечто столь удивительное, что заслуживало раздумий.

5

Симеон собирался в дорогу. Очень много событий произошло в Царьграде за последний год его учебы. Смерть императора Василия повлекла за собой изменения при дворе. Все стало каким-то нена-

дежным и для своих, и для чужих. Отстранение Фотия, славившегося мудростью, неожиданно окрасило небо над Константинополем в зловещий цвет. Новый правитель, Лев VI Философ, начал тайные гонения на приближенных отца. Подле него появились писатели и стихотворцы, астрономы и лекари, которые старались урвать из государственной казны как можно больше. Их славословия нравились новому василевсу, но он не прощал тем, кто превосходил его по уму. Ему хотелось быть единственной, ярчайшей звездой в небе империи.

Поговаривали, что Фотий впал в немилость из-за собственной славы, которая затмевала мудрость василевса-философа. Симеону не раз приходилось слушать проповеди бывшего патриарха, и он всегда уходил с чувством восхищения его умением красиво говорить и мудро мыслить.

За несколько лет учения княжеский сын достаточно хорошо узнал византийские порядки, чтобы ничему не удивляться. В Константинополе внезапное обвинение в тяжких грехах и даже казнь могли стать уделом каждого. И все же город жил, боролся с бесчисленными врагами и диктовал свою волю. Постепенно Симеон понял, в чем его непобедимость. Во-первых, город очень хорошо укреплен, и, во-вторых, он находится в таком месте, куда богатства всего культурного мира стекаются, как кровь в человеческое сердце, и дают ему силу и бессмертие. Если когда-нибудь Симеону придется занять отцовский престол, он сделает все возможное, чтобы Константинополь стал болгарским...

С каждым прожитым днем нетерпение Симеона и его соучеников нарастало: ожидалось прибытие княжеских послов, которые должны были забрать их в Плиску. Кроме того, им надо было сделать еще одно дело — получить подтверждение мирного договора с Византией и выразить свое почтение василевсу Льву и патриарху Стефану. О возвеличении брата императора люди говорили с насмешкой и плохо скрываемой злостью. Что может шестнадцатилетний мальчишка без всякого опыта в светских и церковных делах? Стефан не блистал ни умом, ни красноречием, был чересчур стеснителен и невзрачен. Симеон знал его, они вместе учились в Магнавре. Познания Стефана были невесомы, как птичье перышко, и нестойки, как поздний снег. Нет, он не мог ничему научить людей, кроме той истины, что и дурак может возглавить константинопольскую церковь.

Симеон с нетерпением ожидал послов отца, чтобы обрадовать их новостью: Лаврентий и большая группа учеников Кирилла и Мефодия согласились отправиться с ним в болгарскую землю. Вначале они отмалчивались, потом заколебались, а когда Фотий был низвергнут, почувствовали себя слишком неуверенно в Константинополе и сами пришли к Симеону сообщить о своем согласии. Около пятнадцати духовных лиц, испытанных борцов за славянскую письмен-

ность, собирались теперь внести свою лепту в укрепление молодой болгарской письменности и церкви. За это отец мог лишь похвалить, ведь он уже давно собирает таких просвещенных и знающих людей...

В последнее время Лаврентий непрестанно спрашивал: когда же мы отправимся? Он опасался, как бы новый патриарх Стефан не помешал им в решающий момент, поскольку они были не просто византийскими священнослужителями, а приверженцами и сеятелями славянского слова. Но Стефан еще не мог понять церковных дел, и он задержал бы их, если бы ему это подсказал кто-нибудь более умный и хитрый. Юноше с патриаршим жезлом было далеко до дальновидного, мудрого Фотия. Стефан не знал, чего хочет сам, не знал, чего надо требовать от божьего стада и просить у всевышнего. Он все еще продолжал радоваться своему возвеличению, но делать ничего не делал. Опытные архиепископы и епископы не очень-то старались его поучать, они предпочитали иметь такого вот патриарха, чтобы властвовать свободно на своих землях и в своих городах. Они изумлялись: Лев VI вроде считался человеком умным, а допустил такое кощунство над константинопольской церковью.

Вопреки желанию уехать поскорее Симеон чувствовал, что время связало его с Константинополем невидимыми нитями. Мир не был столь безлик, как это думалось поначалу. У юноши завязалось очень много знакомств. Знатные семейства не упускали повода пригласить его к себе. Сына болгарского князя Бориса-Михаила с нетерпением ждали в каждом доме и смотрели на него с большим интересом. Византийцы заочно создали себе очень странное представление о Симеоне — оно было результатом многолетней ненависти к болгарам — и потому ожидали увидеть невзрачного юношу, грубого и невоспитанного, но бывали поражены его учтивым поведением, безупречным греческим языком и обширными знаниями. Симеон обладал цепким умом, и все прочитанное прочно запоминалось им. Иногда он ловил себя на том, что даже знания, которые по сути своей мертвы и никогда ему не пригодятся, продолжают, не затуманенные временем, храниться в его памяти. Познания Симеона заставляли византийцев удивленно переглядываться. Многие не могли поверить собственным глазам и ушам и с византийским упорством старались найти в его роду греческого предка, чтобы таким образом поддержать старое представление, что болгарин простоват, груб и что он может приобрести ученость и хорошие манеры, лишь если в его жилах течет византийская кровь. Расспросы об отце и матери Симеона ничего им не дали. Но невзирая на это, они не замедлили распустить слух, что он наполовину грек. Симеон постепенно убеждался, что в кругах знати любезная улыбка еще ни о чем не говорит, гораздо больше можно понять по взглядам. В них наряду с коварством он видел и настойчивое любопытство. Особенно во взглядах женщин. Первая жен-

щина, которая тайком открыла ему дверь, была жена друнгария Евстафия. Симеон долго колебался, стоит ли ему идти. Боялся, не ловушка ли это. Друнгарий отбыл с войском на Италийский полуостров на третий год после их свадьбы, и молодая жена не смогла вынести одиночества. Ее служанка протоптала тропинку к дому Симеона, беспрестанно нося ему записки. Агапи́ встретила его на одном из приемов, устроенном императрицей. Красивый молодой человек ее пленил, блеск его черных глаз проник ей в душу, и она делала все возможное, чтобы привлечь его внимание. На этом приеме они разговаривали мало, и разговор касался учения в Магнавре и преподавателей. Но Агапи была очень далека от забот и занятий учеников императорской школы. Симеон быстро понял строй ее мыслей, и его шутка по поводу прически одной слишком грузной дамы помогла им найти общий язык. Так возникла первая тайна, побудившая их чувствовать себя заговорщиками. Этикет не позволял замужней даме долго разговаривать с молодым мужчиной, и они разошлись, но в любом месте просторного зала Симеон чувствовал на себе взгляд Агапи. И вскоре от нее пришла записка. Однако он решился лишь после третьего приглашения. Он вошел в дом друнгария через потайную дверцу вслед за служанкой, что приносила записки. Нескоро он забудет это путешествие: у него все время было ощущение, что за ним отовсюду следят невидимые глаза. Служанка довела его до какой-то комнаты, приложила палец к губам: мол, ни о чем не спрашивай — и показала на дверь. Симеон открыл ее, и первое, что увидел, было пламя свечи, а со свечой — она. На ней было что-то совсем легкое и прозрачное, и отблеск пламени боязливо трепетал на полуобнаженной ноге. Она стояла и спокойно рассматривала его, а ему был виден лишь круг света, золотившего ее грудь и ногу. Вдруг Агапи подалась вперед. В темноте одежда ее чуть слышно шуршала, будто она шла по осеннему лесу. Руки ее были нежными и мягкими, эту нежность Симеон будет помнить всю жизнь... Они не разговаривали. Оба понимали, что́ свело их вместе, а краденое время бежит очень быстро. Симеон остался у нее до поздней ночи. Есть такой момент перед рассветом, когда небо становится темным и тяжелым. Он быстро шел по улице; люди еще спали, но их скорое пробуждение чувствовалось по еле слышным звукам. В лавках за запертыми дверьми было тихо, но кое-где огонек свечи уже проникал сквозь щели оконных ставен: был базарный день, и торговцы начинали подготавливать свой товар.

Симеон не знал, как отнестись к тому, что с ним случилось,— как к счастью или как к безрассудному поступку. Он очень устал от ласк Агапи, тупое безразличие овладело им, и, если бы не близкий рассвет, он еще долго бродил бы по улицам. Этого вечера ему никогда не забыть. Агапи сделала его мужчиной и открыла ему тайны женской прелести. С тех пор прошло несколько лет. От Агапи оста-

лась в памяти лишь нежная мягкость рук. Появилась другая, и она, как ни странно, тоже была из высших кругов и к тому же — лучшая подруга Агапи. Спачала Симеон не мог объяснить себе, почему Агапи так хотелось познакомить его с Анной, которая была гораздо моложе и могла отбить его. Симеон опасался всякого нового знакомства, он не хотел осложнений. Эти знатные дамы могли так запутать его в сетях непрестанных интриг и сплетен, что, того и гляди, возникнет скандал и ему придется уйти из императорской школы. Но несмотря ни на что, знакомство состоялось. Анна была намного красивее Агапи. На первый взгляд в ней было что-то непорочное и робкое. Длинные ресницы казались шелковыми, и сквозь них, подобно лунному свету, струились ее скрытые желания. Симеон при первой же встрече почувствовал, как дрогнуло сердце. Кровь отхлынула от лица, и та бледность, которая придавала ему привлекательность и мужественность, залила скулы. Это не ускользнуло от Агапи. Симеон боялся огорчить или же задеть ее самолюбие вниманием, которое он начал проявлять к Анне, но ошибся. Вместо того чтобы рассердиться, Агапи рассмеялась:

— Я знала, что она тебе понравится. И поэтому скажу тебе прямо: завтра я уезжаю к мужу. Моя подруга Анна будет смотреть за домом. Я оставляю ей ключи...

Симеон до сих пор не может объяснить себе легкости, с какой подошел он к своей новой подруге. Вероятно, в нем заговорило врожденное чувство болгарина воспринимать женщину естественно, как благо, что ему положено в жизни, и не задумываться над ее переживаниями.

Анна была более стеснительной, и это укрепило в нем чувство мужского достоинства. С опытной Агапи он был учеником, теперь ученик становился учителем или по крайней мере ровней. Анна нравилась ему тем, что всегда радовалась его появлению, как дитя. Какими только именами не называла она его! Если он задерживался — плакала. Анна принимала его как солнце, как долгожданное счастье. Агапи после любовных ласк сразу же успокаивалась, вставала и начинала расчесывать волосы, будто забыв о нем. Анна же не сводила с него глаз. Она целовала его сильное тело с резко очерченными мускулами, страстно желая его тепла. Высокий лоб Симеона часто привлекал ее внимание, она измеряла его ладошкой и не переставала восхищаться. Она была живая, гибкая и удивительно ласковая. Муж Анны был гораздо старше ее, она вышла за него, как только достигла шестнадцати, а теперь ей было столько лет, сколько Симеону. Иногда Симеон зарекался не переступать больше порога потайной дверцы, потому что готовился стать духовным лицом и его жизнь должна быть святой и праведной. Но несмотря на это, молодость брала свое. Наступало время свидания — и он спешил к ней.

Так продолжалось до его пострижения в монахи. И вот теперь Симеон ожидал послов отца, которые должны были ехать вместе с ним на родину. Будет ли он сожалеть об Анне, Симеон не знал...

6

Во времена Крума был закон, сильно ограничивавший потребление вина, но тем самым людей лишали такого вкусного и необходимого плода, как виноград. Восстановление виноградников началось еще при жизни Крума, так как он сам убедился, что его закон мешает народу пользоваться дарами виноградной лозы. При наследниках Крума довольно много земли, хорошо прогреваемой солнцем, было засажено виноградом.

Крепостные крестьяне и рабы давили вино, но никто не напивался сверх меры. В честь виноградной лозы с давних фракийских времен проводились веселые народные празднества. Борис-Михаил не хотел полностью уничтожать народные обычаи и потому, посовстовавшись с архиепископом Иосифом и с Климентом, приказал день виноградной лозы объявить праздником святого Трифона. В этот зимний день, когда весна уже стучалась в окно, все высыпали на поля, чтобы в первый раз обрезать лозу и по слезе угадать, каким будет год. В этот день полные вина медные сосуды переходили от одного к другому, полыхали костры и мокрые прошлогодние ветки винограда, охваченные алым пламенем, тонко посвистывали, крупные куски мяса и сала, нанизанные на вертела, жарились над раскаленными углями. В последнее время народные праздники начинались с благословения в церкви и заканчивались тем, что на основной ствол виноградной лозы ставили горящую свечечку. Отец семейства обычно благословлял землю на новый урожай, троекратно поливая ее густым вином. Старое и новое переплелось тут, но не мешало друг другу.

Климента, Наума, Константина и Марко пригласили на Доксовы виноградники. Ни один из них не пил вина, но при виде празднично одетых людей на весенних полях души их также наполнились радостным возбуждением. Около костров пелись песни, дети играли в снежки, молодые парни, разгоряченные вином, боролись — мир продолжал жить, довольный и тем малым, что принес с собой день. Климент смотрел на живописное роение людей на черно-белом поле, и в его душе художника постепенно возникал зримый образ народного духа. Правильно поступает Борис-Михаил, не втискивая все в церковные догмы и не обезличивая свой народ и себя. Одно лишь омрачало душу Климента — мысль о том, что его собрат Ангеларий прикован к постели и не может всему этому радоваться вместе с ним. Ангеларий с каждым днем слабел и таял, как восковая свеча. Даже лицо

его приобрело восковой цвет. Скулы заострились, голос стал тихим, и друзья понимали, что он умирает. После сильного кровотечения на водосвятие целители потеряли надежду. В последние дни он с трудом вставал, но еще продолжал упорно бороться за жизнь. Ему все казалось: доживи он до весны, и смерть будет побеждена. У него было чувство, что она преследует его от Моравии и сейчас дежурит около него, но он надеялся, что их дороги разойдутся и они пойдут каждый по своей. Ангеларий, движимый желанием жить, через силу заставлял себя есть, но из-за этого еда ему совсем опостылела. Чеслав попытался вернуть ему аппетит отваром полыни и других трав, но и это не помогло. Больной ел мало, лишь бы не умереть с голоду. Бориса-Михаила очень огорчала болезнь Ангелария. Не проходило дня, чтобы он не поинтересовался его здоровьем. Два раза князь навещал его и уходил сокрушенный. Такой необходимый человек оставлял этот мир! Щеки его впали, и, когда он улыбался, улыбка как бы застывала на лице и белые зубы долго еще оставались открыты, будто губы были бессильны вернуться в прежнее положение...

Климент смотрел на искры костров, разожженных на пригорках, и радость от праздника угасала. В памяти всплыли костры в Моравии, на которых за несколько дней превратились в пепел плоды стольких бессонных ночей: книги — смысл их жизни — стали освещением для дьявольских огненных игрищ. Там сгорело здоровье его собрата Ангелария, не говоря уж о Горазде — неоценимой жертве во имя их спасения. Но что могли они сделать? Их изгнали, словно последних бродяг,— избитых, измученных, истерзанных. И если бы не было у них новой цели в жизни — Болгарии, они предпочли бы умереть, как Горазд, чтобы остаться в памяти людской мучениками за божье слово, произнесенное на славянском языке. Глядя на шумное веселье вокруг костров из виноградного хвороста, Климент стал вдруг корить себя, что теряет время. А годы-то идут, и, не ровен час, нежданная болезнь может свалить его до времени, как Ангелария. Ему нестерпимо захотелось засесть за работу, ощутить в руке перо, кисть или краски, услышать шелест пергамента под пальцами и творить во имя прославления жизни. Нужно спешить делать дело, а князь вроде не торопится — дожидается возвращения сына из Константинополя вместе с Лаврентием и другими выкупленными священниками. Но Климент не хотел терять времени. Надо приступать к работе на плодородной и просторной ниве болгарского государства. Думая о Борисе-Михаиле, Климент не укорял его за выжидание. Он угадывал его тайную мысль — не делать решительного шага, не разобравшись, что происходит в Константинополе после смерти Василия и отстранения Фотия. А об этом лучше всего мог рассказать Симеон... О нем Климент слышал много лестных слов. Сам он не знал его, но верил людям, потому что если один человек может обмануться, то

мнение многих чаще бывает истинным. А пока никто не сказал в адрес Симеона плохого слова. Вот ведь брата его, Расате-Владимира, осуждают многие и за многое... Климент внимательно поглядел на престолонаследника. Тот сидел рядом со своим дядей, Доксом, и все прикладывался к серебряной чаше. Лицо его стало цвета красного вина, а низко опущенные густые брови лежали на глазах, словно два больших жука. Расате-Владимир, видимо, был необщительным, хотя к Клименту относился с подчеркнутым уважением. Он целовал Клименту руку, спрашивал о здоровье, о работе, но Климент и по сей день не мог сказать, какого цвета у него глаза: они всегда прятались под густыми бровями. Климент привык читать мысли людей по глазам, а о чем думал Расате-Владимир, понять не мог. Борис-Михаил, беседуя с кем-нибудь, всегда смотрел в глаза, а этот, напротив, избегал чужого взгляда и в свои глаза не позволял заглянуть. Скрытным человеком был болгарский престолонаследник, скрытным... Даже сейчас, на празднике святого Трифона Зарезана, он держался замкнуто. Климент снова попытался увидеть его глаза, когда тот поднимал чашу с вином, и не сумел. В отличие от Расате-Владимира Докс был весь как на ладони. Он не стеснялся говорить и такую правду, которая была неприятна даже князю. Был он умен и сообразителен — два качества, которые Климент особенно ценил. Докс, словно отгадав мысли Климента, оглянулся и махнул ему рукой, приглашая к костру. Климент подошел поближе к огню, чтобы погреться — ноги у него озябли. Он приподнял плотную черную власяницу и протянул ногу к огню. Слух уловил протяжное и грустное посвистывание сырой ветки. У соседнего костра Наум, Константин и Марко затеяли оживленный разговор, держа в руках ломти хлеба с горячими кусками мяса. Климент почувствовал голод. И снова, будто вторично угадав его мысли, Докс приказал какому-то парнишке принести хлеба с мясом.

Закусили, согрелись, разговорились. Разговор так или иначе вертелся вокруг новых церковных порядков.

— Что сейчас нужно людям? — спрашивал и сам себе отвечал Докс.— Мне кажется, нужнее всего, чтобы народ понимал смысл учения Христа со всеми его дозволениями и запретами. Люди не знают даже своих праздников, не знают деяний святых, которым они посвящены. Необходимо, чтобы кто-нибудь из вас взялся за это и рассказал простыми словами и притчами. Иначе получается, что мы навязываем то, чего они не понимают. Выходит, заставляем их есть пищу, которую они никогда не пробовали. И хуже того — пищу, о которой они заранее не знают, что она неотравленная. Нельзя так! И птичка, хоть она и птичка, не клюет без разбору всяких мушек и всякие зернышки, она выбирает. И выбирает то, что знает давно, что проверила на опыте...

При этих словах Расате-Владимир пробормотал что-то невнятное, но Докс не обратил на него внимания. Он смотрел на Климента так, будто, кроме него, никого тут не было. Слушая Докса, Климент понимал, что в его рассуждениях есть великая истина. Все бросились просвещать народ, обращать его в новую веру, а говорят ему лишь о больших делах церкви, о соборах и соборных решениях. Все это дойдет до людей, если они поймут самое близкое — то, что должно осветить каждый их день. Прав Докс. Нужны простые, понятные слова обо всем, что лежит в основе новой веры. С этого надо начинать. Если они откроют народу глаза на малое, он увидит и более значительное. Климент давно думал об этом, но, к его радости, княжеский брат также понял это. Климент знал, что в его лице всегда будет иметь доброго и искреннего друга.

После обеда тронулись в обратный путь. Солнце скупо светило на поля и было похоже на золотую монету, по которой так сильно били тяжелым молотом, что она истончилась и расплющилась по краям. Но все же большие участки земли на припеке обнажились, напоминая о приближении весны, и только на межах снег еще держался. Там ветры нанесли высокие сугробы — снизу плотные, а сверху, на глубину ладони, рыхлые, подтаявшие... Времена года шли как всегда, и земной распорядок вещей продолжал повиноваться своему создателю.

Выбрались на узкую дорогу, где их ждали запряженные повозки. Докс, Климент и Наум сели в первую, Константин и Марко — в следующую, Расате-Владимир предпочел коня. Он вскочил в седло, пробормотав что-то на прощание, и умчался вперед, сопровождаемый группой ровесников. Докс, глядя вслед племяннику, полушутя-полусерьезно сказал:

— Храбр и вовсе не глуп, но трудно ему стать другом книги. До сих пор я ни разу не видел его за чтением. Тяжелый характер... Но это уж забота великого князя и моего брата Бориса.

В его словах была большая правда, которая подтверждала мнение Климента о престолонаследнике. Тут и крылась одна из причин замкнутости этого человека с «тяжелым характером», как выразился Докс.

А по холмам и пригоркам продолжали гореть костры. Все поле пропиталось запахом поджаренного сала и терпкого вина...

7

Могильщики стояли поодаль с веревками и лопатами. Во дворе большой базилики близ Плиски нашел последний приют труженик и святой человек Ангеларий. День был весенний. Весь церковный клир

под предводительством архиепископа Иосифа присутствовал на погребении. Неутомимый радетель за дело Христово ушел из земного мира, чтобы занять свое место в небесном. Климент заканчивал надгробное слово, когда ему сообщили о прибытии из Константинополя княжеского сына с группой учеников Кирилла и Мефодия во главе с Лаврентием. Эта весть побудила Климента повысить голос:

— ...И бог, от которого исходит всякое провидение и свет, неусыпно заботится о людях этой гостеприимной и праведной земли. Мы с почестями отправили к нему нашего любимого святого брата Ангелария, а бог в тот же день и в то же мгновение прислал к нам новых искренних приверженцев великой истины, исполнителей его воли. Тот, кто смотрит на нас и всегда заботится о нас, не забывает этой земли и этого народа, пошедшего по праведному пути Христовой церкви... Спи, брат Ангеларий, и помни о народе болгарском!

Климент опустил руку, которой указывал в небо, и медленными шагами направился к князю. Могильщики отложили лопаты, подсунули веревки под гроб и начали опускать в яму. Удары влажных комьев земли о гроб тяжело отдавались в сердце Климента, и он устало вытер выступивший на лбу пот. Ушел еще один из их воинства. Все меньше тех, кто первыми пошли за светлой идеей двух братьев из Солуни. Ушел Горазд, за ним Ангеларий. А Марин и Савва — где они? О них ничего не известно. Но может, они среди прибывших? Если б это было так, то не сказали бы «во главе с Лаврентием», а назвали бы имя Марина или Саввы. Что сталось с ними? Сердце Климента сжалось в недобром предчувствии. Он опустил глаза и стоял не двигаясь, пока Марко не тронул его легонько за плечо. Климент поднял голову и увидел, что толпа расходится. В глазах стояли слезы, он вытер их и как во сне пошел следом за князем и его братьями, Доксом и Ирдишем-Илией. Ирдиш-Илия редко появлялся в столице, Климент видел его несколько раз, но не был знаком с ним. Говорили, что все войска в государстве были в ведении Илии и кавхана Петра. И в то время, как один из них в столице, другой объезжает тарканства и проверяет силы державы. Илия был молчалив, сосредоточен, по-военному подтянут, на широком поясе были подвешены оружие и знаки отличия, которые издавали при ходьбе легкий звон. Наверное, меч касался кожаного футляра с огнивом или короткого ножа с рукоятью из оленьего рога. Этот звон резал слух и напоминал Клименту, что он слышал его и раньше. Шли медленно, каждый думал о своем. Климент скорбел об утрате Ангелария и в то же время радовался прибытию выкупленных сподвижников. И невольно поймал себя на том, что его шаг становится шире и увереннее. Он заметил, что так же пошел и Борис-Михаил. Никто из свиты, состоявшей из самых знатных людей, в первый момент не догадался, почему князь заспешил, но вспомнив о возвращении Симеона, приближенные по-

яли, в чем дело. Князь не видел сына долгие годы и сейчас стремился поскорее встретиться с ним. Наверное, Симеон прибыл с интересными новостями. Смена василевса и патриарха волновала болгарского государя. Как будут развиваться отношения между двумя странами — это во многом зависело сейчас от новых правителей. Если они начнут вмешиваться в дела его государства, он не будет сидеть сложа руки. Надо будет и их учить уважению к нему.

Совет великих боилов заседал два дня. Обсуждались вести из Константинополя, привезенные Симеоном и княжеским посольством. Теперь всякий совет начинался с благословения архиепископа и заканчивался словом князя. Борис-Михаил выбирал самое интересное и полезное из всего сказанного и формулировал это как решение. Прежний упоительный аромат трав в зале сменился тяжелым запахом ладана. И лишь сосуды, полные кумыса, были все те же.

Кавхан вел прения и когда острым словцом, когда шуткой укрощал излишне горячих и словоохотливых. Борис-Михаил слушал его, и ему казалось, будто кавхан с удивительной виртуозностью управляет упряжкой коней на крутой и узкой горной дороге.

Наиболее продолжительный спор вызвало поведение нового византийского императора. Ничего плохого не сделал он посланникам и не отказался подтвердить старый договор между двумя странами, но нарушил общепринятое правило: вместо того чтобы принять их на третий день после прибытия, принял на пятый. Это толковалось как неуважение к болгарской стране и ее князю. По словам Симеона, какое-то другое посольство было принято раньше, хотя и прибыло в тот же день. Это сообщение подлило масла в огонь. Наиболее нетерпеливые предлагали взяться за оружие и отомстить и за нынешнее неуважение, и за прошлый союз Константинополя с сербами, хорватами, словенами и моравами. Эта мысль пришлась по вкусу Расате-Владимиру, он два раза просил слова. Его слушали с интересом, ибо впервые так резко говорилось о необходимости войны. Докс прервал престолонаследника, сказав, что повод слишком незначительный, чтобы рваться в бой. Лучше ответить тем же: византийское посольство, которое прибудет в Плиску, князь примет даже не на пятый, а на шестой день. Мысль Докса всем понравилась. Только Расате-Владимир попытался возразить, но его возражения легко были опровергнуты, и он вроде бы сдался. Однако Владимир просто рассердился на дядю и потому замолчал — ведь ясно, что нынешние члены совета приучены думать по-другому. Придет время, когда их места займут его сторонники, и тогда его слово будет иметь вес. Нужно только сдержать гнев и терпеть до лучших времен. И он их дождется, не надо только быть прямолинейным и неуступчивым. Раздражало Владимира и присутствие брата Симеона. Он не имел права участвовать в Великом совете, но отец пригласил его как человека, причисленно-

го к посольству и присутствовавшего на встрече с василевсом Львом VI Философом.

Симеон и раньше встречался с нынешним императором, когда тот еще не владел короной и скипетром. Он выступал в Магнаврской императорской школе и очень старался произвести впечатление на ее воспитанников. Симеон впервые видел его вблизи. Лев был хитер и изворотлив. Он утверждал, что может предсказывать затмение Луны и Солнца, рассуждал о риторике Демосфена, с одинаковой легкостью говорил о богословских учениях и лечебных свойствах трав. Он отрицал достоинства песен Дамаскина, восхвалял произведения Льва Магистра и свои. И о своих говорил, как о чужих: критиковал и в то же время утверждал их,— а у слушателей создавалось впечатление, что они видят перед собой беспристрастного ценителя искусства. Еще тогда Симеон понял, что этот человек умеет так преподнести свои небогатые знания, что непросвещенный слушатель изумляется его красноречию и широте мышления.

На встрече во дворце Лев был очень официален, держался надменно, заставлял Сондоке дважды повторять одно и то же, будто старый договор ему неизвестен. Не упомянул о том, что сын великого князя Болгарии входит в состав посольства, сделав вид, что не осведомлен об этом. Когда произносил имя Бориса-Михаила, на его губах появлялась тонкая снисходительная улыбка. Василевс быстро решил государственные вопросы и подробно остановился на письменности в Болгарии, будто не зная, что ее еще не существует. Затем обратился к посольству с вопросом об ученых мужах Болгарии и добавил, что они могли бы научиться мудрости у византийских ученых. Пока Сондоке обдумывал ответ, Симеон поспешил уведомить василевса, что болгарская письменность создается сейчас усердными тружениками и императорская школа вскоре будет иметь достойного соперника в Плиске. Ученым мужам обеих стран было бы неплохо поучиться мудрости друг у друга, а византийским — изучить язык соседнего народа и узнать, какая письменность есть в Болгарии...

Это прозвучало несколько вызывающе. Василевс слушал сосредоточенно, уже без снисходительной улыбки. Когда Симеон закончил, он повернулся к человеку, стоявшему у него за спиной, и спросил так, чтобы все слышали:

— Кто этот молодой человек, так хорошо говорящий на языке византийцев?

Ответ последовал немедленно, и василевс широко улыбнулся:

— Я очень рад, что Константинополь воспитал сына великого князя болгарской земли Михаила. Слушая его, я понимаю, что плодородная нива Болгарии даст хороший урожай при наличии такого ученого и умного молодого человека, которого знатные люди в Кон-

стантинополе называют за его познания полувизантийцем. Эта встреча убедила меня в правильности молвы.

Слова о «полувизантийце» возмутили Симеона, но было не место доказывать, какая кровь течет в его жилах. Если бы ему удалось когда-нибудь занять трон василевса, он не постеснялся бы прибавить к своему титулу что-нибудь касающееся византийцев, но это произойдет после того, как он выведет своих на первое место.

Впечатлениями о встрече, однако без своих тайных мечтаний о византийском троне, Симеон поделился с отцом сразу же по прибытии в Плиску. Борис-Михаил ничего не сказал, не удивился и не разгневался. Он хорошо знал, что и этот византийский правитель угомонится и станет искать дружбы с ним, ибо сарацины продолжают как меч висеть над Византией. И только ли они? Врагов у империи — словно песчинок на дне морском. Да и болгары тоже... Если бы их не связывала единая вера, старая ненависть давно уже выползла бы из своего логова. Но Борис считал, что христиане должны уважать христиан. Одно дело — пренебрежительная улыбка, которая завтра может стать почтительной и кроткой, и другое — пойти с оружием в руках на единоверцев. И он, Борис-Михаил, слушая о поведении нового византийского василевса, тоже снисходительно улыбался, так как хорошо знал, с какими великими идеями и намерениями восходит на престол каждый новый властелин, пока жизнь не пообтешет его и не заставит ходить по твердой земле. А не заставит — горе ему! Или недолго удержится на троне, или все, что станет делать, обернется против него. Борис-Михаил испытал это на себе, а человек, опирающийся на свой опыт, не ошибается...

На Великом совете Борис-Михаил говорил последним, и каждое десятое слово его речи было призывом к миру. Земля нуждается в трудолюбивых сеятелях, книжная нива — в умных людях, чтобы можно было созидать и радоваться этому.

После Великого совета князь пригласил Климента и Наума и долго разговаривал с ними. Присутствовали кавхан Петр, Докс и Ирдиш-Илия. Речь шла о письменности. Занятия в двух школах, которые намеревался создать князь, должны идти на славяно-болгарском. Решено было не поднимать излишнего шума до того момента, когда можно будет заменить всех византийских священнослужителей.

Климент медленно встал и, устремив взор к небу, торжественно перекрестился. Это было долгожданное начало. Свершилось...

Все меньше и меньше времени оставалось для Брегалы. Борис-Михаил, утонувший в каждодневных заботах, с тоской вспоминал о тенистых лесах и белостенных монастырях, об уединении и тишине, столь благотворных для души. Вспоминалась молодость, мечты о спокойной жизни. Борис-Михаил был в том возрасте, когда человек снова начинает обдумывать свою жизнь. Подобно реке, огибающей скалы, он уклонялся от того, что не могло принести утешения и духовного наслаждения. Свои ошибки он знал, и ему надоело все время вспоминать о них. В отличие от Пресияна, своего отца, князь шел по жизни, не имея времени, чтобы оглядеться. Может, скоро пробьет и его последний час, душа отделится от тела и попросит защиты у небесного судии. А с чем уйдет он туда? Что предъявит? Ошибки были, но он делал и добро! Зачтется ли? Князь тяжело вздохнул. Никому не мог он сказать о своей боли, ибо ее истолковали бы как слабость. Можно бы поговорить с Расате-Владимиром, но поймет ли он его? А Гавриил? Задрожит как лист, и слезы польются ручьем... Борис-Михаил боялся о нем думать. Что он за человек? Странная пылинка, увлекаемая даже самым легким дуновением ветра. Гавриил был полной противоположностью своему брату Расате-Владимиру — болезненно чувствителен. Иногда Борису-Михаилу хотелось позвать его к себе и молча долго прижимать к груди, словно малое дитя. У Гавриила была душа чистого, непорочного ребенка, который глядит на мир глазами страха и вечной укоризны. Как мог я создать сына таким? — спрашивал себя князь, и сердце его наполнялось тревогой и болью. Гавриил совсем не подготовлен к жизни, таким, наверно, и уйдет из нее. Хорошо это или плохо, Борис-Михаил не мог сказать. Когда вскоре после смерти Ангелария умирала его жена, последней ее просьбой было не оставлять Гавриила, заботиться о нем, поскольку он очень ранимый. До ее смерти Борис-Михаил не задумывался об этом юноше-ребенке, но сейчас он не выходил из головы. Гавриил жил в просторном дворце как тень, а отсутствие матери и сестры Анны сделало его таким одиноким и замкнутым, что слуги опасались за его жизнь. Борис-Михаил, выезжая из города, стал брать его с собой и увидел, что поездки наполняли душу сына впечатлениями и он долго жил ими. Гавриил любил полевые цветы, разнотравье полян, но не смел сорвать и былинку — каждый сорванный цветок вызывал у него слезы. Он опускался в траве на колени и весь сиял от счастья. Однажды Борис-Михаил застал его за разговором с синим васильком. В первый миг отец стал озираться по сторонам, чтобы понять, с кем говорит сын, но поняв, медленно вернулся к свите и послал одного из сопровождающих позвать сына. Самому не хотелось прерывать его

радость. Иногда Борис-Михаил подолгу беседовал с Гавриилом, пытаясь уяснить: может, он глуп или ненормален? И все больше убеждался, что сын и неглуп, и вполне нормален, но не похож на других — безгранично чувствителен и раним. Гавриил знал свою изнеженность и жил в постоянном страхе, что попадет в грубые руки жизни. Если бы он преодолел этот страх, то был бы добрым и скромным юношей, которым отец мог бы гордиться, а так, сам того не желая, князь тяготился его присутствием. Сын не был создан для этой жизни, где душевная чистота не считается ценностью. Он будет страдать от обид и насмешек. Анна, хотя и хромая от рождения, была сильнее брата, она смогла преодолеть желание иметь семью и посвятила себя богу, но могла бы столь же решительно отказаться и от этой идеи. А Гавриил вовсе не принимал самостоятельных решений. Раньше его останавливала боязнь огорчить мать, а теперь он внезапно привязался к отцу... Борис-Михаил не мог ему надивиться.

В последнее время Гавриил стал искать дружбы с братом Симеоном. Молодой священнослужитель привлекал его строгой внешностью, благородной красотой и умением рассказывать. Симеон описывал Константинополь: великолепие моря, роскошные дворцы знати, рынки рабов... Последнее Гавриил воспринимал особенно болезненно. Но когда речь шла о море, о больших кораблях, лицо его, чистое и невинное, сияло и рука Симеона невольно тянулась погладить мягкие волосы брата. В этой ласке для Гавриила было что-то невероятно теплое и трогательное. «Если я отправлюсь туда, возьму и тебя»,— говорил Симеон, и в его словах звучали искренность и любовь. Мать перед смертью и ему наказывала не оставлять Гавриила, беречь от беды и злых языков. «Он — наше искупление! — сказала она тогда.— Вся святая человеческая доброта собрана в нем. Не позволяй злым людям обижать его...»

Симеон воспринял слова матери так, как подобает сыну, и с того дня вглядывался в брата с растущим интересом. Борис-Михаил испытывал настоящую радость, наблюдая за отношениями сыновей. О Симеоне он слышал лишь хорошие слова и знал: это не лесть людей, желающих ему понравиться, нет! Симеон был уравновешен, приветлив, красив. Его продолговатое лицо с прямым носом и необычайно высоким лбом производило поразительное впечатление. Он был умен, и этого никто не мог отрицать. Учение в Магнавре закончил лучше всех. На двух диспутах выступал против иностранных богословов и победил. А победить умом — не то что бросать копье или махать мечом. Мечом владеть могут многие, тут нужны лишь сила и страх, страх — чтобы не позволить другому опередить тебя. Героизм, о котором слагаются сказки для смелых юнаков,— это сочетание страха и дерзости. Дерзость не позволяет тебе бежать, а страх заставляет нападать, чтобы самому не стать жертвой. Борис-Михаил

знал это по себе. Так было, когда он повел голодные войска на византийцев, так было и в другой раз... Но об этом не хотелось вспоминать. На своем жизненном пути он встречался со многими истинами, удивлявшими и сбивавшими его с толку. Например, и по сей день он не может объяснить себе, что такое дружба. Должна ли она приносить выгоду одному или другому или обоим — за счет остальных? Он считал так: дружба, за которую приходится платить,— не дружба, тогда ее может перекупить любой, кто даст больше. Как же определить искреннюю дружбу? Тех, кто помогал ему в разных ситуациях, он отмечал наградами, и ни один еще не отказался от наград — все принимали их как должное; но в таком случае были ли они искренними друзьями? Борис-Михаил уверен: не награди он их — затаят обиду. Значит, они бы поняли его неправильно. Попробуй-ка во всем этом разобраться. Столько сложных вопросов ставит жизнь, и у него не всегда есть время подумать над ними.

Вот, к примеру, устройство собственной церкви приобрело такие масштабы, что нет путей к отступлению. Будут, конечно, обиженные и недовольные, но он должен сделать свое дело. Должен! Иначе рискует погубить народ. Если бы он позволил поучать себя, нашелся бы кто-нибудь, кто напомнил бы ему об избиении пятидесяти двух родов, подрубившем корень болгарских племен. Борис-Михаил ответил бы ему, но вряд ли был бы понят. Он рисковал одним «корнем», чтобы сохранить весь «лес». И время даст право думать, что не ошибся. Самое важное сейчас — вырвать людей из-под влияния Византии. Особенно он боялся за нижние земли у Охрида, которые были присоединены к государству позднее. Там византийские священнослужители могли причинить большой вред. Этот край следовало спасать как можно быстрее, каждый день промедления означал потерю новых людей. Туда надо отправить самых опытных, способных решать вопросы самостоятельно. Из просветителей, которых подарил ему бог, Климент и Марко казались наиболее подходящими. Климент побывал в гуще моравской борьбы, знает тонкости божьего дела и не допустит ошибки. Безусловно, один он не сможет сделать ничего. Необходимо в тех землях назначить на место Котокия другого таркана. Котокий — человек верный, но слишком ограничен, чтобы быть первым помощником Климента. Единственный, кто может поставить дело на правильной основе,— Домета. Славянин, к тому же хорошо понимающий византийское лукавство и коварство, он сумел бы создать такие условия Клименту, что результаты стократно окупили бы затраты. Эта идея давно занимала Бориса-Михаила, но он пока не поделился своими соображениями ни с Доксом, ни с кавханом. Не надо спешить. Еще немножко следует приглядеться, рассмотреть план со всех сторон, подбрасывая, как камешек в детской игре, когда глаза следят за камешком, а пальцы готовятся, отделив его от

других, подхватить, прежде чем он упадет. Всего-навсего игра, но она учит ловкости. Ему нужен человек, который опрокинет тайные византийские планы... Пусть не считают князя глупцом! Не однажды удалось ему перехитрить врагов, и теперь все пойдет как надо, раз на престоле у них василевс по имени Лев, а патриарх — мальчишка. В свое время Борис-Михаил перехитрил даже «лису империи», не перед этими же ему пасовать. Нет, он не медведь с кольцом в носу, и еще не нашелся тот, кто мог бы держать его на цепи. Насколько он мог понять, архиепископ Иосиф не обрадовался переменам в Константинополе: Фотий был ему другом, и Иосифу нелегко пережить его падение. Смена патриарха дает архиепископу право полностью укрыться под княжеским крылом. Хорошим человеком оказался архиепископ — и хорошим, и послушным. С ним стоит поговорить открыто, когда наступит решительный момент. А до тех пор Борис-Михаил сам будет вести игру.

Борис протянул руку к маленькому перламутровому столику и взял позолоченную книгу, которую Константин когда-то оставил ему в Брегале. Князь распорядился выковать для нее золотой оклад с двумя крупными драгоценными камнями, которые напоминали бы о двух братьях. Верно, они посещали его поодиночке и в разное время, но оба открыли перед ним истинно верный путь. Без их письменности он чувствовал бы себя как пастух, загнавший волка в свою овчарню и хвастающийся, что тот-де боится его.

Если Борис-Михаил не сделает последующих шагов, он никогда не получит признательности своего народа и не достигнет цели, которую поставил себе под диктатом византийского меча и собственной совести.

Нет, он не остановится, лишь бы хватило жизни и времени...

9

Пресвитер Константин был увлечен стихотворчеством Марко. Его друг пытался выстраивать слова так, чтобы они звучали слегка приподнято и в то же время чтобы мысль была отчетливой, ясной. Втайне Константин был убежден, что стихотворения Марко не способствуют тому большому делу, за которое они взялись. В песнях Марко слишком много синих небес, живописных полей и даже девушек, идущих за водой к прозрачным родникам. Иначе устроена голова пресвитера Константина. Все силы и знания отдает он осуществлению великой идеи: новая письменность должна иметь своих защитников. Если сейчас письменность и словесность создаются в сумерках келий, то в один прекрасный день они выйдут на свет

и займут место византийской. Но тогда чуждое духовенство не будет спокойно взирать на них, скрестив на груди руки. Оно восстанет против нового. И разве стихами Марко смогут они защищать новую письменность и словесность? Нужно создавать произведения — боевые щиты против хулы. Такие произведения необходимы. И Константин попытается...

Пресвитер Константин и Марко давно уже покинули гостеприимный дом Докса и теперь вместе с Наумом и Климентом жили в Плисковском монастыре недалеко от большой базилики. Никто не мешал им работать. Каждый был погружен в собственный мир размышлений и бесед с богом, и только большой колокол упорно созывал их то в церковь, то в трапезную. С тех пор как сын Кремены-Феодоры-Марии утонул в колодце, мало кто пил из него. В основном колодезной водой пользовались для нужд монастырской кухни, а священнослужители помоложе ходили за водой к крепостной чешме. Но это было неудобно, и однажды возле колодца отслужили молебен против злых сил. После того как бадьей, в которой горел ладан, словно кадилом, окурили ствол колодца, опасения и страхи рассеялись и трагический случай стал забываться.

Теперь церковная школа, в которой изучали греческий язык, подчинялась Науму. Его задачей было постепенно ввести занятия по славяно-болгарской письменности, сделав первый явный шаг прямо под носом у греческих священнослужителей. Наум, молчаливый и скромный, не вызывал у них подозрений, он был учтив с каждым, и они уважали его. К тому же он приехал в Плиску отдельно, не с пресвитером Константином и Марко, которые часто вступали в споры — впрочем, не по своему почину — за право славить бога на разных языках. Византийские священники видели их с Мефодием во время его посещения Плиски, были озадачены их возвращением и стали искать поводов для встречи с Константином и Марко, намереваясь разузнать о причине их приезда. Пока Константин и Марко жили под крышей княжеского брата Докса, до них трудно было добраться, а после переселения в Плисковскую лавру стало невозможно избежать споров. Особенно старался отец Натанаил, славившийся своей мелочностью и острым языком. За глаза священники звали его отец Сатанаил. Он сгорал от любопытства узнать, чем занимаются пришельцы в уединении своих келий. Их оконца светились допоздна, и это еще больше озлобляло его: отец Натанаил считал, что любое занятие, кроме молитвы во славу господа, есть служение дьяволу. Он несколько раз по пустякам цеплялся к ним, и так бы все продолжалось, если бы он случайно не заговорил о трех священных языках, на которых дозволяется проповедовать слово божье. И тут пресвитер Константин не выдержал. Вскоре между ними разгорелась тайная война, грозившая перерасти в явную,

если бы не страх византийских священников, понимавших, что за их противниками стоит брат князя. Страх утихомиривал их фанатичную злобу. Когда началось изучение славяно-болгарского языка в школе при плисковской базилике, среди священников-византийцев наступило смятение, но вскоре они успокоились: ученикам не помешает знание двух языков, это лишь расширит их кругозор, и только. Однако такие рассуждения были пеплом, под которым тлело страшное подозрение, что из этого семени может развиться славяно-болгарская словесность. Разве не так было в Моравии? Сравнение с Моравией, впрочем, сбивало с толку: в Моравии письменность создавалась на основе другой азбуки, и если здесь затеяли бы дело всерьез, то стали бы осваивать именно ее, а не какую-то новую, почти такую же, как их, византийская. Наверное, и словесность будет подобной, и стоит ли тревожиться вообще: словесность так просто не появляется. Сколько ученых голов, какие мыслители созидали богатство житий, тропарей, миней и книг по церковной догматике! На это нужны ум и время. Куда уж здешним «мудрецам»... И все же византийцы чувствовали себя здесь неуверенно, особенно с тех пор, как умер Василий и свергли Фотия. Их злило, что, провозгласив патриархом шестнадцатилетнего Стефана, принявшего имя Александр, константинопольская церковь сама подрывала свои устои. Любой человек мог теперь смеяться им в глаза. Правда, Фотия возвели в духовный сан всего за несколько дней, но он был умным человеком, известным философом, обладающим познаниями во всех направлениях человеческой мысли, а этот — молокосос!.. Византийские священники, не ощущая больше уверенной руки Фотия, предпочитали молча наблюдать за первыми шагами новой власти и надеяться на бога. Они считали, что бога возмутила новая письменность и потому он так жестоко растоптал ее в Моравии. Так же, видимо, поступит он и здесь, если появятся новые ростки ереси. И в этом они были едины с духовенством Рима, несмотря на постоянную войну и отсутствие взаимной симпатии.

Прибытие Симеона с учениками Кирилла и Мефодия привело византийских священников в смятение, которое, как червь, стало разъедать их души. Лаврентий, будучи человеком общительным, повсюду рассказывал о муках и гонениях в Моравии и божьих знамениях, указывавших им путь, о том, что всевышний не позволил евреям продать его слуг и разбросать их по белу свету, а вразумил царского человека выкупить их, что приезд учеников святых братьев в Болгарию тоже продиктован волей того, кто управляет небесными и земными делами.

Однажды вечером, сидя у очага в доме Докса и глядя на мерцание раскаленных углей, Лаврентий рассказал об их неудавшемся путешествии в Хорватию и приморские земли. Неудача постигла

только его, поскольку Марин остался там и, наверное, продолжает дело святых братьев. Расставшись с Климентом, Наумом и Ангеларием, они спустились с холма и потонули в густом тумане. После четырехдневного блуждания наткнулись на какое-то село. Решили, что Лаврентий, как более молодой и сильный, должен пойти в село и попросить хлеба, а Марин подождет его у громадного дерева, черневшего неподалеку. Ориентир был ненадежным, но Лаврентий все же пошел, поскольку больше невозможно было выносить голод и усталость. Село встретило его тишиной. Только злобные псы гавкали из подворотен, но так, чтобы не нарушать общей сладкой дремы. Дома были разбросаны то тут, то там, скрыты за деревянными заборами. У первых ворот он остановился, но, сколько ни стучал, никто не отозвался. Решил попробовать счастья у соседних — оказалось открыто. Лаврентий вошел, и его приветливо встретил согбенный старик, будто давно ждал Лаврентия в гости. Радушие ошеломило Лаврентия: старик поставил на стол горячую еду, которая показалась Лаврентию самой вкусной на свете, потом налил чашу вина, и измученный страдалец почувствовал, как тяжелеют ноги и слипаются веки. Нашлась и постель. Когда он проснулся, в доме, помимо старика, было еще двое мужчин. Лаврентий прислушался и понял, что говорят о нем. В разговоре все время упоминалась какая-то «цена». Старик просил «хорошую цену», но те двое не соглашались. Лаврентий лежал и чувствовал себя ужасно униженным: его продавали, как скот, а он вынужден был молчать. Но что он мог сделать? Бежать? Куда? Мужчины были крепкими и догнали бы его в два счета. Попытаться вырвать у одного из них меч? Как? Он положил меч на колени и держал за рукоять. Ничего не оставалось, как вверить свою судьбу в руки господа... Лаврентий сел на лавке, свесив босые ноги, и сказал:

— Я — за цену деда...

Мужчины вскочили, взялись за мечи, однако, увидев, что он продолжает сидеть в той же позе, опять сели, но уже так, чтобы видеть и его, и старика.

— Дед даже мало просит...— продолжил Лаврентий.

— Мало? — переспросил один из купцов.— Да ты знаешь, о ком идет речь?

— Знаю, обо мне.

Мужчины переглянулись.

— Если бы вы знали мою истинную цену, дали бы во сто крат больше...

Теперь переглянулись все трое, а дед вдруг повысил цену. Лаврентий продолжал сидеть, усмехаясь.

— Не видишь, что ли, он издевается над нами! — насупил брови низенький купец.— Ладно, даю первоначальную сумму, и шабаш!

Старик продолжал колебаться.

— Не соглашайся,— сказал Лаврентий,— они тебя обманут. Цена моя давно определена...

— Определена? — переспросил высокий.— Кем?

— Всевышним!

— Гм, всевышним,— поджал губы низенький.— Разве не видите, что он смеется над нами... Давай, бери, сколько даю, не то и этого не получишь! По какому праву ты укрываешь врагов князя?!

Последнее подействовало моментально, и старик взял деньги. Лаврентия купили, и ему пришлось пройти через множество рук, прежде чем он очутился на венецианском рынке рабов. Больше всего угнетала мысль, что его, словно бессловесное животное, должны продать именно здесь — в городе, где они завоевали победу и славу во время диспута. Но ему повезло: бог выкупил своего сына и отправил в болгарские земли. Лаврентий и свое прибытие в Болгарию толковал как знамение божье. Он не думал идти сюда, но после разговора с Симеоном во сне ему явился святой Димитрий Солунский и спросил: «Неужели ты не понимаешь, что господь ведет тебя?» На следующий день Лаврентий нашел Симеона и согласился отправиться с ним в путь и сеять божью благодать среди народа, которому предопределено вырастить самый богатый урожай...

Рассказывая, Лаврентий встал у очага, и алый отблеск раскаленных углей, отражаясь в его глазах, придавал его словам ту странную магическую силу, которую таит в себе всякий огонь...

История эта не осталась секретом и для византийских священников в Плиске.

10

Князь смотрел на дугообразную линию гор, и их величественность наполняла его спокойствием. Синевато-зеленый сосновый бор, шершавая твердость бука, высвеченные солнцем розовые цветы придорожного шиповника — все это затрагивало невидимые струны его души, и он чувствовал себя сопричастным природе. Борис-Михаил любил божий мир, и, наверное, эта любовь, но более обостренная, передалась Гавриилу. Сын ехал рядом, и Борис опасался, как бы он не упал с коня: его взгляд ловил все живое — от белого облачка, проплывающего по вершине горы, до комара, тонко заигравшего на своей незримой свирели. Княжеская свита сдерживала коней, не давая им ржать, чтобы они не мешали раздумьям отца и сына. Гавриил давно не бывал в Брегале, и десять дней, проведенных там, сияли в его душе, словно монеты из солнечного золота, не могущие потемнеть от времени. Князь намеревался пробыть в Брегале дольше, но после того, как увидел сестру и дочь, осмотрел маленький мо-

пастырь и сделал для него дарения, вдруг решил, что надо ехать в Плиску. Внутренний голос подсказывал: вопросы, связанные с созданием книг и письменности, больше нельзя откладывать. И вот он в пути. Величие гор наводило его сегодня на размышления. Стой, как они, в добрые и недобрые дни и защищай свою истину и правду — в этом и есть величие. Величие не в единичном подвиге, величие — в длительной прочности подвига. Он постарается осуществить все задуманное, чтобы сделать великим не себя, а свой народ. Этот час настал! Климент и Домета отправятся в нижние земли, Наум — в Плиску, Лаврентий и пресвитер Константин вместе с принявшими постриг в Константинополе Симеоном, Иоанном, Григорием и Тудором — в устье Тичи. Хрисана и Марко можно дать в помощь Клименту, чтобы он не был одинок в нижних землях.

Борис-Михаил снова взглянул на горы, и они словно отдали ему часть своей твердости...

ГЛАВА ПЯТАЯ

В городе Лихнида, или Охрид, он [Климент] построил и другие храмы божьи и основал монастырь святого великомученика Пантелеймона, где осуществлял аскетические подвиги. Упомянутого царя болгар Михаила он сделал таким послушным своему слову, что тот помогал ему строить храмы и был готов исполнить каждую его заповедь.

Феофилакт Охридский, XI век

Вскоре без особых затруднений он [Борис-Михаил] поймал его [Расате-Владимира], выколол ему глаза и заточил в темницу. После этого он созвал все свое царство и поставил князем младшего сына.

Из «Хроники Регино», X век

И в то время, пока он еще жил в монастыре и вместо него правил Владимир, первый его сын, по Божьему повелению и благословению Михаила Симеон сбросил брата своего и сел на престол.

Из «Чуда Святого Георгия с болгарином», X век

1

Климент поднял голову. В открытое окно лился свет южной земли, щебетали птицы, и их радостный гомон наполнял комнату. Все живое цвело и плодоносило... Климент просмотрел написанное, исправил несколько букв и задумался. Год надо бы выделить кармином, чтобы запомнился: к добру ли, к худу, но князь Борис-Михаил передал власть своему сыну Владимиру, а сам принял монашеский сан. Весть эту два дня назад принес Домета. Все тарканы были созваны на торжество. Церемония происходила в тронном зале, а потом — в большой базилике Плиски. Духовенство принимало в свою среду еще одну душу, посвятившую себя служению богу. Бориса-Михаила постриг архиепископ Иосиф. Климент отчетливо представлял и цвета парадных одеяний, и торжественные голоса. Первый князь и глава государства добровольно отказался от власти, пожелав посвятить оставшиеся дни жизни служению божьим истинам... Климент отложил рукопись в сторону и долго счищал пылинку с кончика утиного пера. В книге рода о событиях, подобных пострижению князя,

отец писал: «И свершилось чудо! Человек посмотрел на небеса и узрил глаза бога. И смутилась душа человека от великой их доброты, и облачился он в черное, чтобы не видеть ничего другого, кроме благого знака, поданного ему всевышним». Увидел ли глаза бога пресветлый болгарский князь, Климент не знал, но событие свершилось, оно ошеломило всех, за исключением приближенных князя. Борис-Михаил давно жаловался на бессонницу и непосильное бремя государственных забот, говорил, что пора уже раз и навсегда отказаться и от обязанностей, и от прав княжеской власти. И он сделал это, став на один уровень со своими духовными братьями, освободившись от титулов и званий. Климент видел от него много добра. Когда князь отправлял его в нижние земли, то подарил три больших дома и другое имущество, чтобы заботы о хлебе насущном не отрывали его от избранного дела. Климент превратил два дома в школы — для детей и для взрослых. С тех пор прошло немало времени, немало учеников окончили школы и усвоили новую азбуку. На песке, насыпанном в корыта, пальцы взрослых и детей чертили неведомые им дотоле знаки. Лучшие из просветителей — Марко и Хрисан делают сейчас ту работу, которую вынужден был выполнять он сам, когда не хватало знающих людей. За три года, прошедших после его отъезда из Плиски, сколько мыслей родилось в его поседевшей голове и сколько страниц было исписано поучительными словами! Сейчас он дописывал похвальное слово Кириллу-Константину. Он носит в себе частицу его света, пьет из источника его мудрости и никогда не позволит померкнуть ореолу его славы. Мученик славянства, Кирилл-Константин всю свою жизнь воспитывал и обучал людей для работы на духовной ниве. А урожай собирает Климент — при встрече люди кланяются ему и целуют руку. Он понимал, что почести эти по праву принадлежат святым братьям, тем, кто первыми дерзнули пойти против триязычия и создали азбуку для славян. Теперь люди жадно впитывают родное слово и крепнет их любовь к роду и родине. Даже те, что поклонялись раньше всему византийскому, следуют слову Климента, его учеников и друзей. Их произведения ни в чем не уступают византийским, их проповеди и песнопения для паствы как манна небесная... Похвальное слово Кириллу рождалось из-под пера Климента медленно. Это была песнь великому всеславянскому светочу. Когда-то с помощью Мефодия он написал «Пространное житие Константина-Кирилла Философа». Он шел там, будто слепец за ярким светом, чтобы открыть золотые зерна правды о его жизни, и постоянно расспрашивал Мефодия, который, конечно, лучше всех знал своего брата. Климент не принимал участия в путешествиях Константина к сарацинам и хазарам и не мог дать необходимую свободу своему перу. Но он старался сделать житие пространным, чтобы те, кто пожелает побольше узнать о жизни и делах Философа, не

терялись в догадках. И решающим было слово Мефодия — все о детстве и юности Константина поведал он. Иначе шла работа над житием Мефодия, тут Клименту не с кем было посоветоваться. Он долго колебался, оставить ли его родовое имя, и не решился. Константин и Мефодий, как и их отец, носили родовое имя Страхота. Под этим именем в верхних мизийских землях были известны их деды и прадеды. Тот, кто уходил из Мизии и селился в Солуни, передавал свое имя целому роду, и все потомки наследовали его. Михаил Страхота был назначен правителем маленького славянского княжества близ Брегалы. Небольшая фема часто бунтовала, и его, потомка славян, затем и послали сюда, чтобы он держал их в повиновении. Вскоре, однако, он отказался от власти, потому что желал своим братьям по крови иной участи, совсем не той, которую с его помощью навязывало им византийское государство. Там и осталось его светское имя Михаил Страхота. Со дня пострижения он стал называться Мефодием, навсегда порвав с прошлым, когда был мечом в чужой руке. Климент знал о Мефодии гораздо больше, чем написал в житии, и ему казалось, что он совершает ошибку, не рассказывая всего. Но ему не хотелось видеть на светлом лике своего учителя ни единого темного пятнышка: последующими делами Мефодий искупил прегрешения. Климент понимал, что, если бы Мефодий не увлек своего брата великой мыслью создать письменность для народа в окрестностях Хема, вряд ли бы Философ сам пришел к этому решению. Ведь тогда Константин был молод, а молодость — словно ветка вербы: можешь гнуть ее, как хочешь. Мудрость и житейский опыт Мефодия были стержнем всего дела, они и предопределили путь славянской письменности.

Климент вложил перо в чернильницу и прислушался. Кто-то тяжело поднимался по лестнице. Он развернул кресло к двери и стал ждать. Появление Дометы не удивило его. Странная, непонятная тревога была написана на его лице. Климент заметил ее еще тогда, когда Домета вернулся из Плиски, и надеялся все узнать в первом же разговоре, однако княжеский человек не захотел поделиться тайной. Сейчас, видимо, он не выдержал ее тяжести. Климент встал, Домета поцеловал ему руку и, бросив взгляд на заваленный книгами стол, сказал:

— Если помешал, я приду в другой раз, владыка...

— Сядь, сядь, брат мой во Христе.— Подождав, пока он сядет на широкую тахту с разноцветными подушками, Климент продолжал: — И меня не покидает мысль о нашем брате духовном Борисе-Михаиле, ведь он, как и мой первый учитель Мефодий, сменил меч на крест, светскую славу — на службу престолу всевышнего, дом свой — на дом божьего братства. Достойный пример показал народу и своим сыновьям.

— Боюсь, владыка, сыновья не смогут оценить этого великого примера.

— Почему?

— Владимир меня тревожит...

— Что он сделал, духовный брат?

— На следующий же день пожелал, чтобы его называли Расате... Хан Расате. И чтобы только в хрисовул вписывалось его христианское имя. Не нравится ему путь отца, владыка... Его отношение к нам, славянам, проявилось еще до того, как он распустил нас по своим землям. Я попросил разрешения вырубить часть леса, подаренного мне его отцом, для постройки новой церкви близ Белого озера, но он ничего не ответил, и я почувствовал: ему неприятно мое усердие в церковных делах. Так я и ушел, владыка. Задумаешься — тяжело становится на сердце, а не думать не могу. Говорю тебе, тревожит он меня.

— Поживем — увидим,— ответил Климент.— Не стоит торопиться с укорами, можно ошибиться... Я пережил тяжелые дни из-за измен, и то, о чем ты сейчас рассказываешь, не самое страшное. Самое страшное обрушилось на нас в Моравии: суд, преследования, убийства... А что ему больше нравится первое имя, а не второе — это его дело. Пусть сам решает. Худо будет, если оправдаются твои догадки об его отношении к церкви. Однако, насколько мне известно, Борис-Михаил не до конца развязал руки своему преемнику. Прежнего кавхана, Петра, оставил ему в помощь...

— Да, кавхан Петр остался, так повелел Борис-Михаил, но, по-моему, ему будет нелегко под верховной властью хана Расате.

— Покуда жив отец, я не боюсь за дело народное и церковное. Будем молить бога о продлении его дней. И Борис-Михаил не оставит в плохих руках дело, за которое обагрил свой меч кровью... Нас ждет много работы, и давай подумаем о церкви. Лес найдем в другом месте, были бы только мир и понимание между людьми.

— Именно в этом-то я и не уверен, владыка.

Последние слова повисли в воздухе, и собеседники замолчали. Правитель Кутмичевицы Домета все еще не мог успокоиться. Будучи в Плиске, он встретил там Котокия, прежнего правителя Кутмичевицы. Ходила молва, будто Котокий — один из самых доверенных людей Расате. Домета не знал, правда ли это, однако по важному виду и ехидной улыбке Котокия чувствовал: ему нечего ждать добра от своего предшественника, а если тот слух верен, ждать надо худа.

Климент думал о том же. Он сопоставлял только что услышанное с тем, что было в Моравии. Покуда княжил Ростислав, церковные дела продвигались, святое зерно прорастало, но после прихода Святополка все повернуло вспять. Буйно расцвела интрига, выступи-

лось из своего кокона коварство, змеей поползло предательство. Божий виноград затоптали и сровняли с землей.

Неужто такая же судьба уготована и первой азбуке — той, которую Савва называл константиновской, а Климент — кириллицей...

2

Быть судьей самому себе — одно, но судить других — совсем другое. Это значит возвыситься над ними. Борис-Михаил с каждым днем все лучше понимал, что не всегда был хорошим судьей и что с годами мелочи жизни и повседневные дела завладели им полностью, не оставив времени быть выше других людей. Как у орла в гололедицу, отяжелели его крылья. Таких орлов он не раз видел в полях: сколько в них ни стреляй, они не взлетят. Не могут. Крылья обледенели. С ними надо быть осторожным, потому что сильный клюв и острые когти остались единственным оружием нелетающей птицы... Заботы, навалившиеся на Бориса, были подобны льду на крыльях. Пришло время передать эти заботы престолонаследнику, и он решил соблюсти родовой закон. Расате-Владимир получил княжеское звание и был возведен на престол. Оправдает ли он доверие? Борис-Михаил сомневался. Отказавшись от престола, он хотел проверить свои сомнения. Если сын свернет с пути, проложенного отцом, то Борис-Михаил сможет, пока жив, исправить ошибку. Эту мысль он таил глубоко в душе, и порой она тяготила его, он чувствовал вину перед сыном. Но с другой стороны, Борис-Михаил, всю жизнь стремившийся к большой цели, не хотел, чтобы она была перечеркнута после его смерти. У государства один путь, и тот, кто занял место князя, должен идти этим путем, не оглядываясь по сторонам. Старому могила вырыта, только бы земля оказалась достаточно тяжелой, чтобы не дать ему подняться. Иначе все пойдет прахом.

Монастырь в устье Тичи приютил под своим кровом монаха Михаила. Его узкая келья ничем не отличалась от келий остальных братьев: лампада, стол, кровать и деревянный треногий стул. Братия думала, что новый монах поселится в соседнем крыле с расписными комнатами, но он захотел быть вместе со всеми и жить, как обыкновенный служитель божий. Единственное излишество, которое он себе позволил,— это каждый день сидеть на берегу реки и слушать шум воды. Только сейчас открыл он для себя этот шум. Река текла, билась о камни, и быстрые струи были подобны его мыслям. Разве прежде мог он быть наедине с самим собой? Никогда. Всякий раз, как Борис-Михаил выходил из монастыря, книга в золотом окладе, украшенном двумя бесценными камнями, оттягивала власяницу

и напоминала о бессмертии. Книга сохранила дух людей, ушедших из этого мира. Они искали бессмертия не в мече и власти, а в создании новой письменности, и сейчас буквы становились воинами, борющимися за их бессмертие. Эти воины завладели многими молодыми умами, и его собственным тоже. Князь выучил знаки, а они научили его сменить княжескую одежду на черную монашескую власяницу. Монах Михаил брал с собой на прогулки сына Гавриила, который одновременно с отцом надел власяницу. В тиши монастыря Гавриил нашел то, что долго искал,— одиночество и книги. Здесь он не видел мечей, не слышал о войнах и бунтах, о жестоких казнях непокорившихся людей. В его снах убаюкивающе шумела река, мирное небо приходило к нему, чтобы коснуться лба и закрыть длинные, как у ребенка, ресницы.

Монах Михаил радовался, наблюдая, как кипит работа по созданию книг и закладывается фундамент будущего духовного здания. Скромная гордость наполняла его, когда он видел, что и сын его Симеон интересуется работой просветителей. Симеон был сведущ в церковных вопросах, но всего не знал и не стеснялся расспрашивать. Наставником княжича был Наум. Он прошел суровую школу жизни, многое испытал, в свое время завоевал славу первого скорописца, ум его был ясен, а мысль остра. Каждую неделю монах Михаил звал его к себе, чтобы узнать, как усваивают славянскую письменность воспитанники Плисковской лавры. Наум приносил вести, от которых радостью наполнялась душа Бориса-Михаила. Все думали, что нить, связывавшая князя с внешним миром, оборвана и что он полностью посвятил себя богу. Так думал и он сам — в первые месяцы. Вечерами он приходил в церковь и с наступлением утра уходил, усталый, но очищенный долгими, утомительными бдениями и молитвами. В молитвах отец изгонял из своей души тайное сомнение в верности Расате-Владимира и чувствовал себя легким, как птичье перышко, летающее в вышине, одинокое, позолоченное солнцем, готовое приземлиться на живописный луг и слушать шепот крохотных божьих созданий... Что еще нужно ему, бывшему князю, который в конце концов нашел свою высоту, не обремененную повседневными мирскими тревогами? Он продолжал подолгу молиться средь шелеста пергамента и перьев, создающих новую славу Болгарии. Эта слава не трубила в боевой рог, не ложилась к его ногам чужой завоеванной землей, она была кроткой и одновременно всесильной, подобно нимбу над головой святого. Без этого лунного ореола и самые большие государства уходили в вечную тьму так же, как и возникали,— не оставив следа ни от своего появления, ни от своего исчезновения. Может ли говорить мертвый камень? Но камень ожил бы, если бы нашелся острый резец, который начертал бы на нем несколько волшебных знаков — из тех, что сокрыты в новых книгах. В них таятся

слава и бессмертие. И если когда-нибудь его земля, не дай бог, погибнет от руки завоевателей, потомки найдут рассыпанные зерна этих букв и восстановят мысль своих прадедов, их веру и обычаи — оборонительные рвы на границах государства. Огромная сила скрыта в простых буквах, но некоторые люди не понимают этой истины. А может, давно поняли, но нарочно не хотят ее признать, потому что не желают добра его народу? И он опять возвращался памятью к встрече с Константином Философом в Брегале. Философ тогда рассказал ему, с какой злобой отнеслись Варда и Фотий к новой азбуке, которая могла, словно щит, закрыть перед ними путь в болгарские земли. И чем больше книг накапливалось в стране, тем крепче монах Михаил сживался с мыслью о величии того, что свершалось. Просветленными от радости глазами встречал он появление каждой новой книги. Его лицо, похудевшее и побледневшее от ночных бдений, сияло, озаренное доброй, ранее не свойственной ему улыбкой. В эти минуты монах открывал в себе ту кротость, что отличала его младшего сына. Сподвижники нарочно присылали ему новые книги с Гавриилом, чтобы доставить отцу душевную радость. Но радость эта постепенно угасала, хотя никто пока не замечал перемены.

И однажды приехал кавхан Петр. Еще перед тем, как князь принял монашеский сан, они договорились встречаться время от времени у реки около старого вяза, разумеется в тех случаях, когда надо сообщить Михаилу что-нибудь очень важное. Был у них и тайный знак: отметина ножом на средней ветви вяза означала тревожную весть. Почти целый год условный знак не появлялся, но теперь кавхан Петр прибыл сам, и известия были нерадостными. Хан Расате больше не называет себя христианским именем, оставил его лишь для титулования в хрисовулах. Но хуже всего, что он постепенно отстраняет от государственных дел людей Бориса-Михаила. С пренебрежением относится и к Петру, кавхану страны. Петр полагает, что Расате тайно заменил его овеческим тарканом. Этот Котокий стал первым другом хана. С архиепископом Иосифом новый правитель держится надменно и грубо. Монах слушал своего доверенного человека, и лицо его темнело.

— А как думает Илия?

— Так же, великий князь.

— Смотрите, берегите воинов.

— Хорошо, великий князь.

— И мне сообщайте.

— Хорошо, великий князь.

Они расстались без лишних слов. Борис-Михаил чувствовал, как тайное сомнение, лежавшее на самом дне души, поднимается наверх, становится правдой. И все же он пытался погасить, задавить в себе это сомнение. Озабоченность отца не укрылась от Симеона.

На его расспросы отец ответил, что, мол, неважно себя чувствует, возобновились боли в пояснице и мешают спать. Сын для виду принял объяснение, но его опасения не рассеялись. Молва проникла и в их тихую обитель, дошла и до Симеона, но он не хотел тревожить отца. А теперь, похоже, отец узнал что-то недоброе о Расате, но раз не спешит открыться ему, значит, дела не так уж плохи.

Монах Михаил продолжал молиться по ночам, радоваться новым книгам, однако настоящего удовлетворения уже не было. Мысль, что весь его земной труд под угрозой уничтожения, не давала покоя. Он знал, что внутреннее чувство никогда его не обманывает. И чем больше размышлял, тем яснее жизнь виделась ему как череда трудных задач, требующих смелого решения. Борис-Михаил вспоминал маленького Расате на руках жены, когда сам он уезжал в Плиску, чтобы успеть застать в живых умирающего отца. Расате был тогда совсем крохотным, но широкие густые брови уже тогда предсказывали, что он вырастет волевым мужчиной. И эта вот воля поставила его поперек дороги отца. Неужели зашло столь далеко? Но что, собственно, случилось? Еще ни одного следа на снегу, а он уж о капкане думает! Не может его сын быть настолько глупым, чтобы пойти против отца. Нет, дети у него хорошие. И Гаврил, и Симеон... Расате немного колюч, что поделаешь, но ведь неглуп — нет! И все же кавхан Петр не стал бы тревожить из-за пустых слухов. Они договаривались: только в том случае, если угрожает опасность государству и делу церкви. И брат Ирдиш-Илия тоже обеспокоен. Нет, дело, наверное, серьезнее. Но почему бы не вызвать сына на разговор? Что в этом плохого? Подождать еще месяц-другой и позвать... Сын, скажи, как идут дела в государстве, слушают ли тебя люди, верен ли кавхан? Архиепископ Иосиф не сделал ли чего не так?.. И зачем столь сильно переживать самую первую весть? Может, они ошиблись — и брат, и кавхан Петр. А если правда... Тогда созовем друзей и вместе подумаем, как быть. Нельзя оставить дело сделанным наполовину. Самое важное еще впереди. Три очага, три кузницы куют оружие для дерзкого шага — замены греческого языка славяно-болгарским... Когда будет осуществлено все до конца, тогда можно спокойно умереть, а до тех пор надо работать и быть начеку. И кто заставляет его быть бдительным? Первородный сын, которому он при жизни уступил власть...

Монах захлопнул книгу и долго лежал на жесткой постели, положив руки под голову.

3

Расате спустился по лестнице. Во дворе его ждали друзья. Котокий поздоровался первым, дал знак сокольничим и егерям, и кавалькада двинулась к Овечу. Это была одна из обычных охот Раса-

те: сокольничие и егеря отправятся в горы, а хан с небольшой свитой укроется за каменными стенами Овечской крепости. Тамошний таркан знал свое дело — он собрал самых красивых женщин округи.

Хан Расате-Владимир уже и не пытался утаивать свои намерения. Архиепископа Иосифа он вызывал несколько раз и по пустяковым поводам ругал перед всем Великим советом, а в последнее время и вовсе не желал видеть его. Место, на котором раньше сидел архиепископ, было отдано таркану из Старого Онгола. Никто пока не слышал его голоса, но само присутствие этого человека настораживало. Он был мрачен, длинная немытая борода вся в узелках от сглаза и злых сил. Люди шептались, будто он новый шаман. Эта темная личность редко посещала Великий совет. После окончания совета он так же молча исчезал, как и появлялся, вселяя тревогу в души людей. Кавхан Петр приказал проследить за ним, и вскоре ему донесли, что человек этот не из Старого Онгола, а из села капанцев, отец одной из жен Расате-Владимира. Вторую годовщину восшествия на престол нового властителя отметили торжественными конными состязаниями, проходившими по прадедовским обычаям, а место, где сидел хан, было украшено конским хвостом. Молебнов и церковных песнопений уже не было слышно в княжеских дворцах. Все притихло, как перед бурей, и буря должна была разразиться. Снова отмечался день Тангры. Место жертвоприношений из Мадары перенесли к пяти источникам. Еще в первый год люди поняли, что создано новое капище, но объясняли это нежеланием нового властителя раздражать приверженцев старой веры. Однако на второй год все стало ясно: Расате — верховный жрец староверов. Начались открытые гонения на сторонников учения Христа. Люди хана придрались к чему-то и жестоко избили двух священников, у монастыря была отнята часть земли и отдана Котокию. Кавхана Петра, который попытался оспорить это решение, хан одернул: мол, если еще терпит его, то лишь потому, что не хочет нарушать волю отца.

Эта явная враждебность побудила кавхана Петра вновь встретиться с монахом Михаилом — пришло время думать, как справиться с ханом. Если продолжать отмалчиваться, люди отвернутся от учения Христа или в лучшем случае окажутся на распутье, но и тогда их вера оскудеет.

— Передай ему, я приглашаю его завтра на разговор,— сказал монах.

— Хорошо, великий князь...

Но Расате-Владимир не явился. Он предпочел уехать вместе с друзьями в Овечскую крепость. Хан скакал первым, и на этот раз в его густых усах не пряталась улыбка, лоб был нахмурен, рука бессознательно поигрывала кожаным бичом, а мысли расползались, как муравьи из растревоженного муравейника. Все приближалось

к развязке, но к какой — он не знал. Он не выполнил переданной кавханом просьбы отца явиться в монастырь. Приглашение прозвучало как приказ, и Расате не захотел подчиниться. Пусть они не считают, будто он беззащитный и глупый мальчишка, которому каждый может приказывать! Но он сознавал, что отец — это не «каждый», и дерзкая решимость его ослабевала, превращаясь в тайное раскаяние. Нет, все же он не поедет! Пусть им наконец станет ясно: дни опеки промчались, словно воды мутной реки. Он будет править по-своему, опираясь на собственный ум. Пусть не думают, что он дремал все это время! Много старых родов тайно придерживаются прежней веры, и он рассчитывает на них в борьбе с монахом и его братьями. Наиболее опасны кавхан и Ирдиш. Отец уж давно снял с пояса меч, и пока наденет его, Расате может за один вечер уничтожить гнездо письменности около Тичи. Люди из капанских сел давно готовы к такой расправе, и они не поколеблются. Но хватит ли только их? Внутренние крепости охраняет ичиргубиль Стасис, доверенный человек отца. Расате-Владимир давно бы его убрал, если б не боялся, что поднимутся другие преданные отцу тарканы, багаины и боилы. Он хотел, чтобы все было постепенно, но ему не хватало терпения. Друзья, которых он собрал вокруг себя, уверяли, будто народ стоит за него и нет причин бояться кого бы то ни было. Если сегодня он скажет: избивайте священников,— их за один день перевешают на придорожных деревьях. И все же Расате сомневался в правоте своих приверженцев, они не понимали, что жестокая расправа над пятьюдесятью двумя знатными протоболгарскими родами многих отрезвила. Те, кто участвовал в бунте и был помилован князем, второй раз не станут рисковать во имя Тангры. По дороге к Овечской крепости были мгновения, когда Расате готов был повернуть коня и отправиться к устью Тичи на встречу с отцом, однако самолюбие удерживало его.

Никто из спутников не знал о приглашении Бориса-Михаила, но, глядя на Расате, они понимали: его что-то мучает. Котокий пытался развлечь хана, он то пускал коня галопом, то скакал, стоя в седле, однако все старания его были напрасны. Молчаливость хана начала угнетать приближенных. Они притихли и так, молча, доехали до крепости. Здесь встретили Расате как всегда: торжественно трубили рога, таркан широко улыбался, приветствуя хана. И сразу же началось пиршество. Серны были уже зажарены, вино налито. Певцы, выстроенные по сторонам узкого коридора, встретили высокого гостя старинной песней о человеке и коне, которым нужно перебраться через большую воду. Конь сказал человеку: «Если тебе жаль детей и света жизни, не входи в воду, там красивые девушки, косы у них — шелк золотой, они свяжут мне ноги, а тебе оплетут сердце...» Хан Расате любил эту песню. При первых звуках ее он вздрогнул, словно

очнулся. Ему захотелось стряхнуть с себя тяжелые заботы, но они крепко впились в душу и не давали покоя.

— Пойте,— сказал он.— Пойте, развейте мои заботы. Держите! — Он вынул из кожаного кисета горсть золотых монет и бросил каждому певцу по одной.— Пойте, ибо человек не знает, долго ли еще будет слушать такие песни...

Гости уселись полукругом на разноцветные подушки. В центре выше всех было место хана Расате, и он оценивающе поглядывал на своих приближенных. Его серьезный, суровый взгляд тревожил собравшихся, а хозяин, не уловивший еще настроения хана, поднял золотую чашу, полную вина, и торжественно поднес ее Расате.

— Во славу Тангры!

— Да поможет он нам!

— Да укрепит он десницу нашу!

— Во имя его торжества!

— За хана-ювиги Расате!

— За его славу!

— Да поможет нам Тангра!

— Да укрепит он веру нашу!

— Во имя его торжества!

Чаши были опрокинуты одновременно, приближенные хана нагнулись в поклоне, держа руку на сердце. Так всегда начиналось их веселье...

Немало вина выпил хан-ювиги Расате, пока отцовский приказ не стал казаться ему несущественным. Подумаешь, монах приказал явиться сегодня. Ведь можно и завтра, да и вообще — зачем к нему ездить? Велико дело! Лучше б наслаждался отец покоем и молитвами. Немало он наделал ошибок, мог бы хоть сейчас не соваться не в свои дела, не поучать. Нет, не поедет он, пусть отец хоть умрет со злости. Небось они с Симеоном думают, что умней Расате? Как бы не так! Достаточно он их терпел, достаточно кривил душой, желая казаться приверженцем новой веры. Сейчас, когда у него за спиной народ, когда рядом сидят такие друзья, он никому не будет кланяться! Расате поднял наполненную до краев чашу и, улыбнувшись, сказал:

— Жемчуг — в моей короне, друзья — в моем сердце, сила — в моем мече! Мы сейчас веселимся и славим Тангру, но многие из вас хотели бы, наверное, узнать, чем я озабочен...— И, оглядев их, чтобы понять, какое впечатление произвели его слова, отчеканил: — Я предпочел сидеть среди своих друзей, а не с монахом Михаилом, я не хочу слушать его упреки в том, что происходит в государстве благодаря мне и вам.

В первое мгновение слова хана заплутали в тумане винного угара, но потом стали медленно доходить до сознания приближенных.

Первым протрезвел Котокий — он знал силу сурового слова великого князя Бориса-Михаила. Отказ явиться к нему предвещал худое. Расате, ожидавший одобрительных возгласов, вдруг заметил, что руки с чашами опустились, лица потемнели и на них гуще проступил румянец от выпитого вина...

— Что, испугались? — спросил Расате, насупив черные брови.

— Чего, великий хан? — отозвался овечский таркан.

— Моих слов.

— Надо было бы предупредить нас, чтоб мы были ко всему готовы, великий хан...

— К чему «ко всему»?

— К сражению, великий хан.

— К сражению? Какому сражению? И кто поведет войска против меня? Я уничтожу его в один день! Пейте и положитесь на меня! Уж я как-нибудь справлюсь с монахом...

Но веселое настроение окончательно улетучилось. Начался разговор совсем не в духе подобной трапезы. Решено было в ближайшее время объехать капанские села и проверить оружие. Овечскому таркану поручили поговорить с тарканом Брегалы Таридином, Котокию — организовать слежку за кавханом Петром и Ирдишем-Илией. В случае необходимости их надо убить, чтобы поднять войско. Сам хан Расате должен поговорить с ичиргубилем Стасисом, чтобы обеспечить поддержку внутренних крепостей...

На этот раз женщины напрасно ждали, что их позовут.

4

Прошло более года с тех пор, как посольство василевса побывало в Плиске и засвидетельствовало свое почтение новому князю Болгарии Владимиру, а подтверждения мирного договора все еще не последовало. Была ли эта задержка нарочитой или болгарский двор считает, что предшествующее подтверждение дружеских отношений, которое состоялось при восшествии на престол Льва VI Философа, остается в силе? Эта неясность тревожила василевса. К тому же от византийского духовенства, разбросанного по всему болгарскому государству, начали поступать неприятные вести. Новый властитель Плиски тяготел к прежней вере. Он не поддерживал строительства церквей, повсюду подняли голову шаманы, и они уже приносили в жертву своему богу не только обрядных собак, но и византийских священников. Все происходило в глубокой тайне — духовные лица бесследно исчезали по пути из одного епископства в другое. Эти слухи дошли до Царьграда сильно преувеличенными и заставили Льва VI

Философа заняться своим войском. К сожалению, оно было очень немногочисленным. Главные силы по-прежнему находились в городах Италийского полуострова и на границе с сарацинами.

Несмотря на то, что василевс больше всего был озабочен своими личными делами, он не мог не прислушиваться к известиям из Болгарии. Война с христианскими соседями могла спутать все его планы. Лев VI Философ не допускал и мысли о такой войне, однако безопасность государства требовала выяснить, что происходит у соседей. По словам советников выходило, что болгары воевать не будут, пока не решат своих религиозных вопросов. А начавшиеся гонения на духовенство могут вызвать внутренние распри и ослабить Болгарию. Этого взгляда придерживался и Стилиан Заутца, отец Зои, тайной подруги василевса. В последнее время василевс основательно запутался в личных делах и не знал, как выйти из затруднительного положения с достоинством и без вреда для себя. Теофано ему совсем не нужна. И если она продолжает называться императрицей и его женой, то только потому, что все еще не находится оснований ее устранить. Она его третья супруга, а на четвертый брак церковь вряд ли даст разрешение. Брат Стефан согласится, а как посмотрят на это другие церковные иерархи? Отец Зои очень хочет, чтобы его дочь стала императрицей, его люди уже пытались подкупить священников, от которых зависело бракосочетание. Но о какой женитьбе можно говорить, если жива законная жена и если она не желает уйти в монастырь? Этот вопрос камнем лежал на сердце императора. С каждым днем он все больше понимал: жизнь без Зои была бы пустой и неинтересной. Скажи ему кто-нибудь раньше, что он может увлечься такой молоденькой девушкой, он вряд ли поверил бы. Сейчас василевс оставил все государственные дела и только вздыхал да писал стихи. Эти стихи, конечно, сделали бы его посмешищем, попади они в чужие руки, и потому он вкладывал исписанные пергаментные листы в золотые капсулы и с большим трепетом отправлял. Но прежде Зои стихи прочитывал ее отец, и сердце его наполнялось радостным предчувствием. Недавно Стилиан Заутца решил ускорить то, с чем медлил бог,— смерть Теофано. Но сколько ни старался его верный раб Мусик найти людей, которые посягнули бы на жизнь Теофано, желающих не было. К тому же страх, что императрица все узнает, заставлял Заутцу излишне осторожничать. Но он был старым, опытным торговцем и считал, что неподкупных людей нет. Золото придает смелость и самым робким.

Разлад между императрицей и василевсом ни для кого не был тайной; каждый старался держаться в стороне, кроме заинтересованных лиц, ненавидевших друг друга. Роль патриарха в государстве была незначительной и смешной, все знали, что он полностью подчиняется брату, это подтверждали и его дела. Попытки патриарха улуч-

шить отношения с папой римским Стефаном V не были очень уж успешными. Папа, почувствовав слабость и умственную ограниченность патриарха, снисходительно отвечал на его послания, не забывая напоминать о болгарском диоцезе. И дальше не шел. Его больше интересовали византийские войска, стоявшие в городах Сицилии. С тех пор как папа расправился с учениками Кирилла и Мефодия и затоптал семена их еретической деятельности, он стал поборником единства западных епископств, но интересы графов и маркграфов, королей и баронов были столь противоречивы, что сам папа часто ошибался и оказывался на стороне того, кого не надо было поддерживать. И он постоянно сожалел о потере болгарского диоцеза, который, как незаживающая рана в сердце, мучил каждого папу после Николая I.

Папа Стефан не решался обратиться к князю Борису-Михаилу, так как византийские священники продолжали проповедовать в Болгарии слово божье на греческом языке. Он мечтал, что произойдет чудо и все решится само собой, но чуда не происходило, а неприятности продолжались. Узел противоречий между Святополком и Арнульфом, внуком Людовика Немецкого, затягивался все туже и туже. Их дружбы достало лишь на то, чтобы породниться, а затем, вследствие неясных папе интриг, они схватились за оружие и упорно воевали до сих пор, вербуя себе союзников среди кочевых племен.

Эта непрекращающаяся распря тревожила Стефана V больше, чем плохие отношения с константинопольской церковью. Болгарский вопрос нельзя было разрешить просто тем, что обе церкви протянут друг другу руку.

В последнее время Лев VI Философ вернулся к литературным занятиям. В ожидании развязки своей семейной драмы он принялся за изучение военной тактики племен, воевавших с его предками. Он хотел обогатить своих полководцев знаниями о ведении сражений, хотя сам не участвовал ни в одном бою. Как опытный ученый, он с головой погрузился в давние военные донесения, в устаревшую уже литературу, которая состояла из разных хрисовулов, законов и воспоминаний участников битв. Лев VI Философ поставил своей целью привести их в порядок и так переработать, чтобы и здесь вокруг его имени засиял ореол мудрости. Он собрал около себя с десяток асикритов, которые выискивали интересные факты. Первое время новая работа доставляла ему большое удовольствие и отрывала от ежедневных забот. Даже конные состязания больше не привлекали василевса. Когда он повествовал о боевом построении венгров, то отмечал в нем много похожего на боевое построение болгар. Они одинаково пускали в бой легкую конницу, одинаково заманивали неприятеля, одинаково безрассудно атаковали: в атаках принимали участие все, даже женщины и дети, которые в большинстве случаев сопровожда-

ли обозы. В этом крылось что-то очень первобытное и земное: редко найдется мужчина, который на глазах детей и женщин повернется спиной к неприятелю. И они всегда побеждали. Они сражались не на жизнь, а на смерть, решив или погибнуть, или спасти своих. Однажды в таком бою с Пресияном была взята в плен его младшая дочь. Она вместе с матерью и братьями тоже участвовала в боевом походе хана. Василевс с удивлением открывал для себя большое сходство между венграми и болгарами, и не только в ведении войны, но и во многих подробностях быта, хотя венгры до сих пор продолжали поклоняться языческим божествам, а болгары ревностно защищали Христову веру. У болгар был один бог и одно небо с византийцами, и император считал их своими друзьями, но с присущей византийцам надменностью смотрел на них как на людей второго сорта, и единственное, что признавал за ними,— умение сражаться.

Поэтому молчание нового князя Владимира его тревожило. Оно не предвещало добра. Прошел слух, что немецкий король Арнульф намерен подружиться с Владимиром. Если будет возобновлен старый союз между болгарами и немцами, спокойствию Византии придет конец. Но о каком спокойствии можно говорить? Спокойствия нет и не будет, пока болгарская сторона не подтвердит мирного договора... И сколько ни старался василевс, он не мог уйти от этих тревог. Они примешивались к его сердечным волнениям и омрачали жизнь.

5

Кавхан Петр начал скрываться от людей Расате-Владимира. Не многие знали, где он засыпает и где просыпается. Он опасался худшего и с нетерпением ждал, когда вернется Ирдиш-Илия, поехавший в Белград, чтобы ознакомиться с состоянием военного дела. Таркан Радислав давно понял, откуда ветер дует, и старался поддерживать связь и с князем, и с кавханом. Он был славянином и боялся приближенных Расате-Владимира. В последнее время они стали открыто пренебрегать славянами, получившими при Борисе-Михаиле все права. Судя по тому, как люди Расате распоряжались княжескими землями, как открыто носили на копьях конские хвосты, как все чаще крест исчезал с их одежды, Радислав понимал, что готовится нечто исключительное. И он решил поделиться своими тревогами с кавханом, которого давно знал. Кавхан не удивился, напротив, приказал ему быть осторожным и проследить, чтобы все его войска были готовы, если понадобится защищать Бориса-Михаила. Кроме того, кав-

хан посоветовал ему полностью доверять Ирдишу-Илии, княжескому брату.

Эти слова несколько успокоили таркана. Приезд Ирдиша-Илии его обрадовал. Княжеский брат был очень скрытным, неразговорчивым и не любил обсуждать то, в чем не особенно разбирался. Кожаная одежда, кольчуга, меч на широком поясе — все на нем было как в бою. Воины побаивались его: всегда нахмуренные брови и военная выправка придавали ему строгий вид. Но несмотря на это, они верили в него. На войне против мораван он делил с ними все радости и невзгоды, не претендуя на удобства. Его забота о раненых и о тех, кто неопытен, была известна всем. Он ценил людей и в бою, и в мирном труде, не гнушался отведать и самого скудного угощения, присесть к столу крепостного крестьянина. Он был строг только к тем, кто не заботился о своем оружии и боевых конях. Никто не знал о его личной жизни. Ирдиш-Илия не был женат и, когда на эту тему заговаривали, отвечал, что жена для воина подобна палке в колесе повозки. Он посвятил себя государству и готов был уйти к праотцам с этой единственной своей любовью. Конечно, никто не оспаривал такого решения, однако и не каждый одобрял его. Впрочем, кое-кто пытался доказать ему обратное, но Ирдиш-Илия не сердился. В таких случаях он превращал в шутку и свои, и чужие слова, и люди не могли понять, согласен он с ними или нет. У Ирдиша-Илии было одно-два увлечения, даже ходили слухи, будто он вот-вот женится на дочери ичиргубиля Стасиса, которая была намного моложе его. Но девушка заболела и умерла. С тех пор княжеский брат не хотел и думать о женитьбе. Все тарканы огромного государства, имевшие дочерей, были бы рады с ним породниться. Но их желание оставалось только желанием. Ирдиш-Илия был уже в годах, с поседевшими волосами, однако сухой и крепкий, по-юношески быстрый и неутомимый. Он постоянно объезжал села и города, чтобы держать в руках боевые силы страны. Сейчас он находился в Белграде, и кавхан с нетерпением ждал его возвращения, чтобы вместе с ним навестить Бориса-Михаила и решить, что делать с Расате-Владимиром и его людьми, которые в последнее время развили бурную деятельность. Их гонцы разъехались по капанским селам и крепостям проверять оружие, коней, собирать ополчение, но кавхану об этом не было сказано ни слова. Кавхан впервые узнавал о княжеских распоряжениях от других людей — такого еще не бывало! Разнеслась тревожная молва о предстоящих скорых переменах. Расате-Владимир надеялся законным путем вернуть старую веру, а всех духовных лиц намеревался запереть в монастырях, где они гнули бы спины над книгами и искали дорогу к своему богу. В капанских селах неожиданно исчезло немало священников, и никто не мог сказать, куда они делись. Старейшины утверждали, будто те ушли

в Константинополь, не сказав, когда вернутся. Кавхан Петр заставил бы капанцев рассказать правду, но чувствовал, что у него нет для этого сил. Старейшины смотрели невинными глазами и явно посмеивались над ним. Их наглая ложь его бесила, однако он сдерживал себя. Страшная вражда, словно ржавчина на боевом мече, стала разъедать страну, и он не решался тронуть ее. Овечский таркан Окорсис отправился в ближайшие крепости уговаривать своих друзей присягнуть на верность Расате-Владимиру. Некоторые не устояли, другие, подученные кавханом Петром, согласились нарочно, с целью узнать, что готовится против веры. Сам хан Расате пригласил на разговор ичиргубиля Стасиса, отвечающего за внутренние крепости, и уже две недели держал его при себе, не отпуская домой и не говоря, зачем держит. В долгих, на первый взгляд бессмысленных разговорах за столом, уставленным яствами, он то хвалил его за преданность государству, то корил за соблюдение законов, введенных Борисом-Михаилом. Стасис прикидывался, будто не понимает угроз, и, глядя ему в глаза, спрашивал:

— А великий князь и хан болгар Расате-Владимир не признает заветов отца?..

Вопрос в устах хитрого ичиргубиля звучал как просьба с целью сориентировать его в нынешних делах. Расате смотрел на него тяжелым взглядом и не мог понять, глуп ли он или только прикидывается глупым. Он знал Стасиса с давних пор. Отец ценил его, доверил ему все внутренние крепости и иногда при всех хвалил его. Но сейчас Расате-Владимир видел перед собой глупого человека, который с большим трудом понимал половину того, что говорит хан. И все же его надо было продержать у себя как можно дольше. Таким способом он хотел оторвать Стасиса от исполнения прямых обязанностей, а тем временем ханские люди постепенно утвердили бы свою власть. И крепость Мадара, и Шуменская, и выше, на дунайских берегах, и те, по перевалам,— все были под верховным командованием ичиргубиля. Во главе их он поставил своих людей, самозабвенно преданных Борису-Михаилу, и теперь Расате-Владимир старался заполучить эти крепости. Он обещал тарканам новые земли, более высокие звания, если они будут ему преданны до смерти. Это «до смерти» заставляло их задуматься. Нет, они не боялись смерти, однако само слово предполагало войну с кем-то, и поразмыслив, они не находили иного врага хана, кроме его отца. Только Борис-Михаил мог быть недоволен сыном, следовательно, хан покупал их, чтобы пойти против отца. И люди из крепостей ехали к кавхану, желая понять, что делать. Кавхан говорил им: соглашайтесь, но помните об истинном князе, Борисе-Михаиле! И они понимали: если воспротивиться новому хану, то наверняка их переведут куда-нибудь далеко, или накажут, или отстранят. Лучше хитрить. И они хитрили и ждали, как

повернется дело. В государстве чувствовалось напряжение, словно перед бурей. Во всех верхних и нижних землях рассказывалось о пренебрежительном отношении сына к отцу. Владимир не пришел на разговор к Борису-Михаилу! Сын не стал подчиняться и прислушиваться к советам монаха... Было ясно, что, распуская эти слухи, люди Расате-Владимира прощупывали почву, искали единомышленников. Они хотели понять, как народ смотрит на распрю между отцом и сыном. Молва разнеслась и вернулась, однако, что народ думает, не стало яснее. Бесспорно было одно: назревает разрыв. Но из-за чего? И тогда посланники капанских сел потянулись в ближайшие крепости и дальше: мол, великий жрец хан-ювиги Расате желал бы видеть свой народ снова под сенью мудрой десницы Тангры... Это сообщалось тайно, шепотом. Еще не пришло время открытого выступления, и таким образом люди хана хотели узнать, отзовутся ли трепетом сердца крестьян, боилов и тарканов. Но и новые слухи заглохли в тайниках народного сознания, ибо не было ясной надежды... Все это невидимыми путями доходило до Бориса-Михаила. Он больше не скрывал сильной тревоги. Для него стало совершенно очевидно, к чему стремится сын. Коварный страх часто сковывал душу Бориса-Михаила и заставлял бодрствовать до рассвета. Этот страх он видел и в глазах окружавших его монахов, которые вслух не осмеливались высказывать своих опасений. Кавхан Петр больше не решался приходить в условленное место, но его посланники постоянно осведомляли монаха Михаила.

Кавхан боялся за свою жизнь. В последней весточке от него сообщалось, что он находится в крепости Шумен и не намерен возвращаться в столицу. Он послал гонцов встретить Ирдиша-Илию и предупредить: можно возвращаться только по Дунаю и только тайно, на сухопутных дорогах — засады. Кавхан не был уверен, доберутся ли его люди до Белграда.

Сондоке по собственному желанию появился в обители, чтобы поплакаться монаху. Расате-Владимир намеревался отдать его дочь Богомилу за Таридина, таркана из Брегалы, если тот согласится верно служить ему. Хан позволял себе распоряжаться чужой женой, ни с кем не считаясь. Когда Сондоке попытался заступиться за дочь, Расате обещал одарить его монастырскими землями... Борис-Михаил не стал успокаивать Сондоке, только приказал при первой же возможности напомнить хану, что отец хочет говорить с ним. Возвращаясь, Сондоке завернул в Шуменскую крепость к кавхану и рассказал ему о своих дорожных наблюдениях. Плиска стала похожа на военный лагерь: отряды, верные хану Расате-Владимиру, заполонили внешний и внутренний город. При виде их Сондоке испытал страх: они были большой военной силой. С внешней стороны рва — неисчислимое количество юрт, выросших, словно грибы после дождя; и тут

жертвенные собаки каждый вечер предсказывали торжество Тангры. До сих пор он не может понять, почему почитатели бога-неба еще не напали на Плисковскую лавру. Монахи не выходили за ворота. Наум распустил учеников и вернулся в устье Тичи. Кавхан Петр не был ни удивлен, ни смущен словами Сондоке, и это успокоило гостя. Расате-Владимир, боясь неизвестности, собрал единомышленников, чтобы вдохнуть в них решимость. Но решимость необходима и ему, а потому он продолжает посылать всадников в далекие тарканства, не смея появиться перед людьми и обнародовать хрисовул об отказе от Христовой веры и о возвращении к Тангре.

Пока гонцы хана мчались, торопя время, сам он с приближенными не переставал веселиться и подшучивать над ичиргубилем Стасисом. Ну что за дурак этот ичиргубиль! Как мог отец держать его при себе и уважать? Похоже, пиры Стасису очень нравятся, и он не думает уходить отсюда. Да и как здесь может не понравиться? Разве он видел такую еду и такие напитки при Борисе? Расате его покормит, повеселится, глядя на него, а как только овладеет всеми внутренними крепостями, прогонит его.

6

Посольство германского короля Арнульфа остановилось перед каменными стенами Плиски, запыленный всадник в длинной накидке выехал вперед и затрубил в позолоченный рог. Тяжелые кованые двери в центральных воротах открылись, и посольство оказалось между двумя рядами вооруженных людей, которые чинно стояли по сторонам дороги вплоть до самого дворца.

Князь Расате-Владимир встречал гостей из страны германцев. Долгое время оттуда никто не приходил в столицу болгар. С тех пор как Борис-Михаил отмежевался от Рима, хорошие отношения с германцами сменились холодными, даже враждебными. Приезд германского посольства означал, что Расате-Владимир бросает еще один камень в приверженцев новой веры. Пусть отец его раз и навсегда поймет: он не боится проводить самостоятельную политику. Как человек, который верит в Тангру, Расате не колеблясь подаст руку королю Арнульфу. От этого государство ничего не потеряет. Константинополь и Рим воюют, и пусть воюют. Его, Расате-Владимира, мало интересует мнение о нем византийских священников, расползшихся по болгарским землям, словно саранча. Неужели они воображают, будто он ринется в бой против германцев? Зачем? Ни одной, ни другой веры он не принимает. В сущности, Расате-Владимир не очень-то и задумывался, из-за чего они ссорятся и в чем различие между их религиозными догмами. Ему все время казалось, что они

грызутся из-за кости... Из-за того, кто выхватит бóльшую кость. Отец сглупил, перейдя в лоно константинопольской церкви и отказавшись от веры предков. Теперь сын все приведет в порядок, пренебрегая обеими религиями или, точнее, с безразличием относясь и к той, и к другой. Сейчас его более всего интересует, какие подарки привезли ему германские послы и что они хотят от него. Если захотят, чтоб Болгария стала союзницей Рима, он пообещает, но руки себе связывать не будет. Если попросят помощи против Моравии, почему бы и не помочь. Моравия слишком уж расширила свои земли за счет соседей... Верно, некоторые скажут: они же славяне, свои! Ну и что, что свои? И насколько свои? Этих славян стало словно травы на лугу. В его державе, куда ни повернешься, всюду славяне. Отец щедрой рукой поддержал их, а сын сейчас голову ломает, как от них отделаться. Союз с германским королем Арнульфом не принесет вреда Болгарии. Помог же хан германцам против сербов. На сербов у него зуб. Если он сможет их победить, то так разбросает по всей своей земле, что они надолго запомнят его... Расате «помог» Гойнику в попытке добраться к своим. Дал коня, но приближенным сказал, где тот поедет, чтоб его убили. И его убили. Отец кинулся искать убийцу — кто-де убил? Только двое, хан и Окорсис, знают... Когда Расате видел, как сверкают коварные глаза серба, он едва сдерживался, чтоб не прикончить его собственноручно. Ведь Гойник в свое время связал Расате тяжелой цепью и не переставая насмехался над ним. Нет, Расате не прощает... Вороны давно уже выклевали Гойнику мозг где-то под горой. И этот туда же — сын Строймира прибыл сюда и женился на самой красивой девушке Плиски. С какой стати Богомила должна принадлежать только ему? Расате отдаст ее Тариднну, а муж пусть кусает себе локти. Если б она не была его двоюродной сестрой, дочерью дяди, он подержал бы ее у себя, а потом отдал бы кому хочет. Такая женщина не должна принадлежать одному мужчине, а тем более сербу... Впрочем, Богомила знает, что почем. Она давно уже не только мужнина.

Расате-Владимир распорядился, чтобы гостей разместили как подобает, позвал Сондоке — теперь он был самым опытным в иностранных делах. Расате-Владимир наблюдал за ним некоторое время и решил, что Сондоке работает не с таким рвением, как прежде. Он стал слишком задумчив и озабочен. Хан ведь не говорил ему, что хочет разлучить его дочь с мужем. У нее, правда, дети... Да и Тариднн молчит, не дает ответа. Он один из преданных Борису людей. Воины в Брегале были отобраны Борисом-Михаилом — смелые и неподкупные люди, они едва ли полностью перейдут на сторону хана. При первом же призыве его отца они пойдут против нового хана и князя Болгарии — Расате. Там отцовская твердыня, но только ли там?

Расате-Владимир чувствовал неуверенность, ему казалось: он вошел в болото и не знает, за какой куст ухватиться, чтобы не увязнуть. Желание отца встретиться и поговорить заставило его, как ежа, свернуться в клубок и прислушиваться к чужим шагам. Сондоке не раз говорил ему о приглашении отца, однако Расате об этом и слушать не хочет. Дело зашло слишком далеко, и разговор не сможет переубедить его. Он боится, как бы приглашение отца не оказалось ловушкой... Отец будет настаивать на своем, говорить обо всем, что услышал и увидел, запугивать, и что тогда Расате станет делать? Упадет на колени и попросит прощения? Ни в коем случае! Он, Расате,— князь и хан государства. К нему шлют послов чужеземные короли и василевсы, ждут его слова, ищут его дружбы, а он станет молиться какому-то монаху, который все свое уже взял от жизни! Если он осуществил свои желания — отказался от трона, принял монашество,— почему его сын не может жить по своим закопам? Но вот беда: люди еще колеблются, присматриваются, на какую сторону встать. А некоторые, подобно кавхану, полностью определились. Шуменская крепость превратилась в его убежище. Он не появляется в Плиске, даже семью забрал к себе. Расате-Владимир несколько раз посылал гонцов и приглашал его по разным поводам, однако он не выходит из крепости: то занят, то болен. Если б он приехал в Плиску, Расате ни за что не выпустил бы его.

Но только ли с ним все так складывается? Дядя, Ирдиш-Илия, продолжает объезжать войска в верхних и нижних землях. И Расате до сих пор не знает, что дядя думает о нем. А что он может думать? Более преданного воина у отца нет! Выходит, сыну совсем не легко. Друзей у него прибавилось, но Расате доверяет только тем, кто в свое время вместе с ним ел и пил в Овечской крепости. Остальные — как привитая почка на чужом стволе: неизвестно, приживется ли, даст ли росток, не говоря уж о том, даст ли плоды. И неизвестно, какие плоды. Для проверки необходимо время, а Расате временем не располагает. Если вот только попросить германских послов прислать ему отборных наемников, которые обеспечат его будущее... Этой мыслью Расате-Владимир не поделился ни с кем из приближенных, ибо те могли обидеться и он потерял бы и их. Приход германцев в столицу для охраны хана мало кому понравится, но если он увидит, что дела плохи, то не будет раздумывать и позовет их...

Если он обопрется на чужое плечо и почувствует себя в полной безопасности, то сведет счеты со всеми, кто колеблется и одним глазом глядит в его сторону, другим — в сторону монаха. Германское посольство приехало очень вовремя, и сейчас надо так повести дело, чтобы потом не жалеть. Раз кавхан Петр не хочет прибыть и занять свое место по левую руку хана, значит, пришло время назначить кав-

ханом овечского таркана Окорсиса. Это придаст ему смелости, да и люди поймут: хан от слов перешел к делу...

На второй день после прибытия германского посольства был созван Великий совет. На нем не присутствовали, хотя и были приглашены, Домета, Таридин, кавхан Петр, Ирдиш. Накануне совета Сондоке со всей семьей уехал из Плиски и, договорившись с боилом Мадары, обосновался там. Узнав об этом, хан позеленел от злости. Эту крепость он считал верной, своей. Боил, который там распоряжался, клялся ему в верности, а теперь переметнулся. Расате-Владимир все больше убеждался, что внутренние крепости — опасное кольцо вокруг столицы, и страх начал сжимать его сердце. О преславских турмах он и не думал больше. Если ближайшие крепости переметнулись, что уж говорить о Преславской, где полно славян и в двух шагах от нее находится отец. Но вместо того чтоб образумиться, пойти к отцу, он решил стоять на своем до конца. Уже на первом заседании Великого совета Расате-Владимир предложил выбрать кавханом Окорсиса. Покорные ему боилы приняли предложение без возражений. Только архиепископ Иосиф не согласился. И довод его был справедлив: ведь есть кавхан, зачем выбирать еще одного? На его вопрос никто не ответил. Во второй раз старик возразил, когда на место Сондоке предложили Котокия, передав ему и личное имущество Сондоке. Архиепископ выступил в защиту Сондоке, и все увидели, как лицо Расате потемнело, руки задрожали и тяжелая десница опустилась на рукоять меча. Хана отрезвил новый кавхан, Окорсис, распорядившийся ввести германское посольство. Котокий первым встретил германцев у дверей тронного зала. Теперь он входил в роль Сондоке, и чувствовались неопытность и смущение, которые он испытывал от новой службы.

Послы вступили в зал тяжелой, деревянной походкой. Глава посольства подошел, поклонился Расате-Владимиру и подал свиток с золотой печатью. Хан принял его, и вдруг до него дошло, что тех, кто понимает язык германцев, на совете нет. Из присутствующих лишь архиепископ знал этот язык, и хан сунул свиток ему в руки:

— Читай!

Иосиф начал читать:

— «Король Арнульф шлет свои наилучшие пожелания князю Владимиру, желая ему здоровья и успехов на отцовском троне и напоминая о старой дружбе, которая не раз поднимала их войска против общих врагов...»

Говоря о своих добрых чувствах, Арнульф хитро приплетал благословение папы и намекал, что ошибка, допущенная отцом, будет исправлена сыном, сердце и ум которого осенены божьей милостью, что возвышает его над всеми людьми в государстве. Безбожие, насаждавшееся якобы константинопольскими священниками, не благо-

словлено святым Петром, а является кознями дьявола... Этих слов архиепископу было достаточно, чтобы свернуть послание и передать новому кавхану. Это озадачило Расате-Владимира, он пожал плечами и, не глядя на архиепископа, спросил:

— Ты закончил?

— Нет, великий князь,— ответил архиепископ,— но мое духовное звание и моя христианская совесть не могут не восставать против написанного здесь, и я отказываюсь читать, потому что послание содержит сквернословия против твоей и моей церкви...

Слова архиепископа смутили присутствующих. Боилы опустили головы, и только Котокий подошел к архиепископу и попросил его выйти. Старец поднялся, увидел недовольное лицо Расате-Владимира и пошел к двери. За его спиной раздался голос князя:

— Задержать!

Котокий, не сразу поняв смысл приказания, попытался вернуть архиепископа на место, но Расате подчеркнул:

— Не тут, за дверью задержать!

Посольство стояло чинно, как будто ничего не случилось. Когда старец вышел и князь попытался улыбнуться, один из германцев сделал шаг вперед и попросил дать ему свиток: он был переводчиком и знал язык болгар.

7

Книг становилось все больше. Знание приходило к людям робкой походкой, как ребенок, который делает первые шаги. Борис-Михаил уже не радовался книгам. Ни для кого не было тайной, что его старший сын Владимир отказался от отцовских заветов. Арест архиепископа Иосифа взбунтовал умы, подлил масла в огонь, и гнев поселился в сердце отца. Допоздна горела в келье восковая свеча, и гонцы от разных тарканов начали открыто посещать его. Люди испугались за себя и просили монаха вразумить сына. Борис-Михаил принимал их в присутствии Симеона и Докса и провожал словами:

— Готовьтесь!

Посланники и гонцы не спрашивали больше ни о чем. Они были воины и знали, что́ это означает. И все же, когда их шаги затихали, Борис-Михаил поднимал взгляд на Докса:

— О чем ты думаешь?

Докс постукивал пальцами по столу и глядел без обычной своей веселости. О чем мог он думать? Дела шли плохо. Если бы не посольство Арнульфа, положение еще можно было бы исправить, но тут вмешивалась третья сила — Арнульф и, вероятно, папа. Здесь нужна крепкая рука, иначе они могут оказаться изгнанными из соб-

ственной страны или повешенными в лесу на поругание крепостным крестьянам и рабам.

— О чем думаю? По-моему, тебе надо браться за меч. Хотя мне это неприятно, все же я должен сказать тебе. Архиепископа Иосифа на княжеском дворе привязали к столбу и оставили стоять на солнце целых три дня, а теперь бросили в подземелье. Если б так поступили с каким-нибудь обыкновенным попом, еще куда ни шло, но с главой церкви, твоей церкви...

Борис-Михаил молчал, и это молчание пугало Докса. Дольше ждать было нельзя. Расате-Владимир объявил открытую войну знатным родам, которым покровительствовал его отец. Все имущество Сондоке было отдано Котокию, ичиргубиль Стасис был повешен на внешних воротах в назидание другим. Он пытался выехать тайно из столицы, но был пойман и казнен. Расате-Владимир поклялся: такая участь ожидает каждого, кто не с ним; выходило, что это относится и к отцу... Наум вовремя покинул плисковскую обитель, иначе и о нем пришлось бы беспокоиться. Священникам не разрешалось входить в город; всякому сброду, поселившемуся около столицы, было позволено издеваться над ними. Надо действовать, пока люди не перепугались и не покорились Расате.

— А ты, сын, что скажешь?

Симеон сразу же загорелся:

— Любое промедление — это нож в спину веры. Сижу я здесь и спрашиваю себя: почему мы медлим? Ведь из-за этого все теряет смысл...

— Но не совершим ли мы ошибку, если поторопимся?

— Мы совершим ошибку, если будем продолжать выжидать, отец.

— Надо попробовать по-хорошему...

— Давай попробуем,— пожал плечами Симеон.— Но как?

— Я предлагаю написать ему письмо, а отнесет Алексей Хонул.

Письмо было написано и отнесено, а результата никакого. Хонула сделали посмешищем перед всеми друзьями молодого князя. Забрали его коня и отправили обратно пешком, чтобы он-де преждевременно не огорчил своего монаха... Так ему сказали, и он передал это слово в слово. Борис-Михаил спокойно выслушал Алексея Хонула и поднял глаза к небу. Когда он их опустил, в них не было смирения и кротости. Он окинул всех взглядом и, как будто только что ему об этом сообщили, сказал:

— Илия вернулся, он в Преславе... Завтра пусть привезет мне меч.

— А мы как, во власяницах, что ли, великий князь? — спросил Докс.

— В божьей одежде, однако вместо креста возьмете мечи.

И всю ночь никто не сомкнул глаз. Борис-Михаил провел ее в церкви, наедине со всевышним. За долгие часы он вспомнил многое из своей жизни. Ему было страшно согрешить еще раз во имя бога, но, как ни искал он возможности мирного разрешения противоречий, найти не мог. Меч оставался единственным судьей. К мечу обращались за помощью и любимцы божьи. На копьях святого Димитрия и святого Георгия всегда была кровь сражений. Борис-Михаил не святой, но он пошел по их пути, и возврата нет. Если он смирится, значит, откажется от всего, что сделал на земле. Его мечта — создать единый народ, с единым языком и единой верой, а сын не понял его и тянет к старой, дедовской жизни, желая устроиться в ней, как жаба на листике водяной лилии, и не понимая, что лист этот однажды отомрет. И тогда?.. Зачем он ссорится и тянет назад — к собственной смерти и смерти своего народа? Глупость вьет гнезда не на деревьях, а в умах людей! И она нашла пустую голову именно его сына, чтобы поселиться в ней.

Борис-Михаил понимал: новое — это не весенний дождь, который впитывает плодородная земля; новое — словно снег: выпал и остался сверху, на голове и на плечах, не проникнув внутрь. Надо много времени, чтобы новое было принято и осознано, а сын не хотел ждать и считаться с законами жизни. Заупрямился из-за собственной глупости и попятился назад, будто рак. В эту ночь монах решал судьбы сыновей, старшего и младшего. Хорошо, он сбросит Расате-Владимира с помощью всевышнего, но кого он посадит на его место? Ведь Симеон был предназначен для бога и церкви. Значит, он лишит его призвания. И князь-монах уходил в молитвы, но, сколько ни старался отвлечься от земного, мысль снова возвращала его на землю. Если б Гавриил был таким, как Симеон, он без колебаний увенчал бы его короной и дал бы ему скипетр, или если б Яков остался в живых, то он тоже не колебался бы. Яков погиб загадочно, когда возвращался из Старого Онгола, и отцу все время казалось, что эта смерть не случайность. Яков был упрям, но разумен, и представлялось невероятным, чтоб он вздумал верхом переправиться через Дунай. Вместе с ним были Расате-Владимир, таркан Овечской крепости Окорсис и еще двое-трое боилов, которых Борис-Михаил ни разу больше не встречал. И сейчас, в тишине церкви, стоя перед ликами всевидящих святых, отец вдруг засомневался и в словах Расате, и в словах Окорсиса. Они, мол, побились об заклад, кто сможет переплыть реку, не слезая с коня. Первым жребий выпал Якову. Разумеется, после его гибели они прекратили спор... Борис-Михаил думал теперь, что все было обманом. Вероятно, Расате-Владимир опасался, как бы брат не скинул его. Эта мысль заставляла монаха бичевать себя, и он не переставая бился головой об пол. Неужели он так оторвался от людей, что меряет их мерой недоверия? Но какой

мерой мог он мерять Расате? Не сын ли виноват в том, что они поднялись друг против друга? Если он смог пойти против отца, который добровольно отдал ему трон, то разве не мог он убрать с дороги брата?

И все же это только догадка, и ее нельзя ничем подтвердить. О тех людях, которые были с ними, давно ничего не слышно. Наверное, их спрятали где-нибудь на границе государства, или они тоже переплыли на спор какую-нибудь полноводную реку... Если он, Борис-Михаил, наведет порядок, то постарается их разыскать и разобраться с самим собой и с делами своего сына. К его проступкам он относился мягкосердечно, и поэтому все пришло к такому концу. Если б он вовремя попытался побольше узнать о смерти Якова и Гойника, может, не передал бы государство в руки первородного сына. Уже тогда он понял бы: кто годами носит в душе жажду мести, не подходит для управления. Любое слово, сказанное против, становится для такого человека камнем, который омрачает его жизнь и который он жаждет бросить в того, кто произнес это слово. Месть! Мерзкое чувство только однажды выползло из потайного угла души, но Борис-Михаил смог преодолеть его. Это было, когда сербских князей привезли в его столицу. В сущности, то чувство было не желанием отомстить, а злорадством. Но оба они дети одной матери — злобы, и поэтому он их не признавал, старался держать под пятой. Если человек поддается мелочным земным страстям, он превращается в тирана своего народа. Такие тираны не могут долго продержаться. Посмотрим, каким будет итог сына. Пожалуй, самое лучшее — смерть!..

При мысли о смерти монах долго стоял на коленях, вслушиваясь в себя и глядя в пол пустым, бессмысленным взглядом. Да, завтра он должен выступить против глупого сына, свергнуть его. Если победит, он должен будет наказать его, но как?

Если он помилует сына, то потеряет славу справедливого человека. О нем скажут: перебил бояр и их детей, а сына простил... Ах, эти убитые дети!.. Дети!.. Расате не был ли ребенком? У предков не существовало закона, который делил бы людей на отцов и детей, на женщин и девушек. Все были равны перед смертью... Как поступить ему, чтобы не назвали его ни жестоким, ни несправедливым?

Первые утренние лучи проникли во мрак церкви и оживили застывшие лики святых. Борис-Михаил поднялся, перекрестился и пошел к дверям. Во дворе было шумно. Брат, Ирдиш-Илия, приехал с конной свитой и, увидев Бориса-Михаила, соскочил с коня и обеими руками почтительно подал ему позолоченный меч, будто снова возводил на княжеский престол. Борис-Михаил медленно взял меч, поднес к губам и поцеловал. Из-за бессонной ночи лицо его было пепельно-серым, а волосы белыми, словно первый снег. Эту седину все воспри-

няли как знамение: князь отправлялся устранить последнюю помеху на пути своего святого дела.

Княжеский конь тоже был белым, и черная власяница подчеркивала и седину, и белую масть коня. И только голос Бориса-Михаила оставался таким, каким они слышали его столько лет: суровым, металлическим, как удар меча о меч.

— С богом — вперед!

— Вперед, великий князь! С тобой — вперед!

Монахи запели молитву, и шествие двинулось к Преславу.

Не провозглашенная еще новая столица Болгарии ждала их, готовая к бою со старой. И здесь подтверждалось, что жизнь — вечная борьба.

8

Соглядатаи Расате-Владимира прибывали один за другим: «монах выехал из монастыря...», «монах въехал в Преслав и был радостно встречен воинами...», «монах двинулся к Шуменской крепости...». Следующего вестника Расате-Владимир запретил пускать к себе. И без них он знал, кто и как встретит отца в Шуменской крепости. Теперь Расате больше интересовали его гонцы, разосланные по крепостям, начальники которых поклялись ему в верности. Овечская была надежной, а остальные? Те, у Дуная, еще молчат, отозвались только четыре небольшие крепости, расположенные по ущельям и перевалам. И все... Расате-Владимир распорядился свернуть расставленные вокруг Плиски шатры, солдатам перейти за ров, а женщинам и детям — за каменную стену.

Этот приказ вызвал невиданную панику. Люди и без того с тревогой наблюдали за мчавшимися гонцами, и теперь они поняли, что князь-монах едет воевать с сыном. Женщины не забыли его прошлой расправы с бунтовщиками, и поэтому началась невообразимая суматоха, поднялся истошный плач и визг. Хан Расате-Владимир выслал людей навести порядок. Все должны были находиться на отведенных им местах и не мешать воинам.

К вечеру порядок восстановили и крепость была готова к сражению.

Перед тем как солнцу скрыться за холмами, какая-то конница подняла на горизонте облако пыли. Ворота быстро закрыли на засов, войска заняли свои места за зубчатыми стенами, но страх был напрасным. Приехали два отряда из нижних земель — друзья и приверженцы бывшего таркана Котокия. Они тайно выбрались из крепости и спешили на помощь Расате-Владимиру. С их прибытием надежда, словно летний ветерок, ободрила хана. Значит, не только

монах двинулся к столице, были и друзья, спешившие поддержать его. Новые отряды вдохнули в него смелость. Их боилы рассказывали, будто и от Средеца идет на помощь большое войско. Это окрылило защитников столицы Расате. И так они обманывали себя, пока на горизонте не показался белый конь. Это было на десятый день, после полудня. Перед всадником развевались хоругви, и лес копий блестел на солнце. Войско, которое следовало за ним, было огромно, и Расате закрыл глаза, чтобы не видеть его. Он открыл глаза, лишь когда ему стали указывать на гонца, спешащего из Овечской крепости. Тот едва спасся бегством от преследовавших его дозорных противника.

Гонца немедленно привели к Расате-Владимиру, но он не обрадовал, а огорчил его. Кавхан Окорсис решил остаться в крепости, ибо ожидал прибытия нескольких отрядов с моря. И если хан-ювиги Расате выдержит пять дней осады, он придет к нему на помощь и нанесет войскам Бориса-Михаила удар с тыла. Расате-Владимир с раздражением подумал о своем друге: испугался, собака, и остался в крепости посмотреть, куда склонится чаша весов. Так поступил он во время первого бунта, так поступал и сейчас. А слова о приезде отрядов не что иное, как обман. Расате-Владимир ничего не сказал вестнику, только махнул рукой и окинул взглядом поле перед крепостью. Здесь собрались все войска. Даже белградский таркан Радислав приехал. Дьявол его знает, когда он успел. Наверное, прибыл одновременно с Ирдишем-Илией. Войска отца не готовились к штурму, но окружили крепость со всех сторон. Напротив ворот стояли большие силы. Значит, они уверены в тылах.

Борис-Михаил не намеревался напрасно проливать кровь. От своих соглядатаев в крепости он знал, что запасов продовольствия не хватит на длительную осаду. Кроме того, он распорядился перекрыть водопроводные трубы. Князь знал о полных бочках под навесом, знал и о глубоком колодце, который был давно заброшен и наполовину засыпан. С тех пор как провели водопровод, о нем не заботились. Сейчас колодец будет необходим сыну, но на одной воде не проживешь. Он, Борис-Михаил, будет стоять под стенами столицы до тех пор, пока голодные не откроют ему ворота, и он никого пальцем не тронет, кроме сына. Его участь отец уже решил — смерть на виду у всего народа. Пусть все знают, что ждет того, кто дерзнет пойти против новых законов и новой веры.

Симеон давно предлагал напасть на восточные ворота, однако отец не позволял. Каждый день приказывал он своим писцам готовить послания для осажденных и, привязав их к стрелам, забрасывать через ров. В посланиях он заверял, что не причинит людям никакого вреда, если они выдадут Расате-Владимира. Сначала защитники крепости с усмешкой воспринимали эти заверения, надеясь на

помощь извне, но кольцо вокруг столицы сжималось, а из-за горизонта появлялось все больше и больше воинов в помощь монаху. И усмешки стали таять, и сомнение, словно червь-древоточец, точило людей. С высоты стен осажденные видели, как много воинов собралось на поле: если они двинутся с лестницами к стенам, то перебьют их всех до единого. Однако Борис-Михаил не разрешал ни бросить из камнеметов хотя бы один камень, ни подвезти к воротам хотя бы один таран. Молчаливая осада, нарушаемая только молитвами черноризцев, напрягала нервы защитников и подрывала их веру в Тангру и Расате. Видно, снова их бог окажется слабее и потерпит поражение. Как могли они пойти за своим жрецом и ханом Расате! В сущности, какая им разница, кому, Тангре или Христу, будут они поклоняться? А князь-отец не переставал смущать их души своими торжественными обещаниями.

«Великий князь Борис-Михаил во имя Отца и Сына и Святого духа обещает:

...не позволить насилия над заблудшими, поднявшими руку против божьей истины.

...не обидеть ни оружием, ни даже словом никого, кто раскается и поможет передать живым в его руки главного виновника, который называется ханом Расате-Владимиром.

...разрешить каждому в престольном городе, независимо от причин, по которым он попал за его стены, уехать невредимым в свое тарканство, город или селение».

Стрелы летели и не в тела попадали, а вонзались в души людей, стоящих за рвом, за насыпью или на стенах. На десятый день к вечеру охрана подступов к главным крепостным воротам первой бросила оружие и двинулась к передовым отрядам Бориса. Эта брешь обрадовала великого князя. Он приказал двоим вернуться и собрать брошенное оружие. Когда они, нагруженные оружием, собрались возвращаться, несколько всадников выскочили из крепостных ворот и стали их обстреливать из луков. Один был ранен, но замешательство дало возможность воинам, оборонявшим ров, покинуть свои укрепления и перейти на сторону осаждающих. Но Борис-Михаил не воспользовался брешью во внешней обороне противника, он приказал, чтоб никто не нарушал порядок осады. Люди за рвом и насыпью подали достаточно убедительный пример своим друзьям, находящимся на стене. Если б те были чуточку умней, они бы не стали медлить, а сразу открыли бы ворота, чтобы не умножать свои грехи. Воины великого князя подошли к стене на расстояние выстрела и спокойно пускали стрелы с привязанными к ним посланиями.

На лицах осажденных уже не было и тени усмешки. Запасы еды уменьшались с каждым днем. Женщины и дети начали бунтовать раньше всех. В первые же голодные дни произошла кража боевых

коней. Несколько коней убили и растащили по кускам. Воины, оставшиеся без коней, очень скоро поняли разумность предложения, которое по нескольку раз на день они получали из-за стены. Они уже созрели для того, чтобы принять его, ведь воин без коня — ничто! Через несколько дней они пришли в княжеский стан и рассказали, что в крепости свирепствует голод и что они спустились со стены по веревке. Они изъявили готовность указать княжеским войскам самое незащищенное место, но Борис-Михаил не хотел брать столицу силой. Ему был нужен Расате... И в то же время он надеялся, что не увидит его живым, втайне желая, чтобы бунтовщики сами расправились с ним и чтобы отцу не пришлось взять на совесть кровь своего первенца...

Запасы продовольствия, видимо, подходили к концу, потому что на шестнадцатый день осады открылись одни из ворот и всем женщинам и детям разрешили выйти. Женщины были исхудавшие, грязные и оборванные, их лица, бледные и испуганные, утратили всякую привлекательность. Дети в страхе жались к матерям: они помнили страшные рассказы о давней резне.

Их появление обрадовало князя. Он сам вышел навстречу и, благословив, приказал накормить их.

Крепость пустела с каждым днем. Сначала послания князя, сопровождаемые шутками, ложились в кучу перед Расате-Владимиром. Потом шутки прекратились, и в конце концов их перестали приносить. Все старались держаться от него подальше, даже Котокий стал его избегать. Расате понял, что в этом отчуждении таится опасность, и решил всех перехитрить. Переодевшись в одежду простого воина, он вечером спустился со стены, не замеченный приближенными, которые, наверное, уже готовились его выдать. Расате-Владимир надеялся на темноту и на то, что люди из белградских отрядов, стоящие под этой стеной, не знают его в лицо. И хитрость удалась бы, если бы во главе этих отрядов не оказался его дядя, Ирдиш-Илия. В первый момент дядя не обратил на него внимания, но когда Расате-Владимир собрался уходить, Ирдиш положил руку ему на плечо и неожиданно повернул лицом к себе. Расате-Владимир понял: его узнали! — выхватил кривой нож и одним ударом повалил Ирдиша-Илию. Все произошло настолько быстро, что охранники княжеского брата стояли как громом пораженные. Расате-Владимир хотел было выскочить из шатра, но кто-то подставил ему подножку, и двое сильных мужчин повалили его на землю.

Когда Расате-Владимира привели к монаху, брови-жуки совсем закрыли ему глаза. Но Борис-Михаил даже не взглянул на сына. У него не было слов для этого человека. Губы монаха едва пошевелились, чтобы спросить об Ирдише-Илии.

— Умер, великий князь,— был ответ приближенных.

Монах ничего не сказал, взглянул на свои руки и заметил, что они слегка дрожат. Потерев одну о другую, он ровным шагом вышел из шатра.

9

После похорон Ирдиша-Илии князь-монах закрылся в келье и запретил входить к нему. Уединение продолжалось семь дней. Борис-Михаил не желал, чтобы его видели слабым. Теперь он твердо решил предать Расате-Владимира смерти. Тот ее заслужил, и князь не имел права колебаться. Однако трудно укротить отцовское чувство — неделя уединения была отдана борьбе с ним. Борис-Михаил вышел из кельи похожим на человека, который перенес страшную болезнь и организм которого еще не приспособился к жизни. Он распорядился позвать Докса, кавхана Петра, Симеона, Наума и долго раздумывал, прежде чем назвать имя архиепископа Иосифа. После победы архиепископа нашли в подземелье для преступников полуживого от голода и жажды. В дни осады, когда еды было очень мало, о нем совсем забыли. Теперь люди превозносили его как святого, епископы и другие духовные лица восхваляли его в своих писаниях. Такая известность была заслуженной, но князь колебался, стоит ли его звать, потому что намеревался говорить о вещах, которые могли задеть архиепископа. И все же распорядился позвать его. Когда все собрались, монах положил бледную руку на стол и долго ее рассматривал.

— Я собрал вас,— сказал он наконец,— потому что так повелел бог. Вы знаете, какое зло мы вырвали с нивы добра. Я решил его искоренить раз и навсегда, дабы не ставить под угрозу божий виноград. Завтра кавхан Петр разошлет гонцов созывать великий народный собор в достославном городе Преславе. Со дня собора Плиска будет срубленным деревом язычества, великий Преслав возвысится преславной столицей моего возлюбленного сына Симеона. Пусть церковь позаботится сообщить всем епископам в государстве, чтобы присутствовали на соборе, где будут приняты большие решения. Все священники, идущие по светлому пути Кирилла и Мефодия, пусть присутствуют тоже.

И, повернувшись к архиепископу Иосифу, он добавил:

— Достопочтенный владыка, пока греческое слово ходит по нашей земле, божья благодать — это семя, брошенное в воды мутной и бурной реки. Моему народу нужна понятная речь и своя письменность. Прими мое решение как повеление судьи небесного...

Тарканы, боритарканы, боилы и багаины, епископы, пресвитеры и дьяконы — вся светская и духовная знать государства заполнила внутреннюю крепость нового города. Перед княжескими палатами был построен деревянный помост. Появление Бориса-Михаила, окруженного свитой, заставило людей притихнуть. Кавхан Петр выступил на шаг вперед князя и открыл собор.

Вдруг толпа на площади расступилась, давая дорогу Расате-Владимиру. Он был в княжеских одеждах. Когда он поднялся на помост, один из приближенных Бориса-Михаила подошел к нему, снял венец и пурпурный плащ, двое других сняли красные сапоги, и голос великого князя разнесся над примолкшей толпой:

— Тому, кто пренебрег божьими повелениями и посягнул на святой крест, анафема! Нынешний князь Владимир, мой сын, не исполнил моего священного завета, поднял на меня руку. Я повелеваю казнить его!

Борис-Михаил отступил, и снова вперед вышел кавхан:

— Если кто-нибудь носит в сердце милосердие, он может обратиться к великому князю-отцу Михаилу...

Площадь молчала. Опущенные головы были похожи на листья, увядшие от летнего зноя. Люди не шевелились, не перешептывались. И вдруг в тишине прошелестел, словно дуновение ветерка, глухой голос архиепископа Иосифа:

— Прошу великого князя-отца Бориса-Михаила не забивать в землю росток жизни. Человек создан не только из зла, в нем заложено и добро, потому что он — творение божье... Прошу великого князя-отца не отнимать жизни, а лишить сына глаз, которые не узрели небесного света. Он жил во тьме, пусть навеки останется во тьме и прозреет истину божью своей душой.

Архиепископ вернулся на место, и снова кавхан сделал шаг вперед:

— Кто согласен со святым словом архиепископа Иосифа, нашего святого владыки, пусть трижды ударит мечом по камню...

Звон мечей по каменному настилу двора заставил Расате стряхнуть с себя страх. Все же ему оставили жизнь. Он поднял голову, черные брови-жуки раздвинулись, и две мутные слезы скатились из-под век. Борис заметил их, сердце его радостно застучало и сразу же сжалось и утихло. Палачи спустились с помоста и повели сына босиком к огнищу, где два оборванных крепостных крестьянина раздували кожаные мехи. Послышался протяжный вопль, запахло горелым, и все стихло.

И снова Борис-Михаил вышел вперед.

— Возвожу на престол великого князя сына моего Симеона и желаю ему во имя бога управлять вверенным ему государством и народом и жить сто лет!

Архиепископ Иосиф возложил венец на голову Симеона, перекрестил его три раза, а отец-монах вручил ему княжеские знаки отличия. Слуги накинули Симеону на плечи красный плащ, обули в красные княжеские сапоги, и все увидели, как черноризец вдруг вырос на целую голову. Симеон подошел, поцеловал крест, поднесенный архиепископом, и поклялся управлять княжеством справедливо во имя всевышнего.

Теперь сын стал первым человеком государства, а отец отступил в его тень. Симеон развернул багряно-золотой пергамент и прочитал первые указы:

— Я, Симеон, божьей волей великий князь всех болгар, объявляю богохранимый и пресвятой город великий Преслав своей столицей!

Приказываю отныне везде в моем царстве писать азбукой, сотворенной божьими посланниками и святыми просветителями славян Константином-Кириллом, названным Философом из-за его обширных знаний, и его братом Мефодием. Языком моего народа, на котором будет проповедоваться божье слово, утверждаю благозвучный язык славяно-болгар моего государства. Его первым епископом я провозглашаю великого и святого ученика преславных первоучителей, неутомимого сеятеля божьего слова в нижних землях пресвятого и преподобного Климента!

Я, именем всевышнего великий князь болгар Симеон.

Симеон свернул пергамент и трижды перекрестился. И никто не заметил слез другого человека — они текли по морщинистым щекам Климента на губы, которые шептали:

— Учитель мудрости и учитель дела — где вы, учители мои? Услышьте голос вашего бессмертия! Лето восемьсот девяносто третье — лето великого вашего воскресения. Укрепите руку мою, пресвятые отцы, чтобы мог я сеять семена знания в душе моего и вашего народа!..

ПРИМЕЧАНИЯ

К стр. 7

Друнгарий — предводитель небольшого подразделения провинциального войска (*греч.*).

Стратиг — военный и административный глава провинции (*греч.*).

К стр. 8

Логофет — начальник центрального правительственного ведомства в Византии (*греч.*).

Кесарь — высший придворный титул, который жаловали обычно предполагаемому наследнику престола в Позднеримской и Византийской империях (*лат.*).

К стр. 13

Фема — крупная административная единица, провинция в Византийской империи, а также войско этой провинции (*греч.*).

К стр. 16

Грамматик — грамотный, ученый человек, занимающийся наукой и литературой (*греч.*).

К стр. 17

Протостратор — один из высших воинских чинов в Византии (*греч.*).

К стр. 18

Хан-ювиги — официальный титул главы болгарского государства (*тюрк.*).

К стр. 19

Кавхан — главнокомандующий, ближайшее к хану лицо в средневековой Болгарии (*тюрк.*).

Боил — представитель высшего сословия (*тюрк.*).

Багаин — представитель знатного сословия (*тюрк.*).

К стр. 26

Хем — горный хребет, служивший естественной границей славянских земель.

К стр. 39

Василевс — официальный титул византийского императора с середины VII в.

Узкое море — обобщенное название черноморских проливов, в данном случае — Босфора.

К стр. 42

Номисма — византийская золотая монета *(греч.)*.

К стр. 44

Пáрик — зависимый крестьянин в Византии и средневековой Болгарии *(греч.)*.

Хрисовул (букв.: «золотая печать») — скрепленная печатью грамота византийского императора.

К стр. 47

Дионисий Ареопагит — легендарный первый епископ Афин, живший в I в. Созданные в V в. и подписанные его именем религиозно-философские сочинения, так называемые «ареопагитики», оказали большое влияние на европейскую философскую мысль.

К стр. 53

Черноризец Храбр — болгарский писатель конца X в. В сочинении «О письменах» горячо отстаивал право славян пользоваться своей письменностью.

Константин Багрянородный (905—959) — византийский император, автор многочисленных сочинений.

К стр. 58

Боритаркан — один из высших чинов в Первом Болгарском царстве (VII—IX вв.).

К стр. 70

Триязычие — церковная догма, господствовавшая в IX—X вв., согласно которой богослужение могло совершаться лишь на трех языках: греческом, латинском и еврейском.

К стр. 76

Комитат — административная область в Первом Болгарском царстве *(лат.)*.

Таркан — знатное лицо в Болгарии VII—IX вв. *(тюрк.)*.

Крина (*букв.:* кувшин) — мера сыпучих тел *(греч.)*.

К стр. 94

Ичиргубиль — советник хана, командующий крупным контингентом войск *(тюрк.)*.

Бастурма — вяленое мясо (тюрк.).

К стр. 103

Скилица, Иоанн — византийский хронист конца XI в.

К стр. 104

Тефрика — город-крепость на востоке Малоазийского полуострова, центр павликианского независимого региона, оказавшего длительное сопротивление войскам Византии.

К стр. 106

Маглавит — член охраны византийского императора.

К стр. 110

Протоспафарий — византийский почетный титул, обычно жаловавшийся военачальникам среднего и высшего ранга *(греч.)*.

К стр. 111

Задунайская Болгария — владения Болгарии на левом берегу Дуная.

К стр. 114

Друнга — небольшое подразделение византийского войска *(греч.)*.

Турма — округ, часть фемы; а также воинский отряд, набранный в этом округе *(греч.)*.

К стр. 121

Авасги — жители Западно-Грузинского царства; автор имеет в виду грузинское письмо.

К стр. 122

Патрикий (*от лат.* «патриций») — один из высших византийских титулов.

Доместик схол — здесь: главнокомандующий византийскими войсками *(греч.)*.

К стр. 127

Кира — госпожа *(греч.)*.

К стр. 136

Цурул (или Цорул) — крепость во Фракии, прикрывавшая подступы к Константинополю.

К стр. 141

Рагузцы — жители Рагузы, города-государства на Адриатике.

К стр. 163

Комит — назначенный ханом (князем) правитель области (комитата) в Первом Болгарском царстве.

К стр. 169

Исидор Севильский (ок. 580—636) — епископ Севильи, богослов. Его трактат «Декреталии» («Поучения») обосновывал право папы на верховную власть в христианской церкви.

К стр. 177

Климент Римский — римский епископ (91—100), сосланный императором Траяном в крымские колонии империи.

К стр. 178

Каган — правитель Хазарского каганата, государства, занимавшего в VII—X вв. территорию от Волги до Приазовья.

К стр. 188

Мошна — кошель, вмещающий определенную сумму денег.

К стр. 194

Меотийское море — античное и средневековое название Азовского моря.

К стр. 269

«Чудо святого Георгия с болгарином» — по новейшим изысканиям оказалось фрагментом «Сказания о железном кресте», X в.

К стр. 357

Григорий Богослов — патриарх Константинополя в 379—381 гг., церковный писатель, теолог, один из наиболее чтимых «отцов» христианской церкви.

Иероним (350—420) — христианский богослов, хронист.

Августин Блаженный Аврелий (354—430) — христианский теолог и церковный деятель, родоначальник христианской философии истории.

К стр. 363

Кастрофилакт — глава гарнизона крепости *(греч.)*.

К стр. 366

Понтификат — время правления папы *(лат.)*.

К стр. 393

Новелиссим — второй по значению после кесаря титул в византийской табели о рангах IX—X вв.

Куропалат — третий по значению титул в Византии.

Зоста-патрикия — первая из приближенных дам императрицы.

К стр. 394

Кастризий — начальник прислужников при трапезе императора.

Препозит — одна из высших должностей придворных евнухов в Византии.

Кувикуларий — спальничий евнух в императорском дворце.

К стр. 395

Хламида — верхняя одежда *(греч.)*.

Камизия — рубаха, хитон *(греч.)*.

К стр. 396

Друзья из Болгарии — так в Византии называли представителей болгарского двора.

Димархи — представители димов, цирковых и спортивных организаций при константинопольском ипподроме.

К стр. 397

Атриклин — чиновник-распорядитель на императорских пирах.

К стр. 405

Мизийцы — жители римской провинции Мизии между Дунаем и Балканским хребтом, на территории которой в 680 г. образовалось Первое Болгарское царство.

К стр. 448

Иоанн Дамаскин (ок. 675— между 749 и 753) — христианский богослов и церковный писатель. Еще при жизни Дамаскина его гимны и каноны распространились далеко за пределами Греции. За необычайный поэтический дар был прозван Златоструйным.

К стр. 466

«Мириобиблион», или «Многокнижие»,— труд Фотия, представляющий собой аннотации около 300 книг, многие из которых не дошли до наших дней, с комментариями и сведениями об авторах.

К стр. 502

Греческий огонь — один из самых ранних огнеметов.

ОГЛАВЛЕНИЕ

К н и г а   п е р в а я. Мир надежды 5

К н и г а   в т о р а я. Мир догмы 225

К н и г а   т р е т ь я. Мир бессмертия 403

Примечания 617

Слав Хр. Караславов

СОЛУНСКИЕ БРАТЬЯ

ИБ № 9471

Редакторы *И. Марченко*, *Т. Горбачева*
Художник *А. Зайцев*
Художественный редактор *А. Купцов*
Технический редактор *М. Данилушкина*
Корректор *Н. Мороз*

Сдано в набор 18.5.81. Подписано в печать 4.11.81. Формат 60×84/16. Бумага типографская. Гарнитура *елизаветинская*. Печать высокая. Условн. печ. л. 36,27. Уч.-изд. л. 41,32. Тираж 100 000 экз. Заказ № 2863. Цена 4 р. 50 к. Изд. № 33710

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Прогресс» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, 119021, Зубовский бульвар, 17

Ордена Октябрьской Революции
и ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28